

**КЛАССИКИ  
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ**





**В. Г. БЕЛИНСКИЙ**  
**В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ**

(С рисунка *И. А. Астафьева*)

**В. Г. БЕЛИНСКИЙ**

**ИЗБРАННЫЕ**

**ФИЛОСОФСКИЕ**

**СОЧИНЕНИЯ**

*ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
И СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ  
М. Т. НОВЧУКА*

*РЕДАКЦИЯ ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ  
В. С. СПИРИДОНОВА*

**О Г И З**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО**  
**ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**  
**МОСКВА · 1941**

В сборник «Избранных философских сочинений» В. Г. Белинского, входящий в серию «Классики русской философии», включены наиболее важные статьи, рецензии, письма и отрывки из работ Белинского, посвященные вопросам философии и социологии.

Все эти работы Белинского дают яркое представление о его философско-политической эволюции к материализму и революционному демократизму, показывают роль Белинского как «предшественника российской социал-демократии» (*Ленин*).

Книга рассчитана на советскую интеллигенцию и может служить пособием при изучении истории русской философии, истории литературной критики и истории общественной мысли в России XIX века.

## ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
<p>XXIII XXV</p>	<p>2 снизу 27—28 сверху</p>	<p>эПОЛОГЕТОМ Разоблачая Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» за преклонение перед гнусной действительностью царской России,</p>	<p>эПОЛОГЕТОМ Разоблачая Гоголя за преклонение перед гнус- ной действительностью царской России в его «Выбранных местах из переписки с друзьями»,</p>

В. Г. Белинский

## ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Виссарион Григорьевич Белинский занимает одно из самых почетных мест в ряду выдающихся представителей культуры великого русского народа.

Совершенно справедливо центральный орган нашей партии «Правда» писала:

«Мы гордимся именами Пушкина, Лермонтова, Толстого и Горького, Белинского, Добролюбова и Чернышевского, Менделеева, Сеченова и Павлова. Эти имена, вместе с именами Ломоносова, математика Лобачевского, изобретателя радио Попова, мужественных исследователей Пржевальского, Миклухи-Маклая, отважных мореплавателей Лаптевых, Дежнева, Седова и многими другими, составляют нашу национальную славу, и мы законно гордимся ею. Вершиной русской культуры является ленинизм — самое передовое, самое научное учение, которое знала история человечества. Ленинизм интернационален. Он стал учением, маяком и надеждой всех народов мира. И мы законно гордимся этим, мы законно гордимся его творцами — Лениным и Сталиным».

Народы СССР никогда не забудут В. Г. Белинского, чья общественно-политическая и литературная деятельность в 30—40-х годах прошлого века сыграла большую роль в развитии революционно-демократического движения в России и русской культуры.

В Белинском поразительно сочетались многие дарования. Он был не только великим литературным критиком и публицистом; он один из самых ранних и выдающихся русских философов, талантливый социолог и историк, основоположник новой эстетической теории. Но прежде всего Белинский — один из зачинателей революционно-демократического движения в России, бывший всю свою жизнь истинным патриотом русского народа, страстным борцом против крепостничества, полицейского произвола, засилья религии и невежества.

Не случайно Белинский получил прозвище «неистового Виссариона». Его политическая страстность и глубокая вера в правоту своих революционных убеждений достаточно известны.

Раз на вечеринке у одного литератора, некий магистр Петербургского университета, ослабивший, по словам Герцена, свои способности философией и филологией, коснувшись знаменитого «Философического письма» Чаадаева, заявил, что автор этого письма недостоин уважения. Присутствовавший на вечеринке Герцен стал возражать магистру, объясняя ему, как несправедлив его отзыв о человеке, смело высказавшем свое мнение и пострадавшем за него. Спор затягивался. «Вдруг мою речь подкошил Белинский, — рассказывает Герцен. — Он вскочил с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал: «Вот они высказались — инквизиторы, цензора — на веревочке мысль водить»... и пошел, пошел. С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями. «Что за обидчивость такая?! паяками бьют, — не обижаемся, в Сибирь посылают, — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь, — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше

образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах, — сказал с неподражаемым самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос. Он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным»\*.

Не раз политические враги Белинского, вроде агента III отделения в литературе Ф. Булгарина и реакционного поэта П. Вяземского, доносили «властям предержащим», что Белинский стоит в центре притяжения всех оппозиционно настроенных сил России 40-х годов; реакционеры боялись его даже после смерти, считая, что Белинский — «литературный бунтовщик, который за неимением у нас места бунтовать на площадях, бунтовал в журналах».

Роль Белинского как первого революционного демократа-разночинца в истории российского освободительного движения с исчерпывающей ясностью определена В. И. Лениным.

В своей работе «От какого наследства мы отказываемся» еще в 1897 г. Ленин дал яркую характеристику взглядов русских просветителей и доказал, что их законными наследниками являются отнюдь не народники, отступившие от взглядов просветителей, а пролетариат России и русские марксисты, возглавившие народные массы на борьбу против помещичье-капиталистического строя. В 1902 г. в своей работе «Что делать?» Ленин показал, что образцы беззаветных поисков правильной революционной теории в России дали Белинский, Герцен и Чернышевский, и назвал их предшественниками российской социал-демократии.

Исключительно яркий свет на вопрос о характере мировоззрения Белинского и его роли в культуре русского народа проливает непримиримая идейно-политическая борьба, проведенная Лениным против буржуазно-веховской контрреволюционной идеологии.

Известно, что в 1909 г. кадетские деятели во главе со Струве, Булгаковым и Гершензоном выпустили сборник «Вехи», ярко отразивший контрреволюционные настроения, охватившие российскую буржуазию и буржуазную интеллигенцию в годы реакции, после поражения революции 1905 г.

Ленин в своей статье «О «Вехах», написанной в декабре 1909 г., блестяще доказал, что авторы «Вех», пытавшиеся дать в этом сборнике «целую энциклопедию по вопросам философии, религии, политики, публицистики, оценки всего освободительного движения и всей истории русской демократии», дали в нем по существу энциклопедию либерального ренегатства. Веховцы, писал Ленин, окончательно порвали с идейными основами русской и международной демократии, отреклись от великих традиций российского освободительного движения и обливают его помоями, открыто провозглашая свои «ливрейные» чувства по отношению к царской власти и старой крепостнической России.

Из великих деятелей российского освободительного движения особую ненависть буржуазной контрреволюции снискали Белинский и Чернышевский.

Веховцы пытались уничтожить Белинского как публициста, изображали его донкихотствующим одиночкой-бунтарем, считали его мировоззрение «классическим выражением интеллигентского настроения», клеветали на его литературное наследство, заявляя, что «история нашей публицистики, начиная с Белинского, в смысле жизненного разумения, сплошной кошмар».

И либеральные историки литературы (Ашевский, Богучарский) и народнические «теоретики» (Михайловский, Иванов-Разумник и др.) чудовищно исказили мировоззрение Белинского, пытаясь представить его своим

\* Герцен, Былое и думы, Соч., т. XIII, стр. 26.

родоначальником и идейным отцом. Кадетствующие профессора причисляли Белинского к лику либералов, эсерствующие «историки» изображали его исконным славянофилом и народником. Многие из сонма вратов революционного народа не раз пытались представить дело так, что втяяды Белинского, так же как и взгляды Герцена и Чернышевского, — нечто целиком заимствованное от Запада и не имеющее корней в русском народе. Эта клеветническая «теория» разбита Лениным и большевиками.

В статье «О «Вехах» Ленин доказал, что мировоззрение Белинского, особенно ярко выразившееся в его «Письме к Гоголю», отразило настроения крепостных крестьян и что история нашей демократической публицистики, начиная с Белинского, зависела от возмущения народных масс крепостническими порядками. В 1912 г. в статье «Еще один поход на демократию» Ленин писал о громадном влиянии работ Белинского на широкие народные массы; он указывал на то, что в период революционного подъема, в 1905—1907 гг., к большому горю для помещичье-буржуазной контрреволюции, исполнилось желание Некрасова, писавшего:

...Придет ли времячко,  
Когда (приди, желанное!..)  
Дадут понять крестьянину,  
Что рознь портрет портретику,  
Что книга книге рознь?  
Когда мужик не Блюхера  
И не милорда глупого —  
Белинского и Гоголя  
С базара понесет?

Ленин дает убийственную оценку буржуазно-либеральной контрреволюции, испугавшейся широкого распространения революционно-демократических работ Белинского в народных массах.

«Демократическая книжка стала *базарным* продуктом,—писал Ленин.— Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогами Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая базарная литература...

... Какое «беспокойство»! — воскликнула мнящая себя образованной, а на самом деле грязная, отвратительная, ожиревшая, самодовольная либеральная свинья, когда она увидела на деле этот «народ», несущий с базара... письмо Белинского к Гоголю»\*.

В связи со 100-летием со дня рождения Белинского, в 1911 г., большевики раскрывали перед революционным народом России роль Белинского как выдающегося деятеля российского освободительного движения, глашатая истины и пламенного борца.

В своей замечательной статье «Великий искатель», написанной к 100-летию со дня рождения Белинского, С. М. Киров писал о великом публицисте:

«Он воплотил в себе весь протест против окружающей «гносной действительности» и все величие своего гения устремил к отысканию истины. «Истину назови мне!» — взывал он к проникновенному разуму. Жадно, неутомимо и страстно бросился он в поиски за ней, и мощный голос его, как трубный звук, стал оглашать мрачную эпоху, связывая все живое и лучшее, способное воспринять правду-истину и правду-справедливость. От юношеской трагедии «Дмитрий Калинин» до предсмертных писем его — все проникнуто этим пылким исканием».

В 1914 г. в своей исторической статье «Из прошлого рабочей печати в России» Ленин вскрыл теснейшую связь между литературной деятельностью Белинского и революционно-демократической борьбой против царизма и крепостничества.

\* Ленин, Соч., т. XVI, стр. 132.

Говоря о том, что в 50—60-х годах прошлого века в России Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению революционных разночинцев — представителей демократической буржуазии, Ленин подчеркнул, что «...предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение по сию пору»\*.

Классические оценки Белинского и русских революционных демократов, данные Лениным и большевиками, представляют собой огромный вклад в историю русской общественной мысли и позволяют поставить на подлинно научные рельсы исследование творчества Белинского.

Немалую роль в марксистской оценке Белинского сыграли и работы Плеханова о Белинском, написанные в период создания марксистской социал-демократической партии в России и в период борьбы с ликвидаторством (1909—1912 гг.) и давшие, несмотря на отдельные ошибки и недостатки, правильное освещение мировоззрения Белинского.

\* \* \*

Жизнь и деятельность В. Г. Белинского (1811—1848 гг.) протекали в условиях жесточайшего самодержавно-крепостнического гнета, особенно усилившегося в период николаевской реакции, после подавления в 1825 г. восстания декабристов.

В 30—40-х годах XIX в. в России происходило разложение крепостнической экономики и начинался рост капитализма. С 1825 до 1850 г. число рабочих на фабриках и заводах выросло в 3 раза. Барщинная система помещичьего хозяйства постепенно заменяется оброчной; многие крестьяне, отпущенные на оброк, становятся вольнонаемными рабочими на фабриках и заводах. Капиталистические предприятия, число которых к концу 30-х годов почти в 5 раз превышает число крепостных мануфактур, воочью показывают преимущества использования труда наемных рабочих в сравнении с трудом крепостных на помещичьих мануфактурах.

Поэтому сплошь и рядом владельцы крепостных мануфактур и так называемых «посессионных» фабрик отпускают крепостных и посессионно приписанных к фабрикам крестьян на волю и эксплуатируют их как наемных рабочих.

Непрерывно растет внешняя торговля, увеличивается вывоз хлеба, в составе которого 90% составляет хлеб, производимый в крупных помещичьих хозяйствах, начинающих применять сельскохозяйственные машины и наемный труд.

Но существовавшая наряду с этими ростками капитализма в промышленности и торговле крепостническая система хозяйства на протяжении всей первой половины XIX в. продолжала оставаться господствующей в экономике России. Крепостническим гнетом были придавлены десятки миллионов крестьян, обреченных на подневольную работу, вечную нужду и беспрсветную тьму.

Вместе с тем внутри самой крепостнической сельской общины начинается экономическое расслоение, вызываемое тем, что у отдельных крестьян появляются капиталы, промышленные предприятия и т. д. Помимо усиления эксплуатации со стороны помещика, заинтересованного в увеличении производства хлеба в связи с расширением возможности его экспорта, крепостной крестьянин подвергается добавочной эксплуатации со стороны скупщика, арендатора, ростовщика и других кровососов.

Безудержный рост крепостнической и купеческо-ростовщической эксплуатации крепостных крестьян ведет к нарастанию стихийного возмущения крестьян, выливающегося в так называемые крестьянские «бунты», восста-

\* Ленин, Соч., т. XVII, стр. 341.

ния. Так, в 1843 г. крестьянские восстания были зарегистрированы в 11 губерниях, причем для их подавления потребовались крупные вооруженные силы.

Но эти крестьянские «бунты» — стихийные и неорганизованные восстания, лишённые еще пролетарского руководства и не освещённые политическим сознанием, не подняли и не могли в 30—40-х годах XIX в. поднять всю крепостную Россию на победоносную революционную борьбу против класса помещиков-крепостников и против самодержавия.

В дореформенной России еще не было пролетариата, класса, способного возглавить народные массы на борьбу против царизма и крепостничества и привести их к победе.

«Крепостная Россия забита и неподвижна, — говорит Ленин об эпохе от декабристов до Герцена (1827—1846 гг.). — Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ»\*.

Но хотя революционное движение в России было тогда очень слабым, в 30—40-х годах XIX в. возникают революционные течения среди передовых, мыслящих кругов дворянства и образованных представителей других имущих классов русского общества, имевших известный доступ к общественной жизни, образованию и литературе.

К числу передовых представителей дворянского общества принадлежали декабристы. К ним принадлежал великий русский народный поэт А. С. Пушкин и его друг, оригинальный мыслитель и страстный обличитель крепостничества — П. Я. Чаадаев. Из их рядов вышел А. И. Герцен, впоследствии примкнувший, несмотря на свои колебания между либерализмом и демократией, к революционно-демократическому лагерю.

В конце 30-х и начале 40-х годов на историческую арену освободительного движения в России выступили революционеры-разночинцы, во главе которых стоял В. Г. Белинский. Они, как подлинные просветители, сочувствуют угнетенным народным массам и ждут, что уничтожение крепостничества приведет к всеобщему благоденствию народа. В деятельности и мировоззрении революционных разночинцев отражаются нарастающие революционные настроения и надежды крепостных крестьян.

В отличие от дворянских революционеров «они шли вперед своим путем, не спотыкаясь о развалины прошлого, — а свой путь в ту пору мог быть лишь один — к народу, к массе крестьянской, значит, прежде всего — против крепостного права. Необходимо было занять позицию демократическую, к ней толкала вся современность и на нее указывала история Запада» (М. Горький).

Эту демократическую позицию и заняли революционные просветители во главе с Белинским.

В конце 30-х годов в русском образованном обществе получили широкое распространение передовые философские и политические теории Запада, главным образом идеи немецкой классической философии и французского утопического социализма.

В кружках Станкевича и Герцена, изучавших прогрессивные теории Западной Европы, зарождалось новое идейное течение, течение просветителей, или, как их называли, «западников». К кружку Станкевича принадлежал и молодой Белинский. Несмотря на то, что эти кружки имели не одинаковое направление, большинство их участников сходилось в главном: они были решительными противниками крепостничества и убежденными сторонниками развития России по западноевропейскому, капиталистическому пути.

Они искренно сочувствовали народу, но были еще далеки от него: деятельность этих кружков сводилась, по преимуществу, к распространению «западнических», просветительских идей в образованных кругах тогдашнего русского общества.

\* Ленин, Соч., т. XVI, стр. 575.

В результате поражения декабрьского восстания 1825 г. стремления дворянских революционеров потерпели жестокое крушение, а обстановка николаевской реакции вызвала среди них грусть и отчаяние.

«Ужасны были первые годы, последовавшие за 1825, — пишет Герцен в своем очерке о развитии революционных идей в России. — Нужно было около десяти лет для того, чтобы опомниться от этого порабощения и преследования».

Прямая дорога открытой политической борьбы на время оказалась закрытой, и передовые круги русского общества пытались искать объяснения мучительных, наболевших вопросов окружающей их действительности в западноевропейской науке и философии.

В идейном движении Западной Европы в это время господствовала именно немецкая классическая философия, бывшая «фокусом, в котором сосредоточились все результаты предшествующей работы философской мысли и из которого выходили лучи, освещавшие путь умственного и нравственного развития цивилизованного мира»\*.

Поэтому к немецкой классической философии, отражавшей наступление буржуазной революции в Западной Европе, к идеалу общества, построенного на основах разумной необходимости, к прогрессивно-просветительским стремлениям философской мысли Запада обратили свои взоры участники кружка Станкевича, а впоследствии и члены кружка Герцена.

Кружки Станкевича и Герцена, несмотря на чисто теоретический характер их деятельности, стали своеобразными общественно-литературными центрами, откуда передовые, просветительски настроенные круги русского общества начали борьбу как с господствовавшей тогда в России реакционной идеологией «самодержавия, православия и народности», так и со славянофилами.

Борьба «западников» со славянофилами наиболее ярко сказалась в вопросе о путях исторического развития России и мировоззрении русского народа.

Славянофилы (братья Киреевские, Самарин, Хомяков, братья Аксаковы и др.) считали, что у России свой особый, самобытный путь исторического развития, которым она и должна идти; они идеализировали «самобытные устои» российской жизни: сельскую, крестьянскую общину, монархический принцип правления, патриархальные нравы и обычаи; они считали мистицизм и религиозную созерцательность неотъемлемыми чертами сознания русского народа.

Если часть славянофилов, особенно в ранний период их деятельности, признавала необходимость распространения просвещения в народе, ограничения крепостничества, уничтожения полицейского произвола и т. п., то впоследствии многие славянофилы сомкнулись с официальным направлением «самодержавия, православия и народности». Герцен справедливо говорил, что революционные просветители видели в учении славянофилов «новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви».

Так называемые «западники» считали, что Россия, как и другие страны, должна ликвидировать крепостничество, установить у себя западноевропейские порядки и распространить просвещение в народных массах. Но сами «западники» отнюдь не были однородным течением: буржуазно-либеральное крыло «западничества» (Кавелин, Боткин, Анненков и др.) возлагало все надежды на крупную буржуазию и пренебрежительно относилось к народным массам. Белинский же, наряду с Герценом, был вождем революционно-демократического крыла «западничества», полагавшего, что задача интеллигенции состоит в том, чтобы разбудить народные массы, распространить среди них просвещение и цивилизацию и подготовить народ к революционной борьбе за новую жизнь на демократических началах.

\* Плеханов, Соч., т. X, стр. 333.

Идейная борьба между революционно-просветительским крылом «западничества» и славянофильством нашла свое отражение в философско-политической эволюции В. Г. Белинского и в его общественно-литературной деятельности в журналах просветительского направления: «Телескоп», «Молва», «Отечественные записки» и «Современник».

\* \* \*

Известно, что Белинский не сразу стал революционно-демократическим мыслителем и сторонником материализма в философии; на протяжении 17 лет своей общественно-политической и литературной деятельности он прошел суровую школу теоретических исканий «жизненной правды» и критического освоения западноевропейских теорий для формирования своего собственного, революционного мировоззрения.

Враги революционной демократии на этом основании не раз поднимали «мышиную возню» вокруг имени Белинского, пытаясь приписать ему неустойчивость, несамостоятельность, противоречия с самим собой и т. п. Эта легенда опровергается всем ходом идейного развития Белинского.

Уже в своей юношеской драме «Дмитрий Калинин» (1831) Белинский выступает как враг крепостничества, поборник европейской цивилизации и прогресса. «Неужели эти люди для того только рождаются на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами? — восклицает он устами своего героя. — Кто дал это губительное право — одним людям порабощать своей власти других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище — свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями, и со всем, что для него мило и драгоценно!»\*

В «Дмитрии Калинине» чувствуется влияние на Белинского французских просветителей и Радищева, но уже этот первый опыт литературной работы Белинского говорит о редкой для того времени самостоятельности и силе в обличении крепостнических порядков (вспомним, что первое «Философическое письмо» Чаадаева было опубликовано лишь в 1836 г.).

Начиная с 1834 г., когда была опубликована первая крупная работа Белинского в области философии и эстетики — «Литературные мечтания», он прошел несколько стадий в своем идейном развитии. Это идейное развитие Белинского шло в прогрессивном направлении, от просветительства к революционному демократизму и от идеализма к философскому материализму.

Причины философско-политической эволюции Белинского, так же как и других русских революционных мыслителей, вскрыты В. И. Лениным.

Ленин писал о том, что правильность марксистской теории в России доказал «не только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области»\*\*.

В основе философско-политической эволюции Белинского лежит рост революционных настроений среди угнетенных народных масс, отражавшийся в сознании передовых, революционных элементов образованного русского общества.

Литературно-критическая деятельность в подцензурных журналах становится для просветителя Белинского ареной битв против крепостничества

\* Белинский, Соч., т. I. Под ред. С. А. Венгерова, стр. 122.

\*\* Ленин, Соч., т. XXV, стр. 175.

и оправдывавших его философских, политических и эстетических теорий.

Свои передовые философские и политические идеи Белинский мог проводить сквозь рогатки и препоны цензуры, как правило, лишь в литературно-критических статьях, рецензиях и письмах товарищам, а не в специальных философских трактатах и политических сочинениях. Это своеобразие творчества Белинского, как философа и социолога, отнюдь не умаляет его значения. Плеханов был прав, когда говорил, что по логической силе ума Белинский стоял выше всех современных ему русских мыслителей.

\* \* \*

В первый период своей общественно-литературной деятельности, относящийся к 1834—1836 гг., Белинский активно участвует в философско-литературном кружке Станкевича и помещает ряд критических статей в прогрессивном для того времени московском журнале «Телескоп» и в приложении к нему «Молва». Дискуссии в кружке Станкевича, так же как и статьи Белинского, помещенные на страницах «Молвы» и «Телескопа», будили общественную мысль передовых слоев тогдашнего общества и вели к сплочению всех сил, направленных против николаевской реакции, в первую очередь против идеологии самодержавия, православия и великодержавной народности. Но в мировоззрении Белинского, как и других членов кружка Станкевича, в эти годы обличение крепостнических порядков, порыв к цивилизации и западноевропейскому прогрессу уживались еще с надеждой на то, что общественное переустройство в России, распространение просвещения в народе, переход к западноевропейской цивилизации будут осуществлены сверху.

«Литературные мечтания» Белинского — своеобразный манифест первых русских просветителей 30-х годов. Его основная идея состоит в утверждении горькой истины, которая глубоко волновала русских просветителей, — в признании разрыва между так называемым «обществом», образованными верхами, и народными массами, обреченными на подневольную жизнь и прозябание в невежестве.

Белинский провозглашает необходимость развития такого просвещения, которое захватило бы широкие народные массы, необходимость создания такой литературы, которая была бы плотью от плоти и кровью от крови народной, необходимость такого прогресса, который основывался бы на подъеме благосостояния народных масс, на развитии промышленности и торговли по западноевропейскому образцу.

Но Белинский, бывший в плену идеалистического понимания истории и не доходивший еще до понимания классового характера царизма, не выдвинул в «Литературных мечтаниях» прямого требования ликвидации крепостнического строя и царского самодержавия; он выразил надежду на то, что просвещение в России может развиваться благодаря «неусыпным попечениям мудрого правительства».

Нас, однако, не должно вводить в заблуждение то, что в конце «Литературных мечтаний» Белинский сочувственно высказывается о трех принципах, которые проводил царизм в области идеологической: православие, самодержавие и народность. Эти слова, не связанные тесно со всем ходом изложения мыслей Белинского, повидимому продиктованы цензурными соображениями и, возможно даже, вставлены в текст статьи Белинского редактором «Молвы» Надеждиным; в действительности вся статья Белинского проникнута боевой полемикой против того официально-охранительного направления в русской литературе (Кукольник, Булгарин, Греч, Сенковский и др.), которое было «столпом» и «утверждением» пресловутых принципов «самодержавия, православия и народности».

Философские взгляды Белинского в период «Литературных мечтаний» формировались под влиянием немецкого классического идеализма и раньше всего — в той форме, какую он принял в системе Шеллинга. Но Белин-

ский был последователем не Шеллинга-реакционера, «ниспровергавшего» диалектику Гегеля при помощи «философии откровения»; он испытал на себе влияние ранних работ Шеллинга, в которых выдвигалась диалектическая идея об универсальной связи всех явлений мира. Центральным пунктом философских взглядов Белинского в эти годы становится идея развития; с позиций «философии тождества» он рассматривает все явления природы и сознания, как формы развития единой, вечной идеи, внутренние связанные между собой; разделяет Белинский и шеллингианский взгляд о внутренней целесообразности и гармонии всех явлений природы.

В «Литературных мечтаниях» Белинский развивает диалектический взгляд на мир, как на единое, связанное и находящееся в постоянном развитии, целое. «Весь беспредельный, прекрасный божий мир, — пишет он, — есть не что иное, как дыхание единой, вечной *идеи* (мысли единого, бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии... Для этой *идеи* нет покоя: она живет беспрестанно, т. е. беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету, она живет и дышит — и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения»\*.

Однако радикальный русский просветитель Белинский не мог ограничиться «прекраснодушным созерцанием» окружавшей его действительности, на которое обрекала мыслителя «философия тождества» Шеллинга.

Белинский, как и другие участники кружка Станкевича, воспринимал шеллингианство, как революционный просветитель, считавший своей обязанностью высвободить «мировую идею» от всех ее «случайных, нечистых и ложных проявлений» в действительности. Он пытался выйти за пределы этой действительности и потому конструировал в своем сознании абстрактный идеал нового, справедливого и разумного мира.

Достижение этого идеала, по Белинскому, не произойдет само собою: оно требует от человечества деятельности.

Эту деятельность Белинский понимает как деятельность человеческого самосознания, как умственное и нравственное совершенствование людей путем распространения среди них просвещения.

Он требует от передового человека, чтобы тот отрекся от своекорыстного Я, подавил свой эгоизм и жертвовал всем для блага родины и человечества.

Уже в эти годы в философских и эстетических воззрениях Белинского обнаруживается стремление к реализму. И в «Литературных мечтаниях» и в другой статье этого периода, «О русской повести и повестях г. Гоголя», Белинский ставит реальную действительность, природу и общественную жизнь выше, чем такие ее проявления, как научные теории, произведения искусства и т. п.

В 1835 г. он пишет: «Мы требуем не идеала жизни, а самой жизни, как она есть», и пропагандирует активное, действенное отношение к жизни, которая для него — «не веселое пиршество, не празднественное ликование, но поприще труда, Сорьбы, лишений и страданий».

Однако активность и действенность мировоззрения Белинского в эти годы не выходила еще за пределы теоретической мысли, ибо настоящей, действительной жизнью он в этот период своей деятельности все же считает не общественный материальный процесс, а сознание нашего бытия, и главной задачей человечества, по его мнению, является стремление постигнуть отношение природы и всей действительности «к идее всеобщей жизни»\*\*.

\* Белинский, Соч., т. I, стр. 318.

\*\* Там же, т. II, стр. 195.

Деятельная натура Белинского, вечно искавшего ответа на мучительные запросы передовых, мыслящих кругов русского общества, не могла остановиться на шеллингианстве; если бы Белинский и другие революционные просветители всегда следовали за Шеллингом, они были бы обречены на такое же полное примирение с гнусными сторонами окружавшей их действительности, к какому пришел в 30-х годах прошлого века сам Шеллинг.

Продолжая разделять взгляды немецкой классической философии, ее идею развития и отрицания, Белинский в 1835—1836 гг. ищет такой передовой философской теории, которая была бы свободна от «созерцательности» Шеллинга, наиболее радикально отрицала бы «гнусную действительность» и указывала бы пути изменения мира.

Философия Фихте, бывшая теоретическим отражением победоносного шествия французской буржуазной революции, утверждавшая активность и действенность мыслящего Я, показалась Белинскому и Бакунину, познакомившему Белинского с фихтеанством, «философией действия», способной якобы дать ответ на мучительные вопросы действительности.

Сама действительность все более и более убеждала Белинского в неосновательности его надежд на просвещение народа и цивилизацию России под эгидой царского правительства. В философии Фихте, как позднее говорил сам Белинский, он почувствовал запах крови, проявление робеснеризма.

Но в условиях отсутствия массового революционно-демократического движения в России 30-х годов прошлого века «бунт» Белинского против действительности ограничивался сферой абстрактно-теоретической мысли, субъективизмом.

Восприняв основную идею субъективного идеализма Фихте, он провозглашает: «Вне мысли все призрак, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты сам? Мысль, одетая телом; тело твое сгниет, но твое я останется, следовательно, тело твое есть призрак, мечта, но я твое существенно и вечно»\*.

Отсюда вытекало признание действительной жизнью жизни идеальной и убеждение в том, что так называемая действительная жизнь есть призрак, пустота.

В единственной философской статье этого периода — рецензии на книгу Дроздова «Опыт системы нравственной философии», излагая основные идеи философии Фихте, Белинский не свободен от религиозных, мистических веяний; так, он говорит о Христе как идеале человеческого совершенства, соглашается с «почтенным автором», церковником Дроздовым, что «человек создан по образу и подобию божьему» и т. д.

Освобождая от этих наносных шлаков истинные взгляды Белинского, испытавшего в годы мучительных исканий идейной правды различные влияния, мы можем открыть и в этой рецензии ценное, рациональное зерно: Белинский, верный своему просветительскому идеалу, идеалу гуманизма, провозглашает необходимость безграничного развития человеческого сознания, просвещения и нравственности. Он пишет: «Каждый человек должен любить человечество, как идею полного развития сознания, которое составляет и его собственную цель, следовательно, каждый человек должен любить в человечестве свое собственное сознание в будущем, а любя это сознание, должен споспешествовать ему»\*\*.

В этой же рецензии Белинский пытается на базе фихтеанского идеализма преодолеть ограниченность вульгарного эмпиризма и абстрактного рационализма: утверждая, что эмпиризм — «здание, построенное на песке», и что «факты должно объяснять мыслью, а не мысли выводить из фактов», он в то же время чувствует метафизическую ограниченность абстрактного рационализма и требует проверки умозрения фактами.

\* Белинский, Письма, т. I, стр. 89.

\*\* Белинский, Соч., т. III, стр. 76.

Повернувшись спиной к окружающей его русской действительности, Белинский, сочувствовавший французской революции и восторгавшийся Робеспьером, однако, еще не стал в эти годы на путь революционного отрицания гнусных крепостнических порядков.

В это время, в 1836—1837 гг., он считает политическую борьбу с полицейско-крепостническими порядками в России преждевременной. В своем письме Д. П. Иванову 7 августа 1837 г. он пишет: «Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции... Гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретает сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия»\*.

Хотя Белинский и в этот период своей деятельности остается решительным врагом крепостничества и мечтает о том, что дети его поколения будут знать о крепостном праве только как о факте историческом, прошедшем, он еще надеется исключительно на просвещение народа по почину царского правительства, ибо не видит в тогдашней российской действительности реальной общественной силы, которая могла бы осуществить революционное уничтожение крепостного строя. Вот почему он боится, что крепостные крестьяне, забитые вековым гнетом и темнотой, после освобождения пойдут не в парламент, а в кабак — пить вино, бить стекла и вешать дворян. Эта мысль, звучащая диссонансом в устах Белинского — будущего революционного демократа, автора знаменитого «Письма к Гоголю», порождена сознанием отсталости, забитости и темноты, на которую крепостники веками обрекали великий русский народ.

Ленин в своей исторической статье «О национальной гордости великороссов», приведя в пример слова Чернышевского о тогдашнем положении русского народа: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы», вскрыл, что за этими словами кроется великая сила «настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»\*\*.

Белинский, страдальчески воспринимавший неподвижность и вековую забитость крепостных крестьян, так же как впоследствии Чернышевский, горячо любил великий русский народ и, проклиная его рабское положение в крепостной России, жил надеждой на его славное будущее.

\* \* \*

Письмо Белинского Д. П. Иванову, написанное из Пятигорска 7 августа 1837 г., является переломным пунктом в переходе Белинского от фиктеанского идеализма к диалектическому идеализму Гегеля.

Увлечение гегельянством было присуще широким кругам образованного русского общества 30—40-х годов. Философия Гегеля была теоретической почвой для двух диаметрально противоположных идейных течений русской общественной мысли — западничества и славянофильства.

Западников в философии Гегеля привлекал диалектический метод, учение о непрерывном и всестороннем развитии и взаимной связи всех явлений мира; исходя из этих основных пунктов философии Гегеля, западники могли опровергать панславистские теории о неизбежности «самобытных устоев» русской жизни и об «особом пути» развития России.

Славянофилов, наряду с «философией откровения» Шеллинга, привлекало учение Гегеля об особой роли, которую играет каждый народ в истории человечества, о великом значении «национального духа»; на этой основе они приходили к выводам, прямо противоположным западничеству.

Белинский познакомился с философией Гегеля в 1837 г. через посредство Каткова и Бакунина и стал страстным ее последователем.

\* Белинский, Письма, т. I, стр. 92.

\*\* Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81.

К осени 1837 г. Белинский, так же как и Бакунин, познакомивший Белинского с философией Гегеля, пришел к выводу, что абстрактное отрицание действительности в угоду мыслящему Я не может дать никаких практических результатов, что действительность есть непреложный факт, которого не опровергнешь субъективно-идеалистическими заклинаниями. «Все, что ни есть, — говорит вслед за Гегелем Белинский, — есть или являющийся разум (разум в явлении) или сознающий разум (разум в сознании). Дело сознающего разума — сознавать действительность, а не творить ее».

Истинное значение и революционный характер философии Гегеля состояли в том, что она выдвинула идею вечного развития и опровергла мысль об окончательном характере результатов человеческого познания; этот ее вывод был воспринят Белинским, которого одолевали сомнения в абсолютности результатов фихтеанской философии и всесилы мыслящего Я.

Для Гегеля все общественные порядки, сменяющие друг друга, закономерны и необходимы и представляют собой лишь переходящие ступени бесконечного развития самосознающего духа; поэтому Белинский, искавший объяснения падения государств, происхождения завоеваний, причин социальных несправедливостей, произвола властей и других жгучих вопросов окружающей его действительности, воспринял гегелевский тезис: «все действительное разумно, все разумное действительно».

Но Белинский, не различавший в это время существующего от действительного, не понявший, что действительность выше существования и не заметивший революционного момента, заложенного в тезисе Гегеля: «все действительное разумно, все разумное действительно», настолько широко применил его, что в своих статьях и письмах 1838—1840 гг. объявил действительным, а следовательно, и разумным все существующее, в том числе царское самодержавие и всю гнусную крепостническую действительность.

Чем вызвано такое восторженное преклонение Белинского перед философией Гегеля и его примирение с гнусной действительностью царской России 30-х годов прошлого века? Известную роль в этом идейном повороте Белинского сыграло влияние русских гегельянцев — Каткова и «переметной сумы» — М. Бакунина, который в 1838 г. в своем предисловии к «Гимназическим речам» Гегеля выражал надежду на то, что «новое поколение сроднится наконец с нашею прекрасною Русскою действительностью; и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит наконец в себе законную потребность быть действительными Русскими людьми»\*.

Но ограничиться признанием влияния Каткова и Бакунина на Белинского было бы неправильно. Нельзя согласиться и с часто встречающейся в литературе точкой зрения о том, что Белинский якобы не понял системы Гегеля и поэтому примирился с тогдашней российской действительностью. Известно, что сам Гегель в предисловии к своей «Философии права» пришел, вопреки своему диалектическому методу, к отождествлению всего существующего с действительным и прославлению его как разумного.

Временное примирение Белинского с действительностью правильно объясняет Г. В. Плеханов в своей статье 1897 г. «Белинский и разумная действительность». Плеханов пишет там следующее:

«Белинский мирился не с действительностью, а с печальной судьбой своего абстрактного идеала.

Еще недавно он мучился, сознавая, что этот идеал не находит никакого приложения к жизни. Теперь он отказывается от него, убедившись, что он неспособен привести ни к чему, кроме «абстрактного героизма», бесплодной вражды с действительностью. Но это не значит, что Белинский поворачивается спиной к прогрессу. Вовсе нет. Это значит только, что теперь он собирается служить ему иначе, чем собирался служить прежде»\*\*.

\* Цит. по соч. Белинского, т. IV, стр. 492.

\*\* Плеханов, Соч., т. X, стр. 223.

Белинский убедился в несостоятельности своего абстрактного идеала «лучшего общества», основанного на свободе и независимости мыслящего Я, в беспочвенности чисто теоретического отрицания действительности. Это опять-таки объяснялось тем, что в русском обществе 30-х годов XIX в. не было еще такой общественной силы, которая практически могла бы осуществить провозглашенное русскими просветителями отрицание отсталой российской крепостнической действительности.

В философии Гегеля Белинский искал ответа на те вопросы, которые ежедневно ставила перед ним действительность, и приходил к выводу о разумности и законосообразности действительности. «Я гляжу на действительность, — писал он, — столь презираемую мною прежде, и трепещу таинственным восторгом, сознавая ее разумность, видя, что из нее ничего нельзя выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергнуть»\*. Но это отнюдь не говорит о том, что Белинский безоговорочно и до конца принял гнусную действительность николаевской России, что он изменил своим ранним просветительским идеям, а тем более, что он сознательно стал защитником крепостного гнета и полицейского кнута; такое истолкование взглядов Белинского периода 1838—1840 гг. со стороны буржуазных историков и литературоведов было искажением подлинной философско-политической эволюции передового русского мыслителя, всегда находившегося в поисках исторической правды и искренно заинтересованного в прогрессе и цивилизации России.

Белинский и в 1837—1840 гг., несмотря на свои заблуждения, остался просветителем и убежденным противником крепостничества.

В тех же «бородинских» статьях, где Белинский объявляет, что ход русской истории — обратный по отношению к европейской, что в царской России «правительство всегда шло впереди» и что источником всякой цивилизации и просвещения будто бы являлась царская власть, он пишет, что каждый человек имеет полное право на счастье, на удовлетворение всех своих потребностей. Этот принцип гуманизма, несмотря на его абстрактно-просветительский характер, несовместим с крепостническим рабством, с присущим ему унижением человеческого достоинства, с попранием самых элементарных человеческих прав. В критической статье о сочинениях Фопвизина и Загоскина, где Белинский резко и несправедливо нападает на французское просвещение, он в то же время проводит глубокую мысль о том, что назначение тогдашней России — «принять в себя все элементы не только европейской, но мировой жизни», что «мы, Русские — наследники целого мира, не только европейской жизни, и наследники по праву»\*\*.

Уже в письме к Д. Н. Иванову от 7 августа 1837 г., переходя на позиции гегелевского идеализма, Белинский делает интересную попытку обзора русской истории. Издатель сочинений Белинского С. А. Венгеров неправильно считал, что у Белинского «все изложение русской истории свелось к самому грубому бахвальству и прославлению русского кулака». Ошибочны, конечно, утверждения Белинского в этом письме об «особом назначении России», в силу которого она якобы не может пойти путем революционной Франции и будет шествовать под водительством царей своим особым путем.

Но Белинский, вопреки оценке Венгерова, вовсе не преклоняется слепо перед прошлым России. Он высмеивает «пустоголовых ученых и поэтов», видящих подлинную русскую народность в былой отсталости России и прославляющих ее историю от Рюрика до Алексея, зато придает огромное значение преобразованиям Петра Великого. Он провозглашает там же, что «мы по праву наследники всей Европы»\*\*\*, и видит преим-

\* Белинский, Письма, т. I, стр. 348.

\*\* Белинский, Соч., т. IV, стр. 4.

\*\*\* Белинский, Письма, т. I, стр. 96.

щество России в том, что она может не механически воспринимать все западное, а выбирать между хорошими и плохими влияниями Запада.

В рецензии на книгу Ансильона, относящейся к 1840 г., Белинский приветствует экономический прогресс, вызванный ростом капиталистической промышленности, открытием Америки, изобретением пороха и книгопечатания, прогресс, приведший к упадку «рыцарства» (феодалов) и торжеству «среднего сословия» (буржуазии).

В своих работах 1837—1840 гг. Белинский рассуждает следующим образом: нельзя начисто отрицать то, что было сделано в России до сих пор, нельзя механически привить России западноевропейскую культуру. Не простым отрицанием старого и не механической прививкой нового извне, а путем постепенного развития в России может появиться новая культура, критически воспринимающая лучшие достижения западноевропейской цивилизации.

Белинский в эти годы глубоко заблуждался в оценке окружавшей его действительности; на время он примирился с ее существованием, как с непреложным фактом действительности.

Но в отличие от своего учителя Гегеля Белинский никогда не увековечивал и не считал «венцом творения» окружающую его действительность, полагая, что она должна смениться новой, высшей и более совершенной действительностью. Усваивая диалектический метод Гегеля, он обращает все большее внимание на идею отрицания всего старого и отжившего, отрицания, происходящего на основе борьбы внутренних противоположностей в каждом явлении.

Белинский делает попытку понять общество как единство противоположностей. Общество он представляет как сумму личностей, и каждая из них, по Белинскому, есть единство противоположностей, ибо «каждый человек принадлежит и себе и обществу, есть индивидуальная и самоцельная особность и член общества, часть целого, принадлежащая не себе, а обществу»<sup>\*</sup>.

В статье начала 1840 г. «Менцель, критик Гете», осуждая отрицательное отношение к «разумной действительности», Белинский вместе с тем считает «падение царств» столь же внутренне необходимым историческим событием, как и их возникновение. Он говорит в своих письмах 1840 г., что его ошибкой в прошлом является распространение такого частного момента истории, как царская власть, на всю историю России, и выдвигает на первый план идею отрицания, без которой «история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото».

Белинский, обладавший огромной логической силой ума и умением разбираться в окружающей действительности, не мог долго заблуждаться в отношении ее. Для него становилось все более ясным несоответствие между его антикрепостническими, просветительскими идеалами и правогегельянскими выводами из философии Гегеля, оправдывающими социальную несправедливость и угнетение. В гегельянском мировоззрении Белинского уже в 1838—1839 гг. начинает образовываться брешь, которую всемерно углубляет Герцен, призывавший Белинского к разрыву с гнусной крепостнической действительностью.

В письме М. Бакунину 12—24 октября 1838 г. Белинский пишет по поводу эстетических взглядов гегельянцев: «Глубоко уважаю Гегеля и его философию, но это не мешает думать... что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны... промахи и непонимание возможны и для людей абсолютных, граждан спекулятивной области, и, следовательно, всему верить безусловно не годится»<sup>\*\*</sup>.

Письма 1839—1840 гг. Боткину, Бакунину и К. Аксакову показывают резкое изменение взглядов Белинского на российскую действительность и глубокое сожаление о тех похвалах, которые он ей расточал:

\* *Белинский*, Соч., т. IV, стр. 414.

\*\* *Белинский*, Письма, т. I, стр. 266.

«Любовь моя к родному, к русскому стала грустнее, — пишет Белинский Боткину 13 июня 1840 г.: — это уже не прекраснородушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциональное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнушно, грязно, подло» \*.

Письмо В. Боткину 10—11 декабря 1840 г. весьма ярко показывает, как завершается отход Белинского от того вынужденного примирения с действительностью, которое характерно для него в 1837—1840 гг., как происходит эволюция Белинского к революционно-демократическому мировоззрению.

Разоблачая полицейско-крепостнические порядки, подавление свободной мысли, свирепствующую цензуру, добровольное холопство, невежество и другие стороны гнусной действительности 30-х годов прошлого века, Белинский призывает: «... Не любоваться... на нее, сложа руки, а действовать елико возможно, чтобы другие потом лучше могли жить, если нам никак нельзя было жить» \*\*.

Правда, методы, которыми Белинский предлагает бороться с полицейско-крепостническими порядками, — это не путь открытой политической борьбы, а «два средства: кафедра и журнал» \*\*\*, но в обстановке 40-х годов прошлого века это были почти единственно доступные Белинскому средства борьбы против царизма.

Изменение социально-политических взглядов Белинского и его переход к революционному демократизму отразили те процессы, которые происходили в русском обществе конца 30-х — начала 40-х годов прошлого века.

Рост возмущения крестьян крепостническим гнетом и появление в освободительном движении в России первых революционных разночинцев позволили Белинскому понять внутреннюю гнилость и обреченность царизма и убедиться в необходимости для России нового порядка и новой, революционной философской и социальной теории.

Отказываясь от реакционных выводов из гегелевской системы, от вытекающего из нее примирения с действительностью, Белинский остается верным духу диалектического метода Гегеля, «идее развития и отрицания».

Однако он начинает по-новому понимать действительность, обращаясь к идеям утопического социализма.

Подводя итоги философско-политической эволюции Белинского в 30-х годах, С. М. Киров в своей статье «Великий искатель» глубоко и правильно отметил:

«И если Фихте подсказал Белинскому отбросить окружающую действительность, как призрак, противоречащий идеалу, а Гегель преподавал свою сугубую абстракцию — «все действительное разумно, а все разумное действительно» — и заставил Белинского примириться с безотрадней русской реальностью, — то в том и другом случае успокоение было только временным, служило переходной ступенью от одного мировоззрения к другому...

Действительность — вот лозунг и последнее слово современного мира, — восклицает Белинский в своей «Речи о критике» (в 40-х годах). И, конечно, это не пошлая действительность фихтеанства и не гегелевская разумная действительность, — действительность Белинского покоится на идее социальности: «действительность возникает на почве, а почва всякой действительности — общество», — пишет он Боткину».

\*\*\*

Общественно-политическая и литературная деятельность В. Г. Белинского с 1841 г., после того как он резко осудил свое временное примирение с российской действительностью, проходила под знаком идей утопического социализма. Они нашли свое яркое выражение уже в письме

\* Белинский, Письма, т. II, стр. 132.

\*\* Там же, стр. 185.

\*\*\* Там же, стр. 192.

к В. П. Боткину 8 сентября 1841 г.: «Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой, — пишет Белинский. — Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству... Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими!» \*

Белинский мечтает о таком обществе, когда «женщина не будет рабою общества и мужчины», где «не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди» \*\*.

В своих требованиях Белинский идет дальше идеологов утопического социализма — Сен-Симона и Ш. Фурье, отрицавших необходимость политической борьбы для осуществления социалистических идеалов, и заявляет: «Смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови... Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов» \*\*\*. Он провозглашает, что начинает любить человечество по-маратовски и готов огнем и мечом истребить часть его, чтобы сделать счастливой другую его часть. Эти слова, которые Белинский имел возможность высказать только в письме своему ближайшему другу Боткину, — яркое проявление революционно-демократических политических убеждений, складывавшихся у Белинского, несмотря на утопический характер его социальных взглядов.

Белинский горько сетует на отсутствие в тогдашней России настоящего общества, основанного на движении промышленности, администрации, общественности, литературы, науки, т. е. таком движении, которое связано с развитием капитализма в странах Европы. Он, несомненно, был за буржуазно-демократический путь развития России, называл Францию, начавшую осуществлять буржуазно-демократические порядки, «Элладой нового мира», но в то же время ни на минуту не становился апологетом капитализма и горячо восставал против обратных сторон капиталистической цивилизации: безработицы, пауперизма и т. д.

Особенно яркая критика отрицательных сторон капиталистического общества дана Белинским в рецензии на книгу Э. Сю «Парижские тайны». Белинский ярко клеймит буржуазных либералов, которые, воспользовавшись результатами революции 1830 г., «по трупам ловко дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, благополучно стали греться около него, рассуждая о нравственности» \*\*\*\*.

Он блестяще вскрывает обратную сторону формально-правового равенства, которым так кичилась буржуазная демократия, и доказывает, что «от этого равенства пролетарию ничуть не легче. Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату» \*\*\*\*\*.

Но хотя Белинский здесь подходит к материалистическому объяснению общественных явлений, к пониманию того, что подлинное равенство людей не может быть достигнуто иначе, как уничтожением эксплуатации, тем не менее и здесь он остается утопическим социалистом.

В этой же рецензии он возлагает все надежды исключительно на передовых, образованных людей, способных поднять в обществе и в лите-

\* Белинский, Письма, т. II, стр. 266.

\*\* Там же, стр. 268.

\*\*\* Там же, стр. 259.

\*\*\*\* Белинский, Соч., т. VIII, стр. 471.

\*\*\*\*\* Там же.

ратуре голос в защиту страдающего народа. Пролетариат для него лишь наиболее страдающий и угнетенный класс общества, но не такая общественная сила, которая способна стать могильщиком капитализма и со-видателем социализма.

В период 1841—1845 гг. Белинский уже не мог безоговорочно разделять философско-историческую концепцию Гегеля и оправдывать все социальные несправедливости естественным ходом развития абсолютной идеи.

В это время Белинский ведет критику «абсолютных результатов» гегелевской философии, ее преклонения перед прусской конституционной монархией и т. д., так же как и критику российской действительности, прежде оправдываемой с позиций гегелевского идеализма. Эта критика идет в том направлении, в каком критиковали Гегеля левогегельянцы.

В рецензии на книгу Маркевича (1843) Белинский считает реакционные выводы, к которым пришел Гегель, изменой его своему диалектическому методу и требует возврата философии к жизни, к действительности.

Центральным пунктом его философских взглядов становится идея отрицания, находящая свое выражение в резкой критике отрицательных сторон действительности, в признании закономерности борьбы с ней.

1841—1845 годы были весьма плодотворным периодом литературной деятельности Белинского; они создали ему славу виднейшего литературного критика и продемонстрировали огромный авторитет, который он приобрел в передовых кругах русского общества после разрыва с примирением по отношению к гнусной российской действительности. Наиболее важные труды Белинского этого периода условно можно подразделить на четыре группы: 1) статьи, в которых Белинский излагает идеи диалектического идеализма и применяет их к области эстетики («Идея искусства», «Речи о критике», «Общее значение слова литература» и др.); 2) литературно-критические статьи, посвященные борьбе с полицейско-охранительным направлением в литературе и со славянофильством за создание подлинно народной литературы (статьи о Пушкине, годовые обзоры русской литературы и др.); 3) рецензии на труды по истории (Голикова, Бергмана, Лоренца, Маркевича, Смарагдова и др.), показывающие диалектический подход Белинского к явлениям западной и российской истории; 4) письма к друзьям и единомышленникам из западническо-просветительского лагеря, в которых Белинский смог более откровенно, чем в подцензурной печати, высказать свое подлинное отношение к царизму, сочувствие угнетенным массам, сформулировать идеи утопического социализма и революционной крестьянской демократии.

Во всех произведениях Белинского этого периода «ариадниной нитью», как он любил говорить, проходит «идея социальности», великой любви к человеку, непримиримой вражды ко всякому угнетению, трогательной заботы о счастье народов, о благе всего человечества.

В статьях о «Евгении Онегине» (1844) Белинский придерживается того социологического стедо, к которому он пришел на основе утопического социализма. Он пишет: «человек рождается не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия... его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе»\*.

Благо человека для Белинского — выше всего. Все, что ему мешает или не соответствует, — неразумно и должно быть отброшено. Но беда в том, что люди еще не согласились между собою в том, что считать добром и что злом. Путь к переустройству общества на разумных началах для Белинского попрежнему лежит в просвещении народа.

Но в своих социологических взглядах Белинский отнюдь не следует безоговорочно за учением идеологов утопического социализма, а делает к нему существенные революционно-демократические поправки.

\* Белинский, Соч., т. XII, под ред. В. С. Спиридонова, стр. 107.

Не ограничиваясь надеждами на социальное преобразование в результате просвещения народа, он и в подцензурных статьях пропагандирует свои сокровенные мысли о важности материальных интересов в общественной жизни и необходимости политической борьбы.

Белинский далек от феодальных и мелкобуржуазных форм социализма, проповедывавших возврат к отсталым, докапиталистическим формам хозяйства. Он не идеализирует отсталой крестьянской общины и понимает, что современная ему Россия уже становится на путь капиталистического развития.

Белинский далек также от того пренебрежения к борьбе за политическую власть, которое свойственно идеологам утопического социализма. Наоборот, он связывает создание нового, социалистического порядка с деятельностью демократической власти, создаваемой по типу Робеспьера и Сен-Жюста.

В статьях о «Евгении Онегине», разоблачая полицейско-охранительное направление в литературе и славянофильскую идеализацию отрицательных сторон тогдашней русской жизни, Белинский дает глубокое понимание русской народности.

Он с большим сарказмом клеймит идеологов аристократической знати, провозглашающих неизбежность и «естественную самобытность» патриархально-крепостнических порядков, считающих народными произведениями только те, где речь идет о курной избе или кулачных боях, и относящих «все лучшее и образованнейшее в русском обществе к чужому, не русскому».

Признавая братское содружество всех народов главным условием их процветания, Белинский ни на минуту не забывает о великом русском народе, о его прекрасных качествах и славном будущем. Он клеймит клеветнические измышления о русском народе и, полный любви к нему, пишет, что русская «национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума»\*.

Глубокая трактовка вопроса о народности, дышащая уверенностью в славном будущем великого русского народа и всего человечества, дана Белинским в рецензиях на труды Голикова и Бергмана, Лоренца, Маркевича и Смараглова по истории.

Несмотря на то, что общие философско-исторические основы взглядов Белинского, изложенные в этих рецензиях 1841—1845 гг., продолжают быть гегельянскими, в анализе исторической действительности Белинский проявляет большую самостоятельность и оригинальность мысли. Основной идеей этих рецензий является глубокое убеждение Белинского в том, что все недостатки и пороки людей вытекают из невежества и отсутствия просвещения, страстная надежда на то, что прогресс разума, успехи просвещения и зависящий от них, по мнению Белинского, материальный прогресс превратят людей в «братьев по духу», осуществят тот идеал общественного равенства, о котором он мечтал.

Белинский и здесь выступает как непримиримый противник застоя, как поборник «идеи отрицания», но такого отрицания, которое сохраняло бы все лучшие результаты предшествующего развития.

Под прогрессом общества, под развитием цивилизации Белинский разумет не только умственное движение, прогресс образования, науки и т. д.

Так, в 1844 г., в рецензии на книгу Смараглова о новой истории он говорит о великом нравственном значении материальных факторов общественной жизни, например железных дорог, кроме их великого материального значения, как средства к усилению материального благосостояния общества. По Белинскому, «историк должен показать, что исходный пункт нравственного совершенства есть прежде всего материальная потребность, и что материальная нужда есть великий рычаг нравственной деятельности»\*\*.

\* Белинский, Соч., т. XII, стр. 266.

\*\* Там же, стр. 463.

Осуждая скептицизм и агностицизм, считая величайшей слабостью ума недоверие к силам человеческого разума, Белинский провозглашает, что хотя разум человека, каким бы великим он ни был, ограничен известными пределами, но зато безграничен разум человечества.

Он полагает, что великие люди в истории действуют не по произволу, а их воля и действия «ограничены» духом времени, страны и потребностями настоящей минуты».

Это еще раз показывает, что Белинский, развивавший революционный и критический метод — диалектику, шел дальше Гегеля, не мирясь с тем, что достигнуто обществом, и требовал постоянного материального и духовного прогресса, движения к такому обществу, которое сделало бы всех людей равными и счастливыми.

Белинский, недовольный результатами, к которым пришел Гегель в своей философии, идет в своем развитии в том же направлении, что и вышедший из левогегельянской школы Л. Фейербах.

\* \* \*

В статьях, помещенных в «Петербургском сборнике» (1846) и в «Современнике» в последнее трехлетие его жизни (1846—1848), Белинский выступает уже как убежденный материалист фейербахианского направления и демократический борец против российских крепостнических порядков.

Отход от идеализма к материализму наметился у Белинского еще в предшествующий период его деятельности, в 1843—1845 гг.

Уже в статье «Общее значение слова литература» (1842) он говорит о равноправности материального процесса жизни («родиться, есть, пить и умирать») и духовного процесса («мыслить и знать»).

В 1843 г. в рецензии на книгу Маркевича Белинский приветствует то направление среди левогегельянцев, которое «от Гегеля возвращается в жизнь».

В статьях о «Евгении Онегине» (1844—1845) Белинский, не удовлетворявшийся абстрактно-теоретическими, спекулятивными схемами немецкой идеалистической философии, говорит о том, что у всякого народа две философии: одна — ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная; он тянется к материализму, как к философии практической жизни; его симпатии на стороне материализма. В тех же статьях Белинский поднимается до материалистического утверждения, что поведение людей и их деятельность вытекают из их потребностей, «указываемых самою действительностью, а не теорией». Потребности человека Белинский понимает, конечно, по-фейербахиански, как потребности, вытекающие из физиологической природы человека.

В 1844—1845 гг. Белинский, все более переходивший в политике на позиции революционной крестьянской демократии, вплотную подходит к материализму. Вопреки утверждениям Плеханова можно считать доказанным, что немалую роль в переходе Белинского к материалистической философии и к революционному демократизму в политике оказало влияние А. И. Герцена, с которым Белинский вел оживленную переписку. К сожалению, до нас не дошли два «письма-диссертации» Белинского, отправленные им Герцену и посвященные философским вопросам (о них Белинский упоминает в своем письме).

Чудовищным извращением философско-политической эволюции Белинского и его мировоззрения является утверждение асеровского фальсификатора истории русской общественной мысли Иванова-Разумника о том, что Белинский будто бы перешел под конец своей жизни к позитивизму О. Конта. Это утверждение может быть опровергнуто письмом самого Белинского В. П. Боткину от 17 февраля 1847 г., где он резко критикует идеалистическую, претенциозную и вместе с тем нелепую теорию Конта о том, что «природа несовершенна и могла бы быть совершеннее». Он противопоставляет вульгарному натурализму Конта верную материалистическую

мысль о том, что «духовную природу человека не должно отделять от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно отличать от нее, как область анатомии отличают от области физиологии»\*.

Белинский в противоположность Конту отстаивает необходимость особой философской науки, логики, предмет которой отличен от предмета физиологии, и считает, что корень логики — в земле и порождаемых ею предметах.

В работах Белинского 1846—1848 гг. дано уже материалистическое разрешение как основного философского вопроса, так и ряда других философских проблем.

Так, в рецензии на книгу Постельса (1847) Белинский высказывает весьма близкий к фейербахианскому взгляд на соотношение бытия и мышления, утверждая, что из самой природы человека вытекает необходимость наглядного представления действительности и что «самые отвлеченные умственные представления все-таки суть не иное что, как результат деятельности мозговых органов, которым присущи известные способности и качества»\*\*. Хотя Белинский дает в этой рецензии несколько упрощенное решение вопроса о «гнезде мыслительной деятельности», но в то же время приходит к правильному выводу о примате деятельности человека над его мышлением, сознающим эту деятельность.

В годичном обзоре русской литературы за 1846 г. Белинский ярко выразил свое согласие с теорией познания Фейербаха.

Он высмеивает там тех, кто, «вечно живя в логических фантазиях», привык презирать наше тело»; он считает, что «психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии»\*\*\*.

На базе философского материализма Белинский закладывает основы реалистической эстетики. Он определяет, что «искусство есть воспроизведенный, как будто бы вновь созданный мир», и считает его задачей воспроизведение жизни, действительности в их истине. Но, воспроизводя действительность, искусство должно высказывать активное суждение о ней, выносить свой приговор в отношении изображаемых им явлений и тем самым воздействовать на жизнь общества. И в этом отношении Белинский идет дальше своего учителя Фейербаха.

Однако, разделяя материалистическую философию Фейербаха, Белинский несвободен и от той ограниченности и созерцательности, которая ей присуща.

Он говорит о человеке вообще, выводя из его физиологической жизни всю умственную деятельность и нравственные качества; ум для него — «человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело»\*\*\*\*.

Белинский-материалист, подобно Фейербаху, не доходит до понимания того, что общественный человек — продукт общественных отношений. Источник всякого прогресса, всякого движения вперед, так же как и источник косности и неподвижности Белинский видит не во внутренне противоречивом общественном развитии, не в классовой борьбе, а в человеческой натуре. Борьба нового со старым переносится Белинским внутрь человеческого сознания, принимает вид борьбы разума с предрассудками.

Но в противоположность Фейербаху, отбросившему вместе со спекулятивным духом гегелевской системы абсолютного идеализма и величайшее приобретение немецкой классической философии — диалектический метод, Белинский стоит за его сохранение, за оплодотворение этого метода действительностью, жизнью. Диалектическое развитие в природе, обществе и в человеческой мысли никогда и ни на чем остановиться не может.

\* Белинский, Письма, т. III, стр. 175.

\*\* Белинский, Соч., т. X, стр. 509.

\*\*\* Там же, стр. 406.

\*\*\*\* Там же, стр. 407.

Белинский пишет в рецензии на книгу Смарагдова, что «нелепо было бы думать, что теперь развитие должно остановиться, потому что дошло до самой крайней степени и дальше идти не может. Нет предела развитию человечества, и никогда человечество не скажет себе: «стой! довольно, больше идти некуда!»

В рецензии на книгу Лоренца Белинский подчеркивает, что поступательное движение общества вперед совершается по спирали.

«...Нет лжи для человечества, — пишет он, — но есть только старая истина, которая, разрушаясь, рождает из себя новую, высшую истину, подобно фениксу, в новой красе возрождающемуся, по восточному преданию, из собственного пепла... Человечество движется не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от этой истины, но поворота не вверх, а вниз, чтобы очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше прежней, и потом опять идти, *понижаясь*, кверху».

Исследуя общественно-исторический процесс, в частности историю литературы, Белинский в ряде вопросов приближается, подходит к материалистическому пониманию истории. Так, он высказывает материалистические догадки о зависимости истории каждого народа от «внешних обстоятельств», т. е. от географических, климатических и в особенности от социально-исторических условий.

Белинский подходит и к материалистическому пониманию роли личности и народных масс в истории. Он говорит, что народ — не утлая ладья, которую каждый может направлять легоньким движением своего весла.

«Народ, — пишет он, — дитя; это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества».

В статье «Мысли и заметки о русской литературе» Белинский доходит до признания классового деления общества, до признания, как «велико разъединение, царствующее между представителями разных классов одного и того же общества»\*.

Он совершенно справедливо видит путь к уничтожению сословного деления, к уничтожению феодальных перегородок в развитии железных дорог, в развитии промышленности.

Высмеивая идеалистический взгляд на общественно-исторический процесс славянофилов, которые «процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета, и находя листья безвкусными, объявляют плод гнилым»\*\*, он твердо уверен, что Россия должна, полностью очистившись от крепостнической скверны, стать в ряды передовых стран и ликвидировать свою вековую отсталость. Белинский думал, что на этом пути лежит такой результат процесса развития, который будет близок к его идеалу счастливой, братской жизни человечества, и пламенно стремился к тому, чтобы на его родине впервые был осуществлен идеал человечества, т. е. новый, социалистический порядок.

«Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль, — пророчески писал он, — но какое это слово, какая мысль, — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий, напряженного разгадывания; потому что это слово, эта мысль будет сказана ими»\*\*\*.

Так же как и в предшествующий период своей деятельности, Белинский не становится эпологетом капитализма и мастерски обнажает неизлечимые язвы капиталистического строя.

\* Белинский, Соч., т. X, стр. 131.

\*\* Там же, стр. 400.

\*\*\* Там же, стр. 401.

Выступая против славянофилов, критиковавших капиталистическую цивилизацию с позиций защиты отживавших феодально-крепостнических порядков, Белинский не был согласен и с буржуазно-либеральными представителями западничества, среди которых оказались его друзья Боткин и Анненков.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» он считает неправильным взгляд, что вся «соль земли» заключается только в «богатых капиталистах», в крупной буржуазии, тогда как, по мнению Белинского, надо говорить о всей массе этого «сословия», т. е. о крестьянах, ремесленниках, торговцах и т. д.

Особенно ярко сказывается ненависть Белинского к последствиям капиталистической эксплуатации и диктатуре реакционной буржуазии в письмах Боткину 1847—1848 гг., носящих следы тех впечатлений, которые вынес Белинский из поездки по капиталистической Европе в 1847 г.

Он признает закономерность и необходимость наступления капитализма и замены господства феодалов властью буржуазии, но подходит как к капитализму, так и к буржуазии исторически: буржуазия, идущая к власти, и буржуазия, укрепившаяся у власти, для него не одно и то же.

«Я понимаю, — пишет он Боткину, — что буржуазии (французское произношение слова «буржуазия». — М. И.) явление не случайное, а вызванное историей, что она явилась не вчера, словно гриб выросла, и что, наконец, она имела свое великое прошедшее, свою блестящую историю, оказала человечеству величайшие услуги... Буржуазии в борьбе и буржуазии торжествующая — не одна и та же... начало ее движения было непосредственное... тогда она не отделяла своих интересов от интересов народа... Я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов...»\*. Но тем не менее Белинский признает, что прогресс гражданского развития в России начинается с преобразования феодального строя в капиталистический, с превращения русского дворянства в буржуазию, ибо капитализм он справедливо признает более прогрессивным строем, чем крепостничество.

Жестоко бичуя диктатуру крупной буржуазии, установившуюся после подавления революции 1848 г., Белинский выступает как идеолог мелкобуржуазной революционной демократии. «Не на буржуазию вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции», — пишет он, разъясняя, что буржуазия бывает всякая, ибо в нее входят «буржуа и огромные капиталисты, управляющие так блистательно судьбами современной Франции, и всякие другие капиталисты и собственники, мало имеющие влияние на ход дел и мало прав, и, наконец, люди, вовсе ничего не имеющие, т. е. стоящие за цензом»\*\*.

Невыносимый гнет капиталистической эксплуатации на Западе заставляет Белинского считать, что даже бедность и угнетенное положение крепостных крестьян в России легче, чем пауперизм и «безвыходность из вечного страха смерти», на которые обречены пролетарии.

За эти слова Белинского не раз цеплялись злейшие враги марксизма — народники и их эпигоны — эсеры, утверждая, что под влиянием наблюдений за западноевропейской жизнью как Герцен, так и Белинский становятся славянофилами в социальном вопросе, выступают против развития капитализма в России и чуть ли не идеализируют самобытные устои русской жизни.

В действительности же Белинский ни на минуту не переходил на точку зрения славянофильства и до самой своей смерти боролся с ними. Он разоблачал идеализацию самобытных устоев русской жизни, выступал за замену крепостничества капитализмом и понимал, что неизбежными последствиями этого будут: появление пролетариата, установление буржуазной демократии и т. д. Но Белинский, считая капитализм плодотворным напра-

\* Белинский, Письма, т. III, стр. 327—329.

\*\* Там же, стр. 328.

влением в обществе, не считал его блестящим направлением, способным разрешить «новые вопросы».

В письме Боткину (декабрь 1847 г.) он прямо пишет, что промышленность не только источник великих зол, но и источник великих благ для общества, и что «государство без среднего класса», т. е. государство, сохраняющее феодальные порядки, обречено быть ничтожеством.

Резко критикуя «торжествующую буржуазию» и разоблачая лживость буржуазной демократии в Западной Европе, Белинский полагает, что капитализм для России был бы огромным шагом вперед и позволил бы ликвидировать ее крепостническую отсталость. Однако, как идеолог мелкобуржуазной революционной демократии, он настаивает на переходе власти в руки всего «третьего сословия», полагая, что при этом условии будет возможен переход от капитализма к высшему, справедливому, социалистическому строю.

Настоящее равенство в обществе может быть, по Белинскому, достигнуто лишь тогда, когда будет уничтожено господство буржуазии, которую он называет «сифилитической раной» на теле общества.

Во всех работах Белинского в 1846—1848 гг. гораздо более рельефно и выпукло, чем в предшествовавшие годы, выступает революционно-демократическая сущность его мировоззрения.

В конденсированном виде идеи революционной мелкобуржуазной демократии выражены Белинским в его знаменитом «Письме к Гоголю» от 15 июля 1847 г., подводящем итог литературной деятельности Белинского и ставшем, по словам Ленина, образцом для произведений бесцензурной демократической печати на многие десятилетия борьбы с царизмом и крепостничеством.

Разоблачая Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» за преклонение перед гнусной действительностью царской России, Белинский яркими штрихами рисует ужасающую картину гнета, нищеты и бесправия в крепостной России. «Она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей»\*.

Белинский противопоставляет всему реакционному лагерю, от полицейско-охранительного направления до славянофилов включительно, программу революционной демократии: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиятизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение»\*\*. Отсюда вытекают и практические, социально-политические требования Белинского, его программа-минимум: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, ликвидация полицейско-чиновничьего произвола путем установления новых законов и строгого выполнения их.

В этих сокровенных мыслях Белинского как нельзя лучше отразились настроения и надежды крепостных крестьян, измученных вековым гнетом и мечтавших о восстановлении элементарных человеческих прав, поправных крепостническим режимом.

Несомненной ошибкой Белинского в «Письме к Гоголю» было противопоставление мифической личности Христа, который якобы «первый воз-

\* Белинский, Письма, т. III, стр. 231.

\*\* Там же.

вестил людям учение свободы, равенства и братства»\*, православной церкви, которую Белинский совершенно справедливо расценивал как «опору кнута» и «угодницу деспотизма». Но не в этом суть письма.

Отражая настроения крепостных крестьян, Белинский мечтал об уничтожении крепостничества и призывал передовых, образованных людей общества, сочувствовавших народу, нести в народные массы цивилизацию, просвещение, пробуждать в них чувство человеческого достоинства и ненависти к угнетателям.

Та революционная оппозиция самодержавию, православию и великодержавному гнету, которая в 40-х годах, при жизни Белинского, была лишь в зародыше, к 60-м годам выросла в движение революционных разночинцев, революционных демократов во главе с Н. Г. Чернышевским, в движение, написавшее на своих знаменах идеи крестьянской революции; они шли по стопам Белинского, и пламенные слова его замечательного «Письма к Гоголю» зажгли в них огонь непримиримой борьбы против всех и всяких проявлений крепостничества.

\* \* \*

Подобно Фейербаху и утопическим социалистам, влияние которых испытал на себе Белинский, он не вышел за пределы идеалистического понимания истории. Даже в последних своих работах («Взгляд на русскую литературу 1847 года») он рассматривает сущность общественного человека как нечто неизменное, застывшее и нуждающееся лишь в освобождении от «загрязняющих влияний» общества, видит коренную причину прогресса общества в покорении природы человеческим духом и двигателем этого прогресса считает великих людей.

Придавая огромное значение материальным условиям общественной жизни и признавая факт разъединения классов, Белинский, однако, не считал борьбу классов основной движущей силой истории общества.

В обществе, по мнению Белинского, идет борьба между представителями прогресса, носителями новых, разумных идеалов и защитниками старых, отживших идей и предрассудков, сторонниками консерватизма; не только правящие круги, но и массы, по Белинскому, нередко оказываются среди последних.

Уже это говорит о том, что Белинский не пришел в результате своей философско-политической эволюции к диалектическому материализму и научному социализму. Но это было неизбежно в 40-х годах прошлого века в стране, где господствовало крепостничество, где народные массы были забиты и политически отсталы, где почти отсутствовал пролетариат — единственная сила, способная возглавить революционную борьбу крестьянства против государства крепостников-помещиков. Это было тогда, когда и в Западной Европе пролетариат еще не стал «классом для себя» и не выступил еще открыто против буржуазии.

Однако было бы неправильно отрицать влияние ранних работ Маркса и Энгельса, становившихся в 1843—1844 гг. диалектическими материалистами, на мировоззрение Белинского в последний период его жизни.

Уже в письме к А. И. Герцену 26 января 1845 г. Белинский пишет: «Кетчер писал тебе о Парижском Ярбюхере, и что будто я от него воскрес и переродился. Вадор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел, — и все тут. Истину я взял себе, — и в словах *бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал!»\*\*

\* Белинский, Письма, т. III, стр. 232—233.

\*\* Там же, стр. 87.

Речь здесь идет о «Немецко-французских летописях» (Deutsch-Französische Jahrbücher), в которых Белинский прочел статьи К. Маркса «К еврейскому вопросу» и «К критике гегелевской философии права». В библиотеке Белинского, перешедшей после его смерти к И. С. Тургеневу и хранящейся ныне в Тургеневском музее (Орел), находится этот номер «Немецко-французских летописей» с пометками Белинского. Белинский в письме Герцену сетует на то, что он мог прочесть лишь одну эту «тетрадку» и что, самое главное, он не может обнародовать высказанных в ней мыслей. Вместе с тем он выражает согласие с той блестящей критикой религии и других устоев эксплуататорского общества, которую дает в своих ранних работах Карл Маркс.

Мало этого, Белинский в отдельных своих предсмертных работах использует марксову критику буржуазного государства, права и религии.

Мы уже говорили о той критике капиталистической эксплуатации и реакционного буржуазного государства, которая дана Белинским в его письмах к Боткину в 1847 г. Влияние Маркса на Белинского сказалось и в рецензии Белинского на книгу Григорьева «Еврейские секты в России»\*.

Под влиянием мыслей, выраженных в статьях Маркса, помещенных в «Немецко-французских летописях», Белинский пишет в этой рецензии: «В религиозном завете предстают ярко и выпукло те положения общественной жизни, с которыми люди никогда не могли примириться, но которым те же люди покорялись, — положения, которых нельзя вывести из свойств человеческой природы, в то же время нельзя не признать за факты; поэтому критика религиозного законодательства многих народов есть в то же время и критика общественного устройства; в нем лежит залог, причина многих неразрешимых, аномальных условий общественной жизни».

Это показывает, что Белинский, вслед за Марксом, считал, что «борьба против религии есть косвенно борьба против *того мира*, духовным *ароматом* которого является религия»\*\*.

Белинский понимал ограниченность материализма Фейербаха и идеалистическую абстрактность диалектики Гегеля, но не смог переработать их для создания новой философской системы.

Однако, он был уверен, что такая система будет создана.

«Метафизику к чорту, — писал он в 1847 г.: — это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и мысль и слово. Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований — цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического. Освободить науку от призраков трансцендентализма и *théologie*, показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического, — вот, что сделает основатель новой философии, и вот, чего не сделает Конт»\*\*\*.

Этой новой логикой стал диалектический материализм, и его основателями были Маркс и Энгельс.

В. Г. Белинский, бывший предшественником и зачинателем передового для того времени революционно-демократического движения, в силу отсталости тогдашней русской жизни, не был и не мог стать в 40-х годах XIX в. диалектическим материалистом, идеологом революционного пролетариата, сформировавшегося в России только к концу XIX в.

\* Входит в подготовленный В. С. Спиридоновым к печати XIII том Полного собрания сочинений В. Г. Белинского.

\*\* Маркс и Энгельс, Соч., т. I, К критике гегелевской философии права, стр. 385.

\*\*\* Белинский, Письма, т. III, стр. 375.

Несмотря на это, страстная и непримиримая вражда Белинского к крепостничеству, к самодержавно-полицейскому режиму, к его прислужнице — церкви, его блестящая критика капиталистической эксплуатации и реакционной политики буржуазного государства на Западе, его глубокая вера в славную будущность великого русского народа и наступление строя, в котором обретет свое счастье все человечество, ставит его в почетный ряд предшественников российской социал-демократии.

Великий советский народ в 1940 г. с гордостью вспоминает замечательное предсказание Белинского, относящееся к 1840 г.:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-м году — стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке, и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества» \*.

Проф. М. Иовчук

---

\* Белинский, Соч., т. XII, стр. 224.

---

**ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ**

**1834 — 1836 г.г.**

---

---

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Элегия в прозе)<sup>1</sup>

Я правду о тебе порасскажу такую,  
Что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую:  
Как этаких людей учтивее зовут?...

«Горе от ума»

Грибоедов.

Есть ли у вас хорошие книги? — Нет,  
но у нас есть великие писатели. —  
Так, по крайней мере, у вас есть  
словесность? — Напротив, у нас есть  
только книжная торговля.

Барон Брамбеус.

Помните ли вы то блаженное время, когда в нашей литературе пробудилось было какое-то дыхание жизни, когда появлялся талант за талантом, поэма за поэмою, роман за романом, журнал за журналом, альманах за альманахом; то прекрасное время, когда мы так гордились настоящим, так лелеяли себя будущим и, гордые нашей действительностию, а еще более сладостными надеждами, твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Шиллеров, Вальтер-Скоттов? Увы! где ты, о *bon vieux temps*<sup>2</sup>, где вы, мечты отрадные, где ты, надежда-обольститель! Как все переменилось в столь короткое время! Какое ужасное, раздирающее душу разочарование после столь сильного, столь сладкого обольщения! Подломилась ходулька наших литературных атлетов, рухнули соломенные подмости, на кои, бывало, карабкалась золотая посредственность, а вместе с тем умолкли, заснули, исчезли и те немногие и небольшие дарования, которыми мы так обольщались в время оно. Мы спали и видели себя Крезами, а проснулись Ирами! Увы! как хорошо идут к каждому из наших гениев и полугениев сии трогательные слова поэта:

Не расцвел и отцвел  
В утре пасмурных дней!<sup>3</sup>

Да — прежде и ныне, тогда и теперь! Великий боже!.. Пушкин, поэт русский по преимуществу, Пушкин, в сильных и мощных песнях которого впервые пахнуло веяние жизни русской, игривый и разнообразный талант которого так любила и лелеяла Русь, к гармоническим звукам которого она так жадно прислушивалась и на кои отзывалась с такою любовью, Пушкин, автор «Полтавы» и «Годунова» — и Пушкин, автор «Анжело» и других мертвых, безжизненных сказок<sup>4</sup>... Козлов, задумчивый певец страданий чернеца, стоивших стольких слез прекрасным читательницам, этот слепец, так гармонически передававший нам бывало свои роскошные видения, и Козлов — автор баллад и других стихотворений, длинных и коротких, напечатанных в «Библиотеке для Чтения», и о коих только и можно сказать, что в них *все обстоит благополучно*, как уже было замечено в «Молве»!.. Какая разница!.. Много бы, очень много, могли мы прибавить здесь таких печальных сравнений, таких горестных контрастов, но... словом, как говорит Ламартин:

Les dieux étaient tombés, les trônes étaient vides<sup>5</sup>.

Какие же новые боги заступили вакантные места старых? Увы, они сменили их, не заменив! Прежде наши Аристархи<sup>6</sup>, заносившиеся юными надеждами, всех обольщавшими в то время, восклицали в чаду детского простодушного упоения: *Пушкин — Северный Байрон, представитель современного человечества!* Ныне на наших литературных рынках наши неутомимые герольды вопиют громко: *Кукольник, великий Кукольник, Кукольник — Байрон, Кукольник — отважный соперник Шекспира!*<sup>7</sup> *На колена перед Кукольником!*\* Теперь Баратынских, Подолинских, Языковых, Туманских, Ознобишиных сменили гг. Тимофеевы, Ершovy; на поприще их замолкнувшей славы величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Калашниковы, по пословице: на безлюдии и Фома дворянин. Первые или подчуют нас изредка старыми погудками на старый же лад, или хранят скромное молчание; последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения, в похвалах корифеям нашей поэзии: это наш давнишний порок; по крайней мере, прежде причиною этого было невинное обольщение, происходившее из благородного источника — любви к родному; ныне же решительно все основано на корыстных расчетах; сверх того, прежде еще и было чем похвастаться; ныне же... Отнюдь не думая обижать прекрасный талант г-на Кукольника, мы все-таки не запинаясь можем сказать утвердительно, что между Пушкиным и им, г-ном Кукольником, пространство неизмеримое, что ему, г-ну Кукольнику, до Пушкина:

Как до звезды небесной далеко!

\* «Библиотека для Чтения» и Инвалидные прибавления к литературе<sup>8</sup>.

Да — Крылов и г. Зюлов, «Юрий Милославский» Загоскина и «Черная женщина» г-на Греча, «Последний новик» Лажечникова и «Стрельцы» г-на Масальского и «Мазепа» г-на Булгарина, повести Одоевского, Марлинского, Гоголя — и повести, с позволения сказать, г-на Брамбеуса!!!... Что все это означает? Какие причины такой пустоты в нашей литературе? Или и в самом деле — *у нас нет литературы?*..

(Продолжение обещано.)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

Pas de grâces!

H u g o, Marion de Lorme<sup>9</sup>.

*Да — у нас нет литературы!*

«Вот прекрасно! вот новость!» слышу я тысячи голосов в ответ на мою дерзкую выходку<sup>10</sup>. — А наши журналы, неусыпно подвизающиеся за нас на ловитве европейского просвещения, а наши альманахи, наполненные гениальными отрывками из недоконченных поэм, драм, фантазий, а наши библиотеки, битком набитые многими тысячами книг российского сочинения, а наши Гомеры, Шекспиры, Гете, Вальтер-Скотты, Байроны, Шиллеры, Бальзаки, Корнели, Мольеры, Аристофаны? Разве мы не имеем Ломоносова, Хераскова, Державина, Петрова, Дмитриева, Карамзина, Крылова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Баратынского и пр. и пр.? А! что вы на это скажете?»

А вот что, милостивые государи: хотя я и не имею чести быть бароном, но у меня есть своя фантазия<sup>11</sup>, вследствие которой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря на то, что наш Сумароков далеко оставил за собою в трагедиях господина Корнеля и господина Расина, а в притчах — господина Лафонтена; что наш Херасков, в прославлении на лире громкой славы россов, сравнялся с Гомером и Виргилием и под щитом Владимира и Иоанна<sup>12</sup> подобру и здорову пробрался во храм бессмертия\*, что наш *Пушкин* в самое короткое время успел стать наряду с Байроном и сделаться представителем человечества; несмотря на то, что наш неистощимый Фаддей Венедиктович Булгарин, истинный бич и гонитель злых пороков, уже десять лет доказывает в своих сочинениях, что не годится плутовать и мошенничать человеку *comme il faut*, что пьянство и воровство суть грехи непростительные, и который своими нравоописательными и нравственно-сатирическими (не правильнее ли

\* То-есть во «Всеобщую историю» г-на Кайданова.

*полицейскими*) романами и народно-юмористическими статейками на целые столетия двинул вперед наше *гостеприимное* отечество по части нравоисправления<sup>13</sup>, несмотря на то, что наш юный лев поэзии, наш могущественный Кукольник, с первого прыжка догнал всеобъемлющего исполина Гете<sup>14</sup> и только со второго поотстал немного от Крюковского, несмотря на то, что наш достопочтенный Николай Иванович Греч (вкуче и влюбче с Фаддеем Венедиктовичем) разанатомировал, разнял по суставам наш язык и представил его законы в своей тройственной грамматике — этой истинной скинии завета, куда, кроме его, Николая Ивановича Греча, и друга его, Фаддея Венедиктовича, еще доселе не ступала нога ни одного профана<sup>15</sup>; тот Николай Иванович Греч, который во всю жизнь свою не делал грамматических ошибок и только в своем дивном поэтическом создании — «Черная женщина» — еще в первый раз, по улике чувствительного князя Шаликова, поссорился с грамматикой, видно, увлекшись слишком разыгравшеюся фантазией; несмотря на то, что наш г. Калашников заткнул за пояс Купера в роскошных описаниях безбрежных пустынь русской Америки — Сибири, и в изображении ее диких красот; несмотря на то, что наш гениальный Барон Брамбеус своею толстою *фантастическою* книгою на смерть приشلепнул Шамполиона и Кювье<sup>16</sup>, двух величайших шарлатанов и надувателей, которых невежественная Европа имела глупость почитать доселе великими учеными, а в едком остроумии смял под ноги Вольтера, первого в мире остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убедительное и красноречивое опровержение нелепой мысли, будто у нас нет литературы, опровержение, так умно и сильно провозглашенное в «Библиотеке для Чтения» глубокомысленным азиатским критиком Тютюнджи-Оглу<sup>17</sup>; — несмотря на все это, повторяю: *у нас нет литературы!*.. Уф! устал! Дайте перевести дух — совсем задохнулся!.. Правда, от такого длинного периода поперхнется в горле даже и Барона Брамбеуса, который и сам мастак на великие периоды...

Что такое литература?

Одни говорят, что под литературою какого-либо народа должно разуметь весь крут его умственной деятельности, проявившейся в письменности. Вследствие сего, нашу, например, литературу составят «История» Карамзина и «История» гг. Эмина и С. Н. Глинки, исторические розыскания Шлецера, Эверса, Каченовского и статья г. Сенковского об «Исландских сагах», физики Велланского и Павлова и «Разрушение Коперниковой системы» с брошюркою о *клопах и тараканах*; «Борис Годунов» Пушкина и некоторые сцены из исторических драм *со штыми* и *анисовкою*, оды Державина и «Александроида» г. Свечина и пр. Если так, то у нас есть литература и литература богатая громкими именами и не менее того громкими сочинениями.

Другие под словом литература понимают собрание известного числа изящных произведений, то-есть, как говорят французы, *chef d'oeuvres de littérature*<sup>18</sup>. И в этом смысле у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоевского и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых художественных произведений, хотя народных песен? Удивительно ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю Европу, а народонаселением каждое европейское государство, отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской империи явилось людей с талантами более, нежели, например, в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных землях? Все это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь не следует, чтобы у нас была литература.

Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных соданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнь которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может быть скачков: напротив, в ней все последовательно, все естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. Такая литература не может в одно и то же время быть и французскою, и немецкою, и английскою, и итальянскою. Это мысль не новая: она давно была высказана тысячу раз. Казалось бы, не для чего и повторять ее. Но увы! Как много есть пошлых истин, которые у нас должно твердить и повторять каждый день во всеуслышание! У нас, у которых так зыбки, так шатки литературные мнения, так темны и загадочны литературные вопросы; у нас, у которых один недоволен второю частию «Фауста», а другой в восторге от «Черной женщины», один бранит кровавые ужасы «Лукреции Борджиа», а тысячи улаживают себя романами гг. Булгарина и Орлова; у нас, у которых публика есть настоящее изображение людей после Вавилонского столпотворения, где

наконец, у нас, у которых так дешево продаются и покупаются лавровые венки гения, у которых всякая смышленность, вспомоществуемая дерзостью и бесстыдством, приобретает себе громкую известность, нагло ругаясь над всем святым и великим человечества под какую-нибудь баронскую маскою; у нас, у которых купчая крепость на целую литературу и всех ее гениев доставляет тысячи подписчиков на иной торговый журнал; у нас, у которых нелепые бредни, воскрешающие собою позабытую ученость Тредьяковских и Эминых, громогласно объявляются *всемирными* статьями, долженствующими произвести решительный переворот в русской истории?..<sup>19</sup> Нет: пиши, говори, кричи всякий, у кого есть хоть сколько-нибудь бескорыстной любви к отечеству, к добру и истине; не говорю *познаний*, ибо многие печальные опыты доказали нам, что в деле истины познания и глубокая ученость совсем не одно и то же с беспристрастием и справедливостью...

Итак, оправдывает ли наша словесность последнее определение литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот вопрос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения.

(Следующий листок покажет.)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

La verité! la verité! rien plus que la verité!<sup>20</sup>

— «Как, что такое? Неужели обозрение?» спрашивают меня испуганные читатели.

Да, милостивые государи, оно хоть и не совсем обозрение, а похоже на то. Итак — *silence!*<sup>21</sup> Но что я вижу? Вы морщитесь, пожимаете плечами, вы хором кричите мне: «Нет, брат, стара шутка — не надуешь... Мы еще не забыли и прежних обозрений, от которых нам жутко приходилось! Мы, пожалуй, наперед прочтем тебе наизусть все то, о чем ты нам будешь проповедовать. Все это мы и сами знаем не хуже тебя. Ведь ныне не то, что прежде; тогда хорошо было вашей братии, непризванным обозревателям, морочить нас, бедных читателей, а теперь всякий обзавелся своим умишком и в состоянии толковать вкось и вкривь о том и о сем...»<sup>22</sup>

Что мне отвечать вам на это неизбежное приветствие?.. Право, ума не приложу... Однако ж... прочтите, хоть так, от скуки — ведь ныне, знаете, нечего читать, так оно и кстати... Может быть — (ведь чем чорт не шутит!) — может быть, вы найдете в моем кратком — (слышите ли — *кратком!*) — обзоре, если

не слишком хитрые вещи, то и не слишком нелепые, если не слишком новые, то и не слишком истертые... Притом же ведь чего-нибудь да стоят правда, беспристрастие, благонамеренность... Что, не верите? — Отворачиваетесь от меня, качаете головой, машете руками, затыкаете уши?.. Ну, бог с вами: божиться не стану, хотите читайте, хотите нет; ведь и то сказать: вольному воля!.. А, впрочем, что же я расторговался с вами? Нет — прошу не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем же грамоте учились? Итак, благословясь, к делу!

Вы, почтенные читатели, может быть, ожидаете, что я, по похвальному обычаю наших многоученных и досужих аристархов<sup>23</sup>, начну мое обозрение с начала всех начал — с яиц Леды, дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание мира, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое переселение народов, Атилла, рыцарство, крестовые походы, изобретение компаса, пороха, книгопечатание, открытие Америки, реформация, тридцатилетняя война и пр. и пр.? Вы, может статься, уже и не на шутку струхнули, ожидая, что я, без всякой вежливости, схвачу вас за ворот, потащу на пароход «Джон-Буль» и на нем, как на волшебном ковре-самолете, полечу прямо в Индию, в эту дивную родину человечества, в эту чудную страну Гималаев, слонов, тигров, львов, удавов, обезьян, золота, каменьев и холеры; вы, может быть, думаете, что я изложу вам содержание «Рамаяны» и «Махабгараты», разберу неподражаемые красоты «Саконталы», обнаружу перед вами все богатство этой многосложной и роскошной мифологии жрецов Магадевы и Шивы и распространюсь кстати о поразительном сходстве санскритского языка с славянским? Нет, милостивые государи, не обманывайте себя столь лестною надеждою; она не сбудется, и, кажется, на вашу же радость; ибо — признаюсь вам откровенно — священные писмена Вед для меня сущая тарабарская грамота, а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах. Не ожидайте также, чтобы с берегов священного Гангеса я повел вас на цветущие берега Тигра и Евфрата, где младенец-человек разбил идолов и поклонился огню; не ждите, чтобы дерзкою рукою стал я срывать девственный покров с тайств древних магов или жрецов Озириса и Изиды на берегах многоводного Нила; не думайте, чтобы я завел вас мимоходом в пустыни Аравийские, чтобы на песчаном океане, у журчащего источника, под сению широколиственной пальмы, объяснить вам седьмь славных Моаллакат. Правда, дорога в эти страны мне известна не меньше всех наших обозревателей; но боюсь पुस्कаться с вами в такую даль: жалко вас — неравно устанете или собьетесь с пути. Не более того услышите от меня о Греции и ее изящной и богатей литературе; равным образом пройду роковым молчанием и вечный Рим. Нет — не бойтесь! Не хочу —

подражая нашим прошедшим, настоящим, а может статься, и будущим обозревателям, которые всегда начинают на один лад, с яиц Леды, и оканчивают ровно ничем, которые, наскучив своим долговременным и скромным молчанием, принатужив свои умственные способности, одним разом высыпают из своих голов весь неистощимый запас своих огромных и разнообразных сведений и умещают его на нескольких страничках приятельского журнала или альманаха — не хочу ворошить костями Гомеров и Virgiliев, Демосфенов и Цицеронов; и без меня довольно достается им, бедненьким. Не только не стану наводить справок, с каких родов начали писать или петь первобытные поэты, с гимнов или молитв; но даже не разыграю вам никакой прелюдии о литературе средних и новых веков, а начну прямо с русской. Этого мало: не буду толковать даже и о блаженной памяти *классицизме* и *романтизме*: вечная им память!

Ну, решите сами, любезные читатели! не чудак ли я, да и только? Как, принять на себя важную должность обозревателя и не воспользоваться таким прекрасным случаем выказать свою глубокую ученость, взятую напрокат из русских журналов, высказать множество светлых, резких, хотя уже и давно всем известных и, как горькая редька, надоевших истин, сдобрить всю эту микстуру, весь этот винегрет намеками на то и на се, разукрасить его каламбурами и пестрым калейдоскопическим слогом, хотя бы наперекор здравому смыслу!.. Что, милостивые государи, вы удивляетесь? То-то же, ведь говорил вам: прочтите, авось не будете каяться... Подумайте хорошенько, а между тем еще раз повторю вам, что, к крайнему вашему огорчению, ничего этого не будет — а почему, о том читайте ниже — и дивитесь.

Во-первых: потому, что не хочу мучить вас зевотою, от которой и сам довольно страдаю.

Во-вторых: потому, что не хочу шарлатанить, то-есть говорить свысока о том, чего не знаю, а если и знаю, то очень обивчиво и неопределенно.

В-третьих: потому, что все это прекрасно на своем месте, но к русской литературе, предмету моего обозрения, нисколько не относится: надеюсь открыть ларчик гораздо проще.

В-четвертых: потому, что твердо помню премудрое правило бывшего нашего критика, блаженной памяти Никодима Аристарховича Надоумка, что *глупо, для переезда через лужу на челноке, раскладывать перед собою морскую карту*<sup>24</sup>. Воля ваша, а я готов побожиться, что покойник говорил правду. Было время, когда все затыкали уши от его невежливых выходов против тогдашних *гениев*, а теперь все жалеют, что уже некому припугнуть хорошенько нынешних: изволь тут угодить на весь свет! Впрочем, я это сказал так, à propos — спешу к началу.

Французы называют литературу *выражением общества*; это определение не ново: оно давно нам знакомо. Но справедливо ли оно? Это — другой вопрос. Если под словом *общество* должно разуметь избранный круг образованнейших людей, или, короче сказать, *большой свет*, *beau monde*, тогда это определение будет иметь свое значение, свой смысл, и смысл глубокий, но только у одних французов. Каждый народ, сообразно с своим характером, происходящим от местности, от единства или разнообразия элементов, из коих образовалась его жизнь, и исторических обстоятельств, при коих она развилась, играет в великом семействе человеческого рода свою особенную, назначенную ему провидением, роль и вносит в общую сокровищницу его успехов на поприще самосовершенствования свою долю, свой вклад; другими словами: каждый народ выражает собою одну какую-нибудь сторону жизни человечества. Таким образом, немцы завладели беспредельною областью умозрения и анализа, англичане отличаются практическою деятельностью, итальянцы художественным направлением. Немец все подводит под общий взгляд, все выводит из одного начала; англичанин переплывает моря, прокладывает дороги, проводит каналы, торгует со всем светом, заводит колонии и во всем опирается на опыте, на расчете; жизнь итальянца прежних времен была любовь и творчество, творчество и любовь. Направление французов есть жизнь, жизнь практическая, кипучая, беспокойная, вечно движущаяся. Немец творит мысль, открывает новую истину; француз ею пользуется, проживает, издерживает ее, так сказать. Немцы обогащают человечество идеями, англичане изобретениями, служащими к удобствам жизни; французы дают нам законы моды, предписывают правила обхождения, вежливости, хорошего тона. Словом: жизнь француза есть жизнь общественная, паркетная; паркет есть его поприще, на котором он блистает блеском своего ума, познаний, талантов, остроумия, образованности. Для французов бал, собрание — то же, что для греков была *площадь* или *игры олимпийские*: это — битва, турнир, где, вместо оружия, сражаются умом, острою, образованностию, просвещением, где честолюбие отражается честолюбием, где много ломается копий, много выигрывается и проигрывается побед. Вот отчего ни один народ не может сравняться с французами в этой обходительности, в этой изящной ловкости и любезности, для выражения которых словами опять-таки способен только один французский язык; вот отчего все усилия европейских народов сравняться в сем отношении с французами всегда оставались тщетными; вот отчего все другие общества всегда были, суть и будут смешными карикатурами, жалкими пародиями, злыми эпиграммами на французское общество; вот почему, говорю я, это определение словесности, вследствие которого она должна быть *выражением общества*, так глубоко и верно у французов. Их литература всегда была вер-

ным отражением, зеркалом общества, всегда шла с ним рука об руку, забывая о массе народа, ибо их общество есть высочайшее проявление их народного духа, их народной жизни. Для писателей французских общество есть школа, в которой они учатся языку, заимствуют образ мыслей, и которое они изображают в своих творениях. Совсем не так у других народов. В Германии, например, не тот учен, кто богат или вхож в лучшие дома и блистательнейшие общества: напротив, гений Германии любит чердаки бедняков, скромные углы студентов, убогие жилища пасторов. Там все пишет или читает, там публика считается миллионами, а писатели тысячами; словом: там литература есть выражение не общества, но народа. Таким же образом, хотя и не вследствие таких же причин, литературы и других народов не суть выражение общества, но выражение духа народного; ибо нет ни одного народа, жизнь которого преимущественно проявлялась бы в обществе, и можно сказать утвердительно, что Франция составляет в сем случае единственное исключение. Итак, литература непременно должна быть выражением — символом внутренней жизни народа. Впрочем, это совсем не есть ее определение, но одна из необходимейших ее принадлежностей и условий. Прежде, нежели я буду говорить о России в сем отношении, почитаю необходимым изложить здесь мои понятия об *искусстве* вообще. Я хочу, чтобы читатели видели, с какой точки зрения смотрю я на предмет, о котором вызвался судить, и вследствие каких причин я понимаю то или другое так, а не этак.

Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть не что иное, как дыхание единой, вечной *идеи* (мысли единого, вечного бога), проявляющейся в бесчисленных формах, как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии. Только пламенное чувство смертного может постигать в свои светлые мгновения, как велико *тело* этой души вселенной, сердце которого составляют громадные солнца, жилы — пути млечные, а кровь — чистый эфир. Для этой *идеи* нет покоя: она живет беспрестанно, то-есть беспрестанно творит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы творить. Она воплощается в блестящее солнце, в великолепную планету, в блудящую комету; она живет и дышит — и в бурных приливах и отливах морей, и в свирепом урагане пустынь, и в шелесте листьев, и в журчании ручья, и в рыкании льва, и в слезе младенца, и в улыбке красоты, и в воле человека, и в стройных созданиях гения. . . Кружится колесо времени с быстротою непостижимую; в безбрежных равнинах неба потухают светила, как истощившиеся вулканы, и зажигаются новые; на земле проходят роды и поколения и заменяются новыми, смерть истребляет жизнь, жизнь уничтожает смерть; силы природы борются, враждуют и умиротворяются силами посредствующими, и гармония царствует в этом вечном брожении, в этой борьбе начал и веществ. Так —

*идея* живет: мы ясно видим это нашими слабыми глазами. Она мудра, ибо все предвидит, все держит в равновесии; за наводнением и за лавою ниспосылает плодородие, за опустошительною грозою чистоту и свежесть воздуха, в пустынях песчаной Аравии и Африки поселила верблюда и страуса, в пустынях ледяного Севера поселила оленя. Вот ее мудрость, вот ее жизнь физическая: где же ее любовь? Бог создал *человека* и дал ему ум и чувство, да постигает сию идею своим умом и знанием, да приобщается к *ее* жизни в живом и горячем сочувствии, да разделяет *ее* жизнь в чувстве бесконечной, зиждущей любви! Итак, она не только мудра, но и любяща! Гордись, гордись, человек, своим высоким назначением; но не забывай, что божественная *идея*, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебе ум и волю, которые ставят тебя выше всего творения, что она в тебе живет, а жизнь есть действие, а действие есть борьба; не забывай, что твое бесконечное, высочайшее блаженство состоит в уничтожении твоего я в чувстве любви. Итак, вот эти две дороги, два неизбежные пути: отрекись от себя, подави свой эгоизм, поприми ногами твое своекорыстное я, дыши для счастья других, жертвуй всем для блага ближнего, родины, для пользы человечества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжким крестом выстрадай твое соединение с богом, твое бессмертие, которое должно состоять в уничтожении твоего я, в чувстве беспредельного блаженства!.. Что? Ты не решаешься? Этот подвиг тебя страшит, кажется тебе не по силам?.. Ну, так вот тебе другой путь, он шире, спокойнее, легче: люби самого себя больше всего на свете; плачь, делай добро лишь из выгоды; не бойся зла, когда оно приносит тебе пользу. Помни это правило: с ним тебе везде будет тепло! Если ты рожден сильным земли, гни твой *хребет*, ползи змеею между тиграми, бросайся тигром между овцами, губи, угнетай, пей кровь и слезы, чело обремени лавровыми венцами, рамена согни под грузом незаслуженных почестей и титул. Весела и блестяща будет жизнь твоя; ты не узнаешь, что такое холод и голод, что такое угнетение и оскорбление, все будет трепетать тебя, везде покорность и услужливость, отовсюду лесть и хваления, и поэт напишет тебе послание и оду, где сравнит тебя с полубогами, и журналист прокричит во всеуслышание, что ты — покровитель слабых и сирых, столп и опора отечества, правая рука государя! Какая тебе нужда, что в душе твоей каждую минуту будет разыгрываться ужасная, кровавая драма, что ты будешь в беспрестанном раздоре с самим собою, что в душе твоей будет слишком жарко, а в сердце слишком холодно, что вопли угнетенных тобою будут преследовать тебя и на светлом пиру и на мягком ложе сна, что тени погубленных тобою окружают твой болезненный одр, составят около него адскую пляску и с яростным хохотом будут веселиться твоими последними предсмертными

страданиями, что перед твоими взорами откроется ужасная картина нравственного уничтожения за гробом, мук вечных!.. Э, любезный мой, ты прав: жизнь — сон, и не увидишь, как пройдет!.. Зато весело поживешь, сладко поешь, мягко поспишь, повластвуешь над своими ближними, а ведь это чего-нибудь да стоит! Если же, при твоём рождении, природа возложила на твое чело печать гения, дала тебе вещие уста пророка и сладкий голос поэта, если миродержавные судьбы обрекли тебя быть двигателем человечества, апостолом истины и знания, вот опять перед тобою два неизбежные пути. Сочувствуй природе, люби и изучай ее, твори бескорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближних для впечатления благого и истинного, изобличай порок и невежество, терпи гонение злых, ешь хлеб, смоченный слезами, и не своди задумчивого взора с прекрасного, родного тебе неба. Трудно? Тяжко?.. Ну, так торгуй твоим божественным даром, положи цену на каждое вещное слово, которое ниспосылает тебе бог в святые минуты вдохновения: покупщики найдутся, будут платить тебе щедро, а ты лишь умей кадить кадилом лести, умей склонять во прах твое венчанное чело, забудь о славе, о бессмертии, о потомстве, довольствуйся тем, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласит о тебе, что ты великий поэт, гений, Байрон, Гете!..

Вот нравственная жизнь вечной *идеи*. Проявление ее — борьба между добром и злом, любовью и эгоизмом, как в жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной. Без борьбы нет заслуги, без заслуги нет награды, а без действия нет жизни! Что представляют собою индивидуумы, то же представляет и человечество; оно борется ежеминутно и ежеминутно улучшается. Потoki варваров, нахлынувших из Азии в Европу, вместо того, чтобы подавить жизнь, воскресили ее, обновили дряхлеющий мир; из гнилого трупa Римской империи возникли мощные народы, сделавшиеся сосудом благодати... Что означают походы Александров, беспокойная деятельность Цезарей; Карлов? — Движение вечной *идеи*, которой жизнь состоит в непрерывной деятельности.

Какое же назначение и какая цель искусства?.. *Изобразить, воспроизводить в слове, в звуке, в чертах и красках идею всеобщей жизни природы*: вот единая и вечная тема искусства! Поэтическое одушевление есть отблеск творящей силы природы. Посему поэт более, нежели кто-либо другой, должен изучать природу физическую и духовную, любить ее и сочувствовать ей; более, нежели кто-либо другой, должен быть чист и девствен душою; ибо в ее святилище можно входить только с ногами обнаженными, с руками омовенными, с умом мужа и сердцем младенца, ибо только *сии наследят царство небесное*, ибо только в гармонии ума и чувства заключается высочайшее совершенство человека!.. Чем выше гений поэта

тем глубже и обширнее обнимает он природу и тем с большим успехом представляет нам ее в ее высшей связи и жизни. Если Байрон *взвесил ужас и страданье*, если он постиг и выразил только муки сердца, ад души, это значит, что он постиг только одну сторону бытия вселенной, что он вырвал и показал нам только одну страницу оного. Шиллер передал нам тайны неба, показал одно прекрасное жизни так, как он понимал его сам, пропел нам только свои заветные думы и мечтания: злое жизни у него или неверно, или искажено преувеличением; Шиллер в сем отношении равен Байрону. Но Шекспир, божественный, великий, недостижимый Шекспир, постиг и ад, и землю, и небо: царь природы, он взял равную дань и с добра и с зла, и подсмотрел в своем вдохновенном ясновидении биение пульса вселенной! Каждая его драма есть мир в миниатюре: у него нет, как у Шиллера, любимых идей, любимых героев. Посмотрите, как бесчеловечно смеется он над этим бедным Гамлетом, с замыслом гиганта и волею ребенка, который на каждом шагу падает под тяжестью подвига, предпринятого не по силам!.. Спросите у Шекспира, спросите у этого царя чародеев: для чего он сделал из Лира слабого, полуумного старичишку, а не идеал нежного отца, как Дюсис или Гнедич; для чего он представил в Макбете человека, сделавшегося злодеем по слабости характера, а не по влечению ко злу, а в леди Макбет злодейку по чувству; для чего он сделал из Корделии нежную, любящую дочь, с мягким женским сердцем, а на ее сестер наслал фурий зависти, честолюбия и неблагодарности? Он сказал бы вам в ответ, что так бывает в мире, что иначе быть не может! Да! это беспристрастие, эта холодность поэта, который как будто говорит вам: *так было, а впрочем, мне какое дело!* есть высочайший зенит художественного совершенства, есть истинное творчество, есть удел немногих избранных, о коих говорят:

С природой одною он жизнью дышал,  
 Ручья разумел лепетанье.  
 И говор древесных листов понимал  
 И чувствовал трав прозябанье.  
 Была ему звездная книга ясна,  
 И с ним говорила морская волна<sup>25</sup>.

В самом деле, разве вы можете назвать то или другое явление прекрасным, а это безобразным без отношений?.. Разве не один и тот же дух божий создал кроткого агнца и кровожаждущего тигра, статную лошадь и безобразного кита, красавицу-черкешенку и уroda негра? Разве он больше любит голубя, чем ястреба, соловья, чем лягушку, газель, чем удава? Для чего же поэт должен изображать вам одно прекрасное, одно умиляющее душу и сердце? Если Ган Исландец может существовать в природе, то я, право, не понимаю, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора, или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, как человека, обожаю Позу, как героя, и нена-

вижу Гана Исландца, как чудовище, но, как создания фантазии, как частные явления общей жизни, они для меня все равно прекрасны. Если поэт изображает вам, подобно какому-нибудь капитану Сю<sup>26</sup>, одно ужасное, одно злое природы, это доказывает, что кругозор его ума тесен, что его творческий гений ограничен, а ничуть не обнаруживает в нем дурного, безнравственного человека. Вот, когда он своими сочинениями старается заставить вас смотреть на жизнь с его точки зрения, в таком случае он уже и не поэт, а мыслитель, и мыслитель дурной, злонамеренный, достойный проклятия, ибо поэзия не имеет цели вне себя. Доколе поэт следует безотчетно мгновенной вспышке своего воображения, доколе он нравствен, доколе он и поэт; но, как скоро он предположил себе цель, задал тему, он уже философ, мыслитель, моралист, он теряет надо мной свою чародейскую власть, разрушает очарование и заставляет меня сожалеть о себе, если, при истинном таланте, имеет похвальную цель, и презирать себя, если силится опутать мою душу тенетами вредных мыслей. Вам нравится ода «Бог» Державина? Но этот же Державин написал «Мельника»<sup>27</sup>. Вы осуждаете Пушкина за многие вольности в «Руслане и Людмиле»? Но этот же Пушкин создал вам «Бориса Годунова». Отчего же такие противоречия в их художественном направлении? Оттого, что они хорошо помнят правило:

Теперь гонись за жизнью дивной,  
И каждый миг в ней воскрешай,  
На каждый звук ее призывный  
Отзывной песнью отвечай!<sup>28</sup>

Да, искусство есть выражение великой идеи вселенной в ее бесконечно разнообразных явлениях! Прекрасно было где-то сказано, что повесть есть краткий эпизод из бесконечной поэмы судеб человеческих! Под это определение повести подходят все роды художественных созданий. Все искусство поэта должно состоять в том, чтобы поставить читателя на такую точку зрения, с которой бы ему видна была вся природа в сокращении, в миниатюре, как земной шар на ландкарте, чтобы дать ему почувствовать веяние, дыхание этой жизни, которая одушевляет вселенную, сообщить его душе этот огонь, который согревает ее. Наслаждение же изящным должно состоять в минутном забвении нашего я, в живом сочувствии с общею жизнью природы; и поэт всегда достигнет этой прекрасной цели, если его произведение есть плод возвышенного ума и горячего чувства, если оно свободно и безотчетно вылилось из его души...

(Опять не кончилось).

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

Ах! если рождены мы все перенимать,  
 Хоть у китайцев бы нам несколько занять  
 Премудрого у них незнания иноземцев!  
 Воскреснем ли когда от чужевластья мод,  
 Чтоб умный, бодрый наш народ  
 Хотя по языку нас не считал за немцев!

«Горе от ума». Действие III.

Итак, теперь должно решить следующий вопрос: что такое наша литература: выражение общества или выражение духа народного? Решение этого вопроса будет историею нашей литературы и вместе историею постепенного хода нашего общества со времен Петра Великого. Верный моему слову, я не буду говорить, с чего начинались литературы всех народов, и как они развивались, ибо это должно быть общим местом для всякого читающего человека.

Каждый народ, вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае, этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит. Односторонность вредна для всякого человека, в частности вредна для всего человечества. Когда весь мир сделался Римом, когда все народы начали мыслить и чувствовать по-римски, тогда прервался ход человеческого ума, ибо для него уже не стало более цели, ибо ему казалось, что он уже дошел до геркулесовских столбов своего поприща. Утомленный властелин мира опочил на своих лаврах: жизнь его кончилась, ибо кончилась его деятельность, стремление к которой проявлялось у него только в одних беспутных оргиях. Он сделал ужасную ошибку, думая, что вне Рима, наследовавшего, по праву завоевания, сокровища греческого образования, нет мира, нет света, нет просвещения! Бедственное заблуждение! Оно было одною из важнейших причин нравственной смерти сего великого колосса. Для обновления человечества надобно было, чтобы этот хаос смерти и тления огласился благодатным словом сына человеческого: «Придите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!» Надобно было, чтобы толпы варваров разрушили это колоссальное могущество, размежевали его своим мечом на множество могуществ, приняли слово и пошли каждый своим особенным путем к единой цели.

Да — только идя по разным дорогам, человечество может достигнуть своей единой цели; только живя самобытною жизнью, может каждый народ принять<sup>22</sup> свою долю в общую сокровищницу. В чем же состоит эта самобытность каждого на-

рода? В особенном, одному ему принадлежащем образе мысли и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в *обычаях*. Все эти обстоятельства чрезвычайно важны, тесно соединены между собою и обуславливают друг друга, и все происходит из одного общего источника — причины всех причин — *климата и местности*. Между сими отличиями каждого народа *обычаи* играют едва ли не самую важную роль, составляя едва ли не самую характеристическую черту оных. Невозможно представить себе народа без религиозных понятий, облеченных в формы богослужения; невозможно представить себе народа, не имеющего одного общего для всех сословий языка; но еще менее возможно представить себе народ, не имеющий особенных, одному ему свойственных обычаев. Эти обычаи состоят в образе одежды, прототип которой находится в климате страны в формах домашней и общественной жизни, причина воле скрывается в верованиях, поверьях и понятиях народа; в формах обращения между неделимыми государствами, оттенки которых происходят от гражданских постановлений и различий сословий. Все эти обычаи укрепляются давностию, освящаются временем и переходят из рода в род, от поколения к поколению как наследие потомков от предков. Они составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица, мечта небывалая и несбыточная. Чем младенченственнее народ, тем резче и прочнее его обычаи, и тем большую полагает он в них важность; время и просвещение подводят их под общий уровень; но они могут изменяться не иначе, как тихо, незаметно, и притом один по одному. Надобно, чтобы сам народ добровольно отрывался от некоторых из них и принимал новые; но и тут слышится борьба, свои битвы на смерть, свои староверы и раскольники, классики и романтики. Народ крепко дорожит обычаями, как своим священнейшим достоянием, и посягательство на внезапную и решительную реформу оных без своего согласия почитает посягательством на свое бытие. Посмотрите на Китай там масса народа исповедует несколько различных вер; высшее сословие, мандарины, не знают никакой, и только из приличия исполняют религиозные обряды; но какое у них единство общности обычаев, какая самостоятельность, особность и характерность! Как упорно они их держатся! Да, обычаи — дело святое, неприкосновенное и не подлежащее никакой власти, кроме силы обстоятельств и успехов в просвещении! Человек, самый развратный, закоренелый в пороках, смеющийся над всем святым, покоряется обычаям, даже внутренно смеясь над ними. Разрушите их внезапно, не заменив тотчас же новыми: и разрушите все опоры, разорвете все связи общества, словесно уничтожите народ. Почему это так? Потому же самому, почему рыба привольно в воде, птице в воздухе, зверю на земле, гадюке под землею. Народ, насильственно введенный в чуждую сферу, похож на связанного человека, которого бичом по-

ждает к бегу. Всякий народ может перенимать у другого, но он необходимо налагает печать собственного гения на эти *займы*, которые у него принимают характер *подражаний*. В этом-то стремлении к самостоятельности и оригинальности, проявляющемся в любви к родным обычаям, заключается причина взаимной ненависти у народов младенчествующих. Вследствие сей-то причины, русский называл, бывало, немца нехристью, а турок еще и теперь почитает поганым всякого франка и не хочет есть с ним из одного блюда: религия в сем случае играет не исключительно главную роль.

На востоке Европы, на рубеже двух частей мира, провидение поселило народ, резко отличающийся от своих западных соседей. Его колыбелью был светлый юг; меч азиатца-русса дал ему имя<sup>30</sup>; издыхающая Византия завещала ему благодатное слово спасения; оковы татарина связали крепкими узами его разъединенные части, рука ханов спаяла их его же кровию; Иоанн III научил его бояться, любить и слушаться своего царя, заставил его смотреть на царя, как на провидение, как на верховную судьбу, карающую и милующую по единой своей воле и признающую над собою единую божью волю. И этот народ стал хладен и спокоен, как снега его родины, когда мирно жил в своей хижине; быстр и грозен, как небесный гром его краткого, но палящего лета, когда рука царя показывала ему врага; удал и разгулен, как вьюги и непогоды его зимы, когда шировал на своей воле; неповоротлив и ленив, как медведь его непроходимых дебрей, когда у него было много хлеба и браги; смыслен, сметлив и лукав, как кошка, его домашний пенат, когда нужда учила его есть калачи. Крепко стоял он за церковь божью, за веру праотцев, непоколебимо был верен батюшке-царю православному; его любимая поговорка была: *мы все божи да цареви*; бог и царь, воля божия и воля царева слились в его понятии воедино. Свято хранил он простые и грубые нравы прадедов и от чистого сердца почитал иноземные обычаи *дьявольским наводнением*. Но этим и ограничивалась вся поэзия его жизни: ибо ум его был погружен в тихую дремоту и никогда не выступал из своих заветных рубежей; ибо он не преклонял колен перед женщиною, и его гордая и дикая сила требовала от ней рабской покорности, а не сладкой взаимности: ибо быт его был однообразен, ибо только буйные игры и удалая охота оцветляли этот быт; ибо только одна война возбуждала всю мощь его хладной железной души, ибо только на кровавом раздолье битв она бушевала и веселилась на всей своей воле. Это была жизнь самобытная и характерная, но односторонняя и изолированная. В то время, когда деятельная кипучая жизнь старейших представителей человеческого рода двигалась вперед с пестротою невероятною, они ни одним колесом не зацеплялись за пружины ее хода. Итак, этому народу надобно было приобщиться к общей жизни человечества, составить часть ве-

ликого семейства человеческого рода. И вот у этого народа явился царь мудрый и великий, кроткий без слабости, грозный без тиранства; он первый заметил, что немецкие люди не басурманы, что у них есть много такого, что пригодилось бы и его подданным, есть много такого, что им совершенно ни к чему не годится. И вот он начал ласкать людей немецких и прикармливать их своим хлебом-солью, указал своим людям перенимать у них их хитрые художества. Он построил боты и хотел пуститься в море, доселе для его народа страшное и неведомое; он приказал заморским комедиантам тешить свое царское величество, крепко-накрепко заказав между тем православному русскому человеку, под опасением лишения носа, нюхать табак, траву поганую и проклятую. Можно сказать, что в его время Русь впервые почувала у себя заморский дух, которого дотоле было видом не видать, слыхом не слыхать. И вот умер этот добрый царь, а на престол взошел юный сын его, который, подобно богатырям Владимировых времен, еще в детстве бросал за облака стопудовые палицы, гнул их руками, ломал их о коленки. Это была олицетворенная мощь, олицетворенный идеал русского народа в деятельные мгновения его жизни; это был один из тех исполинов, которые поднимали на рамена свои шар земной. Для его железной воли, не знавшей препон, была только одна цель — благо народа. Задумал он думу крепкую, а задумать для него значило — исполнить. Увидел чудеса и дива заморские и захотел пересадить их на родную почву, не думая о том, что эта почва была слишком еще жестка для иноземных растений, что не по ним была и зима русская; увидел он вековые плоды просвещения и захотел в одну минуту присвоить их своему народу. Подумано — сказано, сказано — сделано: русский не любит ждать. Ну — русский человек, снаряжайся, *по царскому наказу, боярскому приказу, по немецкому мануру*<sup>31</sup>... Прочь достопочтенные окладистые бороды! Прости и ты, простая и благородная стрижка волос в кружало, ты, которая так хорошо шла к этим почтенным бородам! Тебя заменили огромные парики, осыпанные мукою! Простите, долгополые охабни наших бояр, выложенные, обшитые серебром и золотом! Вас заменили кафтаны и камзолы со штанами и ботфортами! Прости и ты, прекрасный поэтический сарафан наших боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка с пышными рукавами, и ты, высокий, униженный жемчужной повойник — простой, чародейский наряд, который так хорошо шел к высоким грудям и яркому румянцу наших белоликих и голубооких красавиц! Тебя заменили робы с фижмами, роборадами и длинными, предлинными хвостами! Белила и румяна потеснитесь немножко, дайте место черным мушкам! Простите и вы, заунывные русские песни, и ты, благородная и грациозная пляска: не ворковать уж нашим красавицам голубкам, не заливатьсь соловьем, не плавать по полу павами! Не!

Пошли арии и романсы о выводе верхних потоков:

...Бог мой!

Приди в чертог ко мне златой!<sup>32</sup>

пошла живописная ломка в менуэтах, сладострастное кружение в вальсах...

И все завертелось, все закружилось, все помчалось стремглав. Казалось, что Русь в тридцать лет хотела вознаградить себя за целые столетия неподвижности. Будто по манию волшебного жезла маленький ботик царя Алексея превратился в грозный флот императора Петра, непокорные дружины стрельцов в стройные полки. На стенах Азова была брошена перчатка Порте: горе тебе, луна двурогая! На полях Лесного и берегах Ворсклы был жестоко отомщен позор Нарвской битвы: спасибо Меншикову, спасибо Данилычу! Каналы и дороги начали прорезывать девственную почву земли русской, зашевелилась торговля; застучали молоты, захлопали станы; зашевелилась промышленность!

Да — много было сделано великого, полезного и славного! Петр был совершенно прав: ему некогда было ждать. Он знал, что ему не два века жить, и потому спешил жить, а жить для него значило творить. Но народ смотрел иначе. Долго он спал, и вдруг могучая рука прервала его богатырский сон: с трудом раскрыл он свои отяжелевшие вежды и с удивлением увидел, что к нему ворвались чужеземные обычаи, как незваные гости, не снявши сапог, не помолясь святым иконам, не поклонившись хозяину; что они вцепились ему в бороду, которая была для него дороже головы, и вырвали ее; сорвали с него величественную одежду и надели шутовскую, исказили и испестрили его девственный язык и нагло нарутались над святыми обычаями его праотцев, над его задушевными верованиями и привычками: увидел — и ужаснулся... Неловко, непривычно, неподручно было русскому человеку ходить, заложив руки в карманы; он спотыкался, подходя к ручкам дам, надал, стараясь хорошенько расшаркнуться. Заняв формы европеизма, он сделался только пародиею европейца. Просвещение, подобно заветному слову искупления, должно приниматься с благоразумною постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святых, протеческих нравов: таков закон провидения!.. Поверьте, что русский народ никогда не был заклятым врагом просвещения, он всегда готов был учиться; только ему нужно было начать свое учение с азбуки, а не с философии, с училища, а не с академии. Борода не мешала считать звезды: это известно в Курске<sup>33</sup>.

Какое ж следствие вышло из всего этого? Масса народа упорно осталась тем, что и была; но общество пошло по пути, на который ринула его мощная рука гения. Что ж это за общество? Я не хочу вам много говорить о нем: прочтите «Недоросля», «Горе от ума», «Евгения Онегина», «Дворянские вы-

боры» и новый роман Лажечникова, когда он выйдет: прочтите, и вы узнаете его сами лучше меня...<sup>84</sup>

Так, по крайней мере, давайте ж нам ваше обозрение русской литературы, которые вы сулите в каждом номере «Молвы» и которого мы еще по сию пору не видали! Судя по таким огромным приступам, мы страх боимся, чтобы оно не было длиннее и скучнее «Фантастического путешествия» Барона Брамбуса.

Я и сам не знаю, любезные читатели, как оно будет длинно. Может быть, из него выйдет и преуморительный уродец: избушка на курьих ножках, царь с ноготок, борода с локоток, а голова с пивной котел. Что делать, не я первый, не я последний; у нас это так в моде. Впрочем, если мои приступы не отбили у вас охоты увидеть заключение, если вы имете столько терпения читать, сколько я писать, то увидите начало, а может быть, и конец моего обозрения.

(В следующем листке.)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

Вперед, вперед, моя история!

Пушкин.

Итак, *народ* или, лучше сказать, масса народа и *общество* пошли у нас врозь. Первый остался при своей прежней грубой и полудикой жизни и при своих заунывных песнях, в кои изливалась его душа в горе и в радости; второе же, видимо, изменялось, если не улучшалось, забыло все русское, забыло даже *говорить русский язык*<sup>85</sup>; забыло поэтические предания и вымыслы своей родины, эти прекрасные песни, полные глубокой грусти, сладкой тоски и разгулья молодецкого, и создало себе литературу, которая была верным его зеркалом. Надобно заметить, что как *масса народа*, так и *общество* подразделились, особливо последнее, на множество видов, на множество степеней. Первая показала некоторые признаки жизни и движения в сословиях, находившихся в непосредственных сношениях с *обществом*, в сословиях людей городских, ремесленников, мелких торговцев и промышленников. Нужда и соперничество иноземцев, поселившихся в России, сделали их деятельными и оборотливыми, когда дело шло о выгоде; заставили их покинуть старинную лень и запечную недвижимость и пробудили стремление к улучшениям и нововведениям, дотоле для них столь ненавистным; их фанатическая ненависть к *немецким людям* ослабевала со дня на день и, наконец, теперь совсем исчезла: они кос-как понаучились даже грамоте и крепче прежнего у-

пились обеими руками за мудрое правило, завещанное им от праотцев: *ученье свет, а неученье тьма*. Это обещает много хорошего в будущем, тем более, что сии сословия ни на волос не утратили своей народной физиономии. Что касается до нижнего слоя общества, т. е. *среднего состояния*, оно разделилось в свою очередь на множество родов и видов, между коими по своему большинству занимают самое видное место так называемые *разночинцы*. Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось на *железные гроши*, свою русскую смысленность и сметливость обратило на предосудительное ремесло *толковать указы*; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции. Высшее ж сословие общества из всех сил ударилось в подражание, или, лучше сказать, передражничество иностранцев...

Но не о том дело. Говорят, что музы любят тишину и боятся грома оружия: мысль совершенно ложная! Однако как бы то ни было, а царствование Петра оглашалось одними проповедями, которые остались только в памяти ученых, а не народа; ибо это *пестрое, мозаическое* красноречие, или, скорее, *разноречие*, было не что иное, как дурной прививок от гнилого дерева католического схоластицизма западного духовенства, а не живой убедительный голос святых истин религии. Оно у нас еще не было рассмотрено и оценено настоящим образом. Если верить возгласам наших литературных учителей, то в духовном красноречии мы едва ли не превосходим всех европейских народов. Не берусь решать этого вопроса, ибо говорю о нем мимоходом, а пророс, как о деле, не прямо относящемся к предмету моего обзора; да и сверх того я мало знаком с памятниками нашего духовного красноречия, которое, конечно, не без удачных опытов.

Не стану также распространяться о Калтемире; скажу только, что я очень сомневаюсь в его поэтическом призвании. Мне кажется, что его прославленные *сатиры* были скорее плодом ума и холодной наблюдательности, чем живого и горячего чувства. И диво ли, что он начал с *сатир* — плода осеннего, а не с *од* — плода весеннего? Он был иностранец, следовательно, не мог сочувствовать народу и разделять его надежд и опасений; ему было спола-горя смеяться. Что он был не поэт, этому доказательством служит то, что он забыт. Старинный слог! пустое!..<sup>86</sup> Шекспира сами англичане читают с комментариями.

Тредьяковский не имел ни ума, ни чувства, ни таланта. Этот человек был рожден для плуга или для топора; но судьба, как бы в насмешку, нарядила его во фрак: удивительно ли, что он был так смешон и уродлив?<sup>87</sup>

Да — первые попытки были слишком слабы и неудачны. Но вдруг, по прекрасному выражению одного нашего соотечественника, на берегах Ледовитого моря, подобно северному

сиянию, блеснул Ломоносов<sup>88</sup>. Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца; но вместе с тем, говорю, это утешительное явление подтвердило, к нашему несчастю, и ту неопровержимую истину, что ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника, что гений народа всегда робок и связан, когда действует не своеобразно, не самостоятельно, что его произведения в таком случае всегда будут походить на поддельные цветы: яркие, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном; он был ее Петром Великим. Нужно ли говорить, что это был человек великий и ознаменованный печатью гения? Все это истина несомненная. Нужно ли доказывать, что он дал направление, хотя и временное, нашему языку и нашей литературе? Это еще несомненнее. Но какое направление? Это другой вопрос. Я не скажу ничего нового о сем предмете и только, может быть, повторю более или менее известные мысли.

Но прежде всего почитаю нужным сделать следующее замечание. У нас, как я уже и говорил, еще и по сию пору царствует в литературе какое-то жалкое, детское благоговение и авторитетам; мы и в литературе высоко чтим *табель о рангах* и боимся говорить вслух правду о *высоких персонах*. Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду — у нас святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения. Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкой, *романтиком*. Посмотрите, как поступают в сем случае иностранцы: у них каждому писателю воздается по делам его; они не довольствуются сказать, что в драмах г. NN есть много прекрасных мест, хотя есть стишки негладкие и некоторые погрешности, что оды г. NN превосходны, но элегии слабы. Нет, у них рассматривается весь круг деятельности того или другого писателя, определяется степень его влияния на современников и потомство, разбирается дух его творений вообще, а не частные красоты или недостатки, берутся в соображение обстоятельства его жизни, дабы узнать, мог ли он сделать больше того, что сделал, и объяснить, почему он делал так, а не этак; и уже, по соображении всего этого, решают, какое место он должен занимать в литературе и какую славою должен пользоваться. Читатели «Телескопа» должны быть знакомы многие подобные критические биографии знаменитых писателей. Где ж они у нас? Увы!..<sup>89</sup> Сколько раз, например, слышали мы, что «Вечернее

утреннее размышление о величестве божьем» Ломоносова прекрасно, что строфы его од звучны и величественны, что периоды его прозы полны, круглы и живописны; но определена ли мера его заслуг, показаны ли вместе с светлыми его сторонами и темные пятна? Нет — как можно! грешно, дерзко, неблагодарно!.. Где же критика, имеющая предметом образование вкуса, где истина, долженствующая быть дороже всех на свете авторитетов?..

Много сведений, опытности, труда и времени нужно для достойной оценки такого человека, каков был Ломоносов. Недостаток времени и места, а может быть, и сил, не позволяет входить мне в слишком подробные исследования: ограничусь одним общим взглядом. Ломоносов — это Петр нашей литературы: вот, кажется мне, самый верный взгляд на него. В самом деле, не замечаете ли вы поразительного сходства в образе действия сих великих людей, равно как и в следствиях сего образа действия? На берегах Северного океана, в царстве зимы и смерти, родился у бедного рыбака сын. Ребенка мучит какой-то неведомый демон, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, шепчет ему на ухо какие-то дивные речи, от которых сильнее трепещет его сердце, жарче кипит его кровь; на что ни взглянет этот ребенок, ему хочется знать: откуда это, почему и как; бесконечные вопросы дают и тяготят его юную душу — и нет ответов! Он выучивается кое-как грамоте, тайные внушения его докучного демона раздаются в его душе, как обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манят его в туманную даль...<sup>49</sup> И вот он оставляет отца своего и бежит в Москву белокаменную. Беги, беги, юноша! Там узнаешь ты все, там утолишь в источнике знания свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнее — ты только пуще раздражил ее. Дальше, дальше, смелый юноша! Туда, в ученую Германию, там сады райские, а в тех садах древо жизни, древо познания, древо добра и зла... Сладки плоды его — спешь вкусить их... И он бежит, он вступает в очаровательные сады, и видит искусительное древо, и жадно пожирает плоды его. Сколько чудес, сколько очарований! Как жалеет он, что не может разом всего захватить с собой и перенести в *драгое отечество*, в святую родину!.. Однако ж... нельзя ли как попытаться?.. Ведь он русский: стало быть, ему все под силу, все возможно; ведь его ожидает Шувалов: стало быть, ему нечего страшиться предрассудков, врагов и завистников!.. И вот Русь оглашается одами, смотрит на трагедии, восхищается эпопеей, смеется над побасенками, слушает Цицерона и Демосфена, важно рассуждает об электричестве и громовых отводах: чего же медлить? Не правда ли, что и сам Петр воскликнул бы с удовольствием: *это по-нашему!* Но и с Ломоносовым сбылось то же, что с Петром. Прельщенный блеском иноземного просвещения, он закрыл глаза для родного. Правда,

он выучил в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто и не слышал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий земли русской? Нет — ничего этого не бывало. Говорят, что он глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его грамматика дивное, великое дело. Но для чего же он паялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и заострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком? Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем, сообразно с сими законами. И в сем последнем случае нельзя довольно надивиться гению Ломоносова: у него есть строфы и целые стихотворения, которые по чистоте и правильности языка весьма приближаются к нынешнему времени. Следовательно, его погубила слепая подражательность; следовательно, она одна виной, что его никто не читает, что он не признан и забыт народом, и что о нем помнят одни записные литераторы. Некоторые говорят, что он был великий ученый и великий оратор, но совсем не поэт: напротив, он был больше поэт, чем оратор; скажу больше: он был великий поэт и плохой оратор. Ибо что такое его *похвальные слова*? Набор громких слов и общих мест, частью взятых на прокат из древних витий, частью принадлежащих ему, плоды заказной работы, где одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выражение горячего, живого и неподдельного чувства, которое одно бывает источником истинного красноречия. Некоторые места, прекрасные по слогу, ничего не доказывают: дело в том, каково целое. И удивительно ли, что так случилось: мы и теперь очень мало нуждаемся в красноречии, а тем меньше тогда нуждались в нем; следовательно, оно родилось без всякой нужды, из одной подражательности, и потому не могло быть удачным. Но стихотворения Ломоносова носят на себе отпечаток гения. Правда, у него и в них ум преобладает над чувством, но это происходило не от чего иного, как от того, что жажда к знанию поглощала все существо его, была его господствующею страстью. Он всегда держал свою энергическую фантазию в крепкой узде холодного ума и не давал ей слишком разыгрываться. Вольтер сказал, помнится, о Корнеле, что он в сочинении своих трагедий похож на великого Конде, который хладнокровно обдумывал планы сражений и горячо сражался: вот Ломоносов! От этого-то его стихотворения имеют характер ораторский, от этого-то сквозь призму их радужных цветов часто виден сухой остер силлогизма. Это происходило от системы, а отнюдь не от недостатка поэтического гения. Система и рабская подражатель-

ность заставила его написать прозаическое «Письмо о пользе стекла», две холодные и надутые трагедии, и, наконец, эту неуклюжую «Петриаду», которая была самым жалким заблуждением его мощного гения<sup>41</sup>. Он был рожден лириком, и звуки его лиры там, где он не стеснял себя системой, были стройны, высоки и величественны...

Что сказать о его сопернике, Сумарокове? Он писал во всех родах, в стихах и прозе, и думал быть русским Вольтером. Но, при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его таланта. Вся его художническая деятельность была не что иное, как жалкая и смешная натяжка. Он не только не был поэт, он даже не имел никакой идеи, никакого понятия об искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюффона, что будто гений есть терпение в высочайшей степени. А, между тем, этот жалкий *писака* пользовался такою народностью!<sup>42</sup> Наши *словесники* не знают, как и благодарить его за то, что он был отцом *российского театра*. Почему же они отзывают в благодарности Тредьяковскому за то, что он был отцом *российской эпопеи*? Право, одно от другого не далеко ушло. Мы не должны слишком нападать на Сумарокова за то, что он был хвастун: он обманывался в себе так же, как обманывались в нем его современники: *на безрыбы и рак рыба*, следовательно, это извинительно, тем более, что он был не художник. Вот другое дело ныне... Конечно, смешно и жалко видеть, как иные мальчики заставляют в плохих драмах пророчествовать великих поэтов о своем пришествии в мир...<sup>43</sup>

(*Просят обождать еще.*)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(*Продолжение*)

Была пора: Екатеринин век,  
В нем ожила всей древней Руси слава;  
Те дни, когда громил Царь-град Олег,  
И был Дунай под лодкой Святослава;  
Рымник, Чесма, Кагульский бой,  
Орлы во граде Леовида;  
Возобновленная Таврида,  
День Измаила роковой,  
И в Праге, кровью залитой  
Москвы отмыщенная обидя!

ЖУКОВСКИЙ

Водарилаась Екатерина Вторая, и для русского народа наступила эра новой, лучшей жизни. Ее царствование — это эпопея, эпопея гигантская и дерзкая по замыслу, величественная и смелая по созданию, обширная и полная по плану, блестящая и великолепная по изложению, эпопея, достойная Гомера

или Тасса! Ее царствование — это драма, драма многосложная и запутанная по завязке, живая и быстрая по ходу действия, пестрая и яркая по разнообразию характеров, греческая трагедия по царственному величию и исполинской силе героев, создание Шекспира по оригинальности и самоцветности персонажей, по разнообразности картин и их калейдоскопической подвижности, наконец, драма, зрелище которой исторгнет у вас невольно крики восторга и радости! С удивлением и даже с какой-то недоверчивостью смотрим мы на это время, которое так близко к нам, что еще живы некоторые из его представителей; которое так далеко от нас, что мы не можем видеть его ясно, без помощи телескопа истории; которое так чудно и дивно в летописях мира, что мы готовы почесть его каким-то баснословным веком. Тогда в первый еще раз после царя Алексея проявился дух русский во всей своей богатырской силе, во всем своем удалом разгулье, и, как говорится, *пошел писать*. Тогда-то народ русский, наконец освоившийся кое-как с тесными и несвойственными ему формами новой жизни, притерпевшийся к ним и почти помирившийся с ними, как бы покорясь приговору судьбы неизбежной и непреоборимой — воле Петра, в первый раз вздохнул свободно, улыбнулся весело, взглянул гордо — ибо его уже не гнали к великой цели, а вели с его спрону и согласия, ибо умолкло грозное слово и дело, и вместо его раздается с трона голос, говоривший: *лучше прощу десять виновных, нежели накажу одного невинного; мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы живем для нашего народа; сохрани, боже, чтобы какой-нибудь народ был счастливее российского; ибо с Уставом о рангах и Дворянской грамотой соединилась неприкосновенность прав благородства; ибо, наконец, слух Руси лелеется беспрестанными громами побед и завоеваний. Тогда-то проснулся русский ум, и вот заводятся школы, издаются все необходимые для первоначального обучения книги, переводится все хорошее со всех европейских языков; разыгрался русский меч, и вот потрясаются монархии в своем основании, сокрушаются царства, и сливаются с Русью!..*

Знаете ли, в чем состоял отличительный характер века Екатерины II, этой великой эпохи, этого светлого момента жизни русского народа? Мне кажется, в *народности*. Да — в *народности*, ибо тогда Русь, стараясь попрежнему подделываться под чужой лад, как будто назло самой себе, оставалась Русью. Вспомните этих важных радушных бояр, дома которых походили на всемирные гостиницы, куда приходил званный и незванный, и, не кланяясь хлебосольному хозяину, садился за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медовые; этих величавых и гордых вельмож, которые любили жить *нараспашку*, жилища которых походили на царские палаты русских сказок, которые имели свой штат царе-

дворцев, поклонников и ласкателей, которые сожигали фейерверки из облигаций правительства; которые умели пошировать и повеселиться по старинному дедовскому обычаю, от всей русской души, но умели и постоять за свою матушку и мечом, и пером: не скажете ли вы, что это была жизнь самостоятельная, общество оригинальное? Вспомните этого Суворова, который не знал войны, но которого война знала; Потемкина, который грыз ногти на шпрах, и между шуток решал в уме судьбы народов; этого Безбородко, который, говорят, с похмелья читал матушке на белых листах дипломатические бумаги своего сочинения; этого Державина, который в самых отчаянных своих подражаниях Горацию, против воли, оставался Державиным и столько же походил на Августова поэта, сколько походит могучая русская зима на роскошное лето Италии: не скажете ли вы, что каждого из них природа отлила в особенную форму и, отливши, разбила вдребезги эту форму?.. А можно ли быть оригинальным и самостоятельным, не будучи народным?.. Отчего же это было так? Оттого, повторяю, что уму русскому был дан простор, оттого, что гений русский начал ходить с развязанными руками, оттого, что великая жена умела сродниться с духом своего народа, что она высоко уважала народное достоинство, дорожила всем русским. до того, что сама писала разные сочинения на русском языке, дирижировала журналом, и за презрение к родному языку казнила подданных ужасной казнию — «Телемахидою»!..<sup>44</sup>

Да — чудно, дивно было это время, но еще чуднее и дивнее было это общество! Какая смесь, пестрота, разнообразие! Сколько элементов разнородных, но связанных, но одушевленных единым духом! Безбожие и изуверство, грубость и утонченность, материализм и набожность, страсть к новизне и упорный фанатизм к старине, пиры и победы, роскошь и довольство, забавы и геркулесовские подвиги, великие умы, великие характеры всех цветов и образов и между ними Недоросли, Простаковы, Тарасы Скотинины и Бригадиры; дворянство, удивляющее французский двор своей светской образованностью, и дворянство, выходившее с холопами на разбой!..

И это общество отразилось в литературе; два поэта, впрочем весьма неравные гением, преимущественно были выражением одного: громозвучные песни Державина были символом могущества, славы и счастья Руси; едкие и остроумные карикатуры Фон-Визина были органом понятий и образа мыслей образованнейшего класса людей тогдашнего времени.

Державин — какое имя!.. Да — он был прав: только Навин могло быть ему под рифму!<sup>45</sup> Как идет к нему этот полу-русский и полу-татарский наряд, в котором изображают его на портретах<sup>46</sup>: дайте ему в руки лилейный скипетр Оберона, придайте к этой собольей шубе и бобровой шапке длинную седую бороду: и вот вам русский чародей, от дыхания которого тают снега и

ледяные покровы рек и расцветают розы, чудным словам которого повинуетя послушная природа и принимает все виды и образы, каких ни пожелает он! Дивное явление! Бедный дворянин, почти безграмотный, дитя по своим понятиям: неразгаданная загадка для самого себя; откуда получил он этот вещный пророческий глагол, потрясающий сердца и восторгающий души, этот глубокий и обширный взгляд, обхватывающий природу во всей ее бесконечности, как обхватывает молодой орел мощными когтями трепещущую добычу? Или и в самом деле он повстречал на *перепутьи* какого-нибудь *шестикрылого херувима*?<sup>47</sup> Или и в самом деле *огненное чувство* ставит в иные минуты смертного, без всяких со стороны его усилий, наравне с природой, и, послушная, она открывает ему свои таинственные недра, дает ему подсмотреть биение своего сердца и почерпать в лоне источника жизни эту *живую воду*, которая влагает дыхание жизни и в металл и в мрамор? Или в самом деле *огненное чувство* дает смертному *всезрящие очи* и уничтожает его в природе, а природу уничтожает в нем, и, ее всемогущий властелин, он повелевает ей самовластно и вместе с нею раскидывается по своей воле, подобно Протею, на тысячи прекрасных явлений, воплощается в тысячи волшебных образов, и эти образы называет потом своими *созданиями*?.. Державин — это полное выражение, живая летопись, торжественный гимн, племенный дифирамб века Екатерины, с его лирическим одушевлением, с его гордостью настоящим и надеждами на будущее его просвещением и невежеством, его эпикуреизмом и жаждою великих дел, его пиршественной праздностью и неистощимой практической деятельностью! Не ищите в звуках его песен, в смелых и торжественных, как гром победы, то веселых и шуточных, как застольный говор наших прадедов, то нежных и сладостных, как голос русских дев, не ищите в них тонкого анализа человека со всеми изгибами его души и сердца, как у Шекспира, или сладкой тоски по небу и возвышенным мечтам о святом и великом жизни, как у Шиллера, или бешеной волеи души пресыщенной и все еще не сытой, как у Байрона: нет — нам тогда некогда было анатомировать природу человеческую, некогда было углубляться в тайны неба и жизни, и мы тогда были оглушены громом побед, ослеплены блеском славы, заняты новыми постановлениями и преобразованиями: ибо тогда нам еще некогда было пресытиться жизнью, мы еще только начинали жить и потому любили жизнь: итак, не ищите ничего этого у Державина! Поищите лучше у него поэтической вести о том, как велика была несравненная, *богоподобная Фелица Киргиз-Кайсацкие орды*, как этот ангел во плоти разливал и сеял повсюду жизнь и счастье и, подобно богу, творил все из ничего; как были мудры ее слуги верные, ее советники усердные<sup>48</sup>; как герой полуночи, *чудо-богатырь*, бросал за облака башни, как бежала тьма от его чела и пыль от его молодой

кого посвисту, как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред ним падали города и рушились царства, как он, при громах и молниях, при ужасной борьбе разъяренных стихий сокрушил твердыни Измаила, или перешел чрез пропасти Сент-Готара<sup>49</sup>, как жили и были вельможи русские с своим неистоцимым хлебом-солью, с своим русским сибаритством и русским умом; как русские девы своими пламенными взорами и соболиными бровями разят души львов и сердца орлов, как блестят их белые чела золотыми лентами, как дышат их нежные груди под драгими жемчугами, как сквозь их голубые жилки переливается розовая кровь, а на ланитах любовь врезала огневые ямки!<sup>50</sup>

Невозможно исчислить неисчислимых красот созданий Державина. Они разнообразны, как русская природа, но все отличаются одним общим колоритом: во всех них воображение преобладает над чувством, и все представляется в преувеличенных, гиперболических размерах. Он не взволнует вашей груди сильным чувством, не выдавит слезы из ваших глаз, но, как орел добычу, схватывает вас внезапно и неожиданно, и на крылах своих могучих строф мчит прямо к солнцу и, не давая вам опомниться, носит по беспредельным равнинам неба; земля исчезает у вас из виду, сердце сжимается от какого-то приятного изумления, смешанного со страхом, и вы видите себя как бы ринутыми порывом урагана в неизмеримый океан; волна то увлекает вас в бездны, то выбрасывает к небу, и душе вашей отрадно и привольно в этой безбрежности. Как громка и величественна его песнь богу! Как глубоко подсмотрел он внешнее благолепие природы, и как верно воспроизвел его в своем дивном создании! И однако ж, он прославил в нем одну мудрость и могущество божие и только намекнул о любви божией, о той любви, которая возвала к человекам: *приидите ко мне вси труждающиеся и обремененнии, и аз упокою вы!* о той любви, которая с позорного креста мучения взывала к отцу: *отче, отпусти им: не ведят бо, что творят!* Но не осуждайте его за это: тогда было не то время, что ныне, тогда был осьмнадцатый век. При том же не забудьте, что ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством патриотизм, что в сем случае он был только верен своему бессознательному направлению и, следовательно, был истинен. Как страшна его ода «На смерть Мещерского»: кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженной ратью, когда в ушах ваших раздается вещий бой *глагола времен*, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках! Какой энергичной и дикой красотой дышит его «Водопад»: это песнь утрюмого Севера, пропетая сребровласым Скальдом во глубине священного леса среди

мрачной ночи, у пылающего дуба, зажженного молнией, при оглушающем реве водопада!

Его послания и сатиры представляют совсем другой мир, не менее прекрасный и очаровательный. В них видна практическая философия ума русского: посему главное отличительное их свойство есть *народность*, народность, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи. В сем отношении Державин народен в высочайшей степени. Как смешны те, которые величают его русским Пиндаром, Горацием, Анакреоном; ибо самая эта тройственность показывает, что он был ни то, ни другое, ни третье, но все это вместе взятое и, следовательно, выше всего этого, отдельно взятого! Не так же ли нелепо было бы назвать Пиндара или Анакреона греческим, или Горация латинским Державиным, ибо если он сам не был ни для кого образцом, то и для себя не имел никого образцом? <sup>61</sup> Вообще надобно заметить, что его *невежество* было причиной его *народности*, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъемлющей ученостию *Ломоносова* — и тогда прости, поэт! Ибо, чего доброго? он пустился бы, пожалуй, в трагедии и, всего вернее, в эпопею: его неудачные опыты в драме доказывают справедливость такого предположения. Но судьба спасла его — и мы имеем в Державине *великого, гениального русского поэта*, который был верным эхом жизни русского народа, верным отголоском века Екатерины II.

Фон-Визин был человек с необыкновенным умом и дарованием; но был ли он рожден *комиком* — на это трудно отвечать утвердительно. В самом деле, видите ли вы в его драматических созданиях присутствие *идеи вечной жизни*? Ведь смешной анекдот, переложенный на разговоры, где участвует известное число скотов, — еще не комедия. Предмет комедии не есть исправление нравов или осмеяние каких-нибудь пороков общества; нет: комедия должна живописать *несообразность жизни с целью*, должна быть плодом горького негодования, возбуждаемого унижением человеческого достоинства, должна быть сарказмом, а не эпиграммой, судорожным хохотом, а не веселой усмешкой, должна быть писана желчью, а не разведенной солью, словом, должна обнимать жизнь в ее высшем значении, то-есть в ее вечной борьбе между добром и злом, любовью и эгоизмом. Так ли у Фон-Визина? Его дураки очень смешны и отвратительны, но это потому, что они не создания фантазии, а слишком верные списки с природы; его умные суть не иное что, как выпускные куклы, говорящие заученные правила благонравия; и все это потому, что автор хотел учить и исправлять. Этот человек был очень смешлив от природы: он чуть не задохнулся от смеху, слыша в театре звуки польского языка; он

был в Франции и Германии, и нашел в них одно смешное: вот вам и комизм его. Да — его комедии суть не больше, как плод добродушной веселости, над всем издевавшийся, плод остроумия, но не создание фантазии и горячего чувства. Они явились в пору и потому имели необыкновенный успех; были выражением господствующего образа мыслей образованных людей, и потому нравились. Впрочем, не будучи художественными созданиями в полном смысле этого слова, они все-таки несравненно выше всего, что ни написано у нас по сию пору в сем роде, кроме «Горе от ума», о котором речь впереди. Одно уже это доказывает дарование сего писателя. Прочие его сочинения имеют цену еще, может быть, большую, но и в них он является умным наблюдателем и остроумным писателем, а не художником. Насмешка и шутливость составляют их отличительный характер. Кроме неподдельного дарования, они замечательны еще и по слогу, который очень близко подходит к карамзинскому; особенно же драгоценны они тем, что заключают в себе многие резкие черты духа того любопытного времени.

Как забыть о Богдановиче? Какой славою пользовался он при жизни, как восхищались им современники, и как еще восхищаются им и теперь некоторые читатели? Какая причина этого успеха? Представьте себе, что вы оглушены громом, трескотнею пышных слов и фраз, что все окружающие вас говорят монологами о самых обыкновенных предметах, и вы вдруг встречаете человека с простой и умной речью: не правда ли, что вы бы очень восхитились этим человеком? Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всех громким одоением; уже начинали думать, что русский язык неспособен к так называемой *легкой поэзии*, которая так цвела у французов, и вот в это-то время является человек с сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным: все были изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта. Скромный Хемницер был не понят современниками: им по справедливости гордится теперь потомство и ставит его наравне с Дмитриевым. Херасков был человек добрый, умный, благонамеренный и, по своему времени, отличный версификатор, но решительно не поэт. Его дюжинные: «Россияда» и «Владимир» долго составляли предмет удивления для современников и потомков, которые величали его русским Гомером и Вергилием и проводили во храм бессмертия под щитом его длинных и скучных поэм; перед ним благоговел сам Державин; но, увы! ничто не спасло его от всепоглощающих волн Леты! Петров недостаток истинного чувства заменял напыщенностью и совершенно dokonал себя своим варварским языком. Княжнин был трудолюбивый писатель и, в отношении к языку и форме, не без та-

ланга, который особенно заметен в комедиях. Хотя он целиком брал из французских писателей, но ему и то уже делает большую честь, что он умел из этих похищений составлять нечто целое и далеко превзошел своего родича Сумарокова. Костров и Бобров были в свое время хорошие версификаторы.

Вот все гении века Екатерины Великой; все они пользовались громкою славою, и все, за исключением Державина, Фон-Визина и Хемницера, забыты. Но все они замечательны, как первые действователи на поприще русской словесности; судя по времени и средствам, их успехи были важны; и преимущественно происходили от времени и ободрения монархини, которая всюду искала талантов и всюду умела находить их. Но между ними только один Державин был таким поэтом, имя которого мы с гордостью можем поставить подле великих имен поэтов всех веков и народов, ибо он один был свободным и торжественным выражением своего великого народа и своего дивного времени.

(До следующего листка.)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

Amicus Plato, sed magis amica veritas<sup>52</sup>.

Первые действователи на поприще литературы никогда не забываются; ибо, талантливые или бездарные, они в обоих случаях *лица исторические*. Не в одной истории французской литературы имена Ронсаров, Гарнье и Гарди всегда предшествуют именам Корнелей и Расинов. Счастливые люди! как дешево достается им бессмертие! В предшествовавшей статье моей я впал в непростительную ошибку, ибо, говоря о поэтах и писателях века Екатерины II, забыл о некоторых из них. Посему теперь почитаю неременным долгом исправить мою ошибку и упомянуть о Поповском, порядочном стихотворце и прозаике своего времени; Майкове, который своими созданиями, относившимися во времена оны во всех пиитах к какому-то роду *комических поэм*, не мало способствовал к распространению в России дурного вкуса, и заставил знаменитого нашего драматурга, кн. Шаховского, написать довольно невысокое стихотворение под названием: «Расхищенные шубы»; Аблесимове, который как будто ненарочно, или по ошибке, между многими плохими драмами, написал прекрасный народный водевиль: «Мельник», произведение, столь любимое нашими добрыми дедками и еще и теперь не потерявшее своего достоинства; Рубану, которому, по милости и доброте наших литературных судей былых времен, бессмертие досталось за самую дешевую цену; Нелединском, в песнях которого сквозь румяны сантименталь-

ности проглядывало иногда чувство и блески таланта; Ефимьеве и Плавильщикове, некогда почитавшихся хорошими драматургами, но теперь, увы! совершенно забытых, несмотря на то, что и сам почтенный Николай Иванович Греч не отказывал им в некоторых будто бы достоинствах. Кроме сего, царствование Екатерины II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, еще долго не дожидаться нам грешным. Кому не известно, хотя по наслышке, имя Новикова? Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке! У нас всегда так: кричат без умолку о каком-нибудь Сумарокове, бездарном писателе, и забывают о благодетельных подвигах человека, которого вся жизнь, вся деятельность была направлена к общей пользе!..

Век Александра Благословенного, как и век Екатерины Великой, принадлежит к светлым мгновениям жизни русского народа, и, в некотором отношении, был его продолжением. Это была жизнь беспечная и веселая, гордая настоящим, полная надежд на будущее. Мудрые узаконения и нововведения Екатерины укоренились и, так сказать, окрепли; новые благодетельные учреждения царя юного и кроткого упрочивали благосостояние Руси и быстро двигали ее вперед на поприще преуспеяния. В самом деле, сколько было сделано для просвещения! Сколько основано университетов, лицеев, гимназий, уездных и приходских училищ! И образование начало разливаться по всем классам народа, ибо оно сделалось более или менее доступным для всех классов народа. Покровительство просвещенного и образованного монарха, достойного внука Екатерины, отыскивало повсюду людей с талантами и давало им дорогу и средства действовать на избранном ими поприще. В это время еще впервые появилась мысль о необходимости иметь свою литературу. В царствование Екатерины литература существовала только при дворе; ею занимались потому, что государыня занималась ею. Плохо пришлось бы Державину, если бы ей не понравились его «Послание к Фелице» и «Вельможа»; плохо бы пришлось Фон-Визину, если бы она не смеялась до слез над его «Бригадиром» и «Недорослем»; мало бы оказывалось уважения к певцу «Бога» и «Водопада», если бы он не был *действительным тайным советником и разных орденов кавалером*. При Александре все начали заниматься литературой, и титул стал отделяться от таланта. Явилось явление новое и доселе неслыханное: писатели сделались двигателями, руководителями и образователями общества; явились *попытки* создать язык и литературу. Но, увы! не было прочности и основательности в этих попытках; ибо попытка всегда предполагает расчет, а расчет предполагает волю, а воля часто идет наперекор обстоятельствам и разногласит с законами здравого смысла. Много было талантов и ни одного гения, и все литературные явления

рождались не вследствие необходимости, произвольно и бессознательно, не вытекали из событий и духа народного. Не спрашивали: что и как нам должно было делать? Говорили: делайте так, как делают иностранцы, и вы будете хорошо делать. Удивительно ли после того, что, несмотря на все усилия создать язык и литературу, у нас не только тогда не было ни того, ни другого, но даже нет и теперь! Удивительно ли, что при самом начале литературного движения у нас было так много литературных школ и не было ни одной истинной и основательной; что все они рождались, как грибы после дождя, и исчезали, подобно мыльным пузырям; и что мы, еще не имея никакой литературы, в полном смысле сего слова, уже успели быть и классиками, и романтиками, и греками и римлянами, и французами, и итальянцами, и немцами, и англичанами?..

Два писателя встретили век Александра и справедливо почитались лучшим украшением начала оного: Карамзин и Дмитриев. Карамзин — вот актер нашей литературы, который еще при первом своем дебюте, при первом своем появлении на сцену, был встречен и громкими рукоплесканиями и громким свистом! Вот имя, за которое было дано столько кровавых битв, произошло столько отчаянных схваток, переломлено столько копий! И давно ли еще умолкли эти бранные вопли, этот звук оружия, давно ли враждующие партии вложили мечи в ножны и теперь селятся объяснить себе, из чего они воевали? Кто из читающих строки сии не был свидетелем этих литературных побоищ, не слышал этого оглушающего рева похвал преувеличенных и бессмысленных, этих порицаний, частью справедливых, частью нелепых? И теперь, на могиле незабвенного мужа, разве уже решена победа, разве восторжествовала та или другая сторона? Увы! еще нет! С одной стороны, нас, как *верных сынов отчизны* призывают молиться на могиле Карамзина и *шептать его святое имя*<sup>53</sup>; а с другой — слушают это воззвание с недоверчивой и насмешливой улыбкою. Любопытное зрелище! Борьба двух поколений, не понимающих одно другого! И в самом деле, не смешно ли думать, что победа останется на стороне гг. Иванчиных-Писаревых, Сомовых и т. п.? Еще нелепее воображать, что ее упрочит за собой г. Арцыбашев с братиею<sup>54</sup>.

Карамзин... *mais je reviens toujours à mes moutons...*<sup>55</sup> Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствовании вкуса? *Литературное идолопоклонство!* Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания. Что делать? Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенчеству обществ. Помните ли вы, чем стоили Мерзлякову его критические отзывы о Хераскове?<sup>56</sup> По-

мните ли, как пришлись г. Каченовскому его замечания на «Историю Государства Российского»? Эти замечания старца, в коих было высказано почти все, что говорили потом об истории Карамзина юноши? Да — много, слишком много нужно у нас бескорыстной любви к истине и силы характера, чтобы посягнуть даже на какой-нибудь авторитетик, не только что авторитет: разве приятно вам будет, когда вас во всеуслышание ославят ненавистником отечества, завистником таланта, бездушным зоилом, *желтяком*?<sup>57</sup> И кто же? Люди, почти безграмотные, невежды, ожесточенные против успехов ума, упрямо держащиеся за свою раковинную скорлупку, когда все вокруг них идет, бежит, летит! И не правы они в сем случае? Чего остается ожидать для себя, например, г. Иванчину-Писареву, г. Воейкову или кн. Шаликову, когда они слышат, что Карамзин не художник, не гений, и другие подобные безбожные мнения? Они, которые питались крохами, падавшими с трапезы этого человека, и на них основывали здание своего бессмертия? Является г. Арцыбашев с критическими статейками, в коих доказывает, что Карамзин часто и притом без всякой нужды отступал от летописей, служивших ему источниками, часто по своей воле или прихоти искажал их смысл. И что же? — Вы думаете, поклонники Карамзина тотчас принялись за сличку и изобличили г. Арцыбашева в клевете? Ничего не бывало. Станные люди! К чему вам толковать о зависти и зоилах, о каменщиках и скульпторах, к чему вам бросаться на пустые ничтожные фразы в сносках, сражаться с тенью и шуметь из ничего? Пусть г. Арцыбашев и завидует славе Карамзина: поверьте, ему не убить этим Карамзина, если он пользуется заслуженною славой; пусть он с важностью доказывает, что слог Карамзина *неподобозвучен* — бог с ним — это только смешно, а ничуть не досадно. Не лучше ли вам взять в руки летописи и доказать, что или г. Арцыбашев клеветет, или промахи историка незначительны и ничтожны; а не то совсем ничего не говорить? Но, бедные, вам не под силу этот труд; вы и в глаза не видывали летописей, вы плохо знаете историю:

Так из чего же вы беснуетесь столько?<sup>58</sup>

Однако ж, что ни говори, а таких людей, к несчастью, много.

И вот общественное мнение!  
И вот на чем вертится свет!<sup>59</sup>

Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесности; его влияние на современников было так велико и сильно, что целый период нашей литературы от девяностых до двадцатых годов по справедливости называется периодом Карамзинским. Одно уже это достаточно доказывает, что Карамзин, по своему образованию, целой головой превышал своих современников,

За ним еще и по сию пору, хотя нетвердо и неопределенно, кроме имени историка, остаются имена писателя, поэта, художника, стихотворца. Рассмотрим его права на эти титулы. Для Карамзина еще не наступило потомство. Кто из нас не утпался в детстве его повестями, не мечтал и не плакал с его сочинениями? А ведь воспоминания детства так сладостны, так обольстительны: можно ли тут быть беспристрастным? Однако ж попытаемся.

Представьте себе общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась богу на французском языке; другая знала наизусть Державина и ставила его наравне не только с Ломоносовым, но и с Петровым, Сумароковым и Херасковым; первая очень плохо знала русский язык; вторая была приучена к напыщенному, схоластическому языку автора «Россияды» и «Кадма и Гармонии»; общий же характер обеих состоял из полудикости и полубразованности; словом, общество с охотой к чтению, но без всяких светлых идей об литературе. И вот является юноша, душа которого была отверста для всего благого и прекрасного, но который, при счастливых дарованиях и большом уме, был обделен просвещением и ученою образованностию, как увидим ниже. Не ставши наравне с своим веком, он был несравненно выше своего общества. Этот юноша смотрел на жизнь, как на подвиг, и, полный сил юности, алкал славы авторства, алкал чести быть споспешествователем успехов отечества на пути к просвещению, и вся его жизнь была этим святым и прекрасным подвижничеством. Не правда ли, что Карамзин был человек необыкновенный, что он достоин высокого уважения, если не благоговения? Но не забывайте, что не должно смешивать человека с писателем и художником. Будь сказано, впрочем, без всякого применения к Карамзину, этак, чего доброго! и Роллен попадет во святые. Намерение и исполнение — две вещи различные. Теперь посмотрим, как выполнил Карамзин свою высокую миссию.

Он видел, как мало было у нас сделано, как дурно понимали его собратия по ремеслу, что должно было делать, видел, что высшее сословие имело причину презирать родным языком, ибо язык письменный был в раздоре с языком разговорным. Тогда был век *фразеологии*, гнались за словами и мысли подбирали к словам только для смысла. Карамзин был одарен от природы верным музыкальным ухом для языка и способностью объясняться плавно и красно, следовательно, ему не трудно было преобразовать язык. Говорят, что он сделал наш язык сколком с французского, как Ломоносов сделал его сколком с латинского. Это справедливо только отчасти. Вероятно, Карамзин старался писать, как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источни-

ков. Но он исправил эту ошибку в своей «Истории». Карамзин предположил себе целию — *приучить, приохотить русскую публику к чтению*. Спрашиваю вас: может ли призвание художника согласиться с какой-нибудь заранее предположенной целию, как бы ни была прекрасна эта цель? Этого мало: может ли художник унизиться, нагнуться, так сказать, к публике, которая была бы ему по колена и потому не могла бы его понимать! Положим, что и может; тогда другой вопрос: может ли он в таком случае остаться художником в своих созданиях? Без всякого сомнения, нет. Кто объясняется с ребенком, тот сам делается на это время ребенком. Карамзин писал для детей и писал по-детски; удивительно ли, что эти дети, сделавшись взрослыми, забыли его и, в свою очередь, передали его сочинения своим детям? Это в порядке вещей: дитя с доверчивостию и с горячею верою слушал рассказы своей старой няни, водившей его на помочах, о мертвецах и привидениях, а выросши смеется над ее рассказами. Вам поручен ребенок: смотрите ж, что этот ребенок будет отроком, потом юношей, а там и мужем, и потому следите за развитием его дарований и, сообразно с ним, переменяйте методу нашего ученья, будьте всегда выше его; иначе вам худо будет: этот ребенок станет в глаза смеяться над вами. Уча его, еще больше учитесь сами, а не то он перегонит вас: дети растут быстро. Теперь скажите, по совести, *sine ira et studio*, как говорят наши записные ученые: кто виноват, что, как прежде плакали над «Бедной Лизой», так ныне смеются над нею? Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорее соглашусь читать повести Барона Брамбеуса, чем «Бедную Лизу» или «Наталью боярскую дочь»! Другие времена, другие нравы! Повести Карамзина приучили публику к чтению, многие выучились по ним читать; будем же благодарны их автору; но оставим их в покое, даже вырвем их из рук наших детей, ибо они наделают им много вреда: растлят их чувство — притворною чувствительностию.

Кроме сего, сочинения Карамзина теряют в наше время много достоинства еще и оттого, что он редко был в них *искренен и естественен*. Век *фразеологии* для нас проходит; по нашим понятиям фраза должна прибираться для выражения мысли или чувства; прежде мысль и чувство приискивались для звонкой фразы. Знаю, что мы еще и теперь не безгрешны в этом отношении; по крайней мере, теперь, если легко выставить мишуру за золото, ходули ума и потуги чувства за игру ума и пламень чувства, то не надолго, и, чем живее обольщение, тем бывает мстительнее разочарование; чем больше благоговения к ложному божеству, тем жесточайшее поношение наказывает самозванца. Вообще ныне как-то стало откровеннее; всякий истинно образованный человек скорее сознается, что он не понимает той или другой красоты автора, но не станет обнаруживать насильственного восхищения. Посему ныне едва ли най-

дется такой добренький простачок, который бы поверил, что обильные потоки слез Карамзина изливались от души и сердца, а не были любимым кокетством его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тем жалостнее, когда автор человек с дарованием. Никто не подумает осуждать за подобный недостаток, например, чувствительного кн. Шаликова, потому что никто не подумает читать его чувствительных творений. Итак, здесь авторитет не только [не] оправдание, но еще двойная вина. В самом деле, не странно ли видеть взрослого человека, хотя бы этот человек был сам Карамзин, не странно ли видеть взрослого человека, который проливает обильные источники слез и при взгляде на кривой глаз «Великого мужа грамматики»<sup>60</sup> и при виде необозримых песков, окружающих *Кале*, и над травками, и над муравками, и над букашками, и таракашками?.. Ведь и то сказать:

Не все нам реки слезные  
Лить о бедствиях существенных!<sup>61</sup>

Эта слезливость, или, лучше сказать, плаксивость, нередко портит лучшие страницы его истории. Скажут: тогда был такой век. Неправда: характер осьмнадцатого столетия отнюдь не состоит в одной плаксивости; притом же здравый смысл старше всех столетий, а он запрещает плакать, когда хочется смеяться, и смеяться, когда хочется плакать. Это просто было детство смешное и жалкое, мания странная и неизъяснимая.

Теперь другой вопрос: столько ли он сделал, сколько мог, или меньше? Отвечаю утвердительно: *меньше*. Он отправился путешествовать: какой прекрасный случай предстоял ему развернуть пред глазами своих соотечественников великую и обольстительную картину вековых плодов просвещения, успехов цивилизации и общественного образования благородных представителей человеческого рода!.. Ему так легко было это сделать! Его перо было так красноречиво! Его кредит у современников был так велик! И что же он сделал вместо всего этого? Чем наполнены его «Письма русского путешественника»? Мы узнаем из них, по большей части, где он обедал, где ужинал, какое кушанье подавали ему, и сколько взял с него трактирщик; узнаем, как г. Б\*\*\* волочился за г-жею N, и как белка оцарапала ему нос; как восходило солнце над какой-нибудь швейцарскою деревушкою, из которой шла пастушка с букетом роз на груди и гнала перед собою корову... Стоило ли из этого ездить так далеко?.. Сравните в сем отношении «Письма русского путешественника» с «Письмами к вельможе» Фон-Визина, письмами, написанными прежде: какая разница! Карамзин виделся со многими знаменитыми людьми Германии, и что же он узнал из разговоров с ними? То, что все они люди добрые, наслаждающиеся спокойствием совести и ясностью духа. И как скромны, как обыкновенны его разговоры с ними!

Во Франции он был счастливее в сем случае, по известной причине: вспомните свидание *русского скифа с французским Платоном*<sup>62</sup>. Отчего же это произошло? Оттого, что он не приготовился надлежащим образом к путешествию, что не был учен основательно. Но, несмотря на это, ничтожность его «Писем русского путешественника» происходит больше от его личного характера, чем от недостатка в сведениях. Он не совсем хорошо знал нужды России в умственном отношении. О стихах его нечего много говорить: это те же фразы, только с рифмами. В них Карамзин, как и везде, является преобразователем языка, а отнюдь не поэтом.

Вот недостатки сочинений Карамзина, вот причина, что он так был скоро забыт, что он едва не пережил своей славы. Справедливость требует заметить, что его сочинения там, где он не увлекается сентиментальностью и говорит от души, дышат какою-то сердечною теплотою; это особенно заметно в тех местах, где он говорит о России. Да, он любил добро, любил отечество, служил ему, сколько мог; имя его бессмертно, но сочинения его, исключая «Истории», умерли, и не воскреснуть им, несмотря на все возгласы людей, подобных гг. Иванчину-Писареву и Оресту Сомову!..

«История государства российского» есть важнейший подвиг Карамзина; он отразился в ней весь со всеми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о сем произведении *ученым* образом, ибо, признаюсь откровенно, этот труд был бы далеко не под силу мне. Мое мнение (весьма не новое) будет мнением любителя, а не знатока. Сособразив все, что было сделано для систематической истории до Карамзина, нельзя не признать его труда подвигом исполинским. Главный недостаток оного состоит в его взгляде на вещи и события, часто детском и всегда, по крайней мере, не мужеском; в ораторской шумихе и неуместном желании быть наставительным, поучать там, где сами факты говорят за себя; в пристрастии к героям повествования, делающим честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоит в занимательности рассказа и искусном изложении событий, нередко в художественной обрисовке характеров, а более всего в слоге, в котором Карамзин решительно торжествует здесь. В сем последнем отношении у нас и по сию пору не написано еще ничего подобного. В «Истории государства российского» слог Карамзина есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только в стихах «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсем не то, что слог его мелких сочинений; ибо здесь автор черпал из родных источников, упитан духом исторических памятников; здесь его слог, за исключением первых четырех томов, где по большей части одна риторическая шумиха, но где все-таки язык удивительно обработан, имеет характер важности, величавости и энергии, и часто переходит в истинное красноречие,

Словом, по выражению одного нашего критика. в «Истории государства российского» языку нашему воздвигнут такой памятник, о который время изломает свою косу<sup>63</sup>. Повторяю: имя Карамзина бессмертно, но сочинения его, исключая «Историю», уже умерли и никогда не воскреснут!..

Почти в одно время с Карамзиным выступил на литературное поприще и Дмитриев (И. И.). Он был в некотором отношении преобразователь стихотворного языка, и его сочинения до Жуковского и Батюшкова, справедливо почитались образцовыми. Впрочем, его поэтическое дарование не подвержено ни малейшему сомнению. Главный элемент его таланта есть остроумие, посему «Чужой толк» есть лучшее его произведение. Басни его прекрасны; им недостает только народности, чтоб быть совершенными. В сказках же Дмитриев не имел себе соперника. Кроме сего, его талант возвышался иногда до лиризма, что доказывается прекрасным его произведением: «Ермак» и особенно переводом, подражанием или переделкой (назовите как угодно) пьесы Гете, которая известна под именем «Размышления по случаю грома»...

Крылов возвел у нас басню до *pes plus ultra* совершенства. Нужно ли доказывать, что это — гениальный поэт русский, что он неизмеримо возвышается над всеми своими соперниками! Кажется, в этом никто не сомневается. Замечу только, впрочем, не я первый, что басня оттого имела на Руси такой чрезвычайный успех, что родилась не случайно, а вследствие нашего народного духа, который страж как любит побасенки и применения. Вот самое убедительнейшее доказательство того, что литература непременно должна быть народною, если хочет быть прочною и вечною! Вспомните, сколько было у иностранцев неудачных попыток перевести Крылова. Следовательно, жестоко ошибаются, которые думают, что только рабским подражанием иностранцам можно обратить на себя их внимание.

Озерова у нас почитают и преобразователем и творцом русского театра. Разумеется, он ни то, ни другое; ибо русский театр есть мечта разгоряченного воображения наших добрых патриотов. Справедливо, что Озеров был у нас первым драматическим писателем с истинным, хотя и не огромным талантом; он не создал театра, а ввел к нам французский театр, т. е. первый заговорил истинным языком французской Мельпомены. Впрочем, он не был драматиком в полном смысле сего слова; он не знал человека. Приведите на представление Шекспировой или Шиллеровой драмы зрителя без всяких познаний, без всякого образования, но с природным умом и способностью принимать впечатления изящного: он, не зная истории, хорошо поймет, в чем дело; не понявши исторических лиц, прекрасно поймет человеческие лица, но когда он будет смотреть на трагедию Озерова, то решительно ничего не уразумеет. Может быть, это общий недостаток так называемой *классической трагедии*

Но Озеров имеет и другие недостатки, которые происходили от его личного характера. Одаренный душою нежною, но не глубокою, раздражительною, но не энергическою, он был не способен к живописи сильных страстей. Вот отчего его женщины интереснее мужчин; вот отчего его злодеи ни больше, ни меньше, как олицетворение общих, родовых пороков; вот отчего он из Фингала сделал аркадского пастушка и заставил его объясняться с Моиною мадригалами, скорее приличными какому-нибудь Эрасту Чертополохову, чем грозному поклоннику Одена. Лучшая его пьеса, без сомнения, есть «Эдип», а худшая «Димитрий Донской», эта надутая ораторская речь, переложенная в разговоры. Теперь никто не станет отрицать поэтического таланта Озерова, но вместе с тем и едва ли кто станет читать его, а тем более восхищаться им.

Появление Жуковского изумило Россию, и не без причины. Он был Колумбом нашего отечества: указал ему на немецкую и английскую литературы, которых существование оно даже и не подозревало. Кроме сего, он совершенно преобразовал стихотворный язык, а в прозе шагнул далее Карамзина\*: вот главные его заслуги. Собственных его сочинений немного; труды его — или переводы, или переделки, или подражания иностранным. Язык смелый, энергический, хотя и не всегда согласный с чувством, односторонняя мечтательность, бывшая, как говорят, следствием обстоятельств его жизни, — вот характеристика сочинений Жуковского<sup>64</sup>. Ошибаются те, которые почитают его подражателем немцев и англичан: он не стал бы иначе писать и тогда, когда б был незнаком с ними, если б только захотел быть верным самому себе. Он не был сыном XIX века, но был, так сказать, *прозелитом*; присовокупите к сему еще то, что его творения, может быть, в самом деле проистекали из обстоятельств его жизни, и вы поймете, отчего в них нет идей мировых, идей человечества, отчего у него часто под самыми роскошными формами скрываются как будто *карамзинские* идеи (например, «Мой друг, хранитель, ангел мой!» и т. п.), отчего в самых лучших его созданиях (как, например, в «Певце во стане русских воинов») встречаются места совершенно риторические. Он был заключен в себе, и вот причина его односторонности, которая в нем есть оригинальность в высочайшей степени. По множеству своих переводов Жуковский относится к нашей литературе, как Фосс или Авг. Шлегель к немецкой литературе. Знатоки утверждают, что он не переводил, а усвоивал русской словесности создания Шиллеров, Байронов и пр.; в этом, кажется, нет причины сомневаться. Словом: Жуковский есть поэт с необыкновенным энергическим талантом, поэт, оказавший русской литературе неоцененные услуги, поэт, который никогда не забудется, которого никогда не перестанут читать;

\* Я разумею здесь мелкие сочинения Карамзина.

но, вместе с тем, и не такой поэт, которого б можно было назвать поэтом собственно русским, имя которого можно б было провозгласить на европейском турнире, где соперничают народными славами.

Многое из сказанного о Жуковском можно сказать и о Батюшкове. Сей последний решительно стоял на рубеже двух веков; поочередно пленялся и гнушался прошедшим, не признавал и не был признан наступившим. Это был человек не гениальный, но с большим талантом. Как жаль, что он не знал немецкой литературы: ему немного недоставало для совершенного литературного обращения. Прочтите его статью о морали, основанной на религии, и вы поймете эту тоску души и ее порывы к бесконечному после упоения сладострастием, которыми дышат его гармонические создания. Он писал о жизни и впечатлениях поэта, где между детскими мыслями проискриваются мысли как будто нашего времени, и тогда же писал о какой-то легкой поэзии, как будто бы была поэзия тяжелая. Не правда ли, что он не принадлежал вполне ни тому, ни другому веку? Батюшков, вместе с Жуковским, был преобразователем стихотворного языка, т. е. писал чистым, гармоническим языком; проза его тоже лучше прозы мелких сочинений Карамзина. По таланту Батюшков принадлежит к нашим второклассным писателям и по моему мнению, ниже Жуковского; о равенстве же его с Пушкиным смешно и думать. Триумвирату, составленному нашими словесниками из Жуковского, Батюшкова и Пушкина, могли верить только в двадцатых годах.

Мне остается теперь упомянуть еще о Мерзлякове, и я окончу весь *Карамзинский* период нашей словесности, окончу перечень всех его знаменитостей, всей его аристократии: останутся плебеи, о которых нечего говорить много, разве только для доказательства зыбкости наших прославленных авторитетов. Мерзляков был человек с необыкновенным поэтическим дарованием, и представляет собой одну из умильнейших жертв духа времени. Он преподавал теорию изящного, и, между тем, эта теория оставалась для него неразгаданною загадкою во все продолжение его жизни; он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика; наконец, он всю жизнь свою заблуждался насчет своего таланта, ибо, написавши несколько бессмертных песен, в то же время написал множество од, в коих где-где блистают искры могучего таланта, которого не могла убить схоластика, и в коих все остальное голая риторика. Несмотря на то, повторяю: это был талант мощный, энергический: какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях! Как живо сочувствовал он в них русскому народу и как верно выразил в их поэтических звуках лирическую сторону его жизни! Это не песенки Дельвига, это не подделки под народный такт — нет: это живое, естественное излияние чувства, где все безыскусственно и естественно.

правда ли, что, по прочтении или по выслушании любой из его песен, вы невольно готовы воскликнуть:

Ах! та песнь была заветная:  
Рвала белу грудь тоской,  
А все слушать бы хотелось,  
Не расстался бы ввек с ней!<sup>65</sup>

И этот человек, который был знаком с немецким языком и литературой, этот человек с душою поэтической, с чувством глубоким — писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил с кафедры, что *только чудотворный гений немцев любит выставлять на сцене виселицы*, находил гений в Сумарокове и был увлечен, очарован поддельною и нарумяненною поэзиею французов в то время, как читал Гете и Шиллера!.. Он рожден был практиком поэзии, а судьба сделала его теоретиком; пламенное чувство влекло его к песням, а система заставила писать оды и переводить Тасса!..

Теперь вот прочие замечательные по таланту или по авторитету литераторы *Карамзинского* периода.

Капнист принадлежит к трем царствованиям. Некогда он слыл за поэта с необыкновенным дарованием. Г. Плетнев даже утверждал где-то и когда-то, что у Капниста есть что-то такое, чего будто бы недостает Ламартину: *le bon vieux temps!*<sup>66</sup> Теперь Капнист совершенно забыт, вероятно, потому, что плакал в своих стихах по правилам *порядочной хриш*, а более всего потому, что едва заметные блестящие таланта еще не могут спасти писателя от всепоглощающих волн Леты. Он наделал много шума своею «Ябедою», но эта прославленная «Ябеда» ни больше, ни меньше, как фарс, написанный языком варварским даже и по своему времени<sup>67</sup>.

Гнедич и Милонов были истинные поэты: если их теперь мало почитают, то это потому, что они слишком рано родились.

Г. Воейков (Александр Федорович, как значится в литературном адрес-календаре г. Греча, известном под именем: «Истории русской литературы») играл некогда в нашей словесности роль *знаменитого*. Он перевел Дегиля (которого почитал не только поэтом, но и большим поэтом); он сам собирался написать дидактическую поэму (в то время все верили безусловно возможности дидактической поэзии); он переводил (как умел) древних; потом занялся изданием разных журналов, в коих с неутомимою ревностью выводил на свежую воду знаменитых друзей гг. Греча и Булгарина (нечего сказать — высокая миссия!); теперь, на старости лет, поочередно или, лучше сказать, понумерно, бранит Барона Брамбеуса и преклоняет перед ним колена, а пуще всего восхваляет Александра Филипповича Смирдина за то, что он дорого платит авторам; перепечатывает в своем журнале старые стихи и статьи из «Молвы» за 1831 год. Что ж делать? От великого до смешного только шаг, сказал Наполеон!..

Князь Вяземский, русский Карл Нодье, писал стихами и прозою про все и обо всем. Его критические статьи (т.-е. предисловия к разным изданиям) были необыкновенным явлением в свое время. Между его бесчисленными стихотворениями многие отличаются блеском остроумия и неподдельного и оригинального, иные даже чувством; многие и натянуты, как, например: «Как бы не так!» и пр. Но вообще сказать, князь Вяземский принадлежит к числу замечательных наших поэтов и тераторов.

(До следующего листка.)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Продолжение)

Было время!

Народная поговорка

В прошедшей статье я обозрел *Карамзинский* период нашей словесности, период, продолжавшийся целую четверть столетия. Целый период словесности, целая четверть века ознаменованы влиянием одного таланта, одного человека, а ведь четверть века много, слишком много значит для такой литературы, которая не дожидается еще пяти лет до своего второго столетия! И что же произвел великого и прочного этот период? Где теперь гении, которыми он бывало так красовался и величался. Из всех них один только велик и бессмертен без всяких отношений, и этот один не заплатил дани Карамзину, который брал свою обычную дань даже и с таких людей, кои были выше его и по таланту и по образованию: говорю о Крылове. Повторяю: что сделано в этот период для бессмертия? Один познакомил нас несколько, и притом односторонним образом, с немецкою и английскою литературою, другой с французским театром, третий с французскою критикою XVII столетия, четвертый... Но где литература? Не ищите ее: напрасен будет ваш труд; перекопанные цветы недолговечны: это истина неоспоримая. Я сказал, что в начале этого периода впервые родилась у нас мысль о литературе: вследствие того появились у нас и журналы. Но что такое были эти журналы? Невинное препровождение времени, дело от безделья, а иногда и средство нажить денег. Ни один из них не следил за ходом просвещения, ни один не передавал своим соотечественникам успехов человечества и поприще самосовершенствования. Помню, что в каком-то чувствительном журнале, кажется в 1813 году, было напечатано, что в Англии явился новый поэт Бирон, который пишет в каком-то романтическом роде и особенно прославился своей поэмою «Шильд Гарольд»: вот вам и все тут. Конечно, тогда не тогда

\* Литература наша, без всякого сомнения, началась в 1739 году, когда Ломоносов прислал из-за границы свою первую оду «На взятие Хотина»

ко в России, но отчасти и в Европе смотрели на литературу не сквозь чистое стекло разума, а сквозь тусклый пузырь французского классицизма; но движение там уже было начато, и сами французы, умиротворенные реставрацией, много поумнели против прежнего и даже совершенно переродились. Между тем, наши литературные наблюдатели дремали, и только тогда проснулись, когда неприятель ворвался в их дома и начал в них своевольно хозяйничать; только тогда завопили они гласом великим: караул, режут, разбой, романтизм!..

За Карамзинским периодом нашей словесности последовал период Пушкинский, продолжавшийся почти ровно десять лет. Говорю Пушкинский, ибо кто не согласится, что Пушкин был главою этого десятилетия, что все тогда шло от него и к нему? Впрочем, я не то здесь думаю, чтобы Пушкин был для своего времени совершенно то же, что Карамзин для своего. Одно уж то, что его деятельность была бессознательной деятельностью художника, а не практической и преднамеренною деятельностью писателя, полагает большую разницу между им и Карамзиным. Пушкин владычествовал единственно силою своего таланта и тем, что он был сыном своего века; владычество же Карамзина в последнее время основывалось на слепом уважении к его авторитету. Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а наука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерилу для первой и до некоторой степени показал современное значение другой. В то время, то-есть в двадцатых годах (1817—1824), у нас глухо отдалось эхо умственного переворота, совершившегося в Европе; тогда, хотя еще робко и неопределенно, начали поговаривать, что будто бы пьяный дикарь Шекспир неизмеримо выше накрахмаленного Расина, что Шлегель будто бы знает об искусстве побольше Лагарпа, что немецкая литература не только не ниже французской, но даже несравненно выше; что почтенные гг. Буало, Батте, Лагарп и Мармонтель безбожно оклеветали искусство, ибо сами мало смыслили в нем толку. Конечно, теперь в этом никто не сомневается, и доказывать подобные истины значило бы навлечь на себя всеобщее посмеяние; но тогда, право, было не до смеху; ибо тогда даже и в Европе за подобные безбожные мысли угрожало инквизиторское аутодафе; на что же решались в России люди, которые дерзали утверждать, что Сумароков не поэт, что Жерасков тяжеловат, и пр.? Из сего ясно, что чрезмерное влия-

---

Нужно ли повторять, что не с Кантемира и не с Тредьяковского, а тем более не с Симеона Полоцкого началась наша литература? Нужно ли доказывать, что «Слово о полку Игоревом», «Сказание о доском побойце», красноречивое «Послание Вассиана к Иоанну III» и другие исторические памятники, народные песни и схоластическое духовное красноречие, — имеют точно такое же отношение к нашей словесности, как и памятники допотопной литературы, если бы они были открыты, к санскритской, греческой или латинской литературе? Такие истины надобно доказывать только гг. Гречу и Плавсину, с коими я не намерен вступать в ученые состязания.

ние Пушкина происходило оттого, что в отношении к России он был сыном своего времени в полном смысле сего слова, что он шел наравне с своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни; следовательно, его владычество было законное. Карамзин, напротив, как мы видели выше в девятнадцатом веке был сыном осьмнадцатого, и даже в некотором смысле, не вполне его выразил, ибо, по своим идеям, не возвысился даже и до него, следовательно, его влияние было законно только разве до появления Жуковского и Батюшкова, начиная с коих его могущественное влияние только задерживало успехи нашей словесности. Появление Пушкина было зрелищем умирительным; поэт-юноша, благословенный помазанным старцем Державиным, стоявшим на краю гроба и готовившимся склонить в него свою лавровенчанную главу; поэт-муж, подающий к нему руку, чрез неизмеримую пропасть целого столетия, разделявшего, в нравственном смысле, два поколения; наконец, ставший подле него, и вместе с ним образующий двойственное, лучезарное созвездие на пустынном небосклоне нашей литературы!..<sup>68</sup>

*Классицизм и романтизм* — вот два слова, коими огласился *Пушкинский* период нашей словесности; вот два слова, на кои были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, а кои дрались на смерть, о коих спорили до слез и в классах и в гостиных, и на площадях и на улицах. Теперь эти два слова сделались как-то пошлыми и смешными; как-то странно и дико встретить их в печатной книге или услышать в разговоре. А давно ли кончилось это *тогда* и началось это *теперь*? Как же после сего не скажешь, что все летит вперед на крыльях ветра? Только разве в каком-нибудь Дагестане можно еще с важностию рассуждать об этих почивших страдальцах — *классицизме* и *романтизме* — и выдавать нам за новость, что Расин немножко приторен, что энциклопедисты немножко ввали, что Шекспир, Гете и Шиллер велики, а Шлегель говорил правду, и пр. И это несколько не удивительно: ведь Дагестан Азии<sup>69</sup>.

В Европе *классицизм* был литературным *католицизмом*. В папы оно было избрано, без его ведома и согласия, покойным Аристотелем, каким-то непризнанным *конклавом*; *инквизицией* этого *католицизма* была французская критика; великими *инквизиторами*: Буало, Батте и Лагарп с братиею; предметом обожания: Корнель, Расин, Вольтер и другие. Волею или неволею, гг. инквизиторы завербовали в свой календарь и древности, а в числе их и вечного старца Гомера (вместе с Виргилием, Тасса, Ариоста, Мильтона, кои (за исключением, может быть, вставочного) не виноваты в *классицизме* ни душою, ни телом, ибо были естественны в своих творениях. Так дела шли в XVIII столетия. Наконец все перевернулось: белое стало черным

а черное белым. Лицемерный, развратный, приторный осьмнадцатый век испустил свое последнее дыхание, и с девятнадцатым столетием ум и вкус возродились для новой, лучшей жизни <sup>70</sup>. Подобно страшному метеору, в начале его возник сын судьбы, облеченный всею ее ужасающею мощию, или, лучше сказать, сама судьба явилась в образе Наполеона, того Наполеона, который сделался *властителем наших дум*, говоря о котором и самая посредственность возвышалась до поэзии <sup>71</sup>. Век принял гигантские размеры и облекся в исполинское величие; Франция устыдилась самой себя, и с ругательным смехом начала указывать пальцем на жалкие развалины минувшего времени, которые, как бы не замечая великих переворотов, совершавшихся перед их глазами, даже при роковом переходе через Березину, взмолившись на сук дерева, окостенелою рукою и завивали свои букли и посыпали их заветною пудрою, тогда как вокруг них бушевала зимняя вьюга мстительного севера, и люди падали тысячами, оцепененные страхом и холодом... Итак, французы, слишком пораженные этими великими событиями, сделались постепеннее и посолиднее, перестали прыгать на одной ножке; это было первым шагом к их обращению к истине. Потом они узнали, что у их соседей, у неповоротливых немцев, коих они всегда выставляли за образец эстетического безвкусыя, есть литература, литература, достойная глубокого и основательного изучения, и вместе с тем узнали, что их прославленные поэты и философы совсем не поставили геркулесовских столбов гению человеческому. Всем известно, как все это сделалось, и потому не хочу распространяться о том, что Шатобриан был крестным отцом, а г-жа Сталь повивальною бабкою юного романтизма во Франции. Скажу только, что этот *романтизм* был не иное что, как возвращение к естественности, а, следовательно, самобытности и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над формою, и свержение чуждых и тесных форм древности, которые к произведениям новейшего искусства шли точно так же, как идет к напудренному парикю, шитому камзолу и выбритой бороде греческий хитон или римская тога. Отсюда следует, что этот так называемый *романтизм* был очень старая новость, а отнюдь не чадо XIX века; был, так сказать, *народностью* нового христианского мира Европы <sup>72</sup>. Германия была искони веков романтической страной по преимуществу как по феодальным формам своего правления, так и по идеальному направлению своей умственной деятельности. Реформация убила в ней капитализм, а вместе с ним и классицизм. Эта же самая реформация, хотя несколько в другом виде, развязала руки и Англии: Шекспир был романтик <sup>73</sup>. Очевидно, что романтизм был новостью только для одной Франции и еще для тех государств, где совсем не было литератур, т. е. Швеции, Дании и т. п. И Франция бросилась на эту старую новинку со всею своею живостию и увлекала за собой

безлитературные государства. Юная словесность есть не иное что, как реакция старой; и как во Франции общественная жизнь и литература идут об руку, то и нисколько не удивительно, что нынешняя их литература отличается излишеством: реакции никогда не бывают умеренны<sup>74</sup>. Теперь во Франции из одной моды всякой хочет быть глубоким и энергическим, подобно какому-нибудь Феррагусу<sup>75</sup>, так как прежде всякой из моды же хотел быть ветреным, беспечным, легковерным и ничтожным.

И однако ж, странное дело! никогда не проявлялось в Европе такого дружного и сильного стремления сбросить с себя оковы классицизма, схоластицизма, педантизма или глупицизма (это все одно и то же). Байрон, другой *властитель наших дум*<sup>76</sup>, и Вальтер-Скотт раздавили своими творениями шкояу Попа и Блера и возвратили Англии романтизм. Во Франции явился Виктор Гюго с толпою других мощных талантов, в Польше Мицкевич, в Италии Манцони, в Дании Эленшлегер, в Швеции Тегнер. Неужели только России суждено было остаться без своего литературного Лютера?

В Европе классицизм был не что иное, как литературный католицизм: что же такое был [он] в России? Не трудно отвечать на этот вопрос: в России классицизм был ни больше, ни меньше, как слабый отголосок европейского эха, для объяснения коего совсем не нужно ездить в Индию на пароходе «Джон-Буль»<sup>77</sup>. Пушкин не натягивался, был всегда истинен и искренен в своих чувствах, творил для своих идей свои формы: вот его романтизм. В этом отношении и Державин был почти такой же романтик, как и Пушкин; причина этому, повторяю, скрывается в его невежестве. Будь этот человек учен — и у нас было бы два Хераскова, коих было бы трудно отличить друг от друга.

Итак, третье десятилетие XIX века было ознаменовано влиянием Пушкина. Что могу сказать я нового об этом человеке? Признаюсь: еще в первый раз поставил я себя в затруднительное положение, взявшись судить о русской литературе; еще в первый раз я жалею о том, что природа не дала мне поэтического таланта, ибо в природе есть такие предметы, о коих грешно говорить смиренною прозою!

Как медленно и нерешительно шел, или, лучше сказать, хромал *Карамзинский* период, так быстро и скоро шел период *Пушкинский*. Можно сказать утвердительно, что только в прошлое десятилетие проявилась в нашей литературе жизнь, и какая жизнь! тревожная, кипучая, деятельная! Жизнь есть действие, действие есть борьба, а тогда боролись и дрались не на живот, а на смерть. У нас нападают иногда на полемику, в особенности *журнальную*. Это очень естественно. Люди, хладнокровные к умственной жизни, могут ли понять, как можно предпочитать истину приличиям и из любви к ней навлекать на себя ненависть и гонение? О! им никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастие души сказать

какому-нибудь гению в отставке без мундира, что он смешон и жалок с своими детскими претензиями на великость, растолковать ему, что он не себе, а крикуну-журналисту обязан своей литературной значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что он пользуется своим авторитетом на кредит, по старым воспоминаниям или по старой привычке; доказать какому-нибудь литературному учителю, что он близорук, что он отстал от века и что ему надо переучиваться с азбуки; сказать какому-нибудь выходцу бог весть откуда, какому-нибудь пройдохе и Видоку<sup>78</sup>, какому-нибудь литературному торгашу, что он оскорбляет собой и эту словесность, которой занимается, и этих добрых людей, кредитом коих пользуется, что он наругался и над святостью истины и над святостью знания, заклеить его имя позором отвержения, сорвать с него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свету во всей его наготе...<sup>79</sup>

Говорю вам, во всем этом есть блаженство неизъяснимое, сладострастие безграничное! Конечно, в литературных сшибках<sup>80</sup> иногда нарушаются законы приличия и общежительности: но умный и образованный читатель пропустит без внимания пошлые намеки о желтяках, об утиных носах, семинаристах, гаре, полугаре, купцах и аршинниках<sup>81</sup>; он всегда сумеет отличить истину от лжи, человека от слабости, талант от заблуждения; читатели же невежды не сделаются от того ни глупее, ни умнее. Будь все тихо и чинно, будь везде комплименты и вежливости, тогда какой простор для бессовестности, шарлатанства, невежества: некому обличить, некому изречь грозное слово правды!..

Итак, период *Пушкинский* был ознаменован движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы почувствовали, перемыслили и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе, ничего не взростивши, не взлелеявши, не создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна невероятной быстроты наших успехов и причина их невероятной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь с грустью видит, как имена, вместе с ним взшедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово... В самом деле, где же теперь эти юные надежды, которыми мы так гордились? Где эти имена, о коих бывало только и слышно? Почему они все так внезапно смолкнули? Воля ваша, а мне кажется, что тут что-нибудь да есть! Или, в самом деле, время есть самый строгий, самый правдивый Аристарх?.. Увы!.. Разве талант Озерова, или Батюшкова был ниже таланта, например, г. Баратынского и г. Подолинского? Явись Капнист, В. и

А. Измайловы, В. Пушкин, явись эти люди вместе с Пушкиным, во цвете юности, и они, право, не были бы смешны и при тех скудных дарованиях, которыми наградила их природа. Отчего же так? Оттого, что подобные таланты могут быть и не быть, смотря по обстоятельствам.

Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такой народностью, такую славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьюми, которые сперва пресмыкались перед ним во прахе, а потом кричали: *chûte com- plète*<sup>82</sup>. Людьюми, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них<sup>83</sup>. Но не в том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда<sup>84</sup>; Державиним восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова. Не было жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. Люди без претензий на ученость, люди, верившие своему чувству, а не пиитикам, или сколько-нибудь знакомые с современною Европою, были очарованы этим явлением. Литературные судии, державшие в руках жезл критики, с важностию развернули «Лицей» (в переводе г. Мартынова: «Лицей») Лагарпа и «Словарь древние и новые поэзии» г. Остолопова, и, увидя, что новое произведение не подходило ни под одну из известных категорий и что на греческом и латинском языке не было образца оному, торжественно объявили, что оно было незаконное чадо поэзии, непростительное заблуждение таланта. Не все, конечно, тому поверили. Вот и пошла потеха. Классицизм и романтизм вцепились друг другу в волосы. Но оставим их в покое и поговорим о Пушкине.

Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностью принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самую мудростию извлеченных из писаний великих гениев*<sup>85</sup>, и с удивлением узнавшая о других мирах мыслей и понятий, и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пуш-

кин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира русского, но человечества русского. Что делать? Мы все гении-самоучки; мы все знаем, ничему не учившись, все приобрели, не проливши ни капли крови, а веселясь и играя; словом:

Мы все учились понемногу  
Чему-нибудь и как-нибудь <sup>86</sup>.

Пушкин от шумных оргий разгульной юности переходил к суровому труду,

Чтоб в просвещении стать с веком наравне <sup>87</sup>,

от труда опять к младым пирам, сладкому безделью и легкокрылому похмелью. Ему недоставало только немецко-художественного воспитания. Баловень природы, он, шая и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни. Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка, в летние дни, из растворенных окон, носились по воздуху эти звуки, *подобные шуму волн или журчанию ручья*. . . <sup>88</sup>

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада <sup>89</sup>. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части все поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то-есть его «Андрей Шенье», его *могучая беседа* с морем, его *вещая дума* о Наполеоне — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина; он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для Чтения», мы

должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось бывало то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего грудь, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своей игрою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильной цезурой, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос и г. Остолопов!.. *Странная вещь, непонятная вещь!* Неужели Пушкина, которого не могли убить ни исступленные похвалы энтузиастов, ни хвалебные гимны торгашей, ни сильные, нередко справедливые нападки и порицания его антагонистов, неужели, говорю я, этого Пушкина убило «Новоселье» г. Смирдина? И однако ж, не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших заключениях; предоставим времени решить этот запутанный вопрос. О Пушкине судить не легко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для Чтения»? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия» кроме утешительных надежд, подаваемых ею о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина, как художника:

Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки, или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности вместе с Зарекою и Алеко и упивался дикою любовью Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что *журчание его стихов* согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифирует «Библиотеку для Чтения», чем тому, что его талант погас. Я верю, думаю, и мне отрадно верить и думать, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...

Вместе с Пушкиным появилось множество талантов, теперь большею частью забытых, или готовящихся быть забытыми, но некогда имевших алтари и поклонников; теперь из них

Иных уже нет, а те далече,  
Как Сади некогда сказал! <sup>90</sup>

Г. Баратынского ставили на одну доску с Пушкиным; их имена всегда были неразлучны, даже однажды два сочинения сих поэтов явились в одной книжке, под одним переплетом<sup>91</sup>. Говоря о Пушкине, я забыл заметить, что только ныне его начинают ценить по достоинству, ибо уже реакция кончилась, партии поохолодели. Итак, теперь даже и в шутку никто не поставит имени г. Баратынского подле имени Пушкина. Это значило бы жестоко издеваться над первым и не знать цены второму. Поэтическое дарование г. Баратынского не подвержено ни малейшему сомнению. Правда, он написал плохую поэму «Пирры», плохую поэму «Эдда» («Бедную Лизу» в стихах), плохую поэму «Наложницу», но вместе написал и несколько прекрасных элегий, дышащих неподдельным чувством, из коих «На смерть Гете» может назваться образцовою, несколько посланий, отличающихся остроумием. Прежде его возвышали не по заслугам; теперь, кажется, унижают неосновательно. Замечу еще, что г. Баратынский обнаруживал во времена оны претензии на критический талант; теперь, я думаю, он и сам разуверился в нем<sup>92</sup>.

Козлов принадлежит к замечательнейшим талантам *Пушкинского* периода. По форме своих сочинений он всегда был подражателем Пушкина, по господствующему же чувству оных, кажется, находился под влиянием Жуковского. Всем известно, что несчастье пробудило поэтический талант Козлова: посему какое-то грустное чувство, покорность воле провидения и упование на мздовоздание за гробом составляют отличительный характер его созданий. Его «Чернец», над коим было пролито столько слез прекрасными читательницами и который был сколком с Байронова «Джяюра», особенно отличается этим односторонним характером; следовавшие за ним поэмы были постепенно слабее. Мелкие сочинения Козлова отличаются неподдельным чувством, роскошною живописностью картин, звучным и гармоническим языком. Как жаль, что он писал баллады. Баллада без народности есть род ложный и не может возбуждать участия. Притом же он силился создать какую-то *славянскую* балладу. Славяне жили давно и мало известны нам; так для чего же выводить на сцену онемеченных Всемир и Останов? Козлов много повредил своей художнической знаменитости еще и тем, что иногда писал как будто от скуки: это в особенности можно сказать о его нынешних произведениях.

Языков и Давыдов (Д. В.) имеют много общего. Оба они примечательные явления в нашей литературе. Один, поэт-студент, беспечный и кипящий избытком юного чувства, воспеваает потехи юности, пирующей на празднике жизни, пурпуровые уста, черные очи, лилейные перси и дивные брови красавиц, огненные ночи и незабвенные края,

Где пролетела шумно, шумно  
Лихая молодость его.

Другой, поэт-воин, со всею военною откровенностию, со всем жаром неохлажденного годами и трудами чувства, в удалых стихах рассказывает нам о проказах молодости, об ухарских забавах, о лихих наездах, о гусарских ширунках, о своей любви к какой-то гордой красавице. Как тот, так и другой нередко срывают с своих лир звуки сильные, громкие и торжественные; нередко трогают выражением чувства живого и пламенного. Их односторонность в них есть оригинальность, без которой нет истинного таланта.

Подолинский подал о себе самые лестные надежды и, к несчастью, не выполнил их. Он владел поэтическим языком и не был лишен поэтического чувства. Мне кажется, что причина его неуспеха заключается в том, что он не сознал своего назначения и шел не по своей дороге.

Ф. Н. Глинка... но что я скажу об нем? Вы знаете, как благоуханны цветы его поэзии, как нравственно и свято его художественное направление: это хоть кого так обезоружит. Но, вполне сознавая его поэтическое дарование, нельзя в то же время не сознаться, что оно уже чересчур односторонно; нравственность нравственностию, а ведь одно и то же прискучит. Ф. Н. Глинка писал много, и потому, между многими прекрасными пьесками, у него чрезвычайно много писс решительно посредственных. Причиною этого, кажется, то, что он смотрит на творчество, как на занятие, как на невинное препровождение времени, а не как на призвание свыше, и вообще как-то низменно смотрит на многие предметы. Лучшими своими стихами он обязан религиозным вдохновениям. Его поэма «Карелия» заключает в себе много красот, может быть, еще больше недостатков.

Дельвиг... но Дельвигу Языков написал прелестную поэтическую панихиду, но Дельвига Пушкин почитает человеком с необыкновенным дарованием; куда же мне спорить с такими авторитетами? Дельвига почитали некогда огречившимся немцем: правда ли это? *De mortuis aut bene aut nihil*<sup>92</sup>, и потому я не хочу обнаруживать моего собственного мнения о сем поэте. Вот что некогда было напечатано в «Московском Вестнике» о его стихотворениях: «их можно прочесть с легким удовольствием, но не более». Таких поэтов много было в прошлое десятилетие.

(Не все еще)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Предокончание)

Берег! Берег!..

Истертое выражение.

Пушкинский период отличается необыкновенным множеством стихотворцев-поэтов: это решительно период стихотвор-

ства, превратившегося в совершенную манию. Не говоря уже о стихотворцах бездарных, авторах киргизских, московских и других пленников, авторах Бельских и других Евгениев<sup>94</sup> под разными именами, сколько людей, если не с талантом, то с удивительной способностью, если не к поэзии, то к стихотворству. Стихами и отрывками из поэм было наводнено многочисленное поколение журналов и альманахов; опытами в стихах, собраниями стихов и поэмами были наводнены книжные лавки. И во всем этом был виноват один Пушкин: вот едва ли не единственный, хотя и неумышленный, грех его в отношении к русской литературе. Итак, о бездарных писаках много говорить нечего; бранить их тоже нечего: мстительная Лета давно уже наказала их. Поговорю лучше о людях, отличившихся некоторою степенью таланта или, по крайней мере, способности. Отчего они так скоро утратили свою знаменитость? Или они выписались? Ничуть не бывало! Многие из них и теперь еще пишут, или, по крайней мере, и теперь еще могут писать так же хорошо, как и прежде; но, увы! уже не могут возбуждать своими сочинениями бывалого энтузиазма в читателях. Отчего же? Оттого, повторяю, что они могли быть и не быть, что пылкость юности принимали за тревогу вдохновения, способность принимать впечатления изящного за способность поражать других впечатлениями изящного, способность описывать всякую данную материю с некоторым раздражительным вымыслом\* гармоническими стихами за способность воспроизводить в слове явления всеобщей жизни природы. Они заняли у Пушкина этот стих гармонический и звучный, отчасти и эту поэтическую прелесть выражения, которые составляют только внешнюю сторону его созданий; но не заняли у него этого чувства глубокого и страдательного, которым они дышат, и которое одно есть источник жизни художественных произведений. Посему-то они как будто скользят по явлениям природы и жизни, как скользит по предметам бледный луч зимнего солнца, а не проникают в них всю жизнь свою; посему-то они как будто только описывают предметы, или рассуждают о них, а не чувствуют их. И потому-то вы прочтете их стихи иногда и с удовольствием, если не с наслаждением; но они никогда не оставят в душе вашей резкого впечатления, никогда не заронятся в вашу память. Присовокупите к этому еще односторонность их направления и однообразие их заветных мечтаний и дум, и вот вам причина, отчего нимало не шевелят вашего сердца эти стихи, некогда столь пленявшие вас. Ныне не то время, что прежде: ныне только стихами, ознаменованными печатью высокого таланта, если не гения, можно заставить читать себя. Ныне не требуют стихов *выстраданных*, стихов, в коих слыша-

\* См. «Поэтические правила» Аполлоса.

лись бы вопли души, исторгаемые неземными муками; словом, ныне

Плач неестественный досаден,  
Смешно жеманное вытье...<sup>95</sup>

Один из молодых замечательнейших литераторов наших, г. Шевырев, с ранних лет своей жизни предавшийся науке и искусству, с ранних лет выступивший на благородное поприще действия в пользу общую, слишком хорошо понял и почувствовал этот недостаток, столь общий почти всем его сверстникам и товарищам по ремеслу. Одаренный поэтическим талантом, что особенно доказывают его переводы из Шиллера, из коих многие сам Жуковский не постыдился бы назвать своими; обогащенный познаниями, коротко знакомый со всеобщей историей литератур, что доказывается многими его критическими трудами и особенно отлично исполняемой им должностью профессора при Московском университете, — он, как видно из его оригинальных произведений, решился произвести реакцию всеобщему направлению литературы тогдашнего времени. В основании каждого его стихотворения лежит мысль глубокая и поэтическая, видны претензии на шиллеровскую обширность взгляда и глубину чувства, и, надо сказать правду, его стих всегда отличался энергической краткостью, крепостью и выразительностью. Но цель вредит поэзии; притом же, назначив себе такую высокую цель, надо обладать и великими средствами, чтобы ее достойно выполнить. Посему большая часть оригинальных произведений г. Шевырева, за исключением весьма немногих, обнаруживающих неподдельное чувство, при всех их достоинствах часто обнаруживают более усилия ума, чем изливание горячего вдохновения<sup>96</sup>. Один только Веневитинов мог согласить мысль с чувством, идею с формой, ибо из всех молодых поэтов *Пушкинского* периода он один обнимал природу не холодным умом, а пламенным сочувствием и силой любви мог проникать в ее святилище, мог

В ее таинственную грудь,  
Как в сердце друга, заглянуть<sup>97</sup>,

и потом передавать в своих созданиях высокие тайны, подсмотренные им на этом недоступном алтаре. Веневитинов есть единственный у нас поэт, который даже современниками был понят и оценен по достоинству. Это была прекрасная утренняя заря, предрекавшая прекрасный день; в этом согласились все партии. Долг справедливости заставляет меня упомянуть еще о Полежаеве, таланте, правда, одностороннем, но тем не менее и замечательном. Кому не известно, что этот человек есть жалкая жертва заблуждений своей юности, несчастная жертва духа того времени, когда талантливая молодежь в почтовых мчалась по дороге жизни, стремилась упиваться жизнью, а не изучать ее, смотрела на жизнь, как на буйну

оргию, а не как на тяжкий подвиг? Не читайте его переводов (исключая Ламартиновой пьесы: *l'Homme à Lord Byron*), которые как-то нейдут в душу; не читайте его шутливых стихотворений, которые отзываются слишком трактирным разгульем; не читайте его заказных стихов; но прочтите те из его произведений, которые имеют большее или меньшее отношение к его жизни; прочтите «Думу на берегу моря», его «Вечернюю зарю», его «Провидение» — и вы узнаете в Полежаеве талант, увидите чувство!..

Теперь мне остается сказать об одном поэте, не похожем ни на одного из всех упомянутых мною, поэте оригинальном и самобытном, не признавшем над собой влияния Пушкина, и едва ли не равном ему: говорю о Гриббедове. Этот человек слишком много надежд унес с собою во гроб. Он был назначен быть творцом русской комедии, творцом русского театра.

Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его, т.-е. всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме блага и истины? И, в самом деле, не сосредоточиваются ли в нем все чары, все обаяния, все обольщения изящных искусств? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные мятели в безбрежных степях Аравии?.. Какое из всех искусств владеет такими могущественными средствами поражать душу впечатлениями и играть ею самовластно... Лиризм, эпопея, драма: отдаете ли вы чему-нибудь из них решительное предпочтение, или все это любите одинаково? Трудный выбор? Не правда ли? Ведь в мощных строфах богатыря Державина и в разнообразных напевах Протея Пушкина предображается та же самая природа, что и в поэмах Байрона или романах Вальтер Скотта, а в сих последних та же самая, что и в драмах Шекспира и Шиллера? И однако же, я люблю драму предпочтительно, и, кажется, это общий вкус. Лиризм выражает природу неопределенно и, так сказать, музыкально; его предмет — вся природа во всей ее бесконечности; предмет же драмы есть исключительно человек и его жизнь, в которой проявляется высшая, духовная сторона всеобщей жизни вселенной. Между искусствами драма есть то же, что история между науками. Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека, а драма представляет этого человека в его вечной борьбе с своим я и с своим назначением, в его вечной деятельности, источник которой есть стремление к какому-то темному идеалу блаженства, редко им постигаемого и еще реже достигаемого. Сама эпопея от драмы занимает свое достоинство: роман без драматизма вял и скучен.

В некотором смысле эпопея есть только особенная форма драмы. Итак, положим, что драма есть, если не лучший, то ближайший к нам род поэзии. Что же такое театр, где эта могущественная драма облачается с головы до ног в новое могущество, где она вступает в союз со всеми искусствами, призывает их на свою помощь и берет у них все средства, все оружия, из коих каждое, отдельно взятое, слишком сильно для того, чтобы вырвать вас из тесного мира сует и ринуть в безбрежный мир высокого и прекрасного? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? . . . О, это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений. Эти звуки настраиваемых в оркестре инструментов томят вашу душу ожиданием чего-то чудесного, сжимают ваше сердце предчувствием какого-то неизъяснимо-священного блаженства: этот народ, наполняющий огромный амфитеатр, разделяет ваше нетерпеливое ожидание, вы сливаетесь с ним в одном чувстве; этот роскошный и великодушный занавес, это море огней намекают вам о чудесах и дивах, рассеянных по прекрасному божью творению и сосредоточенных на тесном пространстве сцены! И вот грянул оркестр — и душа ваша предощущает в его звуках те впечатления, которые готовятся поразить ее; и вот поднялся занавес — и перед вами вашими разливается бесконечный мир страстей и судеб человеческих. Вот умоляющие вопли кроткой и любящей Дездемоны мешаются с бешеными воплями ревнивого Отелло; вот среди глубокой полночи появляется леди Макбет с обнаженной грудью, с растрепанными волосами, и тщетно старается стереть с своей руки кровавые пятна, которые мерещатся ей в муках мстительной совести; вот выходит бедный Гамлет с его заветным вопросом: *быть или не быть*; вот проходят перед вами и божественный мечтатель Поза<sup>98</sup> и два райские цветка — Марк и Текла<sup>99</sup> — с их небесною любовью, словом, весь роскошный и безграничный мир, созданный плодотворною фантазией Шекспиров, Шиллеров, Гете, Вернеров. . . Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность; здесь ваше холодное я исчезает в пламенном эфире любви. Если вас мучит тягостная мысль о трудном подвиге вашей жизни и слабости ваших сил, вы здесь забудете ее; если душа ваша алкала когда-нибудь любви и упоения, если в вашем воображении мелькала когда-нибудь, подобно легкому видению ночи, какой-то пленительный образ, давно вами забытый, как мечта несбыточная — здесь эта жажда вспыхнет в вас с новой неукротимой силой, здесь этот образ снова явится вам, и вы увидите его очертания, устремленные на вас с тоскою и любовью, упьетесь его обаятельным дыханием, содрогнетесь от огненного прикосновения его руки. . . Но возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душою человеческою? . . . О, как было бы

хорошо, если бы у нас был свой, народный, русский театр!.. В самом деле — видеть на сцене всю Русь, с ее добром и злом, с ее высоким и смешным, слышать говорящими ее доблестных героев, вызванных из гроба могуществом фантазии, видеть бие-ние пульса ее могучей жизни... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!..

Но, увы! все это поэзия, а не проза, мечты, а не существен-ность! Там, т. е. в том большом доме, который называют рус-ским театром, там, говорю я, вы увидите пародии на Шекспира и Шиллера, пародии смешные и безобразные; там выдают вам за трагедию корчи воображения; там вас подчуют жизнью, вывороченною наизнанку; словом, там

... Мельпомены бурной  
Протяжно раздается вой,  
Там машет мантией мишурной  
Она пред хладною толпой!<sup>100</sup>

Говорю вам: не ходите туда; это очень скучная забава!.. Но не будем слишком строги к театру: не его вина, что он так плох. Где у нас драматическая литература, где драматические таланты? Где наши трагики, наши комики? Их много, очень много; их имена всем известны, и потому не хочу перебирать их, ибо мои похвалы ничего не прибавят к той громкой славе, которую они по справедливости пользуются. Итак, обращаюсь к Грибоедову.

Грибоедова комедия или драма (я не совсем хорошо по-нимаю различие между этими двумя словами; значение же слова *трагедия* совсем не понимаю) давно ходила в рукописи. О Грибоедове, как и о всех примечательных людях, было много толков и споров; ему завидовали некоторые наши гении, в то же время удивлявшиеся «Ябеде» Капниста; ему не хотели отдавать справедливости те люди, кои удивлялись гг. АВ, СД, ЕФ и пр. Но публика рассудила иначе: еще до печати и пред-ставления рукописная комедия Грибоедова разлилась по Рос-сии бурным потоком.

Комедия, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется трагедиею; ее предмет есть пред-ставление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается над всем из одного желанья позубоскалить; нет: ее элемент есть этот желчный *гумор*, это грозное негодование, которое не улы-бается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует ничто-жество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. Комедия Гри-боедова есть истинная *divina comedia!*<sup>101</sup> Это совсем не смешной анекдотец, переложенный на разговоры, не такая комедия, где действующие лица нарицаются Добряковыми, Плутуватиными, Обираловыми и пр.; ее персонажи давно были вам известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения «Горя от ума», и однако ж вы удивляетесь им, как явлениям совершенно новым.

для вас: вот высочайшая истина поэтического вымысла! Лица, созданные Грибоедовым, не выдуманы, а сняты с природы во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни; у них не написано на лбах их добродетелей и пороков; но они заклеены печатью своего ничтожества, заклеены мстительною рукою палача-художника. Каждый стих Грибоедова есть сарказм, вырвавшийся из души художника в пылу негодования; его слог есть раг excellence разговорный. Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества<sup>102</sup>: без всякого сомнения, это не стоило ему ни малейшего труда; но тем не менее это все-таки великая заслуга с его стороны, ибо разговорный язык наших комиков... Но я уже обещался не говорить о наших комиках... Конечно, это произведение не без недостатков в отношении к своей целостности, но оно было первым опытом таланта Грибоедова, первую русскую комедию; да и сверх того, каковы бы ни были эти недостатки, они не мешают ему быть образцовым, гениальным произведением и не в русской литературе, которая в Грибоедове лишилась Шекспира комедии...

Довольно о поэтах-стихотворцах, поговорим о поэтах-прозаиках. Знаете ли, чье имя стоит между ними первым в *Пушкинском периоде* словесности? Имя г. Булгарина, милостивые государи. Это и не удивительно. Г. Булгарин был начинщиком, а начинщики, как я уже имел честь докладывать вам, всегда бессмертны, и потому беру смелость уверить вас, что имя г. Булгарина так же бессмертно в области русского романа, как имя московского жителя Матвея Комарова\*. Имя петербургского Вальтер-Скотта Фаддея Венедиктовича Булгарина, вместе с именем московского Вальтер-Скотта Александра Анфимовича Орлова, всегда будет составлять лучезарное созвездие на горизонте нашей литературы. Остроумный Косичкин уже оценил, как следует, обоих сих знаменитых писателей, показав нам сравнительно их достоинства, и потому, не желая повторять Косичкина, я выскажу о г. Булгарине мнение, теперь для всех общее, но еще нигде не высказанное печатно<sup>103</sup>. Неужели и в самом деле г. Булгарин совершенно равен г. Орлову? Говорю утвердительно, что нет; ибо, как писатель вообще, он несравненно выше его, но, как художник собственно, он немного пониже его. Хотите ли знать, в чем состоит главная разница между сими светилами нашей словесности? Один из них много видел, много слышал, много читал, был и бывает везде; другой, бедный! не только не был в Испании<sup>104</sup>, но даже и не выезжал за русскую границу; при знании латинского языка (знании, впрочем, не доказанном никаким изданием Горация<sup>105</sup>,

\* Автора «Полициона», «Английского милорда» и других подобных знаменитых произведений.

ни с своими, ни с чужими примечаниями), не совсем твердо владеет и своим отечественным, да и не мудрено: он не имел случая *прислушиваться к языку хорошей компании*<sup>106</sup>. Итак, все дело в том, что сочинения одного выглажены и вытощены, как пол гостинной, а сочинения другого отзываются толкучим рынком. Впрочем, удивительное дело! несмотря на то, что оба они писали для разных классов читателей, они нашли в одном и том же классе свою публику. И надо думать, что эта публика будет благосклоннее к Александру Анфимовичу, ибо он больше *поэт*, тогда как Фаддей Венедиктович более *философ*, а поэзия доступнее философии для всех классов.

Почти вместе с Пушкиным вышел на литературное поприще и г. Марлинский. Это — один из самых примечательнейших наших литераторов. Он теперь безусловно пользуется самым огромным авторитетом: теперь перед ним все на коленях; если еще не все в один голос называют его *русским Бальзаком*, то потому только, что боятся унижить его этим и ожидают, чтобы французы называли Бальзака *французским Марлинским*. В ожидании, пока совершится это чудо, мы похладнокровнее рассмотрим его права на такой громадный авторитет. Конечно, страшно выходить на бой с общественным мнением и восставать явно против его идолов; но я решаюсь на это не столько по смелости, сколько по бескорыстной любви к истине. Впрочем, меня ободряет в сем случае и то, что это страшное общественное мнение начинает мало-помалу приходить в память от оглушительного удара, произведенного на него полным изданием «Русских повестей и рассказов» г. Марлинского; начинают ходить темные толки о каких-то натяжках, о скучном однообразии, и тому подобном. Итак, я решаюсь быть органом нового общественного мнения. Знаю, что это новое мнение найдет еще слишком много противников, но как бы то ни было, а истина дороже всех на свете авторитетов.

На безлюдьи истинных талантов в нашей литературе талант г. Марлинского, конечно, явление очень примечательное. Он одарен остроумием неподдельным, владеет способностью рассказа, нередко живого и увлекательного, умеет иногда снимать с природы картинку-загляденье. Но вместе с этим нельзя не сознаться, что его талант чрезвычайно односторонен, что его претензии на пламень чувства весьма подозрительны, что в его созданиях нет никакой глубины, никакой философии, никакого драматизма; что, вследствие этого, все герои его повестей сбиты на одну колодку и отличаются друг от друга только именами; что он повторяет себя в каждом новом произведении; что у него более фраз, чем мыслей, более риторических возгласов, чем выражений чувства. У нас мало писателей, которые бы писали столько, как г. Марлинский: но это обилие происходит не от огромности дарования, не от избытка творческой деятельности, а от навыка, от привычки писать. Если вы имеете

хотя несколько дарования, если образовали себя чтением, если запаслись известным числом идей и сообщили им некоторый отпечаток своего характера, своей личности, то берите перо и смело пишите с утра до ночи. Вы дойдете, наконец, до искусства, во всякую пору, во всяком расположении духа, писать о чем вам угодно; если у вас придумано несколько пышных монологов, то вам не трудно будет приделать к ним роман, драму, повесть; только позаботьтесь о форме и слоге: они должны быть оригинальные.

Вещи всего лучше познаются сравнением. Если два писателя пишут в одном роде и имеют между собою какое-нибудь сходство, то их не иначе можно оценить в отношении друг к другу, как выставив параллельные места: это самый лучший пробный камень. Посмотрите на Бальзака: как много написал этот человек, и, несмотря на то, есть ли в его повестях хотя один характер, хотя одно лицо, которое бы сколько-нибудь походило на другое? О, какое непостижимое искусство обрисовывать характеры со всеми оттенками их индивидуальности! Не преследовал ли вас этот грозный и холодный облик Феррагуса, не мерещился ли он вам и во сне и наяву, не бродил ли за вами неотступной тенью? О, вы узнали бы его между тысячами; и, между тем, в повести Бальзака он стоит в тени, обрисован слегка, мимоходом, и застановлен лицами, на коих сосредоточивается главный интерес поэмы. Отчего же это лицо возбуждает в читателе столько участия и так глубоко врезывается в его воображении? Оттого, что Бальзак не выдумал, а создал его, оттого, что он мерещился ему прежде, нежели была написана первая строка повести, что он мучил художника до тех пор, пока он не извел его из мира души своей в явление, для всех доступное. Вот мы видим теперь на сцене и другого из Тринадцати: Феррагус и Монриво, видимо, одного покроя: люди с душою глубокою, как морское дно, с силою воли непреодолимою, как воля судьбы; и однакож, спрашиваю вас: похожи ли они хоть сколько-нибудь друг на друга, есть ли между ними что-нибудь общее? Сколько женских портретов вышло изпод плодотворной кисти Бальзака, и, между тем, повторил ли он себя хотя в одном из них?.. Таковы ли в сем отношении создания г. Марлинского? Его Амаллат-Бек, его полковник В\*\*\*, его герой «Страшного гадания», его капитан Правин — все они родные братцы, которых различить трудно самому их родителю. Только разве первый из них немного отличается от прочих своим азиатским колоритом. Где же творчество? Притом сколько натяжек! Можно сказать, что *натяжка* у г. Марлинского такой конек, с которого он редко слезает. Ни одно из действующих лиц его повестей не скажет ни слова просто, но вечно с ужимкой, вечно с эпиграммою, или с каламбуром, или с подобием; словом, у г. Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово завитком. Надо сказать правду: природа с избы-

ком наградила его этим остроумием, веселым и добродушным, которое колет, но не язвит, щекочет, но не кусает; но и здесь он часто пересаливает. У него есть целые огромные повести, как, например, «Наезды», которые суть не иное что, как огромные натяжки. У него есть талант, но талант не огромный, талант обесиленный вечным принуждением, избившийся и растрясшийся о пни и колоды выисканного остроумия. Мне кажется, что роман — не его дело, ибо у него нет никакого знания человеческого сердца, никакого драматического такта. Для чего, например, заставил он князя, для которого все радости земли и неба заключались в устрицах, для которого вкусный стол всегда был дороже жены и ее чести, для чего заставил он его проговорить патетический монолог осквернителю его брачного ложа, монолог, который сделал бы честь и самому Правину? Это — просто натяжка, закулисная подставочка; автору хотелось быть нравственным на манер г. Булгарина. Вообще он не мастер скрывать закулисные машины, на коих вертится здание его повестей; они у него всегда на виду. Впрочем, в его повестях встречаются иногда места истинно прекрасные, очерки истинно мастерские: таково, например, описание русского простонародного Мефистофеля и вообще все сцены деревенского быта в «Страшном гаданьи», таковы многие картины, снятые с природы, исключая, впрочем, «Кавказских очерков», которые натянуты до тошноты, до *pes plus ultra*. По мне, лучшие его повести суть «Испытания» и «Лейтенант Белозор»: в них можно от души полюбоваться его талантом, ибо он в них в своей тарелке. Он смеется над своим стихотворством; но мне перевод его Песен горцев в «Амаллат-Беке» кажется лучше всей повести: в них так много чувства, так много оригинальности, что и Пушкин не постыдился бы назвать их своими. Равным образом и в его «Андрее Переяславском», особенно во второй главе, встречаются места истинно поэтические, хотя целое произведение слишком отзывается детством. Всего страннее в г. Марлинском, что он с удивительною скромностью недавно сознался в таком грехе, в котором он не виноват ни душою, ни телом: в том, что будто он своими повестями отворил двери для народности в русскую литературу: вот что, так уж неправда! Эти повести принадлежат к числу самых неудачных его попыток, в них он народен не больше Карамзина, ибо его Русь жестоко отзывается его заветною, его любимую Ливониею. Время и место не позволяют мне подкрепить выписками из сочинений г. Марлинского мое мнение о его таланте: впрочем, это очень легко сделать. О слоге его не говорю. Ныне слово *слог* начало терять прежнее свое обширное значение, ибо его перестают уже отделять от мысли. Словом, г. Марлинский писатель не без таланта, и был бы гораздо выше, если б был естественнее и менее натягивался<sup>107</sup>.

*Пушкинский* период был самым цветущим временем нашей словесности. Его надобно б было обозреть исторически и в хро-

нологическом порядке; я не сделал этого, потому что не то имел целию. Можно сказать утвердительно, что тогда мы имели, если не литературу, то, по крайней мере, призрак литературы; ибо тогда было в ней движение, жизнь и даже какая-то постепенность в развитии. Сколько новых явлений, сколько талантов, сколько попыток на то и на другое! Мы было уже и в самом деле от души стали верить, что имеем литературу, имеем своих Байронов, Шиллеров, Гете, Вальтер-Скоттов, Томасов Муров; мы были веселы и горды, как дети праздничными обновками. И кто же был нашим разочарователем, нашим Мефистофелем? Кто явился сильною, грозною реакциею и гораздо поохладил наши восторги? Помните ли вы Никодима Аристарховича Надоумку; помните ли, как, выступив на сцену, на своих *скудельных ножках*, он рассеял наши сладкие мечты своим добродушно-лукавым: *хе! хе! хе!*<sup>108</sup>. Помните ли, как мы все уцепились за наши авторитеты и авторитетики и руками и ногами отстаивали их от нападений грозного аристарха? Не знаю, как вы, а я очень хорошо помню, как все сердились на него; помню, как я сам сердился на него. И что же? Уже сбылась большая часть его зловещих предсказаний, и теперь уже никто не сердится на покойника!.. Да! Никодим Аристархович был замечательное лицо в нашей литературе: сколько наделал он тревоги, сколько произвел кровопролитных войн, как храбро сражался, как жестоко поражал своих противников и этим слогом, иногда оригинальным до тривиальности, но всегда резким и метким, и этим твердым силлогизмом, и этой насмешкою, простодушною и убийственною вместе...

И где же твой, о витязь, прах?  
Какою вьют могилой?..<sup>109</sup>

Что скажу я о *журналах* тогдашнего времени? Неужели умолчу о них? Они в то время получили такую важность в глазах публики, возбуждали к себе такое живое участие, играли такую важную роль!.. Скажу, что почти все они, волею и неволею, умышленно и неумышленно, способствовали к распространению у нас новых понятий и взглядов; мы по ним учились и по ним выучились. Все они сделали все, что мог каждый по своим силам. Кто же больше? На это не могу отвечать утвердительно; ибо, по особенным обстоятельствам, впрочем важным только для одного меня, не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню благоразумное правило Монтаня, и многие истины крепко держу в кулаке. Главное, я слишком еще неопытен в хамелеонистике, и имею глупость дорожить своими мнениями, не как литератора и писателя (тем более, что я покуда ни то, ни другое), а как мнениями честного и добросовестного человека, и мне как-то совестно написать панигирик одному журналу, не отдавая справедливости другому...<sup>110</sup> Что делать, я еще по моим понятиям при-

надлежу к Аркадии!.. Итак, ни слова о журналах! Теперь смотрю я на мой огромный стол, на котором лежат эти покойники кучами и кипами, лежат на нем, как во гробе, примиренные друг с другом моею леностию и беспорядком моей комнаты, в смеси, друг на друге — гляжу на них с грустной улыбкою и говорю:

И все то благо. все добро!

(Окончание следует)

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕЧТАНИЯ

(Окончание)

Еще одно последнее сказанье,  
И летопись окончена моя!

Пушкин.

Тридцатый *холерный* год был для нашей литературы истинным *черным* годом, истинно роковою эпохою, с коей начался совершенно новый период ее существования, в самом начале своем резко отличившийся от предыдущего. Но не было никакого перехода между этими двумя периодами; вместо его был какой-то насильственный перерыв. Подобные противоестественные скачки, по моему мнению, всего лучше доказывают, что у нас нет литературы, а, следовательно, нет и истории литературы; ибо ни одно явление в ней не было следствием другого явления, ни одно событие не вытекало из другого события. История нашей словесности есть ни больше, ни меньше, как история неудачных попыток, посредством слепого подражания иностранным литературам, создать свою литературу; но литературу не создают; она создается так, как создаются, без воли и ведома народа, язык и обычай. Итак, тридцатым годом кончился, или, лучше сказать, внезапно оборвался период *Пушкинский*, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывшего звука не сорвалось с его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности допевали свои старые песенки, свои обычные мечты, но уже никто не слушал их. Старинка приелась и набила оскомину, а нового от них нечего было услышать, ибо они остались на той же самой черте, на которой стали при первом своем появлении, и не хотели сдвинуться с ней. Журналы все умерли, как будто бы от какого-нибудь апоплексического удара или действительно от холеры-морбус<sup>111</sup>. Причина этой внезапной смерти или этого мора заключалась в том же, в чем заключается причина того, что у нас нет литературы. Они почти все родились без всякой нужды, а так, от безделья или от желания пошуметь, и потому не имели ни характера, ни самостоятельности, ни силы, ни влияния на об-

щество, и не оплаканные сошли в безвременную могилу. Только для двух из них можно сделать исключение; только два из них представляют любопытный, поучительный и богатый результат для наблюдателя. Один, старец, водивший, бывало, на помочах наше юное общество, издавна пользовавшийся огромным авторитетом и деспотически управлявший литературными мнениями; другой, юноша, с пламенной душой, с благородным рвением к общей пользе, со всеми средствами достичь своей прекрасной цели, и, между тем, не достигший ее. «Вестник Европы» пережил несколько поколений, воспитал несколько поколений, из коих последнее, взлелеянное им, восстало с ожесточением на него же; но он всегда оставался одним и тем же, не изменялся и бился до последних сил: это была борьба благородная и достойная всякого уважения, борьба не из личных мелочных выгод, но из мнений и верований задушевных и кровных. Его убило время, а не противники; и потому его смерть была естественная, а не насильственная\*. «Московский Вестник» имел большие достоинства, много ума, много таланта, много пылкости; но мало, чрезвычайно мало сметливости и догадливости, и поэтому сам был причиной своей преждевременной кончины. В эпоху жизни, в эпоху борьбы и столкновения мыслей и мнений, он вздумал наблюдать дух какой-то умеренности и отчуждения от резкости в суждениях и, полный дельными и учеными статьями, был тощ рецензиями и полемикою, кои составляют жизнь журнала, был беден повестями, без коих нет успеха русскому журналу, и,

---

\* Любопытная вещь. Г. Каченовский, который восстановил против себя пушкинское поколение и сделался предметом самых жесточайших его преследований и нападков, как литературный деятель и судия, в следующем поколении нашел себе ревностных последователей и защитников, как ученый, как исследователь отечественной истории<sup>112</sup>. Впрочем, это ничуть не удивительно: один человек не может вместить в себе всего; всеобъемлемость ума и многосторонность таланта дается не многим избранным. Поэтому у г. Гоголя читайте его прекрасные сказки, а у г. Каченовского его, или написанные под его влиянием и руководством, статьи о русской истории, и помните латинскую поговорку: *sunt cuique*<sup>113</sup>; а более всего мудрое правило нашего великого баснописца:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  
А сапоги тачать пирожник.

Я не ученый, и в истории смыслю весьма немного; сужу не как знаток, но как любитель: но ведь не из любителей ли состоит и публика? Поэтому всякое добросовестное мнение любителя должно заслуживать некоторое внимание, тем более, если оно есть отголосок *общего*, т. е. *господствующего* мнения. Теперь у нас две исторические школы: Шлепера и г. Каченовского. Одна опирается на давности, привычке, уважении к авторитету ее основателя; другая, сколько я понимаю, — на здравом смысле и глубокой учености. Будучи совершенно невинен в последней, я имею некоторые притязания на первый, вследствие чего мне кажется очень естественным, что настоящее поколение, чуждое воспоминаний старины и предубеждений авторитетов, горячо приняло исторические мнения г. Каченовского. Впрочем, ученая литература не мое дело: я сказал это так, мимоходом, à propos. Соч.

что всего ужаснее, не вел подробной и отчетливой летописи мод и не прилагал модных картинок, без которых плохая надежда на подписчиков русскому журналисту. Что ж делать? Без маленьких и, повидимому, пустых уступок нельзя заключить выгодного мира. «Московский Вестник» был лишен современности, и теперь его можно читать, как хорошую книгу, никогда не теряющую своей цены, но журналом, в полном смысле сего слова, он никогда не был. Журналисты, как и поэты, рождаются и бывают ими по призванию. Я не хотел говорить о журналах и как-то против своей воли увлекся; посему, говоря о покойниках, скажу слова два об одном живом, не упоминая, впрочем, его имени, которое весьма не трудно угадать. Он уже существует давно: был единичным, двойственным и наконец сделался тройственным, и всегда отличался от своей собратии какого-то рода особенною безличностью<sup>114</sup>. В то время когда «Вестник Европы» отстаивал святую старину и до последнего вздоха бился с ненавистною новизною, в то время, когда юное поколение новых журналов сражалось, в свою очередь, не на живот, а на смерть с скучною, опостылевшею стариною, и с благородным самоотвержением силилось водрузить хоругвь века, — журнал, о коем я говорю, составил себе новую эстетику, вследствие которой то творение было высоко и изящно, которое печаталось во множестве экземпляров и хорошо раскупалось, новую политику, вследствие коей писатель ныне был выше Байрона, а завтра претерпевал *chute complète*<sup>115</sup>. Вследствие сей-то благоразумной политики некоторые из наших Вальтер-Скоттов писали повести о Никандрах Свистушкиных, авторах поэм: «Жиды» и «Воры», и пр. и пр.<sup>116</sup>. Словом, этот журнал был единственным и беспримерным явлением в нашей литературе.

Итак, настал новый период словесности. Кто же явился главой этого нового, этого *четвертого* периода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладел общественным вниманием и мнением, самодержавно правил последним, положил печать своего гения на произведения своего времени, сообщил ему жизнь и дал направление современным талантам? Кто, говорю я, явился солнцем этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многие претендовали на это высокое титуло. Еще в первый раз литература явилась без верховной главы, и из огромной монархии распалась на множество мелких, независимых одно от другого государств, завистливых и враждебных одно другому. Голов было много, но они так же скоро падали, как скоро и возвышались; словом, этот период есть период нашей литературной истории в темную родину междоусобия и самозванцев.

Как противоположен был *Пушкинский* период *Карамзинскому*, так настоящий период противоположен *Пушкинскому*. Деятельность и жизнь кончились; громы оружия затихли, и утомленные бойцы вложили мечи в ножны на лаврах, каждый

приписывая себе победу и ни один не выиграв ее в полном смысле сего слова. Правда, в начале, особенно первых двух лет, еще бились отчаянно, но это была уже не новая война, а окончание старой: это была *тридцатилетняя война* после смерти Густава Адольфа и гибели Валленштейна. Теперь кончилась и эта кровопролитная война, но без Вестфальского мира, без удовлетворительных результатов для литературы. Период *Пушкинский* отличался какою-то бешеною манией к стихотворству; период новый, еще в самом своем начале, оказал решительную склонность к прозе. Но, увы! это было не шаг вперед, не обновление, а оскудение, истощение творческой деятельности. В самом деле, дошло до того, что теперь уже утвердительно говорят, будто в наше время самые превосходные стихи не могут иметь никакого успеха. Нелепое мнение! Очевидно, что оно, как и все, принадлежит не нам, а есть вольное подражание мнениям наших европейских соседей. У них часто повторяли, что в наш век эпопея не может существовать, а теперь, кажется, сбиваются на то, что в наше время и драма кончилась. Подобные мнения весьма странны и неосновательны. Поэзия у всех народов и во все времена была одно и то же в своем существе: переменались только формы,сообразно с духом, направлением и успехом, как всего человечества вообще, так и каждого народа в частности. Разделение поэзии на роды не есть произвольное: причина и необходимость одного скрывается в самой сущности искусства. Родов поэзии только три и больше быть не может. Всякое произведение, в каком бы то ни было роде, хорошо во все века и в каждую минуту, когда оно по своему духу и форме носит на себе печать своего времени и удовлетворяет все его требования. Где-то было сказано, что «Фауст» Гете есть «Илиада» нашего времени: вот мнение, с которым нельзя не согласиться! И в самом деле, разве Вальтер-Скотт также не есть наш Гомер, в смысле *эпика*, если не выразителя полного духа времени? Так и у нас теперь: явись новый Пушкин, но не Пушкин 1835, а Пушкин 1829 года, и Россия снова начала бы твердить стихи; но кто, кроме несчастных читателей *ex officio*, даже подумает и взглянуть на изделия новых наших стиходеев: гг. Ершовых, Струговщиковых, Марковых, Снегиревых и пр? ..

*Романтизм* — вот первое слово, огласившее *Пушкинский* период; *народность* — вот альфа и омега нового периода. Как тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть *романтиком*, так теперь всякий литературный шут претендует на титул *народного* писателя. *Народность* — чудное словечко! Что перед ним ваш *романтизм*! В самом деле, это стремление к народности весьма замечательное явление. Не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений которого всегда был прикован к туманному

Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в сталь, своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очарованные замки — и пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слышать и видом не видать, как не в ладу с русскими сказками греческий или немецкий гекзаметр?.. Но не будем слишком строги к этому заблуждению могущественного таланта, увлекшегося духом времени: Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг: мы больше не в праве ничего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин: странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным, теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности произошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель, опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом нимало не думал; он был народен, потому что не мог не быть народным; был народен бессознательно, и едва ли знал цену этой народности, которую усвоил созданиям своим без всякого труда и усилия. По крайней мере, его современники мало умели ценить в нем это достоинство: они часто упрекали его за *низкую природу* и ставили на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несравненно ниже его. Следовательно, наши литераторы, с такой ревностью заботящиеся о народности, хлопчут по-пустому. И в самом деле, какое понятие имеют у нас вообще о *народности*? Все, решительно все, смешивают ее с *простонародностью* и отчасти с тривиальностью. Но это заблуждение имеет свою причину, свое основание, и на него отнюдь не должно нападать с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литературе нельзя иначе понимать *народности*. Что такое народность в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою народную физиономию? Вот вопрос трудный для решения. Наша национальная физиономия всего больше сохранилась в низших слоях народа; посему наши писатели, разумеется, владеющие талантом, бывают народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обычаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во вся-

ком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях, или, вернее всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть оного, вы непременно впадаете в односторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности, и отмежевав для своей творческой деятельности нашу историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для поэзии. Не правда ли, что прекрасная повесть Безгласного «Княжна Мими» немножко мелка и вяла? <sup>117</sup> Помните ли вы ее эпиграф? — «Краски мои бледны, сказал живописец: что ж делать? в нашем городе нет лучших!» Вот вам самое лучшее оправдание со стороны поэта, и вместе самое лучшее доказательство, что в сей повести он народен в высочайшей степени. Так неужели наша народность в литературе есть мечта? Почти так, хотя и не совсем. Какой главный элемент наших произведений, отличающихся народностью? Очерки или древнерусской жизни (до Петра Великого), или простонародной жизни, и отсюда неизбежные подделки под тон летописей и народных песен, или под лад языка наших простолюдинов. Но ведь в этих летописях, в этой жизни давно прошедшей, веет дыхание общей человеческой жизни, являющейся под одной из тысячи ее форм; умеете же уловить его вашим умом и чувством и воспроизвести вашей фантазией в своем художественном создании. В этом вся сила и важность. Но вам надо быть гением, чтобы в ваших творениях трепетала идея русской жизни: это путь самый скользкий. Мы так отделены, или, лучше сказать, оторваны эрою Петра Великого от быта наших праотцев, что вашему произведению непременно должно предшествовать глубокое изучение этого быта. Итак, соразмеряйте ваши силы с целью и не слишком самонадеянно пишите: русские в таком-то или в таком-то году <sup>118</sup>. Притом еще надо заметить и то, что *русская жизнь* до Петра Великого была слишком спокойна и односторонна, или, лучше сказать, она проявлялась своим, оригинальным образом: вам легко будет оклеветать ее, придерживаясь Вальтера-Скотта. Писатель, который на любви оснует план своего романа и целию усилий героя поставит руку и сердце верной красавицы, покажет явно, что он не понимает Руси. Я знаю, что наши бояре лазили через тыны к своим прелестницам, но это было оскорбление и искажение величавой, чинной и степенной русской жизни, а не проявление оной; таких рыцарей ночи наказывали ревнивцы плетью и кольями, а не разделялись с ними на благородном поединке; такие красавицы почитались беспутными бабами, а не жертвами страсти, достойными сострадания и участия. Наши деды занимались любовью с законного дозволения, или мимо-

ходом, из шалости, и не сердце клали к ногам своих очаровательниц, а показывали им заранее шелковую плетку и неуклонно следовали мудрому правилу: *люби жену, как душу, а тряси ее, как грушу, или бей ее, как шубу*. Вообще сказать, мы еще и теперь любим не совсем по-рыцарски, а исключения ничего не доказывают.

Что ж касается до живого и сходного с натурою изображения сцен простонародной жизни, то не слишком обольщайтесь ими. Мне очень нравится в «Рославлеве» сцена на постоялом дворе, но это потому, что в ней удачно обрисован характер одного из классов нашего народа, характер, проявляющийся в решительную минуту отечества; пословицы, поговорки и ломаный язык, сами по себе, не имеют ничего занимательного. Из всего сказанного мною выходит, что наша народность покуда состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных. Всем известно, что французские классики *офранцузивали* в своих трагедиях греческих и римских героев: вот истинная народность, всегда верная самой себе и в искажении творчества! Она состоит в образе мыслей и чувствований, свойственных тому или другому народу. Я свято верю в генияльность Гете, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним; но, признаюсь, плохо верю *эллинизму* его «Ифигении»: чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагают подделку, более или менее неудачную. Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле? Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не установилось, еще не освободилось от европейской опеки; его физиономия еще не выяснилась и не выформировалась. «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган» мог написать всякий европейский поэт, но «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» мог написать только поэт русский. *Безотносительная* народность доступна только для людей, свободных от чуждых иноземных влияний, и вот почему народен Державин. Итак, *наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни*. Посмотрим, как успели в этом поэты нового периода нашей словесности.

Начало этого *народного* направления в литературе было сделано еще в *Пушкинском* периоде; только тогда оно не так резко выказалось. Зачинщиком был г. Булгарин. Но так как он не художник, в чем теперь никто уже не сомневается, кроме друзей его, то он принес своими романами пользу не литературе, а обществу, т. е. каждым из них доказал какую-нибудь практическую житейскую истину, а именно:

I. «Иваном Выжигиным»: вред, причиняемый России заморскими выходцами и пройдохами, предлагающими им свои продажные услуги в качестве гувернеров, управителей, а иногда и писателей;

II. «Дмитрием Самозванцем»: кто мастер изображать мелких плутов и мошенников, тот не берись за изображение крупных злодеев <sup>119</sup>;

III. «Петром Выжигиным»: *спустя лето, в лес по малину не ходят*; другими словами: *куй железо, пока горячо* <sup>120</sup>.

Повторяю: Фаддей Венедиктович не поэт, а философ практический, философ жизни действительной. Поэтическая сторона его созданий проявляется только в живом и верном изображении мошенничеств и плутней. Долг справедливости требует заметить, что он необыкновенным успехом своих романов, т. е. их необыкновенно удачным сбытом, способствовал много к оживлению нашей литературной деятельности и произвел бесконечное поколение романов. Ему же обязана российская публика и появлением на литературное поприще Александра Анфимовича Орлова.

Народному направлению много способствовал г. Погодин. В 1826 году появилась его маленькая повесть «Нищий», а в 1829—«Черная немочь». Обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по теплоте чувства, по мастерскому рассказу, а последняя и по прекрасной, поэтической идее, лежащей в основании. Если бы г. Погодин прогрессивно возвышался в своих повестях, то русская литература имела бы в нем такого писателя, которым по справедливости могла бы гордиться. Впрочем, не одному ему принадлежит честь начала народности в повестях: ее разделяли с ним, в большей или меньшей мере, и другие замечательные таланты <sup>121</sup>.

«Юрий Милославский» был первым хорошим русским романом. Не имея художественной полноты и целостности, он отличается необыкновенным искусством в изображении быта наших предков, когда этот быт сходен с нынешним и проникнут необыкновенною теплотою чувства. Присовокупите к этому увлекательность рассказа, новость избранного поприща, на котором он не имел себе ни образца, ни предшественника: и вы поймете причину его необычайного успеха. «Рославлев» отличается теми же красотами и теми же недостатками: отсутствием полноты и целостности, и живыми картинами простонародного быта.

«Киргиз-Кайсак» г. Ушакова был явлением удивительным и неожиданным: он отличается глубоким чувством и другими достоинствами истинно-художественного произведения и, между тем, принадлежит автору «Кота Бурмосека» и длинных и скучных статей о театре, о польской литературе, о том и о сем, отличающихся беззубым остроумием и забавными претензиями на критический талант и ученость. Что ж делать? «Киргиз-Кайсак», в сем отношении, есть единственное явление в нашей

литературе; разве Аблесимов не написал, можно сказать, *нена- рочно*, «Мельника», а г. Воейков — «Дома сумасшедших»? ..

Последний период был ознаменован появлением двух новых замечательных талантов: гг. Вельтмана и Лажечникова. Г. Вельтман пишет в стихах и в прозе, и в обоих случаях обнаруживает в себе истинный талант. Его поэмы: «Беглец» и «Муромские леса», были анахронизмом и потому не имели успеха. Впрочем, последняя из них, при всех своих недостатках, отличается яркими красотоми; кто не знает на память песни разбойника: *Что отуманилась, зоренька ясная?* «Странник», за исключением излишних претензий, отличается остроумием, которое составляет преобладающий элемент таланта г. Вельтмана. Впрочем, он возвышается у него и до высокого: «Искендер» есть один из драгоценнейших алмазов нашей литературы. Самое лучшее произведение г. Вельтмана есть «Кощей Бессмертный»: из него видно, что он глубоко изучил старинную Русь в летописях и сказках и как поэт понял ее своим чувством. Это ряд очаровательных картин, на которые нельзя довольно налюбоваться. Вообще, о г. Вельтмане должно сказать, что он уж чересчур много и долго играет своим талантом, в котором никто, кроме «Библиотеки для Чтения», не сомневается. Пора бы ему наиграться, пора подарить публику таким произведением, какого она вправе ожидать от него; у г. Вельтмана так много таланта, так много остроумия и чувства, так много оригинальности и самобытности!

Г. Лажечников не из новых писателей; он давно уже был известен своими «Походными записками офицера». Это произведение доставило ему литературную известность: но как оно было написано под Карамзинским влиянием, то, несмотря на некоторые свои достоинства, теперь забыто, да и сам автор называет его грехом своей юности\*. Но как бы то ни было, а г. Лажечников пользовался по нем славою литератора, и потому все ожидали его «Новика». Г. Лажечников не только не обманул сих надежд, но даже превзошел общее ожидание и по справедливости признан первым русским романистом. В самом деле, «Новик» есть произведение необыкновенное, ознаменованное печатью высокого таланта. Г. Лажечников обладает всеми средствами романиста: талантом, образованностию, пламенным чувством и опытом лет и жизни. Главный недостаток его «Новика» состоит в том, что он был первым, в своем роде, произведением автора: отсюда двойственность интереса, местами излишняя говорливость и слишком заметная зависимость от влияния иностранных образцов. Зато какое смелое и обильное воображение, какая верная живопись лиц и характеров, какое

\* При сем прошу у почтенного автора «Новика» извинения в неумышленной вине против него. Я очень хорошо знал, что прекрасная песня *«Сладко пел душа соловушко!»* принадлежит ему, ибо имел честь узнать это от самого него; вся вина моя в том, что я не совсем обстоятельно выразился. Соч. <sup>122</sup>

разнообразие картин, какая жизнь и движение в рассказе Эпоха, избранная автором, есть самый романический и драматический эпизод нашей истории, и представляет самую богатую жатву для поэта. Но, отдавая полную справедливость поэтическому таланту г. Лажечникова, должно заметить, что он не вполне умел воспользоваться избранною им эпохою, что произошло, кажется, от его не совсем верного на нее взгляда. Это особенно доказывается главным лицом его романа, которое, по моему мнению, есть самое худшее лицо во всем романе. Скажите, что в нем русского, или, по крайней мере, индивидуального? Это просто образ без лица и, скорее, человек нашего времени, чем XVII века. Вообще в «Новике» много героев и нет ни одного главного. Виднее и занимательнее прочих Паткуль: он нарисован во весь рост и нарисован кистью мастерскою. Но самое интересное, самое любимейшее чадо его фантазии есть, кажется, швейцарка Роза; это одно из таких созданий, которым позавидовал бы и сам Бальзак. Не имея ни времени, ни места, я не войду в полный разбор «Новика», хотя и много мог бы сказать о нем! заключаю: он обнаруживает в авторе высокий талант, удерживает за ним почетное место первого русского романиста; его недостатки происходят частью оттого, что, как мне кажется, автор смотрел не совсем с прямой точки на эпоху Петра Великого, а главное оттого, что «Новик» был первым его произведением. Судя по отрывкам из его нового романа, можно надеяться, что он будет гораздо выше первого и вполне оправдает ту доверенность, которую оказывает публика к его таланту <sup>123</sup>.

Теперь мне остается сказать еще об одном весьма примечательном лице нашей литературы: это автор, подписывающийся *Безгласным* и *з, в, й* <sup>124</sup>. Говорят, что это... но какое нам дело до имени автора, тем более, когда он сам не хочет выставлять его напоказ? Так как он недавно сам объявил о себе, что он ни А, ни В, ни С, то назову его хоть О. Этот О. пишет уже давно, но в последнее время его художественная деятельность обнаружилась в большей силе. Этот писатель еще не оценен у нас по достоинству и требует особенного рассмотрения, которым заняться теперь не позволяют мне ни место, ни время <sup>125</sup>. Во всех его созданиях виден талант могущественный и энергический, чувство глубокое и страдательное, оригинальность совершенная, знание человеческого сердца, знание общества, высокое образование и наблюдательный ум. Я сказал: знание общества, прибавлю еще: в особенности *высшего*, и, сдается мне, в этом случае он предатель... О, это страшный и мстительный художник! Как глубоко и верно измерил он неизмеримую пустоту и ничтожество того класса людей, который преследует с таким ожесточением и таким неослабным постоянством! Он ругается их ничтожеством, он клеймит их печатью позора; он бичует их, как Немезида, он казнит их за то, что они потеряли

образ и подобие божие, за то, что променяли святые сокровища души своей на позлащенную грязь, за то, что отреклись от бога живого и поклонились идолу сует, за то, [что] <sup>126</sup> ум, чувство, совесть, честь заменили условными приличиями! Он... но что вам много говорить о нем? Если вы поймете мое энтузиастическое к нему удивление, то лучше поймете и оцените художника; в противном же случае, не хочу терять слов напрасну... Ведь вы, верно, читали его «Бал», его «Бригадира», его «Насмешку мертвого», его «Как опасно девушкам ходить по Невскому проспекту»?..

Г. Гоголь, так мило прикинувшийся *Пасичником*, принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому неизвестны его «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и народности? Дай бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды!..

Говорить ли мне о прочих наших романистах и сказочниках: гг. Масальском, Калашникове, Грече и др.? Все они считаются у нас почти гениями! и куда тягаться с ними г. О., о котором я только что говорил выше. Благоговею, дивлюсь и умолкаю, ибо чувствую, что не в силах достойно восхвалить их.

Итак, я насчитал четыре периода нашей словесности: *Ломоносовский*, *Карамзинский*, *Пушкинский* и *прозаическо-народный*; остается упомянуть еще о пятом, который начался с появления на свет первой части «Новоселья», и который можно и должно назвать *Смирдинским*. Да — милостивые государи — я совсем не шучу, и повторяю, что этот период словесности непременно должно назвать Смирдинским; ибо А. Ф. Смирдин является главою и распорядителем сего периода. Все от него и все к нему; он одобряет и ободряет юные и дряхлые таланты очаровательным звоном ходячей монеты; он дает направление и указывает путь этим гениям и полугениям, не дает им лениться, словом, производит в нашей литературе жизнь и деятельность. Вы помните, как почтеннейший А. Ф. Смирдин, движимый чувством общего блага, со всей откровенностью благородного сердца, объявил, что наши журналисты потому не имели успеха, что надеялись на свои познания, таланты и деятельность, а не на живой капитал, который есть душа литературы; вы помните, как он кликнул клич по нашим гениям, крикнул да денежкой брякнул, и объявил таксу на все роды литературного производства, и как вербовались наши производители толпами в его компанию; вы помните, как великодушно и усердно взял он на откуп всю нашу словесность и всю литературную деятельность ее представителей! Вспомоществуемый гениями гг. Греча, Сенковского, Булгарина, Барона Брамбеуса и прочих членов знаменитой компании, он сосредоточил всю нашу литературу в своем массивном журнале. И что же вышло из этого великого патриотическо-торгового предприятия? Есть люди, которые утверждают, что будто г. Смирдин убил нашу

литературу, соблазнив барышами ее талантливых представителей. Нужно ли доказывать, что это люди злонамеренные и враждебные всякому бескорыстному предприятию, имеющему целью оживление какой бы то ни было ветви народной промышленности? Я не принадлежу к таким людям, и от души радуюсь, например, Энциклопедическому Лексикону, хотя и знаю, что в составлении оного участвуют гг. Греч, Булгарин и др., хотя и читал послужной список Ломоносова, выдаваемый за биографию сего великого мужа<sup>127</sup>. Я имею удивительную способность видеть во всем одну хорошую сторону, не замечая дурных, и на что бы ни смотрел, всегда повторяю мой любимый стих:

И все то благо, все добро!

ибо, я убежден сердечно и душевно, верю свято и непоколебимо, вопреки г. профессору Сенковскому, что род человеческий, по воле бдящей над ним любви божией, идет к своему совершенству и что не остановить его на сем пути ни фанатизму, ни невежеству, ни злобе, ни Барону Брамбеусу, ибо таковые остановители добра суть истинные его двигатели. Уничтожьте зло, вы уничтожите и добро, ибо без борьбы нет заслуги. Итак, я смотрю на «Библиотеку для Чтения» совсем с другой точки зрения: она ни на волос не возвысила нашей литературы, но и не уронила ее ни на волос. Творить все из ничего может один только бог, а не «Библиотека для Чтения»; оживать можно умирающего, а не несуществующего. Нельзя создать деньгами таланта, нельзя и убить его ими. Где бы ни написали, в каком бы журнале ни помещали своих изделий и сколько бы ни получали за них гг. Греч, Булгарин, Масальский, Калашников, Воейков: они всегда и везде останутся теми же; но г. О. не изменит себе ни в «Новоселье», ни в «Библиотеке для Чтения». Итак, по моему мнению, «Библиотека для Чтения» доказала практически, а posteriori, и, следовательно, несомненно, что у нас нет литературы: ибо, имея все средства, она ни в чем не успела. Это не ее вина; ибо

Как можно, чтобы мерзлый пар  
Среди зимы рождал пожар?<sup>128</sup>

Горе тому художнику, который пишет из денег, а не из безотчетной потребности писать! Но когда он вывел из мира души своей этот бесплотный идеал, который томил и мучил его, когда вдоволь налюбовался и насладился своим творением, то почему не продать ему его?

Не продается сочиненье,  
Но можно рукопись продать<sup>129</sup>.

Другое дело картина: продавши ее, художник расстается с своим созданием, лишается любимого чада своей фантазии; но словесное произведение, благодаря остроумному изобретению Гут-

тенберга, всегда при нем: почему же дарами природы не вознаграждать несправедливости фортуны? Разве не деньгами английские и французские журналы достигли той высокой степени совершенства, на которой мы теперь видим их? Итак, «Библиотека для Чтения» виновата не в том, что дорого платит *российским* авторам, а в том, что надеялась, разумеется, для благосостояния собственного своего кармана, наделать талантов посредством денег. Одна из главных обязанностей русского журнала есть знакомить русскую публику с европейским просвещением. Как же знакомит с ним нас «Библиотека для Чтения»? Она укорачивает, обрубает, вытягивает и переделывает на свой манер переводимые ею из иностранных журналов статьи, и еще хвалится тем, что сообщает им особенного рода, ей собственно принадлежащую, занимательность. Ей и на ум не приходит, что публика хочет знать, как думают о том или другом в Европе, а отнюдь не то, как думает о том или другом «Библиотека для Чтения». И потому переводные статьи в «Библиотеке для Чтения» не имеют никакой цены. Какие, например, повести переводит она? Изделия г-ж Мидфорд и других, пишущих вроде покойника Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена с братиею. Теперь, какова ее критика? Вам, верно, известны ее отзывы о сочинениях гг. Булгарина, Греча, Калашникова и гг. Хомякова, Вельтмана, Теплякова и др. При разборе «Черной женщины» критик «Библиотеки» изложил всю систему *анатомии, физиологии, электричества и магнетизма*, о коих и помину нет в упомянутом романе: признаюсь — чудесная критика!

Какие же гении Смирдинского периода словесности? Это гг. Барон Брамбеус, Греч, Кукольник, Воейков, Калашников, Масальский, Ершов и мн. др. Что сказать о них? Удивляюсь, благоговею — и безмолвствую! Замечу о первом только то, что после известной статьи в «Телескопе»: «Здравый смысл и Барон Брамбеус», почтенный Барон сначала приумолк, а потом пустился в нравственность на манер г. Булгарина; и из подражателя «Юной словесности» учинился подражателем автора Быжигиных<sup>130</sup>. Барон Брамбеус есть *мизантроп*, сиречь человеконенавистник: смесь Руссо с Поль-де-Коком и г. Булгариным, он смеется и издевается над всем и гонит особенно просвещение. Человеконенавистники бывают двух родов: одни ненавидят человечество, потому что слишком любят его; другие потому, что, чувствуя свое ничтожество, как бы в отместку за себя изливают свою желчь на все, что сколько-нибудь выше их... Без всякого сомнения, Барон Брамбеус принадлежит к первому роду человеконенавистников. . .

Последний, то-есть 1834 год, был ознаменован только появлением двух романов г. Вельтмана и «Дмитрием Самозванцем» г. Хомякова: все остальное не стоит и упоминания. Г. Хомяков принадлежит к числу замечательных талантов *Пушкинского* периода. Впрочем, его драма есть замечательный шаг впе-

ред для автора, а не для русской литературы. Отличаясь многими лирическими красотами высокого достоинства, она очень мало имеет драматизма.

Итак, вот я рассказал вам всю историю нашей литературы, перечел все ее знаменитости от Ломоносова, первого ее гения, до г. Кукольника, последнего ее гения. Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедило ли вас в этой истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неуменье, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время? И притом разве они были не случайными явлениями? Посмотрите на историю иностранных литератур. Во Франции вскоре после Корнеля явились Расин, Мольер, Лафонтен и многие другие; потом в эпоху Вольтера сколько было знаменитостей литературных! Теперь: Гюго, Ламартин, Делавин, Барбье, Бальзак, Дюма, Жанен, Евгений Сю, Жакоб Библиофил и столько других. В Германии: Лессинг, Клопшток, Гердер, Шиллер, Гете были современниками. В Англии, в последнее время, Байрон, Вальтер-Скотт, Томас Мур, Кольридж, Сутей, Вордсворт и столько других явились почти в одно время. Так ли у нас? Увы!.. «Библиотека для Чтения» доказала великую и плачевную истину. Кроме двух или трех статей г. О., что вы прочли в ней заслуживающего хотя какое-нибудь внимание? Ровно ничего. Итак, соединенные труды всех наших литераторов не произвели ничего выше золотой посредственности! Где же, спрашиваю вас, литература? У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то-есть таких людей, для которых писать и жить, жить и писать — одно и то же, которые уничтожаются вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно меценатов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых не убивают ни деньги, ни отличия, ни несправедливости, которые до последнего вздоха остаются верными своему святому призванию. У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходит; теперь терзаем драму. И все это без причины, все это из подражательности: когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?

Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращен-

ное на родной почве. У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. Присмотритесь хорошенько к ходу нашего общества, и вы согласитесь, что я прав. Посмотрите, как новое поколение, разочаровавшись в генияльности и бессмертии наших литературных произведений, вместо того, чтобы выдавать в свет незрелые творения, с жадностью предается изучению наук и черпает живую воду просвещения в самом источнике<sup>131</sup>. Век ребячества проходит видимо. И дай бог, чтобы он прошел скорее! Но еще более дай бог, чтобы поскорее все разуберились в нашем литературном богатстве! Благородная нищета лучше мечтательного богатства! Придет время, просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье! Скажите, бога ради, может ли в наше время обратить на себя внимание какой-нибудь недсучившийся мальчик, хотя бы он был наделен от природы и умом, и чувством, и талантом? Этот вечный старец Гомер, если он, точно, существовал на свете, конечно, не учился ни в Академии, ни в Портике; но это потому, что тогда их и не было; это потому, что тогда учились из великой книги природы и жизни; а Гомер, если верить преданиям, ревностно изучал природу и жизнь, обошел почти весь известный тогда свет, и сосредоточил в лице своем всю современную мудрость. Гете, вот Гомер, вот прототип поэта нынешнего времени!

Итак, нам нужна не литература, которая без всяких с нашей стороны усилий явится в свое время, а просвещение! И это просвещение не закоснит, благодаря неусыпным попечениям мудрого правительства. Русской народ смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца указывает ему на цель, когда его державный голос призывает его к ней! И нам ли не достигнуть этой цели, когда правительство являет собою такой единственный, такой беспримерный образец попечительности о распространении просвещения, когда оно издерживает такие громадные суммы на содержание учебных заведений, ободряет блестящими наградами труды учащихся и учащих, открывая образованному уму и таланту путь к достижению всех отличий и выгод! Проходит ли хотя один год без того, чтобы со стороны неусыпного правительства не было совершено новых подвигов во благо просвещения, или новых благодеяний, новых щедрот в пользу ученого сословия? Одно учреждение сословия *домашних наставников и учителей* должно повлечь за собой неисчислимыя блага для России, ибо избавляет ее от вредных следствий иноземного воспитания. Да! у нас скоро будет *свое*, русское, народное просвещение; мы скоро докажем, что не имеем нужды в чуждой умственной опеке. Нам легко это сделать, когда знаменитые

сановники, сподвижники царя на трудном поприще народоуправления, являются посреди любознательного юношества, в центральном храме русского просвещения, возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению, в духе *православия, самодержавия и народности*. . . <sup>132</sup>

Наше общество также близко к своему окончательному образованию. Благородное дворянство наконец вполне уверилось в необходимости давать своим детям образование прочное, основательное, в духе веры, верности и национальности. Наши молодчики, наши *денди*, не имеющие никаких познаний, кроме навыка легко болтать всякий вздор по-французски, становятся смешными и жалкими анахронизмами. С другой стороны, не видите ли вы, как, в свою очередь, быстро образуется купеческое сословие и сближается в сем отношении с высшим? О, поверьте, не напрасно держались они так крепко за свои почтенные, окладистые бороды, за свои долгополые кафтаны и за обычаи праотцев! В них наиболее сохранилась русская физиономия и, принявши просвещение, они не утратят ее, сделаются типом народности. Равно взгляните, какое деятельное участие начинает принимать в святом деле отечественного просвещения и наше духовенство. . . Да! в настоящем времени зреют семена для будущего! И они взойдут и расцветут, расцветут пышно и великолепно, по гласу чадолюбивых монархов! И тогда будем мы иметь свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцев. . .

И вот я не только у берега, а уже на самом берегу, и, стоя на нем, с гордостью и удовольствием озираю пройденное мною пространство. Нечего сказать, не близкий путь! Зато уж как и устал, как утомился! Дело непривычное, а дорога трудная. Но, любезный читатель, прежде нежели я совсем раскланяюсь с вами, хочу сказать вам еще словечка два. Кто берется судить о других, тот подвергает и самого себя еще строжайшему суду. К тому же авторское самолюбие щекопливее и мстительнее всех других родов самолюбия. Начав писать эту статью, я имел в предмете позубоскалить над современною нашею литературою, и сам не знаю, как зашел в такую даль. Начал за здоровье, а свел за упокой. Это нередко случается в делах жизни. Итак, признаюсь откровенно: не ищите в моей «Элегии в прозе» строгого логического порядка. Элегисты никогда не отличались большою правильностью мышления. Я имел целию высказать несколько истин, частью уже сказанных, частью мною самими замеченных; но не имел времени хорошенько обдумать и обработать свою статью; у меня есть любовь к истине и желание общего блага, но, может быть, нет основательных познаний. Что ж делать? Эти два качества редко сходятся в одном лице. Впрочем, я не говорил ни слова о том, что было выше моего понятия, и поэтому не коснулся до нашей *ученой* литературы.

Думаю и верю, что для споспешествования успехам наук и словесности всякой может смело и откровенно высказать свои мнения, тем более, если они, справедливые или ложные, суть следствие его убеждения, а не каких-нибудь корыстных видов. Итак, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнение и уличите меня в ложном взгляде на вещи: я прошу этого, как доказательства вашей любви к истине и уважения лично ко мне, как к человеку; но не сердитесь на меня, если думаете не так. За сим, любезный читатель: поздравляю вас с новым годом и новым счастьем. Простите!

Чембар. 1834, декабря 12 дня.

—он—инский

---

# ОПЫТ СИСТЕМЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ



Сочинение магистра *Алексея Дроздова*. Санкт-Петербург. Печатано в типографии *И. Глазунова*, 1835. Издал *Св. Ф. Сидонский*. V, 78, (12). С эпиграфом:

*Parve... liber...  
Vade, sed incultus.*

*Trist. Ovid. Nas. 1,1<sup>4</sup>*

У нас вообще не только совсем не распространено знание философии, но и самое стремление к нему едва начинает пробуждаться, и то отрывочно, не-дружно, какими-то порывами, без постоянства. Но тем не менее оно уже пробуждается, несмотря на отчаянные вопли профанов науки, истощающих все усилия своей «светской» диалектики против «логических построений»<sup>2</sup>. Особенно это стремление заметно в нашем духовенстве, которое с любовью и заметным успехом занимается этою великою наукою. Брошюрка, заглавие которой выписано в начале этой статьи, написанная духовным и изданная духовным, служит тому доказательством.

Разумеется, об ней нигде ничего не было сказано, да и нам самим она попалась случайно. Мы прочли ее с удовольствием, которым и спешим поделиться с нашими читателями. Верный взгляд на многие предметы, прекрасное, проникнутое чувством изложение идей, добросовестность в суждении, простота и ясность составляют достоинство этого сочинения; а отсутствие строгой системы, происшедшее от неверности общему началу, и, вследствие того, частные противоречия — вот ее недостатки. В том и другом случае как важность предмета, так и уважение к добросовестному и бескорыстному труду побуждают нас поговорить о нем поподробнее.

Почтенный автор начинает, как и должно, с определения идеи «нравственной философии», которую он иначе называет «деятельною»; различие ее от «умозрительной» он полагает в том, что предмет последней есть *истина*, а первой *добро*. Между тою и другою он находит «координацию», которая, не делая их отдельными знаниями, предполагает возможность их обрабатывания независимо одна от другой.

Вслед за тем автор говорит, что «нравственная философия не может выводить начал своих из *опытов исторических*, или

из каких-нибудь правдоподобных правил, но требует точных и основательных сведений о том, что само в себе истинно, хорошо и справедливо». Уже одного этого достаточно, чтобы видеть в этой книжке нечто достойное внимания, а в авторе человека, понимающего свой предмет. Есть два способа исследования истины: *a priori* и *a posteriori*, т.-е. из чистого разума и из опыта. Много было споров о преимуществе того и другого способа, и даже теперь нет никакой возможности примирить эти две враждующие стороны. Одни говорят, что познание, для того чтоб было верным, должно выходить из самого разума, как источника нашего сознания, следовательно, должно быть субъективно, потому что все сущее имеет значение только в нашем сознании и не существует само для себя; другие думают, что познание тогда только верно, когда выведено из фактов, явлений, основано на опыте. Для первых существует одно сознание, и реальность заключается только в разуме, а все остальное бездушно, мертво и бессмысленно само по себе, без отношения к сознанию; словом, у них разум есть царь, законодатель, сила творческая, которая дает жизнь и значение несуществующему и мертвому. Для вторых реальное заключается в вещах, фактах, в явлениях природы, а разум есть не что иное, как поденщик, раб мертвой действительности, принимающий от ней законы и изменяющийся по ее прихоти, следовательно, мечта, призрак. Вся вселенная, все сущее есть не что иное, как единство в многообразии, бесконечная цепь модификаций одной и той же идеи; ум, теряясь в этом многообразии, стремится привести его в своем сознании к единству, и история философии есть не что иное, как история этого стремления. Яйца Леды, вода, воздух, огонь, принимавшиеся за начала и источник всего сущего, доказывают, что и младенческий ум проявлялся в том же стремлении, в каком он проявляется и теперь. Непрочность первоначальных философских систем, выведенных из чистого разума, заключается совсем не в том, что они были основаны не на опыте, а напротив, в их зависимости от опыта, потому что младенческий ум берет всегда за основной закон своего умозрения не идею, в нем самом лежащую, а какое-нибудь явление природы, и, следовательно, выводит идеи из фактов, а не факты из идей. Факты и явления не существуют сами по себе: они все заключаются в нас. Вот, например, красный четверугольный стол: красный цвет есть произведение моего зрительного нерва, приведенного в сотрясение от созерцания стола; четверугольная форма есть тип формы, произведенный моим духом, заключенный во мне самом и придаваемый мною столу; самое же значение стола есть понятие, опять-таки во мне же заключающееся и мною же созданное, потому что изобретению стола предшествовала необходимость стола, следовательно, стол был результатом понятия, созданного самим человеком, а не полученного им от какого-нибудь внешнего пред-

мета. Внешние предметы только дают толчок нашему я и возбуждают в нем понятия, которые оно придает им. Мы этим отнюдь не хотим отвергнуть необходимости изучения фактов: напротив, допускаем вполне необходимость этого изучения; только с тем вместе хотим сказать, что это изучение должно быть чисто умозрительное, и что факты должно объяснять мыслию, а не мысли выводить из фактов. Иначе материя будет началом духа, а дух рабом материи. Так и было в осьмнадцатом веке, этом веке опыта и эмпиризма. И к чему привело это его? К скептицизму, материализму, безверию, разврату и совершенному неведению истины при обширных познаниях. Что знали энциклопедисты? Какие были плоды их учености? Где их теории? Они все разлетелись, полопались, как мыльные пузыри. Возьмем одну теорию изящного, теорию, выведенную из фактов и утвержденную авторитетами Буало, Батте, Лагарпа, Мармонтеля, Вольтера: где она, эта теория, или, лучше сказать, что она такое теперь? Не больше как памятник бессилия и ничтожества человеческого ума, который действует не по вечным законам своей деятельности, а покоряется оптическому обману фактов. К чему повела эта теория? К современной гибели и уничижению искусства, низведенного ею на степень простого ремесла. А отчего? Оттого, что эти люди хотели создать идеал искусства по бессмертным образцам, завещанным древностию, а не вывести из своего духа. Скажут: они знали только греческую и римскую словесность, а потому и судили только по произведениям этих литератур, но не знали Шекспира, не были знакомы с литературою средних веков, литературами восточных народов, жили прежде Шиллера, Гёте, Байрона. Ну так что ж? Им и не нужно было знать всего этого, потому что у них было нечто надежнее произведений Шиллера, Гёте и Байрона, у них был разум, в них был сознающий себя дух человеческий, а в этом разуме, в этом духе заключался идеал искусства, заключалось темное и трепетное предчувствие истинных произведений творчества. Если произведения древности не подходили под этот идеал, это значило, что или они не так понимали эти произведения, или что эти произведения ложны и не художественны. Чтобы представить это яснее, возьмем какой-нибудь пример. Я убежден, что поэзия есть бессознательное выражение творящего духа, и что, следовательно, поэт в минуту творчества есть существо более страдательное, нежели действующее, а его произведение есть уловленное видение, представшее ему в светлую минуту откровения свыше, следовательно, оно не может быть выдумкою его ума, сознательным произведением его воли. Взявши это основание за абсолютное, я не признаю поэзии ни в чем, что создано не по этому закону, ни в чем, что имело цель или было результатом подражания. Но, скажут мне, такие-то и такие-то произведения не подходят под этот закон? — Следовательно, они ложны, отвечаю я. — Но верно ли

ваше начало? — Опровергните его! — Теперь пойдем далее. Я убежден, что эпическая поэма, чтоб быть истинно художественным произведением, должна отражать в себе, как в зеркале, жизнь целого народа; потом, чтоб быть такою, она должна быть произведена по закону творчества, о котором я уж говорил, т.-е. должна быть бессознательным выражением творящего духа, независимым от сознательной воли человека, следовательно, в высочайшей степени оригинальным, в высочайшей степени чуждым всякого подражания. Такова «Илиада» — произведение ли она целого народа, или какого-нибудь слепца Гомера, — которая есть символ идеи героической Греции; таков «Фауст» Гёте, создание одного человека, который сам был полнейшим выражением Германии, и который в своем создании представил символ духа своего отечества в форме оригинальной и свойственной его веку. Но не таковы «Энеида», «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Мессиада», потому что они созданы не безотчетно, не самобытно, а вследствие «Илиады», следовательно, живут не своею, а чужою жизнью. Поэтому в них нет и не может быть ни полной картины жизни народа, которому они принадлежат, ни верного отражения духа времени, в которое они произошли. Конечно, в них есть великие частные красоты; но тем не менее это произведения ложные и ошибочные. — Однако они признаны всеми веками? — Так: но пусть докажут, что мои основания ложны; в таком случае я сознаюсь, что века говорили дело. Только тогда для меня уж не будет поэзии: поэзия превратится в ремесло, в забаву, в невинное препровождение времени, вроде карточной игры или танцев. Приведем еще пример. Недавно как-то в одном журнале отстаивали от жестоких нападков здравого смысла плохонькую приятельскую книжонку, для чего не нашли лучшего способа, как отвергнуть возможность поэзии у необразованных и невежественных народов, как будто поэзия есть плод науки и цивилизации, а не свободный, плод человеческого духа. Для этого рыцарь приятельской книжки уцепился руками и ногами за русскую песню:

Как у нашего двора  
Приукатана гора —

и доказал ею, как  $2 \times 2 = 4$ , что в русских народных песнях нет поэзии, потому-де, что они сложены безграмотными мужиками, а не «светскими» людьми, не кандидатами, магистрами и докторами, не позаботясь даже догадаться, что приведенная им в пример песня не есть совсем песня, а голос песни; род припева, где часто собираются слова, не имеющие никакого смысла, только для голоса, как, например, «ай люли, ай люли!» и т. п. Вот что значит основываться на фактах без мысли! И оттого-то, читая эту статью, не знаешь, что читаешь: статью ли о поэзии, или о новом способе унавоживать поля для посева картофеля. . . Смешно и жалко <sup>4</sup>! . . .

Но я начал об осьмнадцатом веке и о французах, и сам не заметил, как перешел к девятнадцатому веку и к нам, русским; это оттого, что осьмнадцатый век еще и теперь здравствует во многих наших книгах и журналах, особливо «светских»<sup>6</sup>, а французы по сию пору водят нас, как детей, на помочах своего эмпиризма, выдавая его за эклектизм. Человечество только от немцев узнало, что такое искусство и что такое философия, тогда как французы вместо искусства показали нам что-то вроде башмачного ремесла, а вместо философии что-то вроде игры в бирюльки. Умозрение всегда основывается на законах необходимости, а эмпиризм на условных явлениях мертвой действительности. Поэтому первое есть здание, построенное на камне; второе — здание, построенное на песке, которое тотчас валится, если ветер сдует хоть одну из песчинок, составляющих его зыбкое основание. Математика есть наука по преимуществу положительная и точная, и, между тем, нисколько не эмпирическая, а выведенная из законов чистого разума, что одно и то же: что  $2 \times 2 = 4$ , эта истина узнава не из опыта, а из духа перенесена в опыт. Что такое все гипотезы, на которых основана астрономия, как не умозрение; а, между тем, разве астрономия наука не положительная? Два величайшие открытия в области нашего ведения — Америка и планетная система — сделаны a priori. Над Колумбом и Галилеем смеялись, как над сумасшедшими, потому что опыт явно опровергал их, но они верили своему разуму, и разум был оправдан ими.

Но еще страннее нам кажется мысль о каком-то современном соединении умозрительного и эмпирического способа исследования истины: помилуйте, это суцая нелепость, которую уничтожается целый круг знания, возможность всякой науки, потому что этим отрицается действительность не только умозрения, но и самого опыта: если умозрение нуждается в помощи опыта, значит, оно недостаточно; если опыт нуждается в помощи умозрения, значит, и он недостаточен. Признавая недостаточность опыта, мы уничтожаем реальность фактов, независимую от нашего сознания, и утверждаем тем, что посредством опыта решительно ничего не можно узнать; признавая недостаточность умозрения, превращаем наш разум в фантом и утверждаем, что и посредством разума ничего невозможно узнать. Следовательно, к чему же поведет это соединение? Только два однородные предмета могут составить одно целое. Другое дело — проверка умозрения опытом, приложение умозрения к фактам: это дело возможное. Если умозрение верно, то опыт непременно должен подтверждать его в приложении, потому что, как мы уже сказали, и самое опытное знание есть необходимо умозрительное, вследствие того, что факт имеет жизнь и значение не сам по себе, а только по тому понятию, которое он пробуждает в нашем сознании, и которое мы к нему прилагаем. Следовательно, если факты поняты верно, они непременно должны подтверждать умозрение, потому что умозрение не противоречит умозрению. . .

---

**ИЗБРАННЫЕ  
ПИСЬМА И РЕЦЕНЗИИ  
1837 — 1840 гг.**

---

# П И С Ь М А

1837—1840 гг.



К Д. П. ИВАНОВУ 7 АВГУСТА 1837

(Отрывок)

Пятигорск. 1837, августа 7<sup>1</sup>

Мысль, или идея, в ее безразличном, всемирном значении — вот что должно быть предметом изучения человека. Вне мысли все призрак, мечта; одна мысль существенна и реальна. Что такое ты сам? Мысль, одетая телом: тело твое сгниет, но твое я останется, следовательно, тело твое есть призрак, мечта, но я твое существенно и вечно. Философия — вот что должно быть предметом твоей деятельности. Философия есть наука идеи чистой, отрешенной; история и естествознание суть науки идеи в явлении. Теперь спрашиваю тебя: что важнее — идея или явление, душа или тело? идея ли есть результат явления или явление есть результат идеи? Если так, то можешь ли ты понять результат, не зная его причины? Может ли для тебя быть понятна история человечества, если ты не знаешь, что такое человек, что такое человечество? Вот почему философия есть начало и источник всякого знания, вот почему без философии всякая наука мертва, непонятна и нелепа. Но тебе нельзя начать прямо с философии: тебе надо подготовиться к ней путем искусства. Как к душевному просветлению через причастие христианин готовится путем поста и покаяния, так искусством должен ты очистить свою душу от проказы земной суеты, холодного себялюбия, от обольщений внешней жизни, и приготовить к принятию чистой истины. Искусство укрепит и разовьет в тебе любовь; оно даст тебе религию, или *истину в созерцании*, потому что религия есть *истина в созерцании*, тогда как философия есть *истина в сознании*. Кто уверен в истине по чувству и не может вывести ее из разума собственной свободной самостоятельностью, для того *истина существует только в созерцании*. Но, не имея истины в созерцании, невозможно иметь ее и в сознании. Ты был еще ребенком, а уже умел отличать добро от зла, истину от лжи — значит, что истина в созерцании всегда предшествует истине в сознании. Но в детстве ты мог чувствовать только житейскую, практическую истину, теперь ты должен при-

обрести созерцание истины отвлеченной, чистой, и это созерцание дается тебе искусством.

Меня всегда огорчало в тебе равнодушие к поэзии; ты занимался ею очень мало, а если и занимался, то не для наслаждения, а как будто по обязанности, чтобы уметь что-нибудь сказать о том или другом писателе, для образованности, чтобы не отстать от других, следовательно, по эгоизму, или для рассеяния, для забавы. Нет, искусством должно заниматься набожно, благоговейно, для высшего наслаждения, наслаждения, свойственного одному духу. Если ты понял создание великого гения, то должен радоваться тому, что *понял* его, что от этого *стал счастливее*, а не тому, что *ты* понял, *ты* стал счастливее. Какое тебе дело до того, что тебя все бы стали почитать неспособным к высшей истине, к высшему наслаждению, словом, человеком ограниченным и бездушным, какое тебе до этого дело? Ты должен быть равнодушен к обиде твоей личности; ты должен быть неравнодушен только к оскорблению истины, которой ты служишь, потому что ты любишь истину, а не себя. Конечно, мы страдаем, когда оскорбляют наше самолюбие, но это оттого, что в нас больше эгоизма и самолюбия, нежели любви к богу: в ком же много любви к богу, тому легко переносить оскорбления своему самолюбию или, лучше сказать, ему даже и нельзя будет и получить такого оскорбления, потому что у него нет самолюбия. Любовь есть сила, большая Сампсоновой. Но одним искусством нельзя заниматься беспрестанно, потому что оно требует занятия свободного, а не принужденного; душа же наша изнемогает под тяжестью впечатлений; и ум требует тоже свободной деятельности. Ты пишешь о желании прочесть Гегелю энциклопедию философских наук: это бесполезно — ты тут ровно ничего не поймешь. Для того, чтобы понимать Гегеля, нужно познакомиться с Кантом, Фихте и даже Шеллингом. Фихте написал две книги для профанов — читай их. Ты их поймешь, и они заинтересуют и заохотят тебя к философии. Обратись на счет их к мерзавцу Бакунину. Достань себе Кизеветтера философию. Кизеветтер ученик и последователь Канта и яснее его. Для начала этого будет довольно. Итак, ты принимаешься за философию! Доброе дело! Только в ней ты найдешь ответы на вопросы души твоей; только она даст мир и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя. Ты будешь не в мире, но весь мир будет в тебе. В самом себе, в сокровенном святилище своего духа найдешь ты высшее счастье, и тогда твоя маленькая комнатка, твой убогий и тесный кабинет будет истинным храмом счастья. Ты будешь свободен, потому что не будешь ничего просить у мира, и мир оставит тебя в покое, видя, что ты ничего у него не просишь. Пуще всего оставь политику и бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей. Политика у нас

в России не имеет смысла, и ею могут заниматься только пустые головы. Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, не думая и не стараясь быть ему полезным. Если бы каждый из индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась бы счастливейшею страной в мире. Просвещение — вот путь ее к счастью. Для нее назначена совсем другая судьба, нежели для Франции, где политическое направление и наук, и искусства, и характера жителей имеет свой смысл, свою законность и свою хорошую сторону. Франция есть страна опыта, применения идей к жизни. Совсем другое назначение России. Если хочешь понять ее назначение — прочти историю Петра Великого — он объяснит тебе все. Ни у какого народа не было такого государя. Все великие государи других народов ниже Петра, все они были выражением жизни своих народов и только выполняли волю своих народов, творя великое, словом, все они были под влиянием своих народов. Петр, наоборот, был выскочкою из своего народа, он не воспитал его, но перевоспитал, не создал, но пересоздал. Цари всех народов развивали свои народы, опираясь на прошедшее, на предание; Петр оторвал Россию от прошедшего, разрушив ее традицию, и теперь смешно и жалко смотреть на наших пустоголовых ученых и поэтов, которые ищут народности для мышления и искусства в истории с Рюрика до Алексея, в этой допотопной истории России<sup>2</sup>. Петр есть ясное доказательство, что Россия не из себя разовьет свою гражданственность и свою свободу, но получит то и другое от своих царей, так как уже много получила от них того и другого. Правда, мы еще не имеем прав, мы еще рабы, если угодно, но это оттого, что мы еще должны быть рабами. Россия еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости. Дать дитяти полную свободу — значит погубить его. Дать России в теперешнем ее состоянии конституцию — значит погубить Россию. В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах, хотя бы, впрочем, у большей части этих дворян не было ни дворянских грамот, ни копейки денег. Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции и не на конституции. Во Франции были две революции и результатом их конституция — и что же? в этой конституционной Франции гораздо менее свободы мысли, нежели в самодержавной Пруссии. И это оттого, что свобода конституционная есть свобода условная, а истинная, безусловная свобода настает в государствах с успехами просвещения, основанного на философии, на философии умозрительной, а не эмпирической, на царстве чистого разума,

а не пошлого здравого смысла. Гражданская свобода должна быть плодом внутренней свободы каждого индивида, составляющего народ, а внутренняя свобода приобретается сознанием. И таким-то прекрасным путем достигнет свободы наша Россия. Приведу тебе еще пример: наше правительство не позволяет писать против крепостного права, а, между тем, исподволь освобождает крестьян. Посмотри, как, благодаря тому, что у нас нет майоратства, издыхает наше дворянство само собою без всяких революций и внутренних потрясений. И если у нас будут дети, то, доживя до наших лет, они будут знать о крепостном праве, как о факте историческом, как о деле прошедшем. И все это сделается без заговоров и бунтов и потому сделается прочнее и лучше. Давно ли мы с тобою живем на свете, давно ли помним себя, и уже посмотри, как переменилось общественное мнение: много ли теперь осталось тиранов-помещиков, а которые и остались, не презирают ли их самые помещики? Видишь ли, что и в России все идет к лучшему? Давно ли падение при дворе сопровождалось ссылкой в Сибирь? А теперь оно сопровождается много, много, если ссылкой в свою деревню. Давно ли Миних, фельдмаршал, герой, был осужден на четвертование и только по милосердию императрицы был сослан на всю жизнь в Сибирь, а теперь уже и нас с тобою, людей совершенно ничтожных в гражданском отношении, не будут четвертовать даже и в таком случае, когда бы мы были достойны этого. Помнишь ли ты, как отличались, как мило вели себя господа военные, особенно кавалеристы, в царствование Александра, которого мы с тобою видели собственными глазами за год или за два до его смерти? Помнишь ли ты, как они нахальствовали на постоях, увозили жен от мужей из одного удальства, были ужасом и страхом мирных граждан и безнаказанно разбойничали? А теперь?.. теперь они тише воды, ниже травы. Ты уже не боишься их, если имеешь несчастье быть фрачником или иметь мать, сестру, жену, дочь. Не более как года за два до нашего поступления в университет студенты были не лучше военных, и еще при нас академики изредка совершали подобные подвиги, а теперь? Теперь студент, который в состоянии выпить ведро вина и держаться на ногах, уже не заслужит, как прежде, благоговейного удивления от своих товарищей, но возбудит к себе презрение и ненависть. А что всему этому причиною? Установление общественного мнения, вследствие распространения просвещения, и, может быть, еще более того, самодержавная власть. Эта самодержавная власть дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела. Она пропускает к нам из-за границы такие книги, которых никак не позволит перевести и издать. И что ж, все это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик, потому что мысль, которая тебя может сделать лучше, погубила бы мужика,

который, естественно, понял бы ее ложно. Правительство позволяет нам выписывать из-за границы все, что производит германская мыслительность самая свободная, и не позволяет выписывать политических книг, которые послужили бы только ко вреду, кружа головы неосновательных людей. В моих глазах эта мера превосходна и похвальна. Главное дело в том, что граница России со стороны Европы не есть граница мысли, потому что мысль свободно проходит чрез нее, но есть граница вредного для России политического направления, а в этом я не вижу ни малейшего стеснения мысли, но, напротив, самое благонамеренное средство к ее распространению. Вино полезно для людей взрослых и умеющих им пользоваться, но губительно для детей, а политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум. Есть книга, наделавшая в Европе много шума; сочинение аббата Lamennais — «Les paroles d'un croyant»<sup>3</sup>; в этой книге Христос представлен каким-то политическим заговорщиком, мирообъемлющее его учение понято в частном и ограниченном смысле политики, все представлено ложно, противоречиво; я едва мог прочесть страниц 60 и бросил, потому что эта книга нагнала на меня скуку и досаду. А если бы ее позволили перевести и издать, то сколько бы молодых голов сошли от нее с ума, обольщенные ее пышными и громкими фразами, ее трагическими кривляниями и пошлыми возгласами! Итак, оставим итти делам, как они идут, и будем верить свято и непреложно, что все идет к лучшему, что существует одно добро, что зло есть понятие отрицательное и существует только для добра, а сами обратим внимание на себя, возлюбим добро и истину, путем науки будем стремиться к тому и другому, Что за польза будет для тебя, если ты будешь знать дела всей Европы лучше самого Талейрана или Меттерниха, а сам будешь столонячальником в Сенате или секретарем в Земском суде? Если же бы ты и сделался министром, и тогда бы для тебя мало было выгоды: ты бы действовал по воле государя, а не по своим идеям, следовательно, был бы орудием, а не действителем. Но когда ты возвысишься до той любви, которая полагает душу свою за братьев, когда ты постигнешь ясно свое назначение и обнимешь умом своим мировые истины, тогда ты всегда и везде будешь полезен своему отечеству. Если тебе будет вверена судьба твоих ближних — эта судьба будет верна, потому что она предастся человеку благородному и просвещенному, ревностному к своей обязанности, а не подлецу, не взяточнику, не дураку и невежде; если ты будешь семьянином — ты будешь разливать в своем маленьком кругу жизнь и радость, ты воспитаешь для общества души здоровые, сильные любовью к добру; если тебе суждено провести жизнь в одиночестве, у тебя опять не может не быть своего круга, где если не прямое твое влияние, то хотя пример твой будет благодетелен. Быть апостолами просвещения — вот наше назначение. Итак, будем подражать апосто-

лам Христа, которые не делали заговоров и не основывали ни тайных, ни явных политических обществ, распространяя учение своего божественного учителя, но которые не отрекались от него перед царями и судиями и не боялись ни огня, ни меча. Не суйся в дела, которые до тебя не касаются, но будь верен своему делу, а твое дело — любовь к истине; да, впрочем, тебе никто и не помешает служить ей, если ты не будешь вмешиваться не в свои дела. Итак, учиться, учиться и еще-таки учиться! К чорту политику, да здравствует наука! Во Франции и наука, и искусство, и религия сделались или, лучше сказать, всегда были орудием политики и потому там нет ни науки, ни искусства, ни религии, и потому еще больше французской политики бойся французской науки, в особенности французской философии. Право народное должно выходить из права человеческого, а право человеческое должно выходить из вопроса о причине и цели всего сущего, а вопрос этот есть задача философии. Французы же все выводят из настоящего положения общества, и потому у них нет вечных истин, но истины дневные, т. е. на каждый день новые истины. Они все хотят вывести из вечных законов человеческого разума, а из опыта, из истории, и потому не удивительно, что они в конце XVIII века хотели возобновить римскую республику, забыв, что одно и то же явление не повторяется дважды, и что римляне не пример французам.

Опыт ведет не к истине, а к заблуждению, потому что факты разнообразны до бесконечности и противоречивы до такой степени, что истину, выведенную из одного факта, можно тотчас же пришить другим фактом, найти же внутреннюю связь и единство в этом разнообразии и противоречии фактов можно только в духе человеческом, следовательно, философия, основанная на опыте, есть нелепость. Новейшие французы хвалялись за немцев, но не поняли их, потому что француз никогда не может возвыситься до всеобщности и, назло самому себе, всегда остается французом, а в области мышления должны исчезать все национальные различия, и должен оставаться один человек.

У нас много зла, много безалаберщины, много чуждых влияний, и худых и хороших, но этот-то беспорядок и ручается за наше прекрасное будущее, потому что еще никакое чуждое влияние, худое или хорошее, не взяло у нас решительного перевеса. Мы по праву наследники всей Европы. Итак, наше (т. е. нас, молодых людей) назначение уже и теперь ясно: мы должны начать этот союз с Германиею, мы должны принимать верно, честно и отчетливо сокровища ее умственной жизни и быть их хранителями, но хранителями не скупыми, а готовыми делиться своим сокровищем со всеми, кто только пожелает их. Но мы должны выкинуть из головы всякую мысль *быть полезными*, потому что желание *быть полезным* проистекает из

самолюбия и эгоизма. Человек свободен, долга не существует для него; он должен быть добродетелен не по долгу, а по любви, он должен следовать добру не потому, что оно полезно, а потому, что в нем заключается его счастье. Истина не имеет цели вне себя, так и наука и искусство. Не из желания распространить в своем отечестве здравые понятия должен ты учиться, а из бесцельной любви к знанию, а польза общественная будет и без твоего желания. Кто любит добро, тот не упустит случая сделать его, но не станет искать этого случая. Если я сделал добро, которое ты готов был сделать, ты должен не огорчаться, что упустил случай сделать доброе дело, а должен радоваться, что оно сделано — тобою или мною. Совершенствуя себя, ты необходимо будешь совершенствовать и все, что близко к тебе. Человек обманывается, когда думает давать обществу направление и вмешиваться в дела миродержавного промысла. Не Петр Великий преобразовал Россию, а провидение, в руках которого Петр был орудием, может быть, сам не зная этого. Он только следовал внутреннему безотчетному своему влечению и следовал ему так твердо, несмотря на все опасности и препятствия, потому что находил свое блаженство в том, чтобы следовать ему: но от его ли воли зависело это внутреннее влечение? Всякий человек, который затеет великое дело и, не сделав его, погибнет — есть самозванец, который выдумал, наклеветал на себя подвиг. Кто на что призван, тот свершит свое дело, а точно ли он призван — это узнает он по своему внутреннему призыванию. Сколько мы видим поэтов, которые мучатся, хлопочут, пишут, расстраивают свое имя, здоровье, спокойствие, а потом, после тщетных усилий приобрести славу, перестают писать, делаются хозяевами и спокойно проводят свою жизнь в житейских расчетах! Не ясно ли, что они наклеветали на себя поэтическое призвание, и что они приняли движение мелочного самолюбия и тщеславия за поэтическое призвание? Кто родился поэтом, то и умрет им. Отнять у него возможность писать — значит отнять у него возможность жить. Итак, бога ради, не думай о том, где и как можешь ты быть полезен, но думай о том, чтоб поддержать и возвысить свое человеческое достоинство, а для этого один путь — наука. Будешь ли ты ученым, расширишь ли ты круг знания — это не твое дело; ученым можно быть только по призванию и призванию частному, но любить науку и изучать ее есть призвание общее. Если бы ты вдруг почувствовал в себе непреодолимую любовь к военному званию — бросай все и надевай мундир — ты погиб, если не послушаешься своего внутреннего голоса; но, надевши мундир, что ты будешь делать? С любовью заниматься своею должностью. Прекрасно! А в свободное от нее время? Неужели играть в карты? Нет — твои свободные от должности минуты опять-таки должны быть посвящены науке, если не хочешь сделаться скотом. Еще раз — забудь самое слово *польза*, но помни

твердо слово *любовь*; а любовь существует не для пользы, а для самой себя. Когда великий гений распространяет в своем отечестве свет знания — он не отечеству дает знание, но знание дает отечеству, потому что что ты любишь в своем ближнем? известный образ, известное лицо, или сознание, которого он есть орган? Не любовь к отечеству должна заставить нас делать добро, но любовь к добру, не польза от добра, но самое добро...<sup>4</sup>

К М. А. БАКУНИНУ. 12—24 ОКТЯБРЯ 1838.

(Отрывок)

Москва, 1838, октября 12 дня<sup>1</sup>.

В начале твоего письма, проникнутом желчным и бешеным остроумием, есть фраза, повидимому, очень неважная, но крепко зацепившая меня. «Живая, существующая женщина — не трагедия Шиллера, которая, окруженная магической сферой искусства, остается вечно прекрасною, *несмотря на всевозможные нападки не понимающего ее вникания*». Мишель, пора нам оставить эти косвенные и безличные указания на лица; пора дать волю друг другу думать, как думается. Верю твоему уважению к Шиллеру: поверь же и ты моему неуважению к нему. У каждого из нас есть свои причины, и оба мы правы. Разумеется, истинное мнение, или (вернее) истинное понимание этого предмета, должно быть, — и, может быть, кто-нибудь из нас уже и в нем; но пока нет возможности согласиться — оставим быть делу, как оно есть. Может быть, я и ошибаюсь (человеку сродно ошибаться, говорит евангелие — и *то же* говорит толпа, руководствуемая простым эмпирическим опытом); может быть, я и ошибаюсь, но — право — слесарша Пошлепкина<sup>2</sup>, как художественное создание, для меня выше Теклы, этого десятого, последнего, улучшенного, просмотренного и исправленного издания одной и той же женщины Шиллера<sup>3</sup>. А Орлеанка — что же мне делать с самим собою! Орлеанка, за исключением нескольких чисто лирических мест, имеющих особое, свое собственное значение, для меня — пузырь бараний — не больше!<sup>4</sup> Повторяю: может быть, я и ошибаюсь и, понимая Шекспира и Пушкина, еще не возвысился до понимания Шиллера; но я не меньше тебя самолюбив и горд и не меньше тебя доволен и удовлетворен моим непосредственным чувством для восприятия впечатлений искусства, без которого невозможно понимание искусства. Когда дело идет об искусстве, и особенно о его непосредственном понимании, или о том, что называется эстетическим чувством, или восприимлемостью изящного, — я смел и дерзок, и моя смелость и дерзость, в этом отношении, простираются до того, что и авторитет самого Гегеля им не предел. Да, пусть Гегель

признает Мольера художником: я не хочу для него отречься от здравого смысла и чувства, данного мне богом. Понимаю мистическое уважение ученика к своему учителю, но не почитаю себя обязанным, не будучи учеником в полном смысле этого слова, играть роль Сеида. Глубоко уважаю Гегеля и его философию, но это мне не мешает думать (может быть, ошибочно: что до этого?), что еще не все приговоры во имя ее неприкосновенно святы и непреложны. Гегель ни слова не сказал о личном бессмертии, а ученик его Гёшель эту великую задачу, без удовлетворительного разрешения которой еще далеко не кончено дело философии, избрал предметом особенного разрешения. Рётшер философски, с абсолютной точки зрения, разобрал «Лиру», а Бауман кинул на это гигантское создание царя поэтов, Христа искусства, несколько своих собственных взглядов, уничтоживших взгляды Рётшера (именно на характер Корделии). Следовательно, промахи и непонимание возможны и для людей абсолютных, граждан спекулятивной области, и, следовательно, всему верить безусловно не годится. Глубоко уважаю и люблю Марбаха, этого философа-поэта в области мысли; но его прекрасные объяснения второй части «Фауста» мне кажутся логическими натяжками, мыслями, взятыми мимо непосредственного чувства, без всякого его участия<sup>5</sup>. Опять повторяю — понимаю возможность ошибки с моей стороны и в этом случае; но символы и аллегории для меня — не поэзия, но совершенное отрицание поэзии, унижение ее. И знаешь ли, Мишель, — правду говорит пословица: нет глупца, который бы не нашел глупее себя: я не один такой еретик. Кудрявцев, которого эстетическое чувство и художественный инстинкт имеют *тоже* свою цену и которого светлая голова больше моей доступна мысли, Кудрявцев, недавно прочетший Марбаха и восхитившийся им, обрадовался, когда услышал от меня эту мысль, потому что и сам думал то же. Приятно иметь товарищей в резне и ошибках!

Не буду писать возражений на твою антидиссертацию против моих диссертаций о действительности, не буду потому, что ты прошел молчанием мои главные и *фактические* доводы и ответил кое на что, а более всего на то, чего я и не думал говорить, или если и говорил, то *не так и не в том смысле*. Но сделал несколько беглых замечок и возражений.

Совершенно согласен с тобою в определении значения и достоинства действительности: оно так хорошо, что я теперь лучше понимаю то, что чувствовал и предчувствовал на этот предмет.

Напрасно ты выводил из моих слов заключение, что «действительность легко понять — стоит только смотреть на нее без всяких предубеждений». Оно и так, да не так. Я разумел действительность не в ее общем и абсолютном значении, а в отношениях людей между собою. Справься с моими письмами, и

увидишь, что ты не так понял меня. Разумеется, всякий понимает действительность по-толику, по-колику понимает ее — не больше, ни меньше; но много есть задач и поступков, к которым идет стих Крылова: «А ларчик просто открывался», и ничего нет смешнее, как Хемницеров метафизик, рассуждающий в яме о времени и веревке, вместо того, чтобы воспользоваться тем и другим для своего спасения. Много есть вещей, на которых стоит только взглянуть попростее, чтобы понять их, и особенно много таких вещей в житейских делах и отношениях. Здесь должны бы следовать факты, но я уже писал тебе о них; но так как ты об этом умолчал, то и не почитаю себя вправе возобновлять не кончившийся спор, который, сверх того, и никогда не окончится. Без руля и компаса не годится пускаться в море; но, по моему мнению, лучше пуститься в него совсем без руля и компаса, нежели, по неведению, вместо руля, взять в руки утиное перо, а вместо компаса — оловянные часы. Я уважаю мысль и знаю ей цену, но только *отвлеченная* мысль в мои глаза ниже, бесполезнее, дряннее эмпирического опыта, а недопеченный философ хуже доброго малого<sup>6</sup>. Надо развиваться в мысли, учиться; но не доучившись, не надо перестраивать на свой лад действительность и других людей. Здесь опять должны бы следовать факты — да ты уже слышал о них от меня...

Напрасно ты твердишь беспрестанно, что я отложил мысль в сторону, отрекся от нее навсегда и пр. и пр. Это доказывает, что ты невнимательно читал мои письма, создал себе призрак и колотишь себе по нем в полной уверенности, что бьешь меня. Это, наконец, смешно и скучно. Повторяю тебе: уважаю мысль и ценю ее, но только мысль конкретную, а не отвлеченную, и уважаю *мысль*, а не *мою мысль*; но чувство *мое* вполне уважаю и вот почему: мое созерцание всегда было огромнее, истиннее мои предположения и мое непосредственное ощущение всегда было вернее *моей* мысли. Однажды навсегда: *человек, который живет чувством в действительности, выше того, кто живет мыслью в призрачности* (т. е. вне действительности); но *человек, который живет мыслью* (конкретною мыслью) *в действительности, выше того, кто живет в ней только своею непосредственностью*. Понятно ли? Ясно ли? Еще пояснение — примером (без примеров и фактов у меня ничего не делается, потому что без них я ровно ничего не понимаю). Петр Великий (который был очень плохой философ) понимал действительность больше и лучше, нежели Фихте. Всякий исторический деятель понимал ее лучше его. По моему мнению, если понимать действительность сознательно, так понимать ее, как понимал Гегель; но много ли так понимают ее? Пятьдесят человек в целом свете; так неужели же все остальные — не люди?

Мой эмпирический опыт, Мишель, не совсем эмпирический; ты поторопился немного своим приговором. А все оттого, что

не понял меня. Я мыслю (сколько в силах), но уже если моя мысль не подходит под мое созерцание или стучается о факты — я велю ее мальчику вымести вместе с сором. Объясню это фактом: некогда я думал, что поэт не может переменить ни стиха, ни слова: мне говорили, что черновые тетради Пушкина доказывают противное, а я отвечал: если бы сам Пушкин уверял меня в этом — я бы не поверил. *Такой мысли я теперь не хочу и не ставлю ее ни в грош.*

Напрасно ты также отрицаешь во мне всякое движение: желаю всякому *так* подвигаться, как я двигался от масленицы (за день или за два до твоего отъезда к Беерам) прошлого года до минуты, в которую пишу тебе это письмо. Мои письма к тебе, которые тебя так восхитили, *мой журнал*<sup>7</sup>, в котором ты также многим (собственно *моим*) восхищаешься, — показывают, что моего движения *довольно с меня*. Да, Мишель, меня не станет, то хватит для большего движения<sup>8</sup>, и, если вперед пойдет так же — я доволен. Не бойся, что я сделаюсь Шевыревым или Погодиным: твое опасение, конечно, внушенное тебе любовью ко мне, совершенно излишне. Для меня это совершенно невозможно, и вот почему: эти люди опошлились оттого, что вышли из бесконечной сферы благодатного созерцания в конечную сферу своей мысли. Нет, Мишель, я не буду любителем буквы, ни книжным спекулянтom. Повторяю: оставь свою мысль, как ложную и несправедливую, что во мне окалчивается или когда-нибудь окончится движение: я слишком беспокоен для этого. Не боюсь за мою будущую участь, потому что знаю, что буду тем, чем буду, а не тем, совсем не тем, чем бы сам захотел быть. Есть простая мысль, принадлежащая бессмысленной толпе: «*все в воле божией*». Я верю этой мысли, она есть догмат моей религии. «Воля божия» есть *предопределение Востока, fatum древних, провидение христианства, необходимость философии, наконец, действительность*. Я признаю личную, самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю. *Коллизия* есть результат враждебного столкновения этих двух волей. Поэтому — все бывает и будет так, как бывает и будет. Устою — хорошо; паду — делать нечего. Я солдат у бога: он командует, я марширую. У меня есть свои желанья, свои стремления, которых он не хочет удовлетворить, как ни кажутся они мне законными: я ропщу, клянусь, что не буду его слушаться, а, между тем, слушаюсь, и часто не понимаю, как все это делается. У меня нет охоты смотреть на будущее; вся забота — *что-нибудь делать, быть полезным членом общества*. А я делаю, что могу. Я много принес жертв этой потребности делать. Для нее я хожу в рубище, терплю нужду, тогда как всегда в моей возможности иметь десять тысяч годового дохода с моей деревни — неутомимого пера. Говорю это не для хвастовства, а потому, что ты задел меня за слишком живую струну, не отдал мне справедливости в том, в чем я имею несомненное и не совсем незначи-

тельное значение. Я уже не кандидат в члены общества, а член его, чувствую себя в нем и его в себе, прирос к его интересам, влился в его жизнь, слил с нею мою жизнь и принес ей в дань всего самого себя. У меня *тоже* есть дело, которое не ниже и не хуже дела всякого другого. Я знаю, что будет со мною, *добрым, несносным и смешным малым*, если бог не даст мне ни хорошей и доброй жены, ни малых детей, ни порядочного состояния (почетного имени в гражданстве я не желаю, потому что не сомневаюсь его иметь, и даже *теперь* его имею в известной степени); да, я знаю, что будет со мною, *добрым, несносным и смешным малым*: для меня не будет в жизни блаженства, и жизнь не будет блаженством, но всегда будут минуты блаженства — ложка меду да бочка дегтю. И это оттого, что я есть я, что мимо этих смешных *идиллических* и непонятных для великих людей условий я не понимаю и не *желаю* никакого блаженства. Да, я попрежнему буду *делать*, буду жить, *чтобы мыслить и страдать*<sup>9</sup>, многим, может быть, укажу на возможность блаженства, многим помогу дойти до него, многих заставлю, не зная меня лично, любить, уважать себя и признавать их обязанными мне своим развитием, минутами своего блаженства; но сам, кроме минут, буду знать одно страдание. *Так, видно, богу угодно*. Не всем одна дорога, не всем одна участь. В этом случае я позволю себе сделать тебе указание на собственное твое семейство, потому что это указание не может быть оскорбительно ни для него, ни для тебя. У тебя четыре сестры; все они, или каждая из них, представляет собою *особенное* прекрасное явление, но одна отделилась ото всех и отделилась резко. Это та, которой уже нет, и которую вы все так справедливо называете *святою*<sup>10</sup>. Она пользовалась блаженством жизни, как своею собственностью: благодать, гармония, мир, любовь были не качествами, украшавшими ее, но, вместе взятые, представляли собою живое явление, которое вы все называли *сестрою своею*. Страдание, вследствие внутренней разорванности и томительных порываний, было чуждо ее натуре, но *другие*: им хорошо знакомо страдание, оно есть необходимое условие их индивидуальностей. Видишь ли, — не все люди на один покрой, и часто то, чем один пользуется ежедневно, как пищей и воздухом, другому дается, как праздничное блюдо, — про воскресный день. Я знаю, что тебя это не приведет в смущение, ты скажешь, что для всякого есть выход в мысли, и всякий может достигнуть абсолютного, полного, без перерывов, блаженства посредством мысли. На это я не возражаю тебе, потому что это выше моего понятия, моего созерцания. У меня надежда на выход не в мысли (исключительно), а в жизни, как в большем или меньшем участии в действительности не *созерцательно*, а *деятельно*. Но не об этом дело; обращаюсь к моему сравнению. Но на земле блаженство есть исключение, и эта *святая*, этот чистый небесный ангел должен был расплатиться дорогою ценою за свое блаженство:

то, что должно было упрочить его блаженство, осуществить его тайные предчувствия, то и погубило его — и он в страданиях оставил эту прекрасную, но бедную землю, как прекрасно и верно ты выразился в одном из своих писем ко мне, — и улетел туда, где лучше, чем здесь. Теперь другое сравнение, которое еще ближе идет к делу. Вот два характера — Боткин и я. Он всегда в гармонии и всегда в интересах духа: ко всем внимателен, со всеми ласков, всеми интересуется; читает Шекспира, немецкие книги, хлопочет о судьбе и положении книжек «Наблюдателя» часто больше меня, покупает очерки к драмам Шекспира, по субботам и воскресеньям задает квартеты, в которых участвует собственною персоною, с скрипкою под подбородком, ездит в театр, русский и французский, — словом, живет решительно вне своего конечного я, в свободном элементе бытия, всегда веселый, ясный, светлый, доступный мысли, чувству, и ежели грустит временем, то все-таки без подавляющего дух страдания. Смотрю на него — и дивлюсь. А я — не только мое страдание, самое блаженство мое тяжело, трудно и горестно; любовь и вражда, новая мысль, новое обстоятельство — все это во мне тяжело, и трудно и горестно. Только в немногие минуты и часы, когда я бываю добрым малым и, чуждый всякой мысли, без видимой причины, бываю весел, в каком-то музыкальном состоянии, — только тогда и дышу свободно и весело. Недавно сказал он мне, что грустно было бы ему стоять над моею могилою, потому что в ней было бы схоронено бедное разбитое сердце, жаждавшее жадно блаженства и никогда не знавшее его. Что ж с этим делать? Ему бог дал, мне нет — его воля! Ты скажешь: надо мыслию достигнуть... а я отвечу... да нет, я ничего не отвечу тебе. Драма жизни так устроена, что в ней нужны персонажи всех родов, видно, и моя роль нужна. Если б зависело от меня, я попросил бы другой, да видишь — этих просьб не уважают — велят быть, чем им, а не мне хотелось бы быть. Итак, буду играть роль, которая мне дана, и буду водвигаться к той развязке, которая мне предназначена. Что же касается до моего развития, — если оно было до сих пор, то будет и после, и ты ошибаешься, думая, что оно остановилось. Нет, оно идет, как шло, и так же будет идти, если ты не лжешь, что оно шло. Мои отношения к мысли останутся теми же, какими были всегда. Попрежнему меня будет интересовать всякое явление жизни — и в истории, и в искусстве, и в действительности; попрежнему буду я обо всем этом рассуждать, судить, спорить и хлопотать, как о своих собственных делах. Только уже никогда не буду предпочитать конечной логики своей своему бесконечному созерцанию, выводов своей конечной логики — бесконечным явлениям действительности. Есть для меня всегда будет выше знаю, а премудрые слова премудрого Шевырева: по логике-то так, да на деле-то иначе, всегда будут для меня премудры.

Только дурное расположение духа, яснее — злость, пробуdivшаяся вследствие оскорбленного самолюбия, могли тебя заставить сказать: о *bon vivant* и *bon camarade*<sup>41</sup> и религию Беражье делать моею религиею. Против этого не почитаю за нужное и оправдываться. Не только моими письмами не подал я повода к подобному заключению, но одной уже моей инстинктуальной, непосредственной и фанатической ненависти к французам и всему французскому достаточно для того, чтобы защитить меня от подобных комментариев.

Ты называешь мой взгляд на действительность *механическим*. Я этого не думаю, но возражать тебе не буду. В логике я не силен, а фактов ты не любишь. Впрочем, я понимаю, как труден и невозможен для решения между нами подобный вопрос. Погодим, посмотрим, — пусть теорию каждого из нас оправдает наша жизнь. По моему ограниченному понятию, действительность человека состоит в его пребывании в действительности, которое выражается тождеством его слова и дела, успехом его в том, в чем он считает себя необходимым успевать. Я видывал людей, которые *таким* непосредственным образом успевали не в одних пошлых житейских предприятиях, но и в том, что составляет человеческую сущность их жизни.

Нападая на меня за то, что я *будто бы* отвергаю необходимость *распадения и отвлеченности*, как необходимых моментов развития, — ты опять колотишь по призраку, тобою же самим созданному, думая бить меня. Но от этаких побой больно не мне, — а ты только устанешь и отколотишь себе руки. Отвергнув необходимость *распадения и отвлеченности*, как моментов развития, я отказался бы от здравого смысла и показал бы себя человеком, с которым нечего толковать и спорить, жалея времени, бумаги и чернил. Нет, ты меня не понял, или — что вернее — не хотел понять, потому что это тебе было выгоднее, нужнее, нежели понять меня. Самый важный период моего *распадения и отвлеченности* был во время моего пребывания в Прямухине в 1836 году. Но это *распадение* и эта *отвлеченность* были ужасным злом и страшною мукою для меня только в настоящем, а в будущем они принесли благодатные плоды, заставив меня серьезно подумать и передумать обо всем, о чем я прежде думал только слегка, и стремиться дать моему образу мыслей логическую полноту и целость. Итак, меня несколько не мучит мысль, что я был в *распадении*, в *отвлеченности*, во время моего пребывания в Прямухине; но мне горько и обидно вспомнить, что я, будучи в этом *распадении*, в этой *отвлеченности*, был еще в недобросовестности, рисовался, становился на ходули. Ты помнишь, какую фразу отпустил я за столом, и как подействовала она на Александра Михайловича; но знаешь ли что? — я несколько не раскаиваюсь в этой фразе и несколько не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил я совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой

натуры тогдашнее состояние моего духа<sup>12</sup>. Да, я так думал тогда, потому что фиктианизм понял, как робеспьеризм, и в новой теории чуял запах крови. Что было — то должно было быть, и если было необходимо, то было и хорошо и благо. Повторяю: искренно и добросовестно выразил я эту фразу напряженное состояние моего духа, через которое необходимо должен был пройти. Но когда я забыл приличие, за ласку и внимание почтенного старца начал платить дерзким и оскорбительным презрением его убеждений и верований, не почел нужным, живя в его доме и пользуясь его хлебом-солью, предложенным мне со всем радушием, не почел нужным, ради приличия и здравого смысла, прибегнуть в некоторых отношениях к нейтралитету и внешностию прикрыть мои внутренние отношения к нему: когда учительским тоном и с некоторою иронической улыбкою говорил с твоими сестрами, которые, без мыслей и рассуждений, своим глубоким и святым чувством жили в той истине, которой я в то время даже и не предчувствовал, — тогда я был недобросовестен, пошел, гадок. Но и это еще ничего бы, если бы все это проявлялось непосредственно и бессознательно — тогда это показало бы пошлое состояние духа; но худо то, что я чувствовал и понимал свои проделки и фигурки; совесть и здравый смысл (а это было одно из таких обстоятельств, где почтенный здравый смысл — все), совесть и здравый смысл громко кричали мне в оба уха, что я форсер, фразер, шут, но я собственноручно затыкал себе уши хлопчатой бумагою гаерского величия. Боже мой! как живо, как глубоко чувствовал я, что чтение второй статьи было бы самым пошлым, диким, шутовским и мерзким поступком; но... мне надо было блеснуть моим умением *пописать и почитать*... Я бы мог прочесть эту статью одним *им*, так что, кроме тебя и их, никто о ней и не знал бы, или, еще лучше, дать им самим прочесть. И что же? — я в другой раз читал ее особенно для Татьяны Александровны и Любови Александровны, воротившихся из Москвы; я видел, как трудно было выбрать время для этого *проклятого* чтения, видел их нерешительность, чуть ли даже и неохоту, понимал причину всего этого... но мне надо было поддержать мою глупую роль, надо было идти наперекор моему непосредственному чувству и здравому смыслу, чтоб не изменить *теории, созданной не Фихте, а моим фразерством, моею недобросовестностию, моею охотою рисоваться*...<sup>13</sup> Роль была противна моей природе, моей непосредственности, но я почел долгом *натянуться*, изнасиловать себя... И вот, я читаю во второй раз мою статью — старик ходит из залы в спальню через гостиную (где я ораторствую с *напряженным* восторгом за отсутствием свободного, вследствие сознания пошлости своего поступка), ходит и покрякивает, — а потом самым деликатным, самым кротким образом намекнул мне, что это ему неприятно... Мне было гадко от самого себя, — но я был философ и даже совесть и здравый смысл принес

в жертву философии фразерства (потому что истинная мыслительность тут была невиновата). Итак, видишь ли, Мишель, я не упрекаю себя за кровожадный образ мыслей, потому что он был действительно моим убеждением в то время, был необходимым моментом моего развития; я прощаю себе много пошлостей и с другой стороны: там, по крайней мере, важна была причина и могла свести с ума, хотя при большей добросовестности я избег бы большей части пошлостей и с этой стороны. Но многого я не могу простить себе, потому что это *многое* отнюдь не было моментом, а было просто недобросовестностию, которая оправдывалась логическими натяжками, и этого *многого* легко бы было совсем избежать, следуя внушениям непосредственного чувства и здравого смысла. Представь себе человека, который имеет душу живую, чувство, ум, понимает пошлость громких фраз и живописных положений — вдруг полюбит девушку и, не позаботясь справиться о ее взаимности, при всех людях подошел бы к ней с пышным жан-полевским объяснением и клятвами в вечной любви, — и все это от презрения к обыкновениям и приличию: не похож ли бы он был на Хлестакова, который говорит о себе, что «хочет заняться чем-нибудь высоким, а светская чернь его не понимает»? — Это я, Мишель, это моя история того времени и причина большей части моих тогдашних мучений. А все отчего — оттого, что чувство говорило одно, а логика другое, и еще потому, что, льстя своему самолюбию, я насильно *отвлекался* от всего, в чем видел себе щелкушку, и заставлял себя осуществлять пошлые идеи. Неужели это момент? Если хочешь — момент, но ведь и пьяное состояние есть тоже момент в этом смысле. Когда я говорил о *головах*, у меня чувство и ум были согласны в чудовищном убеждении, и отвлеченная мысль была поэтому конкретной, — и я в этом не раскаиваюсь. Но натягиваться верить тому, чему не верится, отдаться мысли, которой нет в созерцании и которая в противоречии с созерцанием — это значит предаться *логическим хитросплетениям*. Отсюда до недобросовестности, фразерства и ходули — один шаг, потому что, сделавши раз опыт вертеть по воле своими убеждениями и верованиями через логические выкладки, после уж ни по чем играть истиною, как воланом. Я несколько не смущаюсь нашею общею охотою обращать всех на путь истины — и Вульфова и Дьякова: это даже достолюбезно и именно потому, что было моментом. Вспоминание об этом забавляет меня: но, чувствуя в душе отсутствие истины, благодати, любви и ощущая в ней пустоту и убожество, говорить учительским тоном и с чувством своего превосходства с такими существами, которые были полны любовью, и благодатию, и своею святою непосредственностью жили в истине: — это не момент, а пошлость, шутовство; потом дойти до забвения приличий, до самых смешных глупостей, ораторствовать в чужом доме и за приязнь, ласку и хлеб-соль

платить дерзостями — это тоже не момент, а чорт знает что — только поплевать да бросить. К чести моей скажу, что ни Боткин, ни Ключников и никто (не говорю уже о Станкевиче, которого непосредственное чувство — *мистицизм*, как мы некогда называли его, и верный *такт* делали решительно неспособным к такой идеальности), и никто не дошел бы до такого момента. Момент обуславливается необходимостью, а призрачность — случайностью, и в этом большая разница. Итак, Мишель, я и не думал нападать на моменты своего развития. Я даже примирился и с *католическим* периодом моей жизни, когда я был убежден от всей души, что у меня нет ни чувства, ни ума, ни таланта, никакой и ни к чему способности, ни жизни, ни огня, ни горячей крови, ни благородства, ни чести, что хуже меня не было никого у бога, что я пошлейшее и ничтожнейшее создание в мире, животное, скот бессмысленный, чувственный и отвратительный. Да, я признал и сознал и необходимость и великую пользу для меня этого периода: теперешняя моя уверенность в себе и все, что теперь есть во мне хорошего, всем этим я обязан этому периоду, и без него ничего хорошего во мне не было бы. У Ивана Петровича Ключникова этот момент был еще ужаснее, потому что чуть не довел его до смерти или сумасшествия; но зато теперь Иван Петрович олицетворенная гармония, благодать, святость. Фихтианизм принес мне великую пользу, но и много сделал зла, может быть, оттого, что я не так его понял: он возбудил во мне святотатственное покушение к насилчанию девственной святости чувства и веру в мертвую, абстрактную мысль. Кто понимает действительность отвлеченно, но в то же время и живо, — тому еще не за что клясть своего прошедшего и даже можно благословлять; но кто, не понимая мысли, увлекается только ее логической необходимостью без внутреннего *чувственного* убеждения в ее истинности, тому есть за что сердиться на себя. И опять-таки скажут: твой фихтианизм имел другое значение, нежели мой; ты и понимал его глубже, и он для тебя был последовательным переходом из одного момента в другой; а я прогулялся по нем больше для компании, чтобы тебе не скучно было одному. Ты все твердишь, что ты и не думал насильно втаскивать меня в него: правда, потому что и не мог этого сделать: ведь я не ребенок, а ты не сумасшедший, сорвавшийся с цепи из желтого дома. Здесь я невольно дошел до другого вопроса, сопряженного с этим, до вопроса о твоём авторитете надо мною и Боткиным прошлой весной. Ты говоришь, что это обвинение так нелепо, что ты не хочешь и оправдываться. Понимаю твою тайную, заднюю мысль: ты хочешь сказать, что не твоя воля, старание и усилия, а твое превосходство над нами невольно наложило на нас этот авторитет. Если хочешь, в этом есть своя сторона истины: мы ставили тебя высоко, очень высоко, невольно увлекаясь сильным движением твоего духа, могуществом твоей мысли, этим твоим

непоколебимого убеждения в своем образе мыслей, — и это было хорошо: но мы подгадили дело унижением самих себя на твой счет робкою, детскою добросовестностию. Первое было истинно, потому что в тебе все это есть, и за все это тебя нельзя не ценить, очень, очень высоко, — и ты по праву пользовался нашим уважением и почитал его своею собственностью; но второе было ложно, — и твоя ошибка состояла в том, что ты никогда не хотел дать себе труда вывести нас из ложного понятия о нашем ничтожестве перед тобою. Ты об этом пункте, может быть, бессознательно только умалчивал и только своею непосредственностью высказывал истинное свое мнение о нас, которое было таково: «вы сами по себе люди с весом и достоинством, люди недюжинные, но я знаю свое превосходство над вами». Сверх того, во всех спорах на твоём лице и в твоей непосредственности выражалась (и очень ясно) такая задняя мысль: «ты можешь мне и не поверить, можешь со мною и не согласиться, — вольному воля, спасенному рай, но в таком случае ты пошляк». А нам не хотелось быть пошляками в твоих глазах, потому что это значило для нас в самом деле быть пошляками, — и мы заставляли себя убеждаться в непреложной истинности твоих идей. Разумеется, это было тяжким игом, которое самостоятельные натуры не могли долго носить на себе. Так (отчасти, впрочем) принял я от тебя фихтианизм; так Боткин убедился, что ему надо учиться философии, бросить амбар и не сметь писать о музыке. Отсюда вечная враждебность в наших отношениях к тебе. Я никогда не забуду (есть вещи, которые никогда не забываются), какую явную холодность и какое явное презрение стал ты мне оказывать, когда я наотрез объявил тебе, что хочу жить своею жизнью, своим умом, развиваться самобытно, хочу издавать журнал и судить и рядить в нем, ничего не зная, ничему не учась. Я никогда не забуду, как однажды, пришедши домой из бани и заставши меня у Боткина, ты не хотел сказать мне слова, но со злою и насмешливо-презрительною улыбкою принялся за книгу, которую, по моем уходе, тотчас же бросил, по обыкновению, для болтовни с Боткиным. Вот в чем заключалась гадкая сторона твоего авторитета (а в нем была и хорошая сторона) над нами, которая заставила нас с таким ожесточением и остервенением восстать против тебя и произвела первую полемическую переписку. Я знаю и уверен, что ты всегда обоих нас и любил и уважал, но объективно и как явления, достойные внимания, любви и уважения, но низшие в сравнении с тобою. Это всегда высказывалось в твоей непосредственности и высказывалось так резко, что даже добрый Кетчер, чуждый нашего круга и отношений, один раз при тебе сказал (под видом шутки), что ты нас надуваешь. И ты, наконец, это выговорил, или проговорился. В первый раз, по приезде в Москву после полемической переписки, обедая с Боткиным вдвоем: «Васинька и Висяша вздумали меня

учить». В самом деле, с нашей стороны это была непростительная дерзость! Нам надо было только поучаться у тебя, а мы вздумали, в свою очередь, поучить тебя! В другой раз ты это выговорил (или проговорился) мне в Прямухине, у себя в комнате, вечером, в задушевном разговоре о важном для меня предмете... помнишь?..

Здесь кстати возразить на твою мысль о прозелитизме. Ты говоришь, что я вместе с тобою бесновался этою, впрочем, очень понятною страстию, что мои письма к тебе и мой журнализм выходят из нее же. Так, но дело часто не в деле, а в манере, с которою оно делается, или в непосредственности человека, которая одна дает делу колорит и характер и обуславливает худое или хорошее действие его на других. Потом, во всем есть мера и всему есть мера. Пока дело идет об идеях, вне их применения к жизни, я был не меньше тебя смел на попрание прозелитизма; но когда дело касалось до применения — я имел благоразумие — знаешь, этак немножко в сторону, или по крайней мере не имел никогда ни охоты, ни силы преследовать человека в качестве ментора и постоянно поддерживать и удерживать его на указанной ему мною дороге. Нет, Мишель, только в кровавый, безумный период моей отвлеченности, в 1836 году, я смело давал рецепты от всех душевных болезней и подорожные на все пути жизни. Но и тогда, если бы попросили моего совета в важном обстоятельстве жизни, и я знал бы, что мой совет решит участь человека, я... нет, страшно подумать, что я дал бы его; но если бы и дал, то создал бы себе этим жгучий ад. Начиная же с моего восстания против тебя еще в великом посту нынешнего года, я уже сказал себе — *ни!* Журнал — дело другое: его действие общее, которое не рассчитывает на известную индивидуальность известного человека. Что же касается до писем к тебе, то ниже ты увидишь объяснение, почему я ими срезался, а я ими ужасно срезался...

«Я не стану доказывать ложности его (Ключникова) и твоего мнения насчет сестер и на *мой собственный счет*<sup>14</sup>; ты, может быть, скажешь, что это был бы лишний труд и что трудно и невозможно было бы разуверить тебя в мысли, *основанной на стольких данных и на мнении толпы, глупый голос которой, по твоей теперешней философии, есть святой голос истины*; почему знать? — может быть, я нашел бы в своем запасе *трансцендентальностей* и *логических* штук такие доказательства, которые могли бы потрясти даже твою страшную действительность с ее стальными зубами и когтями».

Мишель, это место в твоём письме так понравилось мне, что я почел нужным выписать его и на твою лирическую выходку ответить таковою же. Во-первых: в твоём длинном письме, первая и большая половина которого, точно, богата *трансцендентальностию* и *логическими штуками*, я не нашел решительно ничего, ни слова, ни буквы, что бы могло потрясти *мою желез-*

ную действительность с ее стальными зубами и когтями; но нашел очень много такого, что еще более укрепило ее. Во-вторых: не хочу и не почитаю себя более вправе подтверждать своего мнения насчет того, что я уважаю *не меньше тебя*, но не могу не заметить, что это мнение было основано мною не на мнении *глупой толпы*; а на мнении и непосредственном впечатлении моем и таких людей, которые, без всякого сомнения, далеко глупее и ниже тебя, но которые, *тем не менее*, в глазах моих люди достойные всякого уважения, и не только ничем не ниже и не хуже *меня*, но скорее, может быть, что выше и лучше *меня*. В-третьих: я никогда и не думал уважать мнение толпы, которая толпа в салонах и на площадках, и в кабаках, и которая убивает бессмысленным злословием честь женщины, счастье мужчины, благосостояние семейства. Нет, но я всегда глубоко уважал и буду уважать тот народ, о котором сказано: «глас божий — глас народа», и который есть живая, олицетворенная субстанция, которой образованные люди суть определения, есть резервуар идей, действий, осуществляемых и сознаваемых индивидами. Есть разница между толпою, обществом — и народом. Кстати выпишу тебе мнение Гейне на этот счет:

«Масса, народ не любит насмешки. Народ, как гений, как любовь, как лес, как море, по природе важен; он чуждается остроумного злословия гостиных и объясняет великие явления глубоким, мистическим образом»...

К Н. В. СТАНКЕВИЧУ. 29 СЕНТЯБРЯ — 8 ОКТЯБРЯ 1839

(Отрывок)

Октября 2<sup>1</sup>

«Наконец, в твоих статьях, о, Висяша, прежние достоинства и недостатки: в прежних ты резонируешь перед публикою, как у себя с друзьями за трубкою, и при всяком теоретическом положении приводишь длинные примеры и выписки, хочешь в нескольких словах Гоголя привести образцы творчества... это только странно; но...»<sup>2</sup> Хоть это говоришь и ты, но не могу согласиться с тобою — вот по какой причине: во-первых, между моим *резонерством с публикою* было несколько и такого, что выходило из полноты природы и возвещало ей (публике) такие истины, которые для нее были очень новы, потому что она слышала их *в первый раз* и от *первого* человека. Что за дело, если эти истины читала она в куче вранья и резонерства? Что за дело, если эти истины говорил ей выгнанный из университета за леность студент, с трубкою во рту, неумытый, — они для нее остались все-таки истинами, задушевно, горячо и *понятно для нее* высказанными? Неужели она [захочет]<sup>3</sup> променять на такого чудака какого-нибудь идиота Шевырева за то только, что, без трубки во рту, которая так оскорбляет твое уважение

к приличиям, в белых перчатках и с графином засахаренной воды, порол ей *приличную* дичь и кормил ее гнилью и пылью своего скопечества? Э, брат, Николай, мне очень грустно, что резонерство и трубка (вероятно, облака дыма — я тогда затыгивался насмерть) закрыли от тебя частичку истины, которой присутствия в моих писаниях ты, по крайней мере *тогда*, не отрицал. Не думай, Николай, чтобы я не видел смешных сторон моего телескопского ратования, но я никак не могу понять, чтобы они могли заслонять его истинную, его действительную сторону<sup>4</sup>. Истина — как золото: для одного зернышка возятся с пудом песку. Мне сладко думать, что я, лишенный не только наукообразного, но и всякого образования, сказал *первый* несколько истин, тогда как премудрый университетский синедрион порол дичь. Истина не презирает никаких путей и пробирается всякими. Что же касается до смешной стороны, то не только в «Телескопе», я давно уже вижу ее и в «Наблюдателе»<sup>5</sup>. Я довольно непосилен и недолго сижу на одном месте, и потому я давно уже дальше «Наблюдателя». Смешная и детская сторона его совсем не в нападках на Шиллера, а в этом обилии философских терминов (очень поверхностно понятых), которые и в самой Германии, в популярных сочинениях, употребляются с большою экономией. Мы забыли, что русская публика не немецкая, и, нападавая на прекраснородушие, сами служили самым забавным примером его. Статья Бакунина погубила «Наблюдатель» не тем, что она была слишком дурна, а тем, что увлекла нас (особенно меня — за что я и зол на нее), дала дурное направление журналу и на первых порах оттолкнула от него публику и погубила его безвозвратно в ее мнении<sup>6</sup>. Что же до достоинства этой статьи, которая тебе показалась лучшею в журнале, так же, как стихотворение Ключникова к Петру *превосходным*<sup>7</sup>, я опять несогласен с тобою: о содержании не спорю, но форма весьма неблагообразна, и ее непосредственное впечатление очень невыгодно и для философии и для личности автора. Человек хотел говорить о таком важном предмете, как философия Гегеля, в значении сознания разумной действительности, а не произвольного и фантазерского построения своей действительности — и начал говорить размашисто, хвастливо и нагло, как в кругу своих друзей, с трубкою во рту и в халате — не выкупив этих достолюбезностей ни популярностью, ни представительною образностью изложения. Вместо представлений в статье — одни понятия, вместо живого изложения — одна сухая и *крикливая* отвлеченность. Вот почему эта статья возбудила в публике не холодность, а ненависть и презрение, как будто бы она была личным оскорблением каждому читателю. В моих нападках на Шиллера видно, если не ожесточение, то несколько дикая радость, что я могу законно колотить его. Тут вмешались личности — Шиллер *тогда* был мой личный враг, и мне стоило труда обуздывать мою к нему ненависть

и держаться в пределах возможного для меня приличия. За что эта ненависть? — За субъективно-нравственную точку зрения, за страшную идею долга, за абстрактный героизм, за прекрасную войну с действительностью, за все за это, от чего страдал я во имя его. Ты скажешь, что не вина Шиллера, если я ложно, конечно, и односторонне понял великого гения и взял от него только его темные стороны, не постигнув разумных: так, да и не моя вина, что я не мог понять его лучше. Его «Разбойники» и «Коварство и любовь», вкупе с «Фиско» — этим произведением немецкого Гюго, наложили на меня дикую вражду с общественным порядком, во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе. Его «Дон-Карлос» — эта бледная фантазмагория образов без лиц и риторических олицетворений, эта апотеоза абстрактной любви к человечеству без всякого содержания — бросила меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал, все ненавидел (и если б ты знал, как дико и болезненно!) и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, признавал себя — нулем. Его «Орлеанская девственница» — эта драма с двумя элементами, резко отделившимися один от другого, как отделяется вода от масла, налитые в один сосуд, — с элементом мистическим и католическим (а я теперь поохолодел к первому и всегда дико ненавидел второй, с чем и умру) — и потом с элементом плохой и бледной драмы (где является Анна д'Арк — там мистицизм и католицизм и — признаюсь — могучая романтическая поэзия; где являются другие лица — там скука, бледность и мелочность, вследствие бессилия Шиллера выситься до объективной обрисовки характеров и драматического действия) — «Орлеанская дева» ринула меня в тот же абстрактный героизм, в то же пустое, безличное, субстанциальное, без всякого индивидуального определения — общее. Его Текла, это десятое улучшенное и исправленное издание шиллеровской женщины, дало мне идеал женщины, вне которого для меня не было женщины (теперь для меня твоя Берта в 100 000 раз выше, потому что живое, действительное лицо, а не абстрактная идея)<sup>8</sup>. До чего довел меня Шиллер? Помнишь ли Николай, как для всех нас было решено, что подло и бесчестно завести связь соп амоге с девушкой, ибо-де, если она девичья невинна, то лишить ее невинности — злодейство, а если не невинна, то может родить (новое злодейство!), может надоесть, и надо будет ее бросить (еще злодейство!); а как *человеку нельзя жить без жинки*, и все порядочные люди — *падки до скоромного*, — то мы логически дошли до примирения и выхода — в ..... и..... и со всеми их меркуриальными последствиями<sup>9</sup>. Видишь, куда завел нас идеальный Шиллер! И куда сам он заходил, запутываясь своими противоречиями! Влюбившись в девушку и женившись на ней, он скоро охладел

к ней, дурно с нею обращался и написал свои «Die Ideale»<sup>10</sup>, где распрощался со всеми *призраками* жизни — поэзией, знанием, славою, любовью, и остался только с дружбою и трудом. В «Resignation»<sup>11</sup> он принес в жертву общему все частное и вышел в пустоту, потому что его общее было Молохом, пожирающим собственных чад своих, а не вечною любовью, которая открывает себя во всем, в чем только есть жизнь. В своем «Der Kampf»<sup>12</sup> он прощается с гнетущею его добродетелью, посылает ее к чорту и, в диком иступлении, говорит — *хочу грешить!* Что это за жизнь, где рефлексия отравляет всякую блаженную минуту, вышедшую из полноты жизни, где общее велит смотреть, как на грех, на всякое человеческое наслаждение, где религия является католицизмом средних веков, стоицизм катонский — искуплением! Я теперь понимаю фразу Гейне, что христианская религия отдает все духу, и что надо ее аболитировать, чтобы тело вступило в свои права: помню, эта фраза привела тебя в бешенство против Гейне, а чудак был прав с своей точки зрения, потому что христианская религия представлялась ему в абстрактной форме средних веков. Вот почему я возненавидел Шиллера: чаша переполнилась — дух рвался на свободу из душевной тесноты. Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин — мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся: сила есть право, и право есть сила: — нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал эти слова — это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей, я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности, — и кончилась моя тяжкая опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде. Я раскланялся с французами. Перед этим еще Катков передал мне, как умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов «Эстетики» — боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир! Я вспомнил тогда твое недовольство собою, твои хлопоты о поблении фантазий, твою тоску о нормальности. Слово «действительность» сделалось для меня равнозначительно слову «бог». И ты напрасно советуешь мне чаще смотреть на синее небо — образ бесконечного, чтобы не впасть в кухонную действительность: друг, блажен, кто может видеть в образе неба символ бесконечного, но ведь небо часто застилается серыми тучами, и потому тот блаженнее, кто и кухню умеет просветлить мыслию бесконечного. Бесконечное должно быть в душе, а когда оно в душе — человеку и в кухне хорошо. Есть люди, которые говорят, что в Шеллинге больше гениальности и величия, чем в Гегеле, в католицизме, чем в лютеранизме, в мистицизме, чем в рациональности (разумности), в битвах Гомера, с их колесницами<sup>13</sup>, щитами, копьями и стрелами, чем в Бородинской битве, с ее куцыми мундирами и прозаическими штыками и пу-

лями: отчего это? Оттого, что в простом труднее разгадать бесконечную действительность, чем в поражающей *внешне* грандиозностию форме, оттого, что в небе легче увидеть образ бесконечного, чем в кухне... Но буду продолжать тебе мою внутреннюю историю. Бакунин первый (тогда же) провозгласил, что истина только в объективности и что в поэзии субъективность есть отрицание поэзии, что бесконечного должно искать в каждой точке, в искусстве оно открывается через форму, а не через содержание, потому что само содержание высказывается через форму, а где наоборот — там нет искусства. Я освирепел, оцепенел от этих идей — и неистовые проклятия посыпались на благородного адвоката человечества у людей — Шиллера. Учитель мой возмутился духом, увидев слишком скорые и слишком обильные и сочные плоды своего учения, хотел меня остановить, но поздно, я уже сорвался с цепи и побежал благим матом<sup>14</sup>. Известно, что Шиллер советовал Гете поставить в углу герцога Альбу, когда его сын говорил с Эгмонтом, дабы оный злодей или умилился и покаялся или востерзался от своего неистовства — верх прекраснодушия, образец драматического бессилия! Мишель хотел от меня скрыть этот факт, — и, по обыкновению, сам же проболтал мне его — я *взревел* от радости. В это время пошли толки о Гете — и что со мною стало, когда я прочел «Утренние жалобы», а потом —

Лежу я в потоке на камнях... как рад я!  
Идущей волне простираю объятья, и пр.

Новый мир! новая жизнь! Долой ярмо долга, к дьяволу гнилой морализм и идеальное резонерство! Человек может жить — все его, всякий момент жизни велик, истинен и свят! Тут подошли для меня переводы милого Гейне, и скоро мы прочли «Ромео и Юлию», чтобы узнать, что такое женщина... Бедный Шиллер!.. Тут началась моя война с Мишелем, война насмерть, продолжавшаяся с лишком год и кончившаяся совершенно месяца с три назад. Дело было вот в чем: мы очень плохо поняли «действительность», а думали, что очень хорошо ее поняли. В самом деле, мы рассуждали о ней, для начала, очень недурно, даже изрядненько и пописывали, но ужасно *недействительно* осуществляли ее в действительности...

К В. П. БОТКИНУ. 13 ИЮНЯ 1840

(Отрывок)

Спб. 1840, июня 13 дня<sup>1</sup>

Письмо твое от 21 мая, любезный Боткин, и обрадовало и глубоко тронуло меня. Я хотел было разразиться на него ответом листов в пятнадцать, даже уже начал было, но статья о Лермонтове отвлекла меня<sup>2</sup>. Не могу делать вдруг двух дел,

потому что или ничего не делаю (и это главное дело в моей жизни), или уж весь отдаюсь делу, которое меня занимает. Друг, понимаю твое состояние, и не виню тебя за то, что ты тяготишься людьми и требуешь уединения и природы. Понимаю и твою радость об отъезде Грановского. От пошлых людей легко отделяться, но от порядочных трудно, и когда страждущий дух ищет спасения в самом себе, — а случай освобождает тебя именно от тех, которые болсе других имеют права на твою любовь, уважение и внимание, — то так легко вздыхаешь, как будто бы гора с плеч свалилась. Страдание твое болезненно, в нем много слабости и бессилия, но не вини в этом ни себя, ни свою натуру. Мы в этом отношении все — как две капли воды: по жизни ужасные дряни, хотя по натурам и очень не пошлые люди. Видишь ли: на нас обрушилось безалаберное состояние общества, в нас отразился один из самых тяжелых моментов общества, силою отторгнутого от своей непосредственности и принужденного тернистым путем итти к приобретению разумной непосредственности, к очеловечению. Положение истинно трагическое! В нем заключается причина того, что наши души походят на дома, построенные из кокор — везде щели<sup>а</sup>. Мы не можем шагу сделать без рефлексии, беремся за кушанье с нерешимостью, боясь, что оно вредно. Что делать? Гибель частного в пользу общего — мировой закон. В утешение наше (хоть это и плохое утешение) мы можем сказать, что хоть Гамлет (как характер) и ужасная дрянь, однако ж он возбуждает во всех еще больше участия к себе, чем могущий Отелло и другие герои шекспировских драм. Он слаб и самому себе кажется гадоком, однако только пошляки могут называть его пошляком и не видеть проблесков великого в его ничтожности. Воспитание лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования и лишили *всякой* возможности сродниться с наукою; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где ж убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок. Но последние наши ссоры показали нам, что для призраков нет спасения и на необитаемом острове. Я расстался с тобою холодно (дело прошлое!), без ненависти и презрения, но и без любви и уважения, ибо потерял всякую веру в самого себя. В Петербурге, с необитаемого острова я очутился в столице, журнал поставил меня лицом к лицу с обществом, — и богу известно, как много перенес я! Для тебя еще не совсем понятна моя вражда к *мо-скводукшию*, но ты смотришь на одну сторону медали, а я вижу обе. Меня убило это зрелище общества, в котором действуют и играют роли подлецы и дюжинные посредственности, а все благородное и даровитое лежит в позорном бездействии на необитаемом острове. Вот, например, ты: что бы мог ты делать и

\*

что делаешь? Маленький пример: ты хотел написать о концертах в Москве, но состояние духа не позволило тебе. Воткин, не прими моих слов за детский упрек или за москводушное обвинение. Нет, не тебя, а целое поколение обвиняю я в твоём лице. Отчего же европеец в страдании бросается в общественную деятельность и находит в ней выход из самого отчаяния? О, горе, горе нам —

И ненавидим мы, и любим мы случайно,  
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,  
И царствует в душе какой-то холод тайный,  
Когда огонь кипит в крови<sup>4</sup>.

Должно быть, по этой причине я не знаю по-немецки, хотя и толкую об искусстве, Гете и Шиллере. Жалкое поколение! А кстати: я не согласен с твоим мнением о натянутости и изысканности (местами) Печорина, они разумно необходимы. Герой нашего времени должен быть таков. Его характер — или решительное бездействие, или пустая деятельность. В самой его силе и величии должны проглядывать ходули, натянутость и изысканность. Лермонтов великий поэт: он объектировал современное общество и его представителей. Это навело меня на мысль о разнице<sup>5</sup> между Пушкиным и Гоголем, как *национальными* поэтами. Гоголь велик, как Вальтер-Скотт, Купер; может быть, последующие его создания докажут, что и выше их; но только Пушкин есть такой наш поэт, в раны которого мы можем влагать персты, чтобы чувствовать боль своих и врачевать их. Лермонтов обещает то же.

Да, наше поколение — израильтяне, блуждающие по степи, и которым никогда не суждено узреть обетованной земли. И все наши вожди — Моисеи, а не Навины. Скоро ли явится сей вождь? . . . . .

Всякая индивидуальность есть столько же и ложь, сколько и истина — человек ли то, народ ли, и, только ознакомляясь с другими индивидуальностями, они выходят из своей индивидуальной ограниченности. Но об этом после. С французами я помирился совершенно: не люблю их, но уважаю. Их всемирно-историческое значение велико. Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере. Любовь моя к родному, к русскому стала грустнее: это уже не прекраснородушный энтузиазм, но страдальческое чувство, Все субстанциональное в нашем народе велико, необъятно, но определение гнусно, грязно, подло.

Состояние моего духа похоже на апатию. Ясный день — я счастлив, но счастлив животное, без мысли, без трепета любви, без страдания. Природа радует мой организм, но не дух. . .

К. К. С. АКСАКОВУ. 23 АВГУСТА 1840

Спб. 1840, августа 23<sup>1</sup>

Я совершенно согласен с тобою, любезный Константин, что все заочные объяснения ужасно глупы, особенно письменные, — итак, к чорту их. В самом деле, пора нам перестать быть детьми и понимать взаимные наши отношения просто, не натягивая их ни на какие мерки.

Что тебе сказать мне о самом себе? И много хотелось бы, а не говорится ничего.

Увидимся — потолкуем. Худо, брат, худо: мне все кажется, что жизнь слишком ничтожна для того, чтобы стоило труда жить; а, между тем, и живешь, и страдаешь, и любишь, и стремишься, и желаешь. Станкевич умер — и что после него осталось? — труп с червями. Одним словом, так или иначе, только результат все один и тот же:

И жизнь, как помотришь с холодным  
вниманьем вокруг, —  
Такая пустая и глупая шутка!<sup>2</sup>

Да и какая нам жизнь-то еще? В чем она, где она? Мы люди вне общества, потому что Россия не есть общество! У нас нет ни политической, ни религиозной, ни ученой, ни литературной жизни. Скука, апатия, томление в бесплодных порывах — вот наша жизнь. Что за жизнь для человека вне общества! Мы ведь не монахи средних веков. Гадкое государство Китай, но еще гадже государство, в котором есть богатые элементы для жизни, но которое спелено в тисках железных и представляет собою образ младенца в английской болезни. Гадко, гнусно, ужасно! Нет больше сил, нет терпенья.

Спасибо тебе за внимание к моему брату, пожалуйста, не оставляй его<sup>3</sup>.

Я слышал, что Сергей Тимофеевич скоро будет в Питере — очень приятно будет мне увидеться с ним<sup>4</sup>. Прощай.

Твой В. Б.

Да скажи, увидимся ли мы с тобою, и когда именно.

К. В. П. БОТКИНУ. 10—11 ДЕКАБРЯ 1840

(Отрывок)

Спб. 1840, декабря 11<sup>1</sup>

Однако ж, чорт возьми, я ужасно изменяюсь; но это не страшит меня, ибо с пошлою действительностию я все более и более расхожусь, в душе чувствую больше жару и энергии, больше готовности умереть и пострадать за свои убеждения. В прошед-

шем меня мучат две мысли: первая, что мне представлялись случаи к наслаждению, и я упускал их, вследствие пошлой идеальности и робости своего характера; вторая: мое гнусное примирение с гнусною действительностью. Боже мой, сколько отвратительных мерзостей сказал я печатно, со всею искренностью, со всем фанатизмом дикого убеждения! Более всего печалит меня теперь выходка против Мицкевича в гадкой статье о Мещеле: как! отнимать у великого поэта священное право оплакивать падение того, что дорожее ему всего в мире и в вечности — его родины, его отечества, и проклинать палачей его, и каких же палачей? — казаков и калмыков, которые изобретали адские мучения, чтобы выпытывать у жертв своих деньги (били гусиными перьями по...<sup>2</sup> раскладывали на малом огне благородных девушек в глазах отцов их — это факты *европейской* войны нашей с Польшею, факты, о которых я слышал от очевидцев). И этого-то благородного и великого поэта назвал я печатно крикуном, поэтом рифмованных памфлетов!<sup>3</sup> После этого всего тяжелее мне вспомнить о «Горе от ума», которое я осудил с художественной точки зрения и о котором говорил свысока, с пренебрежением, не догадываясь, что это — благороднейшее человеческое произведение, энергический (и притом еще первый) протест против гнусной расейской действительности, против чиновников, взяточников, бар-развратников, против нашего... светского общества, против невежества, добровольного холопства и пр., и пр.<sup>4</sup> О других грехах: конечно, наш китайско-византийский монархизм до Петра Великого имел свое значение, свою поэзию, словом, свою *историческую законность*; но из этого бедного и частного исторического момента сделать абсолютное право и применять его к нашему времени — фэй — неужели я говорил *это?*.. Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного; и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото, — а если этого нельзя было писать, то долг *чести* требовал, чтобы уж и ничего не писать. Тяжело и больно вспомнить! А дичь, которую изрыгал я в неистовстве, с пеною у рта, против французов — этого энергического, благородного народа, льющего кровь свою за священнейшие права человечества, этой передовой колонны человечества *au drapeau tricolore?*<sup>6</sup> Проснулся я — и страшно вспомнить мне о моем сне... А это насильственное примирение с гнусною расейскою действительностью, этим китайским царством материальной животной жизни, чиновлюбия, крестолубия, деньголюбия, взяточничества, безрелигиозности, разврата, отсутствия всяких духовных интересов, торжества бесстыдной и наглой глупости, посредственности, бездарности, — где все человеческое, сколько-нибудь умное, благородное, талантливое осуждено на

угнетение, страдание, где цензура превратилась в военный устав о беглых рекрутах, где свобода мыслей истреблена до того, что фраза в повести Панаева — «измайловский офицер, пропахнувший Жуковым»<sup>7</sup>, даже такая невинная фраза кажется либеральной (от нее взволновался весь Питер, измайловский полк жаловался формально великому князю за оскорбление, и распространился слух, Панаев посажен в крепость), где Пушкин жил в нищенстве<sup>8</sup> и погиб жертвою подлости, а Гречи и Булгарины заправляют всею литературою помощью доносков и живут припеваючи... Нет, да отсохнет язык, который заикнется оправдывать все это, — и если мой отсохнет — жаловаться не буду. Что есть, то разумно; да и палач ведь есть же, и существование его разумно и действительно, но он тем не менее гнусен и отвратителен. Нет, отныне для меня *либерал и человек* — одно и то же; абсолютист и кнутобой — одно и то же. Идея либерализма в высшей степени разумная и христианская, ибо его задача — возвращение прав личного человека, восстановление человеческого достоинства, и сам спаситель сходил на землю и страдал на кресте за личного человека. Конечно, французы не понимают абсолютного ни в искусстве, ни в религии, ни в знании, — да не это их назначение; Германия — нация абсолютная, но государство позорное и г...<sup>9</sup> Конечно, во Франции много крикунов и фразеров, но в Германии много гофратов, филистеров, колбасников и других гадов. Если французы уважают немцев за науку и учатся у них, зато и немцы догадались, наконец, что такое французы, — и у них явилась эта благородная дружина энтузиастов свободы, известная под именем «юной Германии», во главе которой стоит такая чудная, такая прекрасная личность, как Гейне, на которого мы некогда взирали с презрением, увлекаемые своими детскими, односторонними убеждениями<sup>10</sup>. Чорт знает, как подумаешь, какими зигзагами совершалось мое развитие, ценою каких ужасных заблуждений купил я истину, и какую горькую истину — что все на свете гнусно, а особенно вокруг нас... Ты помнишь мои первые письма из Питера — ты писал ко мне, что они производили на тебя тяжелое впечатление, ибо в них слышался скрежет зубов и вопли нестерпимого страдания: от чего же я так ужасно страдал? — от действительности, которую называл разумною и за которую ратовал... Странное противоречие! К приезду Каткова я был уже приготовлен, — и при первой стычке с ним отдался ему в плен без противоречия<sup>11</sup>. Смешно было: хотел спорить, и вдруг вижу, что уж ни сил, ни жару, а через ¼ часа вместе с ним начал ратовать против всех, сбитых с толку мною же...

С нетерпением жду от тебя портретов Джемсон — они ужасно интересуют меня<sup>12</sup>. «Двенадцатую ночь» прочел — чудо, прелесть, только самый тяжелый гений может создавать такие легкие вещи. И Рётшера разбор «Лиры» меня много интересует, хотя, признаюсь, и не так, как Джемсон. Герцен кричит против статьи

Рётшера о «Wahlverwandschaften», и — знаешь ли что? — мне хочется с ним согласиться: Рётшера уважение к субстанциальным элементам жизни мне не нравится (может быть, потому, что я теперь в другой крайности); в статье о 4 драмах Шекспира меня даже оскорбил его взгляд на эту Люцию, которая, не любя Флоуердена, гоняется за ним в качестве верной жены<sup>12</sup>. Для меня баядерка и гетера лучше верной жены без любви, так же, как взгляд сенсимонистов на брак лучше и человечнее взгляда Гегелевского (т. е. который я принимал за Гегелевский). Что мне за дело, что абстрактным браком держится государство? Ведь оно держится и палачом с кнутом в руках; однако ж палач все гадок. Я даже готов согласиться с Герценом, что Рётшер не понял романа *Гете*, что он не апология, а скорее протест против этого собачьего скрепчивания с разрешения церкви<sup>14</sup>. Ведь Бауман подкусил же<sup>15</sup> Рётшера на этой статье, доказавши, что коллизия произошла потому, что брак был недействителен в смысле разумности. Подбивай-ка Кронеберга перевести «Лиру», который опозорен на Руси переводом Якимова и переделкою Каратыгина. Кронеберг пишет ко мне, что не имеет сил приняться за «Ричарда II», и прислал мне 1 акт «Гамлета», которого нельзя поместить, как отрывок уже из известной глупой нашей публической пьесы<sup>16</sup>. Ты весь погрузился в греческий мир — это хорошо — чудный мир! Я сам один вечер блаженствовал, погрузясь в него. Есть книга, глупая там, где высказывается личность автора, но драгоценная по фактам — «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» Шевырева. В ней (стр. 17—19) переведен гимн Гезиода к музам — боже мой, что это такое! Не могу удержаться, чтобы не выписать места: «Они неумолчным гласом прославляют, во-первых, священный род богов, и сначала поют тех, которых произвели Земля и Уран широкий, и тех, кои произошли от них, — боги — дарители благ; во-вторых, Зевеса, отца богов и людей, славя от начала до конца песни, как он могучее всех богов, и как велик своею властью. Потом уже поют род человеков и исполинов силы и увеселяют на Олимпе ум Дия, олимпийские дочери Дия Эгиоха, которых в Пиэрии родила отцу Крониду Мнемозина, владычица нив Элевфира: отраду в бедах, облегчение в печалях. Девять крат соединялся с ней благосоветный Зевес, вдали от бессмертных восходя на святое ложе. Когда же год, течением часов, дней и месяцев, исполнился, Мнемозина родила девять дочерей, согласных мыслию, у которых *песнь всегда на уме, а в груди беззаботное сердце* (как у В. И. Красова)... Кого почтут дочери великого Дия, на кого из царей благородных взмянут приветно, — тому язык обольют сладкой росой, у того из уст слова текут медом». — Прочти сам вполне в книге — божественно хорошо. Экой народец! Вот мирозерцание-то! Земная поэзия, по их понятию, могла воспевать только прошедшее и будущее, а небесная (музы) — и настоящее, потому что у богов и самая жизнь — блаженство.

А вот, не хочешь ли полюбоваться, как Платон понимал красоту: «Красота одна получила здесь этот жребий — быть пресветлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится к самой красоте, не взирая на то, что носит ее имя; он не благоговееет перед нею, а, подобно четвероногому, ищет одного чувственного наслаждения, хочет слить прекрасное с своим телом... Напротив того, вновь посвященный, увидев богам подобное лицо, изображающее красоту, *сначала трепещет; его объемлет страх*; потом, созерцая прекрасное, как бога, он обожает, и, если бы не боялся, что назовут его безумным, он принес бы жертву предмету любимому...» Мне кажется, что Платон в греческой философии то же, что Гомер в поэзии — колоссальная личность! Счастливчик плут Кудрявцев, что знает эллинскую грамотку.

Бога ради, Боткин, пиши скорее о «Прометее», — это у нас и ново и полезно, а я просто с ума сойду от твоей статьи — даю тебе вперед честное слово. (Да кстати: отдавай свои статьи переписчику и, просмотрев уже, отсылай — ведь это тебя не разорит, а, между тем, избавит от египетской работы самому переписывать и неудовольствия видеть в печати статью свою с чудовищными опечатками и искажениями. С твоей руки нет возможности набирать.) Не можешь представить, как я рад, что ты согласился с моими понятиями о журнале на Руси; мне кажется, что я вновь приобрел тебя<sup>17</sup>. Насчет исторических статей взяты меры, — и Герцен уже переводит из книги Тьерри о Мервингах и будет обрабатывать другие вещи в этом роде. Его живая, деятельная и практическая натура в высшей степени способна на это. Кстати: этот человек мне все больше и больше нравится. Право, он лучше их<sup>18</sup> всех; какая восприимчивая, движимая, полная интересов и благородная натура! Об искусстве я с ним<sup>19</sup> говорю слегка, потому что оно и доступно ему только слегка, но о жизни не наговорюсь с ним. Он видимо изменяется к лучшему в своих понятиях. Мне с ним легко и свободно. Что он ругал меня в Москве за мои *абсолютные* статьи, — это новое право с его стороны на мое уважение и расположение к нему<sup>20</sup>. В XII № «Отечественных Записок» прочтешь ты отрывок из его «Записок» — как все живо, интересно, хотя и легко!<sup>21</sup> Что ты не едешь к Огареву — воля твоя, может быть, ты и прав, с своей точки зрения; но я теперь по теории поддерживаю отношения с людьми...<sup>22</sup>

<sup>23</sup> ...в нем нет ни почвы, ни воздуха для благодатных семян духа; он лучше всего доказывает, что человек может развиваться только на общественной почве, а не сам по себе. Все эти люди не истекали кровью при виде гнусной действительности, или созерцая свое ничтожество. Я понимаю, почему Анненков так мало полюбился тебе: он нисколько не хуже Панаева и Языкова, даже характернее, личнее их, но и на нем питерская печать, к которой я уже пригляделся, а ты еще нет. Да, Бот-

кин, только в П. (сочти эту букву хоть за <sup>24</sup>... — ты не дашь промаха) сознал я, что я человек и чего-нибудь да стою, только в Питере узнал я цену нашему человеческому, святому кружку. Мне милы теперь и самые ссоры наши: они выходили из того, что мы возмущались гадкими сторонами один другого. Нет, я еще не встречал людей, перед которыми мы могли бы скромно сознаться в своей незначительности. Многих людей я от души люблю в Питере, многие люди и меня любят там больше, чем я того стою; но, мой Боткин, я один, один, один! Никого возле меня! Я начинаю замечать, что общество Герцена доставляет мне больше наслаждения, чем их: с теми я или говорю о вздоре, или тщетно стараюсь завести общий интересный разговор, или проповедую, не встречая противоречия, и умолкаю, не докончивши; а эта живая натура вызывает наружу все мои убеждения, я с ним спорю и, даже когда он явно врет, вижу все-таки самостоятельный образ мыслей. Несмотря на свое еще детство, мне Кирюша <sup>25</sup> ближе, чем они — я вижу в нем семя благодати божией; я с Никольским провел несколько приятных минут, ибо и от этого юноши, который не бывал в нашем кружке, вест Москвой. Когда приехал Кольцов, я всех тех забыл, как будто их и не было на свете. Я точно очутился в обществе нескольких чудеснейших людей. Кудрявцев промелькнул тенью, ибо виделся со мною урывками (но я не забуду этих урывков), с Катковым мне было как-то не совсем свободно, ибо я страдал, а он еще хуже, так что был для всех тяжел; но и с ним у меня были чудные минуты. И вот опять никого со мной, опять я один, — и пуста та комната, где еще так недавно мой милый Алексей Васильевич с утра до ночи упоевался чаем и меня поил <sup>26</sup>.

Увы! Наш круг час от часу редет:  
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет.

Зачем я, как Станкевич, не сплю в гробе, а сиротею дальний?.. Боткин, впечатление, которое произвела на меня потеря Станкевича, заставляет меня, как страшилища, бояться разлуки... Спешу свиданием, а то, может быть, и увидимся, да не узнаем друг друга...

Да, если таковы у нас лучшие люди, об остальных нечего и говорить. Что же делать при виде этой ужасной действительности? Не любоваться же на нее, сложа руки, а действовать елико возможно, чтобы другие потом лучше могли жить, если нам никак нельзя было жить. Как же действовать? Только два средства: кафедра и журнал — все остальное вздор. О, если бы у «Отечественных Записок» нынешний год зашло тысячи за три; тогда было бы из чего забыть даже и Маросейку <sup>27</sup>, и женщину, и свою краткую безотрадную жизнь, и поратовать, и костями лечь, если нужно будет. О, если бы, при этом, можно было печатать хоть то, что печаталось назад тому десять лет в Москве! Тогда бы я умер на дести бумаги, и, если бы чернила

все вышли, отворил бы жилу и писал бы кровью... Кстати о писании. Я бросаю абстрактные общности, хочу говорить о жизни по факту, о котором идет дело. Но это так трудно: мысль не находит слова, — и мне часто представляется, что я жалкий писака, дюжинная посредственность. Особенно летом преследовала меня эта мысль. Эх, если бы мне занять у Каткова его слог: я бы лучше его воспользовался им. Кстати: скажи откровенно, как тебе [понравилась]<sup>28</sup> его статья о Сарре Толстой? Она никому не нравится — я сам вижу, что много мыслей, но которые проходят сквозь голову читающего, как сквозь решето, не оставаясь в ней. Начну читать — превосходно; закрою книгу — ничего не помню, что прочел. Как ты?

Стыдно тебе скромничать, что ты, *кажется*, можешь переводить, переделывать, составлять небольшие (?) статьи, писать небольшие (?) критики. Не кажется, а есть. Если ты не можешь, то где же взять людей, которые могут? Я так дорого ценю твои статьи, и особенно вот за что: за отсутствие амфазу, кротость тона, простоту и еще за то, что ты в них высказываешь именно то, что хотел высказать, тогда как [я]<sup>29</sup> или ничего не выскажу (хотя иногда и удается), или ударюсь в общности и наговорю о посторонних предметах. Например, с каким живым наслаждением я прочел твою статейку о выставке: все так просто, не натянуто, и все сказано, что следовало сказать — труд читателя не потерян<sup>30</sup>. Ты просто глуп в своей скромности.

Аксаков сказывал, что Гоголь пишет к нему, что он убедился, что у него чахотка, что он ничего не может делать. Но это, может быть, и пройдет, как вздор. Важно вот что: его начинает занимать Россия, ее участь, он грустит о ней; ибо в последний раз он увидел, что в ней есть люди! А я торжествую: субстанция общества взяла свое — космополит-поэт кончился и уступает свое место русскому поэту.

Я решил для себя важный вопрос. Есть поэзия художественная (высшая — Гомер, Шекспир, Вальтер-Скотт, Купер, Байрон, Шиллер, Гете, Пушкин, Гоголь<sup>31</sup>, есть поэзия религиозная (Шиллер, Жан-Поль Рихтер, Гофман, сам Гете); есть поэзия философская («Фауст», «Прометей», отчасти «Манфред» и пр.). Между ними нельзя положить определенных границ, потому что они не пребывают одна к другой в неподвижном равнодушии, но, как элемент, входят одна в другую, взаимно модифицируя друг друга. Слава богу, наконец всем нашлось место. Вот отчего в «Фаусте» есть дивные вещи (т. е. даже во 2-й части), как, например, «Матери» (в выноске к переводу Каткова статьи Рётшера в «Наблюдателе»), — не могу без священного трепета читать этого места<sup>32</sup>. Даже есть поэзия общественная, житейская — французская, — и такой человек, как Гюго, несмотря на все его дикости, есть большой талант и заслуживает великого уважения, даже и прочие очень и очень примечательны, кроме Ламартина, сей...<sup>33</sup>, рыбы, сей водяной элегии...

# Р Е Ц Е Н З И И

1840—41 г.г.



## ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕВОРОТОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ С ИСХОДА ПЯТНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ.

Сочинение Ф. Ансильона. Перевод с французского. Том второй. С.-П.-бург.

Сочинение Ансильона, немецкого француза, вышло в Берлине, на французском языке, в 1803 году. Хотя после того в сфере исторического знания произошло сильное движение вперед и как взгляд на историю, так и ее форма много изменились, однако история Ансильона, во-первых, имеет свои безотъемлемые достоинства, которые долго еще не допустят ее до Леты, а во-вторых, она сама принадлежит к тем историческим сочинениям, с которых началась новая эра исторического знания, и которые способствовали перевороту в его сфере. С этой точки зрения, творение Ансильона всегда будет иметь великое значение. С французскою ясностию и картинностию изложения, не затемняемою отвлеченными рассуждениями, Ансильон соединяет немецкую основательность и ученость. Многие из его мыслей верны, здравы и, по тогдашнему времени, даже глубоки. Местами он резонерствует; так, например, он особенно любит рассуждать о том, *что бы случилось, если б не сделалось так, как сделалось*. Самый пустой вопрос, о котором нельзя судить и мыслить, но о котором можно нарезонерствовать с три короба. Аргюи выводятся идеи, но не факты, знание фактов возможно только а posteriori. Чтобы рассуждать о том, что будет, или о том, что было бы, если б предшествующее обстоятельство совершилось иначе, — для этого не нужно ни познаний, ни образования, ни ума: болтай себе, что войдет в голову, и только. Что было бы с реформациею, если б Лютера не было, или если б Лютер умер тотчас по сожжении папской буллы и канонического права? Мы думаем, что лучший ответ на подобный вопрос есть следующий: *было бы то, что было бы*. Существование Лютера было чистейшею случайностию, потому что Лютер так же бы мог и не родиться, как он и родился, и так же мог бы не получить от природы гениального духа, как и получил его; и если он родился на свет и родился великим человеком — это чистейшая случайность. Необходимое же и непреложное в яв-

лени и судьбе Лютера заключается в духе его времени. Рыцарство уже отжило свой век и падало, уступая развитию новой гражданственности, возвышению среднего сословия и городов. Открытие Америки, изобретение пороха и книгопечатания довершили падение первого и торжество второй. Средние века кончились — настал новый великий период жизни человечества. Католицизм кончил свое великое дело. Папская власть пала в общественном мнении. Великий переворот был уже готов: оставалось случаем выдвинуть на сцену человека, который, по своей натуре и своему развитию, мог бы сделаться органом общей мысли, главою движения, представителем века, героем его драмы. Таким явился Лютер, сам того не зная. Он не думал быть реформатором, действовал не по обдуманному плану: дух времени двигал его духом, а обстоятельства, бывшие результатом духа времени, указывали ему путь и средства. Путешествие в Рим открыло ему глаза на столицу духовного мира, заронило в его душу зерно того религиозного негодования, которое потом произвело реформацию. Тихо жил Лютер, преподавая богословие в Виттембергском университете и пользуясь славою отличного профессора. Продажа индульгенций вооружила его против Тецеля и ввязала в богословскую полемику; горячность и вспыльчивость характера подвигли на сожжение папской буллы и канонического права, а сила железной воли и ревность не допустили его остановиться на полдороге, но заставили идти вперед. Увлекаемый обыкновенною стремительностью человеческой мысли, подвигаемый обстоятельствами и вспомоществуемый ими, Лютер сделался реформатором прежде, нежели сам сознал это. Родись Лютер веком позже, и никто не знал бы его имени. Причина очевидна: великие люди всегда бывают, только не всегда обстоятельства вызывают их на позорище мира, — и благо тем, которые рождаются во-время и находят свое дело! Великий человек никогда не выдумывает себе дела, но находит его во времени, в известном моменте диалектического движения мысли, исторически-развивающейся в событиях. Следовательно, великий человек творит не свою волю, но волю пославшего его, так что часто, думая выполнять свои собственные желанья, он в самом деле есть только орудие другой, высшей воли. Посему форма событий всегда случайна, и вот почему их нельзя ни предвидеть, ни предсказывать; но причина событий всегда необходима, и вот почему — «чему быть, тому не миновать». На какие бы уступки, ограничения и преобразования ни согласились папы — переворот совершился бы, хотя бы, может быть, в в другой форме. Лютер мог умереть и до начала, и в начале, и в половине реформации, но дело все пошло бы своим чередом. Оно могло замедлиться; могло совершиться в другой форме, мог бы явиться другой Лютер, как бы то ни было, только оно совершилось бы, а как именно — об этом рассуждать бесполезно. Но что во всяком случае религиозные войны в Европе были бы неизбежны —

это ясно, ибо *идея* совершается в *деле*, и такое великое дело, как реформация, не могло произойти без потрясений. К тому же оно совершилось через людей, а где люди — там и страсти, и расчеты эгоизма, и фанатизм.

Перевод истории Ансильона нестерпимо-плох. Видно, что г. переводчик не слишком коротко знаком ни с французским, ни с русским языком. Не говоря уже о том, что его слог тяжел, бесцветен и мертв, — сколько бессмыслиц и самых грубых ошибок в значении слов! Вот несколько примеров в доказательство справедливости нашего мнения о переводе: «Однако Карл еще скрывал свои намерения и как будто ожидал окончания раскола решение Тридентского собора, который, *будучи требуем обеими партиями и долженствовавшей(?)* исцелить все бедствия церкви, уже начал свои заседания» (стр. 37). «Она вступила в переговоры, от которых не ожидала никакой пользы, чтобы воспламенить патриотизм всего народа и убедить его в *неизбежной необходимости* войны» (стр. 282). Здесь явная двусмысленность: переговоры ли были бесполезны для возбуждения патриотизма народа, или вступление в переговоры было бесполезно для возбуждения патриотизма в народе. «Яков Арминий отвергал строгие постановления Кальвина о *предназначении и милости*» (стр. 344). Что это за строгие *постановления*? Тут идет дело о *началах*, правилах, а не постановлениях. Что за *предназначение* и что за *милость*? В подлиннике говорится о *предопределении* (*prédestination*) и *благодати* (*grâce*) вот как: «Jacques Arminius avait mitigé les *principes sévères et durs* de Calvin sur la *prédestination et la grâce*». (См. *Tableau des révolutions du Système polit. de l'Europe*, т. II. р. 467.)<sup>2</sup>. Таков вообще весь перевод книги Ансильона. Жаль! такая книга стоила бы лучшего перевода!

## ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО, МУДРОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РОССИИ, СОБРАННЫЕ ИЗ ДОСТОВЕРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО ГОДАМ

Сочинение И. И. Голикова. Издание второе. Москва. 1837-1840. Томы I—XII

### ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Сочинение *Венцамина Бергмана*. Перевел с немецкого *Егор Аладьин*. Второе, сжатое (компактное) издание, исправленное и умноженное. Санкт-Петербург. 1840. Три тома<sup>1</sup>.

Россия тьмой была покрыта много лет:  
Бог рек: да будет Петр — и бысть в России свет!

Старинное двестишие.

Борода принадлежит к состоянию дикого человека; не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холода только малую часть лица: сколько же неудобности летом, в сильный жар! Сколько неудобности и вьюмою носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, во-

торая греет не одну бороду, но все лицо? Избирать во всем лучшее есть действие ума просвещенного; а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям, во-первых, для того, что они были грубы, недостойны своего века; во-вторых, и для того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому русскому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать...

.....  
 Все жалкие *церемии* об изменении русского характера, о потере русской нравственной физиономии или не что иное, как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею и в самом высшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям.

К а р а м з и н, Письма русского путешественника, т. III, стр. 165—167.

## Статья 2

Для России наступает время сознания. Несмотря на холодность и равнодушие, в которых мы, русские, не без причины упрекаем себя, у нас уже не довольствуются общими местами и истертыми понятиями, но хотят лучше ложно и ошибочно судить, нежели повторять готовые и на веру или по лености и апатии принятые суждения. Так, например, многие, не слыша новых суждений о Пушкине и сомневаясь в справедливости давно высказанных и устаревших, сомневаются и в поэтическом величии Пушкина. И это явление отрадно: оно выражает потребность самостоятельной мыслительности, потребность истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. *Amicus Plato, sed magis amica veritas*<sup>2</sup> — премудрое изречение! Что истинно велико, то всегда устоит против сомнения и не падет, не умалится и не затмится, но еще более укрепитя, возвеличится и просветится от сомнения и отрицания, которые суть первый шаг ко всякой истине, исходный пункт всякой мудрости. Сомнения и отрицания боится одна ложь, как боится воды поддельные цветы и неблагородные металлы. Мы не раз уже повторяли эту истину, говоря о людях, отрицающих великость Пушкина, как поэта. Мы думаем диаметрально противоположно с такими людьми; но если их мнение выходит не из каких-нибудь внешних и предосудительных причин, мы готовы с ними спорить ради истины, и уверены, что только через такие споры явится истина и войдет в общее сознание, сделается общим убеждением. Тем более мы далеки от того, чтобы смотреть на таких людей, как на раскольников, на искажителей истины, оскорбляющих память великого поэта и чувство национальной гордости. Скажем более: мы понимаем, что могут быть и такие отрицатели гения Пушкина, которые в тысячу раз достойнее уважения многих безусловных почитателей славы великого поэта, повторяющих чужие слова. Явление таких отрицателей обнаруживает не холодность общества к истине, но скорее рождающуюся любовь

к ней: ибо безусловное признание чего-нибудь без рассуждения, без проверки разумом, скорее, чем сомнение и отрицание, есть признак апатического равнодушия общества к делу истины. Нет, явление таких отрицателей в молодом обществе есть признак рождающейся мыслительной жизни. В безусловном уважении к авторитетам и именам иногда действительно выражается и любовь и жизнь, но любовь и жизнь бессознательная, простодушная, детская. Смешно же требовать или желать, чтоб общество неподвижно оставалось в состоянии детства, когда этого не требуют и не желают от человека; а если он, вопреки законам развития, останется навек ребенком, то презирают его, как идиота. Говорят, что сомнение подрывает истину: ложная, *нелепая [и безбожная]* мысль. Если истина так ослабла и бессильна, что может держаться не сама собою, но охранительными кордонами и карантинами против сомнения, то почему же она истина, и чем же она лучше и выше лжи, и кто же станет ей верить? Говорят: отрицание убивает верование. Нет, не убивает, а очищает его. Правда, сомнение и отрицание бывают верными признаками нравственной смерти целых народов; но каких народов? — устаревших, изживших всю жизнь свою, существующих только механически, как живые трупы, подобно византийцам или китайцам. И может ли это относиться к русскому народу, столь юному, свежему и девственному, столь могучему родовыми, первосущными стихиями своей жизни, — народу, который с небольшим во сто лет своей новой жизни, возванный к ней творящим глаголом царя-исполина, проявил себя и в великих властителях, и в великих полководцах, и в великих государственных людях, и в великих ученых, и в великих поэтах; народ, который во сто лет своей новой жизни уже составил себе великое прошлое, «полный гордого доверия покой» в настоящем, по выражению поэта, и которого ожидает еще более великое, более славное будущее? Нет, мы унизили бы свое национальное достоинство, если б стали бояться духовной гимнастики, которая во вред только хилым членам одряхлевшего общества, но которая в крепость и силу молодому обществу, полному здоровья и рвения! Жизнь проявляется в сознании, а без сомнения нет сознания, так же, как для тела без движения невозможно отправление органических процессов и жизненного развития. У души, как и у тела, есть своя гимнастика, без которой душа чахнет, впадая в апатию бездействия.

В предыдущей статье мы говорили о том, как мало сделано у нас для истории Петра Великого и как много *наговорено* о нем. В самом деле, ему писали похвальные слова, его прославляли и в стихах и в прозе. Ломоносов сделал его даже героем эпической поэмы, на манер «Энеиды». В подражание достохвальному и почтенному по цели своей труду Ломоносова, [два] другие поэта — [Грузинцев и князь Ширинский-Шихматов] — с неменьшим успехом воспели Петра в лиро-эпических поэмах \*. Но

все это, и хорошее и посредственное, как-то не шевелило души. С почтенными авторами все соглашались безусловно в похвалах Великому, но читали их мало, или совсем не читали. Причиною тому было — [что все эти господа сочинители писали] <sup>4</sup> и пели как-то на один манер и на один голос, и в форме их фраз заметно было какое-то утомительное однообразие, свидетельствовавшее об отсутствии содержания, т.-е. мысли. Самые жаркие похвалы, самые восторженные излияния удивления к Великому отличались каким-то официальным характером. Так продолжалось до времен Пушкина, который один, как великий поэт и выразитель народного сознания, умел говорить о Петре языком, достойным Петра. Но в сочинениях ученого содержания говорилось все по-старому, с тою только разницею против прежнего времени, что возбуждало уже не холодное согласие, а скорее досаду. Наконец, несколько лет назад начали появляться какие-то темные сомнения в безусловной непогрешительности главного дела Петра — преобразования России. Говорили, что здание этого преобразования было построено без фундамента, ибо начато было сверху, а не снизу, что оно состояло в одних внешних формах и, не привив к нам истинного европейзма, только исказило нашу народность и обрезало крылья национальному гению. Далее в нашей статье мы коснемся этих возражений, как ни поверхностны и ни пусты они в своей сущности; но теперь скажем только, что в минуту их появления в печати они многим полюбились и обратили на себя общее внимание <sup>5</sup>. Одни как будто увидели в них собственное мнение, дотоле бывшее для них самих неясным; другие, не соглашаясь с ними, все-таки принимали их не за общие фразы и надутые возгласы, а за самостоятельное и притом *новое* мнение, а некоторые даже удостоили их энергических, хотя и косвенно сделанных возражений. Итак, сомнение вместо того, чтоб охладить привязанность к Петру, только усилило общий интерес к нему, как великому историческому явлению, заставило всех больше и думать, и говорить, и писать о нем. Но время скоро решило вопрос и неосновательность сомнений: теперь только люди, живущие задним числом, [могут не шутя ругать Петра Великого в том, зачем он начал свое преобразование] <sup>6</sup> сверху, а не снизу, с вельмож, а не с мужиков, зачем придавал большую важность формам — одежде, бородобритию и пр., зачем построил Петербург и т. п. Итак, сомнение не принесло никакого вреда, а только принесло пользу, ибо, проявившись, уничтожило себя самим же собою и повело к другому сомнению, которое, в свою очередь, минет и уступит место, если еще не истине, то третьему сомнению, которое приведет уже к истине. Теперь вопрос о Петре перешел в явное противоречие: многие, почитая преобразования, совершенные Петром, столько же необходимыми, сколько и великими, благоговей перед памятью преобразователя, [в то же время уничтожают, сами того не замечая, всю

великость его дела, отрицая европеизм] <sup>7</sup> и усиливаясь не только отстоять и оправдать так называемое некоторыми историческое развитие и народность, уничтоженные Петром, но и противопоставить, даже возвеличить их пред европеизмом. Как ни странно это противоречие, но оно есть уже шаг вперед и выше прежнего утвердительного сомнения, хотя и вышло прямо из него: лучше явно противоречить себе и тем как бы невольно признавать власть истины, нежели, ради любимого и одностороннего убеждения, отвергать и прямо закрывать глаза на фактическую достоверность противоречащих доказательств.

Противоречие, о котором мы говорим, чрезвычайно важно: в его примирении заключается истинное понятие о Петре Великом. Одно уже это указывает на разумность этого противоречия. Решение задачи состоит в том, чтоб показать и доказать: 1) что хотя народность и тесно соединена с историческим развитием и общественными формами народа, но что то и другое совсем не одно и то же; 2) что и преобразование Петра Великого и введенный им европеизм несколько не изменили и не могли изменить нашей народности, но только оживили ее духом новой и богатейшей жизни и дали ей необъятную сферу для проявления и деятельности.

[В русском языке находятся в обороте два слова, выражающие одинаковое значение: одно коренное русское — *народность*, другое латинское, взятое нами из французского — *национальность*. Но мы крепко убеждены, что ни в одном языке не может существовать двух слов, до того тождественных в значении, чтобы одно другое могло совершенно заменять и, следовательно, одно другое делать совершенно лишним. Тем менее возможно, чтобы в языке удержалось иностранное слово, когда есть свое, совершенно выражающее то же самое понятие: в их значении непременно должен быть оттенок, если не разница большая. Так и слова *народность* и *национальность* только сходственны по своему значению, но отнюдь не тождественны, и между ними есть не только оттенок, но и большое различие. «Народность» относится к «национальности», как видовое, низшее понятие — к родовому, высшему, более общему понятию. Под *народом* более разумеется низший слой государства, — *нация* выражает собою понятие о совокупности всех сословий государства. В *народе* еще нет нации, но в нации есть и народ. Песня Кирши Данилова есть произведение народное; стихотворение Пушкина есть произведение национальное: первая доступна и высшим (образованнейшим) классам общества, но второе доступно *только* высшим (образованнейшим) классам общества и не доступно разумению народа в тесном и собственном значении этого слова. Образованный вельможа нашего времени понимает и речи, и дела, и образ жизни своего брадатого предка времен до-петровых; но если бы его предок встал из могилы, он не понял бы ничего в жизни своего обритого потомка. Всякий образованный человек нашего времени, как ни удален формами и даже сущностью

своей жизни от народа, хорошо понимает мужика, не унижаясь до него, но мужик может понимать его или возвысившись до него, или когда тот унижится до его понятия. Между тем иностранец, не в России родившийся и воспитывавшийся, не поймет русского мужика, хотя бы и столько знал русский язык, что был бы в состоянии составить себе имя в русской литературе. Следовательно, между нашим прошедшим и нашим настоящим, между вельможею в охабне и с окладистой бородою и вельможею во фраке и с выбритым подбородком, между мужиком, мещанином и брадытым купцом и между так называемым *барином* (в смысле европейски образованного человека) есть нечто *общее*. Но это общее совсем не *народность*, а *национальность*. Последняя свободно понимает первую (ибо, как высшее, включает ее в себе), но, чтоб говорить понятным языком с народностью, национальность должна наклоняться до нее. Полное владычество народности необходимо предполагает в государстве состояние естественной непосредственности, состояние патриархальности, когда различие в сословиях заключается даже и не в формах, а только в оттенках форм, но уже несколько не в сущности. В таком состоянии была Россия до Петра Великого. Прочтите Кошихина, — и вы увидите, что как женился последний деревенский мужик, так женился и первый боярин: разница заключалась в обилии яств, в ценности платья, словом, в важности и количестве издержек. Один и тот же кнут тяготел и над мужиком, и над боярином, и для обоих их он был несчастьем, а не бесчестьем. Холоп легко понимал своего боярина, не усиливаясь подняться ни на волос своими понятиями; боярин понимал своего холопа, не имея нужды приравниваться к его разумению. Та же горелка веселила сердце того и другого: разница была в том, что один пил полугар, а другой — чистый пенник. Один и тот же мед был услаждением для того и другого: разница состояла в том, что один пил его из деревянного стакана или железного ковша, а другой из серебряной или золотой стопы. И вдруг все так быстро и так круто переменялось волею Петра: как мало понимал русский простолюдин слова: *виктория*, *ранг*, *армия*, *генерал-аншеф*, *адмирал*, *гофмаршал* и пр., — так мало понимал он и язык и дела не только своего государя или вельмож, но и всякого армейского офицера с его *гонором*, его *менуэтом*, его *рейтузами* и прочим. Высшее попрежнему понимало низшее, но низшее перестало понимать высшее. Народ отделился от бар и солдат. Но в государственном смысле народа уже не было — была нация. Иностранное слово это сделалось необходимо и бессознательно вошло в общее употребление и получило право гражданства в словаре русского языка.

Сущность всякой национальности состоит в ее *субстанции*. Субстанция есть то непреходимое и вечное в духе народа, которое, само не изменяясь, выдерживает все изменения. целостно

и неврединно проходит через все фазы исторического развития. Это зерно, в котором заключается всякая возможность будущего развития. Смотря на жолудь, мы знаем не то, что из него непременно выйдет огромный столетний дуб, но что из него может выйти огромный дуб, а не яблоня, если он будет посажен, и не срубится прежде времени, или не погибнет от других случайных обстоятельств, которые могли бы помешать его свободному развитию. И мы знаем это потому, что в жолуде заключается субстанция дуба, т.-е. возможность его толстого ствола, широких листьев и других признаков, свойственных его форме. Смотря на грудного ребенка, мы знаем, что из него может сделаться со временем не только кипящий избытком физических и духовных сил юноша, но и дряхлый, седовласый старец, и даже не просто взрослый, но и гениальный человек. Ибо в младенце, в сокровенных тайниках самого его организма, заключается уже его субстанция, т.-е. возможность всего того, чем он может быть впоследствии, чем он назначен природою быть со временем. Хорошим солдатом или хорошим офицером может быть почти всякий; но великим полководцем может быть только тот, в чьей субстанции от рождения лежала возможность быть великим полководцем. В субстанции заключается причина, почему один может быть великим поэтом и не может быть даже посредственным математиком, а другой в состоянии изобрести паровые машины и не в состоянии сварить себе горшка щей или зашить дыру на платье. Каждый народ имеет свою субстанцию, как и каждый человек, и в субстанции народа заключается вся его история и его различие от других народов. Субстанция римлян была совсем другая, чем субстанция греков, и потому римляне по преимуществу народ гражданского права, а не созерцательный, чисто-практический, а греки по преимуществу народ деятельно-созерцательный и артистический. Как бывают гениальные субстанции у отдельных личностей, так и некоторые народы возникают с великими субстанциями и относятся к другим народам, как гении к обыкновенным людям.

Народность, как мы уже показали выше, предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед; показывает собою только то, что есть в народе налицо в настоящем его положении. Национальность, напротив, включает в себе не только то, что было и есть, но что будет или может быть. В своем развитии национальность сближает самые противоположные явления, которых, повидимому, нельзя было ни предвидеть, ни предсказать. Народность есть первый момент национальности, первое ее проявление. Но из сего отнюдь не следует, чтобы там, где есть народность, не было национальности: напротив, общество есть всегда *нация*, еще и будучи только *народом*, но *нация* в возможности, а не в действительности, как младенец есть взрослый человек в возможности, а не в действительности: ибо национальность и субстанция народа есть одно.

и то же, а всякая субстанция, еще и не получивши своего определения, носит в себе его возможность.

Итак, Россия до Петра Великого была только народом и стала нацией, вследствие *движения*, данного ей ее преобразователем].

Из ничего не бывает ничего, и великий человек не творит своего, но только дает действительное существование тому, что прежде его существовало в возможности. Что все усилия Петра были направлены против русской старины — это ясно, как день божий; но чтоб он стремился уничтожить наш субстанциальный дух, нашу национальность — подобная мысль более, чем неосновательна: она просто нелепа! Правда, если бывают народы с великими субстанциями, то бывают народы и с ничтожными субстанциями, и если первые неизменимы и не подвластны воле одного человека, как бы ни был он могущественен, то вторые могут уничтожаться даже от случайностей, даже сами собою, не только волею гения. Но зато из этих вторых никакой гений ничего и сделать не может; лучшее, что можно сделать из свекловицы — голову сахару; но только из гранита, мрамора и бронзы можно создать вековечный памятник. Если бы русский народ не заключал в духе своем зерна богатой жизни — реформа Петра только убила бы его на смерть и обессилила, а не оживила и не укрепила бы новою жизнью и новыми силами. Мы уже не говорим о том, что из ничтожного духом народа и не мог бы выйти такой исполин, как Петр: только в таком народе мог явиться такой царь, и только такой царь мог преобразовать такой народ. Если бы у нас и не было ни одного великого человека, кроме Петра, и тогда бы мы имели право смотреть на себя с уважением и гордостью, не стыдиться нашего прошедшего и смело, с надеждою смотреть на наше будущее...

Отчего у одного народа такая субстанция, у другого иная, — это почти так же невозможно решить, как если б дело шло и об отдельном человеке. Если принять гипотезу, что народы образовались из семейств, то первую причину их субстанции должно положить кровь и породу (*гасе*). Внешние обстоятельства, историческое развитие также имеют влияние на субстанцию народа, хотя, в свою очередь, и сами зависят от нее. Но нет ни одной причины, на которую бы так смело можно было указать, как на климат и географическое положение страны, занимаемой народом. Все южные народы резко отличаются от северных; у первых живее, легче, яснее, чувство восприимчивее, страсти воспламеняемее; у вторых медленнее, но основательнее, чувство спокойнее, но глубже, страсти воспламеняются труднее, но действуют тяжелее. В южных народах преобладает непосредственное чувство, в северных — дума и размышление; в первых больше движимости, во вторых больше деятельности. В последнее время север далеко оставил за собою юг в успехах искусства, науки и цивилизации. Есть большое различие между на-

родами горными и народами долинными, между народами приморскими или островитянами и между народами, отдаленными от моря. И это различие не внешнее, но внутреннее; оно замечается в самом духе, а не в одних формах. Взглянем в этом отношении на Россию. Колыбель ее была не в Киеве, но в Новгороде, из которого, через Владимир, перешла она в Москву. Суровое небо увидели ее младенческие очи, разгульные вьюги пели ей колыбельные песни, а жестокие морозы закалили ее тело здоровьем и крепостью. Когда вы едете зимой на лихой тройке, и снег трещит под полозьями ваших саней, морозное небо усеяно мириадами звезд, и взор ваш с тоскою теряется на необъятной снежной равнине, осеребренной уединенным скитальцем-месяцем и местами прерываемой покрытыми инеем деревьями, — как понятна покажется вам протяжная, заунывная песня вапшего ямщика, и как будет гармонировать с нею однообразный звон колокольчика, *надрывающий сердце*, по выражению Пушкина! Грусть есть общий мотив нашей поэзии — и народной и художественной. Русский человек встарину не умел шутить забавно и весело: он шутил или плоско, или саркастически, и лучшие народные песни наши — грустного содержания, протяжного и заунывного напева. Нигде Пушкин не действует на русскую душу с такою неотразимой силою, как там, где поэзия его проникается грустью, и нигде он столько не национален, как в грустных звуках своей поэзии. Вот что говорит он сам о грусти, как основном элементе русской поэзии:

Фигурно или буквально: всей семьей,  
 От ямщика до первого поэта,  
 Мы все поем уныло. Грустный вой —  
 Песнь русская. Известная примета:  
 Начав за здравие, за упокой  
 Сведем как раз. Печалию согрета  
 Гармония и наших муз и дев.  
 Но нравится их жалобный напев.

Но эта грусть — не болезнь слабой души, не дряблость немого духа, нет, эта грусть могучая, бесконечная, грусть природы великой, благородной. Русский человек упивается грустью, он не падает под ее бременем, и никому не свойственны до такой степени быстрые переходы от самой томительной, надрывающей душу грусти к самой бешеной, исступленной веселости! [И] в этом случае поэзия Пушкина также великий факт: нельзя довольно удивиться ее быстрым переходам в «Онегине» от этой глубокой грусти, источник которой [есть] бесконечное духа, к этой бодрой и могучей веселости, источник которой — крепость и здоровость духа.

Итак, вот уж мы и нашли общее, которое связывает нашу простонародную поэзию с нашей художественной, национальной поэзией. Следовательно, родовое, субстанциальное начало в нас не подавлено реформой Петра, но только получило чрез нее

высшее развитие и высшую форму. И в самом деле, разве со времен Петра пространство России сузилось, а не расширилось; разве степи наши не так же просторны и раздольны, снега, их покрывающие, не так же белы, и не так же серебрят их унылый свет месяца?.. Какие хорошие свойства русского человека, отличающие его не только от иноплеменников, но и от других славянских племен, даже находящихся с ним под одним скипетром? Бодрость, смелость, находчивость, сметливость, переимчивость, — на обухе рожь молотит, зерна не обронит, нуждою учится калачи есть, — молодечество, разгул, удальство, — и в горе и в радости море по колению! Но разве европеизм может изгладить эти коренные, *субстанциальные* свойства русского народа? Разве образованный русский человек теперь не так же, как и прежде, *размашист* и в горе и в радости, и не родной брат тому, который некогда, приложив руку к уху, певал богатырским голосом на весь божий мир:

Высота ли, высота поднебесная,  
Глубота ли, глубота океан-море,  
Широко раздолье по всей земле,  
Глубоки омуты днепровские.

Смешно думать, что европеизм есть какой-то уровень, все сравнивающий, сглаживающий, подводящий под один цвет! Англичанин, француз, немец, голландец, швейцарец! — всё они равно европейцы, во всех их есть много общего, но национальные различия их непримиримо резки и никогда не изгладятся: для этого нужно было бы сперва уничтожить их историю, изменить природу их стран, переродить самую кровь их.

Национальность нельзя характеризовать и в целой книге, не только в журнальной статье, особенно национальность народа, который недавно начал жить и еще весь погружен в своем настоящем<sup>8</sup>.

[Национальность есть совокупность всех духовных сил народа: плод национальности народа есть его история. И потому мы не беремся высказать полно и удовлетворительно, в чем именно заключается русская национальность, — довольно с нас и намекнуть на это. Но мы не обинуясь можем сказать, что национальность состоит не в лаптях, не в армяках, не в сарафанах, не в сивухе, не в бородах, не в курных и нечистых избах, не в безграмотности и невежестве, не в лихоимстве в судах, не в лени ума. Это не признаки даже и народности, а скорее *на-росты на ней* — следствие испорченности в крови, остроты в соках. И все это было в России до Петра Великого, и со всем этим, как с двенадцатиглавою гидрою, боролся наш божественный Иракл и одолел ее неотразимо палицей своего мощного гения.

Говорить правду (особенно которую все хорошо понимают и чувствуют) и оскорблять — не всегда одно и то же. Пусть

боится правды глупый и пьяный, но умному не беда сознаться, что и он делывал промахи на своем веку, а трезвому, что и он бывал навеселе от вина. Национальная гордость есть чувство высокое и благородное, залог истинного достоинства; но национальное хвастовство и щекотливость — чувство чисто-китайское. Отрицание или унижение субстанции народа, национальности в истинном значении этого слова, есть оскорбление народа (*lèse-nation*); но нападки (даже преувеличенные) на недостатки и пороки народности — не преступление, а заслуга, истинный патриотизм. Что я люблю всем сердцем, всюю душою, всем существом моим, к тому я не могу быть равнодушен, в том я сильнее, чем в другом, люблю хорошее и (по тому же закону) сильнее ненавижу дурное].

Некоторые имеют привычку указывать на англичан, которые любят отпускать национальные фарсы, варварские и нелепые, и до сих пор оставляют существовать некоторые обычаи дикой и невежественной старины, от набитого шерстью мешка, на котором сидят члены парламента, до права продавать на рынке жену свою. Эти господа [т.-е. квасные патриоты] любят подобными ссылками делать упреки равнодушию, с которым мы, русские, расстаемся с преданиями нашей [длиннополой] старины, и готовности, с которою мы принимаем и усваиваем себе все новое. [Что до меня, — каюсь в грехе: я вижу] <sup>9</sup> в этом хорошую черту нашей национальности, залог нашего будущего величия и уж, разумеется, не унижения, а превосходства над англичанами, которые, впрочем, во всем другом великая нация, но только в этом не могут и не должны быть для нас примером, а сделали б лучше, если б нам подражали. Да, это великая черта русского народа: она показывает, что мы имеем способность и желание безусловно отрешаться от всего дурного; что же до хорошего, которое составляет основу и сущность нашего национального духа, — оно вечно, непреходяще, и мы не могли бы от него отрешиться, если б и захотели. Но мы более, нежели кто-либо другой, имеем возможность и право не стыдиться наших национальных недостатков и пороков и громко говорить о них. Национальные пороки бывают двух родов: одни выходят из субстанциального духа, как, например, политическое своекорыстие и эгоизм англичан; религиозный фанатизм и изуверство испанцев; мстительность и склонный к хитрости и коварству характер итальянцев; другие бывают следствием несчастного исторического развития и разных внешних и случайных обстоятельств, как, например, политическое ничтожество итальянских народов. И потому одни национальные пороки можно назвать *субстанциальными*, другие *прививными*. Мы никак не думаем, чтоб наша национальность была верх совершенства: под солнцем нет ничего совершенного; всякое достоинство условливает собою и какой-нибудь недостаток. Всякая индивидуальность уже по тому самому есть ограничение, что она индивидуальность; **вся-**

кий же народ — индивидуальность, подобная отдельному человеку. С нас довольно и того, что наши национальные недостатки не могут нас унижить пред благороднейшими нациями в человечестве. Что же до прививных, — чем громче мы будем о них говорить, тем больше покажем уважения к своему достоинству; чем с большею энергиею будем их преследовать, тем больше будем способствовать всякому преуспеянию в благе и истине. Внутренний порок — болезнь, с которою родится нация, — болезнь, отвержение которой иногда может стоить жизни; прививной порок — нарост, который, будучи срезан, хотя бы и не без боли, искусною рукою оператора, ничего не отнимает у тела, а только освобождает его от безобразия и страдания. Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, но из неблагоприятного исторического развития. Варварские, тевтонские племена, нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастье столкнуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Рима — с этими благородными почвами, на которых выросло широколиственное, величественное древо европеизма. Дряхлый, изнеможенный Рим, передав им истинную веру, впоследствии времени передал им и свое гражданское право; познакомив их с Вергилием, Горацием и Тацитом, он познакомил их и с Гомером, и с трагиками, и с Плутархом, и с Аристотелем. Разделяясь на множество племен, они как будто столпились на пространстве, недостаточном для их многолюдства, и беспрестанно, так сказать, ударялись друг о друга, как сталь о камень, чтоб извлекать из себя искры высшей жизни. Жизнь России, напротив, началась изолированно, в пустыне, чуждой общего человеческого развития. Первоначальные племена, из которых впоследствии сложилась масса ее народонаселения, занимая одинаково долинные страны, похожие на однообразные степи, не заключали в себе никаких резких различий и не могли действовать друг на друга в пользу развития гражданственности. Богемия и Польша могли бы ввести Россию в соотношения с Европою и сами по себе быть полезны ей, как племена характерные; но их навсегда разделила с Россиею враждебная разность вероисповеданий. Следовательно, от Запада Россия была отрезана в самом начале бытия своего [а Византия, в отношении к гражданскому образованию, могла подарить ее только обыкновением чернить зубы, белить лица и выкалывать глаза врагам и преступникам]. Княжества враждовали между собою, но в этой вражде не было разумного начала, и потому из нее не вышло никаких важных результатов. Удивительно ли после того, что история удельных междоусобий так бессмысленна и скучна, что ей не могло придать никакого интереса даже и красноречивое повествование Карамзина?.. Нахлынули татары и спаяли разрозненные члены России ее же кровью. В этом состояла великая польза татарского двухвекового ига; но сколько же сделало оно и зла России, сколько *привило* ей пороков. Затвор-

ничество женщин, [рабство в понятиях и чувствах, кнут], привычка зарывать в землю деньги и ходить в лохмотьях от боязни обнаружить [в себе богача] <sup>10</sup>, лихоимство [в деле правосудия], азиатизм в образе жизни, лень ума, невежество, презрение к себе, — словом, все то, что искоренял Петр Великий, что было в России прямо противоположно европеизму, — все это было не наше родное, но *привитое* к нам татарами. Самая нетерпимость русских к иностранцам вообще была следствием татарского ига [а совсем не религиозного фанатизма]: татарин сделал отвратительным в понятиях русских всякого, кто не был русским, — и слово *босурман* от татар перешло и на [немцев] <sup>11</sup>. Что самые важнейшие недостатки нашей народности не наши существенные, кровные, но прививные, — лучшее доказательство в том, что мы имеем полную возможность освободиться от них, и уже [начинаем освобождаться] <sup>12</sup>. Обратите внимание [на язву нашей народности — лихоимство] <sup>13</sup>. . . [Конечно, грустное зрелище представляет собою дурно-образовавшаяся общественность, истребляющая и подавляющая даже в своих благороднейших членах их личную, человеческую доблесть тем, что ставит их в необходимость или быть выскочками, оскорбляющими все общество, или, с пользой самим себе, без нарушения совести, как бы законно и только что не формально, править весами правосудия и расхищать государственные сокровища, вверенные их хранению и соблюдению. В Китае это называется «иметь выгодное место», и там всякий мандарин без зазрения совести говорит в обществе, что он «служит прибыльно», и, как основной догмат нравственности, завещает сыну прежде всего быть хорошим мужем и отцом, чтобы не пустить семейства по миру и не унижить своего чина и звания, а всем молодым людям пуще всего советует —

Смотреть, как делали отцы.

Учиться бы, на старших глядя <sup>14</sup>.

Но что касается до нас, мы еще не имеем причины отчаиваться в этом пороке. В гнилом обществе нет выскочек, нет противоречия и противодействия общей испорченности: в Китае все взяточники, и человека, который вздумал бы восставать против лихоимства и подкреплять свое восстание безукоризненным поведением, сочли бы глупцом, но, к счастью мандаринов, моралистов, там и нет таких глупцов, но все они *умные* и *благонамеренные* люди. У нас, напротив], благодаря преобразованиям Петра, [не замедлила явиться оппозиция общему злу] <sup>15</sup>.

К чести нашей литературы, — в ней в первой возникла эта благородная, благодетельная оппозиция. Муза Сумарокова объявила непримиримую войну подьячим и клеймила лихоимство и казнокрадство печатью позора и отвержения. Заметим мимоходом, что в этом отношении литературное направление Сума-

рокова было, так сказать, *жизненное* чисто-реторического направления Ломоносова, — и вот причина, почему бездарный Сумароков был любимее, а даровитый Ломоносов — только уважаемее публикою своего времени. «Ябеда» Капниста была сильным ударом *ябеде*. Нахимов составил себе громкое имя в литературе своего времени постоянным вдохновением против кривосудия. Хотя остроумие Фон-Визина было устремлено преимущественно против невежества, но мимоходом доставалось от него порядком и сутяжничеству. В наше время «Ревизор» Гоголя явился истинным бичом этого порока, который, благодаря успехам просвещения и благотворным усилиям правительства, уже прячется в норы [и только оттуда осмеливается, и то украдкой, высовывать свою неблагоприятную и непристойную физиономию]. Говоря о заслугах литературы святому делу преследования лихоимства бичом сатиры, нельзя не упомянуть и о Грибоедове: хотя его бессмертная комедия устремлена и не прямо против этой гидры стоглавой, но горящие клейма наложил он на ее бесстыдные лбы стихами, подобными следующим:

Как будешь представлять в крестишку иль местечку —  
Ну, как не порадеть родному человечку!<sup>16</sup>

И благородные усилия литературы не остались тщетными: общество отозвалось на них. Замечательно, что даже посредственные сочинения в этом духе и направлении всегда принимались нашею публикою с особенным восторгом, вместо того, чтобы оскорблять ее. Наконец, стали появляться люди, которые, уже не боясь прослыть за людей *беспокойных* и *опасных* и не стыдясь названия глупцов, гордецов, выскочек и мечтателей, говорят вслух, что скорее готовы умереть с голоду, нежели богатеть воровством, — и с голоду не умирают, а если и богатеют, то честными средствами. [И] хотя такие [вольнодумцы] являются не тысячами, но все-таки число их умножается со дня на день. До времен же Петра Великого их [не бывало не только в действительности, но и в фантазии самых пылких людей]<sup>17</sup>. Следовательно, общество наше идет вперед и, не теряя своей национальности, только расстаётся с [дурною народностью]<sup>18</sup>. И уже близко то время, когда не останется и следов [такой народности]<sup>19</sup>. А<sup>20</sup> с чем можно расстаться, от чего можно отрешиться, — то не в крови, не в духе: то просто дурная привычка, приобретенная в дурном обществе, при дурном воспитании. Только те пороки делают бесчестие нации, которые неистребимы, неисправимы.

Вообще все недостатки и пороки нашей общественности выходили из невежества и непросвещения: и потому свет знания и образованности разгоняет их, как восход солнца ночные туманы. Пороки китаец и персианина слиты с их духом: просвещение сделало бы их только утонченнее, коварнее и

развратнее, но не благороднее. Просвещение действует благотельно только в таком народе, в котором есть зерно жизни. Мы уже представили самый разительный факт, как неопровержимое доказательство, что в русском обществе есть здоровое и плодотворное зерно жизни. Прибавим к этому, что многого можно надеяться от народа, который, после нарвского сражения, дал полтавскую и бородинскую битвы, потряс Турецкую империю, и, как сказал его великий поэт, «повалил в бездну кумир, тяготевший над царствами, и кровью своею искупил свободу, честь, спокойствие Европы...» Едва пробудившись к жизни, он громом побед возвестил Европе о своем пробуждении; едва примкнувшись к Европе, он уже решил ее великое дело, дал ответ на мудреный вопрос.

[Мы высказали наше задушевное мнение о вопросе щекотливом со всею искренностью и прямою свободною убеждения и готовы ответить на всякое возражение, сделанное нам с такою же искренностью и прямою. Не только не уклоняемся от спора, но вызываем его ради большего уяснения столь близкой к сердцу всякого русского истины. Наше убеждение равно далеко и от мертвого космополитизма и от квасного патриотизма, — и такое убеждение смело может быть высказываемо в стране, где преследуется не свобода, а своеволие мысли. После этого мы можем прямее приступить к причинам, делавшим необходимою и коренною реформу Петра, не боясь быть ложно понятыми и ложно истолкованными.]

В предыдущей статье мы говорили о различии Европы от Азии; теперь мы хотим показать отношение России до Петра Великого к Европе и Азии. По географическому положению своему Россия занимает середину между этими двумя частями света. Многие заключают из этого, что она и в нравственном отношении занимает эту середину. Подобная мысль нам кажется не совсем справедливою: географическая середина не всегда бывает нравственною серединою, а нравственная середина не всегда бывает выгодною. Как угодно, но трудно вообразить себе середину между светом и тьмою, просвещением и невежеством, между человечностью и варварством; но еще труднее найти такую середину выгодною и притти от нее в восторг. Серый цвет может быть хорош на произведениях природы, искусства и ремесл; но в духе человеческом серый цвет — цвет отвержения, нравственного унижения. «Кто не за меня, тот против меня» — середины нет. Вследствие татарского ига, кроме религии, в России не было ничего общего с Европою; но она много отличалась от Азии. Находясь под туманным небом, в суровом климате, она не представляла собою той роскоши, той поэзии чувственной, ленивой и сладострастной жизни, которая в Азии так обаятельно соблазнительна и для европейца. Страсти в ней были тяжелые, но не острые, отуманивали, а не раздражали, больше спали и редко просыпались. Разнообразие

страстей в ней было неизвестно, потому что основы общества были однообразны, интересы ограничены. Для азиатца существует наслаждение; он по-своему обожает красоту, по-своему любит роскошь и удобства жизни. Ничего этого не бывало у русских до времен Петра Великого. Красоту у них составляло дородство, «ражесть» тела, молочная белизна и кровавой багрянец лица — *кровь с молоком*, как говаривали наши старики, и как теперь говорят наши простолюдины. В самом деле, взглянув на то, что брадатые торговцы нашего времени называют красотой, взглянув на разбеленные и разрумяненные ланиты и черные зубы их очаровательниц, не получишь слишком высокого понятия об эстетическом вкусе наших праотцев. И какая разница между азиатским сатрапом или пашою, который, злоупотребляя властью свою над вверенным ему пашалыком, лениво и роскошно упивается всеми обаяниями чувственности в своем гареме — этом земном раю, обещанном ему на небе Мухаммедом, в кругу соблазнительных одалисок, этих земных гурий и пери, под немолчный говор фонтанов, в сладостном дыму аравийских курений, — какая разница, говорим, между ним и древним русским боярином, который тоже был посылан на *кормление* в какую-нибудь провинцию, который много и безвкусно ел за обедом, еще больше пил, а после обеда спал богатырским сном; по субботам наслаждался банею, паримый вениками в адском жару, в случае нездоровья выпивал на полке пенничку с перечком, а после бросался в сугроб снегу; для которого, после еды, питья и бани, величайшее наслаждение было — охота с соколами, ломка с медведями или разделка с холопами!.. На востоке есть понятие о вдохновении и творчестве: там высоко ценится искусство «нанизывать жемчуг на нить описаний» и «рассыпать жемчуг по бархату», т.-е. писать стихами и прозою. На святой Руси в древности и не слыхивали о таком странном занятии, а если бы услышали, то назвали б его «пересыпанием из пустого в порожнее». Какое прозаическое понятие о поэзии! Другое важное отличие русского мира от азиатского — отсутствие мистицизма и религиозной созерцательности. Наше славянское язычество было так слабо и ничтожно, что не оставило по себе никакой памяти. Великий князь Владимир одним словом мог уничтожить его, и народ без всякого фанатического сопротивления крестился. Правда, несколько голосов закричало было: «выдыбай, боже!» — но это не по языческому религиозному чувству, а по уважению к серебряной бороде и золотым усам Перуна. Вообще Россия была Азией только в другом характере, чему причиною было и христианство, формально объявленное Владимиром Святым государственною религиею. Посему наши князья хотя и кололи друг другу глаза, но это было больше следствием влияния византийских обычаев, чем азиатизмом. Русский мужичок и теперь еще полуазиатец,

только на свой манер: он любит наслаждение, по полагает его исключительно в «пенном», в еде и в лежании на печи. Когда урожай хорош и хлеба у него вдоволь, он счастлив и спокоен: мысль о прошедшем и будущем не тревожит его! ибо люди в своем естественном состоянии, кроме утоления голода и других подобных нужд, ни о чем не умеют мыслить. Приходит купец нанимать его под извоз на ярмарку — куда! — наш мужичок ломит с него цену непомерную, даже говорит с ним неохотно, и гордо остается на своих полатах. Голод — он едет за безделицу, чтоб только не есть дома и не кормить лошадь домашнею соломою. Вопрос о своем состоянии и средствах улучшить и обеспечить его на будущее время, пользуясь благоприятными обстоятельствами, урожаем и пр., никогда не заходил в его остриженную в кружок и плотно выстриженную на макушке голову. Он пашет, как пахали отцы и деды, не прибавит ни колушка к сохе\*. Изба его похожа на хлев, и зимою он радушно разделяет ее с телятами, ягнятами, поросятами и курами. И это не всегда от недостатка в средствах (немец с теми средствами, которые имеет свободный русский мужичок, жил бы барином), а от естественного пребывания на лоне матери-природы и от глубокомысленной причины: «так жили отцы и деды наши, а они были не глупее нас — не хуже нашего умели есть-то». Чужак от всей души верит, что уметь есть хлеб — великая мудрость!.. О правосудии у него тоже свои, совершенно азиатские понятия: «он на то и *алистратор*, чтобы взятки брать», — говорит наш мужичок о подьячем, и, охотно развязывает мошну — лишь бы только дело-то ему сделали. Штрафов платить он не любит и боится их пуще смерти; а за скулы, зубы и хребтовую кожу не стоит — они ведь заживут, а денег не воротить. «Ученье свет, а неученье тьма», — говорит наш мужичок, но грамоту охотно предоставляет знать за себя дьячку или подьячему. Да и от одних ли мужичков услышите вы заветное: «отцы наши не хуже нас живали, хоть и неученые были», — это говорит и старый подьячий нашего времени, негодующий на то, что книги о запрещениях на имения лишили его возможности добывать хлебец справочками и что «Свод законов» дает возможность знать законы всякому грамотному человеку, даже и не имеющему никакого чина; это же говорит и старый помещик, которого новое время застало врасплох в отъезжем поле, с арапником в руках, и которому страх не хочется ни пахать землю по новым теориям, ни везти детей в столицу для образования.

Возвращаясь к прошедшему России, сокрушенному железною волею царя-исполина, мы видим перед собою картину

---

\* А малороссиянин так еще далее простирает свое уважение к преданиям старины: он ни за что не хочет поганить навозом землю, на которой родится дар божий, т.е. хлеб. Вот Азия-то!

грустную, раздирающую душу. Быт того времени, изображенный Кошкиным, невольно заставляет содрогаться сердце, которое тем радостнее, торжественнее и выше бьется при мысли о посланнике божьем, искупившем кровавым потом царственного чела своего тяготу и унижение темной години России. Бессилие при силе, бедность при огромных средствах, бессмыслие при уме природном, тупость при смысленности природной, унижение и позор человеческого достоинства и в обычаях, и в условиях жизни, и в судопроизводстве, и в казнях, и притом унижение человеческого достоинства при христианской религии: вот первое, что бросается в глаза при взгляде на общественный и семейный быт России до Петра Великого]. Дух народный всегда был велик и могущ: это доказывает и быстрая централизация Московского царства, и мамаевское побоище, и свержение татарского ига, и завоевание темного Казанского царства, и возрождение России, подобно фениксу, из собственного пепла в годину междуцарствия, когда, подобно восходящему солнцу, прогоняющему призраки ночи и предрассветную мглу, на престол, по единодушному избранию народа, взшел благословенный дом Романовых, даровавший России Петра Великого и целый ряд знаменитых и славных властителей, возвеличивших и облагодетельствовавших вверенный богом попечению их народ. Это же доказывает и обилие в таких характерах и умах государственных и ратных, каковы были: Александр Невский, Иоанн Калита, Симеон Гордый, Димитрий Донской, Иоанн III, Иоанн Грозный, Андрей Курбский, Воротынский, Шеин, Годунов, Басманов, Скопин-Шуйский, князь Димитрий Пожарский, мещанин Минин, святители Алексей, Филипп, Гермоген, келарь Авраамий Палицын. Это же доказывают и произведения народной поэзии, запечатленной богатством фантазии, силою выражения, бесконечностью чувства, то бешено веселого, размашистого, то грустного, заунывного, но всегда крепкого, могучего, которому тесно и на улице и на площади, которое просит для разгула дремучего леса, раздолья Волги-матушки, широкого поля... Но такова участь даже и великого народа, если враждебная судьба или неблагоприятное историческое развитие лишают его потребной ему сферы и для необъятной силы его духа не дают приличного ей содержания: в минуты испытания, когда малые духом народы падают, он просыпается, как лев, окруженный ловцами, грозно сотрясает свою гриву и ужасным рыканием оледеняет сердца своих врагов; [но] прошла буря — и он опять погружается в свою дремоту, не извлекая из потрясения [никаких] благоприятных результатов для своей цивилизации. В самом деле, все великие перевороты и испытания судьбы только обнаружили великий характер русского народа, [но] несколько не развили его государственных сил и не дали толчка его цивилизации; тогда как] роковой 1812 год, пронесшийся над Рос-

сиею грозною тучею, напрягший все ее силы, не только не ослабил ее, но еще и укрепил, и был прямою причиною ее нового и высшего благоденствия, ибо открыл новые источники народного богатства, усилил промышленность, торговлю, просвещение. Вот какая разница между одним и тем же народом в его непосредственном, естественном и патриархальном состоянии и в разумном движении его исторического развития! В первом состоянии и великое событие у народа рождается как бы без причины и оканчивается без результатов, а потому его история лишена всякого общего, [разумного] интереса; во втором состоянии даже всякое событие имеет разумную причину и разумное следствие и [есть]<sup>21</sup> шаг вперед, — и его история полна драматического интереса, движения, разнообразия, поэтически-интересна, философски-поучительна, политически-важна. Но народ один и тот же, и Петр не пересоздал его (такого дела, кроме бога, никто бы не мог совершить), а только вывел его из кривых, избитых тропинок на столбовую дорогу всемирно-исторической жизни. Шереметев, Меншиков, Репнин, Долгорукий, Апраксин, Шафиров, Голицын (Михаил), Головин, Головкин — все эти люди, одаренные такими блестящими талантами, «сии птенцы гнезда Петрова», по выражению Пушкина, были природные русские и родились в царствование Алексея Михайловича — в кошихинские времена России. Итак, Петр отрицал и уничтожал в народе не существенное и кровное, но нарощее и привившееся, и тем отверз новые пути в духе народа, до того времени остававшиеся затворенными для принятия новых идей и новых дел. Обвиняющим его в попрании и уничтожении народного духа Петр имел бы полное право ответить: «не думайте, что пришел нарушить закон или пророков: Я не нарушить пришел, но исполнить...»

Читатели наши могли видеть верную картину общественного и семейного быта России в выписках, сделанных нами в предыдущей статье из книги Кошихина, изданной нашим просвещенным правительством. Они могли видеть, что в России до Петра Великого не было ни торговли, ни промышленности, ни полиции, ни гражданской безопасности, ни разнообразия нужд и потребностей, ни военного устройства, ибо все это было слабо и ничтожно, потому что было не законом, а обычаем. А нравы? — [какая печальная картина!] Сколько тут азиатского, [варварского], татарского! [Сколько унижительных для человеческого достоинства обрядов, например, в бракосочетании, и не только престолюдинов, но и высших особ в государстве!] Сколько простонародного и грубого в пирах! Сравните эти тяжелые яденья, это невероятное питье, эти грубые целования, эти частые стуканья лбом об пол, [эти валяния по земле], эти китайские церемонии, — сравните [их] с турнирами средних веков, с европейскими пиршествами XVII столетия... Вспомните, каковы были наши брадатые рыцари и кавалеры! Ка-

ковы были наши бойкие дамы, потягивавшие «горькое»!.. [Женились, не зная на ком! Ошибившись, били и мучили жен, чтобы насильно возвысить их до ангельского чину, — а не брало это — так отравляли зельями; ели гомерически, пили чуть не ушатами, жен прятали и, только разгоревшись от полусотни перечных кушаний и нескольких ведер вина и меду, вызывали их на поцелуи...]. [Все это столько же *нравственно*, сколько и эстетично]...<sup>22</sup> Но все это опять-таки нисколько не относится к унижению народа ни в нравственном, ни в философском отношении: ибо все это было следствием изолированного от Европы исторического развития и следствия влияния татарщины. Лишь только отворил Петр двери своему народу на свет божий, мало-помалу тьма невежества рассеялась — народ не выродился, не уступил своей родной почвы другому племени, но уже стал не тот и не такой, как был прежде... Да, господа, защитники старины, воля ваша, а Петру Великому мало конной статуи на Исаакиевской площади: алтари должно воздвигнуть ему на всех площадях и улицах великого царства русского!..

[Взглянем ли на боярство со стороны его политического и государственного значения — то же зрелище, которое на минуту может обмануть своею внешностью, своим именем, но которое, в сущности, совсем не то. Прочтите опять Кошихина — и вы невольно воскликнете: «Так вот та мнимая аристократия, которую наши безусловные поклонники старины мечтали видеть в азиатской боярщине древней России!..» В самом деле, некоторые из этих господ, вообще недовольных реформой Петра Великого, одним из главнейших обвинений против него *поставляют*, будто бы он унизил и уничтожил аристократию и тем навсегда отстранил всякое уравнивание законности против произвола. Это премудрое обвинение основывают они на пустом, формальном, ни права, ни силы, ни мысли, ни даже особенного смысла не заключавшем в себе выражении: «царь указал, бояре *приговорили*». Напротив, Петр Великий основал у нас нечто вроде аристократии (что приличнее назвать *вельможеством*) и силою заставлял ее противоборствовать самому себе, для чего иногда умышленно уклонялся от справедливости. Так, однажды стал он просить адмиралтейское начальство, чтобы его поместили на открывшуюся тогда вакансию вице-адмирала: ему отказали, заметив, что есть некто старше его по службе, кто имеет большее право на то место. Что же сделал Петр? — Он сказал: «Если бы они были столь работлепны, что из ласкательства предпочли бы меня моему достойному сверстнику, то действительно я заставил бы их горько раскаяться в этом». И вообще это значит это бессильное, формальное, не на праве и законе, на обычае основанное «бояре *приговорили*», что значит оно в сравнении с противоречиями князя Якова Федоровича Долгорукова Петру Великому?.. Да,

Петр Великий основал и создал наше вельможество, которое при Екатерине Великой расцвело таким пышным цветом знатности, могущества, богатства, образованности, просвещения и прибавим, таланта и достоинства внутреннего. Только азиатские души могут ставить Петру в упрек то, что он придал вельможеству характер бюрократии, сделал его доступным для людей низкого происхождения, но высокого духа, людям даровитым и способным. Если бы наше вельможество могло когда-нибудь превратиться в чистую бюрократию, то в этом Петр несколько не виноват: значит, так должно и так нужно быть; значит, иначе быть не может; значит, нет в вельможестве субстанциональной силы, которая дала бы ему возможность не изменяясь пройти сквозь все изменения гражданского устройства и быта России. Что такое аристократия? Привилегированное сословие, исторически развившееся, которое, стоя на вершине государства, посредствует между народом и высшей властью и развивает своим бытом и деятельностью идеальные понятия о личной чести, благородстве, неприкосновенности их прав, из рода в род передает высшую образованность, идеальное изящество в формах жизни. Такова была аристократия в Европе до конца прошлого века, такова и теперь аристократия в Англии. Если в средние века короли могли употреблять во зло свою власть над могучими вассалами, все-таки они могли лишить их только жизни, но не чести, отрубить голову, а не бить батогами, плетью или кнутом. И лишить жизни своего вассала король мог не иначе как по форме судопроизводства и приговору (хотя бы и не всегда справедливому) суда. Понятие о чести, составляющее душу и кровь истинной аристократии, вышло в Европе из того, что все аристократы были сперва сами владетельными особами, а рыцарство еще более придало благородный и человеческий характер их понятиям о чести. Наши бояре тоже были сперва владетельными особами; но, перестав быть государями, тотчас же сделались почетными слугами: татарское иго, сокрушившее феодальную систему, было для наших воображаемых феодалов тем же, чем было рыцарство для феодалов Запада. Невыгодное тождество!.. И потому наш боярин не считал себе за бесчестье не знать грамоты, не иметь ни познаний, ни образования: все это, по старинным понятиям, было приличнее последнему холопу, чем боярину. По этому же самому он считал для себя бесчестьем не розги, не батоги, не плети, не кнут, не застеночную пытку, не тюрьму, — «место» за царским столом ниже боярина, равного с ним по породе, но не равного по чести своих предков или высшего заслугами, но низшего родом. По этому же самому наши бояре, по выражению Кошкина, *лаяли* друг друга, а не переводывались оружием по-рыцарски.

Защитники патриархальных нравов против цивилизованных с особенным торжеством ссылаются на непоколебимую вер-

ность и беспрекословное повиновение народа высшей власти во времена старой России. Но исторические факты слишком резко противостоят этому убеждению и слишком ясно доказывают старинную истину, что «крайности сходятся». Крамолы, стрелецкие бунты еще в малолетстве Петра Великого, беспрестанные покушения на жизнь его даже во время его единодержавия доказывают, как мало прочны естественные отношения необразованного народа к благодетельной власти, что гораздо прочнее их отношения, проникнутые разумною сознательностью своих обязанностей и прав. Во время народного мятежа по случаю упадка курса денег, вследствие медной монеты, многие, по словам Кошихина, держали царя Алексея Михайловича за пуговицы, и «один человек из тех людей с царем бил по рукам»: это больше чем санкюлотская дерзость, это грязная и отвратительная животность в понятиях и чувствах].

Защитники нашей патриархальной старины обыкновенно говорят, что и в Европе, во времена варварства, было не лучше, чем у нас. Но [во времена ее варварства, а] у нас в XVIII веке (до царствования Екатерины Великой) было то, что в Европе было в IV и V веках — были пытки, изуверство, суеверие [(но не было кнута, подаренного нам татарами)]<sup>23</sup>. Но что всего важнее, в Европе было развитие жизни, движение идей; подле яду там росло и противоядие — за ложным или недостаточным определением общества тотчас же следовало и отрицание этого определения другим, более соответствующим требованию времени определением. [И потому-то невольно миришься со всеми ужасами, бывшими в Европе тех времен; миришься с ними за их благородный источник, за их благие результаты. Но Россия была скована цепями неподвижности, дух ее был сперт под толстой ледяной корою и не находил себе исхода].

Некоторые думают, что Россия могла бы сблизиться с Европою без насильственной реформы, без отторжения, хотя бы и временного, [от своей народности]<sup>24</sup>, но собственным развитием, собственным гением. Это мнение имеет всю внешность истины, и потому блестяще и обольстительно, но внутри пусто, [как большой, красивый, но гнилой орех]: его опровергает самый опыт, — факты истории.

Никогда Россия не сталкивалась с Европою так близко, так лицом к лицу, как в эпоху междуправления. [Димитрий Самозванец с своей обольстительною Мариною Мнишек, с своими поляками, был не чем иным, как нашествием *немецких* обычаев на русские, но главнейшая причина его гибели, кроме дерзости, была та, что он после обеда не спал на лавке, а осматривал публичные работы, ел телятину и по субботам не ходил в баню. Швед Де-ла-Гарди был другом юному русскому герою Скопину-Шуйскому; но по смерти его *принужден был сделаться врагом русских*. Но] есть факт, еще более поразительный: это — Новгород. Прекрасно русское выражение: «новгородская вольница»,

и странно мнение многих ученых, которые от чистого сердца, т.-е. не шутя видели в Новгороде [республику и] живой член ганзеатического союза. Правда, новгородцы были друзья «немцам», беспрестанно обращались с ними; но немецкие идеи и не коснулись их. Это была [не республика, а] «вольница», [в ней не было свободы гражданской, а была дерзкая вольность холопей, как-то отделившихся от своих господ, — и] порабощение Новгорода Иоанном III и Иоанном Грозным было делом, оправдываемым не только политикою, но и нравственностью. От создания мира не было более бестолковой и карикатурной республики. Она возникла, как возникает дерзость раба, который видит, что его господин болен изнурительной лихорадкой и уже не в силах справиться с ним, как должно; она исчезла, как исчезает дерзость этого раба, когда его господин выздоравливает. Оба Иоанна понимали это: они не завоевывали, но усмиряли Новгород, как свою взбунтовавшуюся отчину. Усмирение это не стоило им никаких особенных усилий: завоевание Казани было в тысячу раз труднее для Грозного. Нет! была стена, отделявшая Россию от Европы: стену эту мог разрушить только какой-нибудь Самсон, который и явился Руси в лице ее Петра. Наша история шла иначе, чем история Европы, и наше очеловечение должно было совершиться совсем иначе. Нецивилизованные народы образуются безусловным подражанием цивилизованным. Сама Европа доказывает это: Италия называла остальную Европу варварами, и эти варвары безусловно подражали ей во всем — даже в пороках. Могла ли Россия начать с начала, когда перед ее глазами был уже конец? Неужели ей нужно было начать, например, военное искусство с той точки, с которой оно началось в Европе во времена феодализма, когда в нее стреляли из пушек и мортир, а нестройную толпу ее могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшиеся по команде одного человека? Смешная мысль! Если же Россия должна была изучать военное искусство в том состоянии, в каком было оно в Европе XVII века, то должна была учиться и математике, и фортификации, и артиллерийскому и инженерному искусству, и навигации, следовательно, могла ли она приниматься за геометрию не прежде, как арифметика и алгебра уже укоренятся в ней, и их изучение окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа. Однообразие в одежде для солдат — не прихоть, а необходимость. Русская одежда не годилась для солдатской униформы; следовательно, необходимо должно было принять европейскую; а как же можно было сделать это с одними солдатами, не победив отвращения к иностранной одежде в целом народе? И что бы за отдельную нацию в народе представляли собою солдаты, если б все прочие ходили с бородами, в балахонах и безобразных сапожках? Чтобы одеть солдат, нужны были фабрики (а их, [благо-

даря патриархальности диких нравов], не было); неужели же для этого надобно было ожидать свободного и естественного развития промышленности? При солдатах нужны офицеры [(кажется, так, господа старообрядцы и антиевропейцы?)], [а офицеры должны быть из высшего сословия против того]<sup>25</sup>, из которого набирались солдаты, и на их мундиры нужно было сукно потоньше солдатского: так неужели же это сукно следовало покупать у иностранцев, платя за него русскими деньгами, или дожидаться, пока (лет в 50) фабрики солдатского сукна придут в совершенство и из них разовьются тонкосуконные фабрики? Что за нелепость! Нет, в России надо было начинать все вдруг, и высшее предпочитать низшему: фабрики солдатского сукна — фабрикам мужицко-сермяжного сукна, академию — уездным училищам, корабли — баркам. Мало основать уездное училище — надо было дать им учителей, которых всего лучше могла образовать академия; надо было составить учебные руководства, что опять могла сделать только академия. Что ни говорите о бедности нашей литературы и ничтожности нашей книжной торговли, однако иные книги у нас раскупаются же, и иные книгопродавцы одними периодическими изданиями имели же в ежегодном обороте по 250 000 рублей! А отчего это произошло? — Оттого, что наша великая императрица, [наша матушка] Екатерина II заботилась о создании литературы и публики, заставила читать двор, от которого мало-помалу охота к чтению перешла, через высшее дворянство, к среднему, от него к чиновническому люду, а теперь уже начинает переходить и к купечеству.

Да, у нас все должно было начинать сверху вниз, а не снизу вверх, ибо в то время, как мы почувствовали необходимость сдвинуться с места, на котором дремали столько веков, мы уже увидели себя на высоте, которую другие взяли приступом. Разумеется, на этой высоте увидел себя не народ (в таком случае ему не для чего было бы и подыматься), а правительство и то в лице только одного человека — царя своего. Петру некогда было медлить: ибо дело шло уже не о будущем величии России, а о спасении ее в настоящем. Петр явился во-время: опоздай он четвертью века, и тогда — *спасай* или *спасайся, кто может!*.. Провидение знает, когда послать на землю человека. Вспомните, в каком тогда состоянии были европейские государства в отношении к общественной, промышленной, административной и военной силе и в каком состоянии была тогда Россия во всех этих отношениях! Мы избалованы нашим могуществом, оглушены громом наших побед, привыкли видеть стройные громады наших войск, и забываем, что всему этому только 132 года (считая от победы под Лесным — первой великой победы, одержанной русскими регулярными войсками над шведами). Мы как будто все думаем, что это было у нас искони веков, а не с Петра Великого. Мы уже забыли и то, что

при Петре Великом у России явился опасный сосед — Карл XII, которому нужны были и люди и деньги и который умел бы распорядиться и тем и другим, следуя русской поговорке: «Даровому коню в зубы не смотрят». Любовь к отечеству, могущество народного духа и богатство в материальных средствах — действительно сильные орудия. Но воскресите героев Термопил, Марафона, Платей, воинов Лакедемона, фаланги македонян, когорты Рима, составьте из всех их одно войско, сделайте Мильтиада, Фемистокла, Кимона, Аристиду, Перикла, Фабия, Камилла, Сципиона, Мария начальниками отрядов, а в главнокомандующие дайте им Александра Македонского и Юлия Цезаря: это ужасное войско исполинов не устоит против пяти полков нашего времени под командою не Наполеона, а хоть кого-нибудь из его генералов. Сила соломой ломит, говорит поговорка, а ум, вооруженный наукою, искусством и вековым развитием жизни, ломит и силу, прибавили бы мы. Нет, без Петра Великого для России не было никакой возможности естественного сближения с Европою, [ибо в ней не было живого зерна развития, и без Петра долго бы ей быть оригиналом картин, нарисованных Кошкиным и Желябужским. Правда, и без реформы Петра Россия, может быть, сблизилась бы с Европою и приняла бы ее цивилизацию, но точно так же, как Индия сблизилась с Англиею]. Повторяем: Петру некогда было медлить и выжидать. Как прозорливый кормчий, он во время тишины предузнал ужасную бурю и велел своему экипажу не щадить ни трудов, ни здоровья, ни жизни, чтобы приготовиться к напору волн, порывам ветра, — и все изготовились, хотя и нехотя, — и настала буря, но хорошо подготовленный корабль легко выдержал ее неистовую силу, — и нашлись недальновидные, которые стали роптать на кормчего, что он напрасно так беспокоил их. Нельзя ему было сеять и спокойно ожидать, когда прозябнет, взойдет и созреет брошенное семя: одной рукою бросая семена, другою хотел он тут же и пожирать плоды их, нарушая обычные законы природы и возможности, — и природа отступила для него волшебством. Новый Навин, он останавливал солнце в пути его, он у моря отторгал его девременные владения, он из болот вывел чудный город. Он понял, что полумеры никуда не годятся и только портят дело; он понял, что коренные перевороты в том, что сделано веками, не могут производиться вполнину, что надо делать или больше, чем можно сделать, или ничего не делать, и понял, что на первое станет его сил. Перед битвою под Лесным он позади своих войск поставил казаков [и калмыков] с строгим приказанием убивать без милосердия всякого, кто побежит вспять, даже и его самого, если он это сделает\*. Так точно

\* Голиков, т. III, стр. 20 старого издания.

поступил он и в войне с невежеством: выстроив против него весь народ свой, он отрезал ему всякий путь к отступлению и бегству. Будь полезен государству, учись — или умирай: вот что было написано кровью на знамени его борьбы с варварством. И потому все старое безусловно должно было уступить место новому, [все — и платье, и прическа, и борода], и обычаи, и нравы, и дома, и улицы, и служба. Говорят, дело в деле, а не в бороде; но что ж делать, [господа], если борода мешала делу? Так вон же ее [с корнем], если сама не хочет валиться!

[Нельзя ничего понимать в частности, но все должно рассматривать в связи с общим. Образ жизни, одежда и самое непостоянство мод у европейцев в тесной связи с их наукою, образованием, администрацией, довоенной силою и законами. У нас теперь есть люди, которые, нося бороды, читают книги и сами приобрели себе некоторую образованность; но войдите вы к ним в дом, вникните в их семейные отношения, обращение с людьми их мира, — вам станет тяжело и грустно, если вы порядочный человек и внутреннее и внешнее изящество в формах жизни ставите во что-нибудь. Но теперь борода есть только вывеска уважения к преданиям старины, к обычаямсловия; иной не решается ее сбросить, как и есть в первый раз устриц: ему смешно своего страху, а все не решается. Это еще, по крайней мере, сносно, а больше смешно, чем вредно. Но во времена Петра бороде придавалось невежеством народа какое-то религиозное значение. Она торчала между книгою и глазами и не давала читать. На бритву смотрели, как на орудие разврата иноземного, безбожия басурманского. По счастливому выражению Марлинского, русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. Знамя совсем не то же, что полк; но, если знамя утрачено в сражении, полк считается не существующим, — и потому великая честь: отбить у неприятеля знамя. Борода была знаменем невежества — и Петр понял, что за нее-то прежде всего и нужно было взяться.

Некоторые приписывают реформе Петра Великого то вредное следствие, что она поставила народ в странное положение: не привив ему истинного европеизма, только отторгла его от родной сферы и сбила с здравого и крепкого природного смысла. Несмотря на всю ложность этого мнения, оно имеет основание и, по крайней мере, достойно опровержения. В самом деле, если реформа развязала, так сказать, душевные силы даровитых людей, подобных Шереметеву, Меншикову и другим, зато из большинства сделала каких-то кривляк и шаркунов. Понятно, что старые бояре, отличавшиеся природным умом, упругим характером, не хотевшие расстаться с своею степенною одеждою и оставить суровые обычаи старины, как какой-нибудь Ромодановский, понятно, с каким чувством глубочайшего презрения смотрели они на этих нововыпеченных и доморощенных евро-

пейцев, которые, по непривычке, путались ногами в шпаге, роняли из-под мышки свои кораблики; подходя к дамам к ручке, наступали им на ноги; как попугай, употребляли без толку иностранные слова, любезность заменяли грубым и наглым волокитством и — могло быть — иное платье надевали на себя задом наперед. В другом уже виде, но и теперь еще заметен у нас этот мнимый, искаженный европеизм, эти формы без идеи, эта вежливость без уважения к себе и другим, эта любезность без эстетичности, это франтовство и *львинство* без изящности: знаменитый Иван Александрович Хлестаков, прославленный Гоголем, есть один из таких известного рода *европейцев* нашего времени. Наши галломаны, англومانь, львы, онагры, петиметры, агрономы, комфортисты так и просятся в комедию Гоголя — кто рассуждать с Анною Андреевною о столичной жизни и обращении в кругу посланников и министров, кто рассуждать с почтмейстером Шпекиным и судьей Ляпкиным-Тяпкиным о политических отношениях Франции и Турции к России. Вследствие же реформы Петра Великого, гениальный ум Ломоносова является в поэзии таким бесплодным и риторическим, и, за исключением Крылова, до Пушкина литература наша является рабски-подражательною, бесцветною и не имеющею никакого интереса для иностранцев. Да, все это правда, но только за все это Петра так же нелепо обвинять, как и врача, который, чтобы вылечить человека от горячки, сперва ослабляет и истощает его до последней крайности кровопусканиями, а выздоравливающего мучает строгою диетой. Вопрос не в том, сделал ли Петр нас полугеопейцами и полурусскими, а, следовательно, и не европейцами и не русскими: вопрос в том, навсегда ли должны мы остаться в этом бесхарактерном состоянии? Если не навсегда, если нам суждено сделаться европейскими русскими и русскими европейцами, то не упрекать Петра, а удивляться должно нам, как он мог совершить такое неслыханное от начала мира, такое исполинское дело! Итак, вопрос заключается в слове «будем ли», — и мы смело и свободно можем отвечать на него, что не только *будем*, но уже и *становимся* европейскими русскими и русскими европейцами и становимся со времен царствования Екатерины II, и со дня на день преуспеваем в этом в настоящее время. Мы уже теперь ученики, но не сеиды европеизма, мы уже не хотим быть ни французами, ни англичанами, ни немцами, но хотим быть русскими в европейском духе. Это сознание проникает во все сферы нашей деятельности и резко высказывалось в литературе с появлением Пушкина — таланта великого, самостоятельного, вполне национального. Относительно же того, что и теперь не совершился и долго не совершится еще окончательно великий акт полного проникновения нашей народности европеизмом, — это доказывает лишь, что Петр в тридцать лет совершил дело, которое дает работу целым векам. Оттого он и

исполин между исполинами, гений между гениями, царь между царями. Самому Наполеону есть соперник в древности — Юлий Цезарь: нашему Петру от начала мира до сего дня не было ни соперников, ни образцов; он подобен и равен только самому себе. И его великое дело совершено безусловным принятием форм и слов: форма не всегда идея, но часто ведет за собою идею; слово не всегда дело, но часто ведет за собою дело. Литература наша началась формой без мысли, вышла не из народного духа, а из чистого подражания, и однако мы не должны презирать нашей подражательной литературы: без нее мы не имели бы Пушкина. От литературы можно сделать посылку и ко всему прочему. Солдаты Петра Великого не понимали, для чего их учат маршировать и выкидывать артикулы; в этом случае они бессмысленно повиновались отцам-командирам — и что ж! — результатом их бессмысленного повиновения и обезьянского передразнивания заморских солдат были взятие Азова, победы под Лесным и Полтавою, завоевание прибалтийских шведских областей. Первые наши светские люди ужасали своим татаризмом европейские общества, но скоро явились у нас люди, которые могли быть их украшением и удивляли самих парижан своею любезностью и хорошим тоном].

Построение Петербурга тоже ставится многими в упрек его великому основателю. Говорят: на краю огромного государства, на болотах, в ужасном климате, [много погублено работников, многих насильно заставляли строиться]<sup>26</sup> и пр., но вопрос в том, было ли это необходимо, и можно ли было поступить иначе? Петр должен был оставить Москву — там кипели против него бороды; ему нужно было отвести безопасный приют европеизму, сделать этого гостя семейным, своим человеком, чтоб незаметно и тихо мог он действовать на Россию и быть громовым отводом для невежества и изуверства. Для такого приюта ему нужна была почва совершенно новая, без преданий, где бы его русские очутились совершенно в новой сфере и не могли бы сами собою не измениться в обычаях и привычках жизни. Ему нужно было свести их с иностранцами и связать с ними и службою, и торговлею, и согражданством, поставить их с ними в беспрестанное соприкосновение. Для этого была необходима завоеванная земля, необходимо, чтоб она могла быть отечеством и для иностранцев, которых невозможно было в большом числе переманить в Москву, и для русских, которые только вначале неохотно селились там, но потом, увидев там центр правительства, тянулись туда, как железо к магниту. А где же могло быть лучшее для этого место, как не в «отбитом у шведа крае»? А великая идея создать флот и положить начало заграничной торговле не чрез посредство иностранцев, как в Архангельске, а прямо, собственною деятельностью, и не с одними англичанами, но со всем земным шаром? Где же лучшее для этого место, как не при четверном

устье Невы? Стоит только обратить внимание на важность Кронштадта для Петербурга, чтобы увидеть, как гениальны и непогрешительны были соображения Петра Великого. Почему бы ему было не перенести столицу на берега Черного или Азовского моря? Потому что ему, кроме флота и заграничной торговли, море нужно было и для успехов европеизма от соседства с европейским народом. Азовское или Черное море сблизило бы нас с татарами, калмыками, черкесами и турками, а не с европейцами. Для Одессы важно соседство Турции, в которую она отпускает огромное количество пшеницы: но оно не было бы важно для Петербурга, ибо Одесса только портовой и торговый город, а Петербург, сверх того, и столица. И мысль Петра оправдалась делом: Москва бесспорно имеет свое значение для России, но Петербург истинно-европейская столица России, [и Москва только тогда сравнится с ним, когда примет его в себя]. Петербург для России — биржа европеизма, из которой европеизм разносится по России. Всякое удобство, всякий шаг в цивилизации делается у нас через Петербург. Он — окно и дверь в Европу. [Борода в нем не колет глаз только на извозчицких санках или дрожках].

Что касается до жертв, с какими построен Петербург, они искупаются необходимостью и результатом. Петр своими делами писал историю, а не роман, он действовал, как царь, а не как семьянин. [Вся] реформа [его] была тяжким испытанием для народа, годиною трудною и грозною. Но когда же и где же великие перевороты совершались тихо и без отягощения современников?.. Разве легок был для России славный двенадцатый год? Но неужели поэтому мы должны [бранить] <sup>27</sup> его, а не гордиться им?.. Спокойных государств только два в мире — Китай да Япония; но лучшее, что производит первый, это чай, а вторая, кажется — лак: больше о них нечего сказать. Осина ломится и сокрушается ветром; дуб мужает и крепнет в бурях.

..... Россия молодая,  
 В бореньях силы напрягая,  
 Мужала гением Петра.  
 Суровый был в науке славы  
 Ей дан учитель: не один  
 Урок нежданый и кровавый  
 Задал ей шведский паладин.  
 Но в искупленьях долгой кары,  
 Перетерпев судеб удары,  
 Окрепла Русь. Так тяжкий млат,  
 Дробя стекло, кует булат.

Да, тяжело было народу с печей и полатей своих выйти на такую работу и борьбу. Он не виноват был, что вырос не учась, и взрослому ему не под силу показалось садиться за указку. Но самое худшее в его положении было то, что он не мог понять ни смысла, ни цели, ни пользы перемен, которым подвергала его железная, несокрушимая воля царя-исполина.

Здесь мы почитаем приличным выписать, или, лучше сказать, украсить нашу статью выпиской красноречивых строк о Петре Великом одного из русских ученых\*.

«Чего ж недоставало русскому народу? — *преобразования!* Его недоставало для XVII века! Явился царь с горячей мыслию в очах, с отважной думой на челе и с громоносным словом власти! Он страшный кинул взор на царствующий град, сурово посмотрел на даль прошедшего, и двинул царство от него. Что же не понравилось ему в наследии предков? Что возмутило Петра в творении его отцов? Но это тайна души великой, глубокой, тайна гения! Мы видели только внешнее этого духа, который, как грозное облако, прошел над русскою землею. Мы видели, как он сочувствовал Иоанну Грозному, как благоговел пред кардиналом Ришелье, как не терпел византийского двора, его роскошества и лени, его ханжей и лицемеров. Такое грозное соединение стихий в душе смертного, рожденного повелевать и царствовать! И к этому огненному началу нравственной его жизни присоединилось глубочайшее сознание собственных сил. Посланник неба, самодержавный смертный, решительно рожденный для преобразований! В каком бы он веке ни родился, в каком бы народе ни воспитался, он всегда и везде был бы преобразователем. Это его природа. Если б он был современным древнему Язону, его постигла б участь божественного Иракла. Он был бы слишком тяжел для легкой греческой армады. Но провидение знало, где произвести на свет необычайного смертного. Только русский корабль мог сдержать такого страшного пассажира! Только русское море могло носить на хребте своем столь отважного мореходца! Только Россия могла не треснуть от этого духа, который напрягал ее, чтоб уравнивать ее силы с своею исполинскою мощию! Дивное явление! От сложения мира не бывало такого государя! Говорят, что крутость его ума и воли происходила оттого, что он не получил надлежащего воспитания; но, боже мой, какая наука могла огранить эту адамантовую душу, какое воспитание могло смягчить эти несокрушимые нервы ума, эти железные мышцы воли? Если природа должна была уступить ему, то что ж могла сделать из него наука? Какой немец мог быть его детоводцем, какой француз учителем? И природа и наука отступились, когда этот великий дух помчал русскую жизнь по открытому морю всемирной истории! Петр Великий не верил слабостям человеческой природы; только на смертном одре почувствовал, что и он смертный: *«Из меня можно познать, сколь бедное творение есть человек»*, — произнес он в смертных страданиях! Таков был Петр Великий! Ему нужно было совершить преобразование. И какое преобразование! От конечностей

\* Ф. Л. Морошкина, профессора в Московском университете, из речи его «Об уложении и последующем его развитии», произнесенной на университетском акте 1839 г. июня 10 дня<sup>28</sup>.

тела до последнего убежища человеческой мысли! Он бритвой бреет бороды и топором рубит невежество. Тысячи стрелецких голов падают на Преображенском поле. Ни даже крестный ход царствующего града не мог смягчить его правосудия! (стр. 60—61)... Преобразователь в течение всей своей жизни хранил в себе тайное сознание, что не одно рождение возвело его на престол, но сила высшая призвала его царствовать над народами! Он чувствовал, что не кровь, а дух должен ему предшествовать. Он отверг сына и возжелал оставить по себе *достойнейшего*. Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь. Он был велик и силен, а мы родились и *малы* и *худы*, нам нужны были общие уставы человечества! Петру Великому не нравилось наше древнее государственное устройство. Государева боярская дума должна была уступить место Сенату; областные приказы ландратам и ландгерихтам. Ему не нравились и наши целовальники, наши дьяки и подьячие. Он желал бы посадить на их место пленных шведов, секретарей и шрейберов цесарской службы. Ему не нравилось прошедшее России. Но все эти перемены ничто в сравнении с преобразованием государственной службы. Сам, начав с солдата гвардии, он прошел медленно по лестнице подчинения и завещал ее своим подданным. А что кормление прежнее, что царский хлеб и соль? В поте лица ели их слуги Петра Великого. Нигде он не был так грозен своим правосудием, как против дармоедов, мирских едуч и казнокрадов. Не уважая частной собственности, когда думал об отечестве, за каждую копейку, излишне взятую поборщиком податей или переданную комиссионером торгашу, он был *неумолим для виновного*» (стр. 61—62).

Да, тут народу было отчего призадуматься, было отчего вспоминать с умилением о простодушной старине и поэтизировать ее в элегических обращениях к новому и старому времени, вроде следующего, которым начинается одна сказка, вероятно, сложенная в ту эпоху: «Соизвольте выслушать, люди добрые, слово вестное, приголубьте речью лебединою словеса немудрые, как в старые годы, прежние, жили люди старые. А и то-то, родимые, были веки мудрые, веки мудрые, народ все православный, живали старики не по-нашему, не по-нашему, по-заморскому, а по-свѣдому православному. А житье-то, а житье-то было все привольное да раздольное. Вставали раным-раненько, с утренней зарей, умывшись ключевой водой, со белой росой, [молились всем святым и угодникам], кланялись всем родным от востока до запада, выходили на красен крылец со решеточкой, созывали слуг верных на добры дела. Старики суд рядили, молодые слушали: старики придумывали крепкие думушки, молодые бывали во посылушках. Молодые молодницы правили домком, красные девицы завивали венки на Семик-день, старые старушки судили, рядили и сказки сказывали».

вали. Бывали радости великие на велик день, бывали беды со кручинами на велико сиротство. *А что было, то было по-росло, а что будет, то будет не по-старому, а по-новому!*»

И хорошо, что поросло! Как красно ни сказывайте, как сладко ни пойте, а, право, не соблазните нас этим привольным и раздольным житьем. Гулянья, театры, балы и маскарады мы будем предпочитать завиванию венков на Семик-день. Что до раннего вставанья — дело не в том, чтобы раньше встать, а чтоб не даром встать: кому нечего делать, тот хорошо сделает, если подольше поспит. Мы не только не кланяемся родным заочно на все четыре стороны, но и встретившись с ними, если наше родство с ними заключается только в крови, а не в любви и духе. Молодые люди бывают и у нас «во посылочках» у старых, но зато и старые бывают «во посылочках» у молодых: ибо право начальства принадлежит у нас не старейшему, но достойнейшему, а достоинство мы измеряем не сединою, а умом, талантом и заслугою. На посылках у Суворова бывали не одни молодые офицеры, но и генералы, гораздо старше его летами и породю. Да, мы не можем без улыбки сожаления слушать эти жалобные похвалы доброму старому времени; но мы понимаем, что простодушный народ тогдашний *по-своему* был прав. Скажем же ему от всего сердца: «вечная память и царство небесное!» Своими страданиями и тяжким терпением искупил он наше счастье и наше величие. Над гробами исторического кладбища не должно быть ни проклятий, ни непристойного смеха, ни ненависти, ни кощунства, но любовь и грустная, благоговейная дума...

Но такова сама истина, таково непосредственное влияние гения: еще в разгар и самое тяжелое время реформы Петр имел почитателей не только в приверженных к себе людях, но и в тех, которые косо смотрели на его преобразование. Казалось, все, вопреки своему сознанию, признавали необходимость коренной реформы. И не могло быть иначе: Петр явился вовремя. Потребность преобразования сильно обнаружилась еще в царствование Алексея Михайловича, и уничтожение местничества при царе Феодоре Алексеевиче было тоже следствием этой потребности. Но все дело ограничивалось полумерами, не имевшими важных последствий. Нужна была полная, коренная реформа — «от конечностей тела до последнего убежища человеческой мысли»; а для произведения такой реформы нужен был исполинский гений, каким явился Петр. Полтавская битва не могла не иметь сильного нравственного влияния на народ: многие из самых ожесточенных приверженцев старины должны были увидеть в этой битве оправдание реформы. Правосудие и справедливость царя, свободный доступ к нему всех и каждого, эта готовность прощать личных врагов и злодеев при виде их раскаяния, эта готовность даже возвышать их, если, при раскаянии, видны были в них и способности, это бо-

жественное самоотречение от своей личности в пользу вечной правды, это высокое самоуничтожение в идее своего народа и своего отечества, — все это покорило Петру сердца и души подданных еще задолго до его кончины. Но когда он умер, не оставив после себя никого подобного себе, — Русь оцепенела, словно удар грома оглушил ее. Лучшая часть народа, принесшая великие и невольные жертвы преобразованию, уже трепетала за участь преобразования и боялась возвращения прежнего варварства. Русь как будто предугадывала эту темную годину, когда ей надо будет влачиться по колее, проложенной Петром, не двигаясь вперед; она как будто чувствовала, что надолго закатилось ее лучезарное солнце, вновь взошедшее на ее небосклон с Екатериною Великою, чтобы уже более не оставлять его. [Но каким ударом была смерть Петра для его любимцев, для людей, созданных и образованных его зиждительным духом, его творческим гением! Вот что писал *Неплюев* о впечатлении, каким поразило его известие о смерти Петра: «1725 года, в феврале месяце, получил я плачевное известие, что отец отечества, Петр Великий, император первый, отыде от сего света. Я смочил ту бумагу горестными слезами как по должности о моем государе и подданных своих истинном отце, так и по многим его ко мне милостям; и — ей-ей! не лгу: был более суток в беспамятстве — да инако бы мне и грешно было. Сей монарх отечество наше привел в сравнение с лучшими державами, научил узнавать нас свои дарования и способности и одним словом: на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что б впредь ни делалось, от сего источника черпать будут, а мне собственно был государь и отец милосердный. Да вчинит господь душу сего много трудившегося о пользе отечества монарха с праведниками» \*.

Один старый солдат, по прозванию Кириллов, имел у себя маленький финифтяный портрет Петра, который он ставил с образами, зажигал перед ним свечу и молился ему. Об этом донесли нижегородскому архиерею, при доме которого находился Кириллов. Архиерей осмотрел каморку солдата и, указав на портрет Петра Великого, сказал ему: «Старик, это между иконами стоит у тебя портрет Петра Великого?» — «Да, преосвященный владыко, образ батюшки нашего». — «Но он, хотя был великий и благочестивый государь и достоин всего нашего почтения, однако ж церковь святая не сопричислила его к лику святых, а посему и не должно тебе персону его ставить между образами святых, зажигать перед оным свечу, а меньше еще молиться ему». — «Не должно? (перебил речь его с великим негодованием солдат) — не должно? Вы его не знали, а я знал: он был наш ангел-хранитель; защищал и охранял нас и все отечество от неприятелей; нес наравне с нами все

\* «Анекдоты о Петре Великом» *Голикова*, стр. 508.

тяжести в походах, едал с нами одну кашу, обращался с нами, как равный и как отец; сам бог прославил его победами, не допустя коснуться до него смерти и раны; а ты говоришь: не должно образу его молиться!» — заключил солдат, проливая слезы. Как ни убеждал его архиерей, но солдат согласился только не ставить свечи перед портретом Петра, но оставил его с образами\*.

После этого как понятна эта песня, которую предание заставляет петь солдата на часах при гробе Петра Великого:

Ах, ты, батюшка, светел месяц,  
Что ты светишь не по-старому,  
Не по-старому, не попржнему,  
Все ты прячешься за облаки,  
Закрываешься тучей темною...

Расступися ты, мать сыра-земля,  
Ты раскройся, гробова доска,  
Развернися ты, золота парча,  
И ты встань, проснись, православный царь...

Теперь должно нам перейти к личному характеру Петра, как государя, преобразователя и человека. Для этого нам нужно пробежать всю жизнь его и схватить в ней самые резкие черты. Со страхом и благоговением приступим мы к этому труду в следующей статье и постараемся дать почувствовать нашим читателям возвышенную сладость созерцания такой колоссальной личности, как была личность Петра. Созерцание всякого великого человека пробуждает нас от дремоты положительной жизни, от апатического равнодушия в прозе забот и нужд житейских, настраивает сердца к высоким чувствам и благородным помыслам, укрепляет волю на благие действия и на гордое презрение к пустоте и ничтожеству мертвого существования, и возвышает наш дух к началу всяческой жизни, к источнику вечной правды и вечного блага... А кто же более нашего Петра имеет право на титул великого и божественного, и кто еще из нашей истории может быть ближе к нашему сердцу и духу?]<sup>29</sup>.

\* Там же, стр. 532—535.

---

**ИЗБРАННЫЕ**  
**СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ПИСЬМА**  
**1841 — 1845 ГГ.**

---

# ПИСЬМА 1841 г.

9

К В. П. ВОТКИНУ. 1 МАРТА 1841

(Отрывок)

Спб. 1841, марта 1<sup>1</sup>

Сейчас получил письмо твое, любезнейший Василий Петрович, и сейчас же заставил себя отвечать на него. У меня есть гнусная привычка — писать много, подробно, отчетливо и пр. и пр. — этим я лишая тебя удовольствия часто получать мои письма, а себя — часто беседовать с тобою, ибо писать много надо время и большие сборы. Отрывок из «Hallische Jahrbücher» меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту — спасибо тебе за него, сто раз спасибо<sup>2</sup>. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к<sup>3</sup>..... не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать к тебе до получения твоего этого письма. Глупцы врут, говоря, что Гегель превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем. Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностию, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера. В отношении к последнему я был еще последовательнее самого Гегеля, хотя и глупее Менцеля. Все толки Гегеля о нравственности — вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском пантеизме, где Брами и Шива — равно боги, т. е. где добро и зло имеют равную автономию). Ты — я знаю — будешь надо мною смеяться, о, лысый! — но смейся, как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судьбы всего мира и здоровья китайского императора (т. е. Гегелевской Allgemeinheit). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь,

дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, а споткнешься — падай — чорт с тобою — таковский и был с... с... Благодарю покорно, Егор Федорыч<sup>4</sup>, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом все, и конца не будет. Выписка из Эхтермейера порадовала меня, как энергическая стукушка по философскому колпаку Гегеля, как факт, доказывающий, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, человеками и перестать быть немцами. Но собственно для меня тут не все утешительно. Я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола, — это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру. Впрочем, я от этого страдаю, но не стыжусь этого. Человек сам по себе ничего не знает — все дело от очков, которые надевает на него независящее от его воли расположение его духа, каприз его природы. Год назад я думал диаметрально-противоположно тому, как думаю теперь, — и, право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же. Вот где должно бояться фанатизма. Знаешь ли, что я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего, и если бы имел силу и власть, — то горе бы тем, которые теперь то, чем я был назад тому год. Будешь видеть на всем хвост дьявола, когда видишь себя живого в саване и в гробе, с связанными назади руками. Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно, и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, лучше умереть, лучше быть живым трупом! Выздоровление! Да в чем же оно? Слова! слова! слова! Ты пишешь ко мне, что излюбил свою любовь и утратил способность любви; Красов пишет о том же; я в себе чувствую то же; филистеры, люди пошлой непосредственной действительности, смеются над нами, торжествуют свою по-

\*

беду... О, горе, горе, горе! Но об этом после. Боюсь, что ты меня не утетишь, а я тебя огорчу.

Хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Да что и говорить — подлецы, тираны человечества! Член тройственного союза палачей свободы и разума. Вот тебе и Гегель! В этом отношении Менцель умнее Гегеля, а о Гейне нечего и говорить! (Кстати: Анненков пишет, что 8 томов Гейне в Гамбурге стоят 7 червонцев). Разумнейшее правительство в Северо-Американских Штатах, а после них в Англии и Франции.

Что касается до истории Каткова, то, кажется, вижу теперь причину, почему мы не можем согласиться: я даже и от самого него мало знаю о ней, следовательно, не имею фактов для суждения<sup>5</sup>. Что до Полевого — согласен с тобою; но откуда же были у него во время оно энергия характера, сила воли? В прошедшем я высоко ценю этого человека. Он сделал великое дело, он — лицо историческое. Теперь о моей статье. Ты не понял, что я разумею под «словом Каткова»<sup>6</sup>. Это определенность, состоящая в образности. Я мог бы подкрепить это выпискою, но лень. Что до Кудрявцева, то миллион раз согласен с тобою насчет его слога; но тем не менее спокойствие не для меня. Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, когда он захлебывается волнами трепетного восторга и заливают ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь? А этого-то и нет, и вот почему у меня много риторики (что ты весьма справедливо заметил, и что я давно уже и сам сознал). Когда ты наткнешься в моей статье на риторические места, то возьми карандаш и подпиши: здесь бы должен быть пафос, но, по бедности в оном автора, о, читатель! будь доволен и риторическою водою. Но отсутствие единства и полноты в моих статьях *единственно* оттого, что второй лист их пишется, когда первого уже правится корректура. Рассуди сам, Боткин: какого чорта на это станет? Иногда и письмо, чтоб оно было поскладнее, надо посмотреть, перечеркнуть и переписать. В 3 № «Отечественных Записок» ты найдешь мою статью — истинное чудовище! пожалуйста, не брани, — сам знаю, что дрянь. Чувствую, что я голова не логическая, не систематическая, а взялся за дело, требующее строжайшей последовательности, метода и крепкой мыслительности. Катков оставил мне свои тетрадки — я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти все его — слово в слово<sup>7</sup>. Вышло что-то неуклюжее и пестрое. Впрочем, — что же! Если я не дам теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши риторики, пиитики и эстетики, — а это разве шутка? И потому охотно отдаю на поругание честное имя свое. Но вот что досадно до того, что я одну ночь дурно спал: свинья, халуй — семинарист Никитенко (иначе Осленко) вымарал два лучшие места: одно о трагедии; выписываю тебе его. После того как я

вру о «Ромео и Юлии» и вранье свое заключаю словами: «О, горе, горе, горе!» — после этого вот бы что читал ты в статье, если бы не оный часто прокливаемый мною Подленко: «Нас возмущает преступление Макбета и демонская натура его жены, но если бы спросить первого, как он совершил свой злодейский поступок, он, верно, ответил бы: «и сам не знаю»; а если бы спросить вторую, зачем она так нечеловечески-ужасно создана, она, верно, бы отвечала, что знает об этом столько же, сколько и вопрошающие, и что если следовала своей натуре, так это потому, что не имела другой... Вот вопросы, которые решаются только за гробом, вот царство рока, вот сфера трагедии!.. Ричард II возбуждает в нас к себе неприязненное чувство своими поступками, унижительными для короля. Но вот Болингброк похищает у него корону — и недостойный король, пока царствовал, является великим королем, когда лишился царства. Он уходит в сознание величия своего сана, святости своего помазания, законности своих прав, — и мудрые речи, полные высоких мыслей, бурным потоком льются из его уст, а действия обнаруживают великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его — вы благоговеете перед ним; вы уже не просто жалеете о нем — вы сострадаете ему. Ничтожный в счастии, великий в несчастьи — он герой в ваших глазах. Но для того, чтобы вызвать наружу все силы своего духа, чтобы стать героем, ему нужно было испить до дна чашу бедствия и погибнуть... Какое противоречие, и какой богатый предмет для трагедии, а следовательно, и какой неисчерпываемый источник высокого наслаждения для вас!..»<sup>8</sup>

Второе место о «Горе от ума»: я было сказал, что расейская действительность гнусна, и что комедия Грибоедова была оплеухою по ее роже.

А вот тебе ответ на письмо из Харькова от 22 января (я человек аккуратный). Видишь ли ты что: я читаю в твоём сердце за 700 и за 1500 верст: я знал, с какими фантазияшками ты поехал в Харьков и с каким носом воротился оттуда — следовательно, в твоём письме по сей части ничего нового для меня нет. Чорт знает, — должно быть, или мы испорчены, или поэзия врет о жизни, клеветает на действительность... но, тс! молчание!.. Знаешь ли: ведь я-то еще смешнее тебя в рассуждении сего города, стоящего при реке Харькове и Лопати (кои впадают в реку Уды, а сия в Донец — см. *Краткое Землеписание Российской Империи*, стр. 109), ведь я даже и не видел его, а, между тем, могу сказать, под каким градусом северной широты стоит он и что в нем особенно примечательного... но, тс! молчание! молчание!..<sup>9</sup> Впрочем, хороши мы оба, и при свидании потешимся друг над другом. А, между тем, все сие и оное весьма понятно: страшно скучно жить одному. Чтоб

делать что-нибудь и не терзаться, я должен по целым дням сидеть дома; а то, возвращаясь к себе вечером и смотря на темные окна моей квартиры, я чувствую внутри себя плач и скрежет зубов... Ужасная мерзость жизнь человеческая!..

К В. П. БОТКИНУ. 27—28 ИЮНЯ 1841

(Отрывок)

Спб. 1841, июня 27<sup>1</sup>

Давно уже, любезнейший мой Василий<sup>2</sup>, не писал я к тебе и не получал от тебя писем. За 700 верст мы понимаем друг друга, как за два шага, и потому не претендуем на молчание. Помню, как-то раз ты писал ко мне, что наша дружба дает нам то, чего никогда бы не могло нам дать общество: мысль глубоко несправедливая, ложь вопиющая! Увы, друг мой, без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные. Вся наша жизнь, наши отношения служат лучшим доказательством этой горькой истины. Общество живет известною суммой известных принципов, которые суть почва, воздух, пища, богатства каждого из его членов, которые суть одни конкретное знание и конкретная жизнь каждого из его членов. Человечество есть абстрактная почва для развития души индивидуума, а мы все выросли из этой абстрактной почвы, мы, несчастные Анахарсисы новой Скифии<sup>3</sup>. Оттого мы зеваем, толчемся, суетимся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, все пожираем, ничем не насыщаясь. Сильное<sup>4</sup>, но, к несчастью, верное сравнение: духовная пища, которую мы пожираем без разбора, не обращается в нашу плоть и кровь, но в чистое, беспримесное экскрементум. Мы любим друг друга, любим горячо и глубоко — я в этом убежден всею силою моей души; но как же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз — мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга — мы предавали друг друга, мы с ненавистью и бешеною злобою смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из *наших* — и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, исталивали и исходили любовь друг к другу, а сходились и виделись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расставались без сожаления. Как хочешь, а это так. Пора нам перестать обманывать самих себя, пора смотреть на действительность прямо, в оба глаза, не щурясь и не кривя душою. Я чувствую, что я прав, ибо в этой картине нашей дружбы я не затемнил и ее истинной, прекрас-

ной стороны<sup>5</sup>. Теперь посмотри на нашу любовь: что это такое? Для всех это радость, блаженство, пышный цвет жизни: для нас это труд, работа, тяжелая скорбь. Везде богатство и роскошь фантазии, но во всем скудость и нищета действительности. Ученые профессора наши — педанты, гниль общества; полуграмотный купец Полевой дает толчок обществу, делает эпоху в его литературе и жизни, а потом вдруг ни с того, ни с сего позорно гниет и смердит<sup>6</sup>. Не знаю, имею ли я право упомянуть тут и о себе, но ведь и обо мне говорят же, меня знают многие, кого я не знаю, я, как ты мне сам говорил в последнее свидание, *факт русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый, за чудовищный факт! Я понимаю Гете и Шиллера лучше тех, которые знают их наизусть, а не знаю по-немецки, я пишу (и иногда недурно) о человечестве, а не знаю даже и того, что знает Кайданов. Так повинить ли мне себя? О, нет, тысячу раз нет! Мне кажется, дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет, а потом, пожалуй, хоть повесь, — и я, может быть, в три года возвратил бы мою потерянную молодость — узнал бы не только немецкий, но и греческий с латинским, приобрел бы основательные сведения, полюбил бы труд, нашел бы силу воли. Да, в иные минуты я глубоко чувствую, что это светлое сознание своего призвания, а не голос мелкого самолюбия, которое силится оправдать свою лень, апатию, слабость воли, бессилие и ничтожность природы. Обращусь к тебе. Ты часто говорил, что не можешь, ибо не призван, писать. Но почему же ты пишешь, и притом так, как немногие пишут? Нет, в тебе есть все для этого, все, кроме силы и упорства, которых нет потому, что нет того, для кого должно писать: ты не ощущаешь себя в обществе, ибо его нет. Ты скажешь, отчего я пишу, хотя также не ощущаю себя в обществе? Видишь ли: у меня много самолюбия, которое искало себе выхода; я темно понимал, что для царской службы не годюсь, в ученые также, и что мне один путь. Будь я обеспечен, как ты, и притом прикован к какому-нибудь внешнему делу, как ты: подобно тебе, я изредка делал бы набег на журналы; но бедность развила во мне энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей тине расейской словесности. Дай мне 5000 годового и беструдового дохода — и в русской жизни стало бы одним фактом меньше. Итак, видишь ли, — *ларчик просто открывался*. Все это я веду от одного и к одному — мы сироты, дурно воспитанные, мы люди без отечества, и оттого мы, хоть и хорошие люди, а все-таки ни богу свеча, ни чорту кочерга, и оттого редко пишем друг к другу. Да и о чем писать? О выборах? Но у нас есть только дворянские выборы, а это предмет более неблагопристойный, чем интересный. О министерстве? Но ни ему до нас, ни нам до него нет дела, притом же в нем силит Уваров с православием, самодержавием и народностию (т. е. кутьею,

кнотом и матерщиною) <sup>7</sup>; о движении промышленности, администрации, общественности, о литературе, науке? — Но у нас их нет. О себе самих? — но мы выучили уже наизусть свои страдания и страшно надоели ими друг другу. Итак — остается одно: будем желать поскорее умереть. Это всего лучше. Однако, прощай пока. Глаза слипаются — спать хочется.

Июня 28

Опять здравствуй, Боткин <sup>8</sup>. Ну, как переменялся твой брат — узнать нельзя. Где это апатическое, биллиардное выражение лица, где тусклые, сонливые глаза? Знаешь ли, меня восхитило его лицо, — в нем столько благородства, человечности, особенно в глазах, которые он точно украл у тебя. Голос и манеры его отличаются какою-то нежностью и вкрадчивостью, как у тебя в твои хорошие минуты. Да, это перерождение, чудо духа, которое я видел своими глазами <sup>9</sup>.

По совету твоему, купил Плутарха Дестуниса и прочел. Книга эта свела меня с ума. Боже мой, сколько еще кроется во мне жизни, которая должна пропасть даром! Из всех героев древности трое привлекли всю мою любовь, обожание, энтузиазм — Тимолеон и Гракхи. Биография Катона (Утического, а не скотины Старшего) пахнула на меня мрачным величием трагедии: какая благороднейшая личность. Перикл и Алкивиад взяли с меня полную и обильную дань удивления и восторгов. А что же Цезарь? — спросишь ты. Увы, друг мой, я теперь забился в одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мне не суждено попадать в центр истины, откуда в равном расстоянии видны все крайние точки ее круга, нет, я как-то всегда очутюсь на самом краю. Так и теперь: я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести, и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие. Теперь ты поймешь, почему Тимолеон, Гракхи и Катон Утический (а не рыжая скотина Старший) заслонили собою в моих глазах и Цезаря и Македонского. Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести. Принимаясь за Плутарха, я думал, что греки заслонят от меня римлян — вышло не так. Я бесновался от Перикла и Алкивиада, но Тимолеон и Фокион (эти греко-римляне) закрыли для меня свою суровую колоссальность прекрасные и грациозные образы представителей афинян. Но в римских биографиях душа моя плавала в океане. Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество. Без них средние века ничего не сделали бы. Я понял и французскую революцию и ее римскую помпу, над которою прежде смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кро-

равую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом. Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни — гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом школ.

Странное дело <sup>10</sup>: жизнь моя сама апатия, зевота, лень, стоячее болото, но на дне этого болота пылает огненное море. Я все боялся, что с годами буду умирать — выходит наоборот. Я во всем разочаровался, ничему не верю, ничего и никого не люблю, и однако ж интересы прозаической жизни все менее и менее занимают меня, и я все более и более — гражданин вселенной. Безумная жажда любви все более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимает и не мое. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество марадовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделяться от него железною короною и пурпуровою мантиею, [на которой, как сказал Тиберий Гракх нашего века, Шиллер, видна кровь первого человекоубийцы?] <sup>11</sup> Какое право имеет он внушать мне унижительный трепет? Почему я должен снимать перед ним шапку? [Я чувствую, что, будь я царем, непременно сделался бы тираном. Царем мог бы быть только бог, бесстрастный и всеведующий]. Посмотри на лучших из них [какие сквернавцы, хоть бы Александр-то Филиппович <sup>12</sup>, когда эгоизм их зашевелится] — жизнь и счастье человека для них ни по чем. Гегель мечтал о конституционной монархии, как идеале государства — какое узенькое понятие! [Нет, не должно быть монархов, ибо монарх не есть брат, он всегда отделится от них хоть пустым этикетом, ему всегда будут кланяться хоть для формы]. Люди должны быть братья, и не должны оскорблять друг друга ни даже тенью какого-нибудь внешнего и формального превосходства. Каковы же эти два народа древности, которые родились с таким понятием! Каковы же французы, которые без немецкой философии поняли то, чего немецкая философия еще и теперь не понимает! Чорт знает, надо мне познакомиться с сенсимонистами. Я на женщину смотрю их глазами. Женщина есть жертва, раба новейшего общества...

К В. П. БОТКИНУ. 8 СЕНТЯБРЯ 1841

Спб. 1841, сентября 8<sup>1</sup>

Давно уже писал я к тебе и не получал от тебя писем, мой любезный Василий. Причины этому ясны: то не в духе, то не-

когда, вот уже завтра, вот на той неделе, сегодня лень, а вчера нездоровье и т. д. Следовательно, все извинения — общие места, которых нечего и повторять. Но вот это новость, и уж совсем не общее место: ты с чего-то забрал в свою лысую голову, что я к тебе охолодел. Воткин — перекрестись — что ты, Христос с тобою! Ты болен, друг! и тебе видятся дурные сны. Не верь этим ложным призракам встревоженного воображения — гони их от себя, иначе они овладеют тобою. Умея читать в твоих письмах и между строками, я как-то непосредственно догадался о чем-то похожем из твоего письма от 18 июля, где, благодаря меня за письмо, ты говоришь: неприятно было только, что ты вспоминаешь о наших старых дрязгах, которые принадлежат к темному времени нашей жизни<sup>2</sup>. Ты не так понял мое вспоминание старых дрязг — ты принял его, как будто за указ тебе в прошедшем. Воткин, в нем, в этом прошедшем, много дряни — не спору; но забыть ее нет возможности, ибо с нею соединено тесно и все лучшее, что было в нашей жизни и что навсегда свято для нас. Нет нужды говорить, что ни один из нас не может похвалиться, ни упрекнуть себя большею долей дряни; количество равно с обеих сторон, и нам нельзя завидовать друг другу или стыдиться один другого. Но я не о том писал и не то хотел сказать: ты не так понял меня. Постараюсь однажды навсегда уяснить это обстоятельство, чтоб оно больше не смущало тебя. Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее до-нельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой крайности, — это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни. Видишь ли: мы дружились, ссорились, мирились, опять ссорились и снова мирились, враждовали между собою, неистово любили один другого, жили, влюблялись, — по теории, по книге, непосредственно и сознательно. Вот, по моему мнению, ложная сторона нашей жизни и наших отношений. Но должны ли мы винить себя в этом? И мы винили себя, клялись, проклинали, а лучше не было, нет и не будет. Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была — возвести до действительности всю нашу жизнь, а, следовательно, и наши взаимные отношения; и что же! мечта была мечтой и останется ею; мы были призраками и умрем призраками, но не мы виноваты в этом, и нам не в чем винить себя. Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности — общество. Общее без особого и индивидуального действительно только в чистом мышлении, а в живой, видимой

действительности, оно — онанистическая, мертвая мечта. Человек — великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, немец, англичанин, русский. А русские ли мы?.. Нет, общество смотрит на нас, как на болезненные наросты на своем теле; а мы на общество смотрим, как на кучу смрадного помету. Общество право, мы еще правее. Общество живет известною суммою известных убеждений, в которых все его члены сливаются воедино, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, понимают друг друга, не говоря ни слова. Вот почему во Франции, Англии, Германии люди, никогда не видевшие друг друга, чуждые друг другу, могут сознавать свое родство, обниматься и плакать — одни на площади в минуту восстания против деспотизма за права человечества, другие хотя в вопросе о хлебе, третьи при открытии памятника Шиллеру. Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а [без]<sup>3</sup> деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни. Ясно ли, логически ли, верно ли? Мы люди без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, — и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность — призрак. Боткин, ты любил — и твоя любовь кончилась ничем<sup>4</sup>. Это история и моей любви<sup>5</sup>. Станкевич был выше, по натуре, обоих нас, — и та же история<sup>6</sup>. Нет, не любить нам, и не быть нам супругами и отцами семейств. Есть люди, которых жизнь не может проявиться ни в какую форму, потому что лишена всякого содержания: мы же — люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм. Я встречал и вне нашего кружка людей прекрасных, которые действительнее нас; но нигде не встречал людей, с такою ненасытимой жаждою, с такими огромными требованиями на жизнь, с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы. Вот отчего все к нам льнет, все подле нас изменяется. Форма без содержания — пошлость, часто довольно благовидная; содержание без формы — уродливость, часто поражающая трагическим величием, как мифология древне-германского мира. Но эта уродливость — как бы ни была она величественна — она содержание без формы, следовательно, не действительность, а призрачность. Обращаюсь к нашим дружеским отношениям. Помнишь: я, бывало, нагонял на тебя тоску и скуку толками о своей любви — а ведь эта любовь была не шутка и не притворство (ибо и теперь еще сердце судорожно сжимается при одном воспоминании о ней), в ней было много прекрасного и человеческого: но винить ли мне себя или тебя, что тебе бывало иногда тошно вато слушать одно и то же? Я не скажу, чтобы я твои толки слушал с скукою, но, признаюсь, *иногда* слушал их без участия: а, между тем, я уважал твое чувство. Отчего же это? Видишь ли, в чем дело, душа моя: непосредственно поняли мы,

что в жизни для нас нет жизни, а так как, по своим натурам, без жизни мы не могли жить, то и ударили со всех ног в книгу и по книге стали жить и любить, из жизни и любви сделали для себя занятие, работу, труд и заботу. Между тем, наши натуры всегда были выше нашего сознания, и потому нам слушать друг от друга одно и то же становилось и скучно, и пошло, и мы друг другу смертельно надоедали. Скука переходила в досаду, досада во враждебность, враждебность в раздор. Раздор был всегда дождем для сухой почвы наших отношений и рождал новую и сильнейшую любовь. В самом деле, после ссоры мы становились как-то и новее и свежее, как будто запасались новым содержанием, делались умнее, и раздор вместо того, чтобы развести нас, сводил еще теснее. Но запас скоро истощался, и мы съезжали опять на старое, на свои личные интересы и, как манны небесной, алкали *объективных интересов*; но их не было, и мы продолжали быть призраками, а наша жизнь — прекрасным содержанием без всякого определения. Вот, что я хотел тебе сказать, и чего ты не понял. Я упомянул о старом не вследствие досады и не в виде жалобы, а как о *старом* предмете *нового* сознания. Не тень неудовольствия хотел я бросить на наши прежние отношения, но пролить на них примирительный свет сознания; не обвинять хотел я тебя или себя, но оправдать. Ища исхода, мы с жадностью бросились в обаятельную сферу германской созерцательности и думали, мимо окружающей нас действительности, создать себе очаровательный, полный тепла и света, мир внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляет объективный интерес германской национальности, есть для немцев то же, что социальность для французов. Действительность разбудила нас и открыла нам глаза, но для чего?.. Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного [к] жизни сердца утолить сном ничтожества...

Но третий ключ — холодный ключ забвенья —  
Он слаще всех жар сердца утолит...<sup>7</sup>

Мы, Боткин, любим друг друга; но наша любовь — огонь, который должен питаться сам собою, без внешней поддержки. О если бы ему масла внешних общественных интересов! Да, я часто охлаждаюсь к тебе, часто и подолгу забываю о твоём существовании, но это потому, что я о своём собственном помню только по апатии, по голоду и холоду, по досаде и скрежету зубов. Согласись, что как бы много ни любили мы другого, но себя все больше любим: так можно ли требовать от того, кто не любит себя, чтоб он любил другого?.. Но первая светлая минута любви и грусти — и ты первый тут, со мною — я вижу твою обаятельную улыбку, слышу твой елеинный голос, твои вкрадчивые, мягкие, женственные манеры, — и ты передаешь

мне содержание «Пионеров», объясняешь греческие мифы или рассказываешь процесс Банкаля, а я слушаю, не наслушаюсь, сердце рвется к тебе, а на глазах трепещут слезы иступления...<sup>8</sup> Блеснет ли в уме новая мысль, потрясутся ли струны сердца новым ощущением — тебе бы передал его, — и если бы ты знал, сколько мыслей и чувств остаются никому не переданные, потому только, что тебя нет со мною, чтобы я тотчас же бы мог передать тебе их во всей их свежести... Я не один, это правда; у меня есть кружок, состоящий из благороднейших людей, которых от души люблю и уважаю и которые, может быть, еще более любят и уважают меня, но я один, потому что тебя нет со мною...<sup>9</sup> Даже, мучась пустотою жизни, лежа или ходя в апатии, лишь увижу в окне почтальона — сердце забьется порывисто — я бегу — и если бы ты знал, какое глубокое огорчение, когда или не ко мне или не от тебя!.. Сегодня Кирюша<sup>10</sup>, оставшись наедине, с каким-то странным видом, подал мне твой портрет — я просиял, ожил и — но довольно: Кирюша начал шутить над твоими неосновательными подозрениями; а ты, о, москводушный, а ты мог думать, что, может быть, твой портрет и не нужен мне!.. Но я не сержусь на тебя: напротив, признаюсь в грехе (о, люди — порождения крокодиловы!), мне приятно, что ты... но стыдно докончить фразу — боюсь впасть в нежности... Сколько писем было у меня написано к тебе — в голове, и, если бы их можно было послать к тебе, не беря в руки пера, от которого болят мои руки, если бы я умел писать коротко, — не одно горячее письмо получил бы ты от меня в Нижнем. Портрет твой удался — ты на нем, как живой — вся душа твоя, твои глаза и грустно-любовно сжатые губы — страх хотелось поцеловать, но я дик (или стал дик) на слишком живые излияния чувств и почему-то посовестился в присутствии Кирюши.

Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валляется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями, по человечеству, моими ближними во Христе, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подзревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрагается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкой чиновника,

и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела! Не знаю, что со мною делается, но иногда с сокрушительною тоскою смотрю я по нескольку минут на девуку<sup>11</sup>..... и ее бессмысленная улыбка, печать разврата во всей непосредственности рвет мне душу, особенно, если она хороша собою. Рядом со мною живет довольно достаточный чиновник, который так оевропеился, что, когда его жена едет в баню, он нанимает ей карету; недавно узнал я, что [он] разбил ей зубы и губы, таскал ее за волосы по полу и бил липками за то, что она не приготовила к кофею хороших сливок; а она родила ему человек шесть детей, и мне всегда тяжело было встречаться с нею, видеть ее бледное, изнеможенное лицо, с печатью страдания от тирании. Выслушав эту историю, я заскрежетал зубами — и сжечь злодея на малом огне казалось мне слишком легкою казнию, и я проклинал свое бессилие, что не мог пойти и убить его, как собаку. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности! А сколько таких мужей, таких семейств! Сколько прекрасных женственных созданий, рукою дражайших родителей бросаемых на растление скотам вследствие расчета или бессознательности! И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих, в качестве верования, волю человека! Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется — непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века — великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков; но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII — рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности. И настанет время — я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и

когда любовница придет к любовнику и скажет: «я люблю другого», любовник ответит: «я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь; но ступай к тому, кого ты любишь», и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но, подобно богу, скажет ей: хочу милости, а не жертвы... Женщина не будет рабой общества и мужчины, но, подобно мужчине, свободно будет предаваться своей склонности, не теряя доброго имени, этого чудовища — условного понятия. Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть отцу, а отец-разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею. Не думай, чтобы я мыслил рассудочно: нет, я не отвергаю прошедшего, не отвергаю истории — вижу в них необходимое и разумное развитие идеи; хочу золотого века, но не прежнего, бессознательного, животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло. Боткин, ведь ты веришь, что я, как бы ты ни поступил со мною дурно, не дам тебе оплеухи, как Катков Бакунину<sup>12</sup> (с которым потом опять сошелся), и я верю, что и ты ни в каком случае не поступишь со мною так: что же гарантирует нас — неужели полиция и законы? — Нет, в наших отношениях не нужны они — нас гарантирует разумное сознание, воспитание в социальности. Ты скажешь — натура? Нет, по крайней мере, я знаю, что с моею натурою, назад тому лет 50, почитая себя оскорбленным тобою, я был бы способен зарезать тебя сонного, именно потому, что любил бы тебя более других. Но в наше время и Отелло не удушил бы Дездемону даже и тогда, когда б она сама созналась в измене<sup>13</sup>. Но почему же мы очеловечились до такой степени, когда вокруг нас целые миллионы пресмыкаются в животности? — Опять натура? — Так? Следовательно, для низших натур невозможно очеловечение? — Вздор — хула на духа! Светский пустой человек жертвует жизнью за честь, из труса становится храбрецом на дуэли, не платя ремесленнику кровавым потом заработанных денег, делается нищим и платит карточный долг: что побуждает его к этому? — Общественное мнение? Что же сделает из него общественное мнение, если оно будет разумно вполне? — К тому же, воспитание всегда делает нас или выше или ниже нашей природы, да, сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается через *социальность*. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же: *fiat justitia — pereat mundus!*<sup>14</sup> Я читаю Тьера — как —

узнаешь от Ханенки. Новый мир открылся предо мною. Я все думал, что понимаю революцию — вздор — только начинаю понимать<sup>15</sup>. Лучшего люди ничего не сделают. Великая нация французы. Гибнет Польша, ее жгут, колесуют — Европе нет и нужды, все молчит, только толпы черни французской окружают на улицах гнусное исчадие ада Людовика-Филиппа с воплями: *la Pologne, la Pologne!* Чудный народ! — *что ж ему Гекуба?*<sup>16</sup> Боткин, по твоему совету, прочел я всего Плутарха: порадууй, потешь меня: посвяти дня три на Берамже — великий, мировой поэт, французский Шиллер, который стоит немецкого, христианнейший поэт, любимейший из учеников Христа! Разум и сознание — вот в чем достоинство и блаженство человека; для меня видеть человека в позорном счастье непосредственности — все равно, что дьяволу видеть молящуюся невинность: без рефлексии, без раскаяния, разрушаю я, где и как только могу, непосредственность — и мне мало нужды, если этот человек должен погибнуть в чуждой ему сфере рефлексии, пусть погибнет... Я ругал тебя за Кульчицкого, что ты оставил его в теплой вере в мужичка с бородкою, который [сидя на мягком облачке, б... под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов]<sup>17</sup> свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отрадно, в глазах Кульчицкого, плевать ему в его гнусную бороду.

Кстати о Кульчицком. Тяжело ли мне или легко было видеть его у себя — я бы почел подлостью не пригласить его к себе потому только, что тебе это было приятно, а по его расчетам важно, и мне странно, что из этого обстоятельства ты сделал вопрос. Фу, к чорту, Боткин, да после этого мне страшно будет, в крайней нужде, попросить у тебя целкового, а я перебрал тысячи. Да что ж это за дружба, которая не хочет сделать никакого пожертвования? Не только Кульчицкого, но если бы тебе нужно было навязать на меня и кого-нибудь из таких, кого бы ты и сам не мог видеть с особенным удовольствием, и тогда бы, конечно, не рад, но что же делать; а о Кульчицком не должно бы быть и вопроса. Если я не пригласил его к себе с первого же раза, так потому, что у меня уже жили двое — кн. Козловский и Ханенко; но если бы он остановился не у хозяйки Кирюши, — я бы непременно пригласил его и притом так, что он не мог бы отказаться. Прекрасный человек — я полюбил его от души. Конечно, не обошлось без грубостей, но вольно же ему обретаться в ненавистной непосредственности. Он неглубок и недалек; но дай бог побольше таких людей. Он человекен — этого довольно, чтобы любить его. Он любит, обожает тебя, и моя рука всегда готова пожать от души его руку. Как он мило передразнивает тебя — до того, что перенял твои манеры.

Что за дивная повесть Кудрявцева — какое мастерство, какая художественность — и все-таки эта повесть не понрави-

лась мне. Начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность против объективных созданий искусства. В другое время поговорю об этом побольше. Теперь некогда. Поклонись милому Петру Николаевичу<sup>18</sup> — вот еще человек, к которому любовь моя похожа на страсть. В декабре увижу обоих вас. Когда придется увидеть милого Кольцова? Его положение плохо. Приезд Ключникова обрадовал меня так, как я не ожидал.

Рекомендую тебе подателя сего послания — Ивана Ивановича Ханенко. Прекрасный, благородный, чудесный человек, рожденный для идеи, но гибнущий в естественной непотребности. Это тем досаднее, что знает, злодей, славно по-немецки. Прими его, как брата моего сердца, и, пуще всего, натолкни его на немецкие книги, которые могут познакомить его с духом Гегеля. Он человек достаточный и может купить. Возьми его в руки и буди, буди, пока не проснется. Вслед за этим письмом получишь другое по почте. Прощай — пиши, бога ради. Ржевский был в Прямухине — говорит, что Александра Александровна процветает — полна и здорова, а у Татьяны Александровны чуть ли не чахотка<sup>19</sup>. Это меня огорчило. Прощай.

Твой *В. Белинский*.

# ИДЕЯ ИСКУССТВА'



Искусство есть *непосредственное* созерцание истины, или мышление в *образах*.

В развитии этого определения искусства заключается вся теория искусства: его сущность, его разделение на роды, равно как условия и сущность каждого рода\*.

Первое, что особенно должно в нашем определении искусства поразить собою, как странностию, многих из читателей, — есть, без сомнения, то, что мы *искусство* называем *мышлением*, и тем самым соединяем между собою два самые противоположные, самые несоединимые представления.

В самом деле, философия всегда враждовала с поэзией, — и в самой Греции, истинном отечестве и поэзии и философии, философ осудил поэтов на изгнание из своей идеальной республики, хотя и увенчав их предварительно лаврами. Общее мнение приписывает поэтам живую, страстную натуру, которая заставляет их увлекаться настоящим мгновением, забывая о прошедшем и будущем, приятно жертвовать полезным; ненасытимую ничем и никогда неудовлетворяемую жажду наслаждения, всегда предпочитаемого нравственности; легкость, изменчивость и непостоянство во вкусах и стремлениях, наконец — беспокойную фантазию, которая всегда увлекает их от действительного к идеальному и отнимает в их глазах цену верному счастью дня[?] для прекрасной и несбыточной мечты. Напротив, философам общее мнение приписывает стремление к мудрости, как высшему благу жизни, непонятному для толпы и недостижимому для людей обыкновенных; вместе с ним оно почитает их неотъемлемыми качествами — несокру-

---

\* Это определение еще в первый раз произносится на русском языке<sup>2</sup>, и его нельзя найти ни в одной русской эстетике, психике, или так называемой теории словесности, — и поэтому, чтобы оно не показалось странным, диким и ложным для тех, которые слышат его в первый раз, мы должны войти в самые подробные объяснения всех представлений, заключающихся в этом совершенно новом у нас определении искусства, — хотя бы многое тут и не относилось собственно к искусству или могло бы для людей, знакомых с наукою в ее современном состоянии, показаться неважным, лишним, мелочно-подробным.

шимую силу воли, постоянство в стремлении к единой и неизменной цели, благоразумие в поступках, умеренность в желаниях, предпочтение полезного и истинного приятному и обольщающему, умение достигать в жизни благ прочных, действительных и наслаждаться, находя их источник в самих себе, в таинственной сокровищнице своего бессмертного духа, а не в призрачной внешности и калейдоскопической пестроте обманчивых обольщений земной жизни. И потому общее мнение видит в поэте любимое дитя, счастливого баловня пристрастной матери-природы, дитя испорченное, шаловливое, капризное, часто злое даже, но тем больше очаровательное и милое; в философе видит оно строгого служителя вечной истины и мудрости, олицетворенную правду в словах, добродетель в поступках. И потому первого встречает оно с любовью, и если, оскорбляемое его легкостью, изъявляет ему иногда свое негодование, то не иначе, как с улыбкою на устах; второго встречает оно с благоговейным уважением, сквозь которое просвечивает робость и холодность. Одним словом, простое, непосредственное, эмпирическое сознание видит между поэзией и философией ту же разницу, как и между живою, пламенною, радужною, легкокрылою фантазией и сухим, холодным, кропотливым и суровым брюзгою-рассудком. Но то же самое общее мнение, которое положило между поэзией и философией такую же разницу, как бы между огнем и водою, жаром и холодом, — то же самое общее мнение, или непосредственное сознание, указало им и одинаковое стремление к единой цели — к небу. Поэзии приписывает оно божественную силу восхищать к небу дух человеческий высокими ощущениями, возбуждая их в нем прекрасными нерукотворными образами общей жизни; делом философии поставляет оно роднить дух человеческий с тем же небом и теми же высокими ощущениями, но возбуждая их живым сознанием в мысли законов общей жизни.

Мы нарочно привели здесь простое, естественное сознание толпы: оно всем доступно и, вместе с тем, заключает в себе глубокую истину, так что наука вполне подтверждает и оправдывает его. Действительно, в самой сущности *искусства и мышления* заключается и их враждебная противоположность и их тесное, единокровное родство друг с другом, как мы увидим ниже.

Все сущее, все, что есть, все, что называем мы материею и духом, природою, жизнью, человечеством, историею, миром, вселенною, — все это есть *мышление*, которое само себя мыслит. Все существующее, все это бесконечное разнообразие явлений и фактов мировой жизни, есть ничто иное, как формы и факты мышления; следовательно, существует одно мышление, и, кроме мышления, ничто не существует.

Мышление есть действие, а всякое действие необходимо предполагает при себе движение. Мышление состоит в диа-

лектическом движении, или развитии мысли из самой себя. Движение или развитие есть жизнь и сущность мышления: без них не было бы движения, а была бы какая-то мертвая, неподвижно-стоячая пребываемость первосущных сил только что наклюнувшейся жизни, без всякого определения, осуществившаяся въяве картина хаотического состояния души, с такой ужасающею верностью изображенная поэтом:

То была тьма без темноты;  
 То была бездна без пустоты,  
 Без протяженья и границ;  
 То были образы без лиц;  
 То страшный мир какой-то был,  
 Без неба, света и светил,  
 Без времени, без дней и лет,  
 Без промысла, без благ и бед,  
 Ни жизнь, ни смерть — как сонм гробов,  
 Как океан без берегов,  
 Задавленный тяжелой мглой,  
 Недвижный, мрачный и немой<sup>3</sup>.

Точка отправления, исходный пункт мышления есть божественная абсолютная идея; движение мышления состоит в развитии этой идеи из самой-себя, по законам высшей (трансцендентальной) логики или метафизики; развитие идеи из самой себя есть ее прохождение через собственные моменты, как мы покажем это ниже самым примером.

Развитие идеи из самой себя или изнутри самой себя называется на философском языке *имманентным*. Отсутствие всяких внешних вспомогательных способов и толчков, которые мог бы представить опыт, есть условие имманентного развития; в жизненном содержании самой идеи заключается органическая сила имманентного развития, — так живое зерно заключает в недрах своих силу своего развития в растение, — и чем богаче жизненное содержание, в недрах зерна заключенное, тем могущественнейшее растение развивается из него, и наоборот: из жолудя и из маленького орешка развиваются — величественный дуб и огромный кедр, в облака упирающиеся своими вершинами, и из картофелины, которая, может быть, в 50 раз больше жолудя и в 1000 раз больше кедрового ореха, — огородная былинка, едва ли на несколько вершков возвышающаяся над землею.

Мышление необходимо условливает собою существование двух противоположных, как явление, сторон духа, которые обе находят в нем свое примирение, единство и тожество: это — дух *субъективный* (внутренний, мыслящий) и дух *объективный* (внешний первому, мыслимый, предмет мышления)<sup>4</sup>. Из сего ясно видно, что мышление, как действие, необходимо предполагает два противоположные [друг] другу предмета — мыслящий (субъект) и мыслимый (объект), и что оно невозможно без разумного существа — человека. После этого нас

вправе спросить: каким же образом весь мир и сама природа есть ничто иное, как мышление?

Мыслимое с мыслящим — однородно, единосущно и тождественно, так что первое движение первобытной материи, стремившейся стать (werden) нашею планетою, и последнее разумное слово сознающего человека есть ничто иное, как одна и та же сущность, только в различных моментах своего развития. Сфера познаваемого есть почва, из которой возникает и образуется сознание.

Ничто, повидимому, так ни противоположно и ни враждебно одно другому, как природа и дух, и в то же время ничто так и ни родственно и ни единосущно одно с другим, как природа и дух. Дух есть причина и жизнь всего сущего; но сам по себе он есть только возможность бытия, но не его действительность; чтобы стать (werden) бытием действительным, он должен был явиться тем, что мы называем миром, и прежде всего стать природою.

Итак, природа есть первый момент духа, из возможности стремящегося стать действительностию. Но и тот первый шаг его к бытию действительному не был им сделан вдруг, но совершался в последовательном ряде множества моментов, из которых каждый ознаменовался особенною ступенью творения. Прежде нежели явились творения, населяющие землю, образовалась сама земля и образовалась не вдруг, а постепенно, перейдя через множество превращений, перетерпев множество переворотов, но так, что всякий последующий переворот был ступенью к ее совершенству\*. Закон всякого развития есть то, что каждый последующий момент выше предшествовавшего. Но вот планета наша готова, — и из недр ее возникают миллионы созданий, образующие собой три царства природы. Мы видим их в беспорядке, в хаотическом смешении: на вершине дерева сидит птица, у корня змея сторожит свою добычу, возле пасется вол и т. д. Воля человека на одном небольшом пространстве соединяет самые разнородные явления природы: белого медведя, жителя полярных льдов, с львом и тигром, жителями знойных стран тропических; разводит в Европе американские растения — табак и картофель, и в северных странах, с помощью теплиц, возвращает роскошные плоды вечно весеннего юга. Но в этом хаотическом беспорядке, в этой пестрой смеси, в этом бесконечном разнообразии теряется и исчезает только утомленный взор человека: разум же его видит в этих явлениях строгую последовательность, непреложное единство. Отвлекая от этих бесконечно-разнообразных и бесконечно-бесчисленных явлений природы их общие свойства, он доходит до сознания родов и видов, — и нестройный хаос

---

\* Новая Голландия и теперь еще представляет собой зрелище недостигнутого своего развития материка.

исчезает перед ним, уступая место совершенному порядку; миллионы случайных явлений превращаются в единицы необходимых явлений, из которых каждое есть навсегда остановившийся в своем полете момент воплощения развивающейся божественной идеи! Какая строгая последовательность! Нигде нет скачков — звенья цепляются за звенья и образуют единую бесконечную цепь, в которой каждое последующее звено лучше предшествовавшего! Коралловые деревья соединяют минеральное царство с растительным; полипы — животнорастения — соединяют живым звеном растительное царство с животным, которое открывается мириадами насекомых, этих как бы сорвавшихся с своих стеблей и летающих цветов, и, постепенно переходя до высших организаций, оканчивается орангутангом, этим неудавшимся человеком! Всеу свое место и время, и каждое последующее явление есть как бы необходимый результат предшествовавшего: какая строгая логическая последовательность, какое непреложно-правильное мышление! Но вот является человек — и царство природы оканчивается — начинается царство духа, но духа еще поработанного природе, хотя уже и порывающегося к свободе чрез победу над нею. Полузверь и полу-человек, он весь покрыт волосами, огромный стан его наклонен вперед, нижняя челюсть высунулась вперед, голени почти без икр, большой палец на ногах отстоящий; но его надежда уже не на одну силу, но и на ловкость и соображение: руки его вооружены, но не простою палкою, не дубиною, но чем-то вроде каменного топора, прикрепленного к длинной палке... В Австралии мы видим дикарей разделенными на племена: они пожирают подобных себе, — и физиологи говорят, что причина этого страшного заблуждения — их организация, требующая пищи из человеческого мяса, как наилучше претворяющегося в кровь и плоть питающихся им. Туземец Африки — ленивое, зверообразное, тупоумное существо, осужденное на вечное рабство и работающее из-под палки и смертельных истязаний. В Америке только мелкие племена, на окружающих ее островах, были подвержены человекоядению; на материке же ее были две огромные монархии, Перу и Мехика, представительницы высшего образования, до какого только могли достигнуть дикари высшей против других организации. Какая правильная постепенность, какая строго-непреложная последовательность в этих переходах из низшего рода в высший, из низшей организации в высшую, в этом бесконечном стремлении духа найти самого себя, как самосознающую личность. Принимая новую форму и, как бы не удовлетворяясь ею, он не разрушает ее, но оставляет, как воплощенный и навсегда прикованный к пространству момент своего развития, и принимает новую форму, как выражение нового момента своего развития. Бедные сыны Америки и теперь остались теми же, какими застали их европейцы. Переставши бояться огне-

стрельного оружия, как гласа богов раздраженных, даже научившись употреблять его сами, — они все-таки нисколько не очеловечились с тех пор, и дальнейшего развития человеческого существа мы должны искать в Азии. Только тут кончилось творение, природа совершила свой полный круг и уступила свое место новому чисто духовному развитию — истории. Тут опять разделение человеческого рода на расы — и племя кавказское является цветом человечества. Из колен и племен образуются народы, из семейств — государства, — и каждое государство есть ничто иное, как момент духа, развивающегося в человечестве, и даже время явления каждого соответствует моменту, развивающемуся из себя абстрактному или философскому мышлению. И для человечества те же законы, что и для человеческой личности: и для него есть эпохи младенчества, юности и возмужалости. В своей священной колыбели — в Азии, оно — дитя природы, спеленанное ею по рукам и по ногам, исповедует непосредственную веру предания, живет религиозными мифами до тех пор, пока в Греции не вышло из-под опеки природы, а темные религиозные верования из символов не возвысило до поэтических образов и не просветлило светом разумной мысли. Жизнь греческого народа была цветом древней жизни, конкрецией ее элементов, богатым пиром, за которым последовал упадок древнего мира. Младенчество кончилось — наступил период юношества, период религиозный по преимуществу, рыцарский, романтический<sup>5</sup>, полный жизни, движения, романических подвигов, несбыточных предприятий. Открытие Америки, изобретение пороху и книгопечатания были внешними толчками для перехода человечества из юношеского возраста в эпоху возмужалости, продолжающейся и теперь. Каждый век вытекал из другого, и один был необходимым результатом другого.

Старюсь в сомненьях  
 О великих тайнах,  
 Идут невозвратно  
 Веки за веками;  
 У каждого века  
 Вечность вопрошает:  
 Чем кончилось дело? —  
 Вопросы другого!  
 Каждый отвечает<sup>6</sup>.

Каждое важное событие в человечестве совершается в *свое* время, а не прежде и не после. Каждый великий человек совершает дело своего времени, решает современные ему вопросы, выражает своею деятельностью дух того времени, в которое он родился и развился. В наше время невозможны ни крестовые походы, ни инквизиция, ни всемирное владычество<sup>7</sup> державного священника; в средние века невозможны были ни эта личная безопасность, которую пользуется каждый из членов новейшего гражданского общества, ни это свободное развитие, воз-

можность которого предоставляет новейшее гражданское общество даже последнему из своих членов; ни эти великие победы духа над природою, или, лучше сказать, это полное покорение природы духу, которое выразилось в паровых машинах, почти уничтоживших время и пространство. Организации, подобные организациям Колумба, Карла V, Франциска I, герцога Альбы, Лютера и пр., возможны и в наше время, как они и всегда были возможны; да только, явившись в наше время, они совсем не так бы действовали и не то бы совсем сделали.

Итак, от первого пробуждения довременных сил и элементов жизни, от первого движения их в материи чрез всю лестницу развивавшейся в творении природы до венца творения — человека; от первого соединения людей в общества до последнего исторического факта нашего времени — одна цепь развития, нигде не прерывающаяся, единая лестница с земли на небо; в которой нельзя подняться на высшую ступень, не опершись на ту, которая под нею! И в природе и в истории владычествует не слепой случай, а строгая, непреложная внутренняя необходимость, по причине которой все явления связаны друг с другом родственными узами, в беспорядке является стройный порядок, в разнообразии единство, и по причине которой возможна наука. Что же такое эта внутренняя необходимость, дающая смысл и значение всем явлениям бытия, и эта строгая последовательность и постепенность, в которой явления следуют друг за другом, как бы выходя друг из друга? Это — *мышление, само себя мыслящее*.

Природа есть как бы средство для духа стать действительностию и увидеть и сознать самого себя. Посему ее венец — человек, с которым окончилась и на котором остановилась ее творческая деятельность. Гражданское общество есть средство для развития человеческих личностей, которые суть — всё и в которых живет и природа, и общество, и история, в которых снова повторяются все процессы мировой жизни, то-есть, природы и истории. Каким же образом это происходит? Чрез мышление, посредством которого человек проводит через себя всё вне его существующее — и природу, и историю, и, наконец, собственную свою личность, как будто бы и она была чуждый и вне его находящийся предмет.

В человеке дух обрел самого себя, нашел свое полное и непосредственное выражение, сознал в нем себя, как субъект, или личность. Человек есть воплощенный разум, существо *мыслящее* — титул, которым он и отличается от всех других существ и возвышается, как царь, над всем творением. Подобно всему в природе существующему, он есть мышление уже по одному непосредственному существованию как факту; но еще более есть он мышление по действию своего разума, в котором повторяется, как в зеркале, всё бытие, весь мир, со всеми его

явлениями, физическими и умственными. Средоточие и фокус этого мышления есть его Я, которое или которому он противопоставляет, и на которое он рефлектирует (отражает) всякий мыслимый им предмет, не исключая и самого себя. Еще не приобретши никаких идей, он уже рождается мыслящим, ибо самая природа его непосредственно открывает ему тайны бытия, — и все первоначальные мифы младенцествующих народов суть не выдумки, не изобретения, не вымыслы, а непосредственное откровение истины о боге, и мире, и их отношениях, откровения, которые своей образностью действовали на младенческий ум не прямо, а чрез фантазию передавались сперва чувству. Вот религия в ее философском определении: непосредственное представление истины.

Во всяком младенцествующем народе замечается сильная склонность выражать круг своих понятий видимым чувственным образом и, начиная с символа, доходить до поэтических образов. Это второй путь, вторая форма мышления — искусство, которого философское определение есть — непосредственное созерцание истины. Мы к нему скоро возвратимся, так как оно составляет главный предмет нашей книги.

Наконец вполне развившийся и созревший человек переходит в высшую и последнюю сферу мышления — в мышление чистое, отрешенное от всего непосредственного, всё возвышающее до чистого понятия и опирающееся на само себя.

Очевидно, что всё это только три различные пути, три различные формы одного и того же содержания, которое есть — бытие. Как бы то ни было, только эти три рода мышления, если можно так выразиться, совсем не то, что мы называли мышлением до человека, миром природы и истории. Действительно, это не одно и то же, хотя и одно и то же, точно так же, как человек-младенец и человек-муж есть не одно и то же существо, хотя последний все-таки есть ничто иное, как новая и высшая форма первого.

Читатели не забыли, что в нашем определении искусства мы употребили слово «непосредственный»; вероятно, также они заметили, что и потом мы часто его употребляли. Значение этого слова так важно, оно заменяет собою так много слов, и посему частое употребление его так необходимо, что мы считаем долгом сделать отступление от предмета для его объяснения.

Слово «непосредственный» и происходящее от него «непосредственность» взято с немецкого языка<sup>8</sup> и принадлежит новейшей философии. Оно означает и бытие и действие, прямо из самого себя выходящее, без всякого посредства. Объясним это примером<sup>9</sup>. Ежели вы знаете человека по его образу мыслей и его образу жизни и характеру действий, любите и уважаете его за них, — вы знаете его не непосредственно, потому что [он] открылся вашему разумению не не-

посредственно, а посредством своего образа мыслей, жизни и действий. И таким вы можете передать его и разумению другого человека, никогда его не видавшего, — и из ваших слов этот другой может почувствовать к нему такое же уважение и такую же любовь. Но тут еще не весь человек, а только тень, которую он от себя отбрасывает, не сам человек, а только его описание. Когда вы слышите от другого рассказ о таком человеке, — ум ваш занят более или менее ясным представлением разных хороших или дурных качеств, но воображение ваше пусто, — в нем не отражается, как в зеркале, никакого живого образа, который бы говорил сам за себя или подтверждал бы то, что вам говорят о нем. Что же это значит? — То, что как описание примет человека не дает ясного представления его наружности, так и изображение, отвлечение его хороших или дурных качеств, как бы ни были они замечательны, не даст живого созерцания личности человека; надо, чтобы он сам за себя говорил, вне своих хороших или дурных качеств. Есть лица, которые, будучи и хороши и дурны, не оставляют в нашей памяти резкого следа и скоро исчезают из нее. Есть, напротив, другие, которые повидимому, ничего не имея особенного, резко хорошего или резко дурного, с первого взгляда навсегда остаются в вашем воображении. Это особенно поразительно в отношении к женским лицам: часто ослепительная красота уступает в нашем созерцании место самому скромному, самому, кажется, обыкновенному лицу. Причина такой разности в впечатлениях, производимых тою или другою личностью, без сомнения, заключается в самой этой личности, но тем не менее эта причина не выговаривается словом, как всякая тайна. Вот человек: смело и бойко говорит он обо всем, ловко и искусно дает вам [знать] о своих высоких качествах: по его словам, он живет в одном высоком и прекрасном, готов отдать за истину свою жизнь; вы слушаете его, видите в нем много ума, не отрицаете даже и чувства; его мнение о самом себе кажется вам правдоподобным, — и, между тем, вы остаетесь к нему холодны, он не возбуждает в вас никакого живого интереса. Что это значит? — Конечно, то, что вы бессознательно чувствуете какое-то противоречие между его словами и им самим. Рассудок ваш одобряет его слова, берет их, как данные, для суждения о нем, а *непосредственное* впечатление, которое он производит на вас, возбуждает [в] вас недоверчивость к его словам и отталкивает вас от него. Но вот другой человек: он так чужд всяких претензий, так прост, так обыкновенен; он говорит о том же, о чем и все говорят, — о погоде, о лошадях, о шампанском, об устрицах, — а, между тем, вы, видя его в первый раз, как будто по какому-то капризу своего чувства, на зло вашему рассудку уверяетесь, что этот человек не то, чем кажется, что ему открыты высшие идеальные области и глубочайшие тайны бытия, — и он смело и прямо, как свою соб-

ственность, берет вашу любовь и уважение, прежде нежели вы успеете заметить это. Здесь опять та же причина — сила и власть непосредственного впечатления, которое производит на вас этот человек. Всё, что скрывается в его натуре, — всё это выражается в самых его движениях, жестах, голосе, лице, игре физиономии, словом — в его *непосредственности*. Так точно иногда вся роскошь образования, умственного, эстетического и светского, даже при выгодной наружности, не возбуждает в нас к женщине того трепетного, музыкального чувства, которое внушает присутствие женщины, того благоговения, каким оно нас оковывает; а простая девушка, лишенная всякого образования, но которой натура глубока и богата, одним спокойным взглядом заставляет опускаться дерзко устремленные на нее взоры, как будто бы их поразили лучи солнечные. По той же самой причине вы иногда тяготитесь и скучаете самыми острыми словами, самыми умными шутками, не находя в них ничего забавного, кроме претензии быть забавными; и вы же не можете без смеха ни слышать ни одного слова, ни видеть ни одного движения иного человека, хотя ни в его словах, ни в его движениях, повидимому, нет ничего смешного, так что, пересказывая о них кому-нибудь и думая произвести несомненный эффект, вы сами находите, к своему удивлению, что в них ровно ничего нет, и что вся их обаятельная сила заключалась в *непосредственности* того человека<sup>10</sup>.

Эта же самая непосредственность, составляющая такое важное условие *личности* всякого человека, является и в *действии* человека. Бывают случаи, в которых наша натура как бы действует за нас, не ожидая посредничества нашей мысли или нашего сознания, и мы как бы инстинктивно поступаем там, где, повидимому, невозможно действовать без сознательного соображения. Так, например, случается, что человек, сильно ушибшись или подвергавшись опасности сильно ушибиться об какой-нибудь незамеченный им по рассеянности или по сосредоточенности в себе предмет, — всякий раз, как проходит мимо того места, хотя бы ночью, наклоняется бессознательно. Такое действие есть вполне *непосредственное*. Но гораздо выше и поразительнее те непосредственные действия человеческого духа, в которых проявляется его высшая жизнь. Как бы ни было свято и истинно убеждение человека, как бы ни были благородны и чисты его намерения, но чтобы высказать или привести их в исполнение, для этого еще недостаточно ни силы убеждения, ни благонамеренности стремления: для этого необходим тот вдохновенный порыв, в котором сливаются во едино все силы человека, физическая природа его проникает собою духовную его сущность, которая, в свою очередь, просветляет собою физическую его природу. разумное действие, становится инстинктивным движением, и, наоборот, мысль делается фактом, действие разумной и свободной человеческой

воли — непосредственным явлением. История представляет нам поразительный пример подобного непосредственного проявления силы человеческого духа, торжествующего даже над законами природы: сын Креза был от рождения нем, но, увидев, что неприятельский солдат хочет, по незнанию, убить его отца, вдруг получил употребление языка и воскликнул: «Воин, не убивай царя!» Но и этот пример, как ни поразителен он, еще не представляет самого высшего проявления непосредственной разумности: ее можно видеть во всей бесконечности ее великого значения только в тех свободных и разумных действиях человека, в которых обнаруживается его высшая духовная природа и стремление к бесконечному. Вся история человечества, с одной стороны, есть ничто иное, как бесконечный ряд картин такого рода непосредственно-разумных и разумно-непосредственных действий, в которых личное желание сливается с внешнею для личности необходимостью, воля делается инстинктом, порыв к действию — самим действием<sup>11</sup>. Непосредственность действия не исключает из себя ни воли, ни сознания, — напротив, чем более того и другого участвует в нем, тем оно выше, плодотворнее и действительнее; но воля и сознание, сами по себе, как отдельно взятые элементы духа, никогда не переходят в действие и не приносят плодов в высших сферах действительности, ибо тут они являются силами враждебными непосредственности, в которой заключается живая производительная сила. Начало и развитие природы, все явления истории и искусства совершались *непосредственно*.

Может быть, многим из наших читателей слово «непосредственный» покажется совершенно равнозначительным слову «бессознательный», а «непосредственность» — «бессознательности», — и они, может быть, упрекнут нас в суетном желании изобретать и вводить в моду новые и никому неизвестные слова для старых и всем известных понятий, давно уже выраженных тоже всем известными словами, и обвинят в педантской охоте вдаваться в излишние объяснения и ненужные отступления, которые не поясняют, а только затемняют дело. Если это случится, и если причиной этого будет не опрометчивая невнимательность поверхностного читателя, — то уже, конечно, и не справедливость его обвинения, а разве то, что мы неудовлетворительно объяснили этот предмет. В непосредственности может быть бессознательность, но не всегда бывает, — и оба эти слова отнюдь не одно и то же, и даже не синонимы. Природа, например, произошла непосредственно и вместе с тем бессознательно; исторические же явления, каковы начало языков и политических обществ, произошли непосредственно, но отнюдь не бессознательно; так же точно непосредственность явления есть основной закон, непреложное условие в искусстве, дающее ему высокое и мистическое значение; но бессознательность не только не составляет необходимой принадлежности искусства,

но враждебна ему и унижительна для него. Слово «непосредственный» объемлет собою и включает в себе гораздо обширнейшее, глубочайшее и высшее понятие, нежели слово «бессознательный»: это мы ясно докажем в дальнейшем развитии идеи искусства.

Условие непосредственности всякого явления есть вдохновенный порыв; результат непосредственности всякого явления есть — организация. Только вдохновенное может явиться непосредственно, только непосредственно-явившееся может быть органическим, только органическое может быть живым. Организм и механизм, или природа и ремесло, — вот два мира, враждебно-противоположные друг другу<sup>12</sup>. Один — свободный, беспрепятственно движущийся, изменяющийся, неуловимый в перегибах цветов и красок, шумный и звучный; другой — оцепенелый в мертвенной неподвижности, рабски-правильный и безжизненно-определенный, с ложным блеском, поддельной жизни, немой и безгласный. Явления первого мира, живые и непосредственно-произрастающие, называются еще и вдохновенными, или творческими, а явления второго мира — предметами механическими, или произведениями рук человеческих. Разумеется, что этого не должно понимать буквально и первоначальную живописную причину смешивать с посредствующей: все статуи и все картины делаются руками человеческими, но, несмотря на то, есть статуи и картины органические, вдохновенные, творческие, и есть статуи и картины механические, не созданные, а сделанные.

Очевидно, что созданным или творческим называется всё, что не может быть произведено соображением, расчетом, рассудком и волей человека, даже всё, что не может назваться и изобретением, но что непосредственно является из небытия в бытие или творящею силою природы, или творческою силою духа человеческого, и что, в противоположность изобретению, должно называться *откровением*. Организация, составляющая существенное различие между произведениями творческими и произведениями механическими, очевидно, есть результат того процесса, посредством которого оно возникает. Противопоставим природу ремеслу, чтобы объяснить это примером. Когда у человека, изобретшего часы, мелькнула в голове первая мысль об этой машине, — дело не было кончено этим мгновением: не говоря уже о том, что [он] много должен был думать и соображать, прежде нежели приступить к выполнению своей мысли, — он должен был еще и беспрестанно поверять ее опытом и в опыте искать дополнения своей мысли. Созидая, он снова разрушал, слагая, разбирая, ибо всегда находил, что чего-нибудь да недоставало. Главный духовный деятель в акте его изобретения было *соображение, расчет, вычисление вероятностей*. Осторожно, будто впотьмах, делал он шаг за шагом, работая головою и считая на пальцах. И потому его изобретение

не могло быть тотчас же совершенным, но нужны были вековые успехи точных наук, чтобы оно могло дойти до совершенства. Хочет ли ремесло подражать природе, — тут еще поразительнее видно могущество одной и бессилие другого. Человек хочет сделать цветок — розу. Для этого он берет натуральную, долго и внимательно изучает ее во всех малейших подробностях — каждый лепесток, складку, перелив и оттенок цвета, общую форму, и уже после многих соображений и расчетов выкраивает и сшивает свой цветок из тканей, окрашенных под цвета природы. И в самом деле, как велико его искусство: за десять шагов вы не отличите его искусственной розы от натуральной; но подойдите ближе — и вы увидите холодный, неподвижный труп подле прекрасного, полного жизни создания природы, — и ваше чувство оскорбится мертвой подделкой. С радостным чувством, движением схватываете вы очаровательный цветок — рассматриваете и обоняете его. Его листики и лепестки расположены так симметрически, так пропорционально, что их правильность может постигаться только нашим умом, а не поверяться нашими инструментами, слишком недостаточно для этого правильными, и потом каждый из них так тщательно, с такой заботливостью, с таким бесконечным совершенством отделан и изукрашен до малейших подробностей... Как роскошно прекрасен его цветок, сколько на нем жилочек, оттенков, какая нежная и яркая пыль... О, сам царь Соломон во славе своей не одевался так великолепно!.. И какое, наконец, упоительное благоухание!.. Но до сих пор, пока мы на эту розу смотрим со-вне, любясь и дивясь ее видом, цветом и запахом, искусственный цветок еще может быть сравниваем с нею, по крайней мере, хоть как пародия на нее, доказывающая своего рода силу и могущество человеческого ума; но разве в розе одним этим всё оканчивается? О, нет! это только внешняя форма, выражение внутреннего: эти чудные краски вышли изнутри растения, этот обаятельный аромат есть его бальзамическое дыхание... Загляните туда, внутрь этого цветка, — и всякое сравнение с ним искусственной розы уничтожится само собою, как нелепость, оскорбляющая здравый смысл. Там, внутри зеленого стебелька, на котором так грациозно держится этот роскошный цветок, там целый новый мир: там самостоятельная лаборатория жизненности, там по тончайшим сосудам дивно-правильной отделки течет влага жизни, струится невидимый эфир духа... И, между тем, природа употребила на этот дивный цветок и меньше времени и более простые и дешевые материалы, и нисколько труда, соображения или расчета: пало в землю небольшое зерно — и из земли вышло растение, оделось в листья и украсилось цветами на брачный пир весны... Уже в его зерне заключался и корень, и ствол, и красивые листочки, и пышный ароматический цвет, и вся архитектура растения, со всеми его формами

и пропорциями! Но что же тут сделала природа? Чем же ознаменовала она свое участие в создании этого цветка? Повторяем: ей это ничего не стоило. Спокойно, без всяких усилий повторяет она теперь однажды навсегда созданные ею явления. Но было мгновение, когда она страшно работала, в напряжении и борьбе всех сил своих... Когда всемогущее «Да будет» пробудило довременный хаос, небытие воззвало к бытию, возможность к действительности, идею к явлению, — тогда бесплотная божественная мысль, доременно существовавшая, из ничего явилась нашею планетою, — и долго вращалась эта планета то в океане воды, то в океане огня, — и высокие хребты гор на месте бывшего дна морского, подземные потоки вод и огней, бездонные моря, острова и озера, огнедышущие вулканы свидетельствуют о ее страшных переворотах, прежде чем она стала тем, что теперь есть, о ее великой работе, которая и теперь еще не кончилась, судя по целому огромному материку, еще и доселе не совершенно сформировавшемуся\*. Да, это была великая работа<sup>14</sup>: породила природа бесконечные ряды явлений, — и каждое из них было могучим, мгновенным и незапным порывом из тьмы небытия на свет жизни. Величественно и прекрасно здание вселенной! Как правилен этот голубой купол неба, по которому в таком строгом порядке, в такой неизменной правильности и гармонии восходит и заходит солнце, появляется и скрывается луна с мириадами звезд! И, между тем, не циркулю обязаны своим существованием эти круги и сферы, не было начертано на бумаге предварительного плана, и соображение математика не определило заранее этих бесконечных отношений между бесконечными величинами, тяжестями и пространствами. Нет конца вселенной, нет числа небесным телам, и все они делятся на миры, подчиненные один другому, и каждое из них есть часть целого, составляющего как бы живое органическое тело, и находится во взаимном отношении и взаимной зависимости от всякого другого, — и всё это пространство без границ, вся эта величина без измерения, всё это множество без исчисления, составляющее собою единое и целое, родилось само из себя, заключая в себе и свои законы, и свои вечные неизменные числа и линии, и весь чертеж своего тоталитета. Вселенная есть божественная мысль, от вечности, доременно существовавшая, как разумная возможность, и вдруг ставшая очевидною действительностью через воплощение в форму. В полноте ее существования мы видим две, повидимому, противоположные, но в сущности родственные и тождественные стороны: дух и материю. Дух есть божественная мысль, источник жизни; материя есть та форма, без которой мысль не могла бы проявиться. Очевидно, что оба эти элемента нуждаются друг в друге: без мысли всякая форма мертва, без формы мысль есть

---

\* Новая Голландия.

только могущее быть, но не сущее. В явлении они составляют единое и нераздельное, проникая друг друга и исчезая друг в друге. Процесс их слития воедино (конкреции) есть таинство, в котором жизнь как бы скрылась от самой себя, не желая и самое себя сделать свидетельницей своего величайшего акта, своего торжественнейшего священнодействия. Мы знаем необходимость, но только ощущаем или созерцаем таинство этого процесса. Он есть необходимое условие жизненности явлений, и его результат есть — *организация*, результат которой есть *особенность, индивидуальность и личность*.

Все явления природы суть ничто иное, как частные и особые проявления *общего*. Общее есть идея. Что такое идея? По философскому определению, идея есть конкретное понятие, которого форма не есть что-нибудь внешнее ему, но форма его развития, его же собственного содержания. Но как мы чужды философского изложения нашего предмета, то и постараемся намекнуть о нем нашим читателям как можно менее отвлеченно, как можно образнее. Во второй части «Фауста» Гете есть место, которое может навести нас на предощущение значения «идеи», близкое к истине. Фауст, дав обещание императору вызвать пред него Париса и Елену, требует помощи у Мефистофеля, который неохотно указывает ему единственное средство для выполнения этого обещания. «В неприступной пустоте, — говорит он, — царствуют богини; там нет пространства, еще менее времени: то *матери*». — Матери? — восклицает изумленный Фауст, — матери, матери, — повторяет он, — это так странно звучит... — «Богини, — продолжает Мефистофель, — неведомые вам, смертным, и неохотно именуемые нами. Готов ли ты? Тебя не остановят ни замки, ни запоры; тебя обоймет пустота. Имеешь ли ты понятие о совершенной пустоте?» — Фауст уверяет его в своей готовности. — «Если б тебе надобно было плыть, — продолжает снова Мефистофель, — по *безграничному* океану, если бы тебе надобно было созерцать эту безграничность, — ты бы увидел там, по крайней мере, стремление волны за волной, ты бы увидел там нечто; ты бы увидел на зелени усмирившегося моря плескающихся дельфинов; перед тобою ходили бы облака, солнце, месяц, звезды, но в пустой, вечно пустой дали ты не увидишь ничего, не услышишь своего собственного шага, ноге твоей не на что будет опереться». — Фауст непоколебим. В твоём *ничто*, — говорит он, — я надеюсь найти *все* (In deinem Nichts hoff ich das All zu finden). Мефистофель после этого дает Фаусту ключ. «Ступай за этим ключом, — говорит он ему, — он доведет тебя до *матерей*». — Слово «матери» снова заставляет Фауста содрогнуться. — «Матерей! — восклицает он; — как удар поражает меня это слово! Что это за слово такое, что я не могу его слышать?» — «Неужели ты так ограничен, — отвечает ему Мефистофель, — что новое слово смущает тебя?»... Мефистофель по-

том дает ему наставления, как он должен поступать в своем дивном путешествии, и Фауст, ощутив в груди своей новые силы от прикосновения к волшебному ключу, топнув ногой, погружается в бездонную глубь. — «Любопытно, — говорит Мефистофель, оставшись один, — возвратится ли он назад?» — Но Фауст возвратился и возвратился с успехом: он вынес с собой, из бездонной пустоты, треножник, тот треножник, который был необходим для того, чтобы вызвать в мир действительный красоту в лице Париса и Елены\*.

Да, странное это слово «матери», и без тайного содрогания нельзя его выговаривать, как будто бы это было одно из тех мистических слов, от которого бледнеет луна и мертвые шевелятся в гробах своих!.. Но еще более нужно отваги, чтобы пуститься в беспредельную пустоту и дойти до «матерей»!.. Но кто не содрогнется и не отступит назад и не изне[мо]жет в своем страшном подвиге — тот воро[ти]тся с волшебным треножником, с которым можно вызывать тени давно умерших и бесплотные мысли одевать в благолепные тела... Эти «матери» — те перво-сущные, довременные идеи, которые, воплотившись в формы, стали мирами и явлениями жизни. Жизнь никого не страшит; но, как красавица с огненным взором, розовыми ланитами и манящими поцелуй устами, она влечет к себе нас неодолимою обаятельною силою — закрыв глаза, потеряв сознание, мы бросаемся в ее объятия, — и мы смотрим на нее — не насмотримся, любим ее — не налюбujemy... Но в нас скрыт червяк, отравляющий полноту наслаждения, — этот червяк — жажда знания. Лишь только он зашевелится, очаровательный образ красавицы начинает от нас скрываться; червяк растет, превращается в змею, сосущую кровь из нашего сердца, — красавица исчезает совсем, и, чтобы возвратить ее, мы должны отворотить наш взор от форм и красок и устремить его на скелеты без жизни и красоты. Но скоро мы должны отказаться и от этого и ринуться в безграничную пустоту, где нет жизни, нет образов, нет звуков и красок, нет пространства и времени, где не на чем остановиться взору, не на что опереться ноге, где парствуют — матери всего сущего — бестелесные идеи, которые суть то *ничто*, из которого произошло всё; которые были от вечности, прежде мира, и от которых двинулось время и потекли миры своим вековечным путем...

Итак, идеи суть матери жизни, ее субстанциальная сила и содержание, тот неиссякаемый резервуар, из которого немолчно текут волны жизни. Идея по существу своему есть общее, ибо она не принадлежит ни известному времени, ни из-

\* Всё это место, содержащее в себе указание на «Фауста», есть выписка к статье Регшера «О философской критике художественного произведения», сделанная переводчиком этой статьи, г. Катковым, и здесь целиком взятая нами. См. «Московский Наблюдатель» 1838, часть XVIII, стр. 187 и 188.

вестному пространству; переходя в явление, она делается особым, индивидуальным, личным. Вся лестница творения есть ничто иное, как обособление общего в частное, явление общего частным. Из общей мировой материи вышла наша планета и, получив свою единственную и особую форму, в свою очередь стала общею субстанциальной материей, которая беспрестанно стремится к обособлению в мириадах существ. Безобразные массы металлов и камней, не представляя собою никакой определенной формы, тем не менее представляют собою особые явления, имеющие свою, хотя и низшую и внешнюю, организацию. Некоторые из них даже организуются в определенные и правильные формы призм, как бы вырастающих из какой-то почвы, которая состоит из одинакового с ними вещества и служит им безобразным базисом. Организация растений выше, и вообще они представляют собою что-то уже высшее особности, хотя еще и не достигшее индивидуальности. В каждом из них равно необходимы и корень, и ствол, и ветвь, и лист, но число листов их неопределенно, и отшибенные не изменяют особности дерева; что же до ветвей, то, хотя они...

---

# ВЗГЛЯД НА ГЛАВНЕЙШИЕ ЯВЛЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1843 г.



(Статья первая)<sup>1</sup>

Мы говорим «взгляд на русскую литературу», «состояние русской литературы» и разные подобные фразы, где постоянно слово «русская литература» употребляется в единственном числе. Это привычка, на которую пора бы обратить надлежащее внимание и от которой пора бы отвыкнуть. У нас *несколько* литератур: смешивая их все под словом «русская литература» и обставляя это слово различными эпитетами, мы часто грешим, придавая признаки одной литературы — другой, которая от них очень рада была бы избавиться, никак не признавая их для себя отличием... Постараемся объяснить.

Есть у нас литература грязная, *копеечная*, которая скрывается в непроходимых извилинах толкучих рынков, дышит гнилым воздухом сырых и темных подвалов, питается скромной данью с покрытого лохмотьями невежества. С первого дня ее существования донныне у ней те же идеи, те же понятия, те же взгляды, то-есть нет ни идей, ни понятий, ни взглядов. Ее представители — люди темные, еле-грамотные, но чрезвычайно-хорошо знающие свою публику и оттого удивительно смелые: они доставляют ее любознательному уму пищу самую разнообразную и рассуждают с нею нередко даже о том, что и не снилось вашим мудрецам. К замечательнейшим свойствам копеечной литературы принадлежат, между прочим, удивительная твердость, с которою она шествует по однажды-принятому пути, и патриархальная, дышащая какою-то наивною задушевностью откровенность, с которою она обходится с своей публикой. Тщетно журналы вооружаются против копеечной литературы посильным своим остроумием, тщетно обращаются к ней с угрозами, увещаниями и бранью; она не читает журнальных рецензий или читает их с безмолвным и гордым презрением, которое очень ясно доказывает, что уже поздно возвращать ее, закоренелую

в грубой коре невежества, на путь истины — *бичом критики!*.. Давно утратившая даже ту степень совестливости, которая заставляет «иных-прочих» скрывать свои не совсем-похвальные действия под личиною стремления к общему благу, любви к просвещению и так-называемой благонамеренности, — она идет к своей цели прямо и дерзко, с беспечной наглостью подходит к лицу, известному ей своею «слабостию насчет литературы», вынимает у него из кармана несколько грошей, засовывает вместо них свое грязное изделие и убегает с громким хохотом, нисколько не стараясь скрыть от покупателя, что она его славно надула. Потом она заходит в «заведения», оставляет там вырученные деньги и запасается материалами для нового изделия.

Есть у нас другая литература — родная сестрица первой, но более опрятная, сметливая и осторожная. Ей также нет дела до искусства, до науки, она даже не понимает их хорошенько и не поймет, пока ей кто-нибудь порядочно не заплатит. У нее та же цель, что и у первой — деньги, но в гораздо-обширнейшем размере: там, где копеечная литература довольствуется грошами и гривенниками, она норовит взять тысячи. Ей мало посильной дани, которую с таким усердием кладет «на алтарь просвещения» публика, одевающаяся в решменские армяки и дублёные полушубки; она знакома с утонченным комфортом жизни и хочет во что бы то ни стало ездить в своем экипаже, сидеть на гамбсовых креслах, пить шампанское и играть в преферанс по-большой. И вот она ухватила за публику побогаче и потароватее, — публику странную, разнохарактерную, иногда очень умную, иногда простоватую, но всегда в высшей степени доверчивую, добрую и снисходительную. И горе ей, бедной, доверчивой публике! *Промышленная* литература со всех сторон опутывает ее сетями, и, должно отдать справедливость, очень-часто весьма-искусными. С какою неподражаемою ловкостью умеет она, эта промышленная литература, кстати прикинуться бескорыстной, чувствительною к успехам родной словесности, горячо-страждущею ее недугами! Как хорошо умеет выставить на вид несомненные признаки своей благонамеренности и добросовестности! Как искусно она, нередко грубая до цинизма, накидывает на себя, в экстренных случаях, личину строгого до чопорности приличия!.. Но в особенности неистощима она в угодливости пред публикою, в потворстве ее неразвитому, шаткому от недостатка убеждений вкусу, в готовности тешить ее чем ни-попало, лишь бы она тешилась да исправно платила! Сегодня роман, завтра повесть, послезавтра восторженная драма, через неделю целый том критики, через месяц история томов в десяток! Нужды нет, что роман будет плох, восторженная драма усыпит самых отчаянных зрителей, критика насмешит ограниченностью взглядов, пустотою содержания и пошлостью суждений;

нужды нет, что история, скомпилированная из чужих лоскутков и никуда-негодных умозрений, заставит содрогнуться кости незаконно-потревоженных в ней героев; нужды нет — лишь бы взять деньги! За деньги промышленная литература готова на все. Она упадет на колени перед бездарностью и закидает грязью первостепенный талант, угрожающий сбыту ее жалких изделий; она изобретет небывальщину; она будет печатно лобызать руки у человека, который возьмет на себя разорительную роль ее «кормильца», и не в шутку, пред лицом всей публики, назовет его двигателем литературы, хотя бы он во всю жизнь свою не написал ни строчки, имел столько же охоты двигать литературу, как муха возить карету<sup>2</sup>; она, эта промышленная литература, в своем корыстном ослеплении, посягнет на неприкосновенность великих и славных имен, которыми гордится человечество, лишь бы угодить невежественной толпе, которую не может не радовать унижение тех, чье превосходство дотолле кололо ей глаза; она наденет шутовский колпак и, высунув язык, расписав по-дурацки лицо, будет кувыркаться перед публикою, плясать в присядку и кричать дикими голосами — лишь дайте ей денег!.. И мало ли еще чего не предпримет и не предпринимает она для достижения цели, нераздельно управляющей ее действиями?.. А как занимательны, как уморительно-смешны и вместе как возмутительны ее беспрестанные перебранки, порождаемые мелкой, постыдной завистью, которая не может видеть лишнего рубля, перешедшего в карман соперника, без того, чтоб не закричать: «разоряют! грабят!» и так далее. Перебранок, которые беспрестанно повторяются между представителями промышленной литературы, нельзя назвать литературными, ни даже имеющими какое-нибудь отношение к литературе. И вот, до некоторой степени, результаты неосторожных перебранок промышленной литературы: никто не сделал ей такого ощутительного вреда, как она сама: ее представители в беспрестанных, непродолжительных, но весьма-жарких ссорах печатно высказали насчет друг друга столько горьких истин, что невольно сделались в глазах публики далеко не столь чистыми и бескорыстными, какими прикидывались в своих сочинениях. Справедливо говорит пословица: «На всякого мудреца довольно простоты», — и это большое благодеяние для литературы, потому что в противном случае, бог-знает, когда еще ослабло бы влияние сочинителей-промышленников на русскую публику, которой доверием играть так доходно! А теперь это влияние, благодаря собственной оплошности промышленной литературы, само собою клонится к упадку...

Есть у нас еще литература менее-предосудительная по своим целям, но в высшей степени жалкая, — литература, смотрящая на вещи глазами доброго старого времени, проповедующая старые идеи по поводу новых фактов, и с ожесточением,

тем более горестным, что оно нередко искренно, предающая анафеме все новое и лучшее. Ее представители — литературные старцы, постигнутые нравственную смертью прежде физической — но не те достойные уважения и участия

Сыны другого поколения,

«сыны», которые, великодушно признав над собою законно и неизбежно совершающуюся победу времени, смиренно сошли с поприща, —

И на распутии живых  
Стоят как памятник надгробный,  
Среди обителей людских, —

не вмешиваясь не в свое дело и не навязывая новому поколению убеждений и верований, которые были хороши в свое время и остались такими для людей своего времени, как живые впечатления лучшего возраста жизни, но которые не могут уже удовлетворить нового поколения, двинутого вперед неизбежным законом постепенного совершенствования. Представители и деятели *старческой* литературы суть те ограниченные, неподвижно-остановившиеся натуры, которые неспособны возвыситься даже до благородного и великодушного сознания, или те из деятелей промышленной литературы, которые почему-либо нашли выгодным стать в ряды защитников доброго старого времени. Старческая литература в каждом полезном нововведении, в каждом шаге вперед новой науки видит личную для себя обиду, событие, угрожающее «отечественной словесности» совершенной погибелью. Каждая смелая мысль, прямо или косвенно высказанная, каждое новое мнение, противоречащее ее узким понятиям, встречают в старческой литературе упорное сопротивление и нередко недоброжелательное истолкование. Избави бог сказать, что после Жуковского, Пушкина, Лермонтова нельзя в настоящее время *безусловно* восхищаться стихотворениями Державина; что Карамзин оказал русскому языку, русской истории, русскому обществу великие заслуги, которые дают ему право на одно из почетнейших мест в истории русской литературы, но не принадлежал к числу тех первостепенных гениев, чьи творения будут всегда читаться с одинаковою жадностью, с одинаковым наслаждением. Избави бог!.. Старческая литература поднимет гвалт; она сделает из вашего мнения преступление, которое изложит по пунктам в допотопных стихах или подъяческой прозе и предаст тиснению в надежде. . . . но, к счастью, подобные надежды не сбываются!\*. Впрочем, здесь еще не исчислено и десятой доли занятий, которым посвящает старческая литература свои златые досуги; занятия ее довольно разнообразны: одна часть ее богатырским сном спит на горах старого негодного хлама, стараясь уверить себя и других, что занимается разработкою каких-то материалов; по-временам она просыпается, доводит до сведения публики, что не успела еще

сказать всего, «что имеет сказать», и опять засыпает; другая часть ее, более деятельная, пишет целые книги в защиту так-называемой патриархальной жизни, которая, по мнению старческой литературы, состоит в том, чтобы непременно спать после обеда, ходить каждую субботу в баню и обедаться в мясоед; третья, самая дикая и неумеренная, кроме идей общих всей старческой литературе о гниющем и развращенном Западе, проповедует, что русская литература не только не отстала от других литератур, но даже шагнула вперед, за черту возможного совершенства, так-что ей не мешает возвратиться несколько вспять — начать говорить на мужицкий лад, признать Пушкина бесталантным писателем, а какого-нибудь составителя букварей с картинками — первейшим романистом, философом и поэтом \*... Страшно подумать, что в наше время есть головы, таким образом рассуждающие, но что они есть, в том — увы! — нет никакого сомнения: факт слишком свежий, известный всякому, кто заглядывает в русские журналы и книги!.. Вообще старческая литература отличается дикостью суждений и бесплодностью своей несообразной с духом и требованиями века деятельности, о которой ее никто не просит. Она только мешает правильному литературному развитию, движению вперед, которого нельзя не признать в настоящем периоде русской литературы. В то время как люди с убеждением и верованиями, соответствующими современному состоянию просвещения, в поте лица трудятся для будущего, — староверы все еще видят в литературе не более, как *средство к сокращению скуки длинных осенних вечеров* и, вследствие такого воззрения, простодушно пытаются занять нас небывальными похождениями небывалых героев...

И прискорбнее всего видеть, что не одни староверы литературные, не сознавшие над собою законно и неизбежно совершившейся победы времени, смотрят на литературу такими глазами. Большая часть писателей, еще недавно-явившихся на литературном поприще и признаваемых более или менее даровитыми, до сей поры не понимает и не старается понять обязанности, соединенной в настоящее время с званием истинного писателя, и вместо того, чтобы, по мере сил и возможности, пособлять общей работе, переливает из пустого в порожнее, воспевая луну, деву, шампанское и рассказывая, с простодушным самодовольством, без малейшей иронии, вымыслы иногда очень занимательные, но чуждые всякой идеи.

Наконец, есть у нас еще литература, литература только-что возникающая, едва ли могущая насчитать с десятков истинных представителей, но более-плодотворная и жизненная, чем все остальные, о которых говорено выше. С великодушным самоотвержением, ради благой и далекой корыстных расчетов цели, одушевленная высокими началами Великого Преобразователя России, избрала она путь тернистый и трудный, веду-

щий к достижению вечной и святой истины, к осуществлению на земле идеала — и медленно, но твердо и самостоятельно шествует по своему пути, невидимо подвигая вперед общественное образование... Откликаясь на голос общей и истинно-русской науки, благородно симпатизируя всему высокому, она разрабатывает важнейшие вопросы жизни, разрушает старые закоренелые предрассудки и с негодованием возвышает голос против печальных явлений в современных нравах, вызывая наружу, во всей ужасающей наготе действительности, «все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных повседневных характеров, которыми кишит наша земля» \*. Эта литература не приписывает нам достоинств, которых мы не имеем, не скрывает от нас наших недостатков, но старается, по возможности, раскрывать их и обнаруживать, — потому что, по ее мнению, истинный патриотизм заключается не в присвоении отечеству качеств, которых оно, быстрыми шагами идущее к совершенству, не успело еще себе усвоить, но в благородных и бескорыстных усилиях приблизить время, когда оно в самом-деле достигнет возможного совершенства. Зато сколько осуждений, сколько упреков в недостатке патриотизма переносит эта бескорыстная литература от узколобых, умышленно или неумышленно непонимающих ее педантов, которые, чтоб прикрыть извинительную причину свое бездействие, утверждают, что у нас все уже сделано, что нам не в чем совершенствоваться, что нам осталось только сложить руки и наслаждаться плодами трудов своих!..

Таковы элементы, из которых состоит русская литература в настоящее время. Положение ее не блистательно, но и не представляет ничего такого, что могло бы заставить отчаиваться за ее будущее. Истекший год, подобно нескольким предыдущим, не богат замечательными произведениями, но представляет несколько фактов, неопровержимо-подтверждающих, что не возвратно прошел уже для русской литературы младенческий период ее существования — период бесплодного романтизма, и настанет период зрелости и возмужалости. И как ни деятельны, как ни хитроустны усилия староверов литературных, сочинителей-промышленников и вообще всей литературной «тльи» совратить русскую литературу с истинного пути, на который она так недавно вступила, навязать ей старые разгульные грехи, которые отодвинули бы ее назад, — русская литература подвигается вперед. Голос немногих истинных ее представителей, крепкий правдою и единодушием, заглушает нестройно-крикливые голоса многочисленной, разнокалиберной толпы, движимой личными интересами. Теперь уже нельзя

\* «Мертвые души», стр. 257,

построить литературной славы на двух-трех более или менее удачных стихотворениях, блестящих снаружи и чуждых внутреннего содержания; теперь уже не расплачемся мы и нарахват не раскупим ни «Аббадонны», ни «Эммы», ни «Блаженства безумия»<sup>5</sup>, не причтем к капитальным произведениям таких произведений, в которых нет ни верного такта действительности, ни зрелых и крепких мыслей, а есть неземная дева, парящая к эфиру мечта, питающаяся вздохами и сентиментальными фразами любовь да детские порывания к какому-то идеалу, навыворот понимаемому; теперь уже не признаем мы пошлого резонера, клеветящего на наши незнакомые ему нравы, искажающего нашу действительность, поучающего нас сентенциями, взятыми напрокат из букварей, — нравственно-сатирическим писателем, достойным внимания и похвал; не назовем другого резонера, не сказавшего во весь век ни одной здоровой, собственно ему принадлежащей мысли, «философом, сходящим во глубину своего духа»<sup>6</sup>, — и, если какой-нибудь критик, в пылу поддельного или действительного восторга, упадет на колени перед творцом какой-нибудь посредственности в фантастическом роде, мы подумаем только, что он не совсем-здоров, и останемся хладнокровными зрителями его безрассудочной горячности. Теперь уже в самой критике не довольствуемся мы высокопарно-пустозвонными разглагольствиями, но ищем идей и приговоров, основанных на законах науки изящного, философии искусства... Да, мы становимся старше, мужаем — и слава богу!..

# СОЧИНЕНИЯ

АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА



Санкт-Петербург. Одиннадцать томов. МDCCCXXXVIII—МDCCCXLI<sup>1</sup>

Статья восьмая<sup>2</sup>

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как *Евгений Онегин*. И эта робость оправдывается многими причинами. *Онегин* есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в *Онегине* личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение значит — оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве *Онегина*, — эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в *Онегине* слабым или устарелым, — даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах *Онегина*, с одной стороны, видеть недостатки, с другой — достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства, и которая не понимает, что условное и относительное составляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к *Онегину* наши суждения могут показаться

многим еще более противоречащими, потому что *Онегин* со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об *Онегине* будет развитием этой мысли, какую бы ни показала она с первого взгляда многим из наших читателей.

Прежде всего в *Онегине* мы видим поэтически-воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения *Евгений Онегин* есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более, как понятливою и переимчивою ученицею европейской музыки, — и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. Сам Крылов — этот талант, столько же сильный и яркий, сколько и национально-русский, долго не имел смелости отказаться от незавидной чести быть то переводчиком, то подражателем Лафонтена. В поэзии Державина ярко проблескивают и русская речь и русский ум, но не больше, как проблескивают, потопляемые водою риторически-понятых иноземных форм и понятий. Озеров написал русскую трагедию, даже историческую — *Дмитрия Донского*, но в ней «русского» и «исторического» — одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написал две «русские» баллады — *Людмилу* и *Светлану*; но первая из них есть переделка немецкой (и притом довольно-дюжинной) баллады, а другая, отличаясь действительно-поэтическими картинами русских святочных обычаев и зимней русской природы, в то же время вся проникнута немецкою сантиментальностью и немецким фантазмом. Муза Батюшкова, вечно скитаясь под чужими небесами, не сорвала ни одного цветка на русской почве. Всех этих фактов было достаточно для заключения, что в русской жизни нет и не может быть никакой поэзии, и что русские поэты должны за вдохновением скакать на Пегасе в чужие края, даже на восток, не только на запад. Но с Пушкиным русская поэзия из робкой ученицы явилась даровитым и опытным мастером. Разумеется, это сделалось не вдруг, потому что вдруг ничего не делается. В поэмах: *Руслан* и *Людмила* и *Братья-разбойники* Пушкин был не больше, как учеником, подобно своим предшественникам, — но не в поэзии только, как они, а еще и в попытках на поэтическое изображение русской действительности. Этим ученичеством и объ-

ясняется, почему в *Руслане и Людмиле* так мало русского и так много итальянского, а *Разбойники* так похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада *Жених*, написанная им в 1825 году, в котором появилась и первая глава *Онегина*. Эта баллада и со стороны формы и со стороны содержания насквозь проникнута русским духом, и о ней в тысячу раз больше, чем о *Руслане и Людмиле*, можно сказать:

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет.

Так как эта баллада и тогда не обратила на себя особенного внимания, а теперь почти всеми забыта, мы выпишем из нее сцену сватовства.

На-утро сваха к ним на двор  
Нежданная приходит,  
Наташу хвалит, разговор  
С отцом ее заводит:

«У вас товар, у нас купец,  
Собою парень молодец,  
И статной, и проворной,  
Не вздорной, не зазорной.  
«Богат, умен, ни перед кем  
Не кланяется в пояс,  
А как боярин между тем  
Живет, не беспокоясь;  
А подарит невесте вдруг  
И лисью шубу, и жемчуг,  
И перстни золотые,  
И платья парчевые.

«Катаясь, видел он вчера  
Ее за воротами;  
Не по рукам ли, да с двора,  
Да в церковь, с образами?»  
Она сидит за пирогом  
Да речь ведет обиняком,  
А бедная невеста  
Себе не видит места.

«Согласен — говорит отец —  
Ступай благополучно,  
Моя Наташа, под венец:  
Одной в светелке скучно.  
Не век девице вековать,  
Не все касатке распевать,  
Пора гнездо устроить,  
Чтоб детушек покоить».

И такова вся эта баллада, от первого до последнего слова! В народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности, сколько заключено ее в этой балладе! Но не в таких произведениях должно видеть образцы проникнутых национальным духом поэтических созданий, — и публика не без основания не обратила особенного внимания на эту чудную балладу. Мир, так верно и ярко изображенный в ней,

слишком-доступен для всякого таланта уже по слишком-резкой его особенности. Сверх того, он так тесен, мелок и немногосложен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были односторонни, однообразны, скучны и, наконец, пошлы, несмотря на все их достоинства. Вот почему человек с талантом делает обыкновенно не более одной или, много, двух попыток в таком роде: для него это — дело, между прочим, затеянное больше из желания испытать свои силы и на этом поприще, нежели из особенного уважения к этому поприщу. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалова купца Калашникова», не превосходя пушкинского *Жениха* со стороны формы, слишком-много превосходит его со стороны содержания. Это — поэма, в сравнении с которою ничтожны все богатырские народно-русские поэмы, собранные Киршею Даниловым. И, между тем, «Песня» Лермонтова была не более как опыт таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтов никогда ничего больше не написал бы в этом роде. В этой песне Лермонтов взял все, что только мог ему представить сборник Кирши Данилова, — и новая попытка в этом роде была бы по необходимости повторением одного и того же — старые погудки на новый лад. Чувства и страсти людей этого мира так однообразны в своем проявлении; общественные отношения людей этого мира так просты и несложны, что все это легко исчерпывается до дна одним произведением сильного таланта. Разнообразие страстей, тонкие до бесконечности оттенки чувств, бесчисленно-многосложные отношения людей, общественные и частные, — вот где богатая почва для цветов поэзии, и эту почву может приготовить только сильно-развивающаяся или развивавшаяся цивилизация. Произведения в роде «*Jeanne*» Жорж Занда возможны только во Франции, потому что там цивилизация, в многосложности ее элементов, все сословие поставила в тесное и электрически-взаимодействующее отношение друг к другу. Наша поэзия, напротив, должна искать для себя материалов почти исключительно в том классе, который, по своему образу жизни и обычаям, представляет более развития и умственного движения. И если национальность составляет одно из высочайших достоинств поэтических произведений, — то, без сомнения, истинно-национальных произведений должно искать у нас только между такими поэтическими созданиями, которых содержание взято из жизни сословия, создавшегося по реформе Петра Великого и усвоившего себе формы образованного быта. Но большинство публики до сих пор понимает это дело иначе. Назовите народным или национальным произведением *Руслана и Людмилу*, — и с вами все согласятся, что это действительно и народное и национальное произведение. Еще более будут согласны с вами, если вы назовете народным произведением

всякую пьесу, в которой действуют мужики и бабы, бородатые купцы и мещане, или в котором действующие лица пересыпают свой незатейливый разговор русскими пословицами и поговорками и, вдобавок, пропускают между ними риторические, на семинарский манер, фразы о народности и т. п. Люди, более умные и образованные, охотно (и притом весьма основательно) видят народную русскую поэзию в баснях Крылова и даже готовы видеть ее (что уже не так основательно) не только в сказках Пушкина (*о царе Салтане, о мертвой царевне и о семи богатырях*), но и (что уже вовсе неосновательно) в сказках Жуковского (*о царе Берендее до колен борода и о спящей царевне*). Но немногие согласятся с вами, и для многих покажется странным, если вы скажете, что первая истинно-национально-русская поэма в стихах была и есть — *Евгений Онегин* Пушкина, и что в ней народности больше, нежели в каком-нибудь другом народном русском сочинении. А, между тем, это такая же истина, как и то, что дважды-два — четыре. Если ее не все признают национальной — это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете — уже не русские, и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие даже и между так-называемыми образованными людьми бессознательно подражают русскому простонародью, которые всякого чужестранца из Европы называют *немцем*. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались, как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации, — однако, тем не менее между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента — духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком, — и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большею частью смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства, и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира, — если, говорим, все народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа,

естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить, как две капли воды, на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физической и нравственной физиономиею? .. Да это нелепость нелепостей! Хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особенности племени, или народа, заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим по крайней мере в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать, и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят, в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда-победоносным русское войско, если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, — как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; — точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы или отступающими в грозном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца, — он везде немец: и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии — англичанин, во Франции — француз, в Германии — немец». Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. Этим свойством русский человек отличается и от всех других славянских племен, и, может быть, ему-то и обязан он своим превосходством над ними. Известно, что наши русские солдаты — удивительные природные философы и политики и нигде ничему не удивляются, но все находят очень естественным, как бы это все ни было противоположно их понятиям и привычкам. Чтоб слишком не распространяться об этом предмете, ссылаемся,

для краткости, на замечание Лермонтова об удивительной способности русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. «Не знаю (говорит автор «Героя нашего времени»), достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает невероятную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Здесь дело идет о Кавказе, а не о Европе; но русский человек везде тот же. Угловатый немец, тяжеловато-гордый Джон-Буль уже самыми их ухватками и манерами никогда и нигде не скроют своего происхождения; и после француза только русский может по наружности казаться просто человеком, не нося на своем лбу национального клейма, или паспорта. Но из этого отнюдь не следует, чтоб русский, умея в Англии походить на англичанина, а во Франции — на француза, хоть на минуту перестал быть русским или хоть минуту не шутя мог сделаться англичанином или французом. Форма и сущность не всегда — одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себе, но от сущности своей отрешиться совсем не так легко, как променять охабень на фрак. Между русскими есть много галломанов, англоманов, германоманов и разных других «манов». Посмотришь на них: точно так — с которой стороны ни зайди — англичанин, француз, немец да и только. Если англоман, да еще богатый, то и лошади у него англозированные, и жокеи, и грумы, словно сейчас из Лондона привезенные, и парк в английском вкусе, и портер он пьет исправно, любит ростбиф и пуддинг, на комфорте помешан, и даже боксирует не хуже любого английского кучера. Если галломан, — одет, как модная картинка, по-французски говорит не хуже парижанина, на все смотрит с равнодушным презрением, при случае почитает долгом быть и любезным и остроумным. Если германоман, — больше всего любит искусство, как искусство, науку, как науку, романтизирует, презирает толпу, не хочет внешнего счастья и выше всего ставит созерцательное блаженство своего внутреннего мира... Но пошлите всех этих господ пожить — англоманов в Англию, галломанов — во Францию, германоманов — в Германию, да и посмотрите, так ли охотно, как вы, поспешат англичане, французы и немцы признать своими соотечественниками наших англоманов, галломанов и германоманов... Нет, не попадут они в соотечественники этим народам, а только разве прослышат между ними притчею во языцех, сделаются предметом всеобщего оскорбительного внимания и удивления. Это потому, повторяем, что усвоить чуждую форму совсем не то, что отрешиться от собственной сущности. Русский за границею легко может быть принят за уроженца страны, в которой он временно живет, потому что на улице, в трактире, на балу, в дилижансе о человеке заключают по его виду; но в отноше-

ниях гражданских, семейных, но в положениях жизни исключительных — другое дело: тут поневоле обнаружится всякая национальность, и каждый поневоле явится сыном своей и пасынком чужой земли. С этой точки зрения русскому гораздо легче прослыть за англичанина в России, нежели в Англии. Но в отношении к отдельным личностям еще могут быть странные исключения, в отношении же к народам никогда. Доказательством могут служить те славянские племена, которых исторические судьбы были тесно связаны с судьбами Западной Европы: Чехия отовсюду окружена тевтонским племенем; властителями ее в течение целых столетий были немцы; развилась она, вместе с ними, на почве католицизма и упредила их и словом и делом религиозного обновления — и что ж? — Чехи до сих пор славяне, до сих пор — не только не германцы, но и не совсем европейцы. . .

Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы, в деле литературы, чисто-русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни наших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего «не-русским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего, — вследствие этого лапотно-сермяжного мнения, какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь площадной роман, в роде «Разгуля купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако тем не менее национально-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тем не менее русское, но не национальное произведение. . . Нет, и тысячу раз нет! Пора, наконец, вооружиться против этого мнения всюю силою здравого смысла, всюю энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдо-классическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдо-классического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдо-романтического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе, и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно-шекспировская черта, — а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность<sup>2</sup>. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, рус-

ский поэт может себя показать истинно-национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, на-половину прикрывшейся прежде-чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами»<sup>4</sup>. Разгадать тайну народной психики — для поэта значит уметь равно быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни, — тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, — значит оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как *Горе от ума* и *Мертвые души*, но и такие, как *Герой нашего времени*, суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания.

И первым таким национально-художественным произведением был *Евгений Онегин* Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло, и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостью. И такая смелость была бы менее-удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, — такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на русском языке было одно прекрасное (по своему времени) произведение, в роде повести в стихах: мы говорим о *Модной жене* Дмитриева; но между ею и *Онегиным* нет ничего общего уже потому только,

что *Модную жену* так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально-русское произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, *Граф Нулин*; но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде *Онегина* создана Байроном; по крайней мере, манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к самому себе и, особенно, это слишком ощутительное присутствие лица поэта в созданном им произведении, — все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного соержания совсем не то, что самому изобрести ее, — тем не менее, при сравнении *Онегина* Пушкина с *Дон-Хуаном*, *Чайльд-Гарольдом* и *Бенно* Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ими и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и тени какого-либо сходства<sup>5</sup>. Пушкин писал о России для России, — и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно-противоположной натуре Байрона, и своему художественному инстинкту, он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это — и толпа превознесла бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его ложный *tour de force*<sup>6</sup>. Но, повторяем, Пушкин, как поэт, был слишком-велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непечатаю и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его *Онегин* — в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова — *Горе от ума*<sup>\*</sup>, стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской поэзии, новой русской литературе. До этих

\* *Горе от ума* было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано *вчерне*. По возвращении в Россию в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе *Талия*, в 1825 году. Первая глава *Онегина* появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы.

двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни; за Крыловым и, наконец, за Фонвизиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно-важные, комедии Грибоедова, — она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык — все насквозь проникнуто глубокою истинною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано *Горе от ума*, — в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям. То же можно сказать и в отношении к *Онегину*, хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, тогда как *Горе от ума* до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведениям, — но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе — стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно-далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с *Онегиным* Пушкина его *Горе от ума* было первым образцом поэтического изображения русской

действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без *Онегина* был бы невозможен *Герой нашего времени*, так же, как без *Онегина* и *Горя от ума* Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до *Онегина* и *Горя от ума*, еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнью; это — исковерканные французские характеры, прикрывавшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одиночками, как и *Горе от ума*. Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм — за европеизм; другими словами: в том, что *народность* смешивают с *простонародностью*, и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то-есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, — того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами, и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя:

С кого они портреты пишут?  
Где разговоры эти слышат?  
А если и случилось им,  
Так мы их слышать не хотим?

Таланты этого рода — плохие мыслители; фантазия у них развита на счет ума. Они не понимают, что *тайна национальности* каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так-сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, — а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество. У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо

изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь парод, тот прежде всего должен изучить его — в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как, например, *авось* и *живет*, а, между тем, они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало *Онегина* и *Горе от ума* произведениями оригинальными и чисто-русскими.

Содержание *Онегина* так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добратся до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского — говоря нынешним языком — льва, который, наскучив светскою жизнью, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за *генерала*, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уж нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может — по гордости добродетели. Вот и все содержание *Онегина*. Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы — этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холодностию на ее страстное признание; но, когда она стала женщиною, он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль влюбленной в него девушке вместо того, чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому, и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их родительского благословения навеки-нерушимого, совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком.

Потом: Онегин ни за что убивает бедного Ленского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами — и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об *Онегине* многие из «почтеннейших читателей», по крайней мере, нам случалось слышать много таких суждений, которые во время оно бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в *Онегине* нет целого, что это — просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем<sup>8</sup>. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта:

Промчалось много, много дней  
С тех пор, как юная Татьяна  
И с ней Онегин в *смутном сне*  
*Являлись* впервые мне —  
И даль свободного романа  
Я сквозь магический кристалл  
*Еще неясно различал.*

Великий критик не догадался, что поэт, благодаря своему творческому инстинкту, мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается — на картине потерявшегося, после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо них просто людей.

Мы начали статью с того, что *Онегин* есть поэтически-верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась во-время, т.-е. именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее — общество. Вследствие реформы Петра Великого, в России должно было образоваться общество, совершенно-отдельное от массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества: чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, *жалованною грамотою*, определила в 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно-новый характер вельможеству — единственному сословию, которое при Екатерине II достигло высшего своего развития и

было просвещенным, образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под словом *возникать* мы разумем слово *образовываться*. В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью, как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и рисование тоже входили у него, как необходимость, в план воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович — эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее — у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и *светская*, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, — то Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла, как элемент, в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на *Лизин пруд*, чтоб *слезою чувствительности* почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, острою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сантиментальность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту сантиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого, и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо-важнее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, *сословие* превратила в *общество*. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования

всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов, гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспевание в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясший всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл ей новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества, и к которому принадлежал сам, — и в *Онегине* он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество, в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, т.-е. в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество: мы смотрим на *Онегина*, как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени. . . *Герой нашего времени* был новым *Онегиным*: едва прошло четыре года, — и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки *Онегина* суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом — «старо»; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в *Онегине* ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, — это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней

изображено не действительно-существовавшее, а воображаемое общество: в таком случае, что ж бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?..

Мы уже коснулись содержания *Онегина*: обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, — в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин — отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин — светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, — мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и не света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений, — светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда, но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мелкого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда, а разве в несветской жизни — одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда, но они не были и ни купцами, ни мещанами — они были просто людьми, так же точно, как и Байрон — аристократ и светский человек — своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки — большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека<sup>9</sup>. И что же тут дурного? Высший круг

общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским — этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных; но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина; но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, — тем более, что мы решительно неспособны поддерживать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Колумба во всей Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вследствие этого, Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, —

Вздыхать и думать про себя:  
Когда же чорт возьмет тебя?

Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был *Онегин* для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, — с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж, не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и не-светских): нет, вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не-шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того, ни с сего выздороветь: куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к *Онегину*. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже —

... равно зевал  
Средь модных и старинных зал,

и между почтенным помещиком, который в глуши своей деревни

Лет сорок с ключницей бранился,  
В окно смотрел и мух давил?

Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель — не дядя, а закон, права наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, страдающего и нежного родственника при смертном одре совершенно-чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если почему бы то ни было вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к чорту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, — в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой, тяжелой торжественности в выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего — манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера — отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, *по их мнению*, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем, как кошка с собакою, и что она радехонька его смерти, и сама она очень-хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастья, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверг ее свою кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? — как этот господин благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые горькой, неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом, — и если иные под рукою смеются, зато другие от души *сокрушаются*. И — повторяем — это и не глупость и не расчетливое лицемерство: это просто — принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других:

Да из чего же вы беснуетесь столько?

Мало того: они считают за грех подобный вопрос; а если бы решились сделать его, то сами над собою расхохотались бы.

Им невдогад, что если тут есть о чем грустить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все так усердно и так искренно разыгрывают.

Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением не в одном эстетическом отношении был для нашей публики *Онегин* Пушкина, и какими новыми, смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полу-мысли, — приведем из него этот куплет:

Гм! гм! читатель благородный,  
Здорова ль ваша вся родня?  
Позвольте: может быть, угодно  
Теперь узнать вам от меня,  
Что значат именно *родные*?  
Родные люди вот какие:  
Мы их обязаны ласкать,  
Любить, душевно уважать  
И, по обычаю народа,  
О рождестве их навещать,  
Или по почте поздравлять,  
Чтоб в остальное время года  
О нас не думали они...  
Итак, дай бог им долги дни!

Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемерство, о котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имени, и часто питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает ничем иным, как правом — бедному подличать перед богатым из подачки, богатому — презирать докучного бедняка и отделяться от него ничем; равно богатым — завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же — право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни поступите вы, как человек с характером и с чувством своего человеческого достоинства — везде вы оскорбите принцип родства. Вздумали вы жениться — просите совет; не попросите его — вы опасный мечтатель, вольнодумец; попросите — вам укажут невесту; жёнитесь на ней и будете несчастны — вам же скажут: «то-то же, братец, вот какво без оглядки-то предпринимать такие важные дела; я ведь говорил...» Жёнитесь по своему выбору — еще хуже беда. Какие еще права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник — и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению: слу-

чилась с вами беда, — и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить эту новость, порицая и браня вас за глаза — ведь известно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново, но то беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу, остановится не у них; а остановись она у них, — они же будут не рады; но, ропща, бранясь и всем жалуясь под-рукою, они перед родственною семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово — опять остановиться у них и вытеснить их, во имя родства, из их собственного дома. Что это значит? Совсем не то, чтобы родство у подобных людей существовало, как *принцип*, а только то, что оно существует у них, как *факт*: внутренно, по убеждению, никто из них не признаёт его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают.

Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно, — и на него осердились, его называли безнравственным; стало быть, если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не существует, т. е. неверно и ложно, — его похвалили бы. Все это значит ни больше, ни меньше, как то, что нравственна одна ложь и неправда... Вот к чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в *Онегине*! Многие из них теперь и не новы и даже не очень глубоки; но если бы Пушкин не сказал их *двадцать* лет назад, они теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие теперь истины. Он бы мог насказать истин более-безусловных и более-глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл.

Большая часть публики совершенно отрицала в *Онегине* душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека. Этого мало: многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит — имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в *Онегине* чувства, а только охолодила к бесплодным страстям

и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:

Условий света свергнув бремя,  
 Как он, отстав от суеты,  
 С ним подружился я в то время.  
 Мне нравились его черты,  
 Мечтам невольная преданность,  
 Неподражательная странность  
 И резкий, охлажденный ум.  
 Я был озлоблен, он угрюм,  
 Страстей игру мы знали оба:  
 Томила жизнь обонх нас;  
 В обоих сердца жар погас;  
 Обоих ожидала злоба  
 Слепой фортуны и людей  
 На самом утре наших дней.  
 Кто жил и мыслил, тот не может  
 В душе не презирать людей;  
 Кто чувствовал, того тревожит  
 Призрак невозвратимых дней:  
 Тому уж нет очарований,  
 Того змея воспоминаний,  
 Того раскаянье грызет.  
 Все это часто придает  
 Большую прелесть разговору.  
 Сперва Онегина язык  
 Меня смущал; но я привык  
 К его язвительному спору,  
 И к шутке с желчью пополам,  
 И к злости мрачных эпиграмм.  
 Как часто летнею порою,  
 Когда прозрачно и светло  
 Ночное небо над Невоею,  
 И вод веселое стекло  
 Не отражает лик Дианы,  
 Вспомня прежних лет романы,  
 Вспомня прежнюю любовь,  
 Чувствительны, беспечны вновь,  
 Дыханьем ночи благосклонной  
 Безмолвно упивались мы!  
 Как в лес зеленый из тюрьмы  
 Перенесен колодник сонлою,  
 Так уносились мы мечтой  
 К началу жизни молодой.

Из этих стихов мы ясно видим по крайней мере то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия, и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет: все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей природы, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим

собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого просят они от нее — корма, поила, тепла, да кой-каких игрушек, способных тенить пошлое и мелкое самолюбие. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства *нарядною печалью*) свойственно только людям, которые, желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание в (VII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов.

В которых отразился век  
И современный человек  
Изображен довольно верно  
С его безнравственной душой,  
Себялюбивой и сухой,  
Мечтанью преданный безмерно,  
С его озлобленным умом,  
Кипящим в действии пустом.

Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкой кивает на Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.

Связь с Ленским — этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей.

Но правил нет без исключений:  
Иных он очень отличал,  
И *вчуже* чувство уважал.

Он слушал Ленского с улыбкой:  
Поэта пылкий разговор,  
И ум, еще в сужденьях зыбкий,  
И вечно вдохновенный взор, —  
Онегину все было ново;  
Он охладительное слово  
В устах старался удержать,  
И думал: глупо мне мешать  
Его минутному блаженству;  
И без меня пора придет,  
Пускай покамест он живет  
Да верит мира совершенству;  
Простим горячке юных лет  
И юный жар, и юный бред.

Меж ними все рождало споры  
И к размышлению влекло.  
Племен минувших договоры,

Плоды наук, добро и зло,  
И предрассудки вековые,  
И гроба тайны роковые,  
Судьба и жизнь, в свою чреду,  
Все подвергалось их суду.

Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина, как человека, произошли от грубой неспособности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос.

Чудак печальный и опасный,  
Созданье ада иль небес,  
Сей ангел, сей надменный бес,  
Что ж он? — Ужели полражанье,  
Ничтожный призрак, иль еще  
Москвич в гарольдовом плаще;  
Чужих причуд истолкованье.  
Слов модных полный лексикон?..  
Уж не пародия ли он?..

Все тот же ль он, иль усмирился?  
Иль корчит так же чудака?  
Скажите, чем он возвратился?  
Что нам представит он пока?  
Чем ныне явится? Мельмотом,  
Космополитом, патриотом,  
Гарольдом, квакером, ханжой,  
Иль маской щегольнет иной?  
Иль просто будет добрый малый,  
Как вы да я, как целый свет?  
По крайней мере мой совет:  
Отстать от моды обветшالой.  
Довольно он морочил свет..  
— Знаком он вам? — «И да, и нет».

— Зачем же так неблагоприятно  
Вы отзываетесь о нем?  
За то ль, что мы неутомно  
Хлопочем, судим обо всем,  
*Что пылких душ неосторожность  
Самолюбивую ничтожность  
Иль оскорбляет, иль смешит;  
Что ум, любя простор, теснит;  
Что слишком часто разговоры  
Принять мы рады за дела,  
Что глупость ветрена и зла,  
Что важным людям важны вздоры,  
И что посредственность одна  
Нам по плечу и не странна?*

Блажен, кто смолоду был молод,  
Блажен, кто во-время созрел,  
Кто постепенно жизни холод  
С летами вытерпеть умел.  
Кто странным сном не предавался;  
Кто черни светской не чуждался;  
Кто в двадцать лет был фронт иль хват,  
А в тридцать выгодно женат;  
Кто в пятьдесят освободился

От частных и других долгов;  
 Кто славы, денег и чинов  
 Спокойно в очередь добился;  
 О ком твердили целый век:  
 N. N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно  
 Была нам молодость дана,  
 Что изменяли ей всечасно,  
 Что обманула нас она;  
 Что наши лучшие желанья,  
 Что наши свежие мечтанья  
 Истлели быстрой чередой,  
 Как листья осенью гнилой.  
 Несносно видеть пред собою  
 Одних обедов длинный ряд,  
 Глядеть на жизнь, как на обряд,  
 И вслед за чинною толпою  
 Итти, не разделяя с ней  
 Ни общих мнений, ни страстей.

Эти стихи — ключ к тайне характера Онегина. Онегин — не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто «добрый малый, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалую модою» везде находить или везде искать все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин — добрый малый, но, при этом, недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И зато-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком-хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим; он скоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды — воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств.

Два дня ему казались новы .  
 Уединенные поля,  
 Прохлада сумрачной дубровы,  
 Журчанье тихого ручья;  
 На третий — рощи, холм и поле  
 Его не занимали боле,  
 Потом уж наводили сон;  
 Потом увидел ясно он,  
 Что и в деревне скука та же,  
 Хоть нет ни улиц, ни дворцов,  
 Ни карт, ни балов, ни стихов.

Хандра ждала его на страже,  
И бегала за ним она,  
Как тень иль верная жена.

Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова *эгоист*, — и так как избыток чувства, потребность изящного не исключает эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин — *страдающий эгоист*. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда — люди без всяких заносчивых или мечтательных притязаний; они не понимают, как может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам; если их дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если их дела идут хорошо, они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только полезных, даже и вовсе-беспользных им людей. Это эгоисты по натуре или по причине дурного воспитания. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают толсты и румяны; по большей части это народ больной, всегда скупающий. Бросаясь всюду, везде ища то счастья, то рассеяния, они нигде не находят ни того, ни другого с той минуты, как обольщения юности оставляют их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближних; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастья, то развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. Если подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для каждого из его членов стремиться своею деятельностью к осуществлению идеала истины и блага, — о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые элементы, сделали их эгоистами. Но наш Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно назвать *эгоистом поневоле*; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли «*fatum*». Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? — Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать...

Один среди своих владений,  
Чтоб только время проводить,  
Сперва задумал наш Евгений  
Порядок новый учредить.  
В своей глуши мудрец пустынный  
Ярем он барщины старинной  
Оброком легким заменил.  
Мужик судьбу благословил.  
Зато в углу своем надулся,  
Увидя в этом страшный вред,  
Его расчетливый сосед;  
Другой лукаво улыбнулся,  
И в голос все решили так,

Что он опаснейший чудаки.  
 Сначала все к нему езжали;  
 Но так как с заднего крыльца  
 Обыкновенно подавали  
 Ему донского жеребца,  
 Лишь только вдоль большой дороги  
 Заслышат их домашни дроги:  
 Поступком оскорбься таким,  
 Все дружбу прекратили с ним.  
 «Сосед наш неуч, сумасбродит,  
 «Он — фармазон; он пьет одно  
 «Стаканом красное вино;  
 «Он дамам к ручке не подходит;  
 «Все да да нет, не скажет да-с  
 «Иль нет-с». Таков был общий глас.

Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых близких? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Есть люди, которым если удастся что-нибудь сделать порядочное, они с самодовольствием рассказывают об этом всему миру, и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегин был не из таких людей: важное и великое для многих, для него было не бог знает чем.

Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает; из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, — тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем, как Онегин зевал — *по привычке*, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, — в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, и еще более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не на-

ходим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос, почему влюбился, или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился, — такой вопрос мы считаем немного-слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы — правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвергает элемент чисто-непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько-тривьяльной, но чрезвычайно-выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше ясного сокола», — кто отвергает это, тот не понимает любви. Если б выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди, кажется, созданные один для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо несколько себе не под-пару. Поэтому Онегин имел полное право, без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания; но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа младенчески-чиста, что ее страсть детски-простодушна, и что она несколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны:

Язык девических мечтаний  
 В нем думы роem возмутил.  
 И вспомнил он Татьяны милой  
 И бледный цвет, и вид унылой;  
*И в сладостный, безгрешный сон  
 Душою погрузился он.*

Быть может, чувствий пыл старинной  
 Им на минуту овладел;  
 Но обмануть он не хотел  
 Доверчивость души невинной.

В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметя в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (т.-е. заставил себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободою. Но, если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою

младенчески-прекрасною любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее, значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так изъясняется на этот счет, говоря о Ленском:

Гимена хлопоты, печали,  
Зевоты кладная чреда  
Ему не снились никогда,  
Меж тем как мы, враги Гимена,  
В домашней жизни зрим один  
Ряд утомительных картин,  
Роман во вкусе Лафонтена.

Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь немного представляла ему обольстительного. Как! Он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, — он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, — он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и блаженство любви!..

Разлученный с Татьяною смертью Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми.

Убив на поединке друга,  
Дожив без цели, без трудов  
До двадцати-шести годов,  
Томясь в бездействии досуга,  
Без службы, без жены, без дел,  
Ничем заняться не умел.  
Им овладело беспокойство,  
Охота к перемене мест  
(Весьма мучительное свойство  
Немногих добровольный вкест).

Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука:

Питая горьки размышленья,  
Среди печальной их семьи,  
Онегин взором сожаленья

Глядел на дымные струи  
 И мыслил, грустью отуманен:  
 Зачем я пулей в грудь не ранен!  
 Зачем не хилый я старик,  
 Как этот бедный откупщик?  
 Зачем, как тульский заседатель,  
 Я не лежу в параличе?  
 Зачем не чувствую в плече  
 Хоть ревматизма? — Ах, создатель!  
 Я молод, жизнь во мне крепка;  
 Чего мне ждать? тоска, тоска!..

Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут в стихах и в прозе, на которое столь много жалуются, как будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание, истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты: один — деньгами, другой — женитьбою, третий — болезнью, четвертый — нуждою и кровавым потом работы, — видеть вокруг себя и веселье, и печаль, и смех, и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти, как о величайшем для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Так думает тухая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнеможеть, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее: так переменилась она!

Она была не тороплива,  
 Не холодна, не говорлива,  
 Без взора наглого для всех,  
 Без притязаний на успех,  
 Без этих маленьких ужимок,  
 Без подражательных затей...  
*Все тихо, просто было в ней,*  
 Она казалась верный снимок  
*Du comme il faut...*

Никто б не мог ее прекрасной  
 Назвать, но с головы до ног  
 Никто бы в ней найти не мог

Того, что модой самовластной  
В высоком лондонском кругу  
Зовется vulgar.

Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами:

. . . . . И всех выше  
И нос и плечи поднимал  
Вошедший с нею генерал, —

муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного *опа* и обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шею у Онегина. Но какое разочарование для них!

Княгиня смотрит на него...  
И что ей душу ни смутило,  
Как сильно ни была она  
Удивлена, поражена,  
Но ей ничто не изменило:  
В ней сохранился тот же тон;  
Был так же тих ее поклон.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,  
Иль стала вдруг бледна, красна...  
У ней и бровь не шевельнулась;  
Не сжала даже губ она.  
Хоть он глядел, нельзя прилежней,  
Но и следов Татьяны прежней  
Не мог Онегин обрести.  
С ней речь хотел он завести  
И — и не мог. Она спросила,  
Давно ль он здесь, откуда он  
И не из их ли уж сторон?  
Потом к супругу обратила  
Усталый взгляд; скользнула вон...  
И недвижим остался он...

Ужель та самая Татьяна,  
Которой он наедине,  
В начале нашего романа  
В глухой, далекой стороне,  
В благом пылу нравоученья  
Читал когда-то наставленья,  
Та, от которой он хранит  
Письмо, где сердце говорит,  
Где все наружу, все на воле,  
Та девочка... иль это сон?...  
Та девочка, которой он  
Пренебрегал в смиренной доле,  
Ужели с ним сейчас была  
Так равнодушна, так смела?

. . . . .  
Что с ним? В каком он странном сне?  
Что шевельнулось в глубине  
Души холодной и ленивой.

Досада? суетность? или вновь  
Забота юности — любовь?

Как изменилася Татьяна!  
Как твердо в роль свою вошла!  
Как утеснительного сана  
Приемы скоро приняла!  
Кто б смел искать девчонки нежной  
В сей величавой, в сей небрежной  
Законодательнице зал?  
И он ей сердце волновал!  
Об нем она во мраке ночи,  
Пока Морфей не прилетит,  
Бывало, девственно грустит,  
К луне подымлет томны очи,  
Мечтая с ним когда-нибудь  
Свершить смиренный жизни путь.

Любви все возрасты покорны,  
Но юным, девственным сердцам  
Ее порывы благотворны,  
Как бури вешние полям.  
В дожде страстей они свежают,  
И обновляются, и зреют, —  
И жизнь могущая дает  
И пышный цвет, и сладкий плод.  
Но в возраст поздний и бесплодный,  
На повороте наших лет,  
Печален страсти мертвый след:  
Так бури осени холодной  
В болото обращают луг  
И обнажают лес вокруг.

Не принадлежа к числу ультра-идеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств, и потому думаем, что *досада* и *суетность* имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им, и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу:

О люди! все похожи вы  
На прародительницу Еву;  
Что вам дано, то не влечет;  
Вас непрестанно змий зовет  
К себе, к таинственному древу;  
Запретный плод вам подавай,  
А без того вам рай не рай.

Мы лучше думаем о достоинстве человеческой природы, и убеждены, что человек рождается не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия; что его стремления справедливы, инстинкты благородны: Зло скрывается не в человеке, но в обществе, — так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется

и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве математических аксиом. До тех же пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренно, существенно — непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и склонности самые священные. Теперь: если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, — последует влечению своего сердца и будет любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители: неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви, — что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? — песня соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? — торжественная песнь соловья, на закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив; вольная песнь жаворонка, который, в безумном упоении чувством бытия, томчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?..

Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума. По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты — и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком-хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света, вопреки мнению мещанских философов; для

гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь, в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, — уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. Ореол светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде, люди бывают двух родов — одни привязываются к формам и в их исполнении видят назначение жизни, это — чернь; другие от света заимствуют знание людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение, как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма:

Нет, поминутно видеть вас,  
 Повсюду следовать за вами,  
 Улыбку уст, движенье глаз  
 Ловить влюбленными глазами,  
 Внимать вам долго, понимать  
 Душой все ваше совершенство,  
 Пред вами в муках замирать,  
 Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

.....  
 Когда б вы знали, как ужасно  
 Томиться жаждою любви,  
 Пылать — и разумом всечасно  
 Смирять волнение в крови;  
 Желать обнять у вас колени,  
 И, зарыдав у милых ног,  
 Излить мольбы, признанья, пени,  
 Всё, всё что выразить бы мог;  
 А между тем, притворным хладом  
 Вооружив и речь и взор,  
 Вести спокойный разговор.  
 Глядеть на вас спокойным взглядом<sup>10</sup>!..

Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице — на нем отражался лишь след гнева... Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать:

И что ж? Глаза его читали,  
 Но мысли были далеко;  
 Мечты, желанья, печали  
 Теснились в душу глубоко.  
 Он меж печатными строками  
 Читал духовными глазами

*Другие строки.* В них-то он  
 Был совершенно углублен.  
 То были тайные преданья  
 Сердечной темной старины,  
 Ни с чем не связанные сны,  
 Угрозы, толки, предсказанья,  
 Иль длинной сказки вздор живой,  
 Иль письма девы молодой.

И постепенно в усыпленье  
 И чувств и дум впадает он,  
 А перед ним воображенье  
 Свой пестрый мечет фараон.  
 То видит он: на талом снеге,  
 Как будто спящий на ночлеге,  
 Недвижим юноша лежит,  
 И слышит голос: Что ж? убит!  
 То видит он врагов забвенных,  
 Клеветников и трусов злых,  
 И рой изменниц молодых,  
 И круг товарищей презренных;  
 То сельский дом — и у окна  
 Сидит она... и все она!..

Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца? — Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные, никому непонятные, даже самим себе, словом, то что по-французски называется *les êtres manqués, les existences avortées*<sup>11</sup>. И эти существа часто бывают одарены большим нравственными преимуществами, большими духовными силами; обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих, тут есть *fatum*, заключающийся в действительности, которою окружены они, как воздухом, и из которой не в силах и не во власти человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем Печорина: Пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте; Лермонтовский Печорин бьется на смерть с жизнью и насильно хочет у нее вырвать свою долю; в дорогах — разница, а результат один: оба романа так же без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов...

Что случилось с Онегиным потом? Воскресла ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? — Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой

богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать...

Онегин — характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер, совершенно-противоположный характеру Онегина, характер совершенно-отвлеченный, совершенно-чуждый действительности. Тогда это было совершенно-новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе.

С душою прямо геттингенской,

Поклонник Канта и поэт,  
Он из Германии туманной  
Привез учености плоды:  
Вольнолюбивые мечты,  
Дух пылкий и довольно странный,  
Всегда восторженную речь  
И кудри черные до плеч.

Он пел любовь, любви послушный,  
И песнь его была ясна,  
Как мысли девы простодушной,  
Как сон младенца, как луна  
В пустынях неба безмятежных,  
Богиня тайн и вздохов нежных.  
Он пел разлуку и печаль,  
И нечто и туманну даль,  
И романтические розы;  
Он пел те дальние страны,  
Где долго в лоне тишины  
Лились его живые слезы;  
Он пел поблеклый жизни цвет  
Без малого в восемнадцать лет!

Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадью улана? — Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было, и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое — Ольга была очаровательна, как все «барышни», пока они еще не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею, сильфиду, романтическую мечту, нимало не

подозревая будущей барыни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором, верный себе, без всякой иронии, умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманно-романтических стихах. Мы несколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт,

Был должен оказать себя  
Не мячиком предрассуждений,  
Не пылким мальчиком, бойцом,  
Но мужем с честью и умом,

но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским — верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение:

Друзья мои, вам жаль поэта:  
Во цвете радостных надежд,  
Их не свершив еще для света,  
Чуть из младенческих одежд,  
Увял! Где жаркое волненье,  
Где благородное стремленье  
И чувств, и мыслей молодых,  
Высоких, нежных, удалых?  
Где бурные любви желанья,  
И жажда знаний и труда,  
И страх порока и стыда,  
И вы, заветные мечтанья,  
Вы, призрак жизни неземной,  
Вы, сны поэзии святой!

Быть может, он для блага мира  
Иль хоть для славы был рожден;  
Его умолкнувшая лира  
Гремучий, непрерывный звон  
В веках поднять могла. Поэта,  
Быть может, на ступенях света  
Ждала высокая ступень,  
Его страдальческая тень,  
Быть может, унесла с собою  
Святую тайну, и для нас  
Погиб животворящий глас,  
И за могильною чертою  
К ней не домчится гимн времен,  
Благословение племен.

А может быть и то: поэта  
Обыкновенный ждал удел.  
Прошли бы юношества лета:  
В нем пыл души бы охладел,  
Во многом он бы изменился,  
Расстался б с музами, женился;  
В деревне, счастлив и рогат,  
Носил бы стеганный халат;  
Узнал бы жизнь на самом деле,

Подагру б в сорок лет имел,  
 Пил, ел, скучал, толстел, хилел,  
 И наконец в своей постеле  
 Скончался б посреди детей,  
 Плаксивых баб и лекарей<sup>12</sup>.

Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и во-время для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить — значит развиваться и идти вперед. Это — повторяем — был *романтик*, и больше ничего.

Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах, не хороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров или, если сохраняют навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые<sup>13</sup>. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастье внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и . . . . Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельно-прекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими<sup>14</sup>. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна. . . но мы поговорим о ней в следующей статье.

## СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА.

Санкт-Петербург. Одиннадцать томов. МDCCCXXXVIII—MDCCLXI

Статья девятая<sup>15</sup>

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

(Окончание)

Велик подвиг Пушкина, что он первый, в своем романе, поэтически воспроизвел русское общество того времени, и в лице Онегина и Ленского показал его главную, т.-е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всех состояниях, во всех слоях русского

общества, играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере, до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в *немцев*, — несмотря на все это, пора нам, наконец, признаться, что еще и до сих пор мы — плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готовность жить и умереть для нее до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственного нашего изобретения, а заимствованною. Чего доброго! теперь и *поштенное* купечество с бороною, от которой пахнет *маненько* капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с *хозяйкою*, ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам; но дома... Однако, зачем говорить, что бывает дома? Зачем выносить сор из избы?... Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина — царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины — сами по себе, женщины — сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости; потом встает и с утомленным видом, словно после тяжелой работы, идет в комнату мужчин, как бы для того, чтоб свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества: весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры. Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам нелегко будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в других домах; если они увидят в вас выгодную партию — новая беда, страшнее прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели

успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда же случилось все это? Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете помнить. Отчего все это происходит? — Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют к ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, словом, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях; но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто по-делом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка — не женщина в европейском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как *невеста*. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего *папашу* или за своего *брatца*; еще в колыбели ей говорили и мать, и отец, и сестры, и братья, и мамки, и няньки, и весь окружающий ее люд, что она — невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уж *невеста!*» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только *невесту*? Удивительно ли что, с ранних лет до поздней молодости, иногда даже до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной *idée fixe*: на замужестве, — что выйти замуж — ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает, и что на всякого неженатого мужчину она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом? С восемнадцати лет она начинает уже чувствовать, что она — не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более, что только в одном этом отношении и развиваются ее способности, благодаря урокам «дражайших родителей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упрекает и бранит свою дочь попечительная маменька? — За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее

выгодную партию. Чему она больше всего учит ее? — Кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натуре бедная дочь, она невольно входит в роль, которую ей дала жизнь и в тайнство которой ее так прилежно, так основательно посвящают: Дома ходит она неряхою, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке линючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же нас увидит, кроме дворни, — а для нее стоит ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей, — наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича впопыхах: *гости едут, гости едут!* От этого руки из красных делаются белыми: *затея сельской остроты!* Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, пять лет назад тому спитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под платьем, и его никто не видит, а рядиться — известное дело — надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, наконец тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться: кандидат-невеста — уже действительная невеста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась в него только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее виды. И ей кажется, что она действительно влюблена в него. Болезненное стремление к замужеству и радость достижения способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, которое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о браке. Притом же, когда дело к спеху и торопят, то поневоле влюбитесь сразу, не имея времени спросить себя, точно ли вы любите, или вам только кажется, что любите... Но «дражайшие родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замуж: подготовить же ее к состоянию замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности — они не подумали. И хорошо сделали: нет ничего бесполезнее и даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются, в глазах ученика, всею совокупностию окружающей его действительности. «Я вам пример, сударыня!» — беспрестанно повторяет диктаторским тоном мать своей дочери. И дочь преспокойно копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж — человек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них как полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелепо, грязно, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед большими праздниками (и тогда в доме подымается возня, делается вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная, слуг бездна, а нё у кого допроситься стакана воды, нёкому подать вам чашку чаю...

А недавняя невеста, теперь молодая дама? — О, она живет в «полном удовольствии»! она наконец достигла цели своей жизни; она уже не сирота, не приемыш, не лишнее бремя в родительском доме; она хозяйка у себя дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою: едет куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже не нужно более притворяться то невинною овечкою, то кротким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки, повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: карета — не карета, шаль — не шаль, дорогих игрушек вдоволь; она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и перезакладывать имение. . . Дитя нового поколения, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полу-опрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные, комнаты напоказ; полное торжество грязи может быть только в спальней, в детской, в кабинете мужа, — словом, во внутренних комнатах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно гости, возле нее беспрестанно кружок; но она пленяет гостей своих не светским умом, не грациею своих манер, не очарованием своего увлекательного разговора, — нет, она только старается показать им, что у нее всего много, что она богата, что у ней все лучшее — и убранство комнат, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она, немного. . . Содержание разговоров составляют сплетни и наряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество — что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей своих? — Да точно так же, как сама была воспитана своею маменькою: пока малы — они прозябают в детской, среди мамок и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое должно внушить им первые правила нравственности, развить в них благородные инстинкты, объяснить им различие домового от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные приметы, рассказать всевозможные истории о мертвецах и оборотнях, выучить их браниться и драться, лгать не краснея, приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они подросли: тогда отец делай что хочешь с мальчиками, а девочек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски — и воспитание кончено; тогда им одна наука, одна забота — ловить женихов.

Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хотя и не бедного, но живущего немного выше своего состояния, посредством умения строгим порядком сводить концы с концами: тогда горе ее мужу. Она в своей деревне никогда ничего не делала (потому что *барышня* ведь не *холопка* какая-нибудь, чтоб

стала что-нибудь делать), ничем не занималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота, опрятность в доме, — этого она нигде не видела, об этом она ни от кого не слышала. Для нее выйти замуж — значит сделаться барыней; стать хозяйкою значит повелевать всеми в доме и быть полною госпожею своих поступков. Ее дело — не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете вы право требовать от нее, чтоб она была не тем, чем сами же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родителей? Разве не вы сами сделали из женщины только песту и жону, и ничего боле? Разве когда-нибудь подходили вы к ней бескорыстно, просто, без всяких видов, для того только, чтоб насладиться этим ароматом, этою гармониею женственного существа, этим поэтическим очарованием присутствия и сообщества женщины, которые так кротко, успокоительно и обаятельно действуют на жесткую натуру мужчины. Желали ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы совсем не влюблены, сестру в женщине, вам посторонней? — Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с женщиною, то потому только, что мужчинам танцовать с мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда с положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческий: она для вас — капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска.

Конечно, из всего этого бывают исключения; но общество состоит из общих правил, а не из исключений, которые всего чаще бывают болезненными наростами на теле общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждают собою наши так называемые «идеальные девы». Они, обыкновенно, страстные любительницы чтения и читают много и скоро, едят книги. Но как и что читают они, боже великий!.. Всего достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им большую пользу. Все они обожательницы Пушкина, — что, однакож, не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; иные из них с удовольствием читают даже Гоголя, — что, однакож, несколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого. Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит их с ума. Но во всем этом они видят свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, т.-е. идеальность, — видят ее даже и там, где ее вовсе нет, или где она осмеивается. У всех у них есть заветные тетрадки, куда они списывают стишки, которые им понравятся, мысли, которые поразят их в книге. Они любят гулять при луне, смотреть на

звезды, следить за течением ручейка. Они очень склонны к дружбе, и каждая ведет деятельную переписку с своей приятельницею, которая живет с нею в одной деревне, а иногда и в одном доме, только в разных комнатах. В переписке (огромными тетрадищами) сообщают они друг другу свои чувства, мысли, впечатления. Сверх того, каждая из них ведет свой дневник, весь наполненный «выписными чувствами», в которых (как во всех дневниках идеальных и внутренних натур мужеска и женска пола) нет ничего живого, истинного, только претензии и идеальничанье. Они презирают толпу и землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у них часто простирается до желанья вовсе отрешиться от материи. Для этого они морят себя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке пальцы, кладут себе на грудь под платье снегу, пьют уксус и чернила, отучают себя от сна, — и этим стремлением к высшему, идеальному существованию до того успевают расстроить свои нервы, что скоро превращаются в одну живую и самую материальную болячку... Ведь крайности сходятся! Все простые человеческие, и особенно, женские чувства, как, например, страстность, способная к увлечению чувств, любовь материнская, склонность к мужчине, в котором нет ничего необыкновенного, гениального, который не гоним несчастием, не страдает, не болен, не беден, — все такие простые чувства кажутся им пошлыми, ничтожными, смешными и презренными. Особенно интересны понятия «идеальных дев» о любви. Все они — жрицы любви, думают, мечтают, говорят и пишут только о любви. Но они признают только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Брак есть профанация любви в их глазах; счастье — опошление любви. Им непременно надо любить в разлуке, и их высочайшее блаженство — мечтать при луне о предмете своей любви и думать: «может быть, в эту минуту и *он* смотрит на луну и мечтает обо мне; так для любви нет разлуки!» Жалкие рыбы с холодной кровью, идеальные девы считают себя птицами; плавая в мутной воде искусственной нервической экзальтации, они думают, что парят в облаках высоких чувств и мыслей. Им чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», они любят только себя, они и не подозревают, что только тешат свое мелкое самолюбие трескучими шутихами фантазии, думая быть жрицами любви и самоотвержения. Многие из них не прочь бы и от замужества, и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения, и из идеальных дев скоро делаются самыми простыми бабами; но в иных способность обманывать себя призраками фантазии доходит до того, что они на всю жизнь остаются восторженными девственницами, и таким образом до семидесяти лет сохраняют способность к сантиментальной экзальтации, к нервическому идеализму. Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно образумливаются; но

прежнее их ложное направление навсегда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и счастье. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии они создают свой идеал брачного счастья, — и когда увидят невозможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования.

Идеальными девами всех родов бывают по большей части девицы, которых развитие было предоставлено им же самим. И как винить их в том, что вместо живых существ из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности. А, между тем, самобытное, не на почве действительности, не в сфере общества совершающееся развитие всегда доводит до уродства. И таким образом им предстоят две крайности: или быть пошлыми на общий манер, быть пошлыми, как все, или быть пошлыми оригинально. Они избирают последнее, но думают, что с земли перепрыгнули за облака, тогда как в самом-то деле только перевалились из положительной пошлости в мечтательскую пошлость. И что всего грустнее: между подобными несчастными созданиями бывают натуры, не лишённые истинной потребности более или менее человечески-разумного существования и достойные лучшей участи.

Но среди этого мира нравственно-увечных явлений изредка удаются истинно-колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подзревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом, как очистительная жертва за его собственные грехи. . . Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Лариных. Отец — не то, чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен; не то, чтоб человек, да и не зверь, а что-то в роде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы — растительному и животному.

Он был простой и добрый барин,  
И там, где прах его лежит,  
Надгробный памятник гласит:  
*Смиренный грешник. Дмитрий Ларин,*  
*Господний раб и бригадир,*  
*Под камнем сим вкушает мир.*

Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолжением того же самого мира, которым *добрый барин* наслаждался при жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, в жизни

и счастья которых смерть не производит равно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливицев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни, сравнительно с своим супругом. До замужества она обожала Ричардсона не потому, чтоб прочла его, а потому, что от своей московской кузины слышала о Грандисоне. Помолвленная за Ларина, она тайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как постигла тайну самовластно управлять мужем.

Она езжала по работам,  
Солила на зиму грибы,  
Вела расходы, брила лбы,  
Ходила в баню по субботам,  
Служанок била осердясь,  
Все это мужа не спросясь.

Бывало, писывала кровью  
Она в альбомы нежных дев,  
Звала Полиною Прасковью  
И говорила нараспев;  
Корсет носила очень узкий,  
И русский Н, как N французский,  
Произносить умела в нос.  
Но скоро все перевелось:  
Корсет, альбом, княжну Полину,  
Стишков чувствительных тетрадь  
Она забыла; стала звать  
*Акулькой* прежнюю *Селину*  
И обновила наконец  
На вате шлафор и чепец.

Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые миллионы людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями:

Под вечер иногда сходилась  
Соседей добрая семья,  
Неперемонные друзья,  
И потужить, и позлословить,  
И посмеяться кой о чем.

Их разговор благоразумный  
О сенокосе, о вине,  
О псарне, о своей родне,  
Конечно, не блистал ни чувством,  
Ни поэтическим огнем,  
Ни острою, ни умом,  
Ни общежития искусством;  
Но разговор их милых жен  
Еще был менее учен <sup>16</sup>.

И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга, — сестра Татьяны, Ольга, и жених последней, Ленский. Но и не этим существам было понять Татьяну. Она лю-

била их просто, сама не зная за что, частью по привычке, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуре и могла ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менее Ленского могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычке, и которое все зависело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за улана, и из грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно-влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же; портрет ее в детстве, так мастерски-написанный поэтом, впоследствии является только развившимся, но не изменившимся.

Дика, печальна, молчалива,  
 Как лань лесная боязлива,  
 Она в семье своей родной  
 Казалась девочкой чужой.  
 Она ласкаться не умела  
 К отцу, ни к матери своей;  
 Дитя сама, в толпе детей  
 Играть и прыгать не хотела,  
 И часто целый день одна  
 Сидела молча у окна.

Задумчивость была ее подрукою с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды были детские шалости; ей был скучен и шум и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь ее.

Она любила на балконе  
 Предупреждать зари восход,  
 Когда на бледном небосклоне  
 Звезд исчезает хоровод,  
 И тихо край земли светлеет,  
 И, вестник утра, ветер веет,

И всходит постепенно день.  
 Зимой, когда ночная тень  
 Полмиром доле обладает,  
 И доле в праздной тишине,  
 При отуманенной луне,  
 Восток ленивый почивает,  
 В привычный час пробуждена,  
 Вставала при свечах она.

Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние — чтению романов, — и это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время! Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна — это редкий прекраснейший цветок, случайно выросший в расщелине дикой скалы.

Незнаемый в траве глухой  
 Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки, в роде господ Пыхтина, Буянова, Петушкова и тому подобных? Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно-пошлых, которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответность в отношении к будущему мужу — качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей всего менее могли оценить Татьяну. Надобно сказать, что все эти срединные существа, занимающие место между высшими натурами и чернию человечества, эти *таланты*, служащие связью *гениальности с толпою*, по большей части — все люди «идеальные», под стать идеальным девам, о которых мы говорили выше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены страстей, чувств, высоких стремлений, но в сущности все дело заключается в том, что у них фантазия развита на счет всех других способностей, преимущественно рассудка. В них есть чувство, но еще больше сантиментальности и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно толковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесовскую пятку, — это то, что в них нет страстей, за исключением только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивается в них тем, что они бездейтельно и бесплодно погружены в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры

теплые, но так же не холодные, как и не горячие, они действительно обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от всего и ни от чего. Поэтому они только и толкуют, что о своих пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о страстях, обуревающих их сердце, не подозревая, что все это действительно буря, но только не на море, а в стакане воды. И нет людей, которые бы менее их способны были оценить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека глубоко-чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень *странное* существо, и что, во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное — не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных в особенности? . . . Если вы сосредоточены в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня, — мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце и оставят при вас один ум, особенно, если вы имеете склонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было из целомудренного желанья замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять. . .

Повторяем: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастья взаимности любовь такой женщины — ровное, светлое пламя; в противном случае — упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдавалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрашием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубоких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так сказать, общие черты ее личности. Взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят

человека от влияния общества, нигде не скрывается, нигуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. По этому же самому у нас так-мало истинных и так-много *книжных, вычитанных* чувств, страстей и стремлений; словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу; в нем наше спасение и участь нашей будущности; но в нем же, с другой стороны, и много вреда, так же, как и много пользы для настоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно; потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покррой платья, не образованность, а привилегия. Оно началось так же, как и наша литература: копированием иностранных форм без всякого содержания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были в состоянии. Были у французов трагедии: давай и мы писать трагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совместил и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять тот же г. Сумароков, по словам его современников, своими притчами далеко обогнал Лафонтена. Таким же точно образом, в самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Горациями, Анакреонами, Гомерами, Виргилиями и т. п. Иностранные произведения все наполнены были любовными чувствами, любовными приключениями, и мы давай тем же наполнять наши сочинения. Но там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь и поэзию общества: у нас любовь вошла только в книгу, да в ней и осталась. Это более или менее продолжается и теперь. Мы любим читать страстные стихи, романы, повести, и теперь подобное чтение не считается предосудительным даже и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и иногда недурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о ней у нас любят многие; но любить... Это дело другого рода! Оно, конечно, если с позволения родителей, если страсть может увенчаться законным браком, то почему же и не любить! Многие не только не считают этого излишним, но даже считают необходимым, и, женись на приданом, толкуют о любви... Но любить потому только, что сердце жаждет любви, любить без надежды на брак, всем жертвовать увлекающему пламени страсти — помилуйте, как можно! ведь это значит сде-

лать «историю», произвести скандал, стать сказкою общества, предметом оскорбительного внимания, осуждения, презрения; сверх того, приличие, правила нравственности, общественная мораль... А! так вы люди, сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачем же вы противоречите себе своею охотою к стихам и романам, своею страстью к патетической драме? — Но то поэзия, а то жизнь: зачем мешать их между собою, пусть каждая идет своею дорогою: пусть жизнь дремлет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами. — Вот это другое дело!..

Но худо то, что из этого другого дела необходимо родится третье, довольно-уродливое. Когда между жизнью и поэзией нет естественной, живой связи, тогда из их враждебно-отдельного существования образуется поддельно-поэтическая и в высшей степени болезненная, уродливая действительность. Одна часть общества, верная своей родной апатии, спокойно дремлет в грязи грубо материального существования; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнью. Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней соображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть душа жизни: итак — надо любить! Силлогизм верен, само сердце за него вместе с умом! И вот наш идеальный юноша или наша идеальная дева ищет, в кого бы влюбиться. По долгом соображении, в каких глазах больше поэзии, — в голубых или черных, предмет наконец избран. Начинается комедия — и пошла потеха! В этой комедии есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и блаженство, и объяснение, — все, кроме истины чувства... Удивительно ли, что последний акт этой шутовской комедии всегда оканчивается разочарованием, и в чем же? — в собственном своем чувстве, в своей способности любить?... А, между тем, подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила доброго, благородного и умного помещика манчешского сделаться рыцарем дон-Кихотом, надеть бумажную кольчугу, взобраться на тощего Россинанта и пуститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею; мимоходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколениями от двадцатых годов до настоящей минуты сколько было у нас разных дон-Кихотов? У нас были и есть дон-Кихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства и еще бог знает чего, всего не перечесть! Выше мы говорили об идеальных девах; а сколько можно сказать интересного об идеальных юношах! Но предмет так богат и неистощим, что лучше не касаться его, чтоб совсем не потерять из виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали,

что она представляет собою колоссальное исключение в мире подобных явлений, — и теперь не отпираемся от своих слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие, — но это не потому, чтоб она вовсе не походила на «идеальных дев», а потому, что ее глубокая, страстная натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны —

Татьяна верила преданьям  
Простонародной старины,  
И спам, и карточным гаданьям,  
И предсказаниям луны.  
Ее тревожили приметы;  
Таинственно ей все предметы  
Провозглашали что-нибудь,  
Предчувствия теснили грудь.

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям,

С печальной думою в очах,  
С французской книжкою в руках.

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению *Мартына Задеки* возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто другое не говорило ее душе; ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали. . . Девические дни ее ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят.

Давно ее воображенье,  
Сгорая негой и тоской,  
Алкало пищи роковой;  
Давно сердечное томленье  
Теснило ей младую грудь;  
Душа ждала. . . кого-нибудь.

И дождалась. Открылись очи;  
Она сказала: *это он!*  
Увы! теперь и дни, и ночи,  
И жаркий, одинокий сон,  
Все полно им; все деде милой  
Без умолку с волшебной силой  
Твердит о нем. . . . .  
. . . . .  
Теперь с каким она вниманьем

Читает сладостный роман,  
 С каким живым очарованьем  
 Пьет обольстительный обман!  
 Счастливой силою мечтанья  
 Одушевленные созданья,  
 Любовник Юлии Вольмар,  
 Малек-Адель и де-Линар,  
 И Вертер, мученик мятежный,  
 И бесподобный Грандисон,  
 Который нам наводит сон,  
 Все для мечтательницы нежной  
 В единый образ облеклись,  
 В одном Онегине слились.

Воображаясь героиней  
 Своих возлюбленных творцов,  
 Кларисой, Юлией, Дельфиной,  
 Татьяна в тишине лесов  
 Одна с опасной книгой бродит:  
 Она в ней ищет и находит  
 Свой тайный жар, свои мечты,  
 Плоды сердечной полноты,  
 Вздыхает, и, себе присвоя  
*Чужой восторг, чужую грусть,*  
 В забвеньи шепчет наизусть  
 Письмо для милого героя...

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де-Линаром и Вертером (Малек-Адель и Вертер: не все ли это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)? — Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Клариссой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее, и в то же время не развитое, наглухо-запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна, как личность, является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте, но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно-немым существом, и ее пылающий и сохнувший язык не обрел бы ни одного живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувства. И хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия, — все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее эзальтированному, аскетическому во-

ображению. . . И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни — все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Онегиным. И она увидела его, и он предстал перед нею молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скупающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, и они ваши; но есть женщины, которых внимание мужчин может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татьяна была из числа таких женщин. . .

Тоска любви Татьяну гонит,  
И в сад идет она грустить,  
И вдруг недвижны очи клонит,  
И лень ей далее ступить:  
Приподнялася грудь, ланиты  
Мгновенным пламенем покрыты,  
Дыханье замерло в устах,  
И в слухе шум, и блеск в очах. . .  
Настанет ночь; луна обходит  
Дозором дальный свод небес,  
И соловей во мгле древес  
Напевы звучные заводит,  
Татьяна в темноте не спит  
И тихо с няней говорит.

Разговор Татьяны с нянею — чудо художественного совершенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною. В ней удивительно-верно изображена *русская барышня* в разгаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? — сестре? — но она не *так* бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну — или, лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны.

. . . «Расскажи мне, няня,  
Про ваши старые года:  
Была ты влюблена тогда?»  
— И полно, Таня! В эти лета  
Мы не слыхали про любовь;  
А то бы согнала со света  
Меня покойница свекровь!  
«Да как же ты венчалась, няня?»

— Так, видно, бог велел. Мой Ваня  
 Моложе был меня, мой свет.  
 А было мне *тринадцать* лет.  
 Недели две ходила сваха  
 К моей родне, и наконец  
 Благословил меня отец.  
 Я горько плакала со страха:  
 Мне с плачем косу расплели,  
 И с пеньем в церковь повели.  
 И вот ввели в семью чужую...

Вот как пишет истинно-народный, истинно-национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривьяльности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенной!.. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи:

И, полно. Таня! В эти лета  
 Мы не знавали про любовь;  
 А то бы согнала со света  
 Меня покойница свекровь<sup>17</sup>.

Как жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопчут о народности — и добиваются одной площадной тривьяльности...

Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный; но его источник не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно исчезла возможность таких наивно-великодушных движений сердца... Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава «Онегина». Мы, вместе со всеми, думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли, и писал, и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостию, чем-то «романтическим». Иначе и быть не могло: язык страстей был так нов и недоступен нравственно-немотствующей Татьяне: она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не прибегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем Татьяна является сама собою:

Я к вам пишу — чего же боле?  
 Что я могу еще сказать?  
 Теперь, я знаю, в вашей воле  
 Меня презреньем наказать.  
 Но вы, к моей несчастной доле  
 Хоть каплю жалости храня,  
 Вы не оставите меня.

Сначала я молчать хотела;  
 Поверьте: моего стыда  
 Вы не узнали б никогда,  
 Когда б надежду я имела  
 Хотя редко, хоть в неделю раз  
 В деревне нашей видеть вас,  
 Чтоб только слышать ваши речи,  
 Вам слово молвить, и потом  
 Все думать, думать об одном  
 И день и ночь до новой встречи.  
 Но, говорят, вы нелюдим,  
 В глуши, в деревне, все вам скучно,  
 А мы... ничем мы не блесним,  
 Хоть вам и рады простодушно.  
 Зачем вы посетили нас?  
 В глуши забытого селенья  
 Я никогда не знала б вас,  
 Не знала б горького мученья,  
 Души неопытной волненья  
 Смирив со временем (как звать?),  
 По сердцу я нашла бы друга,  
 Была бы верная подруга  
 И добродетельная мать<sup>18</sup>.

Прекрасны также стихи в конце письма:

..... Судьбу мою  
 Отныне я тебе вручаю.  
 Перед тобою слезы лью,  
 Твоей защиты умоляю...  
 Вообрази: я здесь одна,  
 Никто меня не понимает,  
 Рассудок мой изнемогает,  
 И молча гибнуть я должна.

Все в письме Татьяны истинно, но не все просто: мы выпи-  
 сали только то, что и истинно и просто вместе. Сочетание про-  
 стоты с истинною составляет высшую красоту и чувства, и дела,  
 и выражения...

Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать  
 Татьяну за ее решимость написать и послать это письмо; видно,  
 что поэт слишком-хорошо знал общество для которого писал...

Я знал красавиц недоступных,  
 Холодных, чистых, как зима,  
 Неумолимых, неподкупных,  
 Непостижимых для ума;  
 Дивился я их спеси модной,  
 Их добродетели природной,  
 И, признаюсь, от них бежал.  
 И, мнится, с ужасом читал  
 Над их бровями надпись ада:  
*Оставь надежду навсегда!*  
 Внушать любовь для них беда,  
 Пугать людей для них отрада,  
 Быть может, на берегах Невы  
 Подобных дам видали вы.

Среди поклонников послушных  
 Других причудниц я видал

Самолюбиво-равнодушных  
 Для вздохов страстных и похвал.  
 И что ж нашел я с изумленьем?  
 Они, суровым поведением  
 Пугая робкую любовь,  
 Ее привлечь умели вновь,  
 По крайней мере, сожаленьем,  
 По крайней мере, звук речей  
 Казался иногда нежней,  
 И с легковерным ослепленьем  
 Опять любовник молодой  
 Бежит за милой суетой.

За что ж виновнее Татьяна?  
 За то ль, что в милой простоте  
 Она не ведает обмана  
 И верит избранной мечте?  
 За то ль, что любит без искусства,  
 Послушная влеченью чувства,  
 Что так доверчива она.  
 Что от небес одарена  
 Воображением мятежным,  
 Умом и волею живой,  
 И своенравной головой,  
 И сердцем пламенным и нежным?  
 Ужели не простите ей  
 Вы легкомыслия страстей!

Кокетка судит хладнокровно;  
 Татьяна любит не шутя  
 И предается безусловно  
 Любви, как милое дитя.  
 Не говорит она: отложим —  
 Любовь мы цену тем умножим,  
 Вернее в сети заведем;  
 Сперва тщеславие кольнем  
 Надеждой, там недоуменьем  
 Измучим сердце, а потом  
 Ревнивым оживим огнем:  
 А то, свучая наслажденьем,  
 Невольник хитрый из оков  
 Всечасно вырваться готов.

Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания его сочинений (стр. 460):

О вы, которые любили  
 Без позволения родных,  
 И сердце нежное хранили  
 Для впечатлений молодых,  
 Для радости, для неги сладкой —  
 Девицы! если вам украдкой  
 Случалось тайную печать  
 С письма любезного срывать,  
 Иль робко в дерзостные руки  
 Заветный локон отдавать,  
 Иль даже молча позволять  
 В минуту горькую разлуки  
 Дрожащий поцелуй любви,  
 В слезах, с волнением в крови: —

Не осуждайте безусловно  
 Татьяны *ветреной* (!) моей;  
 Не повторяйте хладнокровно  
 Решенья чопорных судей.  
 А вы, *о девы без упрека!*  
 Которых даже речь порока  
 Страшит сегодня, как змия —  
 Советую вам то же я:  
 Кто знает? пламенной тоскою  
 Сгорите, может быть, и вы —  
 И завтра легкий суд молвы  
 Припишет модному герою  
 Победы новой торжество:  
 Любви вас ищет божество.

Только едва ли найдет, прибавим мы от себя, прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом — и в чем же? — в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование — что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобию женщины. И всего грустнее в этом то, что перед женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну... И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости. Как выдается вот эта строфа в первой главе «Онегина»:

Причудницы большого света!  
 Всех прежде вас оставил он.  
 И правда то, что в наши лета  
 Довольно скучен высший тон.  
 Хоть, может быть, иная дама  
 Толкует Сея и Бентама;  
 Но вообще их разговор  
 Несносный, хоть невинный вздор.  
 К тому ж они так непорочны,  
 Так величавы, так умны,  
 Так благочестия полны,  
 Так осмотрительны, так точны,  
 Так неприступны для мужчин,  
 Что вид их уж рождает сплин.

Эта строфа невольно приводит нас на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX, стр. 190):

Мороз и солнце — чудный день!  
 Но нашим дамам видно лень  
 Сойти с крыльца и над Невою  
 Блеснуть холодной красотю:  
 Сидят — напрасно их манит  
 Песком усыпанный гранит.  
 Умна восточная система,  
 И прав обычай стариков:  
 Они родились для гарема  
 Иль для неволи.....

Но и на востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадывается и в гаремы. . . Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере, внешняя, а за нею иногда бывает такая не поэтическая поэзия жизни, которою, если воспользуется поэт, то, конечно, уж не для поэмы. . .

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи — характер Татьяны, как представительницы русской женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас — объяснение Онегина с Татьяною в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение — понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глуше и безвыходнее. Несчастье дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастьем, если б оно выпало на их долю. . . И притом в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно-болезненное, причина которого, по слишком-редким и, вероятно, чисто-физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии, слишком развитой на счет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена в пятой главе с удивительною истиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение, —

И в молчаливом кабинете,  
Забыв на время все на свете,  
Осталась наконец одна,  
И долго плакала она.  
Потом за книги принялася.

Сперва ей было не до них;  
*Но показался выбор их*  
*Ей страшен. Чтенью предалася*  
 Татьяна жадною душой:  
*И ей открылся мир иной.*

И . . . . .  
 И начинает понемногу  
 Моя Татьяна понимать  
 Теперь яснее, слава богу,  
 Того, по ком она вздыхать  
 Осуждена судьбою властной. . .

У . . . . .  
 Ужель загадку разрешила,  
 Ужели слово найдено?

Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла, наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и, если жить жизнью сердца, то про себя, в глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней.

... В одно собранье  
 Он едет; лишь вошел... ему  
 Она навстречу. Как сурова!  
 Его не видит, с ним ни слова;  
 У! как теперь окружена  
 Крещенским холодом она!  
 Как удержат негодование  
 Уста упрямые хотят!  
 Вперил Онегин зоркий взгляд:  
 Где, где смятенье, состраданье?  
 Где пятна слез?.. Их нет, их нет!  
 На сем лице лишь гнева след.,  
 Да, может быть, боязни тайной,  
 Чтоб муж иль свет не угадал  
 Проказы, слабости случайной,  
 Всего, что мой Онегин знал. . .

Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегиным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне.

В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою, развитою обществом, — все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота и святость наивных движений благородной природы, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения, и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализовавшего великодушные движения сердца... Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие:

Онегин, помните ль тот час,  
 Когда в саду, в аллее нас  
 Судьба свела, и так смиренно  
 Урок ваш выслушала я?  
 Сегодня очередь моя.  
 Онегин, я тогда моложе,  
 Я лучше, кажется, была,  
 И я любила вас; и что же?  
 Что в сердце вашем я нашла?  
 Какой ответ? Одну суровость.  
 Не правда ль? Вам была не новость  
 Смиренной девочки любовь?  
 И нынче — боже! стынет кровь,  
 Как только вспомню взгляд холодной  
 И эту проповедь...

В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяною в том, что он не полюбил ее *тогда*, как она была *моложе* и *лучше* и любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из плохих сантиментальных романов! Немая деревенская девочка с детскими мечтами — и светская женщина, испытанная жизнью и страданием, обретшая слово для выражения своих чувств и мыслей: какая разница! И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была *моложе* и *лучше*!.. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот упрек, что она тогда нашла со стороны Онегина одну суровость. «Вам была не новость смиренной девочки любовь?» Да это уголовное преступление — не подорожить любовь нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание:

. . . . . Но вас  
 Я не виню: в тот страшный час  
 Вы поступили благородно,  
 Вы были правы предо мной:  
 Я благодарна всей душой...

Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к ее ногам жажда скандальной славы... Во всем этом так и пробивается страх за свою добродетель...

Тогда — не правда ли? — в пустыне,  
 Вдали от суетной молвы,  
 Я вам не нравилась... Что ж ныне  
 Меня преследуете вы?  
 Зачем у вас я на примете?  
 Не потому ль, что в высшем свете  
 Теперь являться я должна;  
 Что я богата и знатна;  
 Что муж в сраженьях изувечен;  
 Что нас за то ласкает двор?  
 Не потому ль, что мой позор  
 Теперь бы всеми был замечен,  
 И мог бы в обществе принести  
 Вам соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани  
 Вы не забыли до сих пор,  
 То знайте: колкость вашей брани,  
 Холодный, строгий разговор,  
 Когда б в моей лишь было власти,  
 Я предпочла б *обидной* страсти  
 И этим письмам и слезам.  
 К моим младенческим мечтам  
 Тогда имели вы хоть жалость,  
 Хоть уважение к летам...  
 А нынче! — что к моим ногам  
 Вас привело? *какая малость!*  
 Как с вашим сердцем и умом  
 Быть чувства мелкого рабом?

В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в большом свете, а в следующих затем представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету... Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне...

А мне, Онегин, пышность эта,  
 Постылой жизни мишура,  
 Мои успехи в вихре света,  
 Мой модный дом и вечера,  
 Что в них? Сейчас отдать я рада  
 Всю эту ветошь маскарада,  
 Весь этот блеск, и шум, и чад  
 За полку книг, за дикий сад,  
 За наше бедное жилище,  
 За те места, где в первый раз,  
 Онегин, видела я вас,  
 Да за смиренное кладбище,  
 Где нынче крест и тень ветвей  
 Над бедной нянею моей...

Повторяем: эти слова так же непритворны и искренни, как и предшествовавшие им. Татьяна не любит света и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она в свете — его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью...

А счастье было так возможно,  
 Так близко!... Но судьба моя

Уж решена. Неосторожно,  
 Быть может, поступила я:  
 Меня с слезами заклинаний  
 Молила мать: для бедной Тани  
 Все были жребии равны...  
 Я вышла замуж. Вы должны,  
 Я вас прошу, меня оставить;  
 Я знаю: в вашем сердце есть  
 И гордость и прямая честь.  
 Я вас люблю (к чему лукавить?),  
 Но я другому отдана,  
 Я буду век ему верна.

Последние стихи удивительны — подлинно *конец венчает дело!* Этот ответ мог бы идти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: *moi!* и старого Горация: *qu'il mourût*<sup>19</sup>. Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому *отдана*, — именно *отдана*, а не *отдалась!* Вечная верность — *кому* и в *чем?* Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственные...<sup>20</sup> Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия — и жизнь, любовь — и брак по расчету, жизнь сердцем — и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить — значит для нее жить, а жертвовать — значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила нам Веру в *Герое нашего времени*, женщину, слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки не захотел бы слить с нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демонической натурой, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц: Татьяна — портрет во весь рост: Вера — не больше, как силуэт. И, несмотря на то, Вера — больше женщина... но зато и больше исключение, тогда как Татьяна — тип русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского, требуют от необыкновенной женщины презрения к общественному мнению. Это ложь: женщина не может презирать общественного мнения, но может им пожертвовать скромно, без фраз, без

самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тяжесть проклятия, которое она берет на себя, повинуюсь другому высшему закону — закону своей природы, а ее натура — любовь и самоотвержение. . .

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству. . . Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика. . . Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности; но принцип класса для него — вечная истина<sup>21</sup>. . . И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование. . . Вспомните описание семейства Лариных во второй главе и особенно портрет самого Ларина. . . Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся. . .

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава была интереснее и зрелее. Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно; притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно потому что в них все превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском, посещение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдается из всего глубиною грустного чувства и дивно-прекрасными стихами. . . Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такою любящею, такою гуманною. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и

в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор... Эти строфы, которые так и просятся в заключение нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам высказать:

Увы! на жизненных браздах,  
Мгновенной жатвой, поколенья,  
По тайной воле провиденья,  
Восходят, зреют и падут;  
Другие им вослед идут...  
Так наше ветреное племя  
Растет, волнуется, кипит  
И к гробу прадедов теснит.  
Придет, придет и наше время,  
И наши внуки в добрый час  
Из мира вытеснят и нас.

Покамест упивайтесь ею,  
Сей легкой жизнью, друзья!  
Ее ничтожность разумею  
И к ней привязан мало я;  
Для призраков закрыл я вежды;  
Но отдаленные надежды  
Тревожат сердце иногда;  
Без неприметного следа  
Мне было б грустно мир оставить.  
Живу, пишу не для похвал;  
Но я бы, кажется, желал  
Печальный жребий свой прославить,  
Чтоб обо мне, как верный друг,  
Напомнил хоть единый звук.

И чье-нибудь он сердце тронет;  
И, сохраненная судьбой,  
Быть может, в Лете не потонет  
Строфа, слагаемая мной;  
Быть может, — лестная надежда! —  
Укажет будущий невежда  
На мой прославленный портрет,  
И молвит: то-то был поэт!  
Прими ж мое благодаренье,  
Поклонник мирных аонид,  
О ты, чья память сохранит  
Мои летучие творенья,  
Чья благосклонная рука  
Потреплет лавры старика:

# Р Е Ц Е Н З И И

1842—1845гг.

О КНИГАХ ПО ИСТОРИИ



РУКОВОДСТВО К ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Сочинение *Фридриха Лоренца*. Часть I. Санкт-Петербург, 1841<sup>1</sup>

Век наш — по преимуществу *исторический* век. *Историческое созерцание* могущественно и неотразимо проникло собою все сферы современного сознания<sup>2</sup>. История сделалась теперь как бы общим основанием и единственным условием всякого живого знания: без нее стало невозможно постижение ни искусства, ни философии. Мало того: само искусство теперь сделалось по преимуществу историческим: исторический роман и историческая драма интересуют теперь всех и каждого больше, чем произведения в том же роде, принадлежащие к сфере чистого вымысла. Люди ограниченные никак не могут примирить, в своем сухом и узком понятии, свободного вымысла фантазии с историческою действительностью, — и некоторые из них, с свойственным невежеству простодушием, громко, во всеуслышание, издеваются над историческим романом, как над нелепостью, которая оскорбляет здравый смысл и помрачает славу гения шотландского романиста: в слепоте своей эти жалкие умники не видят, что все величие гения Вальтера-Скотта именно в том и состоит, что он был органом и провозвестником века, давши искусству историческое направление. Упадок живописи в наше время происходит совсем не от того, чтоб это искусство исчерпало все свое содержание и отжило свой век: нет, содержание всякого искусства есть действительность; следственно, оно неисчерпаемо и неистощимо, как сама действительность... Можно утверждать с большим основанием, что живопись — не умерла, а только обессилела в наше время, стараясь держаться старых преданий, идти по следам, раз и будто бы навсегда проложенным великими мастерами средних веков, силясь остановиться в сфере некогда могущественных и великих, но теперь уже мертвых интересов и не делаясь искусством по преимуществу *историческим*. Да, только в исторической живописи могут являться теперь великие творцы, ибо только историческая действительность может теперь дать живописи и живое содержание

и современный интерес. . . Таково влияние истории на современное искусство!

В знании историческое созерцание едва ли еще не больше заметно. Давно ли эстетика шла своим особым путем, не спрашиваясь у истории, не соприкасаясь с нею? Еще и теперь многие добрые люди, повторяя чужие зады, пренаивно уверяют, что искусство само по себе, а жизнь сама по себе, что между тем и другою нет ничего общего, и что искусство унизились бы, снизойдя до современных интересов<sup>3</sup>. Действительно, если под «современными интересами» разумеет моды, биржевой курс, сплетни и мелочи света, то искусство играло бы слишком-жалкую роль, если бы унизились до симпатии к таким «современным интересам». Так и было с искусством во Франции, когда оно заставляло греческих и римских героев выражать современные дворские сплетни. Нет, не то разумеется под историческим направлением искусства: это или современный взгляд на прошедшее, или мысль века, скорбная дума, или светлая радость времени; это не интересы сословия, но интересы общества; не интересы государства, но интересы человечества; словом, это *общее*, в идеальном и возвышенном значении слова. . . Мы теперь знаем уже, что искусство, как выражение сознания того или другого народа и целого человечества в известную эпоху, — есть как бы биение пульса его жизни, а потому и развитие и история искусства тесно связаны с развитием и историею народа или человечества. Вследствие этого, мы теперь знаем, что у новейших народов Европы, с тех времен, когда они познакомились с древними литературами, не могло, да и никогда не может быть эпопей, в роде «Илиады» и «Одиссеи», и что «Освобожденный Иерусалим», «Потерянный рай», «Мессиада» и т. п. суть произведения людей даровитых, но отнюдь не гениальных, — произведения блестящие, но в то же время и ложные. . . Мы теперь знаем, что сатира не есть осмеяние пороков для исправления нравов, но что это есть высший суд над падшим обществом, его предсмертный, раздирающий душу вопль, и что Персии и Ювеналы явились в римской литературе не случайно, а необходимо, и притом в самую пору, так что ранее не могли явиться. . . Мы теперь знаем, что роман и драма должны преобладать в наше время над всеми другими родами поэзии, как наиболее-приличные и способные формы для выражения современной действительности. Мы теперь знаем, что поэты нашей эпохи не могут быть ни классиками, ни романтиками, но что в их произведениях должны заключаться и классицизм и романтизм, как прошедшее заключается в настоящем. И все это мы потому знаем, что знаем законы развития духа человеческого в истории. . .

В науке, собственно, влияние исторического созерцания так же ощутительно, как и в искусстве. Мы разумеем здесь преимущественно философию, как науку тех живых истин, кото-

рые положены краеугольными камнями мироздания. Впрочем, здесь влияние было взаимное: от успеха истории, как науки, сделался возможным окончательный успех философии, которая, в свою очередь, по мере собственных успехов, возвышала достоинство истории, как науки. Можно сказать, что философия есть душа и смысл истории, а история есть живое, практическое проявление философии в событиях и фактах. По Гегелю, мышление есть как бы историческое движение духа, сознающего себя в своих *моментах*; и ни один философ не дал истории такого бесконечного и всеобъемлющего значения, как этот величайший и последний представитель философии<sup>4</sup>.

Историческое созерцание проникло всю современную действительность — даже самый быт наш. Чувство общности теперь везде сильнее, чем когда-либо прежде было. Каждый живее чувствует себя в обществе и общество в себе, и каждый по крайней мере претендует служить обществу, служа себе самому. Вражда между сословиями исчезает, и они примиряются в признании взаимной необходимости и взаимной важности для общества. Зависть уступает место соревнованию. Общественные предприятия возбуждают общий интерес, как дело, лично до каждого касающееся. Какая-нибудь железная дорога утверждается на основании опытов прошедшего, на предвидении результатов в будущем. Для обществ как будто исчезло различие между прошедшим, настоящим и будущим: общества равно живут теперь во всех трех этих отношениях времени, — и настоящее для них есть результат прошедшего, на основании которого должно осуществиться и их будущее. *Прогресс* и *движение* сделались теперь словами ежедневными. Новизна никого не пугает; предела усовершенствованиям никто не видит. Каждое общество теперь, в каждую минуту своего существования, представляется в нескольких поколениях, которые суть живые летописи прошедшего, свидетельство настоящего и пророчество будущего: это ступени исторического движения общества, ступени, едва ли отделенные друг от друга какими-нибудь пятилетиями!.. Так скоро все движется теперь...

Какая же причина этого скорого движения? — Созревшее историческое сознание, вследствие успеха в последнее время истории, как науки.

История была всегда и у всех народов: у одного, как предание, у другого, как сказка, у третьего, как поэма, у четвертого, как хроника, и т. д. У греков была даже художественная история, где с критическим анализом событий соединялось и художественное изложение. Но это все еще не та история, о которой мы говорим: это еще простая история, как рассказ о событиях в жизни народа, а не история, как наука. Народ сам по себе еще немного значит, и сколько есть народов на земле, о которых мы знаем только то, что они есть, а больше ничего о них и знать не хотим. Притом же повествование о том, что было, —

еще не история. Средние века были богаты хрониками, [в] которых простодушные авторы описывали, что и как видели, с своей точки зрения. Теперь история из хроники сделалась «мемуарами». Но все это только материалы для истории, еще не история. Сущность истории, как науки, состоит в том, чтоб возвысить понятие о человечестве до идеальной личности; чтоб во внешней судьбе этой «идеальной личности» показать борьбу необходимого, разумного и вечного с случайным, произвольным и преходящим, а в движении вперед этой «идеальной личности» показать победу необходимого, разумного и вечного над случайным, произвольным и преходящим. Да, задача истории — представить человечество, как индивидуум, как личность, и быть биографией этой «идеальной личности». Человечество есть именно — «идеальная личность»: *личность* — потому что у него есть свое я, есть свое сознание, хотя и выговариваемое не одним, а многими лицами; есть свои возрасты, как и у человека, есть развитие, движение вперед; *идеальная* — потому что нельзя эмпирически доказать ее существования, указав неверующему пальцем и сказавши: «вот человечество — смотри!»<sup>6</sup>

И однако ж сколько этих неверующих, которые никогда не признают существования того, на что нельзя указать, чего нельзя увидеть глазами, обонять носом, отведать языком, услышать ухом, осязать рукою!.. Таково свойство всякой живой истины: сколько громко говорит она живой душе, столько нема для мертвой! Никто не усомнится в существовании человечества, как числительного собрания двуногих тварей, населяющих собою земной шар; но многие ли в состоянии понять, что человечество есть не только собирательное, но еще и личное имя — название одного лица, которое, проживши несколько тысячелетий, подобно каждому человеку, отдельно взятому, не помнит своего рождения и первых лет своего бессознательного существования; которое, подобно каждому человеку, отдельно-взятому, было младенцем, отроком, юношею и теперь стремится к своей полной возможности; которое, подобно каждому, отдельно-взятому человеку, всегда стремилось к положительному убеждению и знанию и всегда отрицало свое убеждение и знание, чтоб, на его развалинах, основать более близкое к истине; которое, подобно человеку, заблуждалось, восставало, страдало и блаженствовало, и которого жизнь вечно будет состоять в том, чтоб заблуждаться и восставать, страдать и блаженствовать... Однако ж из этого отнюдь не следует, чтоб человечество стояло на одном месте, или чтоб оно стремилось от одной лжи к другой: нет лжи для человечества, но есть только старая истина, которая, разрушаясь, рождает из себя новую, высшую истину, подобно фениксу, в новой красе возрождающемуся, по восточному преданию, из собственного пепла... Человечество движется не прямою линиею и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая точка пережитой им истины в то же время

есть уже и точка поворота его от этой истины, — правда, поворота не вверх, а вниз: но для того вниз, чтобы очертить новый, более-обширный круг и стать в новой точке, выше прежней, и потом опять идти, *понижаясь*, кверху... Вот почему человечество никогда не стоит на одном месте, но отодвигается назад, делая таким образом бесполезным пройденный прежде путь: это только попятное движение назад, чтоб тем с большею силою ринуться вперед... Сперва свет знания и цивилизации блеснул на берегах Ефрата, Тигра и Нила, но, перешедши в Грецию, померк, — потом Греция же возвратила его, и уже не в том виде, в каком получила, но в большем и лучшем; македонский герой разлил его до берегов Гангеса, утвердил в Сирии, Египте и Малой Азии... Погиб мир древний, с его цивилизацией и просвещением, с его искусством и правом; и что же? — варварские тевтонские племена, разрушившие Западную Римскую империю, с лихвою возвращают теперь земле Гомера и Платона взятое ими от нее, а смешавшиеся с римлянами вандалы и готы не вечно же будут дремать в позорном бездействии. Движение и развитие человечества основано на простом законе смертности отдельных<sup>ъ</sup> лиц: народится поколение, образуется в известную форму, приобретет себе или просто привычкою усвоит себе известный круг мыслей, известные убеждения и понятия, в которых и умирает, с которыми ему так же трудно расставаться, как с жизнью. Но вот следующее за ним поколение уже разнится от него: с жадностью принимает оно всякое нововведение, всякую новую мысль; старое поколение обыкновенно упрекает новое в вольнодумстве и разврате, а новое обыкновенно исподтишка смеется над старым, не слушая его, до тех пор, пока, наконец, не состарится само и не будет играть такой же роли в отношении к сменявшему его поколению; — между тем, то, что вначале казалось вольнодумством и развратом, впоследствии признается добрым, и истинным, и полезным... Ведь было же время, когда сожжение на костре еретиков, вольнодумцев и чародеев считалось делом богоугодным, и когда величайшим безбожием могло показаться сомнение в необходимости и святости благонамеренного и благочестивого аутодафа; а теперь?.. Сколько же легло в землю поколений, связавших собою, подобно звеньям цепи, «тогда» и «теперь»! Ведь такой переворот в образе мыслей не мог совершиться скоро! Сколько сожжено было вольно-мысливших о сожжении!.. Но одна только смена поколения поколением еще не достаточна для движения человечества по пути развития и совершенствования: в отношении к движению юные поколения играют роль только плодородной почвы, на которой скоро принимаются семена преуспевания. Семена же эти бросаются на плодородную почву гениями — этими избранниками и помазанниками свыше, творящими волю посылающего их... Иногда одного из таких гениев достаточно, чтоб оплодотворить живую мыслью целый век, — и,

если он властитель, подобно Александру Македонскому, Юлию Цезарю, Карлу Великому, Петру Великому, Наполеону — он покоряет себе массу; если же он является в мале, подобно тысяче представителей идеи, то большею частью несчастием жизни и раннею, преждевременною могилою утверждает в массах свою идею, — и часто те же люди, которые гнали его при жизни, потом готовы растерзать всякого, кто не захочет бессмысленно и безусловно боготворить благородную жертву их невежественного остервенения... Но поколение, современное гению, проходит, — и следующие за ним беспечно рвут небесные цветы истины на могиле гения и ушиваются их божественным ароматом, как бы не подозревая, что они взрощены кровию посеявшего их... Но гений явление редкое; всякая сильная натура, всякий человек, превышающий окружающую его толпу, есть движитель в сфере своей деятельности, — и таким образом из совокупности многих частных движений, имеющих началом своим одного великого движителя, составляется общее движение масс. Мрачный дух сомнения и отрицания, как элемент, или, лучше сказать, как сторона всецелого и вечного духа жизни, играет в движении великую роль, отрывая отдельные лица и целые массы от непосредственных и привычных положений и стремя их к новым и сознательным убеждениям<sup>6</sup>...

Все сказанное нами — истины столько же несомненные, сколько и не новые; но для всех ли и для многих ли?.. Повторяем: историческое созерцание есть основа всякого знания, всякой истины в наше время. Без него невозможно понимать, как следует, ни искусства, ни философии, ни права... Само естествоведение будет без него мертвым сбором фактов, а не живым знанием. Не даром называется оно иначе «естественною историею»!.. Да, естествоведение есть история творящей природы, повествование о восходящей лестнице ее явлений, картина развития в немой природе того же духа вечной жизни, который развивается в истории, — что Шеллинг выразил двумя многозначительными словами: «Deus fit»... Без исторического созерцания, без понятия о прогрессе человечества, без веры в разумный промысл, вечно торжествующий над произволом и случайностью, — нет истинного и живого знания в наше время. Будьте вы ориенталистом, изучите всю восточную мудрость, блистайте фактическими познаниями в естественных науках, удивляйте свет огромною начитанностию и фейерверчным остроумием: издевайтесь, в угождение толпе, над всяким так называемым априорным знанием и прославляйте немой, мертвый эмпиризм: вы все-таки не будете от этого ученым человеком, не сделаетесь органом века, но удивите одну лишь чернь и заставьте мудрых пожалеть о столь блестящих и так дурно-употребленных способностях, если вы не понимаете, что современное состояние человечества есть необходимый результат разумного развития, и что от его настоящего состояния можно делать по-

сылки к его будущему состоянию, что свет победит тьму, разум победит предрассудки, свободное сознание сделает людей братьями по духу, и — будет новая земля и новое небо?...

И однако ж, несмотря на ясность и ощутительную достоверность этой идеи, — ее не так-то легко усвоить себе, как это может показаться с первого взгляда. Вот почему многие весьма умные от природы люди не признают ее с каким-то упорством и ожесточением. Если трудно от эмпирического созерцания переходить к отвлеченным понятиям, то еще, кажется, труднее отвлеченные понятия возводить в живые идеальные образы без лиц. Так, не всякий способен сам собою от людей и народов сделать отвлечение и назвать его человечеством; но еще менее найдется способных одушевить это отвлечение мыслию, дать ему индивидуальность и личность. Говоря о подобной неспособности, мы разумеем людей, которые наткнулись на подобный вопрос уже в зрелом возрасте, когда привычка, лень и неповоротливость раз-установившегося ума заставляют их крепко держаться за однажды-навсегда-полученные впечатления и понятия. Не то бывает в возрасте детства и первой юности, когда способность непосредственно и незаметно для самого учащегося принимать в себя идеи находится в полной своей деятельности. И потому-то первоначальное ученье так важно для человека, что, можно сказать, решает участь всей его жизни. Хорошо и прочно положенное основание учению есть ручательство за истинную и основательную ученость. Душу учения составляет система и наукообразность изложения. Самое дурное учение — это учение посредством игры, забавы, учение простое и естественное. Поэтому дурно, но систематически и наукообразно ученый в детстве человек счастливее всякого самоучки, ибо что он знает, — знает прочно, а главное, всегда может учиться сам, и его ученые приобретения всегда будут отличаться обширностью, глубиной, основательностью, если не всегда при этом многосторонностью, тогда как самоучка всегда и все будет схватывать скоро и живо, но вместе с тем и поверхностно, неосновательно, непрочно, сбивчиво, калейдоскопически. Что же касается до предрассудков, вкрадывающихся в учение, то ум, предоставленный самому себе, едва ли не склоннее к предрассудкам, нежели ум, направляемый авторитетом книги или учителя.

Выше говорили мы о важности истории, как науки, для современного образования, необходимого каждому человеку, не только ученому, но и просто мыслящему. Из предшествовавших же рассуждений не ясно ли видно, как важно преподавание истории в средних учебных заведениях? Для детей моложе 14-ти лет история может иметь значение только разве сказок богатырских, и многие из них с большою охотою будут читать Квинта Курция «Об Александре Македонском» и военную историю римлян. Собственно же история для них не существует. Тем не менее время от 12-ти до 14-ти лет есть самое удобное для пригото-

тельного занятия историей, для изучения в систематической связи и последовательности фактов, событий, чисел, мест, имен и т. п. Налегать на одну память вредно и губительно, но и без помощи памяти опять же нельзя обойтись; а так как только у детей эта способность может действовать самобытно, без особенного участия интереса и разума, то и всего удобнее положить в эту эпоху возраста прочное, фундаментальное знание истории. Разумеется, это знание будет фактическое, чуждое всяких взглядов и непосредственных рассуждений; но хорошо-составленная учебная история никогда не может быть книгой только что фактической, в пошлом значении этого слова. В ней события (конечно, сухие и мертвые по самой уже краткости изложения) представлены в органической связи и ответственности, во взаимном воздействии и противодействии одного события на другое, одного народа на другой, так что ученик, сам того не замечая, владеет целым, хоть и далеко не подробным и не полным очерком судеб человечества. Но всего важнее то, что он, непосредственно, сам того не замечая и не отдавая себе в том отчета, привыкает созерцать народ и человечество, как идеальную личность; следовательно, без труда и отвлеченного усилия может входить в историю, как в науку, которая более, нежели что-либо другое, должна сделать из него человека как в отношении к современной образованности, так и в отношении к гуманности. Имея таким образом в руках своих аriadнину нить, с которою, не опасаясь заблудиться, можно ходить по лабиринту бесчисленных фактов, зная, где и как должно поместить каждый из них, ученик делается готовым к более обширному и подробному курсу, где мысль событий является не только непосредственно, но и освещается взглядами автора. Фундамент важен для дома, который он должен держать на себе; но сам по себе он ни к чему не годная и совершенно-бесполезная вещь: курс истории в средних учебных заведениях должен быть для ученика домом на фундаменте пригготовительной истории. Здесь ученик уже мыслит на основании фактов, сначала приобретенных им бессознательно, ученической рутиню, и расширяет круг своих фактических познаний на том же основании. Если он и не будет слушать университетского курса, — он все-таки сделал великое приобретение: сам собою может он учиться истории, как науке, или, по крайней мере, будет в состоянии читать с пользою большие исторические сочинения не как «повествования о замечательных происшествиях в мире», но как живую картину пути и хода, которыми человечество почти от животной бессознательности дошло до современного состояния...

Из этого видна великая важность хороших исторических учебников для средних учебных заведений. «Руководство ко всеобщей истории» профессора Лоренца принадлежит к лучшим явлениям в своем роде не в одной русской литературе: это сочинение современно-европейское, напоминающее собою лучшие

немецкие руководства последнего времени, как, например, Лео и др. Конечно, книга г. Лоренца не есть собственно курс для средних учебных заведений: она составлена из читанных им в педагогическом институте лекций, но она годится также и для гимназий, семинарий и может быть полезна особенно для тех учащихся, которые не имеют возможности поступать в университеты.<sup>8</sup> Мы слишком далеки от смелой мысли проверять со стороны современности, свежести и достоверной фактической стороны<sup>9</sup> сочинение автора, известного в Европе своею ученостью . . .

ИСТОРИЯ МАЛОРОССИИ *Николая Маркевича*

Москва. 1842. Четыре тома<sup>1</sup>

(отрывок)

Одна из самых характеристических черт нашего времени — стремление к единству и сродству доселе разрозненных элементов умственной жизни. Жизнь, очевидно, стремится теперь стать единою и всецелою. И если доселе проявлялась она в тысячах односторонностей, разъединенною и раздробленною на бесконечное множество сторон, из которых каждая претендовала на право исключительной монополии в области духа, превозносясь над всеми другими и горделиво не признавая их важности, — это противоположное органическому единству стремление было необходимо для самого же этого органического единства, заря которого уже занимается на горизонте человечества. Надобно было, чтоб каждый элемент умственной жизни выработался и развился вполне, а для этого необходимо, чтобы каждый элемент жизни развился отдельно. Таким образом, разъединение есть неизбежное условие единства — первый момент в процессе единства. Только отдельно-развившиеся элементы могли развиться вполне, и только вполне развившиеся элементы могли сознать свое родство и увидеть в себе не опасных врагов, а друзей, равно нуждающихся друг в друге и равно полезных друг другу. Доказательство этой истины представляет история народов, история обществ, летописи науки, искусства, даже ремесл. Каждому народу предназначено было развить одну какую-нибудь сторону жизни, и потому один народ оказал огромные успехи в войне, другой — в науке, третий — в искусстве, четвертый — в торговле и т. д. И каждый из этих народов, до периода своей возмужалости, с ненавистью и презрением смотрит на все другие народы, считая одного себя и умным, и добрым, и дельным. Отсюда все национальные ненависти, отсюда соперничество, похожее на злобу, соревнование, похожее на зависть. Так, например, целые три века история Европы двигалась и управлялась мыслию о политическом равновесии, которая состояла в том, чтобы не допускать ни одно государство быть сильнее других, хотя бы его сила была чисто-внутренняя и проистекала от успехов торговли,

промышленности, цивилизации, просвещения, — и как скоро одно государство усиливалось благосостоянием и политическим здоровьем, все другие спешили ослаблять его; средством к этому бывали большею частию усиленные кровопускания, и война оканчивалась обыкновенно общим истощением и изнеможением и предмета зависти и самих завистников... Мысль, теперь смешная и детская, но тогда стившая много человеческой крови, много человеческих слез!.. Это был момент кризиса, момент перехода от детства к возмужалости. В мысли, что государства должны ревниво смотреть одно за другим и имеют право друг друга ограничивать, — уже в самой этой мысли видно начало единства, хотя и дурно понятого. Теперь это единство понято иначе и состоит в подчинении великой идеи национальной индивидуальности еще более великой идее человечества<sup>2</sup>. Народы начинают сознавать, что они — члены великого семейства человечества, и начинают братски делиться друг с другом духовными сокровищами своей национальности. Каждый успех одного народа быстро усваивается другими народами, и каждый народ заимствует у другого особенно то, что чуждо его собственной национальности, отдавая в обмен другим то, что составляет исключительную собственность его исторической жизни и что чуждо исторической жизни других. Теперь только слабые, ограниченные умы могут думать, что успехи человечности вредны успехам национальности, и что нужны китайские стены для охранения национальности. Умы светлые и крепкие понимают, что национальный дух совсем не одно и то же, что национальные обычаи и предания старины, которыми так дорожит невежественная посредственность; они знают, что национальный дух так же не может исчезнуть или переродиться через сношения с иностранцами и вторжение новых идей и новых обычаев, как не могут исчезнуть или переродиться физиономия и натура человека через науку и обращение с людьми. И недалеко уже время, когда исчезнут мелкие, эгоистические расчеты так-называемой политики, и народы обнимутся братски при торжественном блеске солнца разума, и раздадутся гимны примирения ликующей земли с умиленным небом! Если настоящее историческое положение так резко противоречит этой картине и представляет ее несбыточною мечтою разгоряченной фантазии, то для умов мыслящих и способных проникать в сущность вещей это настоящее историческое положение человечества, как ни безотраднo оно, представляет все элементы и все данные, на основании которых самые смелые мечты в настоящем становятся в будущем самою положительною действительностью<sup>3</sup>.

Если под «обществами» должно разуметь избранные, т. е. наиболее просвещенные, образованные и цивилизованные классы и сословия в государствах, то в лице обществ гуманное сближение давно уже совершилось. Образованный европеец теперь и

вне своего отечества живет, как у себя дома, не оставляя своих привычек, не переставая быть сыном земли своей, — и везде пользуется приветом и уважением. Особы разных наций и вероисповеданий вступают в брачные союзы, не нарушая тем ни обычаев, ни законов, ни нравственных понятий своих отечеств. Между тем, англичанин и во Франции останется англичанином, француз и в Германии останется французом, и, наоборот, никто из них, вполне симпатизируя чужой земле и, так сказать, чувствуя себя ее гражданином, не перестает быть сыном своей страны, не теряет духовной физиономии своей национальности. Здесь кстати заметить, что ненавистники европеизма упрекают у нас своих соотечественников за их страсть к путешествиям, за легкость и ревность, с какими они перенимают западные обычаи (т.е. обычаи людей просвещенных и образованных). Эти мнимые патриоты до того простирают невежественный фанатизм свой, что в образованной части русского общества видят чуть не ренегатов, чуть не вырождков, в которых нет ничего русского, и выставляют им, как достойный подражания образец неиспорченной русской национальности, неопрятную и грязную чернь<sup>4</sup>. «Посмотрите — восклицают они: — француз, англичанин, немец, где бы и сколько бы ни жил вне своего отечества, везде — француз, англичанин и немец; а наши во Франции — французы, в Англии — англичане, в Германии — немцы; у себя же в доме — и то, и другое, и третье, а потому ни то, ни сё». Конечно, в подобном обвинении есть часть истины, но от полной истины оно далеко, как тьма от света, и в целом — это обвинение совершенно нелепо. Навсегда оторванная реформой Петра Великого от своего прошедшего, не могла же Россия, с небольшим во сто лет, вдруг вырасти и возмужать, начать жить самостоятельной и оригинальной жизнью и приобрести всемирно-историческое значение. Вместо того, чтоб желать невозможного, лучше радоваться тем гигантским успехам в цивилизации, которые и без того сделала она в такое короткое время. Смешно подумать, что это обвинение в подражаемости иноземному, под разными формами, повторяется уже лет пятьдесят с лишком. Сперва оно восстало против галломанства в обычаях и в литературе и предавало анафеме и французский язык и тех из русских, которые говорили и читали больше по-французски, чем на своем родном языке. Против Карамзина составила даже целая литературная партия, упрекавшая знаменитого преобразователя русского языка в растлении русского языка галлицизмами, хотя исполненный галлицизм язык Карамзина в тысячу раз более естественный и живой русский язык, чем длинные латинско-немецкие периоды книжного языка Ломоносова<sup>5</sup>. Но время обнаружило всю ограниченность и все ничтожество этих мнимо-патриотических выходов против того, что составляло честь и славу Руси. Если образованное русское общество не говорило и не читало по-русски, этому была при-

чина: тогда был только книжный да простонародный язык, и не было разговорного русского языка; следовательно, не на чем было и говорить образованному обществу, хотя бы оно и само желало говорить по-русски. Если же и теперь еще на Руси не выработался вполне общественный и разговорный язык, то он уже существует, как материал, вполнину разработанный, а потому им давно уже говорит среднее образованное общество (недавно сформировавшееся) и начинает говорить высшее общество (давно существующее). А что знание французского языка несколько не находилось в противоречии с истинным патриотизмом и не было в ущерб ему, — лучшим доказательством этой истины служит великая война 1812—1814 годов: известно фактически, что не только в гвардии, но и в армии русской было много образованных офицеров, которые говорили по-французски, — однако ж, это не помешало им лить кровь и умирать доблестно за свое отечество, языку которого они предпочитали язык своих достойных по храбрости врагов. Здесь кстати еще заметить, что и теперь, несмотря на страсть русских к путешествиям и поездкам за границу, — русский, навсегда оставшийся там, есть явление почти небывалое: стало быть, чужие обычаи не разрывают в русских кровной связи с их родиной, и те немногие из них, которых судьба забросила на чужую почву и под чуждое небо, и те, среди чудес природы и цивилизации, — мы уверены в этом, — умеют хранить, как сокровище души, святую тоску по степям, городам и селам своей родины...

Что же касается до равнодушия прежнего общества к родной литературе, — оно было неизбежно: общество не читало по-русски, потому что нечего было читать: два-три писателя, хотя бы и с замечательною силою таланта, но писавшие на неустановившемся еще языке, далеко не могли наполнить всех досугов и удовлетворить всем умственным потребностям людей, перед которыми отверсты были неистощимые сокровищницы богатых и созревших литератур Европы. Теперь все классы образованного и даже полуобразованного общества больше прежнего читают по-русски, потому что, сравнительно с прежним, русская литература представляет больше пищи для чтения, хотя и также далеко не уменьшает потребности в иностранных литературах. Высшее общество, как самое образованное на Руси, больше других навлекло на себя упреки и жалобы на равнодушие к русской литературе со стороны мнимых защитников ее... Но справедливы ли эти упреки и жалобы? Во-первых, Державин, если не по рождению, то по положению своему, сам принадлежал к высшему кругу общества; Фонвизин был допущен в него за свой ум и талант; Крылов, Жуковский и Батюшков были связаны дружескими отношениями со многими людьми этого общества; Грибоедов, Пушкин и Лермонтов более принадлежали к нему, чем ко всякому другому кругу общества. Во-вторых, высшее общество покровительствовало Ломоносову в царство-

вание Елизаветы; оно почти одно читало Державина и Фонвизина в царствование Екатерины; оно знало и читало Крылова, Озерова, Жуковского, Батюшкова, Пушкина и Грибоедова в царствование Александра; теперь оно знает и читает Лермонтова и Гоголя... И до сих пор в литературе нашей есть имена, принадлежащие к высшему кругу, следовательно, и знаемые там не по одним светским отношениям. Что высшее общество не знает и не слышало о множестве других «великих» русских писателей, так это потому, что их очень много, и что у нас на Руси так легко, за одно стихотвореньице, за одну повестку, за одну журнальную статейку сделаться великим писателем: кто ж их всех перечитает и перепомнит?... Иногда в спокойном равнодушии бывает больше глубокого смысла, чем в опрометчивой, но детской способности увлекаться, видеть гений во всем, что едва ли обнаруживает и обыкновенное дарование, придавать важность тому, что ничтожно в сущности, и гордиться богатствами, которые скоро портятся и сгнивают в глухих кладовых. В русской литературе, без сомнения, есть кое-что достойное внимания даже для иностранцев и, следовательно, достойное всей любви, всего уважения нашего; но из этого еще не следует, чтоб мы имели право равнять нежные светлозеленые стебли нашей юной литературы с величественными и колосальными деревьями европейских литератур. Уже самая мысль, что с нас довольно и нашего, — мысль, которую с такою родительскою нежностью лелеют люди, сами себе присвоившие скромное титуло «патриотов», — уже одна эта мысль показывает и детство нашего образования и детство нашей литературы. Французская, немецкая и английская литературы не беднее друг друга, — и, между тем, каждое новое, хоть сколько-нибудь почему-нибудь замечательное произведение в одной из них тотчас переводится на языки других. Через этот братский обмен сокровищ национального духа только увеличивается богатство каждой литературы.

В науке и в искусстве также резко проявляется теперь это стремление к единству путем взаимного соприкосновения разнородных элементов. Было время, когда общее мнение, оставляя за поэтом пламенное сердце, а за философом холодный ум, отнимало у первого ум, а у второго сердце. Поэзия считалась откровением каких-то иступленных вдохновений, а поэтическое произведение — чем-то вроде изречений Пифии, в судорогах кривляющейся на священном треножнике. Поэту оставлено было только право восторженного безумия и безумного восторга, и у него отнято было право существа мыслящего — священнейшее из прав человека; в его безусловное заведывание была оставлена любовь, и он был исключен на право разума, как будто любовь и разум — элементы враждебно-противоположные, а не две стороны одного и того же духа. Под философом разумели существо холодное, сухое и бесстрастное по на-

туре. В самом деле, вся внешность была в пользу такого мнения. Пока философия только начинала свое великое дело, естественно, что тогда она удалилась от жизни и заключалась в исключительной сфере самой себя, погрузившись в анализ разума, как силы действующей, и мысли, как предмета разума. Отсюда ее аскетизм, ее холодный и сухой характер, ее суровое одиночество. Кант, отец новейшей философии, был довершителем этого первого труда мышления, предмет которого — само мышление, а действующая сила — разум. Содержание философии Фихте уже более общее, и он является в ней пламенным трибуном прав субъективного духа, доведенных им до исключительной односторонности. Шеллинг, в великой идее тождества, открыл примирение Фихтева я с объективным миром. Наконец, философия Гегеля обняла собою все вопросы всеобщей жизни, и, если ее ответы на них иногда обнаруживаются принадлежащими уже прошедшему, вполне пережитому периоду человечества, зато ее строгий и глубокий метод открыл большую дорогу сознанию человеческого разума и навсегда избавил его от извилистых окольных дорог, по которым оно дотоле так часто сбивалось с пути к своей цели. Гегель сделал из философии науку, и величайшая заслуга этого величайшего мыслителя нового мира состоит в его методе спекулятивного мышления, до того верном и крепком, что только на его же основании и можно опровергнуть те из результатов его философии, которые теперь недостаточны или неверны: Гегель тогда только ошибался в приложениях, когда изменял собственному методу. В лице Гегеля философия достигла высшего своего развития, но вместе с ним же она и кончилась, как знание таинственное и чуждое жизни: возмужавшая и окрепшая, отныне философия возвращается в жизнь, от докучного шума которой некогда принуждена была удалиться, чтоб наедине и в тиши познать самое себя. Начало этого благодатного примирения философии с практикою совершилось в левой стороне нынешнего гегелианизма. Примирение это обнаружилось и жизненностию вопросов, которые занимают теперь философию, и тем, что она оставляет по-прежнему свой тяжелый схоластический язык, доступный одним адептам ее, и тем, что она возбудила против себя ожесточенных врагов уже не в одних школах и в книгах. Теперь уже это не школьная, не книжная философия, знающая только самое себя, и уважающая только собственные интересы, холодная и равнодушная к миру, которого сознание составляет ее содержание: нет, теперь она должна быть строгою, суровою и холодною, как разум, но, вместе с тем, и вдохновенною, как поэзия, страстною и симпатическою, как любовь, живую и возвышенною, как верование, могучею и доблестною, как подвиг<sup>6</sup>...

С своей стороны, и искусство теперь сделало такой же шаг. Теперь оно уже не ограничивается страдательною ролью — подобно зеркалу, безучастно и верно отражать в себе природу;

но вносит в свои соображения живую *личную* мысль, которая дает им и цель и смысл. Поэт нашего времени есть в то же время и мыслитель. О художественном произведении нашего времени философ не может сказать того, что сказал, помнится, Декарт своим друзьям, требовавшим его мнения о трагедии Расина: «Положим, что она хороша, но что же она доказывает?» Преобладанию субъективного начала должно приписать в поэтических произведениях нашего времени это обилие отступлений, делаемых от лица поэта, который и судит, и вопрошает, и отвечает. Словом, поэзия и философия уже не только не чуждаются друг друга, но беспрестанно подают друг другу руку, чтоб взаимно поддержать себя, и даже часто до того смешиваются друг с другом, что иное философское сочинение прежде всего назовете вы поэтическим, а поэтическое — философским.

Поэзия проникает теперь и в прозу жизни, которой прежде она так гнушалась, — и мыслящий человек не может не видеть поучительного факта в том, что теперь и мебель и игрушки для украшения комнат не только исполнены изящества, но и носят на себе отпечаток творчества...

В недавнее время возникла наука, которая есть вместе и искусство и в которой сходятся сухое фактическое знание, холодный рассудочный анализ, высшее философическое созерцание, рабская подчиненность действительности, живое поэтическое чувство и творческая фантазия. Эта наука — история. Условия, составляющие ее, так велики и многосложны, соединение их так редко в одном и том же лице, что доселе было больше опытов истории и вообще исторических сочинений разного рода, чем того, что называется «историею». Лучшие опыты по этой части принадлежат французам, которые, как писатели, кроме других причин, еще и потому более других способны писать историю, что более других, как народ, *делают историю* своею национальною жизнью. Немцы, напротив, гораздо лучше понимают теорию истории, чем пишут историю, потому что они живут более умственною и созерцательною, чем историческою жизнью. Итак, вот и еще новое условие для того, чтоб быть хорошим историком, — условие, не зависящее от историка!

Историю разделяют на всеобщую и частную, разумея под первую историю всего народа человеческого, и под вторую — историю одного какого-нибудь народа. Это разделение не так важно и существенно, как думают: ибо хотя объем «всеобщей» истории и несравненно-шире и глубже, чем объем так называемой «частной» истории, однако условия, требуемые от историка тою и другою, совершенно-одинаковы: кто лишен созерцания человечества, как идеальной личности, и потому на всякий народ, взятый сам по себе, смотрит, как на что-то отдельно, без живой связи с человечеством существующее, тот не в состоянии написать хорошей истории и одного какого-нибудь народа.

Следовательно, гораздо лучше разуместь под «частною» историею не историю одного какого-нибудь народа, а историю одного из множества элементов, из которых слагается жизнь человечества и жизнь всякого народа. Поэтому история религии, искусства, науки, права, торговли, промышленности, история политическая, военная и т. п. будет историею «частною». Такая история, по своей несложности, требует менее условий от историка и относится к настоящей (всеобщей) истории, как материал, хотя в то же время может иметь достоинство полной и стройно-созданной истории. Такого рода истории чрезвычайно важны: только при условии их существования может существовать всеобщая история\*. Историческая критика, состоящая в сличении и проверке материалов, разборе фактов и т. п., дает тому, кто занимается ею, право на титул «ученого», но не историка, хотя без таких «ученых» и не возможна история как наука и как искусство вместе.

Предмет нашей статьи есть история-собственно (всеобщая — в том смысле, какой мы даем этому слову), а потому и займемся только ею. Выше сказали мы, что история есть и наука и искусство вместе, ученое сочинение и художественное произведение в одно и то же время. Такое значение история получила весьма недавно, вследствие того стремления к единству и полноте прежде одиноко-развивавшихся элементов жизни, которое составляет характеристику новейшего времени, и о котором мы говорили в начале статьи. Этому новому направлению истории много способствовал гениальный человек, который написал одну только историю, да и ту плохую, и который написал множество превосходных романов. Вальтер-Скотт был создателем нового рода поэзии, который мог возникнуть только в XIX веке, — *исторического романа*. В романе Вальтера-Скотта история и поэзия в первый раз встретились, как начала родственные, а не враждебные. И в этом нет ничего странного, неестественного: поэзия прежде всего есть жизнь, а потом уже искусство; в чем же, если не в истории, жизнь проявляется с такою полнотою, глубиною и разнообразием? Марий на развалинах Карфагена — не только исторический, но и глубоко-поэти-

\* Здесь кстати заметить, что у нас до тех пор не будет удовлетворительной истории России, пока наши историки не примутся за составление частных историй по предметам, которые каждый из них изучал исключительно, как-то: истории церкви, истории военного ремесла, нравов, торговли, промышленности, права, политики, финансовой системы и пр. Все эти предметы требуют отдельной и частной разработки, фактической, критической и философской, требуют трактатов и полных историй. Кроме того, полезна разработка каждого важного события особо, как, например, владычества татар, междоусобия, отдельных царствований и проч. Но наши «славянофилы» и «патриоты» ограничиваются вместо этого пересыпанием из пустого в порожнее, рассматривая такие вопросы, как происхождение Руси, и решая их произвольными гипотезами<sup>7</sup>. Другие, посмелее, пишут историю России, для которой не разработаны фактические материалы; удивительно ли, что вместо истории они издадут компиляции, да и те недоконченные?..

ческий факт; Наполеон—лицо поэтическое не только под Тулоном, в Египте, под Аустерлицем, под Маренго, но и в Москве, и на острове Эльбе, и при Ватерлоо, и на острове св. Елены, и в Доме инвалидов в Париже... Только умы ограниченные и сердца сухие могут видеть в историческом движении политику и войны, дела скучно-серьезные и сухо-важные: глубокий ум и живое сердце видят в нем биение пульса мировой жизни... Скажут: этак из истории можно сделать сказку, наполненную поэтическими мыслями, но ложную в фактическом отношении. Нимало! в том-то и заключается трудность условий исторического таланта, что в нем должны быть соединены строгое изучение фактов и материалов исторических, критический анализ, холодное беспристрастие, с поэтическим одушевлением и творческою способностью сочетать события, делая из них живую картину, где соблюдены все условия перспективы и свето-тени. В движении исторических событий, кроме внешней причинности, есть еще и внутренняя необходимость, дающая им глубокий внутренний смысл: само движение событий есть не что иное, как движение из себя самой и в себе самой диалектически-развивающейся идеи. И потому в общем ходе истории, в итоге исторических событий нет случайностей и произвола, по все носит на себе отпечаток необходимости и разумности. Такой взгляд на историю далек от всякого фатализма: он допускает и произвол и случайность, без которых жизнь была бы механически-несвободна, но в произволе и случайности он видит зло временное и преходящее, видит силу, которая вечно борется с разумною необходимостью и вечно побеждается ею. Историк должен прежде всего возвыситься до созерцания общего в частном, другими словами, идеи в фактах. Здесь ему предлежит не менее трудная задача — с честью пройти между двумя крайностями, не увлекшись ни одною из них: между опасностью затеряться и запутаться в многосложности событий и, за их частностию, потерять из виду их диалектическую связь между собою, их отношение к целому и общему (идее), — и между опасностью произвольно натянуть события на какую-нибудь любимую идею, заставив их лжесвидетельствовать в пользу или односторонней или и вовсе ложной доктрины. Избежать этих крайностей самый даровитый историк может только при помощи верного поэтического чутья и современно-философского образования. Отличать истинное от ложного, сомнительное от верного — дело исторической критики; но история, опирающаяся только на историческую критику и непогрешительная только с этой стороны, может быть суха, утомительна, мертва; факты, при всей вероятности их, могут быть изложены в ней без перспективы, не картинно, но — последовательно, так что, читая следующую страницу, читатель забывает предшествующую. Такие истории имеют свою цену и свое достоинство, как обработанные ученою рукою материалы для художника-историка. По-

нять значение и проникнуть в жизненную сторону фактов можно только поэтическим чутьем. Вот почему, читая иную историю, чуждую всяких вымыслов и наполненную самыми верными фактами, думаешь, что читаешь плохую сказку, где все делается не по законам разумной необходимости, а «по щучьему веленью, по моему прошенью». И вот почему, читая роман Вальтера-Скотта, где одно какое-нибудь историческое событие перемешано со множеством вымышленных, думаешь, что читаешь историю: так все естественно, живо и верно в романе. Летописи и другие исторические материалы суть не более, как камни, из которых только творческий гений художника может воздвигнуть стройное, изящное здание. Читая «Историю завоевания Англии норманнами» Огюстена Тьерри или же его «Рассказы о временах меровингских», думаешь, что читаешь роман Вальтера-Скотта; а, между тем, в этих сочинениях знаменитого историка французского нет ни одной черты, которая не основывалась бы на фактах и не подтверждалась бы хрониками; но и те, которым коротко и ученым образом знакомы были эти хроники, — в творениях Тьерри впервые познакомились с тою и другою эпохою, удивляясь, что в этих эпохах могло оказаться столько жизни, поэзии и разумности. Отсюда видно, что история требует творчества, как и поэзия. Отчего поэтическое произведение, иногда так живо напоминающее нам наше собственное положение в прошедшем, действует на нас сильнее, нежели действовало на нас это прошедшее, когда еще оно было настоящим? Другими словами: отчего поэзия действует на нас сильнее, чем та действительность, которая составляет ее содержание? — Оттого, что в поэтическом произведении устраняется все случайное и постороннее и представляется одно необходимое и знаменательное, совокупление в стройной картине, носящей на себе отпечаток единства и целостности. То же условие требуется и от истории, а условие это требует творчества. И поэтому история в наше время получает то же значение, какое у древних имел эпос...

### РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ НОВОЙ ИСТОРИИ

для средних учебных заведений, сочиненное С. *Смарагдовым*, адъюнкт-профессором императорского Александровского лицея. Санкт-Петербург, 1844<sup>1</sup>

Труд г. Смараглова кончен: перед нами последний том его всеобщей истории для учебных заведений. Это дает нам возможность высказать свое мнение о его достоинстве, как о целом и полном произведении. Читателям известно, что мы встретили первые два тома истории г. Смараглова с тем радушным вниманием, которого заслуживает все, что хотя несколько выходит за черту обыкновенного, в чем виден порыв к новому и лучшему, видно стремление выйти из старой, избитой колеи, по

которой так весело и раздольно прогуливаться ленивой привычке и тупоумной посредственностью<sup>2</sup>. Скажем более: труд г. Смараглова, так неожиданно явившийся на смену истории г. Кайданова, которая с удивительною назойливостью совсем было решила роль вечного жида в нашей учебной литературе, — труд г. Смараглова произвел в нас чувство, скорее похожее на увлечение, чем на нерасположение или холодное равнодушие. Кроме уже упомянутого нами обстоятельства, причиною этого было и то, что первый том истории г. Смараглова вышел прежде первого тома истории г. Лоренца, равно как и средняя его история появилась тоже прежде средней истории г. Лоренца. Впрочем, несмотря на то, что история г. Смараглова далеко уступает истории г. Лоренца, — она имеет свое неоспоримое достоинство и есть важное приобретение для нашей учебно-исторической литературы, столь бедной хорошими сочинениями. Хотя один ученый и справедливо упрекнул среднюю историю г. Смараглова в значительных недостатках и даже промахах, тем не менее в *нашей* литературе она имеет полное право на снисходительное внимание, особенно, если сообразить, что средняя история и в самой Европе менее разработана и приведена в стройный вид, чем древняя и новая. По всему этому мы с особенным нетерпением ожидали выхода «Новой истории» того же автора, — ожидали ее, как подтверждения надежд, которые подал о себе новый сподвижник на трудном и скользком поприще учебно-исторической литературы, или... если не как разрушения, то как охлаждения этих надежд. Новая история по преимуществу есть пробный камень всякого исторического таланта: в ней более, чем в древней и средней, должны обнаружиться все симпатии, верования, все беспристрастие и, вместе с тем, весь энтузиазм, вся живая человеческая сторона историка. Прежде нежели скажем мы, оправдала или не оправдала надежд наших новая история г. Смараглова, считаем за нужное вновь изложить наше воззрение на историю, как на *современную* науку, чтоб читатель видел, на чем опираются наши требования от всякого исторического учебника, а, следовательно, и от истории г. Смараглова<sup>3</sup>.

Самое простое определение истории состоит в ограничении круга ее содержания историческою верностью в изложении фактов. Вследствие этого определения, историк должен быть свободен от всяких требований со стороны критики, если он хорошо знает и верно передает события. Многие действительно так смотрят на историю. Вследствие этого, они упорно отрицают всякое вмешательство в изложение событий со стороны того, что называется мнением, взглядом, понятием, убеждением и — больше всего — философиею, потому что, по их мнению, все это только затемняет и искажает действительность фактов, нарушает святость исторической истины. В подтверждение своего мнения они с торжеством указывают на тех историков, особенно

немецких, которые пишут историю по идее, заранее принятой ими, и желая, во что бы ни стало, уложить факты на прокрустово ложе своего воззрения, поневоле искажают их. В самом деле, таких историков было очень много, и то, что ставят им в недостаток, действительно не есть достоинство. Но вот вопрос: может ли верно изложить исторические факты человек, чуждый какого бы то ни было своего воззрения на них? — Может, если под историческою истиною фактов должно разуметь только географическую и хронологическую истину. В таком случае превосходных историков можно было бы считать чуть не тысячами, — ибо что за диво, при трудолюбии и вульгарной эмпирической учености, не только изучить, но и выучить наизусть множество летописей и других неподверженных никакому сомнению исторических источников. Ведь были же чудачки, у которых доставало терпения сосчитать, сколько букв находится в библии. Мудрено ли узнать, в каком государстве, в каком веке родился, жил и умер Александр Македонский, уметь по пальцам рассказать, что он делал изо дня в день? Разве невозможное дело — перечесть по сту раз каждого из древних и новых писателей, который написал об Александре Македонском десять томов или десять строк, сличить и поверить между собою всех этих писателей; наконец, изучить критическую достоверность всех даже малейших фактов из жизни этого колосса древнего мира? Мы не говорим, однако ж, чтоб это было легко и чтоб подобная эрудиция не стоила никакой цены: нет, эта эрудиция непременно должна составлять одно из средств историка, но не более, как одно из других средств; кто способен остановиться на одном этом, тому не диво сделаться чудом учености и превратить свою голову в огромную библиотеку, в которую весь свет может ходить за справками. Это тем возможнее, что тут требуется очень немного ума и очень много терпения и мелочной педантской копотливости. И вот, положим, что такой-то господин приобрел себе эту огромную фактическую ученость и без запинки может вам ответить, в каком году, какого месяца и числа родился Александр Македонский, на которую сторону кривил он шею, какого цвета были его глаза, на каком плече была у него родимка (если только она была), и, наконец, что делал он на двадцать четвертом году от своего рождения, в феврале месяце, седьмого числа, через час после обеда. Положим, что этот господин терпеть не может философии и благоговеет только перед одною неопровержимою достоверностью фактов, считая за грех смель сохранять свою личность при изображении великих событий прошедшего. Неужели вы думаете, что если он возьмется написать историю, то это непременно выйдет самое правдивое сказание о делах народов и лиц исторических? — Нет, и тысячу раз нет: в его истории вы найдете гораздо менее исторической истины, чем в истории, отличающейся даже умышленным

искажением фактов в пользу какого-нибудь одностороннего и пристрастного воззрения. Холодно-беспристрастное упоминание о неопровержимо достоверных фактах — единственное достоинство истории выставленного нами для примера «учёного» — может представить вам хорошо составленный исторический словарь. Вы скажете: словарь — не история, потому что в истории факты представляются в исторической связи и последовательности. В том-то и дело, что в истории, о какой мы здесь говорим, факты излагаются не в исторической, а только в хронологической связи и последовательности, и, вследствие этого, они хуже чем искажены — они лишены всякого смысла, и кто обогатил бы себя познанием их из такой книги, тот ни на шаг не подвинулся бы вперед в знании истории, хотя бы до того времени он совершенно не имел никакого понятия об этой науке. Все это происходит от того, что есть не только изложение событий, но и суд над событиями, — не потому, впрочем, чтоб историк непременно хотел судить о них, но уже потому только, что он взялся излагать их. Объясним это примером. Если кто-нибудь начнет рассказывать в обществе о каком-нибудь важном, хотя и частном происшествии, случившемся с каким-нибудь лицом: чем необыкновеннее это происшествие, тем скорее слушающие спросят рассказчика, почему же лицо, о котором он рассказывает, сделало то, а не это, или поступило так, а не иначе? Естественно, если рассказчик откажется от всякого объяснения, тогда как ему стоило бы только сказать, что за человек, о котором он рассказывает, какого он характера, образования, в какие обстоятельства поставило его воспитание, образ мыслей, склонности, привычки и т. д., — то слушающие ровно ничего не поймут в происшествии, как бы ни было оно интересно само по себе; а эта потребность *понять* — так врождена людям и присуща их натуре, что они всегда готовы лучше удовлетвориться какою-нибудь даже ни на чем неоснованною догадкою, нежели принять факт, как он есть, в его бессмысленной достоверности. Если же рассказчик скажет хоть одну фразу, в роде, следующих: *я думаю, это произошло оттого*, или: *этого не случилось бы, если б*, — он уже не просто рассказывает происшествие, но и судит о нем. Если же он умел без всяких объяснений и суждений рассказать так, что все поняли естественность необыкновенного происшествия, — явный знак, что *суждение* играло в его рассказе гораздо большую роль, нежели как это может показаться с первого взгляда: оно скрывалось в самом рассказе, проникало его, давало ему смысл и характер; очевидно, рассказчик вник в причины происшествия и уже составил о нем свое понятие. Разумеется, чем ближе это понятие к истине, тем оно лучше, и наоборот. Но во всяком случае, *личность* рассказчика играет тут большую роль: как скоро рассказывающий обнаружил суждение, он вместе с ним обнаружил и себя: свой взгляд на вещи, свое образование, даже свой ха-

рактёр, Все живое имеет множество сторон, и один схватывает только одну сторону предмета, другой — две стороны, третий — несколько, четвёртый — множество сторон. Каждый из них прав в отношении к той стороне предмета, которая ему доступнее, хотя, может быть, через это самое не прав в отношении к другим сторонам того же предмета. Но кто, видя предмет, не смотрит на него ни с какой точки зрения, тот немного выиграл тем, что у него есть глаза. Если такой человек заговорит о предмете, который он видит, — он будет не чем иным, как зеркалом, и притом еще косым, говорящею машиной, — а известно, как называются люди, не имеющие другого значения, кроме машины. . .

Каким образом, при всей добросовестности, при всем усердии к верной передаче фактов, каким образом историк расскажет верно, например, о крестовых походах, не входя в суждение о смысле и значении этого великого события? И много ли узнаём мы от него, если он скажет, что крестовые походы начались в XI столетии, продолжались до XIV и сопровождались такими-то и такими-то обстоятельствами. Нет, мы захотим еще знать, почему крестовые походы могли занимать Европу только до XIV века? и почему они сделались уже совершенно невозможны в XV и следующих столетиях? Если историк ответит нам, что то было религиозное время, — мы спросим его, почему же религиозное движение, которое в XI веке произвело крестовые походы, почему то же самое религиозное движение в XVI веке произвело реформацию? Ведь такие события не могли же быть случайными, но были результатами необходимых причин. Безграмотный матрос, объехавший на корабле кругом света, знает, что есть страны, где почти не бывает лета, и есть страны, где зима похожа на теплую осень; конечно, он знает больше того, кто думает, что весь мир, как две капли воды, похож на захолустье, в котором он живет безвыходно; но можно ли назвать это знанием, если оно соединяется с совершенным незнанием причин разности климатов, объясняемых математическою географиею. Такие матросы есть и между людьми грамотными и даже «учёными», — и вот они-то так не любят философии в истории. Величайшая слабость ума заключается в недоверчивости к силам ума. Всякий человек, как бы ни был он велик, есть существо ограниченное, и в нем самая гениальность идет об руку с ограниченностью, ибо часто могущий и глубоко-проникающий в одном, он тем менее способен понимать другое. Да, ограничен разум человека, но зато безграничен разум человеческий, то-есть разум человечества. И, между тем, все постигнутое человечеством — этою идеальною личностью, достигнуто ею через людей, через личности реальные. Дело в том, что в процессе общечеловеческой жизни все ложное и ограниченное каждого человека улечивается, не оставляя по себе следа, а все истинное и разумное дает плод сторицею. Многим современным

Александрю Македонскому народам стоила рек крови и слез его героическая страсть к славе; нам она теперь ровно ничего не стоит, а между тем, благодаря ей, мы сделались наследниками всех сокровищ древней цивилизации и мудрости, которая пришла догорать своим последним светом в столице Птолемеев. Скажем более: в процессе общечеловеческой жизни нередко обращается в полезное и благое даже то, что имело своим источником ложь или корыстный расчет: искание философского камня положило основание важной науке — химии — и обогатило ее открытиями великих тайнств природы; своекорыстная и коварная политика Лудовика XI была источником одного из благодетельнейших учреждений для человеческого рода — постоянных почт. Это же самое можно применить и к попыткам человеческого ума — сделать науку из биографии великого лица, называемого человечеством. Несмотря на бесконечную противоречивость во взглядах на один и тот же предмет, несмотря на всю односторонность, происходящую от пристрастия и ограниченности, — словом, несмотря на то, что до сих еще пор нет двух исторических сочинений, сколько-нибудь замечательных, которые были бы вполне согласны между собою в изложении одних и тех же событий, — в истории, тем не менее, уже есть свои незыблемые основания, есть идеи, получившие значение аксиом. Ибо все, что в исторических трудах является ограниченностью разума *человека*, — все это, так сказать, исправляется и пополняется разумом *человечества*. С этой точки зрения самая ограниченность нравственная отдельных личностей делается источником и причиною безграничности разума человеческого и торжества истины. Слепленный фанатический католик пишет, например, историю реформации: если он человек с умом, знанием и талантом, его история, несмотря на ее явное, вопиющее пристрастие, не может не быть полезною, потому что самый дух парциальности, одушевляющий его, заставит его найти и вывести наружу хорошие черты умиравшего католицизма, равно как и не говорящие в пользу протестантской партии факты, с умыслом скрытые или искаженные слепыми поборниками лютеранизма. Так же точно способствует тому же самому торжеству истины и протестантский писатель, одушевленный слепюю ненавистью к католицизму и слепым усердием к своей партии. Ложная сторона таких сочинений, уже по самой своей очевидности, бессильна исказить истину; ложь скоро умирает; она носит сама в себе смерть с минуты своего рождения, — а истина остается. Но из этого не следует, чтоб все исторические сочинения писались односторонне и пристрастно: мы хотели только сказать, что даже самые односторонние и пристрастные сочинения часто служат к торжеству истины. Являются, хотя и не так часто, умы светлые и возвышенные, — умы, которые умеют примирить в себе любовь к своему убеждению не только с беспристрастием, но и с уваженнем к противникам, — словом, ко-

торые, умея быть поборниками известной партии, гражданами той или другой земли, умеют быть в то же время и людьми — членами великого семейства рода человеческого. Если это благородное и многостороннее беспристрастие ума, свидетельствующее о великом сердце, соединяется с высоким талантом или гениальностью, тогда в трудах этих людей история приобретает все достоинство науки, сколько важной по своему назначению, столько и незыблемо твердой по своим непреложным началам, не зависящим от произвола людских страстей и ограниченности. Ничего совершенного не может произвести ум человеческий, и часто из самых достоинств его труда необходимо оказываются, как обратная сторона, и его недостатки; но более или менее близкое к совершенству есть, без сомнений, одно из неотъемлемых прав ума человеческого. И для чего же на одном и том же поприще действуют много людей с различными характерами и свойствами, если не для того, чтоб ошибки или недостатки одного были поправлены и восполнены другим, и чтоб все истинное и прекрасное каждой личности возложилось на алтарь человечества, а все ложное или недостаточное сгорело в очистительном огне жертвенника? Беспристрастие есть столько же свойство духа человеческого, сколько и пристрастие; в этом могут сомневаться только умы низкие, которые все на свете меряют собственной низостью. Этим особенно отличаются скептики по заказу, которые гордятся своим неверием во все истинное и великое, как древние циники гордились своею животною неопрятностью. В их глазах, всякий порыв ума к истине есть не что иное, как новое усилие дать вид истины новой лжи из корыстного расчета или из мелкого самолюбия. В их глазах, история есть сплетение лжей, выдуманных страстями человеческими для собственного оправдания или для выгодной спекуляции. Таких людей не переспоришь, да они и не стоят спора. Менее их виновны, но еще более их жалки те слабые умы, которые для веры требуют знамений, и только тогда пламенно признают истину, когда даже внешние обстоятельства способствуют ее торжеству, и право даже материальной силы на ее стороне; но лишь только настало время зла и лжи, но лишь только современная действительность вручила жезл силы врагам истины и добра, — эти добрые энтузиасты, далекие, впрочем, от того, чтоб перейти на сторону тьмы, тем не менее отчаиваются в достоверности и действительности того, что считали недавно своим кровным убеждением! В малодушии своем они готовы всякую истину признать призраком своей фантазии, обманом своего сердца, заблуждением ума; не имея силы пристать ни к той, ни к другой стороне, они начинают заводить жалобные иеремиады о горьком разочаровании, о слабости человеческого ума, о блаженстве веры в какую-нибудь сладенькую фантазию собственной их работы, которую они добродушно

предлагают всем, как спасительный якорь на тревожном море жизни <sup>4</sup>.

Вера в идею составляет единственное основание всякого знания. В науке должно искать идеи. Нет идеи, нет и науки! Знание фактов *только потому* и драгоценно, что в фактах скрываются идеи; факты без идей — сор для голов и памяти. Взор натуралиста, наблюдая явления природы, открывает в их разнообразии общие и неизменные законы, т. е. идеи. Руководимый идеею, он в классификации явлений природы видит уже не искусственное облегчение для памяти, но постепенность развития от низших родов до высших, следовательно, видит движение, жизнь. Неужели же явления общественности, составляющие необходимую форму жизни человека, менее интересны, менее разумны, нежели явления природы? Были и есть скептики, которые утверждали и утверждают, что природа произошла случайно от каких-то атомов, которые бог весть откуда произошли; но уже давно перевелись скептики, основывавшиеся на обмане чувств, отрицавшие порядок, гармонию и неизменность законов, по которым существует природа. Неужели же человеческое общество, это высшее проявление разумности высшего явления бессознательной природы, человека, — неужели общество возникло из случайностей и управляется случайностью? И, между тем, есть люди, которые думают так, может быть, сами того не зная, что они так думают! Ибо отвергать возможность истории, как науки, значит — отвергать в развитии общественности неизменные законы, и в судьбах человека ничего не видеть, кроме бессмысленного произвола слепого случая. Пока фактические знания находились еще в колыбели, простительно было так думать; но когда знание фактов открыло между ними связь и последовательность, а философия открыла смысл и значение этой связи и последовательности, показав в них развитие и прогресс, — тогда возможность истории, как науки, и ее великое значение могут быть закрыты только для одного слабоумия или наглого шарлатанства, которое в парадоксах, более бесстыдных, чем смелых, ищет жалкой известности, способной удовлетворять мелкое самолюбие. . .

История есть наука нашего времени, и потому наука новая. Несмотря на то, она уже успела сделаться господствующею наукою времени, альфою и омегою века. Она дала новое направление искусству, сообщила новый характер политике, вошла в жизнь и нравы частных людей. Ее вопросы сделались вопросами жизни и смерти для народов и для частных людей. Это *историческое* направление есть великое доказательство великого шага вперед, который сделало человечество в последнее время на пути совершенствования: оно свидетельствует, что отдельные лица начинают сознавать себя живыми органами общества — живыми членами человечества, и что, следовательно, само че-

ловечество живет уже не объективно только, но как живая, сознающая себя личность<sup>5</sup>.

Есть две истории: одна непосредственная, другая — сознательная. Первая, это — сама жизнь человечества, из самой себя развивающаяся по законам разумной необходимости. Вторая, это — изложение фактов жизни человечества, история писанная — сознание истории непосредственной. Все разумное имеет свою точку отправления и свою цель; движение есть проявление жизни, цель есть смысл жизни. В непосредственной жизни человечества мы видим стремление к разумному сознанию, стремление — непосредственное сделать в то же время и сознательным, ибо полное торжество разумности состоит в гармоническом слиянии непосредственного существования с сознательным. Жизнь животного также подчинена неизменным и общим законам природы; но животному не дано наслаждаться сознанием своего существования, не дано видеть и разуметь себя не только как нечто в самом себе, но и как вне себя пребывающее. Животное чувствует свою *особность* от окружающих его предметов, чувствует свою *индивидуальность*, но у него нет личности, оно не может сказать себе: *мыслю, следовательно, существую*. Непосредственная жизнь имеет свои ступени и является то низшею, то вышею, но законы ее везде одинаковы: человек и в непосредственности бытия своего выше животного, но вполне человеком он может быть только как существо сознательное. Гегель сказал: «Человек есть животное, которое потому уже не есть животное, что оно знает, что оно — животное». Для ума поверхностного это определение может показаться философским каламбуром; дюжинные остряки, пожалуй, назовут его еще и туманным, а гордое собою невежество увидит в нем худощаво-мудреное немецкое слово. Спорить с этими господами мы не имеем ни времени, ни охоты. Мыслящие люди поймут всю глубину этого выражения, повидимому, весьма простого, но резко и определенно схватывающего великую мысль. В самом деле, дикарь, пожирающий тело убитого им врага, не потому ли именно есть зверь, что он не знает, что он зверь. Если б его грубое понятие озарилось сознанием, что он — зверь, тогда, если б он и не перестал быть зверем, для него все-таки явилась бы возможность перестать быть зверем. Это можно применить ко многому. Для которого из двух злодеев предстоит больше возможности сделаться добрым: для того ли, который сознает, что он злодей, или для того, который в своем злодействе видит законную форму жизни и даже гордится им, как доблестью? Дело только в том, что под сознанием не должно разуметь одного холодного логического процесса мысли, но страстное, переходящее в жизнь убеждение. Полнота жизни человека должна состоять в равномерном участии всех сторон его нравственного существования. В мысли без чувства и в чувстве без мысли виден только порыв к сознанию, половина сознания, но еще не сознание: это — машина,

кое-как действующая половиною своих колес и потому действующая слабо и неверно.

Мы знаем, что во времена глубокой древности и даже среди грубых невежественных народов являлись гениальные личности, возвышавшиеся до значительных ступеней человеческого сознания. Но человек не есть сам себе цель: он живет среди других и для других, так же как и другие живут для него. Народ — тоже личность, как и человек, только еще высшая; человечество — та же личность, что и народ, только еще высшая. Итак, если цель жизни каждого человека, отдельно взятого, — сознание, то что же, если не сознание, должно быть целью существования и каждого народа и всего человечества? Это тем яснее, что, как бы ни велик был человек, народ всегда выше его, и соединенные усилия многих людей всегда превзойдут в своих результатах его усилия.

А, между тем, мы видим, что доселе успехи сознания состоят только в том, что от индивидуумов они перешли к сословиям. Следовательно, человечеству предлежит пройти на пути совершенствования или сознания еще более длинный путь, нежели какой оно прошло уже; но этот путь будет уже более прямой и широкий; а это уже много — из чащей и дебрей выйти наконец на большую дорогу. Вот почему мы видим великий успех человечества в историческом направлении нашего века. Если человечество уже начало сознавать себя человечеством, — значит, близко время, когда оно будет человечеством не только непосредственно, как было доселе, но и сознательно. И начало этого сознания оно могло почерпнуть только в истории.

История на Востоке и доселе есть сказка, ибо она там не отделилась еще от поэзии. Говоря собственно, на Востоке и не может быть истории: историю может *писать* только тот народ, который своею жизнью *делает* историю, т.-е. наполняет [накопляет?] массу *разумных*, а не *случайных* событий, составляющих содержание истории; а Восток умер в младенчестве, в то время, когда его сознание могло выражаться только в поэзии. У древних была история, но в их духе и удовлетворительная только для них. Они умели с дивным художественным искусством излагать события; умели даже видеть их в органической связи и последовательности, но у них не было (и не могло быть) идеи о прогрессе, о развитии человечества. Грек и римлянин видели человечество только в самих себе, а все, что не было греком и римлянином, они называли варварами. Созерцание, лежавшее в основании их истории, было чисто древнее, трагическое, в котором преобладала мысль о борьбе человека и народов с роком и победе последнего над первым. Древние носили в душе своей темное предчувствие недолговечности форм своей жизни, — и отсюда их понятие о мрачном царстве судьбы, которой трепетали даже самые боги их. Такое тесное воззрение не могло возвыситься до истории, как науки, и потому история у древ-

них была только искусством и принадлежала к области красноречия. Истинное понятие об истории могло возникнуть только у христианских народов, которых бог есть бог всех людей, без различия национальностей. И, однако ж, эта идея о человечестве, составляющая душу и жизнь истории и возвысившая ее до значения науки, явилась недавно, а развилась еще позднее. Знаменитая речь гениального Боссюэта о всеобщей истории (появившаяся в 1681 году) была первым сочинением, которое навело на мысль — подводить все исторические события под одну точку зрения, искать в них одной идеи<sup>6</sup>. Это была идея еще только в зародыше, и ее развитие началось с прошлого века (Вико, Кант, Шлецер, Гердер) и быстро идет в настоящем веке. Мы разумеем здесь только теоретическое развитие этой идеи, и в этом отношении едва ли кому она так много им обязана, как Гегелю. Разумеется, и практика не осталась без попыток уравниваться с теориею, и теперь история, чуждая идеи прогресса, никем не будет признана в достоинстве истории. Однако ж, должно сказать, что в этом отношении теория далеко опередила практику, и идеал истории, ясный и определенный в сознании, до сих пор не осуществлен фактами. Если что-нибудь было замечательного по части исторических опытов, так это или история отдельных народов, или изложение какой-нибудь отдельной эпохи из всеобщей истории. Лучшие историки — английские и французские; но их имен немного: Юм, Робертсон, Гиббон, Гизо, Тьер, Мишлè, Барант, Тьерри; первые три принадлежат прошлому столетию, а последние — нынешнему. Из немцев замечательны: Иоганн Мюллер, Шиллер, Раумер, Ранке и Лео. Нельзя не сознаться, что это число слишком не велико. Что же касается до попыток написать всеобщую историю, то здесь не на что и указать, кроме трудов Роттека и Шлоссера, особенно последнего, — трудов более замечательных, чем удовлетворительных. Причина этого очевидна: нужно удивительное соединение в одном человеке слишком многих и слишком великих условий, чтоб он мог написать хорошую всеобщую историю: громадная эрудиция, широкие симпатии, многосторонность созерцания, высокое философское образование, соединенное с глубоким знанием людей и жизни, с верным тактом действительности, возвышенность и силу личного убеждения, носящего характер религиозный и соединенного с тою гуманною терпимостью, которая вытекает из живого сознания законов необходимости; наконец, великий художественный талант, в котором бы эпический элемент органически сливался с противоположным ему драматическим элементом. Для истории, в истинном значении этого слова, еще не настало время: переходные эпохи, когда старое или сокрушается с грохотом, или подтачивается медленно, а заря нового видна только немногим избранным, одаренным ясновидением будущего по темным для других приметам настоящего, —

переходные эпохи, как бесплодные и лишенные великих и живых верований, не благоприятны для истории, как произведения науки и искусства вместе.

Между людьми, наиболее слопспешествовавшими развитию истинного взгляда на историю, почетное место занимает человек, написавший одну преплохую историю и множество превосходных романов: мы говорим о Вальтере-Скотте. Невежды провозгласили его романы незаконным плодом соединения истории с вымыслом. Очевидно, что в их узком понятии никак не могла склеиться история с вымыслом. Так, есть люди, которые никак не могут понять смысла оперы, как художественного произведения, потому что в ней действующие лица не говорят, а поют, чего не бывает в действительности. Так, есть люди, которые считают за вздор стихи, справедливо замечая, что стихами-де никто не говорит. Разные бывают люди, и разные бывают роды узколюбия! Те, которых приводит в соблазн сочетание истории с романом, смотрят на историю, как на военную и дипломатическую хронику, и с этой точки зрения они, конечно, правы. Они не понимают, что история нравов, изменяющихся с каждым новым поколением, есть еще более интересная история, чем история войн и договоров, и что обновление нравов через обновление поколений есть одно из главных средств, которыми провидение ведет человечество к совершенству. Они не понимают, что историческая и частная жизнь людей так перемешаны и слиты между собою, как праздники с буднями. Вальтер-Скотт угадал это, как гениальный человек — инстинктом. Знакомый с хрониками, он умел читать в них не только то, что написано в строках, но и между строками. В его романах толпятся люди, волнуются страсти, кипят интересы великие и малые, высокие и низкие, и во всем этом проявляется пафос эпохи, с удивительным искусством схваченный. Прочитать его роман значит прожить описанную им эпоху, сделаться на время современником изображенных им лиц, мыслить на время их мыслию, чувствовать их чувством. Он умел взглянуть, как гениальный человек, и на кровавые внутренние волнения древней Англии, волнения в новой Англии, принявшие форму консервативности и оппозиции, и открыл их смысл и значение в борьбе англо-саксонского элемента с норманским. Вот почему Гизо называет Вальтера-Скотта своим учителем в истории, и он сам объяснил источник французской революции результатом *тринадцати-вековой* борьбы между франкским и галльским элементами.

В основании всеобщей истории должна лежать идея человечества, как предмета единичного, индивидуального и личного. Задача всеобщей истории — начертать картину развития, через которое человечество из дикого состояния перешло в то, в каком мы его видим теперь. Это необходимо предполагает живую связь между современным и древним, теряющимся во

мраке времен, — словом, предполагает непрерывающуюся нить, которая проходит через все события и связывает их между собою, давая им характер чего-то целого и единого. Эта нить есть идея сознания, диалектически-развивающегося в событиях, так что в них все последующее необходимо выходит из предыдущего, а все предыдущее служит источником последующему, точно так, как в логическом рассуждении одно умозаключение выходит из другого и рождает из себя третье. Эта истина очевидна: она доказывается тем, что многое в нашем веке было бы совершенно непонятно в отношении к своему происхождению, если бы мы не знали древней истории. Следя за судьбами человечества, мы в ряду исторических эпох его видим строгую, непрерываемую последовательность, так же как в событиях — живую, органическую связь. Мы видим, что каждый человек, существуя для себя самого, в то же время существует для общества, среди которого родился; что он относится к этому обществу, как часть к целому, как член к телу, как растение к почве, которая и родит и питает его. Отсюда происходит, что каждый человек живет в духе этого общества, выражая собою его достоинства и недостатки, разделяя с ним его истины и заблуждения. Мы видим, что общество, как собрание множества людей, которые, несмотря на все различие свое один от другого, тем не менее, в своем образе мыслей, чувств, верований, имеют что-то общее, — есть нечто единое, органически целое, словом, что общество есть идеальная личность. Мы видим, что каждое общество (племя, народ, государство), живя для самого себя и своею собственною жизнью, как отдельный человек, в то же время живет для человечества и относится к нему, как часть к целому, как член к телу, как растение к почве, которая и родит и питает его своими соками. Как из разнообразия характеров, способностей и воли множества людей, разнообразия, впрочем, запечатленного чем-то общим, образуется органическое единство политического тела — народ или государство, так из разнообразия характеров народов образуется единство человечества. Каждый человек потому чем-нибудь отличается от всех других людей и наружно и внутренно, что только из разнообразия способностей образуется гармония совокупных действий; и каждый народ потому отличается более или менее от всех других, что должен в общую сокровищницу человечества принести свою лепту. В обществе один — земледелец, другой — ремесленник, третий — воин, четвертый — художник и так далее, каждый по своей способности и своему призванию, — и каждый, по этому самому, представляет собою необходимое колесо для движения общественной машины. То же и с народами в отношении к человечеству: в Египте возникли математические и естественные знания; Греция развила идею искусства и гражданской доблести, основанной на благородстве свободной любви к отечеству; Рим

развил идею права и дал древнему миру гражданское устройство; евреи — по превосходству народ божий — были призваны провидением быть хранителями священного огня истинной веры в бога, той веры, которой основанием была *снедающая ревность по боге*; и из этого во-истину избранного богом народа вышло спасение мира, явился богочеловек, провозвестивший миру ту веру, которая не есть вера одного народа, но вера всех людей, и которая указала людям кланяться богу не в Иерусалиме только, но всюду и везде, *духом и истиною*. Древний мир окончил свое существование: не стало Греции, погиб жертвою варваров миродержавный Рим, и рассеялись по лицу земли остатки некогда любимого и избранного богом народа; казалось, настал конец всему миру, светильник просвещения угас навсегда, и варварство должно было поглотить человечество. Но на рубеже двух миров — умирающего древнего и возрождающегося нового, но в хаосе средних веков, этой эпохи дикого невежества, кровавых войн, беспорядка и смешения — не переставал раздаваться всемогущий глагол жизни: *да будет!* и *бысть!*.. Новая вера укрепилась и распространилась по лицу лучшей части земли, политический беспорядок переродился в монархическое единство, муниципальная система городов, основанная римлянами в Испании, Галлии, Британии и Германии, удержалась и развилась; римское право сменило варварские законоположения, и, наконец, для Европы воскресли и мудрость, и искусство, и гуманные формы гражданской жизни древней Эллады! Ничто из прожитого человечеством не пропало втуне, но все сохранилось, чтобы ожить в новых, более сложных и полных формах, чтоб войти, подобно питательным сокам, в новое общественное тело и, присуществовавшему ему, утучнить его на новое здравие и новые силы! И даже теперь, в наш век, холодный и расчетливый, положительный и мануфактурный, в наш век, в котором малодушие видит только гниение и близкую смерть, и в котором, действительно, маленькими самолюбиями заменились великие страсти, а маленькими людьми — великие люди, — разве даже и в наш век развитие человечества остановилось? Да, если хотите, оно остановилось, но для того только, чтоб собраться с силами, заpastись материальными средствами, которые столь же необходимы для него, как и духовные! И эти паровые машины, эти железные дороги, электрические телеграфы — все это что же такое, если не победа духа над грубою материею, если не предвестник близкого освобождения человека от материальных работ, унижающих душу и сокрушающих волю, от рабства нужды и вещественности! И, однако ж, еще нелепее было бы думать, что теперь развитие должно остановиться, потому что дошло до самой крайней степени и дальше идти не может. Нет предела развитию человечества, и никогда человечество не скажет себе: *стой, довольно, больше идти некуда!* Тò, что мы называем человечеством, не есть какая-нибудь реальная личность, ограни-

ченая, в самой духовности ее, материальными условиями и живущая для того, чтоб умереть: человечество есть идеальная личность, для которой нет смерти, ибо умирают люди, но человечество не только от этого не умирает, даже не уменьшается. Человечество, это — дух человеческий, а всякий дух бессмертен и вечен! И в чем же бы состояла вечная жизнь человечества, чем бы наполнилась она, если б ее развитие остановилось навсегда? Жизнь только в движении; в покое — смерть. В чем будет состоять развитие человечества через тысячу лет? — подобный вопрос нелеп, потому что неразрешим. Но в эпоху всеобщего разложения элементов, которые доколе составляли жизнь обществ, в эпоху отрицания старых начал, на которые опиралась эта жизнь, в эпоху всеобщей тоски по обновлению и всеобщего стремления к новому идеалу, — можно предчувствовать и даже предвидеть основание будущей эпохи, ибо самое отрицание указывает на требование, и разрушение старого всегда совершается через появление новых идей. Если до сих пор человечество достигло многого, это значит, что оно еще большего должно достигнуть в скорейшее время. Оно уже начало понимать, что оно — человечество: скоро захочет оно в самом деле сделаться человечеством...

Мысль гордая и великая! Нет более случайности: дух божий ведет и движет дух человеческий к его цели! Исторический фатализм — богохульство; живая вера в прогресс и — ее следствие — сознание своего человеческого достоинства: вот плоды изучения истории, вот великое значение великой науки!..

Отсюда видно важное значение исторического учебника. В жизни каждого человека бывает эпоха непосредственной восприимчивости идей, и бывает эпоха, когда принятие новых идей или дальнейшее развитие старых возможно только на основании трудов первой эпохи. Слишком немногие способны, достигши возмужалости, понять истины самые простые и доступные в лета детства и юности, посвященные учению. Это оттого, что детство принимает на-веру, непосредственно те идеи, которые сначала кажутся отвлеченными, а потом, в более зрелом возрасте, получают характер осязаемой действительности, поверяются и развиваются сознанием. Кто учился истории в эпоху первой молодости, тот сперва непосредственно принимает в себя созерцание народа или человечества, как идеальной личности. Для человека же, который начинает мыслить и учиться в эпоху возмужалости, подобные идеи иногда даются с большим напряжением ума и часто совсем не даются: ибо ум, не развитый учением и не сделавшийся оттого гибким в лета детства и юношества, делается грубым и неспособным для принятия отвлеченных понятий; ему бывает доступно только материальным образом ясное и определенное. Но эта-то самая гибкость и нежная впечатлительность юных умов, которая так

способствует быстрой и легкой восприимчивости идей и на которой основывается возможность усвоения содержания науки — истины, она же бывает и причиною огрубения способностей и бессилия постигать истину. Это зависит от того, *какие* истины впервые коснутся юного мозга, и *каким* образом будут они ему переданы. Отсюда выходит великая важность всякого учебника, а следовательно, и исторического.

Исторический учебник, вопреки обще-принятому ложному мнению, отнюдь не должен быть чужд всяких рассуждений, предложенных от лица автора. Дело в том, чтоб эти рассуждения были уместны и заключали в себе столько же мыслей, сколько и слов. Они должны быть выразительны без многословия, сжаты без темноты, красноречивы без изысканности, сильны без напыщенности. Их цель должна быть — приучение молодого ума рассуждать без резонерства, мыслить без сухости, и вникать не только в смысл, но и в поэзию великих мировых событий. Но еще большее умение автора исторического учебника должно состоять в том живом и вместе простом изложении событий, которое говорит прямо уму и фантазии и потому без труда удерживается памятью. Этого нельзя достигнуть иначе, как проведши живую мысль через всю нить событий, в отношении к целому построению учебника, и оживив мыслию каждое особое событие. Лица, играющие роль в событиях, не должны быть только историческими именами, но и историческими идеями; каждое из них должно быть показано и со стороны его собственной мысли, во имя которой оно действовало, и в отношении к общей идее народа, среди которого оно являлось, так, чтоб ученик понимал, что такое лицо, как, например, Алкивиад, возможно было только в Афинах, и такое, как, например, Марий, — только в Риме, хотя оба эти лица были столько же друзьями, сколько и врагами своего отечества. Хороший исторический учебник не одними толкованиями (хотя и они необходимы в нем), но и самым тоном своего изложения должен прежде всего и больше всего научить ученика — в каждом народе, отдельно взятом, и в целом человечестве видеть не статистические числа, не искусственные машины, не отвлеченные идеи, но живые организмы, идеальные личности, живущие вечным непрерывным стремлением к сознанию самих себя. Без этого созерцания народа и человечества, как идеальных личностей, невозможна история, как наука, ибо тогда она была бы наукою без содержания, повествованием без героя, сбором событий без связи и смысла. Понятие о *прогрессе*, как источнике и цели исторического движения, производящего и рождающего события, должно быть прямым и непосредственным выводом из воззрения на народ и человечество, как на идеальные личности. Но это движение и результат его — *прогресс* — должны быть определены и охарактеризованы как можно глубже и многостороннее. Есть люди, которые под прогрессом разумеют

только сознательное движение, производимое благородными деятелями, и, как скоро на сцене истории не видят таких деятелей, сейчас приходят в отчаяние, и их живая вера в провидение уступает место признанию враждебного рока, слепой случайности, дикого произвола. Такие люди во всяком материальном движении видят упадок и гниение общества, унижение человеческого достоинства, преклонившего колена перед тельцом златым и жертвенником Ваала. Есть другие люди, которые, напротив, думают, что общий прогресс может быть результатом только частных выгод, корыстного расчета и эгоистической деятельности нескольких сословий на счет массы общества, и, вследствие этого, хлопочут из всех сил о фабриках, мануфактурах, торговле, железных дорогах, машинах, об основании обществ на акциях и тому подобных *насуиных* и *полезных* предметах. Такие люди всякую высокую мысль, всякое великодушное чувство, всякое благородное деяние считают дон-кихотством, мечтательностью, бесполезным брожением ума, потому что все это не дает процентов. Очевидно, это две крайности, которых больше всего должен опасаться составитель курса истории для преподавания юношеству. Первая крайность производит пустых идеалистов, высокопарных мечтателей, которые умны только в бесплодных теориях и чужды всякого практического такта. Вторая крайность производит сциентифических спекулянтов и торговцев, ограниченных и пошлых утилитаристов. Для избежания этих крайностей исторический учебник должен показать общество, как предмет многосторонний, организм многосложный, который состоит из души и тела, и в котором, следовательно, *нравственная* сторона должна быть тесно слита с *практической* и интересы *духовные* — с выгодами материальными. Общество тогда опирается на прочном основании, когда оно живет высокими верованиями — источником великих движений и великих деяний; в верованиях скрываются идеи; через распространение и обобщение идей общества двигаются вперед. Но идеи не летают по воздуху; они расходятся по мере успехов коммуникации между обществами, а коммуникации требуют путей материальных. Отсюда великое нравственное значение, например, железных дорог, кроме их великого материального значения, как средства к усилению материального благосостояния обществ. Историк должен показать, что исходный пункт нравственного совершенства есть прежде всего материальная потребность и что материальная нужда есть великий рычаг нравственной деятельности. Если б человек не нуждался в пище, в одежде, в жилище, в удобствах жизни, — он навсегда остался бы в животном состоянии. Этой истины может пугаться только детское чувство или пошлый идеализм. Но эта истина не поведет ума дельного к разочарованию; дельный ум увидит в ней только доказательство того, что дух не гнушается никакими путями и побеждает материю ее же собствен-

ным содействием, ее же собственными средствами. И потому в истории являются необходимыми не одни герои добра и сердечного убеждения, но и честолюбивые эгоисты и даже самые злодеи; не одни Солоны, Аристиды и Тимолеоны, но и Пизистраты, Алкивиады, Филиппы и Александры Македонские; не одни Альфреды и Карлы Великие, но и Лудовики XI-е и Фердинанды-Католики; не одни Генрихи IV и Петры Великие, но и Наполеоны. И все они равно работали одному и тому же духу человеческому, только одни сознательно, действуя для него и во имя его, а другие — бессознательно, действуя для себя самих, во имя своего я. И нигде, ни в чем не видно так ясно присутствия миродержавных судеб божиих, как в этом равномерном служении духу и добрых, и эгоистов, и злых, в котором скептики видят неопровержимое доказательство, что человечеством правит слепой случай: ибо где же было бы обеспечение прогресса, порука за высокую цель, к которой стремится человечество, если б судьба народа или человечества зависела только от явления честолюбивых личностей, подверженных и смерти и всем случайностям? Напротив, так как источник прогресса есть сам же дух человеческий, который непрерывно живет, т.-е. непрерывно движется, то прогресс не прерывается даже в эпохи гниения и смерти обществ, ибо это гниение необходимо, как приготовление почвы для цвета новой жизни, и самая смерть в истории, как и в природе, есть только возродительница новой жизни. Развращение нравов в Западной Римской империи, достигшее до крайних пределов, возвестило конец древнего мира и приготовило торжество новой веры, под сень которой склонилось все жаждавшее обновления и возрождения, — и Рим, столица языческого мира, сделался столицею христианского мира. Великие исторические личности суть только орудия в руках духа: их воля при них, но она, без ведома их, ограничена духом времени, страны и потребностями настоящей минуты и не выходит из этого магического круга. Когда же она прорывается через этот круг и расходится с высшею волею, тогда перед глазами изумленного человечества повторяется священное сказание о древнем Израиле, который охромел в борьбе с неведомым борцом... Самовольно отторгшаяся воля человека от воли духа сокрушается, как лист, падающий с дерева, действует ли она во благо или во зло. Еще и теперь живы поколения, свидетели падения сына судьбы, который, совершив свою миссию, не внял призыванию духа — и пал от бури, им самим воздвигнутой, пал не в слабости, не в истощении, не в утомлении, но в полноте сил своих, в зените своего могущества, — и его падением мир столько же был изумлен, сколько и он сам: так ясно видна была недоступная для телесных очей, но понятная разуму невидимая рука, поразившая его... Бывают в истории эпохи, когда, кажется, готова погаснуть в обществах последняя

искра живительной идеи, когда над миром царят ничтожество и эгоизм, когда, кажется, уже нет более спасения, — но тут-то и близко оно, — и готовая потухнуть слабая искра жизни вдруг вспыхивает морем пламени, — и осиянный ею мир дивится, откуда явилось его спасение...

Все эти идеи тем легче развить в историческом учебнике, что он весь состоит из фактов, которые не иное что, как проявление этих же самых идей. Следовательно, стоит только изложить их с настоящей точки зрения, чтоб идея говорила сама за себя. Мы должны сказать с сожалением, что новая история г. Смарагова далеко не удовлетворяет требованиям хорошего учебника, по нашему воззрению.

Прежде всего скажем, что самый объем ее не обнаруживает в авторе современного взгляда на новую историю. Как все наши авторы исторических учебников, не исключая и г. Кайданова, г. Смарагов разделяет новую историю на три периода — *религиозный, меркантильный и революционный*. Это разделение он имеет полное право считать основательным, с своей точки зрения; но мы удивляемся, как не заметил он, что в этом разделии новая история, если ее изложить сообразно с важностью и многосложностью фактов, является человечком с маленькими ножками и огромнейшею головою, или, если последний период изложить кратко, кое-как, — то уродцем с хвостиком вместо головы? Дело в том, что последний период совсем не принадлежит к новой истории, которая должна обнимать собою только время от конца XV века, или от открытия Америки, до конца XVIII века, или до французской революции, которая начинает собою *новейшую* историю, так же точно относящуюся к новой, как новая — к средней. Ибо деление истории на периоды должно основываться не на произволе автора, не на привычке, а на духе событий. Справедливость нашего мнения доказывается тем, что если б г. Смарагов события от французской революции продолжал излагать в тех же размерах, т. е. с тою же подробностью, как и предшествовавшие события, то его книга, вместо 611 страниц, непременно должна была бы выйти разве в 1200 страниц. Но он события от революции изложил кое-как, сделал из них какой-то сухой перечень, в котором для незнающего истории из лучших источников, нежели история г. Смарагова, все темно, непонятно, сбивчиво, бестолково; оттого вся новая история и уместилась у него в одной книге: чтоб вписать ее в эту книгу, он срезал с нее голову, присадив на ее место набалдашник.

История человечества составляется из многих сторон: это есть вместе история и войн, и договоров, и финансов, и администрации, и права, и торговли, и изобретений, и наук, и искусств, и литературы, и нравов; но как политическое значение составляет главную форму жизни гражданских обществ, и как борьба всех идей, составляющих основание духовной жизни

обществ, доселе обнаружилась в войнах, — то история человечества по преимуществу должна быть *политическою*. Однако ж, история войн, договоров и правительств должна быть, в этом случае, только рамою для исторического повествования, рамою, обнимающею все стороны жизни народов и все идеи, развивавшиеся в их жизни. Но г. Смарагдов пошел в этом отношении по избитой колее и, только слегка обозначая причины войн, все свое внимание обращает на самые войны, то-есть на мало-интересные перечни сражений. Так, например, он довольно подробно рассказывает все войны, порожденные *мечтою* о политическом равновесии Европы, и весьма неудовлетворительно излагает картину реформации. На мечту о политическом равновесии Европы он смотрит, как на что-то важное по своему принципу и своим результатам; а, между тем, это было не более, как мечта, державшая государства Европы в непрерывном напряжении их сил. Лучшее доказательство в том, что результатом целого ряда кровопролитных войн за равновесие вышло совершенное неравновесие, и что первостепенные державы, каковы, например, Испания и Швеция, низошли в разряд второстепенных, а второстепенные, как Англия и Пруссия, возвысились на степень первостепенных. Нарушение равновесия видели не в успехах промышленности, торговли, просвещения, а в расширении владений, тогда как оно-то самое и было причиною ослабления *внешним образом* усиливавшегося государства: ибо соединение под одною властью разнородных и часто враждебных друг другу земель только умножало издержки на содержание войск в приобретенной стране и не давало в вознаграждение никаких существенных выгод, не говоря уже о том, что вовлекало в кровопролитные войны с завистливыми чуждыми государствами. Франция сделалась при Лудовике XIV первенствующим государством Европы не через завоевания, а через торжество монархизма над феодализмом, торжество, приготовленное кардиналом Ришелье, — и все войны, возжженные честолюбием Лудовика XIV-го и стóдившие Франции ужаснейшего истощения, не могли низвести это государство в разряд второстепенных держав, ибо оно уже успело укрепиться *изнутри*, и не было слабее других государств ни в позорные времена регентства, ни в жалкое правление Лудовика XV, а при Наполеоне снова явилось сильнейшею державою в Европе; да и теперь, лишившись всех приобретений, сделанных Наполеоном, Франция едва ли слабее любого из европейских государств. Англия возвысилась тоже не завоеванием, а развитием внутренних своих сил, упрочением политического своего устройства и эгоистическою политикою, выходявшею прямо из ее национального характера. Величие Пруссии основалось на принципе протестантизма, принятого ею за принцип ее политической жизни, тогда как католическое начало стóбило Испанию своим угнетающим преобладанием над всеми другими элементами государ-

ственной жизни. Швеция своим мгновенным величием при Густаве Адольфе, Карле X и Карле XII обязана была не внутренним своим силам, а личному характеру этих трех государей. Только одна Австрия сложилась силою внешних тяготений и утвердилась на искусственных основаниях, благодаря, во-первых, раздроблению Германии, во-вторых, своему значению, как тени империи Карла Великого, и, наконец, миссии — быть оплотом против вторжения турков. Во всяком случае, из странной игры в войны за политическое равновесие только Австрия извлекла для себя выгоды. Вообще же эти войны выходили, во-первых, из детских понятий о политике, во-вторых, из честолюбия тогдашних властителей Европы. Это сначала было какою-то борьбою еще не совсем умершего рыцарства с неустановившеюся новою политикою (войны Карла VIII, Лудовика XII и Франциска I с Испаниею и Австриею за Милан и Неаполь), а потом усилием выработать систему здоровой политики. Народам Европы нужно было перегореть в горниле кровавых столкновений друг с другом, и в этом случае всякая причина была хороша; но для равновесия не вышло из этих войн никаких результатов, потому что *гегемония* со стороны какого бы то ни было государства была решительно невозможна. Г. Смаргадов в войнах Франциска I с Карлом V видит характер величественный и благородный, видит борьбу за независимость Европы против габсбургского дома, а не продолжение итальянских войн (стр. 36); но уже одного личного характера Франциска I достаточно для решительного опровержения этого мнения. Франциск I был рыцарь, а не политик; если он и достиг каких-нибудь хороших результатов для общей пользы Европы, то совершенно бессознательно и стремясь совсем к другим целям. Вообще до Генриха IV в Европе не являлось ни одного истинно-государственного ума, ни одного политика в настоящем значении этого слова. Но политика Генриха IV, благодетельная для Франции, не могла быть благодетельною для Европы, потому что для своего времени она была слишком высока, благородна и человечна. По обширным планам, исполненным гениального соображения и верного такта возможности и действительности, первым истинно великим политиком Европы был кардинал Ришелье. Работая для своего времени, он работал для веков; он нанес ужасный и последний удар феодализму и заставил его вырождаться в бессильную аристократию, трепетавшую потом одного взора Лудовика XIV. Войны за равновесие были не больше, как историческою комедиею, особенно до реформации, которая придавала им другой, более важный характер. Но реформация явилась не в один же день с Лютером; она приготовлялась столетиями, и начало ее скрывается в средних веках. За столет до появления Лютера был сожжен Иоанн Гус и его сподвижник Иероним Прагский. Но и не тут еще начало ересей: в XII веке, за двести слишком лет до Иоанна Гуса, с тою же

целию основал свое учение Петр Вальдо, — учение, произведшее альбигойские войны. Реформа Лютера была не чем иным, как удавшаяся наконец (потому что пришло уже время) попытка дела, которое не удалось ни Вальдо, ни Гусу. Но время итальянских войн, от 1494 до 1517 года, было же занято не одними походами французов в Италию, интригами пап и противодействием Испании: под этими внешними событиями, которые вообще мало интересны и которых влияние на последующие события нисколько не заметно, скрывалась другая работа духа, менее заметная внешним образом, потому что была менее блестящею, но зато более существенною и великою по ее значению и следствиям. Изобретение книгопечатания, приготовившее успех реформации, быстро распространялось и дало возможность избранным умам действовать на массы. Явление Лютера, протестовавшего 95 тезисами против продажи индульгенций, 1517 г. октября 31, предшествовалось глухою, но тем не менее сильною и драматическою борьбою, которой реформация была только развязкою. Притом это событие совершено было Лютером не без помощи других замечательных людей. Начало реформации современно великому нравственному событию в жизни Европы — *возрождению наук*. По взятии турками Константинополя (1453) множество византийцев оставили свое отечество и нашли убежище в Италии; они принесли с собою сокровища древних литератур в эту страну, издавна уже знакомую с латинскою литературою. Это обстоятельство дало сильный толчок просвещению Европы: классическая ученость вступила в бой с схоластицизмом средних веков. Германия, главное гнездо этого схоластицизма, в лице своих университетов, фанатически ополчилась на дух нового движения. Профессоры греческого языка и латинского языка были преследуемы, как еретики и безбожники. Они бегали из города в город, гибли от меча и яда. Несмотря на это, дух совершал свое дело, — и дикое невежество уступало ему шаг за шагом. Энтузиазм новой науки до того овладел новым поколением, что молодые люди — одни, не будучи в состоянии платить профессорам, поступали к ним в слуги; другие, презирая надзор полиции, не боясь холода, собирались по ночам в каком-нибудь отдаленном поле или в лесу, чтоб объяснять Цицерона, переводить Гомера. Университеты ожесточаются: у папы выманивается булла, запрещающая учиться еврейскому языку и читать еврейские книги; знаменитый и благородный ученый того времени, *Рейхлин*, едва не попадает на костер за свое знание древних и еврейского языков. Тогда является остроумный памфлет фон-Гуттена — «*Litterae Obscurorum Virorum*»<sup>7</sup>, в котором дикое невежество и фанатизм с ядовитым искусством поражаются собственным их орудием. Это упрочило торжество просвещения в Европе. Гердер сказал, что ни Гудибрас в Англии, ни Гаргантюа во Франции, ни дон-Кихот в Испании не имели столь сильного влияния на совер-

шенствование человечества, как письма Гуттена, сокрушившие последнюю ограду варварства — схоластицизм коллегий. Мы думаем, что подвиги и заслуги даже таких людей, каковы: Конрад Целът, Герман Буший, Иоганн Регий, Эстикампиан, Гегий, учитель Эразма Роттердамского, Дринагерберг, образователь Меланхтона, Агрикола и другие, стоили бы почетного упоминования в историческом учебнике, хотя они и не полководцы. И еще более такие люди, как Рейхлин, Эразм Роттердамский, Гуттен: их значение, их борьба на жизнь и на смерть с варварством и их победы над ними — стоили бы в историческом учебнике изложения более обширного, нежели какое сделали мы в этих строках; ибо во всем этом в тысячу раз более интереса и важности, чем в пустых подробностях пустых итальянских войн. Но обо всем этом у г. Смараглова ни слова: он описывает только то, что было уже описано г. Кайдановым. Мы не говорим, чтоб итальянские войны должно было пройти молчанием; нет, рама политических событий пусть остается рамой и *сжато* излагается в параграфах крупной печати; но события, ознаменованные внутренним смыслом, события, без которых не понятно движение человечества, пусть излагаются *подробнее* в параграфах мелкой печати. Г. Смарагдов не почел за нужное даже прибегнуть к этому необходимому в учебной книге разнообразию шрифтов.

Вообще, в новой истории г. Смараглова мы находим, например, историю тридцатилетней войны, Вестфальского мира и так далее — все то же и все так же, как и у г. Кайданова, ни больше, ни меньше, ни лучше, ни хуже; но не находим развития человечества, причины прогресса и даже самого прогресса. Герои истории, как, например, Валленштейн, Густав-Адольф, Рипелье и пр., очерчены слабо и бесцветно. Нам скажут: учебник не то, что пространный история; в нем главное — сущность и дело, а не поэзия. Старые песни, которые убедительны только для лениности, невежества и бесталанности. Для доказательства отсылаем подобных возражателей к книге, напечатанной на русском языке и русскими буквами, к «Истории средних веков» г. Лоренца, и просим прочесть в ней, например, изложение царствования Карла Великого: это будет полезно, чтоб убедиться, что глубокая эрудиция и в высшей степени дельное изложение фактов нисколько не мешают той поэзии повествования, которая выходит сама собою из живого созерцания идеи событий. . .

Но все это было бы еще туда-сюда. Обыкновенно говорят, что конец венчает дело, а конец-то никуда и не годится у Смараглова.

История Наполеона у него — решительный памфлет. Можно подумать, что г. Смарагдов рассказывает современные события, для которых невозможно спокойное беспристрастие. Поступки Наполеона он называет то дерзкими, то наглыми, то отвратительными — словом, решительно ругается. . . В египетской экспе-

диции он приписывает Наполеону бесчеловечные поступки; короче, по его мнению, такого ужасного человека, как Наполеон, и свет не производил... *Sic transit gloria mundi!*...<sup>8</sup> А, говоря о смерти герцога Брауншвейгского, он заставляет его оканчивать долговременное поприще славы, вероятно, приобретенной в знаменитом походе против Франции, в 1792 г... «*Et voilà comme on écrit l'histoire*».

Новая история г. Смарагдова полнее всех бывших до нее историй: она доведена до 1839 года. Это было бы большою с ее стороны заслугою, если бы, чем ближе к концу, тем больше не становилась она сухим перечнем, из которого ничего нельзя узнать. Надеемся, что при втором издании своей «Новой истории» г. Смарагдов значительно ее исправит. Мы думаем, что он еще бы лучше сделал, если б эту уничтожил совсем и написал совершенно новую...

# ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ



Роман Эжена Сю

Перевел В. Строев. Санктпетербург. 1844. Два тома, восемь частей <sup>1</sup>

История европейских литератур, особенно в последнее время, представляет много примеров блистательного успеха, каким увенчивались некоторые писатели или некоторые сочинения. Кому не памятно то время, когда, например, вся Англия нарасхват разбирала поэмы Байрона и романы Вальтера-Скотта, так что издание нового творения каждого из этих писателей расходилось в несколько дней в числе не одной тысячи экземпляров. Подобный успех очень понятен: кроме того, что Байрон и Вальтер-Скотт были великие поэты, они проложили еще совершенно новые пути в искусстве, создали новые роды его, дали ему новое содержание; каждый из них был Колумбом в сфере искусства, и изумленная Европа на всех парусах мчалась в новооткрытые ими материки мира творчества, богатые и чудные не менее Америки. Итак, в этом не было ничего удивительного. Не удивительно также и то, что подобным успехом, хотя и мгновенным, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть свои гении, как у человечества есть свои. Так, во Франции в последнее время реставрации выступила, под знаменем романтизма, на сцену литературы целая фаланга писателей средней величины, в которых толпа увидела своих гениев. Их читала и им удивлялась вся Франция, а за нею, как водится, и вся Европа. Роман Гюго «*Notre Dame de Paris*»<sup>2</sup> имел успех, каким бы должны пользоваться только величайшие произведения величайших гениев, приходящих в мир с живым глаголом обновления и возрождения. Но вот едва прошло каких-нибудь четырнадцать лет — и на этот роман уже все смотрят, как на *tout de force*<sup>3</sup> таланта замечательного, но чисто-внешнего и эффектного, как на плод фантазии сильной и пламенной, но не дружной с творческим разумом, как на произведение ярко-блестящее, но натянутое, все составленное из преувеличений, все наполненное не картинами действительности, но картинами исключений, уродливое без величия, огромное без стройности и гармонии, болезненное и нелепое. Многие теперь о нем даже совсем никак не думают, и никто не хлопчет извлечь его из Леты, на глубоком дне которой покоится оно своим сладким и непробудным. И такая участь

постигла лучшее создание Виктора Гюго, *si-devant*<sup>4</sup> мирового гения: стало быть, о судьбе всех других, и особенно последних его произведений, нечего и говорить. Вся слава этого писателя, недавно столь громадная и всемирная, теперь легко может уместиться в ореховой скорлупе. Давно ли повести Бальзака, эти картины салонного быта, с их тридцатилетними женщинами, были причиною общего восторга, предметом всех разговоров? Давно ли ими щеголяли наши русские журналы? Три раза весь читающий мир жадно читал или, лучше сказать, пожирал историю «Одного из тринадцати», думая видеть в ней «Илиаду» новейшей общественности? А теперь, у кого станет отваги и терпения, чтоб вновь перечитать эти три длинные сказки? Мы не хотим этим сказать, чтоб теперь ничего хорошего нельзя было найти в сочинениях Бальзака или чтоб это был человек бездарный: напротив, и теперь в его повестях можно найти много красот, но временных и относительных; у него был талант и даже замечательный, но талант для известного времени. Время это прошло, и талант забыт, — и теперь той же самой толпе, которая от него с ума сходила, нимало нет нужды, не только существует ли он нынче, но и был ли когда-нибудь<sup>5</sup>.

При всем том едва ли какая-нибудь эпоха какой-нибудь литературы представляет пример успеха сколько-нибудь подобного тому, каким увенчались в наши дни пресловутые «*Les Mystères de Paris*»<sup>6</sup>. Мы не будем говорить о том, что этот роман, или, лучше сказать, эта *европейская шехеразада*, являвшаяся клочками в фельетоне ежедневной газеты, занимала публику Парижа, следовательно, и публику всего мира, где получают французские газеты (а где же они не получают?), — ни того, что, по выходе этого романа отдельным изданием, он в короткое время был расхвачан, прочитан, перечитан, зачитан, растрепан и затерт на всех концах земли, где только говорят на французском языке (а где не говорят на нем?), переведен на все европейские языки, возбудил множество толков, еще более нелитературных, нежели сколько литературных, и породил великое желание подражать ему, — ни того, что в Париже готовится новое великолепное издание его с картинками работы лучших рисовальщиков. Все это в наше время еще не мерка истинного, действительного успеха. В наше время объем гения, таланта, учености, красоты, добродетели, а, следовательно, и успеха, который в наш век считается выше гения, таланта, учености, красоты и добродетели, — этот объем легко измеряется одною мерою, которая условливает собою и заключает в себе все другие: это — ДЕНЬГИ. В наше время тот не гений, не знание, не красота и не добродетель, кто не нажился и не разбогател. В прежние добродушные и невежественные времена гений оканчивал свое великое поприще или на костре или в бсгадельне, если не в доме умалишенных; ученость умирала голодною смертью; добродетель имела одну участь с гением,

а красота считалась опасным даром природы. Теперь не то: теперь все эти качества иногда трудно начинают свое поприще, зато хорошо оканчивают его: сухие, тоненькие, бледные с молоту, они, в лета опытной возмужалости, толстые, жирные, краснощекие, гордо и беспечно покоятся на мешках с золотом. Сначала они бывают и мизантропами и байронистами, а потом делаются мещанами, довольными собою и миром. Жюль Жанен начал свое поприще «Мертвым ослом и гильотинированною женщиною», а оканчивает его продажными фельетонами в «Journal des Débats», в котором основал себе доходную лавку похвал и браней, продающихся с молотка. Эжен Сю, в начале своего поприща, смотрел на жизнь и человечество сквозь очки черного цвета и старался выказываться принадлежащим к сатанинской школе литературы: тогда он был не богат. Теперь он принялся за мораль, потому что разбогател... Кроме большой суммы, полученной за «Парижские тайны», новый журналист, желающий поднять свой журнал, предлагает автору «Парижских тайн» *сто тысяч франков* за его новый роман, который еще не написан... Вот это успех! И кто хочет превзойти Эжена Сю в гениальности, тот должен написать роман, за который журналист дал бы *двести тысяч франков*: тогда всякий, даже не умеющий читать, но умеющий считать, поймет, что новый романист ровно *вдвое* гениальнее Эжена Сю... Эстетическая критика, как видите, очень простая: всякий русский подрядчик с бородкой и счетами в руках может быть величайшим критиком нашего времени...

Кажется, вопрос о «Парижских тайнах» решился бы этим и коротко и удовлетворительно; но, верные нашим убеждениям, которые для всех, обладающих значительным капиталом нравственности людей, могут почесться предубеждениями, — мы хотим взглянуть на «Парижские тайны» с другой точки и измерять их другим аршином, кроме их успеха, т.-е. кроме заплаченных за них денег. Это мы считаем даже нашею обязанностью, потому что «Парижские тайны» имели большой успех и в России, как и везде. Благодаря хорошему, хотя и неполному, переводу г. Строева, с этим романом теперь может познакомиться и та часть русской публики, которая не может читать иностранные произведения в оригинале. О «Парижских тайнах» говорят и толкуют у нас и в провинции, а некоторые столичные журналы отпускают прегромкие фразы о гениальности Эжена Сю и бессмертии его «Парижских тайн», оставляя, впрочем, для своей публики непроницаемою тайною причины такой гениальности и такого бессмертия<sup>1</sup>. В свое время мы уже сказали наше мнение, и в отделе «Иностранной словесности» представили мнение одного из лучших современных критиков во Франции о «Парижских тайнах». Этого было бы и довольно; но могли ли мы тогда думать, чтоб «Парижские тайны» до такой степени могли заинтересовать русскую публику? Говорить же

о предметах общего интереса — дело журнала. Итак, будем еще говорить о «Парижских тайнах».

Основная мысль этого романа истинна и благородна. Автор хотел представить развратному, эгоистическому, обоготворившему златого тельца обществу зрелище страданий несчастных, осужденных на невежество и нищету, а невежеством и нищетою — на порок и преступления. Не знаем, заставила ли эта картина, которую автор нарисовал, как умел, заставила ли она содрогнуться это общество среди его торговых и промышленных оргий; но знаем, что она раздражила это общество, — и оно обвинило автора в *безнравственности!* В наше время слова «нравственность» и «безнравственность» сделались очень гибкими, и их теперь легко прилагать по произволу к чему вам угодно. Посмотрите, например, на этого господина, который с таким достоинством носит свое толстое чрево, поглотившее в себя столько слез и крови беззащитной невинности, — этого господина, на лице которого выражается такое довольство самим собою, что вы не можете не убедиться с первого взгляда в полноте его глубоких сундуков, схоронивших в себе и безвозмездный труд бедняка и законное наследство сироты. Он, этот господин с головою осла на туловище быка, чаще всего и с особенным удовольствием говорит о *нравственности* и с особенною строгостию судит молодёжь за ее *безнравственность*, состоящую в неуважении к заслуженным (т. е. разбогатевшим) людям, и за ее вольнодумство, заключающееся в том, что она не хочет верить словам, не подтвержденным делами. Таких примеров можно найти тысячи, и нимало не удивительно, что в наше время являются люди, которые Сократа называют надувалою, мошенником и опасным для нравственности юношества безумцем<sup>8</sup>. К особенной черте характера нашего времени принадлежит то, что за всякую правду, за всякое благородное движение, за всякий честный поступок, непосредственно и фактически объясняющий значение нравственности и неумышленно обличающий развратных моралистов, вас сейчас назовут безнравственным. Этим ужасным словом встречен был в Париже и роман Эжена Сю: значит, автор достиг своей цели, — письмо его дошло по адресу. . . «Парижские тайны» даже подали повод к административным прениям в Палате депутатов: таков был успех этого романа. . .

Чтоб для большинства русской публики сделать понятнее чрезвычайный успех «Парижских тайн», надо объяснить местные и исторические причины такого успеха. Причины эти принадлежат теперь истории; о них перестала говорить политика: следовательно, они сделались уже предметом *исторической критики*. Королевскими повелениями в 1830 году была изменена французская хартия; рабочий класс в Париже был искусно приведен в волнение партией среднего сословия (*bourgeoisie*). Между народом и королевскими войсками завязалась борьба.

В слепом и безумном самоотвержении народ не щадил себя, сражаясь за нарушение прав, которые нисколько не делали его счастливее и, следовательно, так же мало касались его, как вопрос о здоровье китайского богдыхана. Сражаясь отдельными массами, из-за баррикад, без общего плана, без знамени, без предводителей, едва зная против кого, и совсем не зная за кого и за что, народ тщетно посылал к представителям нации, недавно заседавшим в абонированной камере: этим представителям было не до того; они чуть не прятались по погребам, бледные, трепещущие. Когда дело было кончено ревностью слепого народа, представители повыползли из своих нор и по трупам ловко дошли до власти, оттерли от нее всех честных людей и, загребая жар чужими руками, преблагополучно стали греться около него; рассуждая о нравственности. А народ, который в безумной ревности лил свою кровь за слово, за пустой звук, которого значения сам не понимал, что же выиграл себе этот народ? — Увы! тотчас же после июльских происшествий этот бедный народ с ужасом увидел, что его положение не только не улучшилось, но значительно ухудшилось против прежнего. А, между тем, вся эта историческая комедия была разыграна во имя народа и для блага народа! Аристократия пала окончательно; мещанство твердою ногою стало на ее место, наследовав ее преимущества, но не наследовав ее образованности, изящных форм ее жизни, ее кровного презрения, высокомерного великодушия и тщеславной щедрости к народу. Французский пролетарий перед законом равен с самым богатым собственником (*propriétaire*) и капиталистом; тот и другой судится одинаким судом и, по вине, наказывается одинаким наказанием; но беда в том, что от этого равенства пролетарию ничуть не легче. Вечный работник собственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно назначает за нее плату. Этой платы бедному рабочему не всегда станет на дневную пищу и на лохмотья для него самого и для его семейства; а богатый собственник с этой платы берет 99 процентов на сто... Хорошо равенство! И будто легче умирать зимою, в холодном подвале или на холодном чердаке, с женою, с детьми, дрожащими от стужи, не евшими уже три дня; будто легче так умирать с хартиєю, за которую пролито столько крови, нежели без хартии, но и без жертв, которых она требует?.. Собственник, как всякий выскочка, смотрит на работника в блузе и деревянных башмаках, как плантатор на негра. Правда, он не может его насильно заставить на себя работать; но он может не дать ему работы и заставить его умереть с голода. Мещане-собственники — люди прозаически-положительные. Их любимое правило: *всякий у себя и для себя*. Они хотят быть правы по закону гражданскому и не хотят слышать о законах человечества и нравственности. Они честно платят работнику ими же назначенную плату, и

если этой платы недостаточно для спасения его с семейством от голодной смерти, и он, с отчаяния, сделается вором или убийцею, — их совесть спокойна — ведь они по закону правы! Аристократия так не рассуждает: она великодушна даже по тщеславию, по принятому обычаю. По тому же самому она всегда любила ум, талант, науку и искусство и гордилась тем, что покровительствовала им. Мещанство современной Франции подражает аристократии только в роскоши и тщеславии, которые у него проявляются грубо и пошло, как у мольерова *мещанина во дворянстве* (*bourgeois-gentilhomme*). И вот за кого народ жертвовал своею жизнью! По французской хартии, избирателем и кандидатом может быть только собственник, который с своей недвижимости платит подати не менее четырехсот франков в год. Следовательно, вся власть, все влияние на государство сосредоточены в руках владельцев, которые ни единою каплею крови не пожертвовали за хартию, а народ остался совершенно-отчужден от прав хартии, за которую страдал. У нас, в России, где выражение — «умереть с голода» употребляется как ипербола, потому что в России не только трудолюбивому бедняку, но и отъявленному лентяю-нищему нет решительно никакой возможности умереть с голода, — у нас, в России, не все поверят без труда, что в Англии и во Франции голодная смерть для бедных — самое возможное и нисколько не необыкновенное дело. Несколько недель, два-три месяца болезни или недостатка в работе — и бедный пролетарий должен умереть с семейством, если не прибегнет к преступлению, которое должно повести его на гильйотину. Вот почему мы и распространились об этом предмете, так тесно связанном с содержанием «Парижских тайн». Бедствия народа в Париже выше всякой меры превосходят самые смелые выдумки фантазии.

Но искры добра еще не погасли во Франции — они только под пеплом и ждут благоприятного ветра, который превратил бы их в яркое и чистое пламя. Народ — дитя; но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума. Горе научило его уму-разуму и показало ему конституционную мишуру в ее истинном виде. Он уже не верит говорунам и фабрикантам законов и не станет больше проливать своей крови за слова, которых значение для него темно, и за людей, которые любят его только тогда, как им нужно загрести жар чужими руками, чтоб воспользоваться некупленным теплом. В народе уже быстро развивается образование, и он уже имеет своих поэтов, которые указывают ему его будущее, деля его страдания и не отделяясь от него ни одеждою, ни образом жизни. Он еще слаб, но он один хранит в себе огонь национальной жизни и свежий энтузиазм убеждения, погасший в слоях «образованного» общества. Но и теперь еще у него есть истинные друзья: это люди, которые слили с его судьбою свои обеты и надежды

и которые добровольно отреклись от всякого участия на рынке власти и денег<sup>9</sup>. Многие из них, пользуясь европейской известностью, как люди ученые и литераторы, имея все средства стоять на первом плане конституционного рынка, живут и трудятся в добровольной и честной бедности. Их добросовестный и энергический голос страшен продавцам, покупателям и акционерам администрации, — и этот голос, возвышаясь за бедный, обманутый народ, раздаётся в ушах административных антрепренеров, как звук трубы судной. Стоны народа, передаваемые этим голосом во всеуслышание, будят общественное мнение и потому тревожат спекулянтов власти. С этими честными голосами раздаются другие, более-многочисленные, которые в заступничестве за народ видят верную спекуляцию на власть, надежное средство к низвержению министерства и занятию его места. Таким образом, народ сделался во Франции вопросом общественным, политическим и административным. Понятно, что в такое время не может не иметь успеха литературное произведение, героем которого является народ. И надо удивляться, как дух спекуляции, обладающий французскою литературою, не догадался ранее схватиться за этот неисчерпаемый источник верного дохода!..

Эжен Сю был этим счастливецом, которому первому вошло в голову сделать выгодную литературную спекуляцию на имя народа. Эжен Сю не принадлежит к числу тех немногих литераторов французских, которые, махнув рукою на мерзость запустения общественной нравственности, добровольно отказались от настоящего и обрекли себя бескорыстному служению будущего, которого, вероятно, им не дождаться, но которого приближению они же содействовали. Нет, Эжен Сю — человек положительный, вполне сочувствующий материальному духу современной Франции. Правда, некогда он хотел играть роль Байрона и кривлялся в сатанинских романах, в роде «Атар-Гюля», «Хитано», «Крао»; но это оттого, что тогда книгопродавцы и журналисты еще не бегали за ним с мешками золота в руках. Сверх того, мода на поддельный байронизм уже прошла, да и лета Эжена Сю давно уже должны были сделать его благоразумным и заставить сойти с ходуль. Он всегда был добрым малым и только прикидывался демоном средней руки, а теперь он — добрый малый вполне, без всяких претензий, почтенный мещанин в полном смысле слова, филистер конституционно-мещанской гражданственности, и если бы мог попасть в депутаты, был бы именно таким депутатом, каких нужно теперь хартии. Изображая французский народ в своем романе, Эжен Сю смотрит на него как истинный мещанин (*bourgeois*), смотрит на него очень просто — как на голодную, оборванную чернь, невежеством и ницетою осужденную на преступления. Он не знает ни истинных пороков, ни истинных добродетелей народа, не подозревает, что у него есть будущее, которого уже нет у торжествующей и преобладающей партии, потому что

в народе есть вера, есть энтузиазм, есть сила нравственности. Эжен Сю сочувствует бедствиям народа: зачем отнимать у него благородную способность сострадания — тем более, что она обещала ему такие верные барыши? Но *как* сочувствует — это другой вопрос. Он желал бы, чтоб народ не бедствовал, и, перестав быть голодною, оборванною и частью поневоле преступною чернью, сделался сытёю, опрятною и прилично себя ведущею чернью, а мещане, теперешние фабриканты законов во Франции, оставались бы попрежнему господами Франции, образованнейшим сословием спекулянтов. Эжен Сю показывает в своем романе, как иногда сами законы французские бессознательно покровительствуют разврату и преступлению. И, надо сказать, он показывает это очень ловко и убедительно; но он не подозревает того, что зло скрывается не в каких-нибудь отдельных законах, а в целой системе французского законодательства, во всем устройстве общества...

#### РУКОВОДСТВО К ПОЗНАНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКО-МАТЕРИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ.

Сочинение *Александра Петровича Татаринова*. Санктпетербург. В тип. Эдуарда Праца. 1844. В 8-ю д. л. 40 стр.<sup>1</sup>

Германия — отечество философии нового мира. Когда говорят о философии, то всегда разумеют германскую, потому что никакой другой философии человечество не имеет. Во всех других странах философия есть попытка частного лица разрешить известные вопросы о бытии; в Германии философия — наука исторически-развивающаяся; ее обрабатывание постепенно передается от поколения к поколению. Кант первый положил прочные начала новейшей философии и дал ей наукообразную форму. Фихте своим учением выразил второй момент развития философии: действуя независимо от Канта и даже став в полемическое к нему отношение, он тем не менее был только продолжателем начатого Кантом дела. Шеллинг и Гегель — представители дальнейшего движения философии. Теперь гегелизм распался на три стороны — правую, которая остановилась на последнем слове гегелизма и далее не идет; левую, которая отложила от Гегеля и свой прогресс полагает в живом примирении философии с жизнью, теории с практикою; и центральную, составляющую нечто среднее между мертвою стоячестью правой и стремительным движением левой стороны. Если мы сказали, что левая сторона гегелизма отложила от своего учителя, это не значит, чтобы она отвергла его великие заслуги в сфере философии и признала его учение пустым и бесплодным явлением. Нет, это значит только, что она хочет идти дальше, и, при всем ее уважении к великому философу, авторитет духа человеческого ставит выше духа авторитета Гегеля. Так отло-

жился от Канта Фихте; так духом учения своего объявил себя против Канта и Фихте Шеллинг; так ученик Шеллинга, Гетель, отложился от Шеллинга; но ни один из них не думал отрицать заслуги своего предшественника, и каждый из них считал себя обязанным своим успехом трудам предшественника. Такой ход германской философии делает невозможными произвольные проявления личных философствований. Чтоб действовать на поприще философии, в Германии мало того, чтоб объявить печатно: «я так думаю», но должно посвятить целые годы тяжелого труда дельному и основательному изучению всего, что сделано по части философии, — должно быть современным.<sup>2</sup>

С этой точки зрения нет ничего забавнее русской философии и русских книг по части философии. О философии, как науке, у нас никто не заботится; но все наши философы думают, что для того, чтоб сделаться философом, стоит только захотеть этого. Учиться философии они не считают нужным; им легче объявить, что все немецкие философы врут, нежели прочесть хотя одного из них. Наши философы не понимают, что у нас для философии нет еще ни почвы, ни потребности. Нашему философу вдруг, ни с того ни с сего, придет охота пофилософствовать, и так как с болтовни пошлин не берут, то, вследствие этого неожиданного припадка философствования, явится небольшая книжка, в которой все сказано, все объяснено, все решено, кроме одного только — зачем и для кого написан весь этот вздор...<sup>3</sup>

Едва ли не смелее всех других наших философов г. Александр Петрович Татаринов: на сорокà страничках, разгонисто и безобразно напечатанных, он излагает какую-то небывалую до него *теоретическую-практическую философию*, и начисто решает, что такое *истина, благо и красота*: истина у него есть истина, благо — благо, а красота — красота. Коротко и ясно! Из философов, бывших до него, он знает что-то только о Локке, Лейбнице и Канте, а о дальнейшем ходе философии решительно никаких сведений не имеет. Для чего и для кого написана эта тетрадка (книгою и даже книжкою ее нельзя назвать)? Для тех, кто имеет хотя какое-нибудь понятие о философии, тетрадка г. Татаринова будет только забавна; а те, которые о философии не имеют никакого понятия, ровно ничего не поймут в ней, в этой тетрадке.

# ПИСЬМО К А. И. ГЕРЦЕНУ

26 января 1845 г.



Спб. 1845, января 26<sup>1</sup>

Спасибо тебе, добрый мой Герцен, за память о приятеле. Твои письма всегда доставляют мне большое удовольствие. В них всегда так много какого-то добродушного юмору, который хоть на минуту выведет из апатии и возбудит добродушный смех. Только при последнем письме я немного подсадовал на тебя. В одно прекрасное утро, когда в одиннадцать часов утра в комнате было темно, как в погребе, слышу звонок — кухарка (она же камердинер) докладывает, что меня спрашивает г. Герц. У меня вздрогнуло сердце: как, Герцен? Быть не может — субъект запрещенный, изгнанный из Петербурга за вольные мысли о будочниках<sup>2</sup>, — притом же он оборвал бы звонок, залился бы хохотом и, снимая шубу, отпустил бы кухарке с полсотни острот — нет, это не он! Входит юноша с московским румянцем на щеках, передает мне письмо и поклоны от Герцена и Грановского. Распечатываю письмо, думая, что первые же строки скажут мне, что за птица доставитель письма. Ничуть не бывало — о нем ни слова! Вести г. Герца о лекциях Шевырки, о фуроре, который они произвели в зернистой московской публике, о рукоплесканиях, которыми прерывается каждое слово этого московского скверноуста, — все это меня не удивило нисколько; я увидел в этом повторение истории с лекциями Грановского. Наша публика — мещанин во дворянстве: ее лишь бы пригласили в парадно-освещенную залу, а уж она из благодарности, что ее, холопа, пустили в барские хоромы, непременно останется всем довольною. Для нее хорош и Грановский, да недурен и Шевырев; интересен Вильмен, да любопытен и Греч. Лучшим она всегда считает того, кто читал последний. Иначе и быть не может, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но ведь к ее услугам и тысячи журналов, которые имеют право не только хвалить, но и ругать; сама она имеет право не только хлопать, но и свистать. Сделай так, чтобы во Франции публичность заменилась авторитетом полиции, и публика, в театре и на публичных чтениях,

имела бы право только хлопать, не имела бы права шикать и свистать: она скоро сделалась бы так же глупа, как и русская публика. Если бы ты имел право, между первую и вторую лекцією Шевырки, тиснуть статейку, вторая лекция, наверное, была бы принята с меньшим восторгом. По моему мнению, стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать: вот отчего мне не понравились твои статьи о лекциях Грановского<sup>3</sup>. Но довольно об этом. Москва сделала, наконец, решительное про- нунциаменто: хороший город! Питер тоже не дурен. Да и все хорошо. Спасибо тебе за стихи Языкова<sup>4</sup>. Жаль, что ты не вполне их прислал. Пришли и пасквиль. Калайдович, доставитель этого письма (очень хороший молодой человек, которого, надеюсь, вы примете радушно), покажет вам пародию Некрасова на Языкова. Во 1-х, распространите ее, а во 2-х, пошлите для напечатания в «Москвитянин». Теперь Некрасов добирается до Хомякова. А что ты пишешь Краевскому, будто моя статья не произвела на ханжей впечатления, и что они гордятся ею — вздор; если ты этому поверил, значит, ты плохо знаешь сердце человеческое и совсем не знаешь сердца литературного — ты никогда не был печатно обруган. Штуки, судырь ты мой, из которых я вижу ясно, что удар был страшен. Теперь я этих каналов не оставляю в покое<sup>5</sup>.

Кетчер писал тебе о «Парижском Ярбюхере», и что будто я от него воскрес и переродился<sup>6</sup>. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел, — и все тут. Истину я взял себе, — и в словах *бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Все это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать все, что я думаю и как я думаю. А чорт ли в истине, если ее нельзя популяризовать и обнародовать? — мертвый капитал!

Цена, объявленная вами Краевскому за статьи, показалась ему дорогою. В самом деле, уж и вы — нашли кого прижимать и грабить — человек бедный — у него всего доходу в год каких-нибудь тысяч сто с небольшим.

Кланяюсь Наталье Александровне и поздравляю ее с новорожденною<sup>7</sup>. Жена моя также кланяется ей и благодарит ее за ее к ней внимание. Что, братец, я сам, может быть, весною буду *pater familiae*: жена моя в том *счастливом* положении, в котором королева английская Виктория каждый год бывает, по крайней мере, раза два или три. Грановскому шепелявому не кланяюсь, потому что мои письма к тебе суть письма и к нему. Милому Коршу и его милому семейству шлю челобитие великое; воображаю, что его сын Федя теперь молодец хоть куда, а летом 43 года был такой слюнй, и это была его, а не моя вина, хоть его маменька и Марья Федоровна и сердились на меня, что я находил его не похожим на Аполлона Бельведерского. Михаилу Семеновичу, знаменитому Москалю-Чарив-

нику — уж и не знаю, что и сказать<sup>8</sup>. Да, что делает Агмансе<sup>9</sup>? Жена моя давно уже ответила на ее последнее письмо, а от нее нет никакой вести; она беспокоится, что ее письмо к Агмансе не дошло по адресу.

А ведь Аксаков-то — воля ваша — если не дурак, то жалко ограниченный человек<sup>10</sup>. Затем прощай. Твой и ваш

*В. Белинский*



---

**ИЗБРАННЫЕ**  
**СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ПИСЬМА**  
**1846—1848 ГГ**

---



---

---

# МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ<sup>1</sup>



Какова бы ни была наша литература, во всяком случае ее значение для нас гораздо важнее, нежели как может оно казаться: в ней, в одной ней вся наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни. Только в ее сфере перестаем мы быть Иванами и Петрами, а становимся просто людьми, обращаемся к людям и с людьми.

В нашем обществе преобладает дух разъединения: у каждого нашего сословия все свое, особенное — и платье, и манеры, и образ жизни, и обычаи, и даже язык. Чтоб убедиться в этом, стоит только провести вечер, на котором сошлись бы нечаянно чиновник, военный, помещик, купец, мещанин, поверенный по делам или управляющий, духовный, студент, семинарист, профессор, художник; увидя себя в таком обществе, вы можете подумать, что присутствуете при разделении языков... Так велико разъединение, царствующее междуэтими представителями разных классов одного и того же общества! Дух разъединения враждебен обществу: общество соединяет людей, каста разъединяет их. Многие думают, что спесь, остаток славянской старины, уничтожает у нас социальность (*sociabilité*). Если это и справедливо, то разве отчасти только. Положим, что дворянин неохотно сходится с людьми низшего звания; но люди низших званий чем ни готовы пожертвовать для сближения с дворянином? Это их страсть! Но беда в том, что это сближение всегда бывает внешним, формальным, похожим на шапочное знакомство; самолюбию богатого купца льстит знакомство даже с бедным дворянином, но, перезнакомившись и с богатыми дворянами, он все же остается верен привычкам, понятиям, языку, образу жизни своего, то-есть купеческого звания. Этот дух общности так силен у нас, что даже и новые сословия, возникшие из нового порядка дел, основанного Петром Великим, не замедлили принять на себя особенные оттенки. Чему удивляться, что дворянин на купца, а купец на дворянина вовсе не походят, если иногда почти то же различие существует и между ученым и художником? У нас еще не перевелись ученые, которые всю жизнь остаются верными благородной реши-

мости не понимать, что такое искусство и зачем оно; у нас еще много художников, которые и не подозревают живой связи их искусства с наукою, с литературою, с жизнью. И потому сведите *такого* ученого с *таким* художником, — и вы увидите, что они будут или молчать, или перекидываться общими фразами, да и те для них будут не разговором, а работою. Иной наш ученый, особенно если он посвятил себя точным наукам, смотрит с ироническою улыбкою на философию и историю и на тех, кто ими занимается, а на поэзию, литературу, журналистику смотрит просто как на вздор. Так-называемый наш «словесник» с презрением смотрит на математику, которая не далась ему в школе. Скажут: все это не дух разъединения, а дух полупросвещения или полуобразованности. Так! но ведь все эти люди получили первоначальное образование, если не довольно глубокое, то довольно многостороннее: словесник учился еще в школе математике, а математик — словесности. Многие из них даже очень хорошо рассуждают, при случае, о том, что существует только искусственное разделение наук, а существенного нет и быть не может, потому что все науки составляют одно знание об одном предмете — о бытии; что искусство так же, как и наука, есть то же сознание бытия, только в другой форме, и что литература должна быть наслаждением и роскошью ума равно для всех образованных людей. Но когда эти прекрасные рассуждения придется им приложить к делу, — тогда они сейчас же разделяются на цехи, которые посматривают друг на друга или с некоторой иронической улыбкой и с чувством своего достоинства или с какой-то недоверчивостью... Как же тут требовать социабельности между людьми различных сословий, из которых каждое по-своему и думает, и говорит, и одевается, и ест, и пьет?..

И однако ж, несмотря на то, сказать, чтоб у нас вовсе не было общества, значило бы сказать неправду. Несомненно то, что у нас есть сильная потребность общества и стремление к обществу, а это уже важно! Реформа Петра Великого не уничтожила, не разрушила стен, отделявших в старом обществе один класс от другого; но она подкопалась под основание этих стен, и если не повалила, то наклонила их на бок, — и теперь со дня на день они все более и более клонятся, обсыпаются и засыпаются собственными своими обломками, собственным своим щебнем и мусором, так что починять их значило бы придавать им тяжесть, которая по причине подрыва их основания только ускорила бы их и без того неизбежное падение. И если теперь разделенные этими стенами сословия не могут переходить через них, как через ровную мостовую, зато легко могут перескакивать через них там, где они особенно пообвалились или пострадали от проломов. Все это прежде делалось медленно и незаметно, теперь делается и быстрее и заметнее, — и близко время, когда все это очень скоро и на-

чисто сделается. Железные дороги пройдут и под стенами и через стены, туннелями и мостами, усилением промышленности и торговли они переплетут интересы людей всех сословий и классов и заставят их вступить между собою в те живые и тесные отношения, которые невольно сглаживают все резкие и ненужные различия.

Но начало этого сближения сословий между собою, которое есть начало образующегося общества, отнюдь не принадлежит исключительно нашему времени: оно сливается с началом нашей литературы. Разнородное общество, сплоченное в одну массу только одними материальными интересами, было бы жалким и нечеловеческим обществом. Как бы ни велики были внешнее благоденствие и внешняя сила какого-нибудь общества, — но если в нем торговля, промышленность, паромное, железные дороги и вообще все материальные движущие силы составляют первоначальные, главные и прямые, а не вспомогательные только средства к просвещению и образованию, — то едва ли можно позавидовать такому обществу... В этом отношении нам нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвещение и образование потекло у нас вначале ручейком мелким и едва заметным, но зато из высшего и благороднейшего источника — из самой науки и литературы. Наука у нас и теперь только укореняется, но еще не укоренилась, тогда как образование только еще не разрослось, но уже укоренилось. Лист его мелок и редок, ствол не высок и не толст, но корень уже так глубок, что его не вырвать никакой буре, никакому потоку, никакой силе: вырубите этот лесок в одном месте — корень даст отпрыски в другом, и вы скорее устанете вырубать, нежели устанет он давать новые отпрыски и разрастаться...

Говоря об успехах образования нашего общества, мы говорим об успехах нашей литературы, потому что наше образование есть непосредственное действие нашей литературы на понятия и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от обыкновенного *среднего сословия* отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе<sup>2</sup>.

Если хотите понять и оценить влияние нашей литературы на общество, посмотрите на представителей ее различных эпох, поговорите с ними или заставьте их поговорить между собою. Литература наша так молода, так недавно началась, что и теперь еще можно встретить в обществе всех ее представителей. Первое замечательное русское стихотворение, написанное правильным размером, Ломоносова *Ода на взятие Хотина*,

явилось в 1739 году, ровно 107 лет тому назад, а Ломоносов умер в 1765 году, с небольшим 80 лет назад тому. Теперь, конечно, нет уже людей, которые видели бы Ломоносова хотя в детстве их, или, видевши его, могли бы помнить об этом; но и теперь еще много на Руси людей, которые по сочинениям Ломоносова научились любить поэзию и литературу, и которые и теперь считают его таким же великим поэтом, каким все считали его в их время. Еще больше теперь людей, которые живо помнят и лицо и голос Державина, и эпоху его полной славы считают лучшим временем своей жизни. Многие старики и теперь убеждены от всей души в высоком достоинстве поэм Хераскова, и давно ли маститый поэт Дмитриев жаловался печатно на неуважение молодых поколений к таланту творца *Россиады* и *Владимира*? Есть еще много стариков, которые с умилением вспоминают о трагедиях Сумарокова и, при споре, готовы наизусть продеklamировать лучшие, по их мнению, тирады из *Дмитрия Самозванца*. Другие из них, уже соглашаясь, что язык Сумарокова действительно очень устарел, укажут вам с особенным уважением на трагедии и комедии *Княгинина* как на образец драматического пафоса и чистоты русского языка. Еще больше можно теперь встретить таких, которые ничего не станут говорить о Сумарокове и *Княгинине*, но тем с большим жаром и с большей уверенностью заговорят об *Озере*. Что же касается до Карамзина, — не только старые, но и стареющие поколения беззаветно принадлежат ему душою и телом, чувствуют, думают и живут его духом, несмотря на то, что они не только читали Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова, но и восхищались всеми ими более или менее... Потом, есть теперь люди, которые иронически улыбаются при имени Пушкина и с благоговением и восторгом говорят о Жуковском, как будто уважение к последнему несовместно с уважением к первому. А сколько теперь людей, которые не понимают Гоголя и оправдывают свое предубеждение насчет его тем, что они понимают Пушкина!.. Но не думайте, чтобы все это были чисто-литературные факты: нет, если вы внимательнее присмотритесь и прислушаетесь к этим представителям различных эпох нашей литературы и различных эпох нашего общества, — вы не можете не заметить более или менее живого отношения между их литературными и их житейскими понятиями и убеждениями. Что же касается собственно до литературного их образования, — это люди, разделенные друг от друга как будто столетиями, потому что наша литература с небольшим во сто лет пробежала расстояние не одного века. И потому была большая разница между обществом, которое восторгалось громоздкими фразами высокопарных од и тяжелых эпических поэм, и обществом, которое ходило плакать на *Лизин пруд*; между обществом, которое жадно читало *Людмилу* и *Светлану*, упивалось фантастическими ужасами

*Двенадцати спящих дев* или нежилось в романтической задумчивости под таинственные звуки *Золовой арфы*, — и между обществом, которое для *Евгения Онегина* забыло и *Кавказского пленника*, и *Бахчисарайский фонтан*, для *Горя от ума* — комедии Фонвизина, для *Бориса Годунова* — *Дмитрия Донского* Озерова (как некогда для последнего забыло оно *Дмитрия Самозванца* Сумарокова), а потом для Пушкина и Лермонтова как будто охладело к поэтам, которые им предшествовали; для Гоголя совершенно забыло всех романистов и нувеллистов, которыми еще недавно так восхищалось... Подумайте только, какое неизмеримое пространство времени легло между *Иваном Выжигиным*, который вышел в 1829 году<sup>3</sup>, и между *Мертвыми душами*, которые вышли в 1842 году... Это различие литературного образования общества перешло в жизнь и разделило людей на различно-действующие, мыслящие и убежденные поколения, которых живые споры и полемические отношения, выходя из принципов, а не из материальных интересов, являют собою признаки возникающей и развивающейся в обществе духовной жизни. И это великое дело есть дело нашей литературы!..

Литература была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей. Она началась сатирой, и в лице Кантемира объявила нещадную войну невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правила жизни, как моральные убеждения. Каков бы ни был талант Сумарокова, но его сатирические нападки на «крапивное семя» всегда будут заслуживать почетного упоминования от историка русской литературы. Комедии Фонвизина были еще более заслугой перед обществом, нежели перед литературою. Отчасти то же можно сказать и об *Ябеде* Капниста. Басня потому так хорошо и принялась у нас, что она принадлежит к сатирическому роду поэзии. Сам Державин, поэт по преимуществу лирический, был в то же время и сатирическим поэтом, как, например, в *Фелице*; *Вельможе* и других пьесах. Наконец, пришло время, когда в нашей литературе сатира перешла в юмор, который высказывается в художественном воспроизведении житейской действительности. Конечно, смешно было бы предполагать, чтоб сатира, комедия, повесть или роман могли исправить порочного человека; но нет сомнения, что они, открывая глаза общества на самого же его, способствуя пробуждению его самосознания, покрывают порочного презрением и позором. Не даром же многие у нас не могут без ненависти слышать имени Гоголя, и его *Ревизора* называют «безнравственным» сочинением, которое следовало бы запретить. Равным образом, теперь уж никто не будет так просто-душен, чтобы думать, что комедия или повесть может взяточника сделать честным человеком, — нет, кривое дерево, когда оно уже выросло и потолстело, не сделаешь прямым; но ведь

у взяточников так же бывают дети, как и у не-взяточников: те и другие, еще не имея причин считать безнравственными яркие изображения взяточничества, восхищаются ими и незаметно для самих себя обогащаются такими впечатлениями, которые не всегда оказываются бесплодными в их последующей жизни, когда они делаются действительными членами общества. Впечатления юности сильны, и юность то и принимает за несомненную истину, что прежде всего поразило ее чувство, воображение и ум. И вот каким образом действует литература уже не на одно образование, но и на нравственное улучшение общества! Как бы то ни было, но это факт, не подлежащий никакому сомнению, что только в последнее время у нас начало делаться заметным число людей, которые нравственные убеждения стараются осуществлять на деле, в ущерб своим личным выгодам и во вред своему общественному положению...

Не менее этого неоспорим и тот факт, что литература служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях *внутренно* разъединенных. Мещанин Ломоносов за свой талант и свою ученость достигает важных чинов, и вельможи допускают его в свой круг. С другой стороны, литература же сближает его с людьми бедными и ничтожными в гражданском отношении. Бедный дворянин Державин, за свой талант, сам делается вельможею — и между людьми, с которыми сблизила его литература, он нашел не одних меценатов, но и друзей. Казанский купец Каменев, написавший балладу *Громвал*, приехал в Москву по делам, пошел познакомиться с Карамзиным, а через него перезнакомился со всем московским литературным кругом. Это было назад тому *сорок лет*, когда купцы хаживали только в передние дворянских домов и то по делам, с товарами или за должком, об уплате которого смиренно докучали. Первые журналы русские, которых и самые имена теперь забыты, издавались кружками молодых людей, сблизившихся между собою через общую им всем страсть к литературе. Образованность равняет людей. И в наше время уже несколько не редкость встретить дружеский кружок, в котором найдется и знатный барин, и разночинец, и купец, и мещанин, — кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их гнетные различия и взаимно уважают друг в друге просто людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданное у нас литературою! Кто из имеющих право на имя человека не пожелает от всей души, чтоб эта общественность росла и увеличивалась не по дням, а по часам, как росли наши сказочные богатыри! Как все живое, общество должно быть органическим, то есть множеством людей, связанных между собою *внутренно*. Денежные интересы, торговля, акции, балы, собрания, танцы — тоже связь, но только внешняя, следовательно, не живая, не органическая, хотя и необходимая и полезная. Внутренно связывают людей общие нравственные интересы, сходство в поня-

ниях, равенство в образовании и при этом взаимное уважение к своему человеческому достоинству. Но все наши нравственные интересы, вся духовная жизнь наша сосредоточивалась до сих пор и еще долго будет сосредоточиваться исключительно в литературе: она живой источник, из которого просачиваются в обществе все человеческие чувства и понятия...

*Повидимому* нет ничего легче, а в *сущности* нет ничего труднее, как писать о русской литературе. Это потому, что русская литература все еще младенец, положим, младенец — Алкид, но все же младенец. А о детях вообще гораздо труднее сказать что-нибудь положительное, определенное, нежели о взрослых людях. Притом же, наша литература подобна нашему обществу, представляет собою зрелище всевозможных противоречий, противоположностей, крайностей, странностей. Это оттого, что она началась не сама-собою, а была сперва пересадком на нашу почву с чуждой нам почвы. Поэтому об нашей литературе всего легче говорить крайностями. Доказывайте, что она не уступает в богатстве и зрелости ни одной европейской литературе, и что мы можем десятками считать наших гениев и сотнями наших талантов; или доказывайте, что у нас вовсе нет литературы, что наши лучшие писатели — или случайные явления, или просто ничего не стоят: в обоих случаях вас, по крайней мере, поймут, и ваше мнение найдет себе жарких последователей. Любовь к крайностям в суждениях — одно из свойств еще не установившейся природы русской; русский человек любит или не в меру хвастаться или не в меру скромничать. И потому у нас так много, с одной стороны, пустоголовых европейцев, которые с восхищением говорят о последней фельетонной сказке выписавшегося французского беллетриста, или с амфазом поют новый водевильный куплет, давно забытый парижанами, — и с презрительным равнодушием или с оскорбительною недоверчивостию смотрят на гениальное произведение русского поэта; для которых Россия не имеет будущего, и в ней все дурно и ничего порядочного быть не может; а с другой стороны, у нас так много *квасных патриотов*, которые всеми силами *натягиваются* ненавидеть все европейское — даже просвещение, и любить все русское — даже сивуху и рукопашную дуэль. Пристаньте к одной из этих партий, — она сейчас же произведет вас в великие люди и в гении, тогда как другая — возненавидит и объявит бездарным человеком. Но во всяком случае, имея врагов, вы будете иметь и друзей. Держась же беспристрастного, *трезвого* мнения об этом предмете, вы восстановите против себя обе стороны. Одна из них обременит вас своим модным, попутайным презрением; другая, пожалуй, объявит вас человеком беспокойным, опасным, подозрительным, ренегатом, и будет писать на вас литературные доношения — разумеется, публике... Самое неприятное тут то, что вы

не будете поняты, и в ваших словах будут находить то неумеренные похвалы, то неумеренную брань, но не будут видеть в них верной характеристики факта действительности, как он есть, со всем его добром и злом, достоинствами и недостатками, со всеми противоречиями, которые он носит в самом себе. Это особенно прилагается к нашей литературе, которая представляет собою столько крайностей и противоречий, что, сказавши о ней что-нибудь утвердительное, тотчас же должно сделать оговорку, которая большинству публики, больше любящему читать, нежели рассуждать, легко может показаться отрицанием или противоречием. Так, например, сказавши о сильном и благотворном влиянии нашей литературы на общество и, следовательно, о ее великой для нас важности, мы должны оговориться, чтобы этому влиянию и этой важности не приписали больших размеров, нежели какие мы разумели, и таким образом не вывели бы из наших слов такого заключения, что мы не только имеем литературу, но еще и богатую литературу, которая смело может стать наравне с любой европейской литературой. Подобное заключение было бы всячески ложно. У нас есть литература и литература богатая талантами и произведениями, если брать в соображение ее средства и молодость, — но наша литература существует только для нас: для иностранцев же она еще вовсе не литература, и они имеют полное право не признавать ее существования, потому что они не могут через нее изучать и узнавать нас, как народ, как общество. Литература наша слишком молода, неопределенна и бесцветна для того, чтоб иностранцы могли видеть в ней факт нашей умственной жизни. Еще недавно была она робким, хотя и даровитым учеником, который поставлял себе за славу копировать европейские образцы, который за картины русской жизни выдавал копии с картин европейской жизни. И это составляет характер целой эпохи литературы нашей от Кантемира и Ломоносова до Пушкина. Потом, почувствовав свои силы, она из ученика сделалась мастером, и вместо того, чтобы копировать с готских картин европейской жизни, простодушно выдавая их за оригинальные картины русской жизни, она смело начала воспроизводить картины и европейской и русской жизни. Но пока еще только в первых была она вполне мастером, а во вторых только стремилась, и не всегда безуспешно, стать мастером. И это составляет характер периода нашей литературы от Пушкина до Гоголя. С появлением Гоголя литература наша исключительно обратилась к русской жизни, к русской действительности. Может быть, через это она сделалась более одностороннею и даже однообразною, зато и более оригинальною, самобытною, а, следовательно, и истинною. Теперь взглянем на эти периоды русской литературы в отношении к их значению не для нас, а для иностранцев. Нет никакой нужды доказывать, что Ломоносов и Карамзин имеют для нас великое значение;

но попробуйте перевести их сочинения на любой европейский язык, — и вы увидите, станут ли иностранцы читать их, а если и прочтут, то много ли найдут в них интересного для себя. Они скажут: «мы давно уже прочли все это у себя дома; дайте нам *русских* писателей». То же бы самое сказали они и о сочинениях Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Жуковского. Изо всего этого периода был бы им интересен только один писатель — баснописец Крылов; но он решительно непереволим ни на какой язык в мире, и его могут оценить только те из иностранцев, которые знают русский язык и долго жили в России. Итак, целый период русской литературы решительно не существует для Европы. Что же касается до второго, — он может существовать для них, но только в известной степени. Если бы такие произведения Пушкина, как, например, *Моцарт и Сальери*, *Скупой рыцарь*, *Каменный гость*, были переведены достойным их образом на какой-нибудь европейский язык, — иностранцы не могли бы не признать их превосходными созданиями поэзии, но тем не менее эти пьесы не имели бы для них почти никакого интереса как создания русской поэзии. То же можно сказать и о лучших произведениях Лермонтова. Ни Пушкин, ни Лермонтов не могут не терять от переводов, как бы ни хороши были переводы их сочинений. Причина очевидна: хотя в творениях Пушкина и Лермонтова видна душа русская, ясный, положительный русский ум, сила и глубокость чувства, — однако ж эти качества виднее нам, русским, нежели иностранцам, потому что русская национальность еще не довольно выработалась и развилась, чтобы русский поэт мог налагать на свои произведения ее резкую печать, выражая в них общечеловеческие идеи. А требования европейцев в этом отношении велики. И не мудрено: национальный дух европейских народов так самобытно и резко отражается в их литературах, что, как бы ни было велико в художественном отношении произведение, не запечатленное резкою печатью национальности, — оно уже теряет в глазах европейцев главное свое достоинство. В каком-нибудь Марриете, Бульвере или еще меньше значительном беллетристе английском вы так же точно видите англичанина, как и в Шекспире, Байроне, Вальтере-Скотте. Жорж Занд и Поль-де-Кок представляют собою крайние стороны французского духа, и хотя первый выражает собою все прекрасное, человеческое и высокое, а последний — ограниченное и пошлое французской национальности, — однако вы сейчас видите, что оба они равно могли явиться только во Франции. Какой-нибудь Клаурен или Август Лафонтен — так же немцы, как и Гете и Шиллер. В каждой из этих литератур писатель выражает своими сочинениями хорошую или слабую сторону своей родной национальности, и национальный дух, словно таможенный штампель, лежит там как на произведении гения, так и на произведении бездарного писаки. Французы оставались в высшей степени национальными,

изо всех сил подражая грекам и римлянам. Виланд остался немцем, подражая французам. Барьеры национальности непреходимы для европейцев. Может быть, это наша величайшая выгода, что нам равно доступны все национальности, и наши поэты так легко и свободно становятся в своих произведениях и греками, и римлянами, и французами, и немцами, и англичанами, и итальянцами и испанцами: но это выгода в будущем, как указание на то, что наша национальность должна выработаться широко и многосторонне. В настоящем же это пока скорее недостаток, чем достоинство, не столько широкость и многосторонность, сколько невыработанность и неопределенность своего собственного личного начала.

И потому для иностранцев интереснее других были бы в хороших переводах те создания Пушкина и Лермонтова, которых содержание взято из русской жизни. Таким образом, *Евгений Онегин* был бы для иностранцев интереснее *Моцарта и Сальери*, *Скупого рыцаря* и *Каменного гостя*. И вот почему самый интересный для иностранцев русский поэт есть Гоголь. Это не предположение, а факт, доказанный замечательным успехом во Франции перевода пяти повестей этого писателя, в прошлом году изданных в Париже г. Луи Виардо<sup>4</sup>. Этот успех понятен: кроме огромности своего художнического таланта, Гоголь строго держится в своих сочинениях сферы русской *житейской* действительности. А это-то всего и интереснее для иностранцев: они хотят через поэта знакомиться с страной, которая произвела его. В этом отношении Гоголь — самый национальный из русских поэтов, и ему нельзя бояться перевода, хотя, по причине самой национальности его сочинений, и в лучшем переводе не может не ослабиться их колорит.

Но и этим успехом не должно слишком заноситься. Для поэта, который хочет, чтоб гений его был признан везде и всеми, а не одними только его соотечественниками, национальность есть первое, но не единственное условие: необходимо еще, чтоб, будучи *национальным*, он, в то же время, был и *всемирным*, то-есть, чтобы национальность его творений была формой, телом, плотью, физиономиею, личностью духовного и бесплотного мира общечеловеческих идей. Другими словами: необходимо, чтоб национальный поэт имел великое *историческое* значение не для одного только своего отечества, но чтобы его явление имело *всемирно-историческое* значение. Такие поэты могут являться только у народов, призванных играть в судьбах человечества всемирно-историческую роль, то-есть свою национальную жизнь иметь влияние на ход и развитие всего человечества. И потому, если, с одной стороны, без великого гения от природы нельзя быть всемирно-историческим поэтом, то, с другой стороны, и с великим гением иногда можно быть не всемирно-историческим поэтом, то-есть иметь важность только для одного своего народа. Здесь значение поэта зависит уже

не от него самого, не от его деятельности, направления, гения, но от значения страны, которая произвела его. С этой точки зрения у нас нет ни одного поэта, которого мы имели бы право ставить наравне с первыми поэтами Европы, — даже и в таком случае, если бы мы ясно видели, что со стороны таланта он не уступает тому или другому из них. Пьесы Пушкина: *Моцарт и Сальери*, *Скупой рыцарь* и *Каменный гость* так хороши, что без всякого преувеличения можно сказать, что они достойны гения самого Шекспира; но из этого отнюдь не следует, чтоб Пушкин был равен Шекспиру. Не говоря уже о том, что есть большая разница в силе и объеме между гением Шекспира и гением Пушкина, — если бы Пушкин написал столько же и в такой же мере превосходного, сколько Шекспир, и тогда его равенство с Шекспиром было бы слишком смелою ипотезою. Тем более это теперь, когда мы знаем, что число и объем его лучших произведений так бедны в сравнении с числом и объемом лучших произведений Шекспира. Вообще мы скорее можем сказать, что в нашей литературе есть несколько произведений, которые мы можем по их *художественному достоинству* противопоставлять некоторым гениальным произведениям европейских литератур; но мы не можем сказать, чтоб у нас были поэты, которых мы могли бы противопоставлять европейским поэтам первой величины. Есть глубокий смысл в том, что мы нуждаемся в знакомстве с великими поэтами иностранных литератур, и что иностранцы не нуждаются в знакомстве с нашими. Отношение наших великих поэтов к великим поэтам Европы можно выразить так: о некоторых пьесах Пушкина можно сказать, что сам Шекспир не постыдился бы назвать их своими, так же как некоторые пьесы Лермонтова сам Байрон не постыдился бы назвать своими; но, не рискуя впасть в нелепость, нельзя сказать наоборот, что под некоторыми сочинениями Шекспира и Байрона Пушкин и Лермонтов не постыдились бы подписать своего имени. Мы можем называть наших поэтов Шекспирами, Байронами, Вальтер-Скоттами, Гете, Шиллерами и пр. только для показания силы или направления их таланта, но не их значения в глазах всего образованного мира. Кого называют не своим именем, тот не может быть равен тому, чьим именем его называют. Байрон явился после Гете и Шиллера — и остался Байроном, а не был прозван английским Гете или английским Шиллером. Когда для России придет время производить поэтов всемирного значения, — этих поэтов будут называть их собственными именами, и каждое имя такого поэта, оставаясь собственным, будет в то же время и нарицательным, будет употребляться и во множественном числе, потому что будет *типическим*.

Говоря, что русский великий поэт, будучи одарен от природы и равным великому европейскому поэту талантом, все-таки не может в настоящее время достигать равного с ним зна-

чения, — мы хотим этим сказать, что он может соперничествовать с ним только в *форме*, но не в *содержании* своей поэзии. Содержание дает поэту жизнь его народа, следовательно, достоинство, глубина, объем и значение этого содержания зависят прямо и непосредственно не от самого поэта и не от его таланта, а от исторического значения жизни его народа. Только сто тридцать шесть лет прошло с того вечно-памятного дня, как Россия громами полтавской битвы возвестила миру о своем приобщении к европейской жизни, о своем вступлении на поприще всемирно-исторического существования, — и какой блестящий путь преуспевания и славы совершила она в этот короткий срок времени! Это что-то баснословно-великое, беспримерное, нигде и никогда не бывалое! Россия решила судьбы современного мира, «повалив в бездну тяготевший над царствами кумир», и теперь, заняв по праву принадлежавшее ей место между первоклассными державами Европы, она, вместе с ними, держит судьбы мира на весах своего могущества<sup>5</sup>... Но это показывает, что мы ни от кого не отстали, а многих и опередили в политическо-историческом значении — важной, но еще не единственной, не исключительной стороне жизни для народа, призванного для великой роли. Наше политическое величие есть несомненный залог нашего будущего великого значения и в других отношениях; но в одном в нем еще нет окончательного достижения до развития всех сторон, долженствующих составлять полноту и целостность жизни великого народа. В будущем мы, кроме победоносного русского меча, положим на весы европейской жизни еще и русскую мысль... Тогда будут у нас и поэты, которых мы будем иметь право равнять с европейскими поэтами первой величины. Но теперь будем довольны тем, что есть, не преувеличивая и не уменьшая того, чем владеем. По времени наша литература оказала огромные успехи, свидетельствующие несомненно о плодотворности почвы русского духа. Если еще не литература наша, то уже кое-что в литературе нашей начинает интересовать даже иностранцев. Интерес этот пока еще довольно односторонен, потому что в произведениях русских поэтов иностранцы могут находить для себя только местный колорит, живопись нравов и обычаев столь резко противоположной им страны...

## ВЗГЛЯД

### НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1846 г. 1



Настоящее есть результат прошедшего и указание на будущее. Поэтому говорить о русской литературе 1846 года значит говорить о современном состоянии русской литературы вообще, чего нельзя сделать, не коснувшись того, чем она была, чем должна быть. Но мы не вдадимся ни в какие исторические подробности, которые завлекли бы нас далеко. Главная цель нашей статьи — познакомить заранее читателей «Современника» с его взглядом на русскую литературу, следовательно, с его духом и направлением, как журнала. Программы и объявления в этом отношении ничего не говорят: они только обещают. И потому программа «Современника», по возможности краткая и немногословная, ограничилась только обещаниями чисто-внешними. Предлагаемая статья, вместе с статьею самого редактора, напечатанною во втором отделении этого же номера, будет второй *внутреннею*, так сказать, программю «Современника», в которой читатели могут сами, до известной степени, поверять обещания исполнением.

Если бы нас спросили, в чем состоит отличительный характер современной русской литературы, мы отвечали бы: в более и более тесном сближении с жизнью, с действительностью, в большей и большей близости к зрелости и возмужалости. Само собою разумеется, что подобная характеристика может относиться только к литературе недавней, молодой и притом возникшей не самобытно, а вследствие подражательности. Самобытная литература зреет веками, и эпоха ее зрелости есть в то же время и эпоха числительного богатства ее замечательных произведений (*chefs d'oeuvre*). Этого нельзя сказать о русской литературе. Ее история, как и история самой России, не похожа на историю никакой другой литературы. И потому она представляет собою зрелище единственное, исключительное, которое тотчас делается странным, непонятным, почти бессмысленным, как скоро на нее будут смотреть, как на всякую другую европейскую литературу. Как и все, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого. Правда, он не заботился о литературе и ничего не сделал для ее возникновения, но он заботился

о просвещении, бросив в плодovitую землю русского духа семена науки и образования, — и литература без его ведома явилась впоследствии сама собою, как необходимый результат его же деятельности. В том-то, скажем мимоходом, и состояла органическая жизненность преобразования Петра Великого, что оно породило много и такого, о чем он, может быть, и не думал, чего он даже и не предчувствовал. Даровитый и умный Кантемир, вполнину подражатель, вполнину перелагатель на русские нравы сатир римских поэтов (преимущественно Горация) и их подражателя и перелагателя на французские нравы — Буало, Кантемир, с его силлабическим размером, с его языком, полу-книжным, полу-народным, который, по самой этой смеси, был языком образованного общества того времени, Кантемир и вслед за ним Тредьяковский, с его бесплодною ученостию, с его бездарным трудолюбием, с его схоластическим педантизмом, с его неудачными попытками усвоить русскому стихотворству правильные тонические размеры и древние гекзаметры, с его варварскими виршами и варварским двоекратным переложением Роллена, — Кантемир и Тредьяковский были, так сказать, прологом, предисловием к русской литературе. От смерти первого прошло с небольшим сто два года (он умер 31 марта 1744 года); от смерти второго прошло только с небольшим 77 лет (он умер 6 августа 1769 года). Тредьяковский был еще в цвете лет своей славы и еще только шесть лет величал себя «профессором элоквенции и хитростей пиитических»; еще молодой, но больной, слабый и уже близкий к смерти, Кантемир был жив \*, когда в 1739 году, двадцативосьмилетний Ломоносов — Петр Великий русской литературы, прислал из немецкой земли свою знаменитую «*Оду на взятие Хотина*», с которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы. Все, что сделано было Кантемиром, осталось без следа и влияния в книжном мире, все, что было сделано Тредьяковским, оказалось неудачным, — даже его попытки ввести в русское стихотворство правильные тонические метры... Поэтому ода Ломоносова показалась всем первым стихотворным произведением на русском языке, которое было написано правильным размером. Влияние Ломоносова на русскую литературу было такое же точно, как влияние Петра Великого на Россию вообще: долго литература шла по указанному им ей пути, но, наконец, совершенно освободясь от его влияния, пошла по дороге, которой сам Ломоносов не мог ни предвидеть, ни предчувствовать. Он дал ей направление книжное, подражательное, и оттого, повидимому, бесплодное и безжизненное, следовательно, вредное и губительное. Это совершенная правда, которая, однако ж, нисколько не умаляет великой заслуги Ломоносова, нисколько не отнимает у него права

\* Кантемиру тогда было 31 год, а Тредьяковскому 36 лет.

на имя отца русской литературы. Не то же ли самое говорят о Петре Великом наши литературные старообрядцы? И надо сказать, что их ошибка состоит не в том, что они говорят о Петре Великом и созданной им России, а в том, какое они выводят из этого следствие. По их мнению, реформа Петра убила в России народность, а, следовательно, и всякий дух жизни, так что России для своего спасения не остается ничего другого, как снова обратиться к благодатным полу-патриархальным нравам эпохи Кошкина. Повторяем: ошибаясь в выводе, они правы в положении, и поддельный, искусственный европеизм России, созданный реформой Петра Великого, действительно может казаться не более, как внешнею формою без внутреннего содержания. Но разве нельзя того же самого сказать о всех поэтических и ораторских опытах Ломоносова? За что же, по какому же странному противоречию с собственным своим взглядом эти самые люди благоговеют перед именем Ломоносова и с странною раздражительностию принимают за преступление всякое свободное мнение об этом риторе и в поэзии и в красноречии? Не было ли бы, с их стороны, гораздо последовательнее и сообразнее с логикой и здравым смыслом и на Ломоносова смотреть так же точно, как смотрят они на Петра Великого? <sup>2</sup>

Чужое, извне взятое содержание никогда не может заменить, ни в литературе, ни в жизни отсутствия своего собственного, национального содержания; но оно может переродиться в него современем, как пища, извне принимаемая человеком, перерождается в его кровь и плоть и поддерживает в нем силу, здоровье и жизнь. Не будем распространяться, каким образом это сделалось с Россиею, созданною Петром, и русскою литературою, созданною Ломоносовым; но что это действительно сделалось и делается с ними — это исторический факт, истина фактически-очевидная. Сравните басни Крылова, комедию Грибоедова, произведения Пушкина, Лермонтова и в особенности Гоголя — сравните их с произведениями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ими ничего общего, никакой связи, вы подумаете, что в русской литературе все случайно — и талант и гений; а может ли иметь какую-нибудь важность случайное: не есть ли это призрак, мечта? И действительно: было время, когда вопрос — есть ли у нас литература? — не казался парадоксом и многими разрешен был в отрицательном смысле. И такое решение естественно и неизбежно, если русскую литературу судить на основаниях, по которым должно судить историю европейских литератур. Но один из величайших умственных успехов нашего времени в том и состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с ней общего, европейских народов. То же самое и в отношении к истории

русской литературы. Между писателями, которых мы поименовали выше, и между Ломоносовым и его школой действительно нет ничего общего, никакой связи, если сравнивать их, как две крайности; но между ними сейчас же явится перед вами живая кровная связь, как скоро вы будете изучать в хронологическом порядке всех русских писателей от Ломоносова до Гоголя. Тогда вы увидите, что до Пушкина все движение русской литературы заключалось в стремлении, хотя и бессознательном, освободиться от влияния Ломоносова и сблизиться с жизнью, с действительностью, следовательно, сделаться самобытною, национальною, русскою. Если в произведениях Хераскова и Петрова, так незаслуженно превознесенных современниками, нельзя увидеть ни малейшего прогресса в этом отношении, — зато прогресс есть уже в Сумарокове, писателе без гения, без вкуса, почти без таланта, но на которого современники смотрели, как на соперника Ломоносова. Попытки Сумарокова, хотя и неудачные, на комедию из русских нравов, его сатиры, а главное его простодушно-жолчные выходки против «крапивного семени», равно как и некоторые прозаические статьи, более или менее касавшиеся вопросов современной ему действительности, — все это показывает какое-то стремление на сближение литературы с жизнью. И в этом отношении сочинения Сумарокова, лишенные всякого художественного или литературного интереса, заслуживают изучения, так же как имя его, сперва не по достоинству превозносимое, а потом столько же несправедливо унижаемое, заслуживает уважения в потомстве. Нельзя смотреть, как на бесполезные явления, даже и на Хераскова с Петровым: современники видели в них гениев, превозносили их до седьмого неба, стало быть, читали их, а если читали, стало быть, эти писатели сильно способствовали распространению в России вкуса к занятию и наслаждению литературою. Безобразные притчи Сумарокова явились изящными, по тому времени, переводами французских басен в баснях Хемницера и Дмитриева, а в баснях Крылова они явились впоследствии превосходными народными произведениями. Подражатель Ломоносова, смиренно благоговевший даже перед Херасковым и Петровым, Державин, если не был самобытным русским поэтом, то уже не был и только ритором. Одаренный от природы великим поэтическим гением, он потому только не мог создать самобытной русской поэзии, что для этого не пришло еще время, а не по недостатку естественных сил и средств. Русский язык был тогда еще не выработан, дух книжничества и риторики царил в литературе<sup>3</sup>; но главное — тогда была только государственная жизнь, но не было жизни общественной, [потому что тогда не было общества, а был только двор, на который все смотрели, но который знали только принадлежавшие к нему. Не было общества, не было и общественной жизни, общественных интересов]<sup>4</sup>; поэзии и литературе неоткуда было брать содержа-

ния, и потому они существовали и поддерживались не сами собою, а покровительством сильных и знатных, и носили характер официальный. Так должно смотреть на эту эпоху, сравнивая ее с нашею; но не так должно смотреть на нее, сравнивая ее с эпохою Ломоносова: тут был, сравнительно, большой прогресс. Если в это время еще не было общества, зато именно в это время оно зарождалось, потому что блеск и образованность двора начинали тогда отражаться и на среднем дворянстве, и тогда же начали устанавливаться в нем те нравы, которые мы видим теперь. И потому, кроме огромной разницы в поэтическом гении, Державин уже имел перед Ломоносовым большое преимущество и со стороны содержания для своей поэзии, хотя он был человеком без образования, не только без учености. Поэтому поэзия Державина далеко разнообразнее, живее, человечнее со стороны содержания, нежели поэзия Ломоносова. Причина этого не в том только, что Ломоносов был больше превосходный стихотворец, нежели поэт, тогда как Державин от природы получил поэтический гений, но и в сравнительном успехе общества времен Екатерины Великой перед обществом императриц Анны и Елизаветы.

По этой же причине литература екатерининского времени решительно заслоняет собою предшествовавшую ей литературу. Кроме Державина, в это время был Фонвизин — первый даровитый комик в русской литературе, писатель, которого теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но которого читать есть истинное наслаждение. В его лице русская литература как будто даже преждевременно сделала огромный шаг к сближению с действительностию: его сочинения — живая летопись той эпохи. В это же время литература наша от древних литератур, изучавшихся в семинариях и на семинарский лад, начала исключительно наклоняться к французской литературе. Вследствие этого, начали хлопотать о так называемой *легкой литературе*, в которой блистал Богданович. К концу царствования Екатерины явился Карамзин, давший русской литературе новое направление. Мы не будем говорить о его великих заслугах, его великом влиянии на нашу литературу и<sup>5</sup> через нее на образование нашего общества. Мы не будем также входить в подробности о следовавших за ним писателях. Скажем коротко, что в каждом из них видно постепенное освобождение от книжного, риторического, направления, данного Ломоносовым нашей литературе, и постепенное сближение литературы с обществом, с жизнью, с действительностию. Загляните в лицейские стихотворения Пушкина, даже во многие из пьес в первой части его сочинений, им самим и данных, — и вы увидите в них влияние почти всех предшествовавших ему поэтов, от Ломоносова до Жуковского и Батюшкова включительно. Баснописец Крылов, предшествоваемый Хемницером и Дмитриевым, так сказать, приготовил язык и стих для бессмертной комедии Грибоедова. Стало

быть, в нашей литературе всюду живая историческая связь, новое выходит из старого, последующее объясняется предыдущим, и ничто не является случайно. «Но, — спросят нас, может быть, — в чем же заключалась важная заслуга Ломоносова, если вся заслуга последующих писателей состояла в постепенной эмансипации русской литературы из-под его влияния, следовательно, в том, что они старались писать не так, как он писал? И не странное ли это противоречие — говорить с уважением о заслугах и гении писателя, которого вы же сами называете ритором?»

Во-первых, Ломоносов несколько не был ритором по его натуре: для этого он был слишком велик; но его сделали ритором не от него зависевшие обстоятельства. Его сочинения разделяются на ученые и литературные: к последним мы относим оды, *Петриаду*, трагедии, словом, все стихотворные его опыты и похвальные слова. В его ученых сочинениях по части астрономии, физики, химии, металлургии, навигации — нет риторики, хотя они и писаны длинными периодами по латино-немецкой конструкции, с глаголами в конце; но его стихотворные произведения и похвальные речи преисполнены риторикой. Отчего же это? — Оттого, что для ученых своих сочинений у него было готовое содержание, которое добыл он себе наукою и трудом в немецкой земле, и которого ему не нужно было дожидаться или допрашиваться у своего отечества. Приобретенное учением и трудом он развил и увеличил собственным гением. Стало быть, он знал, что писал, и не нуждался в риторике. Содержания же для своей поэзии он не мог найти в общественной жизни своего отечества, потому что тут не было не только сознания, но и стремления к нему, стало быть, не было никаких умственных и нравственных интересов; следовательно, он должен был взять для своей поэзии совершенно чуждое, но зато готовое содержание, выражая в своих стихах чувства, понятия и идеи, выработанные не нами, не нашей жизнью и не на нашей почве. Это значило сделаться ритором поневоле, потому что понятия чуждой жизни, выдаваемые за понятия своей жизни, всегда — риторика. Еще более риторикой были в то время европейские кафтаны, камзолы, башмаки, парики, робонды, мушки, ассамблеи, менуэты и т. д. Но кто же, кроме теоретиков и фантазёров, скажет, чтобы теперь европейская одежда и нравы не сделались национальными для лучшей, т.-е. образованнейшей части <sup>6</sup> русского общества, несколько не мешая ему быть *русским* на самом деле, а не по названию только? Скажем более: в отношении не только к образованнейшей части русского общества, но и всего народа русского теперь сделались чистою риторикою все понятия, определения и слова до-петровского русского быта, — и, если бы военные и гражданские чины наши были переименованы в стратигов, бояр, стольников и т. п., — простой народ тут ровно ничего бы не понял. То же са-

мое, благодаря Ломоносову, совершилось и в литературном мире: все подделки под народность теперь пахнут простонародностью, т.-е. пошлостью, и все попытки в этом роде самых даровитых писателей отзываются риторикою.

«Но каким же чудом, — спросят нас, — внешнее, абстрактное заимствование чужого и искусственное перенесение его на родную почву — каким чудом могло породить оно живой, органический плод?» — В ответ на это скажем то же, что уже говорили: решение этого вопроса, без сомнения, интересно; но нам нет дела до него: для нас довольно сказать, что так, именно так было, что это исторический факт, достоверности которого не может и подумать опровергать тот, у кого есть глаза, чтоб видеть, и уши, чтоб слышать. Писатели, в которых выразилось прогрессивное движение, через освобождение литературы русской от ломоносовского влияния, нисколько не думали об этом; это делалось у них бессознательно; за них работал дух времени, которого они были органами. Они высоко уважали Ломоносова, как поэта, благоговели перед его гением, старались подражать ему и все-таки больше и больше отходили от него. Разительный пример этого — Державин. Но в том-то и состоит жизненность европейского начала, привитого к нашей народности Петром Великим, что оно не коснеет в мертвой стоячности, но движется, идет вперед, развивается. Если бы Ломоносов не вздумал писать од по образцу современных ему немецких поэтов и французского лирика Жан-Батиста Руссо, не вздумал писать своей *Петриады* по образцу виргилиевой «*Энеиды*», где, вместе с Петром Великим, героем своей поэмы, сделал действующим лицом и Нептуна, засадив его с тритонами и наядами на дно прохладного Белого моря; если бы, говорим мы, вместо всех этих книжных, школярных несообразностей он обратился к источникам нашей народной поэзии — к *Слову о полку Игоревом*, к русским сказкам (известным теперь по сборнику Кириши Данилова), к народным песням, и, вдохновленный, проникнутый ими, на их чисто народном основании, решился бы построить здание новой русской литературы: что бы тогда вышло? — Вопрос, повидимому, важный, но в сущности пререпутой, похожий на вопросы в роде следующих: что было бы, если бы Петр Великий родился во Франции, а Наполеон — в России, или: что было бы, если бы за зимою следовала не весна, а прямо лето? и т. п. Мы можем знать, что было и что есть, но как нам знать, чего не было или чего нет? Разумеется, и в сфере истории все мелкое, ничтожное, случайное могло бы быть и не так, как было; но ее великие события, имеющие влияние на будущность народов, не могут быть иначе, как именно так, как они бывают, разумеется, в отношении к главному их смыслу, а не к подробностям проявления. Петр Великий мог построить Петербург, пожалуй, там, где теперь Шлиссельбург, или, по крайней мере, хоть немного выше, т.-е. дальше от моря, чем теперь;

мог сделать новой столицей Ревель или Ригу: во всем этом играла большую роль случайность, разные обстоятельства; но сущность дела была не в том, а в необходимости новой столицы на берегу моря, которая дала бы нам средство легко и удобно сношаться с Европою. В этой мысли уже не было ничего случайного, ничего такого, что могло бы равно и быть и не быть, или быть иначе, нежели как было. Но для тех, для кого не существует разумной необходимости великих исторических событий, мы, пожалуй, готовы признать важность вопроса: что было бы, если б Ломоносов основал новую русскую литературу на народном начале? <sup>8</sup> — и ответим им, что из этого ровно ничего не вышло бы. Однообразные формы нашей бедной народной поэзии были достаточны для выражения ограниченного содержания племенной, естественной, непосредственной, полу-патриархальной жизни старой Руси; но новое содержание не шло к ним, не улегалось в них; для него необходимы были и новые формы. Тогда спасение наше зависело не от народности, а от европеизма; ради нашего спасения тогда необходимо было не задуть, не истребить (дело или невозможное, или гибельное, если возможное) нашу народность, а, так-сказать, задержать на время (*suspendre*) ее ход и развитие, чтобы привить к ее почве новые элементы. Пока эти элементы относились к нашим родным, как масло к воде, — у нас, естественно, все было риторикою — и нравы и их выражение — литература. Но тут было живое начало органического сращения, через процесс усвоивания (*assimilation*), и потому литература от абстрактного начала мертвой подражательности двигалась все к живому началу самобытности. И мы дождались, наконец, до того, что перевод нескольких повестей Гоголя на французский язык обратил на русскую литературу удивленное внимание всей Европы, — говорим *удивленное*, потому что переводы русских романов и повестей на иностранные языки делались и прежде, но вместо внимания порождали в иностранцах совсем не лестное для нас невнимание к нашей литературе по той причине, что эти русские повести и романы, переведенные на их языки, они считали, напротив, переводами с их языков: так чужды они были всего русского, всякой самобытности и оригинальности.

Карамзин окончательно освободил русскую литературу от ломоносовского влияния, но из этого не следует, чтобы он совершенно освободил ее от риторики и сделал ее национальной: он много *для этого* сделал, но *этого* не сделал, потому что до *этого* было еще далеко. Первым национальным поэтом русским был Пушкин \*; с него начался новый переход нашей литературы, еще

\* Нам могут заметить, ссылаясь на собственные наши слова, что не Пушкин, а Крылов; но ведь Крылов был только баснописец-поэт, тогда как трудно было бы таким же образом одним словом определить, какой поэт был Пушкин. Поэзия Крылова — поэзия здравого смысла, житейской мудрости, и для нее скорее, чем для всякой другой поэзии, можно было найти

больше противоположный карамзинскому, нежели этот последний ломоносовскому. Влияние Карамзина до сих пор ощутительно в нашей литературе, и полное освобождение от него будет великим шагом вперед со стороны русской литературы. Но это не только ни на волос не уменьшает заслуг Карамзина, но, напротив, обнаруживает всю их великость: вредное во влиянии писателя есть запоздалое, отсталое, а чтобы оно владычествовало не в свое время, необходимо, чтобы в свое время оно было новым, живым, прекрасным и великим.

В отношении к литературе, как к искусству, поэзии, творчеству, влияние Карамзина теперь совершенно исчезло, не оставив никаких следов. В этом отношении литература наша ближе всего к той зрелости и возмужалости, речью о которых пачали мы эту статью. Так-называемую *натуральную школу* нельзя упрекнуть в риторике, разумея под этим словом вольное или невольное искажение действительности, фальшивое идеализирование жизни. Мы отнюдь не хотим этим сказать, чтобы все новые писатели, которых (в похвалу им или в осуждение) причисляют к *натуральной школе*, были все гении или необыкновенные таланты; мы далеки от подобного детского обольщения. За исключением Гоголя, который создал в России новое искусство, новую литературу, и которого гениальность давно уже признана не нами одними и даже не в одной России только, — мы видим в *натуральной школе* довольно талантов, от весьма замечательных до весьма обыкновенных. Но не в талантах, не в их числе видим мы собственно прогресс литературы, а в их направлении, их манере писать. Таланты были всегда, но прежде они *украшали природу, идеализировали действительность*, т.-е. изображали несуществующее, рассказывали о небывалом; а теперь они воспроизводят жизнь и действительность в их истине. От этого литература получила важное значение в глазах общества. Русская повесть в журнале предпочитается переводной, и мало того, чтобы повесть была написана русским автором, необходимо, чтобы она изображала русскую жизнь. Без русских повестей теперь не может иметь успеха ни один журнал. И это не прихоть, не мода, но разумная потребность, имеющая глубокий смысл, глубокое основание: в ней выражается стремление русского общества к самосознанию, следовательно, пробуждение в нем нравственных интересов, умственной жизни. Уже безвозвратно прошло то время, когда даже всякая посредственность иностранная казалась выше всякого таланта русского. Умея отдавать справедливость чужому, русское общество уже умеет ценить и свое, равно чуждаясь как хвастливости, так и уничижения. Но, если оно более интере-

---

готовое содержание в русской жизни. При том же самые лучшие, следовательно, самые народные басни свои Крылов написал уже в эпоху деятельности Пушкина, и, следовательно, нового движения, которое последний дал русской поэзии.

суется *хорошею* русской повестью, нежели *превосходным* иностранным романом, — в этом виден огромный шаг вперед с его стороны. В одно и то же время уметь видеть превосходство чуждого над своим и все-таки ближе принимать к сердцу свое, — тут нет ложного патриотизма, нет ограниченного пристрастия: тут только благородное и законное стремление сознать себя...

Натуральную школу обвиняют в стремлении все изображать с дурной стороны. Как водится, у одних это обвинение — умышленная клевета; у других — искренняя жалоба. Во всяком случае, возможность подобного обвинения показывает только то, что натуральная школа, несмотря на ее огромные успехи, существует еще недавно, что к ней не успели еще привыкнуть, и что у нас еще много людей карамзинского образования, которых риторика имеет свойство утешать, а истина — огорчать. Разумеется, нельзя, чтобы все обвинения против натуральной школы были положительно ложны, а она во всем была непогрешительно права. Но если бы ее преобладающее отрицательное направление и было одностороннею крайностию, и в этом есть своя польза, свое добро<sup>9</sup>: привычка верно изображать отрицательные явления жизни даст возможность тем же людям или их последователям, когда придет время, верно изображать и положительные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически.

Но вне мира собственно-беллетристического влияние Карамзина до сих пор еще очень ощутительно. Это всего лучше доказывает так-называемая партия *славянофильская*. Известно, что в глазах Карамзина Иоанн III был выше Петра Великого, а до-петровская Русь лучше России новой. Вот источник так-называемого славянофильства, которое мы, впрочем, во многих отношениях считаем весьма важным явлением, доказывающим, в свою очередь, что время зрелости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена детства литературы всех занимают вопросы, если даже и важные сами по себе, то не имеющие никакого дельного применения к жизни. Так-называемое славянофильство, без всякого сомнения, касается самых жизненных, самых важных вопросов нашей общественности. Как оно их касается и как оно к ним относится — это другое дело. Но прежде всего славянофильство есть убеждение, которое, как всякое убеждение, заслуживает полного уважения, даже и в таком случае, если вы с ним вовсе несогласны<sup>10</sup>. Славянофилов у нас много, и число их все увеличивается: факт, который тоже говорит в пользу славянофильства. Можно сказать, что вся наша литература, а с нею и часть публики, если не вся публика, разделилась на две стороны — славянофилов и не-славянофилов. Много можно сказать в пользу славянофильства, говоря о причинах, вызвавших его явление; но, рассмотревши его ближе, нельзя не увидеть, что существование и важность этой литературной ко-

терии чисто-отрицательные, что она вызвана и живет не для себя, а для оправдания и утверждения именно той идеи, на борьбу с которою обрекла себя. Поэтому нет никакого интереса говорить с славянофилами о том, чего они хотят, да и сами они неохотно говорят и пишут об этом, хотя и не делают из этого никакой тайны. Дело в том, что положительная сторона их доктрины заключается в каких-то туманных, мистических предчувствиях победы Востока над Западом, которых несостоятельность слишком ясно обнаруживается фактами действительности, всеми вместе и каждым порознь. Но отрицательная сторона их учения гораздо более заслуживает внимания, не в том, что она говорит против гниющего будто бы Запада (Запада славянофилы решительно не понимают, потому что меряют его на восточный аршин); но в том, что они говорят против русского европеизма, а об этом они говорят много дельного, с чем нельзя не согласиться хотя наполовину, как, например, что в русской жизни есть какая-то двойственность, следовательно, отсутствие нравственного единства; что это лишает нас резко выразившегося национального характера, каким, к чести их, отличаются почти все европейские народы; что это делает нас какими-то междоумками, которые хорошо умеют мыслить по-французски, по-немецки и по-английски, но никак не умеют мыслить по-русски; и что причина всего этого в реформе Петра Великого. Все это справедливо до известной степени. Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из него. Этому славянофилы не делали и не сделали; но зато они заставили если не сделать, то делать это своих противников. И вот где их истинная заслуга. Заснуть в самолюбивых мечтах, о чем бы они ни были — о нашей ли народной славе, или о нашем европеизме, равно бесплодно и вредно, ибо сон есть не жизнь, а только грезы о жизни; и нельзя не сказать спасибо тому, кто прервет такой сон. В самом деле, никогда изучение русской истории не имело такого серьезного характера, какой приняло оно в последнее время. Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем. Мы как будто испугались за нашу жизнь, за наше значение, за наше прошедшее и будущее, и скорее хотим решить великий вопрос *Быть или не быть?* Тут уже дело идет не о том, откуда пришли варяги — с Запада или с Юга, из-за Балтийского или из-за Черного моря; а о том, проходит ли через нашу историю какая-нибудь живая органическая мысль, и, если проходит, какая именно, какие наши отношения к нашему прошедшему, от которого мы как будто оторваны, и к Западу, с которым мы как будто связаны. И результатом этих хлопотливых и тревожных исследований начинает оказываться, что, во-первых, мы не так резко оторваны от нашего прошедшего, как думали, и не так

тесно связаны с Западом, как воображали. Когда русский бывает за границей, его слушают, им интересуются не тогда, как он истинно-европейски рассуждает о европейских вопросах, но когда он судит о них, как русский, хотя бы по этой причине суждения его были ложны, пристрастны, ограничены, односторонни. И потому он чувствует там необходимость придать себе характер своей национальности, и, за неимением лучшего, иногда становится<sup>11</sup> славянофилом, хотя на время и притом неискренно, чтобы только чем-нибудь казаться в глазах иностранцев. С другой стороны, обращаясь к своему настоящему положению, смотря на него глазами сомнения и исследования, мы не можем не видеть, как во многих отношениях смешно и жалко успокоил нас наш русский европеизм насчет наших русских недостатков, забелив и зарумянив, но вовсе не изгладив их. И в этом отношении поездки за границу чрезвычайно полезны нам: многие из русских отправляются туда решительными европейцами, а возвращаются оттуда; сами не зная кем, и по тому самому с искренним желанием сделаться русскими. Что же все это означает? — Неужели славянофилы правы, и реформа Петра Великого только лишила нас народности и сделала междуумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо воротиться к общественному устройству и нравам времен не то баснословного Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще не условились между собой)? ..

Нет, это означает совсем другое, а именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сделала для нее все, что могла и должна была сделать, и что настало для России время развиваться самобытно из самой себя. Но миновать, перескочить, перепрыгнуть, так сказать, эпоху реформы и воротиться к предшествовавшим ей временам: неужели это значит развиваться самобытно? Смешно было бы так думать уже по одному тому, что это такая же невозможность, как и переменить порядок годовых времен, заставив за весной следовать зиму, а за осенью — лето. Это значило бы еще признать явление Петра Великого, его реформу и последующие события в России (может быть, до самого 1812 года — эпохи, с которой началась новая жизнь для России), признать их случайными, каким-то тяжелым сном, который тотчас исчезает и уничтожается, как скоро проснувшийся человек открывает глаза. Но так думать сродно только господам Маниловым. Подобные события в жизни народа слишком велики, чтоб быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное направление легким движением весла. Вместо того, чтоб думать о невозможном и смешить всех на свой счет самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменную действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здра-

вым смыслом, а не маниловскими фантазиями. Не об изменении того, что совершилось без нашего ведома, и что смеется над нашею волею, должны мы думать, а об изменении самих себя на основании уже указанного нам пути вышею нас волею. Дело в том, что пора нам перестать *казаться* и начать *быть*, пора оставить, как дурную привычку, довольствоваться словами и европейские формы и внешность принимать за европеизм. Скажем более: пора нам перестать восхищаться европейским потому только, что оно не азиатское, но любить, уважать его, стремиться к нему потому только, что оно *человеческое*, и на этом основании все европейское, в чем нет человеческого, отвергать с такою же энергиею, как и все азиатское, в чем нет человеческого. Европейских элементов так много вошло в русскую жизнь, в русские нравы, что нам вовсе не нужно беспрестанно обращаться к Европе, чтоб сознавать наши потребности: и на основании того, что уже усвоено нами от Европы, мы достаточно можем судить о том, что нам нужно.

Повторяем: славянофилы правы во многих отношениях; но тем не менее их роль чисто-отрицательная, хотя и полезная на время. Главная причина их странных выводов заключается в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результат, хотят видеть плод прежде цвета, и, находя листья безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое место и приложить к нему другого рода уход. По их мнению, это не легко, но возможно! Они забыли, что новая Петровская Россия так же молода, как и Северная Америка, что в будущем ей представляется гораздо больше, чем в прошедшем. Они забыли, что в разгаре процесса часто особенно бросаются в глаза именно те явления, которые, по окончании процесса, должны исчезнуть, и часто не видно именно того, что впоследствии должно явиться результатом процесса. В этом отношении Россию нечего сравнивать со старыми государствами Европы, которых история шла диаметрально противоположно нашей, и давно уже дала и цвет и плод. Без всякого сомнения, русскому легче усвоить себе взгляд француза, англичанина или немца, нежели мыслить самостоятельно, по-русски, потому что то готовый взгляд, с которым равно легко знакомит его и наука и современная действительность; тогда как он в отношении к самому себе еще загадка, потому что еще загадка для него значение и судьба его отечества, где все — зародыши, зачатки и ничего определенного, развившегося, сформировавшегося. Разумеется, в этом есть нечто грустное, но зато как много и утешительного в этом же самом! Дуб растет медленно, зато живет века. Человеку сродно желать скорого свершения своих желаний, но скороспелость ненадежна: нам более, чем кому другому, должно убедиться в этой истине. Известно, что французы, англичане, немцы так национальны каждый по-

своему, что не в состоянии понимать друг друга, — тогда как русскому равно доступны и социальность француза, и практическая деятельность англичанина, и туманная философия немца. Одни видят в этом наше превосходство перед всеми другими народами; другие выводят из этого весьма печальные заключения о бесхарактерности, которую воспитала в нас реформа Петра: ибо, говорят они, у кого нет своей жизни, тому легко подделываться под чужую, у кого нет своих интересов, тому легко понимать чужие; но подделываться под чужую жизнь не значит жить, понять чужие интересы не значит усвоить их себе. В последнем мнении много правды, но не совсем лишено истины и первое мнение, как ни заносчиво оно. Прежде всего мы скажем, что решительно не верим в возможность крепкого политического и государственного существования народов, лишенных национальности, следовательно, живущих чисто-внешнею жизнью. В Европе есть одно такое искусственное государство, склеенное из многих национальностей<sup>12</sup>, но кому же неизвестно, что его крепость и сила — до поры и времени?.. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении: из всех славянских племен только мы сложились в крепкое и могучее государство, и как до Петра Великого, так и после него, до настоящей минуты, выдержали с честью не одно суровое испытание судьбы, не раз были на краю гибели, и всегда успевали спастись от нее и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе, чуждом внутреннего развития, не может быть этой крепости, этой силы. Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль, — об этом пока еще рано нам хлопотать. Наши внуки или правнуки узнают это без всяких усилий напряженного разгадывания, потому что это слово, эта мысль будет сказана ими... Так как русская литература есть главный предмет нашей статьи, то в настоящем случае будет очень естественно сослаться на ее свидетельствование. Она существует всего каких-нибудь *сто семь лет*, а между тем в ней уже есть несколько произведений, которые потому только и интересны для иностранцев, что кажутся им не похожими на произведения их литератур, следовательно, оригинальными, самобытными, т.-е. национально-русскими. Но в чем состоит эта русская национальность, — этого пока еще нельзя определить; для нас пока довольно того, что элементы ее уже начинают пробиваться и обнаруживаться сквозь бесцветность и подражательность, в которые ввергла нас реформа Петра Великого...

Что же касается до многосторонности, с какою русский человек понимает чуждые ему национальности, — в этом заключается равно и его слабая и его сильная сторона. Слабая потому, что этой многосторонности действительно много помогает его настоящая независимость от односторонности собственных

национальных интересов. Но можно сказать с достоверностью, что эта независимость только *помогает* этой многосторонности, а едва ли можно сказать с какою-нибудь достоверностью, чтобы она *производила* ее. По крайней мере, нам кажется, что было бы слишком смело приписывать положению то, что всего более должно приписывать природной даровитости<sup>13</sup>. Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных выводов, имеющих только субъективное значение<sup>14</sup>, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности<sup>15</sup> наиболее богатое и многостороннее содержание, и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания. . .<sup>16</sup>

Просим извинения у гг. славянофилов, если мы приписали им что-нибудь такое, чего они не думали или не говорили: если бы они могли упрекнуть нас в чем-нибудь подобном, пусть примут это за простую и неумышленную ошибку с нашей стороны. Каковы бы ни были их понятия, или, по-нашему, ошибки и заблуждения, мы уважаем их источник. Мы можем сочувствовать всякому искреннему, независимому и благородному, в его начале, убеждению, не только не разделяя его, но и видя в нем диаметрально противоположность нашему убеждению. На чьей стороне истина — рассудит время — великий и непогрешительный судья всех умственных и теоретических тяжб. Журнал, который теперь один остался органом славянофильского направления, объявил некогда «непримиримую вражду» всякому противоположному направлению<sup>17</sup>. Что касается до нас, имея свое определенное направление, свои горячие убеждения, которые нам дороже всего на свете, мы тоже готовы защищать их всеми силами нашими и вместе с тем противоборствовать всякому противоположному направлению и убеждению; но мы хотели бы защищать наши мнения с достоинством, а противоположным противоборствовать с твердостью и спокойствием, без всякой вражды. К чему вражда? Кто враждует, тот сердится, а кто сердится, тот чувствует, что он не прав. Мы имеем самолюбие до того считать себя правыми в главных основаниях наших убеждений, что не имеем никакой нужды враждовать и сердиться, смешивать идеи с лицами и вместо благородной и позволенной борьбы мнений заводить бесполезную и неприличную борьбу личностей и самолюбий. . .

На свете нет ничего безусловно важного или неважного<sup>18</sup>. Против этой истины могут спорить только те исключительно теоретические натуры, которые до тех пор и умны, пока носятся в общих отвлеченностях, а как скоро спустятся в сферу приложений общего к частному, словом, в мир действительности, тотчас оказываются сомнительными насчет нормального состоя-

ния их мозга<sup>19</sup>. О таких людях русская поговорка выражается, что у них *ум за разум зашел*, — выражение столько же глубоко-мысленное, сколько и справедливое, потому что оно не отнимает у людей этого разбора ни ума, ни рассудка, но только указывает на их неправильные, превратные действия, словно на два испортившиеся колеса в машине, которые действуют одно за другое, вопреки своему назначению, и этим делают всю машину негодною к употреблению. Итак, все на свете только относительно важно или неважно, велико или мало, старо или ново. «Как, — скажут нам, — истина и добродетель — понятия относительные?» — Нет, как *понятие*, как *мысль*, они безусловны и вечны; но как *осуществление*, как *факт*, они относительны. Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век. Поэтому безусловный или абсолютный способ суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным, или отвлеченным. Ничего нет легче, как определить, чем должен быть человек в нравственном отношении; но ничего нет труднее, как показать, почему вот этот человек сделался тем, что он есть, а не сделался тем, чем бы ему, по теории нравственной философии, следовало быть.

Вот точка зрения, с которой мы находим признаки зрелости современной русской литературы в явлениях, повидимому, самых обыкновенных. Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше всего толкуют наши журналы? — о народности, о действительности. На что больше всего нападают они? — на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из этих предметов много было толков и прежде, да не тот они имели смысл, не то значение. Понятие о «действительности» совершенно новое; на «романтизм» прежде смотрели, как на альфу и омегу человеческой мудрости, и в нем одном искали решения всех вопросов; понятие о «народности» имело прежде исключительно-литературное значение, без всякого приложения к жизни. Оно, если хотите, и теперь обращается преимущественно в сфере литературы; но разница в том, что литература-то теперь сделалась эхом жизни. Как судят теперь об этих предметах, — вопрос другой. По обыкновению, одни лучше, другие хуже, но почти все одинаково в том отношении, что в решении этих вопросов видят как будто собственное спасение. В особенности вопрос о «народности» сделался всеобщим вопросом и проявился в двух крайностях. Одни смешали с народностью старинные обычаи, сохранившиеся теперь только в простонародьи, и не любят, чтобы при них говорили с неуважением о курной и грязной избе, о редьке и квасе, даже о сивухе; другие, сознавая потребность высшего национального начала и не находя его в действительности, хлопчут выдумать свое и неясно, намеками

указывают нам на *смирение*, как на выражение русской национальности. С первыми смешно спорить; но вторым можно заметить, что смирение есть, в известных случаях, весьма похвальная добродетель для человека всякой страны, для француза, как и для русского, для англичанина, как и для турка, но что она едва ли может одна составить то, что называется «народностью». Притом же этот взгляд, может быть, превосходный в теоретическом отношении, не совсем уживается с историческими фактами. Удельный период наш отличается скорее гордынею и драчливостью, нежели смирением. Татарам поддались мы совсем не от смирения (что было бы для нас не честью, а бесчестьем, как и для всякого другого народа), а по бессилию, вследствие разделения наших сил родовым<sup>20</sup> кровным началом, положенным в основание правительственной системы того времени. Иоанн Калита был хитер, а не смирен; Симеон даже прозван был «гордым»; а эти князья были первоначальниками силы Московского царства; Дмитрий Донской мечом, а не смирением предсказал татарам конец их владычества над Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смирением. Только слабый Феодор составляет исключение из правила. И вообще как-то странно видеть в смирении причину, по которой ничтожное Московское княжество сделалось впоследствии сперва Московским царством, а потом Российской империею, приосенив крыльями двуглавого орла, как свое достояние, Сибирь, Малороссию, Белоруссию, Новороссию, Крым, Бессарабию, Лифляндию, Эстляндию, Курляндию, Финляндию, Кавказ... Конечно, в русской истории можно найти поразительные черты смирения, как и других добродетелей, со стороны правительственных и частных лиц; но в истории какого же народа нельзя найти их, и чем какой-нибудь Людовик IX уступает в смирении Феодору Иоанновичу?.. Толкуют еще о *любви*, как о национальном начале, исключительно присущем одним славянским племенам в ущерб галльским, тевтонским и иным западным. Эта мысль у некоторых обратилась в истинную монотию, так что кто-то из этих «некоторых» решился даже печатно сказать, что русская земля смочена слезами, а отнюдь не кровью, и что слезами, а не кровью отделались мы не только от татар, но и от нашествия Наполеона<sup>21</sup>... Не правда ли, что в этих словах высокий образец ума, зашедшего за разум, вследствие увлечения системою, теориею, несообразною с действительностию?.. Мы, напротив, думаем, что любовь есть свойство человеческой природы вообще, и так же не может быть исключительной принадлежностью одного народа и племени, как и дыхание, зрение, голод, жажда, ум, слово... Ошибка тут в том, что относительное принято за безусловное. Завоевательная система, положившая основание европейским государствам, тотчас же породила там чисто-юридический быт, в котором само насилие и угнетение приняло<sup>22</sup> вид не произвола, а закона.

У славян же, напротив, господствовал обычай, вышедший из крестных и любовных патриархальных отношений. Но долго ли продолжался этот патриархальный быт, и что мы знаем о нем достоверного? Еще до удельного периода встречаем мы в русской истории черты вовсе не-любовные хитрого воителя Олега, сурового воителя Святослава, потом Святополка, убийцу Бориса и Глеба; детей Владимира, восставших на своего отца, и т. п. Это, скажут, занесли к нам варяги, и — прибавим мы от себя — положили этим начало искажению любовного патриархального быта. Из чего же в таком случае и хлопотать? Удельный период так же мало период любви, как и смирения; это скорее период резни, обратившейся в обычай. О татарском периоде нечего и говорить: тогда лицемерное и предательское смирение было нужнее и любви и настоящего смирения. Уголовные законы<sup>23</sup>, пытки, казни периода Московского царства и последующих времен, до самого царствования Екатерины Великой, опять посылают нас искать любви в доисторические времена славян. Где же тут любовь, как национальное начало? Национальным началом она никогда и не была, но была человеческим началом, поддерживавшимся в племени его историческим, или, лучше сказать, его неисторическим положением. Положение изменилось, изменились и патриархальные нравы, а с ними исчезла и любовь, как бытовая сторона жизни. Уж не возвратиться ли нам к этим временам? Почему ж бы и не так, если это так же легко, как старику сделаться юношей, а юноше — младенцем?..

Естественно, что подобные крайности вызывают такие же противоположные им крайности. Одни бросились в фантастическую народность; другие — в фантастический космополитизм, во имя человечества. По мнению последних, национальность происходит от чисто-внешних влияний, выражает собою все, что есть в народе неподвижного, грубого, ограниченного, неразумного, и диаметрально противоположается всему человеческому. Чувствуя же, что нельзя отрицать в народе и человеческого, противоположного, по их мнению, национальному, они разделяют неделимую личность народа на большинство и меньшинство, приписывая последнему качества, диаметрально противоположные качествам первого. Таким образом, беспрестанно нападая на какой-то *дуализм*, который они видят всюду, даже там, где его вовсе нет, они сами впадают в крайность самого отвлеченного дуализма. Великие люди, по их понятию, стоят вне своей национальности, и вся заслуга, все величие их в том и заключается, что они идут прямо против своей национальности, борются с нею и побеждают ее. Вот истинно русское и, в этом отношении, резко-национальное мнение, которое не могло бы прийти в голову европейцу! Это мнение вытекло прямо из ложного взгляда на реформу Петра Великого, который, по общему в России мнению, будто бы уничтожил русскую народность.

Это мнение тех, которые народность видят в обычаях и предрассудках, не понимая, что в них действительно отражается народность, но что они одни отнюдь еще не составляют народности. Разделить народное и человеческое на два совершенно чуждые, даже враждебные одно другому начала значит впасть в самый абстрактный, в самый книжный дуализм<sup>24</sup>.

Что составляет в человеке его высшую, его благороднейшую действительность? — Конечно, то, что мы называем его духовностью, т.-е. чувство, разум, воля, в которых выражается его вечная, непреходящая, необходимая сущность. А что считается в человеке низшим, случайным, относительным, преходящим? — Конечно, его тело. Известно, что наше тело мы с детства привыкли презирать, может быть, потому именно, что, вечно живя в логических фантазиях<sup>25</sup>, мы мало его знаем. Врачи, напротив, больше других уважают тело, потому что больше других знают его. Вот почему от болезней чисто нравственных они лечат иногда средствами чисто материальными, и наоборот<sup>26</sup>. Из этого видно, что врачи, уважая тело, не презирают души: они только не презирают тела, уважая душу. В этом отношении они похожи на умного агронома, который с уважением смотрит не только на богатство получаемых им от земли зерен, но и на самую землю, которая их произрастила, и даже на грязный, нечистый и воюющий навоз, который усилил плодотворность этой земли. — Вы, конечно, очень цените в человеке чувство? — Прекрасно! — так цените же и этот кусок мяса, который трепещет в его груди, который вы называете сердцем, и которого замедленное или ускоренное биение верно соответствует каждому движению вашей души. — Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум? — Прекрасно! — так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед массою его мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются через позвоночный хребет нити нерв, которые суть органы ощущений и чувств, и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от материального наблюдения и не даются умозрению. Иначе вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или — что еще хуже — сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же не состоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить *физический* процесс *нравственного* развития<sup>27</sup>. Но это внутренний мир физиологической жизни человека; все его сокровенные от нас действия, как результат, выказываются наружи в лице, взгляде, голосе, даже манерах человека. А, между тем, что такое лицо, глаза, голос, манеры? Ведь это все — тело, внешность, следовательно, все

преходящее, случайное, ничтожное, потому что ведь все это — не чувство, не ум, не воля? — так! но ведь во всем этом мы *видим* и *слышим* и чувство, и ум, и волю. Всего случайнее в человеке его манеры, потому что они больше всего зависят от воспитания, образа жизни, от общества, в котором живет человек; но почему же иногда и в грубых манерах мужика чувство ваше угадывает доброго человека, которому вы смело можете довериться, и в то же время изящные манеры светского человека заставляют вас иногда невольно остерегаться его? <sup>28</sup> — Сколько на свете людей с душою, с чувством, но у каждого из них это чувство имеет свой характер, свою особенность. Сколько на свете умных людей, и, между тем, у каждого из них свой ум. Это не значит, чтобы умы у людей были разные: в таком случае люди не могли бы понимать друг друга; но это значит, что у самого ума есть своя индивидуальность. В этом его ограниченность, и поэтому ум величайшего гения всегда неизмеримо ниже ума всего человечества; но в этом же и его действительность, его реальность. Ум без плоти, без физиономии, ум, не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт. Ум — это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, *личность*. Оттого-то на свете столько умов, сколько людей, и только у человечества один ум. Посмотрите: сколько нравственных оттенков в человеческой натуре: у одного ум едва заметен из-за сердца, у другого сердце как будто поместилось в мозгу; этот страшно умен и способен на дело, да ничего сделать не может, потому что нет у него воли; а у того страшная воля, да слабая голова, и из его деятельности выходит или вздор, или зло. Перечесать этих оттенков так же невозможно, как перечесать различия физиономий: сколько людей, столько и лиц, и двух совершенно схожих найти еще невозможнее <sup>29</sup>, нежели найти два древесные листка, совершенно схожие между собою. Когда вы влюблены в женщину, не говорите, что вы обольщены прекрасными качествами ее ума и сердца: иначе, когда вам укажут на другую, которой нравственные качества выше, вы обязаны будете перевлюбиться и оставить первый предмет своей любви для нового, как оставляют хорошую книгу для лучшей. Нельзя отрицать влияния нравственных качеств на чувство любви, но когда любят человека, любят его всего, не как идею, а как живую личность; любят в нем особенно то, чего не умеют ни определить, ни назвать. В самом деле, как бы определили и назвали вы, например, то неуловимое выражение, ту таинственную игру его физиономии, его голоса, словом, все то, что составляет его особность, что делает его не похожим на других, и за что именно — поверьте мне <sup>30</sup> — вы больше всего и любите его? Иначе зачем бы вам было рыдать в отчаянии над трупом любимого вами существа? Ведь с ним не умерло то, что было в нем лучшего, благороднейшего, что называли вы в нем духов-

ным и нравственным, — а умерло грубо-материальное, случайное?.. Но об этом-то случайном и рыдаете вы горько, потому что воспоминание о прекрасных качествах человека не заменит вам человека, как умирающего от голода не насытит воспоминание о роскошном столе, которым он недавно наслаждался. Я охотно соглашусь с спиритуалистами, что мое сравнение грубо, но зато оно верно, а это для меня главное. Державин сказал:

Так, весь я не умру, но часть меня большая,  
От тлена убежав, в потомстве будет жить <sup>31</sup>.

Против действительности такого бессмертия нечего сказать, хотя оно и не утешит людей, близких поэту; но что передает поэт потомству в своих созданиях, если не свою личность? Не будь он личность больше, чем кто-нибудь, личность по преимуществу, его создания были бы бесцветны и бледны. От этого творения каждого великого поэта представляют собою совершенно особенный, оригинальный мир, и между Гомером, Шекспиром, Байроном, Сервантесом, Вальтер-Скоттом, Гете и Жорж Зандом общего только то, что все они — великие поэты...

Но что же эта личность, которая дает реальность и чувству, и уму, и воле, и гению, и без которой все — или фантастическая мечта, или логическая отвлеченность? Я много мог бы наговорить вам об этом, читатели; но предпочитаю лучше откровенно сознаться вам, что, чем живее созерцаю внутри себя сущность личности, тем менее умею определить ее словами. Это такая же тайна, как и жизнь: все ее видят, все ощущают себя в ее сфере <sup>32</sup>, и никто не скажет вам, что она такое. Так точно ученые, хорошо зная действие и силы деятелей природы, каковы электричество, гальванизм, магнетизм, и потому несколько не сомневаясь в их существовании, все-таки не умеют сказать, что они такое. Страннее всего, что все, что мы можем сказать о личности, ограничивается тем, что она ничтожна перед чувством, разумом, волею, добродетелью, красотой, и тому подобными вечными и непреходящими идеями; но что без нее, преходящего и случайного явления, не было бы ни чувства, ни ума, ни воли, ни добродетели, ни красоты, так же как не было бы ни бесчувственности, ни глупости, ни бесхарактерности, ни порока, ни безобразия...

Что личность в отношении к идее человека, то народность в отношении к идее человечества. Другими словами: народности суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то

логики<sup>33</sup>. . . Но, к счастью, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому. . .

Человеческое присуше человеку потому, что он — человек; но оно проявляется в нем не иначе, как, во-первых, на основании его собственной личности и в той мере, в какой она может его вместить в себе, а во-вторых, на основании его национальности. Личность человека есть исключение других личностей, и по тому самому есть ограниченне человеческой сущности: ни один человек, как бы ни велика была его гениальность, никогда не исчерпает самим собою не только всех сфер жизни, но даже и одной какой-нибудь ее стороны<sup>34</sup>. Ни один человек не только не может заменить самим собою всех людей (т.-е. сделать их существование ненужным), но даже и ни одного человека, как бы он ни был ниже его в нравственном или умственном отношении; но все и каждый необходимы всем и каждому. На этом и основано единство и братство человеческого рода. Человек силен и обеспечен только в обществе; но чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — *национальность*. Она есть самобытный результат соединения людей, но не есть их произведение: ни один народ не создал своей национальности, как не создал самого себя. Это указывает на кровное, родовое происхождение всех национальностей. Чем ближе человек или народ к своему началу, тем ближе он к природе, тем более он ее раб; тогда он не человек, а ребенок; не народ, а племя. В том и другом человеческое развивается по мере их освобождения от естественной непосредственности. Этому освобождению часто способствуют разные внешние причины; но человеческое тем не менее приходит к народу не извне, а из него же самого, и всегда проявляется в нем национально.

Собственно говоря, борьба человеческого с национальным есть не больше, как риторическая фигура, но в действительности ее нет. Даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально. Иначе нет прогресса. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы переработывать их, силою<sup>35</sup> собственной национальности, в собственную же сущность, — тогда он гибнет политически. На свете много людей, известных под именем «пустых»: они умны чужим умом, ни о чем не имеют своего мнения, а, между тем, и учатся и следят за всем на свете. Пустота их в том и состоит, что они заимствуют целиком, и их мозг не переваривает чужой мысли, а передает ее через язык в том же самом виде, в каком принял ее. Это люди безличные, потому что, чем человек личнее, тем способнее обращать чужое в свое, т.-е. налагать на него отпечаток своей личности. Что человек без личности, то народ без национальности. Это доказывается тем,

что все нации, игравшие и играющие первые роли в истории человечества, отличались и отличаются наиболее резко национальностью. Вспомните евреев, греков и римлян; посмотрите на французов, англичан, немцев. В наше время народные вражды и антипатии погасли совершенно. Француз уже не питает ненависти к англичанину только за то, что он — англичанин, и наоборот. Напротив, со дня на день более и более обнаруживается в наше время сочувствие и любовь народа к народу. Это утешительное, гуманное явление есть результат просвещения. Но из этого отнюдь не следует, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все народы похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития национальностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и интересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг к другу все европейские народы. А, между тем, они нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно-бессильных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира. В ее состав вошли элементы египетские и финикийские, кроме основного пелазгического. Римляне приняли в себя, так сказать, весь древний мир, и все-таки остались римлянами, и, если пали, то не от внешних заимствований, а оттого, что были последними представителями исчерпавшего всю жизнь свою древнего мира, долженствовавшего обновиться через христианство и тевтонских варваров. Французская литература долгое время рабски подражала греческой и латинской, наивно грабила их заимствованиями и все-таки оставалась национально-французскою. Все отрицательное движение французской литературы XVIII века вышло из Англии; но французы до того умели усвоить его себе, наложив на него печать своей национальности, что никто и не думает оспаривать у их литературы чести самобытного развития. Немецкая философия пошла от француза Декарта, нисколько не сделавшись от этого французскою.

Разделение народа на противоположные и враждебные будто бы друг другу большинство и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла. Меньшинство всегда выражает собою большинство в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если бы о ней стали судить по развратному дворянству времен Людовика XV-го! Этот пример указывает, что меньшинство скорее может выражать собою более дурные, нежели хорошие стороны национальности народа, потому что оно живет искус-

ственной жизнию, когда противопоставляет себя большинству, как что-то отдельное от него и чуждое ему. Это видим мы и в современной нам Франции в лице bourgeoisie, господствующего теперь в ней сословия. Что же касается до великих людей, — они по преимуществу дети своей страны. Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собою свой народ. Борьба гения с народом не есть борьба человеческого с национальным, а просто-напросто нового со старым, идеи с эмпиризмом, разума с предрассудками. Масса всегда живет привычкою, и разумным, истинным и полезным считает только то, к чему привыкла. Она защищает с остервенением то *старое*, против которого, веком или менее назад, с остервенением же боролась она, как против *нового*. Противодействие массы гению необходимо: это с ее стороны экзамен гению: если он возьмет свое, ни на что не смотря, значит, он точно гений, т.-е. в самом себе носит свое право действовать на судьбы своего отечества. Иначе всякий резонер, всякий мечтатель, всякий философ, всякий маленький великий человек стал бы обходиться с народом, как с лошадью, направляя его по воле своих прихотей и фантазий то в ту, то в другую сторону... <sup>36</sup>

Нет никакой необходимости разделяться народу на самого себя, чтобы доставить себе источник новых идей. Источник всего нового есть старое; по крайней мере, старым готовится новое. В гении не столько поражает находчивость нового, сколько смелость противопоставить его старому и произвести между ними борьбу на смерть. Необходимость нововведений в России чувствовали еще предшественники Петра; она указывалась настоящим положением государства; но произвести реформу мог только Петр. Для этого ему вовсе не нужно было предполагать себя во враждебных отношениях к своему народу; но, напротив, нужно было знать и любить его, сознавать свое кровное единство с ним. Что в народе бессознательно живет, как возможность, то в гении является, как осуществление, как действительность. Народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. Тут единство, а не разделение, не двойственность. И, вопреки *силлогистам* (новое слово!), для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим. То, что называют резонеры *человеческим*, противопоставляя его *национальному*, есть в сущности *новое*, непосредственно и логически следующее из *старого*, хотя бы оно и было чистым его отрицанием. Когда крайность какого-нибудь принципа доводится до нелепости, из нее один естественный путь — переход в противоположную крайность. Это в натуре и человека и народов. Следовательно, источник всякого прогресса, всякого движения вперед заключается не в двойственности народов, а в человеческой натуре, так же как

в ней заключается и источник уклонений от истины, коснения и неподвижности.

Важность теоретических вопросов зависит от их отношения к действительности. Тò, чтò для нас, русских, еще важные вопросы, давно уже решено в Европе, давно уже составляет там простые истины жизни, в которых никто не сомневается, о которых никто не спорит, в которых все согласны. И — чтò всего лучше — эти вопросы решены там самой жизнью, или если теория и имела участие в их решении, то при помощи действительности. — Но это нисколько не должно отнимать у нас смелости и охоты заниматься решением таких вопросов, потому что, пока не решим мы их сами собой и для самих себя, нам не будет никакой пользы в том, что они решены в Европе. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы те же, да не те, и требуют другого решения. — Теперь Европу занимают новые великие вопросы<sup>37</sup>. Интересоваться ими, следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы, как наши собственные. В них нашего только тò, чтò применимо к нашему положению; все остальное чуждо нам, и мы стали бы играть роль дон-Кихотов, горячася из-[за] них<sup>38</sup>. Этим мы заслужили<sup>39</sup> бы скорее насмешки европейцев, нежели их уважение. У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения. Это направление будет плодотворно, если и не будет блестяще. И начатки этого направления видим мы в современной русской литературе, а в них — близость ее зрелости и возмужалости. В этом отношении литература наша дошла до такого положения, что ее успехи в будущем, ее движение вперед зависят больше от объема и количества предметов, доступных ее заведыванию, нежели от нее самой. Чем шире будут границы ее содержания, чем больше будет пищи для ее деятельности, тем быстрее и плодотворнее будет ее развитие. Как бы тò ни было, но, если она еще не достигла своей зрелости, она уже нашла, нащупала, так сказать, прямую дорогу к ней, а это великий успех с ее стороны.

Один из самых поразительных признаков зрелости современной русской литературы — это роль, которую играет в ней стихотворная поэзия. Бывало, стихи и стихки составляли отраду и утешение нашей публики. Их читали, перечитывали, учили наизусть, покупали, не жалея денег, или переписывали в тетради. Новая поэма в стихах, отрывок из поэмы, новое стихотворение, появившееся в журнале или альманахе, — все это пользовалось привилегиею производить шум, толки, восторги, споры и т. п. Стихотворцы являлись без счета, росли, как грибы после

дождя. Теперь не то. Стихи играют второстепенную в сравнении с прозою роль. Их читают будто нехотя, едва замечают, хладнокровно похваливают хорошее и ничего не говорят о посредственном. Стихотворцев, против прежнего, стало теперь несравненно меньше. Из этого многие заключили, будто век поэзии миновался для русской литературы, что поэзия скрылась от нас чуть ли не навсегда. Мы так, напротив, видим, в этом скорее торжество<sup>40</sup>, нежели упадок русской поэзии. Что поколебало, а потом и вовсе изгнало манию стихописания и стихочтения? — Прежде всего появление Гоголя, потом появление в печати посмертных сочинений Пушкина и, наконец, явление Лермонтова. Поэтическую деятельность Пушкина можно разделить на два периода: в первом она является прекрасной, но еще не глубокою, не установившеюся, еще доступной для копирования и подражания; во втором мы видим ее на неприступной высоте художественной зрелости, глубины, могущества; тут уже нельзя копировать ее, нельзя подражать ей. Талант Лермонтова с первого же своего дебюта обратил на себя всеобщее внимание, отбил у всех и у всякого охоту подражать ему. После этого доступ к поэтической славе сделался очень труден, так что талант, который прежде мог бы играть блестящую роль, теперь должен ограничиться более скромным положением. Это значит, что вкус публики к стихам<sup>41</sup> сделался разборчивее, требования строже; а это, конечно, успех, а не упадок вкуса. Теперь нужен новый Пушкин, новый Лермонтов, чтобы книжка стихотворений привела в восторг всю публику, в движение — всю литературу. Но уже теперь сделалось решительно невозможным для господ поэтов обращать на себя внимание или приобретать славу или известность хоть на волос выше той меры, в какой они действительно заслуживают, по своему таланту, внимания, славы или известности. Талант теперь всегда будет оценен, и его успех уже не зависит ни от покровительства, ни от преследования журналов (если еще чем могут они повредить ему, так разве молчанием, но уже не похвалами и не бранью); он будет замечен и оценен, но не иначе, как по мере его истинного достоинства — ни больше, ни меньше.

В прошлом 1846 году вышли стихотворения гг. *Григорьева, Полонского, Лизандера, Плещеева, г-жи Юлии Жадовской, Троян и Ангелица* г. Вельтмана — что-то в роде детской сказки не то в стихах, не то в мерной прозе; *Слово о полку Игоря*, переделанное г. Минаевым на поэму во вкусе не древности, не старины, а того недавнего времени, когда была мода на поэмы. Это в сущности не больше, как распространение, или разжижение, довольно бойкими стихами довольно короткого и сжатого *Слова о полку Игоревом*. Мы рады будем, если попытка г. Минаева понравится публике; но что до нас собственно касается, нам так нравится *Слово о полку Игоревом* в его настоящем виде, что мы не можем без неприятного чувства смотреть на его пере-

делки. Нам кажется, что его вовсе не нужно ни изменять, ни переводить, ни перелагать; но довольно заменить в нем слишком обветшалые и непонятные слова более новыми и понятными, хотя и взятыми из народного же языка. Мы назвали стихи г Минаева бойкими; прибавим к этому, что они еще столько же фразисты, сколько и восторженны, и что в них больше риторики, нежели поэзии. Г. Минаев — энтузиастический поклонник *Слова о полку Игоревом*; в его глазах оно чуть ли не выше всей русской поэзии от Ломоносова до Лермонтова включительно. Это изъясняет он в послесловии к стихотворному труду своему, которое носит следующее наивно-семинарское название: «Для любознательных отроковиц и юношей».

Стихотворения г-жи Юлии Жадовской были превознесены почти всеми нашими журналами. Действительно, в них нельзя отрицать чего-то в роде поэтического таланта. Жаль только, что источник вдохновения этого таланта не жизнь, а мечта, и что поэтому он не имеет никакого отношения к жизни и беден поэзией. Это, впрочем, выходит из отношений г-жи Жадовской к обществу, как женщины. Вот стихотворение, которое вполне объясняет это положение:

Меня гнетет тоски недуг;  
 Мне скучно в этом мире, друг;  
 Мне надоели сплетни, вздор —  
 Мужчин ничтожный разговор,  
 Смешной, нелепый женщин толк,  
 Их выписные бархат, шелк,  
 Ума и сердца пустота  
 И накладная красота.  
 Мирских сует я не терплю,  
 Но божий мир душой люблю,  
 Но вечно будут милы мне —  
 И звезд мерцанье в вышине,  
 И шум развесистых деревьев,  
 И зелень бархатных лугов,  
 И вод прозрачная струя,  
 И в роще песни соловья.

Нужно слишком много смелости и героизма, чтобы женщина, таким образом отстраненная или отстранившаяся от общества, не заключилась в ограниченный круг мечтаний, но ринулась бы в жизнь для борьбы с нею, если не для наслаждения, которого возможности не видит в ней. Г-жа Жадовская предпочла этому трудному шагу безмятежное смотрение на небо и звезды. Почти в каждом своем стихотворении не спускает она глаз с неба и звезд; но нового ничего там не заметила. Это не то, что Леверье, который открыл нам планету *Нептун*, до него никем не знаемую. Леверье больше поэт, чем г-жа Жадовская, хоть он и не пишет стихов. Охотно согласимся с теми, кто найдет наше сближение неуместным или натянутым; но все-таки скажем, что смотреть на небо и не видеть в нем ничего, кроме общих фраз, с рифмами или без рифм — плохая поэзия! Да и что путного мо-

жет увидеть в небе поэт нашего времени, если он совершенно чужд самых общих физических и астрономических понятий, и не знает, что этот голубой купол, пленяющий его глаза, не существует в действительности, но есть произведение его же собственного зрения, ставшего центром видимой им сферической выпуклости<sup>42</sup>; что там, на высоте, куда ему так хочется, и пусто, и холодно, и нет воздуха для дыхания, что от звезды до звезды и в тысячу лет не долетишь на лучшем аэростате... То ли дело земля: — на ней нам и светло, и тепло, на ней все наше, все близко и понятно нам, на ней наша жизнь и наша поэзия... Зато, кто отворачивается от нее, не умея понимать ее, тот не может быть поэтом и может ловить в холодной высоте одни холодные и пустые фразы<sup>43</sup>...

Из поименованных нами стихотворных книжек, вышедших в прошлом году, замечательнее других — *Стихотворения Аполлона Григорьева*. В них, по крайней мере, есть хоть блески *дельной* поэзии, т.-е. такой поэзии, которою не стыдно заниматься, как делом. Жаль, что этих блесков немного; ими обязан был А. Григорьев влиянию на него Лермонтова; но это влияние исчезает в нем все больше и больше и переходит в самобытность, которая вся заключается в туманно-мистических фразах, при чтении которых невольно приходит на память эта старая эпитафия:

Уж подлинно Бибрус богов языком пел:  
Из смертных бо его никто не разумел.

Вот самобытность, которая не стоит даже подражательности!

Но истинным приобретением для русской литературы вообще было вышедшее в прошлом году издание стихотворений Кольцова. Несмотря на то, что эти стихотворения все были уже напечатаны и прочтены в альманахах и журналах, — они производят впечатление новости, потому именно, что собраны вместе и дают читателю понятие о всей поэтической деятельности Кольцова, представляя собой нечто целое. Эта книжка — капитальное, классическое приобретение русской литературы, не имеющее ничего общего с теми эфемерными явлениями, которые, даже и не будучи лишены относительных достоинств, перелистываются, как новость, для того, чтобы быть потом забытыми. В наше время стихотворный талант ни почем — вещь очень обыкновенная; чтобы он чего-нибудь стоил, ему нужно быть не просто талантом, но еще большим талантом, вооруженным самобытной мыслию, горячим сочувствием к жизни, способностью глубоко понимать ее. Благодаря толкам журналов, некоторые маленькие таланты кое-как поняли это по-своему и стали на заглавных листках своих книжек ставить эпитафии во свидетельство, что их поэзия отличается *современным направлением*, да еще латинские, в роде следующего: *Nomo sum, et nihil humani a me alienum puto*<sup>44</sup>. Но ни ученость, ни латинские

эпиграфы, ни даже действительное знание латинского языка не дадут человеку того, чего не дала ему природа, и так называемое «современное направление» поэтов известного разряда всегда будет только «пленной мысли раздраженьем»...

Вот отчего полуграмотный прасол Кольцов без науки и образования нашел средство сделаться необыкновенным и самобытным поэтом. Он сделался поэтом, сам не зная как, и умер с искренним убеждением, что если ему и удалось написать две-три порядочные пьески, все-таки он был поэт посредственный и жалкий... Восторги и похвалы друзей немного действовали на его самолюбие... Будь он жив теперь, он в первый раз вкусил бы наслаждение уверившегося в самом себе достоинства; но судьба отказала ему в этом законном вознаграждении за столько мук и сомнений...

Так как мы не можем сказать о поэзии Кольцова ничего, кроме того, что уже высказано об этом предмете в статье: *О жизни и сочинениях Кольцова*, вошедшей в состав издания его сочинений, то и отсылаем к ней тех, которые не читали ее, но хотели бы знать наше мнение о таланте Кольцова и его значении в русской литературе<sup>45</sup>.

Из стихотворных произведений, появившихся не отдельно, а в разных изданиях прошлого года, замечательны: *Помещик*, рассказ (в *Петербургском сборнике*), и *Андрей*, поэма (в *Отечественных Записках*) г. Тургенева; *Машенька*, поэма г. Майкова (в *Петербургском сборнике*); *Макбет* Шекспира, перевод г. Кронеберга стихами и прозой. Замечательных мелких стихотворений в прошлом году, как и вообще в последнее время, было очень мало. Лучшие из них принадлежат гг. Майкову, Тургеневу и Некрасову.

О стихотворениях последнего мы могли бы сказать более, если бы этому решительно не препятствовали его отношения к *Современнику*...

Кстати о стихотворных переводах классических произведений. Г. А. Григорьев перевел софоклову *Антигону* (*Библиотека для Чтения* № 8). За многими из наших литераторов водится замашка говорить с таинственною важностью о вещах, давным-давно известных, и приниматься с самоуверенностью за совершенно чуждую им работу. Г. Григорьев объявляет в предисловии к своему переводу, что он со временем «изложит взгляд на греческую трагедию», взгляд, «особенное начало которого есть, *впрочем*, непосредственная связь ее с учением древних мистерий». Да это знают дети в низших классах гимназий! Вот, например, идея, что в одной *Антигоне* является борьба двух начал человеческой жизни — *личного* права и долга против *общего* права и долга, и что, следовательно, в *Антигоне* из-за древних форм веет предчувствием иной жизни — эта идея принадлежит исключительно г. Григорьеву, и мы охотно готовы оставить ее за ним. Что касается до самой *Антигоны*.

то едва ли Софокл — «аттическая пчела» — узнал бы себя в этом торопливом, исполненном претензий и крайне неверном переводе г. Григорьева. Величавый древний сенатор (шестистопный ямб) превратился в какую-то рубленую, неправильную прозу, напоминающую новейшие «драматические представления» наших доморощенных драматургов; мелодические хоры являются пустозвонным набором слов, часто лишенных всякого смысла; о древнем колорите, характеристике каждого отдельного лица нет и помина \* . Спрашивается, для чего и для кого трудился г. Григорьев? Разве для того, чтобы отбить у нас и без того не слишком сильную охоту к классической старине, с которою он так необдуманно обошелся? . . .

По части беллетристической <sup>46</sup> прозы отдельными изданиями вышли в прошлом году только два сочинения: *Брынский лес, эпизод из первых годов царствования Петра Великого*, роман г. Загоскина, и вторая часть *Петербургских вершин* г. Буткова.

Новый роман г. Загоскина отличается всеми как дурными, так и хорошими сторонами его прежних романов. Отчасти это новое, не помним уже которое счетом, подражание г. Загоскина своему первому роману — *Юрию Милославскому*. Но герой последнего романа еще бесцветнее и безличнее, нежели герой первого. О героине нечего и говорить: это вовсе не женщина, а тем менее русская женщина конца XVII-го столетия. По своей завязке *Брынский лес* напоминает сантиментальные романы и повести прошлого века. Стрелецкий сотник Лёвшин *романически* влюбляется в какую-то неземную деву, с которой сводит его судьба на постоялом дворе. Из первой же части романа узнаете вы, что у боярина Буйносова пропала малолетняя дочь в Брынском лесу, где он остановился проездом отдохнуть с своею холопскою свитою, состоявшею человек из пятидесяти. Узнавши это, вы сейчас догадываетесь, что идеальная дева, пленившая Лёвшина, есть дочь Буйносова, а вместе с тем узнаете, что будет далее в романе, и чем он кончится. Любовь двух голубков выказывается избитыми фразами дюжинных <sup>47</sup> романов прошлого века, — фразами, которые никоим образом не могли бы войти в голову русского человека последней половины XVII столетия, когда еще не появлялась и знаменитая книжица, рекомая: *Приклады, како пишутся всякие комплименты и пр.* <sup>48</sup> К слабым сторонам романа принадлежит и его направление, происходящее от охоты автора приходить в восторг от старинных обычаев <sup>49</sup> и нравов, даже самых нелепых, и невежественных, и варварских <sup>50</sup>, и ими, кстати и некстати, колоть глаза современным обычаям и нравам. Впрочем, это недостаток не важный: где автор рисует старину неправдоподобно, неверно, слабо, там он,

\* Нечего говорить о бесчисленных промахах; по мнению г. Григорьева, Арес (Марс) должно выговаривать Арёс и пр.

разумеется, не производит на читателя никакого впечатления, кроме скуки; там же, где он изображает *доброе старое время* в его истинном виде, как писатель с талантом, — там он всегда достигает результата, совершенно противоположного тому, которого добивается, т.-е. разубеждает читателя именно в том, в чем хочет его убедить, и наоборот. И это лучшие страницы романа, написанные с замечательным талантом и отличающиеся большим интересом, как, например, картина Земского приказа и достойного подьяка Ануфрия Трифоныча; рассказ приказчика Буйносова о пропаже его дочери в глазах семи нянек и полусотни челядинцев, а главное — картина третейского<sup>51</sup> суда на татарский манер, — суда, где, в лице боярина Куродавлева и пришедших к нему судиться двух мужиков, выказывается вся прелесть некоторых из старинных нравов. К числу хороших сторон нового романа г. Загоскина должно отнести еще вообще недурно, а местами и прекрасно очерченные характеры раскольников: Андрея Поморянина, старца Пафнутия, отца Филиппа и Волосатого старца и боярина Куродавлева, добровольного мученика местнической спеси. Но всех их лучше обрисован Андрей Поморянин. Нельзя не пожалеть, что г. Загоскин занимает в своем романе внимание читателя больше бесцветною и скучною любовью своего героя, нежели картинами нравов и исторических событий этой интересной эпохи. Язык нового романа г. Загоскина, как и всех прежних его романов, везде ясен, прост, плавен, местами одушевлен и жив.

Вторая книга *Петербургских вершин* г. Буткова показалась нам гораздо лучше первой, хотя и первую мы не нашли дурною. По нашему мнению, у г. Буткова нет таланта для романа и повести, и он очень хорошо делает, оставаясь всегда в пределах им же созданного особенного<sup>52</sup> рода дагерротипических рассказов и очерков. Это не творчество, не поэзия, но в этом есть свое творчество, своя поэзия<sup>53</sup>. Рассказы и очерки г. Буткова относятся к роману и повести, как статистика к истории, как действительность к поэзии. В них мало фантазии, зато много ума и сердца; мало юмору, зато много иронии и остроумия, источник которых — симпатичная душа. Может быть, талант г. Буткова односторонен и не отличается особенным объемом; но дело в том, что можно иметь талант и многостороннее и больше таланта г. Буткова — и напоминать им о существовании то того, то другого еще большего таланта; тогда как талант г. Буткова никого не напоминает, — он совершенно сам по себе. Он никому не подражает, и никто не мог бы безнаказанно подражать ему<sup>54</sup>. Вот почему особенно любимы мы талантом г. Буткова и уважаем его. Рассказы, очерки, анекдоты — назовите их, как хотите — г. Буткова представляют собою какой-то особенный род литературы, доселе небывалый.

С большим удовольствием заметили мы, что в этой второй книжке г. Бутков реже впадает в карикатуру, меньше упо-

требляет странных слов, что язык его стал точнее, определеннее, и содержание еще более проникнулось мыслию и истиною, чем было все это в первой книжке. Это значит идти вперед. От души желаем, чтобы третья книжка *Петербургских вершин* поскорее вышла.

Обращаясь к замечательным произведениям беллетристической прозы, являвшимся в сборниках и журналах прошлого года, — взгляд наш прежде всего встречает *Бедных людей*, роман, вдруг доставивший большую известность<sup>55</sup> до того времени совершенно неизвестному в литературе имени. Впрочем, об этом произведении было так много говорено во всех журналах, что новые подробные толки о нем уже не могут быть интересны для публики. И потому мы не будем слишком распространяться об этом предмете. В русской литературе еще не было примера так скоро, так быстро сделанной славы, как слава Достоевского<sup>56</sup>. Сила, глубина и<sup>57</sup> оригинальность таланта г. Достоевского были признаны тотчас же всеми, и — что еще важнее — публика тотчас же обнаружила ту неумеренную требовательность в отношении к таланту г. Достоевского и ту неумеренную нетерпимость к его недостаткам, которые имеет свойство возбуждать только необыкновенный<sup>58</sup> талант. Почти все единогласно нашли в *Бедных людях* г. Достоевского способность утомлять читателя, даже восхищая его, и приписали это свойство, одни — растянутости, другие — неумеренной плодовитости. Действительно, нельзя не согласиться, что если бы *Бедные люди* явились хотя десятою долею в меньшем объеме, и автор имел бы предусмотрительность поочистить свой роман от излишних повторений одних и тех же фраз и слов, — это произведение явилось бы безукоризненно-художественным<sup>59</sup>. Во второй книжке *Отечественных Записок* г. Достоевский вышел на суд заинтересованной<sup>60</sup> им публики со вторым своим романом: *Двойник. Приключения господина Голядкина*. Хотя первый дебют молодого писателя уже достаточно угладил ему дорогу к успеху, однако должно сознаться, что *Двойник* не имел никакого успеха в публике. Если еще нельзя на этом основании осудить второе произведение г. Достоевского, как неудачное, и еще менее, как не имеющее никаких достоинств, — то нельзя также и признать суд публики неосновательным. В *Двойнике* автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких и смелых концепций, какими только может похвалиться русская литература; ума и истины в этом произведении бездна, художественного мастерства тоже<sup>61</sup>; но вместе с этим тут видно страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил. Все, что в *Бедных людях* было извинительными для первого опыта недостатками, в *Двойнике* явилось чудовищными недостатками, и это все заключается в одном: в неумении слишком богатого силами таланта<sup>62</sup> определять разумную меру и границы художествен-

ному развитию задуманной им идеи. Попробуем объяснить нашу мысль примером. Гоголь так глубоко и живо концепировал идею характера Хлестакова, что легко бы мог сделать его героем еще целого десятка комедий, в которых Иван Александрович явился бы верным самому себе, хотя и совершенно в новых положениях: как жених, муж, отец семейства, помещик, старик и т. д. Эти комедии, нет сомнения, были бы так же превосходны, как и *Ревизор*, но уже такого, как он, успеха иметь не могли бы, а скорее бы наскучали, нежели нравились, потому что все уха да уха, хотя и *Демьянова*, приедается. Как скоро поэт выразил своим произведением идею, его дело сделано, и он должен оставить в покое эту идею, под опасением наскучить ею. Другой пример на тот же предмет: что может быть лучше двух сцен, выключенных Гоголем из его комедии, как замедлявших ее течение? Сравнительно, они не уступают в достоинстве ни одной из остальных сцен комедии; почему же он выключил их? — Потому, что он в высшей степени обладает тактом художественной меры и не только знает, с чего начать и где остановиться, но и умеет развить предмет ни меньше, ни больше того, сколько нужно. Мы знаем, что г. Достоевский выключил из *Двойника* одну прекрасную сцену, чувствуя сам, что его роман вышел уж чересчур длинен, и мы убеждены, что если б он укоротил своего *Двойника* по крайней мере целою третью, не жалея выкидывать хорошего, тогда успех его был бы другой<sup>63</sup>. Но в *Двойнике* есть еще и другой существенный недостаток: это его фантастический колорит. Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в заведывании врачей, а не поэтов. По всем этим причинам, *Двойника* оценили только немногие диллетанты<sup>64</sup> искусства, для которых литературные произведения составляют предмет не одного наслаждения, но и изучения. Публика же состоит не из диллетантов, а из обыкновенных читателей, которые читают только то, что им непосредственно нравится, не рассуждая, почему им это нравится, и тотчас закрывают книгу, как скоро начинает она их утомлять, тоже не давая себе отчета, почему она им не по вкусу. Произведение, которое нравится знатокам и не нравится большинству, может иметь свои достоинства: но истинно хорошее произведение есть то, которое нравится обеим сторонам, или, по крайней мере, нравясь первой, читается и второю; Гоголь не всем нравился, да прочли-то его все...<sup>65</sup>

В десятой книжке *Отечественных Записок* появилось третье произведение г. Достоевского, повесть *Господин Прохарчин*, которая всех<sup>66</sup> почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают яркие искры большого таланта<sup>67</sup>, но они сверкают<sup>68</sup> в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю. . . Сколько нам кажется, не вдохновение, не свободное и наивное творче-

ство породило ту странную повесть, а что-то в роде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... может быть, мы и ошибаемся, но почему ж бы в таком случае быть ей такую вычурною, манерною, непонятною, как будто бы какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие. а не поэтическое создание? <sup>69</sup> В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного; его произведения тем и выше так называемых «истинных происшествий», что поэт освещает пламенником своей фантазии все сердечные изгибы своих героев, все тайные причины их действий, снимает с рассказываемого им события все случайное, представляя нашим глазам одно необходимое, как неизбежный результат достаточной причины. Мы не говорим уже о замашке автора часто повторять какое-нибудь особенно удавшееся ему выражение (как, например, *Прохарчин мудрец!*) и тем ослаблять силу его впечатления; это уже недостаток второстепенный и, главное, поправимый. Заметим мимоходом, что у Гоголя нет таких повторений. Конечно, мы не в праве требовать от произведений Достоевского совершенства произведений Гоголя; но тем не менее думаем, что большому таланту весьма полезно пользоваться примером еще большего <sup>70</sup>.

К замечательным произведениям легкой литературы прошлого года принадлежат помещенные в *Отечественных Записках* повести: *Небывалое в былом, или бывшее в небывалом* Луганского и *Деревня* г. Григоровича. Оба эти произведения имеют между собою то общее свойство, что они интересны не как повести, а как мастерские физиологические очерки бытовой стороны жизни. Мы не скажем, чтобы собственно повесть Луганского не имела интереса; мы хотим только сказать, что она гораздо интереснее своими отступлениями и аксессуарами, нежели своею романическою завязкою. Так, например, превосходная картина избы с резными окнами, в сравнении с малороссийскою хатою, лучше всей повести, хотя входит в нее только эпизодом и ничем внутренне не связана с сущностью ее содержания. Вообще в повестях Луганского всего интереснее подробности, и *Небывалое в былом, или бывшее в небывалом* в особенности богато интересными частностями, помимо общего интереса повести, которая служит тут только рамкою, а не картиною, средством, а не целью. Об этом можно было бы сказать больше, но как мы скоро будем иметь случай высказать наше мнение о всей литературной деятельности этого писателя, то пока и ограничимся этими немногими строками <sup>71</sup>.

О г. Григоровиче мы теперь же скажем, что у него нет ни малейшего таланта к повести, но есть замечательный талант для тех очерков общественного быта, которые теперь получили в литературе название *физиологических*. Но он хотел сделать из своей *Деревни* повесть, и отсюда вышли все недостатки его произведения, которых он легко бы мог миновать, если бы ограничился бессвязным внешним образом, но дышащими одною

мыслию картинами деревенского быта крестьян. Неудачна также и его попытка заглянуть во внутренний мир героини его повести, и вообще из его *Акулины* вышло лицо довольно бесцветное и неопределенное, именно потому, что он старался сделать из нее особенно интересное лицо. К недостаткам повести принадлежат также и натянутые, изысканные и вычурные местами описания природы. Но что касается собственно до очерков крестьянского быта, это блестящая сторона произведения г. Григоровича. Он обнаружил тут много наблюдательности и знания дела, и умел выказать то и другое в образах простых, истинных, верных, с замечательным талантом. Его *Деревня* — одно из лучших беллетристических произведений прошлого года<sup>72</sup>.

Статья Луганского: *Русский мужик*, явившаяся в третьей части *Новоселья*, исполнена глубокого значения, отличается необыкновенным мастерством изложения и вообще принадлежит к лучшим физиологическим очеркам этого писателя, которого необыкновенный талант не имеет себе соперников в этом роде литературы.

С шестой книжки *Библиотеки для Чтения* тянется роман г. Вельтмана: *Приключения, почерпнутые из моря житейского*, который еще не кончился последнею книжкою этого журнала за прошлый год. Г. Вельтман обнаружил в новом своем романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с тем и тот же самый недостаток умения распоряжаться своим талантом. В его *Приключениях* толпится страшное множество лиц, из которых многие очеркнуты с необыкновенным мастерством; много поразительно верных картин современного русского быта; но вместе с тем есть лица неестественные, положения натянутые, и слишком запутанные узлы событий часто разрешаются посредством *deus ex machina*. Все, что есть прекрасного в этом романе, принадлежит таланту г. Вельтмана, который, бесспорно, один из замечательнейших талантов нашего времени; а все, что составляет слабые стороны *Приключений*, вышло из намеренного желания г. Вельтмана доказать превосходство старинных нравов перед нынешними. Странное направление! Мы нисколько не принадлежим к безусловным почитателям современных нравов русского общества, не менее всякого другого<sup>73</sup> видим их странности и недостатки и желаем их исправления. Как и у славянофилов, у нас есть свой идеал нравов, во имя которого мы желали бы их исправления; но наш идеал не в прошедшем, а в будущем, на основании настоящего. Вперед идти можно, назад нельзя, и что бы ни привлекало нас в прошедшем, оно прошло безвозвратно. Мы готовы согласиться, что молодые купчики, которые кутят на новый лад и лучше умеют проматывать нажитое отцами, нежели приобретать сами, — мы согласны, что они страннее и нелепее своих отцов, которые упорно держатся старины. Но мы никак не можем согласиться, чтобы их отцы не были<sup>74</sup> странны и не-

лелы<sup>75</sup>. Молодые поколения даже купчиков выражают собою переходное состояние своего сословия, переходное от худшего к лучшему, но это лучшее окажется хорошим только как результат перехода, а как процесс перехода, оно, разумеется, скорее хуже, нежели лучше старого. Действуйте на исправление нравов сатирою, или — что лучше всякой сатиры — верным их изображением; но действуйте не во имя старины<sup>76</sup>, а во имя разума и здравого смысла, не во имя мечтательного и невозможного обращения к прошедшему, а во имя возможного развития будущего из настоящего. Пристрастие, к чему бы оно ни прилагалось<sup>77</sup> — к старине или новизне, всегда мешает достижению цели, потому что невольно вводит в ложь человека, самого страстного к истине и действующего по самому благородному убеждению. Это и сбилось с г. Вельтманом в его новом романе. Он придал безнравственным лицам своего романа такой колорит, как будто они безнравственны по милости новых нравов, а живи-де они в кошихинские времена, то были бы отличнейшими людьми. По крайней мере, мы считаем себя в праве сделать такое<sup>78</sup> заключение из того, что автор нигде и не думает маскировать своей симпатии к старине, своей антипатии к новизне. Так, например, повинувшись истине, он беспристрастно показал естественные причины страшного богатства купчины Захолустьева; но в то же время счел за необходимое противопоставить ему Селифонта Михеича, который тоже страшно разбогател, но честностию и порядком, а главное — потому, что «жил по старому русскому обычаю». Желали бы мы знать, что бы наши купцы сказали об этой утопии честного благоприобретения огромного имения... По мнению г. Вельтмана, русский человек, имеющий несчастье знать французский язык, есть человек погибший... Каких, подумаешь, не бывает предрассудков у людей с умом и талантом!..

Герой романа *Дмитрицкий* — нечто в роде Ваньки Каина новых времен или того, что французы называют *chevalier d'industrie*<sup>79</sup>, лицо очень возможное и вообще мастерски очерченное автором. Зато героиня Саломея Петровна, которой выпала невыгодная роль представительницы и жертвы новейших нравов и знания французского языка, — лицо совершенно сказочное. Сначала она является жеманницею, холодною лицемеркою, до пошлости неискусною актрисою, а потом самую страстную женщиною, какую только можно вообразить. Действие романа презапутанное; в нем столько эпизодов, сколько лиц, а лицам, как мы сказали, счету нет. Как только является новое лицо, автор без церемоний бросает героя и героиню и начинает рассказывать читателю историю этого нового лица со дня его рождения, а иногда и со дня рождения его родителей, по день его появления в романе. Большая часть из этих вводных лиц изображены или очеркнуты с большим искусством. Ход романа очень интересен, в событиях много истины, но в то же время и много не-

вероятностей. Когда автору нет средства естественно развязать узел завязки, или завязать новый, у него сейчас является *deus ex machina*<sup>80</sup>. Таково, например, похищение Саломеи холопами Филиппа Савича, помещика Киевской губернии — самая невероятная романическая натяжка, на какую только когда-либо решался писатель с талантом. Таких сказочных невероятностей особенно много в событиях жизни Дмитрицкого; ему все удается, он всегда выходит с выгодой для себя из самого затруднительного, самого невыгодного положения. Приезжает в Москву без бумаг, с одним червонцем, останавливается в гостинице, пьет, ест на широкую ногу, — и вдруг судьба посылает ему литературщика, который принял его за литератора, занимавшего еще вчера этот же самый номер гостиницы, везет его к себе, предлагает у себя квартиру, дает денег. Все это делается *по шутке велью, а по моему прошенью* и доказывает, что у г. Вельмана больше таланта для частных и подробностей, нежели для создания чего-нибудь целого, больше склонности к сказке, нежели к роману, и что системы и теории много делают вреда его замечательному таланту...

Упомянувши еще о *Венгерцах*, физиологическом очерке, в *Финском Вестнике*, мы окончим наш перечень всего особенно замечательного, что явилось в прошлом году по части изящной словесности. Перечень этот вышел не велик\*; но обо многом мы не хотим упоминать вовсе, не потому, чтобы во всем, о чем умалчиваем, видели мы одно дурное и ничего хорошего, но потому, что считали нужным говорить только об особенно замечательном.

По примеру *Петербургского сборника* в Москве издан был *Московский литературный и ученый сборник*, который, несмотря на свое славянофильское направление, заключает в себе несколько интересных статей, из которых особенно замечательна умным содержанием и мастерским изложением статья «Тарантас», подписанная буквами М. З. К.<sup>83</sup>

*Воспоминания Фаддея Булгарина (отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни)*, не принадлежа собственно ни к ученой, ни к поэтической, но к так называемой легкой литературе, есть книга во многих отношениях интересная и замечательная. По поводу недавно вышедшей третьей части этого сочинения мы ниже выскажем наше о нем мнение, а пока ограничимся одним упоминанием<sup>84</sup>.

К числу такого же рода произведений отнесли бы мы и *Записки доктора*, сочинение г. Малиновского, если бы эти за-

\* Это произошло частью оттого, что множество замечательных беллетристических произведений, особенно повестей, должно было появиться в прошлом году в одном огромном сборнике, предназначавшемся к изданию. Но по случаю «Современника» литератор, предпринимавший издание огромного<sup>81</sup> сборника, счел за лучшее оставить свое предприятие и передать «Современнику» собранные им статьи<sup>82</sup>.

писки больше были верны своей прекрасной цели и больше походили на записки, нежели на мелодраму в форме неудавшегося романа, написанного без таланта, без умения и такта.

От чисто-литературных произведений переходя к сочинениям ученого или серьезного содержания, начнем с того, что сделано было в прошлом году по части русской истории. Скажем здесь кстати, что в *Современнике* будет обращено особенное внимание на этот предмет. Кроме статей по части русской истории, журнал наш, не обещая своим читателям полной библиографии по другим частям, будет представлять отзывы обо всем, что будет являться сколько-нибудь замечательного по части русской истории <sup>85</sup> . . . . .

*История русской словесности, преимущественно древней* — XXXIII публичные лекции г. Шевырева (доселе вышло две части), принадлежит к замечательным явлениям ученой русской литературы прошлого года. В этом сочинении автор обнаружил короткое знакомство с источниками, обширную начитанность, словом, эрудицию, которая сделала бы честь самому кропотливому немецкому геллертеру. При этом оно отличается глубоким и искренним убеждением, самую наивную добросовестностью, которые, однако ж, не помешали трудолюбивому и почтенному профессору представлять факты в самом неистинном виде. Это странное явление будет очень понятно, если взять в соображение, какую ужасную силу имеет над здравомыслием человека дух системы, обаяние готовой идеи, еще прежде изучения фактов принятой за непреложно-истинную. Вот причина, почему г. Шевырев в духовных сочинениях древней и старой Руси непременно хочет видеть произведения народной русской словесности, а в русском сказочном витязе Илье Муромце находит что-то общее с Сидом, рыцарственным героем национальных испанских романсов. . . . . Ведь ученый и трудолюбивый Венелин находил же Атиллу славянином, а в меровингах франкских видел славянских «мировых» или «міровых» — не помним, право <sup>86</sup> . . . . . Это доказывает, что господа ученые, платя дань человеческой слабости, бывают подвержены таким же странностям, как и самые простые, вовсе безграмотные люди. . . . . Может быть, это происходит оттого, что они, как говорит простой народ, *зачитываются*, и у них ум за разум заходит; может быть, это происходит и от других причин — не знаем; но знаем только то, что дух системы и доктрины имеет удивительное свойство омрачать и фантазировать даже самые светлые умы. . . . . Впрочем, книга г. Шевырева, вне своего славянофильского <sup>87</sup> направления, имеет много достоинств, как памятник примерного трудолюбия и добросовестной, хотя и односторонней, учености. Более всего важны примечания, которыми снабжена она и куда отнесены автором самые интересные факты, которые с особенным

упорством отказались свидетельствовать в пользу любимых идей его. Замечательна еще книга г. Шевырева и тем, что подала повод к четырем прекрасным критическим статьям (в *Отечественных Записках* №№ 5 и 12, в *Библиотеке для Чтения* и *Финском Вестнике*)<sup>88</sup>.

К числу блистательнейших приобретений по части учебной русской литературы вообще, а не одного прошлого года, принадлежит вышедшее в прошлом году второе отделение второй части *Руководства к всеобщей истории* — сочинение профессора Лоренца. Этою книжкою заключается средняя история. С нетерпением ожидаем продолжения и окончания этого превосходного труда.

*История консульства и империи Тьера* появилась в двух переводах. Вышла шестая часть *Всемирной истории* Беккера.

*Нравы, обычаи и памятники всех народов земного шара*, издание гг. Семена и Стойковича, превосходными иллюстрированными картинами и политипажам и вообще типографским изяществом затмило собою все когда-либо являвшиеся в России так-называемые великолепные и роскошные издания. Содержание книги соответствует ее внешнему достоинству и — что дает ей особую важность — есть не перевод, а [почти] оригинальный труд двух русских литераторов, которые, пользуясь иностранными источниками, умели придать ему достоинство одушевленного одною идеею сочинения. В вышедшей книге содержится описание Индустана, сделанное<sup>89</sup> г. Тютчевым, и Заганского полуострова, сделанное г. Стойковичем. Во второй книге издатели обещают описание Китая и Японии.

В журналах прошлого года было очень много интересных статей ученого содержания, оригинальных и переводных. Из первых в особенности можно указать: на седьмое и восьмое *Письма об изучении природы* Искандера; *Кочующие и оседло-живущие в Астраханской губернии инородцы* барона Ф. А. Бюлера; *Европейские железные дороги в историческом, географическом и статистическом отношениях* (в *Отечественных Записках*); *Нога и рука человека* С. С. Куторги (в *Библиотеке для Чтения*), *Жизнь и нравы змей; Жизнь и нравы пауков* г. Ушакова (в *Финском Вестнике*). Из переводных статей особенно замечательна — *Оливер Кромвель* (в *Отечественных Записках*). Знаменитое ученое творение Гумбольдта было переведено в *Отечественных Записках* под именем *Космоса*, а в *Библиотеке для Чтения* под именем *Козмоса*. Нельзя не отдать справедливости обоим журналам за их поспешность познакомить русскую публику с произведением великого ученого, столь важным по предмету и написанным популярно; но едва ли оба журнала достигли своей цели. Популярность изложения Гумбольдта чисто-немецкая, следовательно, вполне доступная только людям, специально занимающимся естественными науками и астрономиею. В этом отношении гораздо по-

лезнее перевода обоих журналов была статья в *Северной Пчеле* (№№ 175—180): *Александр Гумбольдт и его Вселенная* (*Kosmos*). Не знаем, откуда переведена или кем написана она, но непосвященных в таинства науки она знакомит с книгой Гумбольдта больше и лучше, нежели переводы этой книги в обоих журналах. В *Финском Вестнике* переводится знаменитое творение Тьерри: *Завоевание Англии норманнами*. Это сочинение, конечно, не ново везде, кроме России, и оттого мысль *Финского Вестника* перевести его заслуживает похвалы и благодарности.

В последнее время много стало появляться книг<sup>90</sup>, брошюр и статей по специальным предметам. Конечно, истинно хороших между ними еще мало, но все они важны, как свидетельство дельного направления литературы. Так, например, в прошлом году вышли весьма замечательные книги, которые мы только поименуем, так как о них было уже много говорено в журналах: первая книга *Записок Русского географического общества*; третья часть *Истории смутного времени* г. Бутурлина<sup>91</sup>; *Об источниках и употреблении статистических сведений* г. Журавского; *Нижегородская ярмарка в 1843, 1844 и 1845 годах* г. Мельникова и пр. Особенно приятно видеть, что появляется довольно много книг, брошюр и статей, касающихся не только сельского хозяйства в его техническом значении, но и быта того многочисленного класса людей, который играет такую великую роль в отношении к сельскому хозяйству, как живая и разумная производящая сила. Особенно заслуживает внимания в 103 № *Московских Ведомостей* превосходная статья С. А. Маслова — *Жар и жатва хлеба (летние заметки в Московской губернии)*. Эта замечательная статья, за которую почтенного автора благословит всякий друг человечества, была перепечатана почти во всех журналах, издающихся от правительственных ведомств<sup>92</sup>.

Мы не упомянули о нескольких замечательных книгах, показавшихся в конце прошлого года, для того чтобы начать с них отдел критики и библиографии *Современника*. Но прежде скажем несколько слов об этом отделе нашего журнала. Почти во всех других журналах критика составляет особый от библиографии отдел. Пишущий эти строки семилетним тяжким опытом дознал невыгоду такого разделения<sup>93</sup>. Под критикой разумеется статья известного объема и даже особенного от рецензии тона. Замечательных книг, подлежащих ведомству серьезной критики, у нас выходит так мало, что обязанность писать по критике каждый месяц поневоле делается чем-то в роде тяжелой поставки, ибо много замечательного печатается в журналах. Поэтому, представляя отчеты наши публике о всех более или менее примечательных явлениях русской литературы, мы не будем несколько заботиться, что выйдет из нашего разбора — критика или рецензия. Пусть сами читатели

наши решают это, каждый по своему вкусу и разумению. Этим мы надеемся доставить им услугу, избавив журнал наш от балласта многословия и надутости, неизбежного иногда при двойном разделении критики: на большую, или собственно критику, и малую, или рецензию. Критика наша, как мы сказали выше, будет обращать внимание на все сколько-нибудь замечательные сочинения по части русской истории; затем более всего обратит она свое внимание на произведения чисто литературные; но в отношении и к ним мы не обещаем полной библиографии, ибо о книгах ничтожных даже отрицательно, по нашему мнению, не стоит труда ни писать, ни читать. Мы даже будем считать нашей обязанностью, из уважения к публике и самим себе, проходить молчанием дюжинные произведения дюжинных писак, которые успели уже приобрести себе позорную известность, и которые, думая верно изображать жизнь, как она есть, вместо этого изображают верно только себя, так, как они есть, т.-е. во всем [величии] <sup>94</sup> их претензии, ограниченности, бездарности, пошлости и слабоумия <sup>95</sup>. С другой стороны, чуждые всяких притязаний на энциклопедическую многосторонность познаний, мы не будем ничего говорить о специальных сочинениях, как бы ни были они замечательны, если они выходят из круга наших занятий <sup>96</sup>. О книгах легких и незначительных будет у нас говорить в фельетоне *Современника*, в отделе Смеси, и от времени до времени прилагаться к его книжкам полные библиографические списки всех без исключения выходящих в России книг на русском языке, с обозначением типографии, формата, числа страниц и даже, по возможности, цен.

---

# ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 1847 г.



## I

Время и прогресс. — Фельетонисты — враги прогресса. — Употребление иностранных слов в русском языке. — Годичные обзоры русской литературы в альманахах 20-х годов. — [«Обозрение русской литературы 1814 года» г. Греча]<sup>2</sup>. Обозрения нашего времени. — Натуральная школа. — Ее происхождение. — Гоголь. — Нападки на натуральную школу. — Рассмотрение этих нападок.

Когда долго не бывает тех замечательных событий, которые резко изменяют в чем-нибудь обычное течение дел и круто поворачивают его в другую сторону, все года кажутся похожими один на другой. Новый год празднуется, как условный календарный праздник, и людям кажется, что вся перемена, все новое, принесенное истекшим годом, состоит только в том, что каждый из них и еще одним годом стал старше —

И хором бабушки твердят:  
Как наши годы-то летят!

А, между тем, как оглянется человек назад и пробежит в своей памяти несколько таких годов, то и видит, что все стало с тех пор как-то не так, как было прежде. Разумеется, тут у всякого свой календарь, свои люстры, олимпиады, десятилетия, години, эпохи, периоды, определяемые и назначаемые событиями его собственной жизни. И потому один говорит: «Как все переменилось в последние двадцать лет!» Для другого перемена произошла в десять, для третьего — в пять лет. В чем заключается она, эта перемена, не всякой может определить, но всякой чувствует, что вот с такого-то времени точно произошла какая-то перемена, что и он как будто не тот, да и другие не те, да не совсем тот порядок и ход самых обыкновенных дел на свете. И вот одни жалуются, что все стало хуже; другие в восторге, что все становится лучше. Разумеется, тут зло и добро определяются большею частью личным положением каждого, и каждый свою собственную особу ставит центром событий и все на свете относит к ней: ему стало хуже, и он думает, что все и для всех стало хуже, и наоборот. Но так понимает

дело большинство, масса; люди наблюдающие и мыслящие в изменении обычного хода житейских дел видят, напротив, не одно улучшение или понижение их собственного положения, но изменение понятий и нравов общества, следовательно, развитие общественной жизни. Развитие для них есть ход вперед, следовательно, улучшение, успех, *прогресс*.

Фельетонисты, которых у нас теперь развелось такое множество и которые, по обязанности своей еженедельно рассуждают в газетах о том, что в Петербурге погода постоянно дурна, считают себя глубокими мыслителями и глашатаями великих истин, — фельетонисты наши очень не взлюбили слово «прогресс» и преследуют его с тем остроумием, которого неоспоримую и блестящую славу они делят только с нашими же водевилистами. За что же слово «прогресс» навлекло на себя особенное гонение этих остроумных господ? Причин много разных. Одному слово это не любо потому, что о нем не слышно было в то время, когда он был молод и еще как-нибудь и смог бы понять его. Другому потому, что это слово введено в употребление не им, а другими, — людьми, которые не пишут ни фельетонов, ни водевилей, а, между тем, имеют в литературе такое влияние, что могут вводить в употребление новые слова. Третьему это слово противно потому, что оно вошло в употребление без его ведома, спросу и совета, тогда как он убежден, что без его участия ничего важного не должно делаться в литературе. Между этими господами много больших охотников выдумывать что-нибудь новое, да только это никогда им не удается. Они и выдумывают, да все невпопад, и все их нововведения отзываются чаромутием<sup>3</sup> и возбуждают смех. Зато чуть только кто-нибудь скажет новую мысль или употребит новое слово, им все кажется, что вот эту-то мысль или это-то слово они и выдумали бы непременно, если бы их не упредили и таким образом не перебили у них случая отличиться нововведением. Есть между этими господами и такие, которые еще не пережили эпохи, когда человек способен еще учиться, и, по летам своим, могли бы понять слово «прогресс», так не могут достичь этого по другим «не зависящим от них обстоятельствам». При всем нашем уважении к господам фельетонистам и водевилистам и к их доказанному блестящему остроумию, мы не войдем с ними в спор, боясь, что бой был бы слишком неравен, разумеется — для нас. . . Есть еще особенный род врагов «прогресса», это — люди, которые тем сильнейшую чувствуют к этому слову ненависть, чем лучше понимают его смысл и значение. Тут уже ненависть собственно не к слову, а к идее, которую оно выражает, и на невинном слове вымещается досада на его значение. Им, этим людям, хотелось бы уверить и себя и других, что застой лучше движения, старое всегда лучше нового, и жизнь задним числом есть настоящая, истинная жизнь, исполненная счастья и нравственности. Они соглашаются хотя и с болью в сердце, что мир

всегда изменялся и никогда не стоял долго на точке нравственного замерзания; но в этом-то они и видят причину всех зол на свете. Вместо всякого спора с этими господами, вместо всяких доказательств и доводов против них, мы скажем, что это — *китайцы*. . . Такое название решает вопрос лучше всяких исследований и рассуждений. . .

Слово «прогресс» естественно должно было встретить особенную неприязнь к нему со стороны пуристов русского языка, которые возмущаются всяким иностранным словом, как ересью или расколом в ортодоксии родного языка. Подобный пуризм имеет свое законное и дельное основание; но тем не менее он — односторонность, доведенная до последней крайности. Некоторые из старых писателей, не любя современной русской литературы (потому что она далеко их обошла, а они от нее далеко отстали и таким образом лишились всякой возможности играть в ней сколько-нибудь значительную роль), прикрываются пуризмом и твердят беспрестанно, что в наше время прекрасный русский язык всячески искажается и уродуется, особенно введением в него иностранных слов. Но кто же не знает, что пуристы говорили то же самое об эпохе Карамзина? Стало быть, *наше время* терпит тут совершенную напраслину, и если оно виновато в том, в чем его обвиняют, то отнюдь не больше всякого другого времени, предшествовавшего ему. Если бы употребление в русском языке иностранных слов и было злом, оно зло необходимое, корень которого глубоко лежит в реформе Петра Великого, познакомившей нас со множеством до того совершенно чуждых нам понятий, для выражения которых у нас не было слов. Поэтому необходимо было чужие понятия и выражать чужими готовыми словами. Некоторые из этих слов так и остались непереведенными и незамененными и потому получили право гражданства в русском словаре. Все к ним привыкли, все их понимают: за что же гнать их? Конечно, простолюдин не поймет слов: «инстинкт», «эгоизм», но не потому, что они иностранные, а потому, что его уму чужды выражаемые ими понятия, и слова: «побудка», «ячество», не будут для него нисколько яснее «инстинкта» и «эгоизма». Простолюдины не понимают чисто-русских слов, которых смысл вне тесного круга их обычных житейских понятий, например: «событие», «современность», «возникновение» и т. п., и хорошо понимают иностранные слова, выражающие относящиеся к их быту или не чуждые его понятия, например: «пачпорт», «билет», «ассигнация», «квитанция» и т. п. Что же касается до людей образованных, то «инстинкт» для них — воля ваша — яснее и понятнее «побудки», «эгоизм» — «ячества», «факты» — «бытей». Но если одни иностранные слова удержались и получили в русском языке право гражданства, зато другие, с течением времени, были удачно заменены русскими, большею частью вновь составленными. Так, Тредьяковский, говорят, ввел слово «предмет», а Карамзин — «промышленность». Таких рус-

ских слов, удачно заменивших собою иностранные, множество. И мы первые скажем, что употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус. Так, например, ничего не может быть нелпее и диче, как употребление слова «утрировать» вместо «преувеличивать». Каждая эпоха русской литературы ознаменовывалась наплывом иностранных слов; наша, разумеется, не избегла его. И это еще не скоро кончится: знакомство с новыми идеями, выработавшимися на чужой нам почве, всегда будет приводить к нам и новые слова. Но, чем дальше, тем менее это будет заметно, потому что до сих пор мы вдруг познакомились с целым кругом дотоле чуждых нам понятий. По мере наших успехов в сближении с Европою запасы чуждых нам понятий будут все более и более истощаться, и новым для нас будет только то, что ново и для самой Европы. Тогда, естественно, и заимствования пойдут ровнее, тише, потому что мы будем уже не догонять Европу, а идти с нею рядом, не говоря уже о том, что и язык русский с течением времени будет все более и более вырабатываться, развиваться, становиться гибче и определеннее.

Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу; но она вредит не русскому языку и не русской литературе, а только тем, кто одержим ею. Но противоположная крайность, т.-е. неумеренный пуризм, производит те же следствия, потому что крайности сходятся. Судьба языка не может зависеть от произвола того или другого лица. У языка есть хранитель надежный и верный: это — его же собственный дух, гений. Вот почему из множества вводимых иностранных слов удерживаются только немногие, а остальные сами собою исчезают. Тому же самому закону подлежат и новосоставляемые русские слова: одни из них удерживаются, другие исчезают. Неудачно придуманное русское слово для выражения чуждого понятия не только не лучше, но решительно хуже иностранного слова. Говорят, для слова «прогресс» не нужно и выдумывать нового слова, потому что оно удовлетворительно выражается словами: «успех», «поступательное движение» и т. д. С этим нельзя согласиться. Прогресс относится только к тому, что развивается само из себя. Прогрессом может быть и то, в чем вовсе нет успеха, приобретения, даже шагу вперед; и, напротив, прогрессом может быть иногда неуспех, упадок, движение назад. Это именно относится к историческому развитию. Бывают в жизни народов и человечества эпохи несчастные, в которые целые поколения как бы приносятся в жертву следующим поколениям. Проходит тяжелая година — и из зла рождается добро. Слово «прогресс» отличается всею определенностью и точностью научного термина, и в последнее время оно сделалось ходячим словом, его употребляют все — даже те, которые нападают на его употребление. И потому, пока не явится русского

слова, которое бы вполне заменило его собою, мы будем употреблять слово «прогресс».

Всякое органическое развитие совершается через прогресс, развивается же органически только то, что имеет свою историю, а имеет свою историю только то, в чем каждое явление есть необходимый результат предыдущего и им объясняется. Если можно представить себе литературу, в которой являются от времени до времени сочинения замечательные, но чуждые всякой внутренней связи и зависимости, обязанные своим появлением внешним влияниям, раздражительности, — у такой литературы не может быть истории. Ее история — каталог книг. К такой литературе слово «прогресс» неприложимо, и появление нового, почему-нибудь замечательного произведения в ней не есть прогресс, потому что это произведение не имеет корня в прошедшем и не даст плода в будущем. Тут время и годы ничего не значат: они могут идти себе, ничего не изменяя. Не так бывает в литературе, развивающейся исторически: тут каждый год что-нибудь да приносит с собою, и это что-нибудь есть прогресс. Но не каждый год можно ясно увидеть и определить этот прогресс; часто он оказывается только впоследствии. Но, во всяком случае, очень полезно в определенные сроки, например, по окончании каждого года, обзирать в целом ход литературы, ее приобретения, ее богатство или ее бедность. Такие обзоры не бесполезны для настоящего времени и могут служить важным пособием для будущего историка литературы.

Отчеты о литературной деятельности за каждый истекший год начали входить у нас в обыкновение с 1823 года. Пример был подан Марлинским в знаменитом того времени альманахе. И с тех пор годовые обзоры литературы почти не прерывались в альманахах в продолжение десяти лет. В журналах же они появлялись редко, но в последнее время постоянно печатаются в одном известном журнале уже лет семь сряду<sup>4</sup>. Отделение критики в «Современнике» прошлого года началось обзором русской литературы 1846 года, и каждая первая книжка его на новый год всегда будет заключать в себе такое обозрение литературной деятельности за истекший год.

Подобные обзоры с течением времени делаются истинными летописями литературы, важным пособием для ее историка. Альманашные обзоры, о которых мы сейчас говорили, имеют теперь для нас весь интерес старины, несмотря на то, что начались всего 24 года назад тому! Так быстро идет вперед наша литература! Но какую отдаленную, какую глубокою стариною отзывается «Обозрение русской литературы 1814 года», написанное г. Гречем и помещенное в «Сыне Отечества» 1815 года! На нескольких жиденьких страничках исчислены все ученые и литературные приобретения и сокровища 1814 года. Год этот действительно ознаменован был появлением нескольких замечательных серьезных книг, как например: «Собрание государственных

российских грамот и договоров», обязанное своим изданием графу Н. П. Румянцеву; «История медицины в России» Рихтера и перевод Дестуниса «Плутарховых жизнеописаний». Но что за страшная бедность по части собственно так-называемой изящной словесности! Перевод Делилевой поэмы «Сады» г. Палицына, описательная поэма князя Шихматова «Сельский житель», стихотворение Державина «Христос», «Ночь на размышление» князя Шихматова и «Размышление о судьбе» князя Долгорукова. Все это — поэмы в дидактическом роде, который тогда был особенно в ходу, а теперь давно уже признан анти-поэтическим и забыт совершенно. Потом в обзрении г. Греча упоминается об издании басен и сказок Александра Измайлова и о баснях какого-то г. Агафи, и в заключение замечено, что басни Крылова были помещаемы в журналах. Вот и все! Автор обозрения замечает, что в течение первых пяти лет XIX столетия вышло более сочинений, нежели прежде того в течение десяти лет; но что по причине политических обстоятельств того времени, с 1806 до 1814 года, литературное движение в России почти совсем остановилось. В продолжение второй половины 1812 и первой 1813 годов не только не вышло в свет, но и не было написано ни одной страницы, которая бы не имела предметом тогдашних происшествий. «Наконец, в 1814 году, — говорит автор обозрения, — увенчавшем все напряжения и труды истекших лет, русская литература, посвящая поэзию и красноречие в честь и славу великого монарха своего, обратилась снова на путь мирный, уроченный и огражденный навсегда. В течение сего года вышли многие сочинения и переводы, которые останутся незабвенными в летописях нашей литературы». Это отчасти справедливо, только не в отношении к произведениям поэзии. . . Замечательно, что, признавая бедность некоторых рядов своего обозрения, автор, как успеху русской литературы, радуется тому, что в течение 1814 года вышло в Петербурге и Москве только по одному роману (оба переведены с немецкого) да две исторические повести! Не думал он тогда, что роман и повесть скоро станут во главе всех родов поэзии, и что сам он напишет некогда «Поездку в Германию» и «Черную женщину!» Но вот еще характеристическая черта нашей литературы или, лучше сказать, нашей публики, — черта, о которой, к сожалению, нельзя сказать, чтобы теперь она отзывалась стариною: известного путешествия Крузенштерна вокруг света, изданного в 1809—1813 годах на русском и немецком языках, и путешествия вокруг света Лисянского, изданного в 1812 году на русском и английском языках, в России разошлось — говорит автор обозрения — едва ли по двести экземпляров каждого, между тем как в Германии вышло три издания путешествия Крузенштерна, а в Лондоне продана в две недели половина экземпляров книги Лисянского.

Годичные обозрения появились в альманахах, вследствие начинавшего возникать критического духа. Приступая к обозрению литературы известного года, критик начинал иногда очерком всей истории русской литературы. Писать эти обозрения тогда было очень легко и очень трудно. Легко, потому что все ограничивалось легкими суждениями, выражавшими личный вкус обозревателя; трудно, или, лучше сказать, скучно, потому что это была работа дробная, мелкая: надо было перечислить решительно все, что появилось в течение обозреваемого года отдельно изданным, в журналах и альманахах, оригинальное и переводное. А что печаталось тогда по части изящной словесности в журналах и альманахах? — большею частью крошечные отрывки из маленьких поэм, из романов, повестей, драм и т. п. Большею частью целых сочинений и не существовало: отрывок писался без всякого намерения написать целое. О каждой такой безделице надо было упомянуть и сказать свое мнение, потому что тогда, при начале так называемого романтизма, все было ново, все интересовало собою, все считалось важным событием — и отрывок из несуществующей поэмы в двадцать стихов счетом, и элегия, и соное подражание какой-нибудь пиесе Ламартина, перевод романа Вальтера-Скотта и перевод романа какого-нибудь Фан-дер-Фельде.

В этом отношении теперь гораздо лучше писать обозрения. Теперь уже не считается принадлежащим к литературе все, что ни выходит из-под типографских станков. Теперь многое испытано, ко многому пригляделись и привыкли. Конечно, перевод такого романа, как «Домби и сын», и теперь замечательное явление в литературе, и обозреватель не в праве пропустить его без внимания; но зато переводы романов Сю, Дюма и других французских беллетристов, появляющиеся теперь дюжинами, уже нельзя считать всегда литературными явлениями. Они пишут сплеча, их цель — выгодный сбыт, доставляемое ими наслаждение известному разряду любителей такой литературы, относится, конечно, ко вкусу, но не к эстетическому, а тому, который у одних удовлетворяется сигарами, у других — шелканием орешков... Публика нашего времени уже не та, что была прежде. Произвол критики уже не может убить хорошей книги и дать ход дурной. Французские романы наполняют собою наши журналы и издаются особо; в том и другом случае они находят себе множество читателей. Но поэтому отнюдь не следует делать резких заключений о вкусе публики. Многие берутся за роман Дюма, как за сказку, вперед зная, что это такое, читают его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми приключениями, а потом и забыть их навсегда. В этом, разумеется, нет ничего дурного. Один любит качаться на качелях; другой ездить верхом, третий плавать, четвертый курить, и многие, вместе с этим, любят читать вздорные сказки, хорошо рассказываемые. Поэтому переводные романы и повести уже не за-

сленяют собою оригинальных; напротив, общий вкус публики отдает последним решительное предпочтение, так что помещать в журналах преимущественно переводные романы и повести заставляет журналистов только одна крайность, т.-е. недостаток в оригинальных произведениях этого рода. И такое направление вкуса публики становится заметнее и определеннее год от году. В отношении же к оригинальным произведениям очарование имен совершенно исчезло; громкое имя, конечно, и теперь заставит каждого взяться за новое сочинение, но уже никто не придет от него в восторг, если в нем хорошего одно только имя автора. Сочинения посредственные, слабые проходят незаметными, умирают своей смертью, а не от ударов критики. Такому положению литературы, столь различному от того, в каком она находилась лет двадцать назад тому, должна соответствовать и критика. Отдавая отчет в годичном движении литературной деятельности, теперь нечего обращать внимание на количество произведений или хлопотать об оценке каждого явления из опасения, что без указанной критики публика не будет знать, что считать ей хорошим и что — дурным. Нет даже нужды останавливаться на каждом порядочном произведении и вдаваться в подробный разбор всех его красот и недостатков. Подобное внимание принадлежит теперь по праву только особенно замечательным, в положительном или отрицательном смысле, произведениям. Главная же задача тут — показать преобладающее направление, общий характер литературы в данное время, проследить в ее явлениях оживляющую и движущую ее мысль. Только таким образом можно, если не определить, то хоть намекнуть, насколько истекший год подвинул вперед литературу, какой прогресс совершила она в нем.

Собственно новым 1847 год ничем не ознаменовал себя в литературе. Явились в преобразованном виде некоторые из старых периодических изданий. Явился даже один новый листок<sup>5</sup>; замечательными произведениями по части изящной словесности прошлый год был особенно богат в сравнении с предшествовавшими годами; явилось несколько новых имен, новых талантов и деятелей по разным частям литературы. Но не явилось ни одного из тех ярко-замечательных произведений, которые своим появлением делают эпоху в истории литературы, дают ей новое направление. Вот почему мы говорим, что собственно новым литература прошлого года ничем не ознаменовала себя. Она шла по прежнему пути, которого нельзя назвать ни новым, потому что он успел уже обозначиться, ни старым, потому что слишком недавно открылся для литературы, — именно немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово «натуральная школа»<sup>6</sup>. С тех пор прогресс русской литературы в каждом новом году состоял в более твердом ее шаге в этом направлении. Прошлый 1847 год был особенно замечателен в этом отношении в сравнении с предшествовавшими ему

годами как по числу и замечательности верных этому направлению произведений, так и большею определенностью, сознательностью и силою самого направления и большим его кредитом у публики.

Натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы. С одной стороны, нисколько не преувеличивая дела, по каким-нибудь пристрастным увлечениям, мы можем сказать, что публика, т.-е. большинство читателей, за нее: это факт, а не предположение. Теперь вся литературная деятельность сосредоточилась в журналах, а какие журналы пользуются большею известностью, имеют более обширный круг читателей и большее влияние на мнение публики, как не те, в которых помещаются произведения натуральной школы? Какие романы и повести читаются публикою с особенным интересом, как не те, которые принадлежат натуральной школе, или, лучше сказать, читаются ли публикою романы и повести, не принадлежащие к натуральной школе? Какая критика пользуется большим влиянием на мнение публики, или, лучше сказать, какая критика более сообразна с мнением и вкусом публики, как не та, которая стоит за натуральную школу против риторической? С другой стороны, о ком беспрестанно говорят, спорят, на кого беспрестанно нападают с ожесточением, как не на натуральную школу? Партии, ничего не имеющие между собою общего, в нападках на натуральную школу действуют согласно, единодушно, приписывают ей мнения, которых она чуждается, намерения, которых у ней никогда не было, ложно перетолковывают каждое ее слово, каждый ее шаг, то бранят ее с запальчивостью, забывая иногда приличие, то жалуются на нее чуть не со слезами. Что общего между заклятыми врагами Гоголя, представителями побежденного риторического направления, и между так-называемыми славянофилами? — Ничего! — И однако ж последние, признавая Гоголя основателем натуральной школы, согласно с первыми, нападают в том же тоне, теми же словами, с такими же доказательствами, на натуральную школу, и почли за нужное отличиться от своих новых союзников только логическою непоследовательностью, вследствие которой они поставили Гоголю в заслугу то самое, за что преследуют его школу, на том основании, что он писал по какой-то «потребности внутреннего очищения»<sup>7</sup>. К этому должно прибавить, что школы, неприязненные натуральной, не в состоянии представить ни одного сколько-нибудь замечательного произведения, которое доказало бы делом, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными тем, которых держится натуральная школа. Все попытки их в этом роде послужили к торжеству натурализма и падению риторизма. Видя это, некоторые из противников натуральной школы пытались противопоставлять ей ее же писателей. Так, одна газета думала г. Бутковым уничтожить авторитет самого Гоголя<sup>8</sup>...

Все это нисколько не ново в нашей литературе, но было не раз и всегда будет. Карамзин первый произвел разделение в едва возникавшей тогда русской литературе. До него все были согласны во всех литературных вопросах, и, если бывали разногласия и споры, они выходили не из мнений и убеждений, а из мелких и беспокойных самолюбий Тредьяковского и Сумарокова. Но это согласие доказывало только безжизненность тогдашней так-называемой литературы. Карамзин первый оживил ее, потому что перевел ее из книги в жизнь, из школы в общество. Тогда, естественно, явились и партии, началась война на перьях, раздались вопли, что Карамзин и его школа губят русский язык и вредят добрым русским нравам. В лице его противников, казалось, вновь восстала русская упорная старина, которая с таким судорожным, и тем более бесплодным, напряжением отстаивала себя от реформы Петра Великого. Но большинство было на стороне права, т.-е. таланта и современных нравственных потребностей, вопли противников заглушались хвалебными гимнами поклонников Карамзина. Все группировалось около него, и от него все получало свое значение и свою значительность, все — даже его противники. Он был героем, Ахиллом литературы того времени. Но что вся эта тревога в сравнении с бурей, которая поднялась с появлением Пушкина на литературном поприще? Она так памятна всем, что нет нужды распространяться о ней. Скажем только, что противники Пушкина видели в его сочинениях искажение русского языка, русской поэзии, несомненный вред не только для эстетического вкуса публики, но и — поверят ли теперь этому? — для общественной нравственности!! Не желая шевелить старые дразни, мы удерживаемся от всяких указаний, но, если у нас их требуют, мы всегда готовы представить печатные доказательства. В одной критике на «Графа Нулина» Пушкин обвинялся в неприличии, доходящем до цинизма! Перечитывая эту критику теперь, невольно забываешь, когда и на что она написана: так и кажется, что это сейчас написанная статья против какого-нибудь произведения теперешней натуральной школы: тот же язык, те же доводы, та же манера братья за дело, какие и теперь употребляются в нападках на натуральную школу<sup>9</sup>.

Что же за причина, что противники всякого движения вперед во все эпохи нашей литературы говорили одно и то же и почти одними и теми же словами?

Причина эта скрывается там же, где надо искать и происхождения натуральной школы, — в истории нашей литературы. Она началась натурализмом: первый светский писатель был старик Кантемир. Несмотря на подражание латинским сатирикам и Буало, он умел остаться оригинальным, потому что был верен натуре и писал с нее. К несчастью, однообразие избранного им рода, грубость и необработанность языка, несвойственный нашей поэзии силлабический метр не допустили Кантемира быть об-

разцом и законодателем русской поэзии. Роль эта была предоставлена Ломоносову. Но как Кантемир все-таки остается человеком с необыкновенным талантом, то его и нельзя выключить из русской истории литературы, как первого, по времени, ее поэта. Поэтому мы в праве сказать, не искажая фактов и не делая натяжек, что русская поэзия при самом начале своем потекла, если можно так выразиться, двумя параллельными друг другу руслами, которые, чем далее, тем чаще сливались в один поток, разбегаясь после опять на два, до тех пор, пока в наше время не составили одного целого. В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре. В лице Ломоносова она обнаружила стремление к идеалу, поняла себя, как оракула жизни высшей, выспренной, как глашатая всего высокого и великого. Оба эти направления были законны и оба вышли не из жизни, а из теории, из книги, из школы. Но манера, с какою Кантемир взялся за дело, утверждает за первым направлением преимущество истины и реальности. В Державине, как таланте высшем, оба эти направления часто сливались, и его оды «К Фелице», «Вельможе», «На счастье» едва ли не лучшие его произведения, по крайней мере, без всякого сомнения в них больше оригинального, русского, нежели в его торжественных одах. В баснях Хемницера и в комедиях Фон-Визина отозвалось направление, представителем которого, по времени, был Кантемир. Сатира у них уже реже переходит в преувеличение и карикатуру, становится более натуральной, по мере того как становится более поэтической. В баснях Крылова сатира делается вполне художественною; натурализм становится отличительною характеристическою чертою его поэзии. Это был первый великий натуралист в нашей поэзии. Зато он первый и подвергся упрекам за изображения «низкой природы», особенно за басню «Свинья». Посмотрите, как натуральны его животные: это — настоящие люди с резко очерченными характерами, и притом люди русские, а не другие какие-нибудь. А его басни, в которых действующие лица — русские мужички? Не есть ли это верх натуральности? И однако ж теперь уже не упрекают Крылова ни за свинью, которая, «не жалея рыла, весь задний двор изрыла», ни за то, что в своих баснях он выводил мужиков, да еще заставлял их говорить самым мужицким складом. Скажут: то басня, то такой уж род поэзии. А разве законы изящного не одинаковы для всех его родов? Дмитриев писал тоже басни и в них изредка вводил, эпизодически, крестьян; но его басни, имеющие свои неотъемлемые достоинства, нисколько не отличаются натуральностию, и его крестьяне говорят в них каким-то общим, не принадлежащим исключительно ни одному сословию языком. Причина этой разницы лежит в том, что поэзия Дмитриева и в баснях его, так же как и в одах, шла от Ломоносова, а не от Кантемира, держа-

лась идеала, а не действительности. Теория Ломоносова опиралась на древних, как понимали их тогда в Европе. Карамзин и Дмитриев, особенно последний, смотрели на искусство глазами французов XVIII века. А известно, что французы того времени понимали искусство, как выражение жизни не народа, а общества, и притом только высшего, дворянского, и *приличные* считали главным и первым условием поэзии<sup>10</sup>. Оттого у них греческие и римские герои ходили в париках и говорили героиням: *madame!* Эта теория глубоко проникла в русскую литературу, и, как увидим далее, следы ее влияния не изгладились совсем и до сих пор...

Озеров, Жуковский и Батюшков продолжали собою направление, данное нашей поэзии Ломоносовым. Они были верны идеалу, но этот идеал у них становился все менее и менее отвлеченным и риторическим, все больше и больше сближающимся с действительностью или, по крайней мере, стремившимся к этому сближению. В произведениях этих писателей, особенно двух последних, языком поэзии заговорили уже не одни официальные восторги, но и такие страсти, чувства и стремления, источником которых были не отвлеченные идеалы, но человеческое сердце, человеческая душа. Наконец, явился Пушкин, поэзия которого относится к поэзии всех предшествовавших ему поэтов, как достижение относится к стремлению. В ней слились в один широкий поток оба до того текшие раздельно ручья русской поэзии. Русское ухо слышало в ее сложном аккорде и чисто русские звуки. Несмотря на преимущественно идеальный и лирический характер первых поэм Пушкина, в них уже вошли элементы жизни действительной, что доказывается смелостью, в то время удивившею всех, ввести в поэму не классических итальянских или испанских, а русских разбойников, не с кинжалами и пистолетами, а с широкими ножами и тяжелыми кистенями, и заставить одного из них говорить в бреду про кнут и грозных палачей<sup>11</sup>. Цыганский табор, с оборванными шатрами между колесами телег, с пляшущим медведем и нагими детьми в перекидных корзинках на ослах, был тоже неслыханною дотоле сценою для кровавого трагического события. Но в «Евгении Онегине» идеалы еще более уступили место действительности, или, по крайней мере, то и другое до того слилось во что-то новое, среднее между тем и другим, что поэма эта должна по справедливости считаться произведением, положившим начало поэзии нашего времени. Тут уже натуральность является не как сатира, не как комизм, а как верное воспроизведение действительности, со всем ее добром и злом, со всеми ее житейскими дрязгами; около двух или трех лиц, опозитизированных или несколько идеализированных, выведены люди обыкновенные, но не на посмешище, как уроды, как исключения из общего правила, а как лица, составляющие большинство общества. И все это в романе, писанном стихами!

Что же в это время делал роман в прозе?

Он всеми силами стремился к сближению с действительностью, к натуральности. Вспомните романы и повести Нарезного, Булгарина, Марлинского, Загоскина, Лажечникова, Ушакова, Вельтмана, Полевого, Погодина. Здесь не место рассуждать о том, кто из них больше сделал, чей талант был выше; мы говорим об общем им всем стремлении — сблизить роман с действительностью, сделать его верным ее зеркалом. Между этими попытками были очень замечательные, но тем не менее все они отзывались переходною эпохою, стремились к новому, не оставляя старой колеи. Весь успех заключался в том, что, несмотря на вопли староверов, в романе стали появляться лица всех сословий, и авторы старались подделываться под язык каждого. Это называлось тогда *народностью*. Но эта народность слишком отзывалась маскарадностью: русские лица низших сословий походили на переряженных бар, а бары только именами отличались от иностранцев. Нужен был гениальный талант, чтобы навсегда освободить русскую поэзию, изображающую русские нравы, русский быт, из-под чуждых ей влияний. Пушкин много сделал для этого; но докончить, довершить дело предоставлено было другому таланту. В «Северных Цветах» на 1829 год явился отрывок из романа Пушкина: «Арап Петра Великого», под заглавием: «IV глава из исторического романа». Этот маленький отрывок был — верх натуральности! В такой тесной рамке такая широкая картина нравов эпохи Петра Великого! Но, к сожалению, этого романа было написано всего только шесть глав и начало седьмой (вполне они были напечатаны уже по смерти Пушкина).

С появлением «Миргорода» и «Арабесок» (в 1835 году) и «Ревизора» (в 1836) начинается полная известность Гоголя и его сильное влияние на русскую литературу. Из всех суждений об этом писателе, высказанных почитателями его таланта, самое замечательное и близкое к истине едва ли не принадлежит человеку, который вовсе не принадлежит к числу его почитателей, и который, как будто в каком-то внезапном вдохновении, сам не зная как, вышел на минуту из своей обычной колеи, которой был верен всю жизнь, проговоривши о Гоголе следующий дифирамб:

«Все произведения Гоголя обнаруживают в нем самоуверенность, стремление к самостоятельности, какое-то умышленное, насмешливое пренебрежение к прежним знаниям, опытам и образцам, *он читает только книгу природы, изучает только мир действительный*; потому его идеалы слишком естественны и просты до наготы; они, по выражению Ивана Никифоровича, одного из его созданий, являются перед читателем в натуре. Красоты его созданий всегда новы, свежи, поразительны; *ошибки чуть не отвратительны (?)*; он, как будто забыв историю, подобно древним, *начинает новый мир искусств*, вызывая его из небытия в *простонаравное (?) хаотическое (!?)* состояние; потому-то его искусство как будто не знает, не понимает стыдливости; он великий художник, не знающий истории и не выдавший образцов искусства»<sup>12</sup>.

В этом исполненном лирического беспорядка дифирамбе, без воли и сознания автора, высказана самая характеристическая черта таланта Гоголя — оригинальность и самобытность, отличающая его от всех русских писателей. Что это сделано нечаянно, по вдохновению, доказывается и параллелью, которую проводит автор между Гоголем и — кем бы вы думали? — г. Кукольников!! — и странными, противоречащими словами и выражениями в самом дифирамбе, доказывающими, что не в воле человека даже на минуту, и притом в порыве вдохновения, совершенно оторваться от обычной колеи своей жизни. Надо сказать, что автор — теоретик и всю жизнь провел в составлении и преподавании разных риторик и пиитик, которые, как и все книги этого рода, никогда и никого не научили сочинять хорошо, но с толку сбили многих. Вот почему его особенно поразила в сочинениях Гоголя их полная отрешенность и независимость от всяких школьных правил и преданий, и, если он не мог, с одной стороны, не вменить ему этого в заслугу, то, с другой, не мог того же самого не поставить ему в заслуженный упрек. Отсюда и увидал он в сочинениях Гоголя «ошибки, чуть не отвратительные», и «простонравное, хаотическое состояние искусства». Спросите его, какие это ошибки, — и мы уверены, что он прежде всего укажет на будочника, который казнит зверя на ноге (в «Мертвых душах»), и этим фактом подтвердит окончательно, что Гоголь «не знает истории и не видал образцов искусства». А, между тем, Гоголю, вероятно, известнее, нежели его критику, что одна из известнейших галерей в Европе хранит, как бесценное сокровище, картину великого Мурильо, представляющую мальчика, который с усердием и обстоятельно занимается тем, что будочник сделал спросонья и мимоходом.

Как бы то ни было, но действительно влияние теорий и школ было одною из главных причин, почему многие сначала спокойно, без всякой враждебности, искренно и добросовестно видели в Гоголе не более, как писателя забавного, но тривиального и незначительного, и вышли из себя уже вследствие восторженных похвал, расточавшихся ему другою стороною, и важного значения, которое он быстро приобретал в общественном мнении. В самом деле, как ни ново было в свое время направление Карамзина, — оно оправдывалось образцами французской литературы. Как ни странно поразили всех баллады Жуковского, с их мрачным колоритом, с их кладбищами и мертвецами, — но за них были имена корифеев немецкой литературы. Сам Пушкин, с одной стороны, был подготовлен предшествовавшими ему поэтами, и первые опыты его носили на себе легкие следы их влияния, а, с другой стороны, его нововведения оправдывались общим движением во всех литературах Европы и влиянием Байрона — авторитета огромного. Но Гоголю не было образца, не было предшественников ни в русской, ни в иностранных литературах. Все теории, все предания литературные были против него, потому

что он был против них. Чтобы понять его, надо было вовсе выкинуть их из головы, забыть о их существовании, — а это для многих значило бы переродиться, умереть и вновь воскреснуть. Чтобы яснее сделать нашу мысль, посмотрим, в каких отношениях находится Гоголь к другим русским поэтам. Конечно, и в тех сочинениях Пушкина, которые представляют чуждые русскому миру картины, без всякого сомнения, есть элементы русские, но кто укажет их? Как доказать, что, например, поэмы: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Галуб», могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации? То же можно сказать и о Лермонтове. Все сочинения Гоголя посвящены исключительно изображению мира русской жизни, и у него нет соперников в искусстве воспроизводить ее во всей ее истинности. Он ничего не смягчает, не украшает, вследствие любви к идеалам, или каких-нибудь заранее принятых идей, или привычных пристрастий, как, например, Пушкин, в «Онегине» идеализировал помещицкий быт<sup>13</sup>. Конечно, преобладающий характер его сочинений — отрицание; всякое отрицание, чтоб быть живым и поэтическим, должно делаться во имя идеала, — и этот идеал у Гоголя так же не свой, т.-е. не туземный, как и у всех других русских поэтов, потому что наша общественная жизнь еще не сложилась и не установилась, чтобы могла дать литературе этот идеал. Но нельзя же не согласиться с тем, что по поводу сочинений Гоголя уже никак невозможно предложить вопроса: как доказать, что они могли быть написаны только русским поэтом, и что их не мог бы написать поэт другой нации? Изображать русскую действительность и с такою поразительною верностью и истиною, разумеется, может только русский поэт. И вот пока в этом-то более всего и состоит народность нашей литературы.

Литература наша была плодом сознательной мысли, явилась, как нововведение, началась подражательностью. Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, *натуральною*. Это стремление, ознаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов. Для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеализирование и носят на себе чужой отпечаток. Это — великая заслуга со стороны Гоголя, но это-то люди старого образования и вменяют ему в великое преступление перед законами искусства. Этим он совершенно изменил взгляд на самое искусство. К сочинениям каждого из поэтов русских можно, хотя и

с натяжкой, приложить старое и ветхое определение поэзии, как «украшенной природы», но в отношении к сочинениям Гоголя этого уже невозможно сделать. К ним идет другое определение искусства — как воспроизведение действительности во всей ее истине. Тут все дело в *типах*, а *идеал* тут понимается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор ставит друг к другу созданные им типы, сообразно с мыслию, которую он хочет развить своим произведением.

Искусство в наше время обогнало теорию. Старые теории потеряли весь свой кредит; даже люди, воспитанные на них, следуют не им, а какой-то странной смеси старых понятий с новыми. Так, например, некоторые из них, отвергая старую французскую теорию во имя романтизма, первые подали соблазнительный пример выводить в романе лица низших сословий, даже негодяев, к которым шли имена Вороватых и Ножовых, но они же потом оправдывались в этом тем, что вместе с безнравственными лицами выводили и нравственные под именем Правдолюбых, Благотворовых и т. п.<sup>14</sup>. В первом случае видно было влияние новых идей, во втором — старых, потому что по рецепту старой пиитики необходимо было на нескольких глупцов отпустить хоть одного умника, а на нескольких негодяев хоть одного добродетельного человека \*. Но в обоих случаях эти междуумки совершенно упускали из виду главное, т. е. искусство, потому что и не догадывались, что их и добродетельные и порочные лица были не люди, не характеры, а риторические олицетворения отвлеченных добродетелей и пороков. Это лучше всего и объясняет, почему для них теория, правило важнее дела, сущности: последнее не доступно их разумению. Впрочем, от влияния теории не всегда избегают и таланты, даже гениальные. Гоголь принадлежит к числу немногих, совершенно избегнувших всякого влияния какой бы то ни было теории. Умея понимать искусство и удивляться ему в произведениях других поэтов, он тем не менее пошел своею дорогою, следуя глубокому и верному художническому инстинкту, каким щедро одарила его природа, и не соблазняясь чужими успехами на подражание. Это, разумеется, не дало ему оригинальности, но дало ему возможность сохранить и выказать вполне ту оригинальность, которая была принадлежностью, свойством его личности и, следовательно, подобно таланту, даром природы. От этого он и показался для многих как бы извне вошедшим в русскую литературу, тогда как на самом деле он был ее необходимым явлением, требовавшимся всем предшествовавшим ее развитием.

Влияние Гоголя на русскую литературу было огромно. Не только все молодые таланты бросились на указанный им путь, но и некоторые писатели, уже приобретшие известность, пошли

\* Тогда слово *резонёр* для комедии было таким же техническим словом, как и *jeune premier*, любовник или *prima donna* для оперы.

по этому же пути, оставивши свой прежний. Отсюда появление школы, которую противники ее думали унижить названием натуральной. После «Мертвых душ» Гоголь ничего не написал. На сцене литературы теперь только его школа. Все упреки и обвинения, которые прежде устремлялись на него, теперь обращены на натуральную школу, и если еще делаются выходки против него, то по поводу этой школы. В чем же обвиняют ее? Обвинений немного, и они всегда одни и те же. Сперва нападали на нее за ее будто бы постоянные нападки на чиновников. В ее изображениях быта этого сословия одни искренно, другие умышленно видели злонамеренные карикатуры. С некоторого времени эти обвинения замолкли. Теперь обвиняют писателей натуральной школы за то, что они любят изображать людей низкого звания, делают героями своих повестей мужиков, дворников, извозчиков, описывают *углы*, убежища голодной нищеты и часто всяческой безнравственности<sup>15</sup>. Чтобы устыдить новых писателей, обвинители с торжеством указывают на прекрасные времена русской литературы, ссылаются на имена Карамзина и Дмитриева, избравших для своих сочинений предметы высокие и благородные, и приводят в пример забытого теперь изящества чувствительную песенку: «Всех цветочков боле розу я любил». Мы же напомним им, что первая замечательная русская повесть была написана Карамзиным, и ее героиня была оболыщенная петиметром крестьянка — *бедная Лиза*. . . Но там, скажут они, все опрятно и чисто, и подмосковная крестьянка не уступит самой благовоспитанной *барышне*. Вот мы и дошли до причины спора: тут виновата, как видите, старая пиитика. Она позволяет изображать, пожалуй, и мужиков, но не иначе, как одетых в театральные костюмы, обнаруживающих чувства и понятия, чуждые их быту, положению и образованию, и объясняющихся таким языком, которым никто не говорит, а тем менее крестьяне, языком литературным, украшенным «сими, оными, коими, таковыми» и т. п. Да чего же лучше: пастушки и пастушки французских писателей XVIII века представляют готовый и прекрасный образец для изображения русских крестьян и крестьянок; берите целиком, вот вам и соломенные шляпы с голубыми и розовыми лентами, пудра, мушки, фижмы, корсеты, юбки с ретрусманами, башмаки на высоких красных каблуках. Только в языке держитесь домашних литературных привычек, потому что французы никогда не любили щеголять обветшалыми, не употребляемыми в разговоре словами. Это — замашка чисто русская; у нас даже первоклассные таланты любят «брега, младость, перси, очи, выю, стопы, чело, главу, глас» и тому подобные принадлежности так называемого «высшего слога». Короче: старая пиитика позволяет изображать все, что вам угодно, но только предписывает при этом изображаемый предмет так украсить, чтобы не было никакой возможности узнать, что вы хотели изобразить. Следуя строго ее урокам, поэт может пойти дальше

прославленного Дмитриевым маляра Ефрема, который Архипа писал Сидором, а Луку — Кузьмою: он может снять с Архипа такой портрет, который не будет походить не только на Сидора, но и ни на что на свете, даже на комок земли. Натуральная школа следует совершенно противоположному правилу: возможно-близкое сходство изображаемых ею лиц с их образцами в действительности не составляет в ней всего, но есть первое ее требование, без выполнения которого уже не может быть в сочинении ничего хорошего. Требование тяжелое, выполнимое только для таланта! Как же после этого не любить и не чтить старой пиитики тем писателям, которые когда-то умели и без таланта с успехом подвизаться на поприще поэзии? Как не считать им натуральной школы самым ужасным врагом своим, когда она ввела такую манеру писать, которая им недоступна? Это, конечно, относится только к людям, у которых в этот вопрос вмешалось самолюбие; но найдется много и таких, которые по искреннему убеждению не любят естественности в искусстве, вследствие влияния на них старой пиитики. Эти люди с особенною горечью жалуются еще на то, что теперь искусство забыло свое прежнее назначение. «Бывало — говорят они — поэзия поучала, забавляя, заставляла читателя забывать о тяготах и страданиях жизни, представляла ему только картины приятные и смеющиеся. Прежние поэты представляли и картины бедности, но бедности опрятной, умытой, выражающейся скромно и благородно; притом же к концу повести всегда являлась чувствительная молодая дама или девица, дочь богатых и благородных родителей, а не то благодетельный молодой человек, — и во имя милого или милой сердца водворяли довольство и счастье там, где была бедность и нищета, и благодарные слезы орошали благодетельную руку — и читатель невольно подносил свой батистовый платок к глазам и чувствовал, что он становится добрее и чувствительнее. . . А теперь! — посмотрите, что теперь пишут! мужики в лаптях и сермягах, часто от них несет сивухю, баба — род центавра, по одежде не вдруг узнаешь, какого это пола существо; *углы* — убежища нищеты, отчаяния и разврата, до которых надо доходить по двору, грязному по колени; какой-нибудь пьянюшка-подьячий или учитель из семинаристов, выгнанный из службы, — все это списывается с натуры, в наготу страшной истины, так что, если прочтешь, жди ночью тяжелых снов». . . Так или почти так говорят маститые питомцы старой пиитики. В сущности, их жалобы состоят в том, зачем поэзия перестала бесстыдно лгать, из детской сказки превратилась в быль, не всегда приятную, зачем отказалась она быть гремушкой, под которую приятно и прыгать и засыпать. Странные люди, счастливые люди! им удалось на всю жизнь остаться детьми и даже в старости быть несовершеннолетними, недорослями, — вот они требуют, чтобы и все походили на них! Да читайте свои старые сказки — никто вам не мешает;

а другим оставьте занятия, свойственные совершеннолетию. Вам ложь — нам истина: разделимся без спору, благо вам не нужно нашего пая, а мы даром не возьмем вашего. . Но этому любовному разделу мешает другая причина — эгоизм, который считает себя добродетелью. В самом деле, представьте себе человека обеспеченного, может быть, богатого, он сейчас пообедал сладко, со вкусом (повар у него прекрасный), уселся в спокойных вольтеровских креслах с чашкою кофе перед пылающим камином, тепло и хорошо ему, чувство благосостояния делает его веселым, — и вот берет он книгу, лениво переворачивает ее листы, — и брови его надвигаются на глаза, улыбка исчезает с румяных губ, он взволнован, встревожен, раздосадован. . . И есть отчего! Книга говорит ему, что не все на свете живут так хорошо, как он, что есть *углы*, где под лохмотьями дрожит от холоду целое семейство, может быть, недавно еще знавшее довольство, — что есть на свете люди, рождением, судьбою обреченные на нищету, — что последняя копейка идет на зелено вино не всегда от праздности и лени, но и от отчаяния. И нашему счастливцу неловко, как будто совестно своего комфорта. А все виновата скверная книга: он взял ее для своего удовольствия, а вычитал тоску и скуку. Прочь ее! «Книга должна приятно развлекать; я и без того знаю, что в жизни много тяжелого и мрачного, и, если читаю, так для того, чтобы забыть это!» — восклицает он. — Так, милый, добрый сибарит, для твоего спокойствия и книги должны лгать, и бедный забывать свое горе, голодный свой голод, стоны страдания должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетит, не нарушился твой сон. . . Представьте теперь в таком же положении другого любителя приятного чтения. Ему надо было дать бал, срок приближается, а денег не было; управляющий его, Никита Федорыч, что-то замешкался высылкою. Но сегодня деньги получены, бал можно дать; с сигарой в зубах, веселый и довольный лежит он на диване, и от нечего делать руки его лениво протягиваются к книге. Опять та же история. Проклятая книга рассказывает ему подвиги его Никиты Федорыча, подлого холопа, с детства привыкшего подобострастно служить чужим страстям и прихотям, женатого на отставной любовнице родителя своего барина. И ему-то, незнакомому ни с каким человеческим чувством, поручена судьба и участь всех Антонов<sup>16</sup>. Скорее прочь ее, скверную книгу!.. Представьте теперь еще в таком комфортном состоянии человека, который в детстве бегал босиком, бывал на посылках, а лет под пятьдесят как-то очутился в чинах, имеет «малую толику». Все читают — надо и ему читать; но что находит он в книге? — свою биографию, да еще как верно рассказанную, хоть, кроме его самого, темные похождения его жизни — тайна для всех, и ни одному *сочинителю* неоткуда было узнать их. . . И вот он уже не взволнован, а просто взбешен, и с чувством достоинства облегчает свою досаду таким рассуждением: «Вот как

пишут ныне! вот до чего дошло вольнодумство! Так ли писал прежде? Штиль ровный, гладкий, все о предметах нежных или возвышенных, читать сладко и обидеться нечем!»

Есть особенный род читателей, который, по чувству аристократизма, не любит встречаться даже в книгах с людьми низших классов, обыкновенно не знающими приличия и хорошего тона, не любит грязи и нищеты, по их противоположности с роскошными салонами, будуарами и кабинетами. Эти отзываются о натуральной школе не иначе, как с высокомерным презрением, иронической улыбкою... Кто они такие, эти феодальные бароны, гнушающиеся «подлою чернью», которая в их глазах ниже хорошей лошади? Не спешите справляться о них в геральдических книгах или при дворах европейских: вы не найдете их гербов, они не ездят ко двору, и если видали большой свет, то не иначе, как с улицы, сквозь ярко освещенные окна, насколько позволяли сторы и занавески... Предками они не могут похвалиться; они обыкновенно — или чиновники, или из нового дворянства, богатого только плебейскими преданиями о дедушке-управляющем, о дядюшке-откупщике, а иногда и о бабушке-просвирице и тетушке-торговке. Автор этой статьи считает при этом обязанностью довести до сведения своих читателей, что упрекать ближнего незнатностью происхождения вовсе не в его привычках и положительно противно всем его убеждениям, и что он сам отнюдь<sup>17</sup> не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь не стыдится признаться в этом. Но он думает — и, вероятно, читатели его согласятся с ним — что ничего нет приятнее, как оборвать с вороны павлиньи перья и доказать ей, что она принадлежит к той породе, которую вздумала презирать. Человек простого звания еще не ворона потому, что он простого звания; вороною делает не звание, а природа, и вороны так же бывают во всех званиях, как и во всех же званиях бывают и орлы; но, конечно, только вороне свойственно рядиться в павлиньи перья и величаться ими. Так почему же не сказать вороне, что она — ворона? Презрение к низшим сословиям в наше время отнюдь не есть порок высших сословий; напротив, это — болезнь выскочек, порождение невежества, грубости чувств и понятий. Умный и образованный человек, если б он был одержим этою болезнью, никогда не обнаружит ее, потому что она не в духе времени, потому что показать ее — значит каркнуть о себе во все воронье горло. Нам кажется, что как ни гадко лицемерие, но в этом случае оно даже лучше вороньей откровенности, потому что свидетельствует об уме. Павлин, горделиво распускающий пышный хвост свой перед другими птицами, слывет животным красивым, но не умным. Что же сказать о вороне, спесиво выказывающей заимствованный наряд? Подобная спесь всегда чужда ума и есть порок по преимуществу плебейский. Где больше ломания и притязаний, как не в тех слоях общества, которые начинаются тотчас после

самых низших? А это потому, что тут всего больше невежества. Посмотрите, как глубоко презирает лакей мужика, который во всех отношениях лучше, благороднее, человечнее его! Откуда эта гордость в лакее? — Он перенял пороки своего барина и оттого считает себя далеко образованнее мужика. Внешний лоск грубыми натурами всегда принимается за образованность.

«Что за охота наводнять литературу мужиками?» — восклицают аристократы известного разряда. В их глазах писатель — ремесленник, которому как что закажут, так он и делает. Им в голову не входит, что в отношении к выбору предметов сочинения писатель не может руководствоваться ни чуждою ему волею, ни даже собственным произволом; ибо искусство имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии. А чем объяснить, что один любит изображать предметы веселые, другой мрачные, если не натурою, характером и талантом поэта? Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом. Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик — не человек? — Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? — Как что? — его душа, ум, сердце, страсти, склонности — словом, все то же, что и в образованном человеке. Положим, последний выше первого; но разве ботаник интересуется только садовыми, улучшенными искусством растениями, презирая их полевые, дико растущие первообразы? Разве для анатомика и физиолога организм дикого австралийца не так же интересен, как и организм просвещенного европейца? На каком же основании искусство в этом отношении должно так разниться от науки? А потом — вы говорите, что образованный человек выше необразованного. С этим нельзя не согласиться с вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой светский человек несравненно выше мужика, но в каком отношении? Только в светском образовании, а это нисколько не мешает иному мужику быть выше его, например, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает их: дает их человеку природа. И в этой раздаче драгоценнейших даров своих она действует слепо, не разбирая сословий. . . Если из образованных классов общества выходит больше замечательных людей, это потому, что тут больше средств к развитию, а совсем не потому, чтобы природа была для людей низших классов скупер в раздаче даров своих. «Чему можно научиться из книги, в которой описывается какой-нибудь спившийся с кругу горемыка?» — говорят еще эти аристократы средней руки. — Как чему? Разумеется, не светскому обращению

и не хорошему тону, а знанию человека в известном положении. Один спивается от лени, от дурного воспитания, от слабости характера, другой от несчастных обстоятельств жизни, в которых он, может быть, нисколько не виноват. В обоих случаях, это примеры поучительные и любопытные для наблюдения. Конечно, ствернуться с презрением от человека падшего гораздо легче, нежели протянуть ему руку на утешение и помощь, так же как осудить его строго, во имя нравственности, гораздо легче, нежели с участием и любовью войти в его положение, исследовать до глубины причину его падения и пожалеть о нем, как о человеке, даже и тогда, когда он сам окажется много виноватым в своем падении. Искупитель рода человеческого приходил в мир для всех людей; не мудрых и образованных, а простых умом и сердцем, рыбаков призвал он быть «ловцами человеков», не богатых и счастливых, а бедных, страждущих, падших искал он, чтобы одних утешить, других ободрить и восстановить. Гнойные язвы на едва прикрытом нечистыми лохмотьями теле не оскорбляли его исполненного любви и милосердия взгляда, он — сын бога, человечески любил людей и сострадал им в их нищете, грязи, [позоре, разврате, пороках, злодействах; он разрешил бросить камень в блудницу тем, которые ничем не могли упрекнуть себя в совести, и устыдил жестокосердых судей, и сказал падшей женщине слово утешения, — и разбойник, испуская дух на орудии заслуженной им казни, за одну минуту раскаяния услышал от него слово прощения и мира<sup>18</sup>. . . А мы — сыны человеческие — мы хотим любить из наших братьев только равных нам, отворачиваемся от низших, как от парий, от падших, как от прокаженных. . . Какие добродетели и заслуги дали нам на это право? Не отсутствие ли именно всяких добродетелей и заслуг? . . . Но божественное слово любви и братства не втуне огласило мир. То, что прежде было обязанностью только призванных [на служение алтарю] лиц или добродетелью немногих избранных натур, — это самое делается теперь обязанностью обществ, служит признаком уже не одной добродетели, но и образованности частных лиц. Посмотрите, как в наш век везде заняты все участью низших классов, как частная благотворительность всюду переходит в общественную, как везде основываются хорошо организованные, богатые верными средствами общества для распространения просвещения в низших классах, для пособия нуждающимся и страждущим, для отвращения и предупреждения нищеты и ее неизбежного следствия — безнравственности и разврата. Это общее движение, столь благородное, столь человеческое, столь христианское, встретило своих порицателей в лице поклонников тупой и косной патриархальности. Они говорят, что тут действуют мода, увлечение, тщеславие, а не человеколюбие. Пусть так, да когда же и где же в лучших человеческих действиях не участвовали подобные мелкие побуждения? Но как же сказать, что только такие побуждения могут

быть причиною таких явлений? Как думать, что главные виновники таких явлений, увлекающие своим примером толпу, не одушевлены более благородными и высокими побуждениями? Разумеется, нечего удивляться добродетели людей, которые бросаются в благотворительность не по чувству любви к ближнему, а из моды, из подражательности, из тщеславия; но это — добродетель в отношении к обществу, которое исполнено такого духа, что и деятельность суетных людей умеет направлять к добру! <sup>19</sup> Это ли не отрадное в высшей степени явление новейшей цивилизации, успехов ума, просвещения и образованности?

Могло ли не отразиться в литературе это новое общественное движение, — в литературе, которая всегда бывает выражением общества! В этом отношении литература сделала едва ли не больше: она скорее способствовала возбуждению в обществе такого направления, нежели только отразила его в себе, скорее упредила его, нежели только не отстала от него. Нечего говорить, достойна ли и благодарна ли такая роль; но за нее-то и нападает на литературу безгербовая аристократия. Мы думаем, что довольно показали, из каких источников выходят эти нападки и чего они стоют. . .

Остается упомянуть еще о нападках на современную литературу и на натурализм вообще с эстетической точки зрения, во имя чистого искусства, которое само себе цель и вне себя не признаёт никаких целей. В этой мысли есть основание, но ее преувеличенность заметна с первого взгляда. Мысль эта чисто-немецкого происхождения; она могла родиться только у народа созерцательного, мыслящего и мечтающего, и никак не могла бы явиться у народа практического, общественность которого для всех и каждого представляет широкое поле для живой деятельности. Что такое чистое искусство, этого хорошо не знают сами поборники его, и оттого оно является у них каким-то идеалом, а не существует фактически. Оно в сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т.-е. искусства дидактического, поучительного, холодного, сухого, мертвого, которого произведения не иное что, как риторические упражнения на заданные темы. Без всякого сомнения, искусство прежде всего должно быть искусством, а потом уже оно может быть выражением духа и направления общества в известную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но, если в нем нет поэзии, — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, это — разве прекрасное намерение, дурно выполненное. Когда в романе или повести нет образов и лиц, нет характеров, нет ничего *типического*, — как бы верно и тщательно ни было списано с натуры все, что в нем рассказывается, читатель не найдет тут никакой натуральности, не заметит ничего верно подмеченного, ловко схваченного. Лица будут перемешиваться между

собою в его глазах; в рассказе он увидит путаницу непонятных происшествий. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать верно с натуры, мало уметь писать, т.-е. владеть искусством писца или писаря; надобно уметь явления действительности провести через свою фантазию, дать им новую жизнь. Хорошо и верно изложенное следственное дело, имеющее романический интерес, не есть роман, и может служить разве только материалом для романа, т.-е. подать поэту повод написать роман. Но для этого он должен проникнуть мыслию во внутреннюю сущность дела, отгадать тайные душевные побуждения, заставившие эти лица действовать так, схватить ту точку этого дела, которая составляет центр круга этих событий, дает им смысл чего-то единого, полного, целого, замкнутого в самом себе. А это может сделать только поэт. Кажется, чего бы легче было верно списать портрет человека. И иной целый век упражняется в этом роде живописи, а все не может списать знакомого ему лица так, чтобы и другие узнали, чей это портрет. Уметь списать верно портрет есть уже своего рода талант, но этим не оканчивается все. Обыкновенный живописец сделал очень сходно портрет вашего знакомого; сходство не подвергается ни малейшему сомнению в том смысле, что вы не можете не узнать сразу, чей это портрет, а все как-то недовольны им, вам кажется, будто он и похож на свой оригинал и не похож на него. Но пусть с него же снимет портрет Тыранов или Брюллов — и вам покажется, что зеркало далеко не так верно повторяет образ вашего знакомого, как этот портрет, потому что это будет уже не только портрет, но и художественное произведение, в котором схвачено не одно внешнее сходство, но вся душа оригинала. Итак, верно списывать с действительности может только талант, и как бы ни ничтожно было произведение в других отношениях, но чем более оно поражает верностью натуре, тем несомненнее талант его автора. Что не все должно оканчиваться верностью натуре, особенно в поэзии, — это другой вопрос. В живописи, по свойству и сущности этого искусства, одно умение верно писать с натуры, может служить часто признаком необыкновенного таланта. В поэзии это не совсем так: не умея верно писать с натуры, нельзя быть поэтом, но и одного этого умения тоже мало, чтоб быть поэтом, по крайней мере замечательным. Обыкновенно говорят, что верное списывание с натуры предметов ужасных (например, убийства, казни и т. п.) без мысли и художественности возбуждает отвращение, а не наслаждение. Это больше, чем несправедливо, это ложно. Зрелище убийства или казни есть такой предмет, который сам по себе не может доставлять наслаждения, и в произведении великого поэта читатель наслаждается не убийством, не казнью, а мастерством, с каким то или другое изображено поэтом, следовательно, это — наслаждение эстетическое, а не психологическое, смешанное с невольным ужасом и отвращением, тогда как кар-

тина высокого подвига или счастья любви доставляет наслаждение более сложное, и потому полное, столько же эстетическое, как и психологическое. Но человек без таланта никогда верно не изобразит убийства или казни, хотя бы он тысячу раз имел случай изучить этот предмет в действительности; все, что может он сделать, — это более или менее верное его описание, но никогда не представит он верной его картины. Описание его может возбуждать сильное любопытство, но не наслаждение. Если же, не имея таланта, он пустился писать картину такого события, она всегда произведет только одно отвращение, но не потому, что верно списана с натуры, а по причине противоположной, потому что мелодрама не есть драматическая картина, театральнй эффект не есть выражение чувства.

Но, вполне признавая, что искусство прежде всего должно быть искусством, мы тем не менее думаем, что мысль о каком-то чистом, отрешенном искусстве, живущем в своей собственной сфере, не имеющем ничего общего с другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигде не бывало. Без всякого сомнения, жизнь разделяется и подразделяется на множество сторон, имеющих свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна с другою живым образом, и нет между ними резкой разделяющей их черты. Как ни дробите жизнь, она всегда едина и цельна. Говорят: для науки нужен ум и рассудок, для творчества — фантазия, и думают, что этим порешили дело начисто, так что хоть сдавай его в архив. А для искусства не нужна ума и рассудка? А ученый может обойтись без фантазии? Неправда! Истина в том, что в искусстве фантазия играет самую деятельную и первенствующую роль; а в науке — ум и рассудок. Бывают, конечно, произведения поэзии, в которых ничего не видно, кроме сильной блестящей фантазии; но это вовсе не общее правило для художественных произведений. В творениях Шекспира не знаешь, чему больше дивиться — богатству ли творческой фантазии, или богатству всеобъемлющего ума. Есть роды учености, которые не только не требуют фантазии, в которых эта способность могла бы только вредить; но никак этого нельзя сказать об учености вообще. Искусство есть воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир: может ли же оно быть какою-то одинокою, изолированою от всех чуждых ему влияний деятельностью? Может ли поэт не отразиться в своем произведении, как человек, как характер, как натура — словом, как личность? Разумеется, нет, потому что и самая способность изображать явления действительности без всякого отношения к самому себе — есть опять-таки выражение натуры поэта. Но и эта способность имеет свои границы. Личность Шекспира просвечивает сквозь его творения, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтера-Скотта невозможно не увидеть

в авторе человека более замечательного талантом, нежели сознательно-широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне. Поэт прежде всего — человек, потом гражданин своей земли, сын своего времени. Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других. Шекспир был поэтом старой веселой Англии, которая в продолжение немногих лет вдруг сделалась суровою, строгою, фанатическою. Пуританское движение имело сильное влияние на его последние произведения, наложив на них отпечаток мрачной грусти. Из этого видно, что, родись он десятилетиями двумя позже, — гений его остался бы тот же, но характер его произведений был бы другой. Поэзия Мильтона — явно произведение его эпохи: сам того не подозревая, он в лице своего гордого и мрачного сатаны написал апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать совершенно другое. Так сильно действует на поэзию историческое движение обществ. Вот отчего теперь исключительно-эстетическая критика, которая хочет иметь дело только с поэтом и его произведением, не обращая внимания на место и время, где и когда писал поэт, на обстоятельства, подготовившие его к поэтическому поприщу и имевшие влияние на его поэтическую деятельность, — потеряла теперь всякой кредит, сделалась невозможною. Говорят: дух партий, сектантизм вредят таланту, портят его произведения. Правда! И потому-то он должен быть органом не той или другой партии или секты, осужденной, может быть, на эфемерное существование, обреченной исчезнуть без следа, но сокровенной думы всего общества, его, может быть, еще не ясного самому ему стремления. Другими словами, поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое дает колорит и смысл всей его эпохе. Как же рассматривает он в этом хаосе противоречащих мнений, стремлений, которое из них действительно выражает дух его эпохи? В этом случае единственным верным указателем больше всего может быть его инстинкт, темное, бессознательное чувство, часто составляющее всю силу гениальной натуры: кажется, идет наудачу, вопреки общему мнению, наперекор всем принятым понятиям и здравому смыслу, а, между тем, идет прямо туда, куда надо идти, — и вскоре даже те, которые громче других кричали против него, волею или неволею, а идут за ним и уже не понимают, как же можно было бы идти не по этой дороге. Вот почему иной поэт только до тех пор и действует могущественно, дает новое направление целой литературе, пока просто, инстинктивно, бессознательно следует внушению своего таланта; а лишь только начнет рассуждать и пустится в философию, — глядь, и споткнулся, да еще как!.. И обессилеет вдруг богатырь, точно Самсон, лишенный волос, и — он, который шел впереди всех, тащится теперь в задних отсталых рядах,

в толпе своих прежних противников, а теперь новых союзников, и вместе с ними вооружается на собственное дело, да уж поздно: не его волею сделано оно, не его волею и пасть ему, оно выше его самого и нужнее обществу, нежели он сам теперь... И больно, и жалко, и смешно смотреть на даровитого поэта, захотевшего сделаться плохим резонером<sup>20</sup>.

В наше время искусство и литература больше, чем когда-либо прежде, сделались выражением общественных вопросов, потому что в наше время эти вопросы стали общее, доступнее всем, яснее, сделались для всех интересом первой степени, стали во главе всех других вопросов. Это, разумеется, не могло не изменить общего направления искусства во вред ему. Так, самые гениальные поэты, увлекаясь решением общественных вопросов, удивляют иногда теперь публику сочинениями, которых художественное достоинство нисколько не соответствует их таланту или, по крайней мере, обнаруживается только в частностях, а целое произведение слабо, растянуто, вяло, скучно. Вспомните романы Жоржа Санда: «Le Meunier d'Angibault», «Le péché de monsieur Antoine», «Isidore»<sup>21</sup>. Но и здесь беда произошла собственно не от влияния современных общественных вопросов, а оттого, что автор существующую действительность хотел заменить утопиею и, вследствие этого, заставил искусство изображать мир, существующий только в его воображении. Таким образом, вместе с характерами возможными, с лицами, всем знакомыми, он вывел характеры фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою. Но из этого еще нет причины вопить о падении искусства: тот же Жорж Санд после «Le Meunier d'Angibault» написал «Тевкирино» а после «Изидоры» и «Le Péché de monsieur Antoine» — «Лукрецию Флориани». Порча искусства, вследствие влияния современных общественных вопросов, могла бы скорее обнаружиться на талантах низшей степени, но и тут она обнаруживается только в неумении отличать существующее от небывалого, возможное от невозможного, и еще более — в страсти к мелодраме, к натянутым эффектам. Что особенно хорошо в романах Евгения Сю? — верные картины современного общества, в которых больше всего видно влияние современных вопросов. А что составляет их слабую сторону, портит их до того, что отбивает всякую охоту читать их? — Преувеличения, мелодрама, эффекты, небывалые характеры в роде принца Родольфа<sup>22</sup> — словом, все ложное, неестественное, ненатуральное, — а все это выходит отнюдь не из влияния современных вопросов, а из недостатка таланта, которого хватает только на частности и никогда на целое произведение. С другой стороны, мы можем указать на романы Диккенса, которые так глубоко проникнуты задушевными симпатиями нашего времени, и которым это нисколько не мешает быть превосходными художественными произведениями.

Мы сказали, что чистого, отрешенного, безусловного, или, как говорят философы, *абсолютного* искусства никогда и нигде не бывало. Если нечто подобное можно допустить, так это разве художественные произведения тех эпох, в которые искусство было главным интересом, исключительно занимавшим образованнейшую часть общества. Таковы, например, произведения живописи итальянских школ в XVI столетии. Их содержание, повидимому, преимущественно религиозное; но это большею частию мираж, а на самом деле предмет этой живописи — красота, как красота, больше в пластическом или классическом, нежели в романтическом смысле этого слова. Возьмем, например, мадонну Рафаэля, этот *chef d'oeuvre* итальянской живописи XVI века. Кто не помнит статьи Жуковского об этом дивном произведении, кто с молодых лет не составил себе о нем понятия по этой статье? Кто, стало быть, не был уверен, как в несомненной истине, что это произведение по превосходству романтическое, что лицо мадонны — высочайший идеал той неземной красоты, которой таинство открывается только внутреннему созерцанию, и то в редкие мгновения чистого восторженного вдохновения?.. Автор предлагаемой статьи недавно видел эту картину. Не будучи знатоком живописи, он не позволил бы себе говорить об этой удивительной картине с целью — определить ее значение и степень ее достоинства; но как дело идет только о его личном впечатлении и о романтическом или неромантическом характере картины, то он думает, что может позволить себе на этот счет несколько слов. Статьи Жуковского он не читал уже давно, может быть, больше десяти лет, но как до того времени он читал и перечитывал ее со всем страстным увлечением, со всею верою молодости и знал ее почти наизусть, — то и подошел к знаменитой картине с ожиданием уже известного впечатления. Долго смотрел он на нее, оставлял, обращался к другим картинам и снова подходил к ней. Как ни мало знает он толку в живописи, но первое впечатление его было решительно и определено в одном отношении: он тотчас же почувствовал, что после этой картины трудно понять достоинства других и заинтересоваться ими. Два раза был он в Дрезденской галлерее, и в оба видел только эту картину, даже когда смотрел на другие и когда ни на что не смотрел. И теперь, когда ни вспомнит он о ней, она словно стоит перед его глазами, и память почти заменяет действительность. Но чем дольше и пристальнее всматривался он в эту картину, чем больше думал тогда и после, тем более убеждался, что мадонна Рафаэля и мадонна, описанная Жуковским под именем рафаэлевой, — две совершенно различные картины, не имеющие между собою ничего общего, ничего сходного. Мадонна Рафаэля — фигура строго классическая и несколько не романтическая. Лицо ее выражает ту красоту, которая существует самостоятельно, не заимствуя своего очарования от какого-нибудь нравственного вы-

ражения в лице. На этом лице, напротив, ничего нельзя прочесть. Лицо мадонны, равно и вся ее фигура исполнены невыразимого благородства и достоинства. Это дочь царя, проникнутая сознанием и своего высокого сана и своего личного достоинства. В ее взоре есть что-то строгое, сдержанное, нет благости и милости, но нет и гордости, презрения, а вместо всего этого какое-то не забывающее своего величия снисхождение. Это — как бы сказать — *idéal sublime du comme il faut*<sup>23</sup>. Но ни тени неуловимого, таинственного, туманного, мерцающего — словом, романтического; напротив, во всем такая отчетливая, ясная определенность, оконченность, такая строгая правильность и верность очертаний, и вместе с этим такое благородство, изящество кисти! Религиозное созерцание выразилось в этой картине только в лице божественного младенца, но созерцание, исключительно свойственное только католицизму того времени. В положении младенца, в протянутых к предстоящим (разумею зрителей картины) руках, в расширенных зрачках глаз его видны гнев и угроза, а в приподнятой нижней губе горделивое презрение. Это не бог прощения и милости, не искупительный агнец за грехи мира, — это бог судящий и карающий... Из этого видно, что и в фигуре младенца нет ничего романтического; напротив, его выражение так просто и определено, так уловимо, что сразу понимаешь отчетливо, что видишь. разве только в лицах ангелов, отличающихся необыкновенным выражением разумности и задумчиво созерцающих явление божества, можно найти что-нибудь романтическое<sup>24</sup>.

Всего естественнее искать так-называемого искусства — у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. Оттого искусство его ближе всякого другого к идеалу так-называемого чистого искусства. Но тем не менее красота в нем была больше существенною формою всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты. Стало быть, и самое греческое искусство только ближе других к идеалу абсолютного искусства, но нельзя назвать его абсолютным, т.-е. независимым от других сторон национальной жизни. Обыкновенно ссылаются на Шекспира и особенно на Гете, как на представителей свободного чистого искусства; но это — одно из самых неудачных указаний. Что Шекспир — величайший творческий гений, поэт по преимуществу, в этом нет никакого сомнения; но те плохо понимают его, кто из-за его поэзии не видит богатого содержания, неистощимого рудника уроков и факторов для психолога, философа, историка, государственного человека и т. д. Шекспир все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того, чтобы принадлежать одной поэзии. Вообще характер нового искусства — перевес важности содержания над важностью формы,

тогда как характер древнего искусства — равновесие содержания и формы. Ссылка на Гете еще неудачнее, нежели ссылка на Шекспира. Мы докажем это двумя примерами. В «Современнике» прошлого года напечатан был перевод гетевского романа «Wahlverwandschaften», о котором и на Руси было иногда толковано печатно; в Германии же он пользуется страшным почетом, о нем написаны там горы статей и целые книги. Не знаем, до какой степени понравился он русской публике, и даже понравился ли он ей: наше дело было познакомить ее с замечательным произведением великого поэта. Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей. В самом деле, тут многому можно удивиться! Девушка переписывает отчеты по управлению именем; герой романа замечает, что в ее копии, чем дальше, тем более почерк ее становится похож на его почерк. «Ты любишь меня!» — восклицает он, бросаясь ей на шею. Повторяем: такая черта не одной нашей, но и всякой другой публике не может не показаться странною. Но для немцев она несколько не странна, потому что это — черта немецкой жизни, верно схваченная. Таких черт в этом романе найдется довольно; многие сочтут, пожалуй, и весь роман не за что иное, как за такую черту... Не значит ли это, что роман Гете написан до того под влиянием немецкой общественности, что вне Германии он кажется чем-то странно необыкновенным<sup>25</sup>? Но «Фауст» Гете, конечно, везде — великое создание. На него в особенности любят указывать, как на образец чистого искусства, не подчиняющегося ничему, кроме собственных, одному ему свойственных законов. И однако ж — не в осуд будь сказано почтенным рыцарям чистого искусства — «Фауст» есть полное отражение всей жизни современного ему немецкого общества. В нем выразилось все философское движение Германии в конце прошлого и начале настоящего<sup>26</sup> столетия. Недаром последователи школы Гегеля цитовали беспрестанно в своих лекциях и философских трактатах стихи из «Фауста». Недаром также во второй части «Фауста» Гете беспрестанно впадал в аллегорию, часто темную и непонятную по отвлеченности идей. Где ж тут чистое искусство?

Мы видели, что и греческое искусство только ближе всякого другого к идеалу так-называемого чистого искусства, но не осуществляет его вполне; что же касается до новейшего искусства, оно всегда было далеко от этого идеала, а в настоящее время еще больше отдалилось от него; но это-то и составляет его силу. Собственно художественный интерес не мог не уступить места другим важнейшим для человечества интересам, и искусство благородно взялось служить им в качестве их органа. Но от этого оно несколько не перестало быть искусством, а только получило новый характер. Отнимать у искусства право служить общественным интересам — значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит — лишать его самой живой

силы, т.-е. мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкой праздных ленивцев. Это значит даже убивать его, чему доказательством может служить жалкое положение живописи нашего времени. Как будто не замечая кипящей вокруг него жизни, с закрытыми глазами на все живое, современное, действительное, это искусство ищет вдохновения в отжившем прошедшем, берет оттуда готовые идеалы, к которым люди давно уже охладели, которые никого уже не интересуют, не греют, ни в ком не пробуждают живого сочувствия.

Платон считал унижением, профанацией науки приложение геометрии к ремеслам. Это понятно в таком восторженном идеалисте и романтике, гражданине маленькой республики, где общественная жизнь была так проста и немногосложна; но в наше время она не имеет даже оригинальности милой нелепости. Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых все основано было на бесщадном дранье розгами и варварском обращении с детьми. Что ж тут дурного, спросим мы, если Диккенс действовал в этом случае как поэт? Разве от этого романы его хуже в эстетическом отношении? Здесь явное недоразумение: видят, что искусство и наука не одно и то же, а не видят, что их различие вовсе не в содержании, а только в способе обрабатывать данное содержание. Философ говорит силлогизмами, поэт — образами и картинами, а говорят оба они одно и то же. Политико-эконом, вооружаясь статистическими числами, *доказывает*, действуя на ум своих читателей или слушателей, что положение такого-то класса в обществе много улучшилось или много ухудшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт, вооружаясь живым и ярким изображением действительности, *показывает* в верной картине, действуя на фантазию своих читателей, что положение такого-то класса в обществе действительно много улучшилось или ухудшилось от таких-то и таких-то причин. Один доказывает, другой показывает, и оба *убеждают*, только один логическими доводами, другой — картинами. Но первого слушают и понимают немногие, другого — все. Высочайший и священнейший интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому благосостоянию — сознание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не может заменить искусство, ни искусство науки.

Дурное, ошибочное понимание истины не уничтожает самой истины. Если мы видим иногда людей, даже умных и благонамеренных, которые берутся за изложение общественных вопросов в поэтической форме, не имея от природы ни искры поэтического дарования, из этого вовсе не следует, что такие вопросы чужды искусству и губят его. Если бы эти люди взду-

мали служить чистому искусству, их падение было бы еще разительнее. Плох, например, был забытый теперь роман «Пан Подстолич», вышедший назад тому больше десяти лет и написанный с похвальной целию — представить картину состояния белорусских крестьян, но все же он не был совсем бесполезен, и хоть с страшною скукою, но прочли же его иные<sup>27</sup>. Конечно, автор лучше достиг бы своей благородной цели, если бы содержание своего романа изложил в форме записок или заметок наблюдателя, не пускаясь в поэзию; но, если бы он взялся написать роман чисто поэтический, он еще меньше достиг бы своей цели. Теперь многих увлекает волшебное словцо: «направление»; думают, что все дело в нем, и не понимают, что в сфере искусства, во-первых, никакое направление гроша не стоит без таланта, а, во-вторых, самое направление должно быть не в голове только, а прежде всего в сердце, в крови пишущего, прежде всего должно быть чувством, инстинктом, а потом уже, пожалуй, и сознательною мыслию, — что для него, этого направления, так же надобно родиться, как и для самого искусства. Идея вычитанная или услышанная и, пожалуй, понятая, как должно, но не проведенная через собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капитал не только для поэтической, но и всякой литературной деятельности. Как ни списывайте с природы, как ни одобряйте ваших списков готовыми идеями и благонамеренными «тенденциями», но, если у вас нет поэтического таланта, — списки ваши никому не напомнят своих оригиналов, а идеи и направления останутся общими риторическими местами<sup>28</sup>.

Теперь что-нибудь одно из двух: или картины некоторых сторон общественного быта, представляемые писателями натуральной школы, проникнуты истинною и верностию действительности, и в таком случае они порождены талантом, носят на себе отпечаток создания; или, если это наоборот, они не могут никого увлекать и убеждать, и в них никто не видит ни малейшего сходства с действительностию. Так и говорят о них противники этой школы; но тогда следует вопрос: отчего же, с одной стороны, эти произведения пользуются таким успехом у большинства читающей публики, а с другой — имеют способность так сильно раздражать противников натуральной школы? Ведь только золотая посредственность пользуется завидною привилегиею — никого не раздражать и не иметь врагов и противников?

Одни говорили, что натуральная школа клеветает на общество и унижает его умышленно; другие теперь прибавляют к этому, что она особенно виновата в этом отношении перед простым народом. Последнее обвинение выходит как-то противоречиво у хулителей натуральной школы: одни из них упрекают ее, с мещански-аристократической точки зрения, достойной прославленного Мольером г. Журдена<sup>29</sup>, за излишнюю симпа-

тию к людям простого звания, другие — за скрытую враждебность к ним. Мы уже имели случай обстоятельно и подробно возразить на это обвинение и доказать всю его неосновательность и неблагоприятность<sup>30</sup>, так что нового об этом сказать ничего не имеем, пока наши доброжелатели не выдумают чего-нибудь нового в подкрепление этого, делающего им особенную честь, обвинения. И потому скажем несколько слов о другом обвинении. Одни говорят (и очень справедливо на этот раз), что натуральная школа основана Гоголем; другие, отчасти соглашаясь с этим, прибавляют еще, что французская неистовая словесность (лет десять тому назад как уже скончавшаяся в мале) еще больше Гоголя имела участия в порождении натуральной школы. Подобное обвинение из рук вон нелепо: все факты решительно против него. Обращаясь к его родословной, можно сказать, что оно порождено или теми неблагоприятными причинами, о которых говорить запрещает приличие, или решительным непониманием литературного дела. Последнее еще вероятнее. Хотя эти господа и ратуют за искусство, но<sup>31</sup> это не мешает им не иметь о нем ни малейшего понятия. Какие произведения французской литературы причислены были у нас почему-то к неистовой школе? Первые романы Гюго (и в особенности его знаменитая «Notre Dame de Paris»), Сю, Дюма, «Мертвый осел и гильотинированная женщина» Жюль Жанена. Не так ли? Кто ж теперь их помнит, когда сами авторы их давно уже приняли новое направление? И что составляло главный характер этих произведений, не лишенных, впрочем, своего рода достоинств? — преувеличение, мелодрама, трескучие эффекты. Представителем такого направления у нас был только Марлинский, и влияние Гоголя положило решительный конец этому направлению. Что же у него общего с натуральной школою? Теперь даже и редких попыток нет на произведения с таким направлением, за исключением разве драм с испанскими страстями, восхищающих обычных посетителей Александринского театра. А если посредственность и бездарность пытаются иногда, и то очень редко, приобрести успех подражанием французским романам, то новейшим более нелепым и вздорным, нежели неистовым. К таким попыткам принадлежит недавно напечатанный в одном журнале роман «Спекуляторы», наполненный небывалыми злодеями, или, вернее сказать, негодьями, и невозможными похождениями, из которых однако ж выводится в конце чистейшая нравственность. Но натуральной школе что за дело до подобных произведений<sup>32</sup>? Они к ней не относятся ни с которой стороны.

Гораздо вернее всех этих обвинений тот факт, что в лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов, и через это сделалась и современною и русскою. С этого пути она, кажется, уже не сойдет,

потому что это прямой путь к самобытности, к освобождению от всяких чуждых и посторонних влияний. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что она всегда останется в том состоянии, как теперь; нет, она будет идти вперед, изменяться, но только никогда уже не перестанет быть верною действительности и натуре. Мы нисколько не обольщены ее успехами и вовсе не хотим преувеличивать их. Мы очень хорошо видим, что наша литература и теперь еще на пути стремления, а не достижения, что она только устанавливается, но еще не установилась. Весь успех ее заключается пока в том, что она нашла уже свою настоящую дорогу и больше не ищет ее, но с каждым годом более и более твердым шагом продолжает идти по ней. Теперь у ней нет главы<sup>33</sup>, ее деятели — таланты не первой степени, а, между тем, она имеет свой характер и уже без помочей идет по настоящей дороге, которую ясно видит сама. Здесь невольно приходят нам на память слова, сказанные редактором «Современника» в первой книжке этого журнала за прошлый год: «Взамен сильных талантов, недостающих нашей современной литературе, в ней, так-сказать, отстоялись и улетелись жизненные начала дальнейшего развития и деятельности. Она уже, как мы заметили выше, явление определенного рода; в ней есть сознание своей самостоятельности и своего значения. Она уже сила, организованная правильно, деятельная, живыми отпрысками переплетающаяся с разными общественными нуждами и интересами, не метеор, случайно залетевший из чуждой нам сферы на удивление толпы, не вспышка уединенной гениальной мысли, нечаянно проскользнувшая в умах и потрясшая их на минуту новым и неведомым ощущением. В области литературы нашей теперь нет мест особенно замечательных, но есть вся литература. Недавно она еще была похожа на пестрое пространство наших полей, только что освободившихся от ледяной земной коры: тут на холмах кое-где пробивается травка, в оврагах лежит еще почерневший снег, перемешанный с грязью. Теперь ее можно сравнить с теми же полями в весеннем убранстве: хотя зелень не блистает ярким колоритом, местами она очень бледна и не роскошна, но она уже стелется повсюду: прекрасное время года наступает»<sup>34</sup>.

Мы думаем, что в этом есть прогресс. . .

Справедливость выписанных нами слов сделается еще очевиднее, если обратить внимание и на другие стороны русской литературы нашего времени. Там увидим мы явление, соответствующее тому, которое в поэзии называется натурализмом, т.-е. то же стремление к действительности, реальности, истине, то же отвращение от фантазии и призраков. В науке отвлеченные теории, априорные построения, доверие к системам со дня на день теряют свой кредит и уступают место направлению практическому, основанному на знании фактов. Конечно, наука еще не пустила у нас глубоких корней, но и в ней уже заме-

тень поворот к самобытности, именно в той сфере, в которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки, — в сфере изучения русской истории. В ее событиях, до сих пор объяснявшихся под влиянием изучения западной истории, уже приводятся начала жизни, только ей свойственные, и русская история объясняется по-русски<sup>36</sup>. То же обращение к вопросам, имеющим более близкое отношение собственно к нашей, русской жизни, то же усилие разрешить их по-своему заметно и в изучении современного быта России. Чтобы доказать это, мы разберем все, что в прошлом году явилось замечательного в каком бы то ни было отношении. [Но этот разбор составит предмет особой большей статьи в следующей книжке «Современника».]<sup>36</sup>

## II

Значение романа и повести в настоящее время. — Замечательные романы и повести прошлого года и характеристика современных русских беллетристов: Искандер, Гончаров, Тургенев, Даль, Григорович, Дружинин. — Новое сочинение г. Достоевского «Хозяйка». — Путевые заметки, г-жи Т. Ч. — Рассказы о сибирских золотых промыслах, г. Небольсина. — Испанские письма, г. Боткина. — Замечательные ученые статьи прошлого года. — Замечательные критические статьи. — Г. Шевырев. — Полное собрание русских авторов, А. Смирдина.

Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии. В них заключилась вся изящная литература, так что всякое другое произведение кажется при них чем-то исключительным и случайным. Причины этого — в самой сущности романа и повести, как рода поэзии. В них лучше, удобнее, нежели в каком-нибудь другом роде поэзии, вымысел сливается с действительностию, художественное изобретение смешивается с простым, лишь бы верным, списыванием с природы. Роман и повесть, даже изображая самую обыкновенную и пошлую прозу житейского быта, могут быть представителями крайних пределов искусства, высшего творчества; с другой стороны, отражая в себе только избранные, высокие мгновения жизни, они могут быть лишены всякой поэзии, всякого искусства... Это самый широкий, всеобъемлющий род поэзии; в нем талант чувствует себя безгранично свободным. В нем соединяются все другие роды поэзии — и лирика, как изливание чувств автора по поводу описываемого им события, и драматизм, как более яркий и рельефный способ заставлять высказываться данные характеры. Отступления, рассуждения, дидактика, нетерпимые в других родах поэзии, в романе и повести могут иметь законное место. Роман и повесть дают полный простор писателю в отношении преобладающего свойства его таланта, характера,

вкуса, направления и т. д. Вот почему в последнее время так много романистов и повествователей. И потому же теперь самые пределы романа и повести раздвинулись: кроме «рассказа», давно уже существовавшего в литературе, как низший и более легкий вид повести, недавно получили в литературе право гражданства так-называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта. Наконец, самые мемуары, совершенно чуждые всякого вымысла, ценимые только по мере верной и точной передачи ими действительных событий, — самые мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее собою. Что же общего между вымыслами фантазии и строго историческим изображением того, что было на самом деле? Как что? — художественность изложения! Недаром же историков называют художниками. Кажется, что бы делать искусству (в смысле художества) там, где писатель связан источниками, фактами, и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание. В первой статье нашей мы уже говорили о том, что верно списывать с натуры так же нельзя без творческого таланта, как и создавать вымыслы, похожие на натуру. Сближение искусства с жизнью, вымысла — с действительностью в наш век особенно выразилось в историческом романе. Отсюда был только шаг до истинного воззрения на мемуары, в которых такую важную роль играют очерки характеров и лиц. Если очерки живы, увлекательны, значит — они не копии, не списки, всегда бледные, ничего не выражающие, а художественное воспроизведение лиц и событий. Так дорожат портретами Фан-Дейков, Тицианов и Веляскесов, вовсе не интересуясь знать, с кого были писаны эти портреты: ими дорожат, как картинами, как художественными произведениями. Такова сила искусства: лицо, ничем не замечательное само по себе, получает чрез искусство общее значение, для всех равно интересное, и на человека, который при жизни не обращал на себя ничьего внимания, смотрят века, по милости художника, давшего ему свою кистью новую жизнь! То же самое и в мемуарах, и в рассказах, и во всякого рода снимках с натуры. Тут степень достоинства произведения зависит от степени таланта писателя. И вы можете в книге любоваться человеком, с которым не захотели бы нигде встретиться, которого, может быть, всегда знали бы как самое пустое и скучное создание. Запоздалые эстетики утверждают, что «поэзия не должна быть живописью, потому что в живописи все дело в верном изображении предмета, схваченного в одном известном моменте». Но, если поэзия берется

изображать лица, характеры, события, — словом, картины жизни, само собою разумеется, что в таком случае она берет на себя ту же самую обязанность, что живопись, т.-е. быть верною действительности, которую взялась воспроизводить. И эта верность есть первое требование, первая задача поэзии. О поэтическом таланте автора тут должно судить прежде всего основываясь на том, до какой степени удовлетворяет он этому требованию, решает эту задачу. Если он не живописец: явный знак, что он и не поэт, что у него вовсе нет таланта. Но что поэзия не должна быть *только* живописью, это опять другое дело, и с этим нельзя не согласиться. В картинах поэта должна быть мысль, производимое ими впечатление должно действовать на ум читателя, должно давать то или другое направление его взгляду на известные стороны жизни. Для этого роман и повесть, с однородными им произведениями, самый удобный род поэзии. На его долю преимущественно досталось изображение картин общественности, поэтический анализ общественной жизни.

Прошлый 1847 год был особенно богат замечательными романами, повестями и рассказами. По огромному успеху в публике первое место между ними принадлежит, без всякого сомнения, двум романам: «Кто виноват?» и «Обыкновенная история»; почему мы и начнем с них наше обозрение изящной литературы за прошлый год.

Г. Искандер давно уже известен публике, как автор разных статей, отличающихся замечательным умом, талантом, остроумием, оригинальностью взгляда на предметы и оригинальностью выражения. Но, как романист, он талант новый, обративший на себя особенное внимание русской публики только с прошлого года. Правда, в «Отечественных Записках» были напечатаны два его опыта в искусстве рассказывать: «Записки одного молодого человека» (1840) и «Еще из записок одного молодого человека» (1841), в которых можно было предугадывать в авторе будущего даровитого романиста, судя по верности и живости этих легких очерков. Г. Гончаров, автор «Обыкновенной истории», — лицо совершенно новое в нашей литературе, но уже занявшее в ней одно из самых видных мест. Потому ли, что оба эти романа — «Кто виноват?» и «Обыкновенная история», появились почти в одно время и разделили между собой славу необыкновенного успеха, — о них не только говорят вместе, но еще и сравнивают их между собою, будто явления однородные. Один журнал, объявив недавно роман Искандера в высшей степени художественным произведением, изъявил свое недовольство романом г. Гончарова на том основании, что в последнем не нашел достоинств первого<sup>37</sup>. Мы тоже намерены, в разборе этих романов, ставить их вместе, но не для того, чтобы показать их сходство, которого между ними, как произведениями совершенно различными по

их сущности, нет и тени, а для того, чтобы самую их взаимную противоположностью вернее очертить особенность каждого из них и показать их достоинства и недостатки.

Видеть в авторе «Кто виноват?» необыкновенного художника — значит вовсе не понимать его таланта. Правда, он обладает замечательною способностью верно передавать явления действительности, очерки его определены и резки, картины его ярки и сразу бросаются в глаза. Но даже и эти самые качества доказывают, что главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанный и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера схватывать верно явления действительности — второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую — вторая окажется слишком несостоятельною для самобытной деятельности.

Подобный талант не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нет, такие таланты так же естественны, как и таланты чисто художественные. Их деятельность образует особенную сферу искусства, в которой фантазия является на втором месте, а ум — на первом. На это различие мало обращают внимания, и оттого в теории искусства выходит страшная путаница. Хотят видеть в искусстве своего рода умственный Китай, резко отделенный точными границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова. А, между тем, эти пограничные линии существуют больше предположительно, нежели действительно; по крайней мере их не укажешь пальцем, как на карте границы государств. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примиряющая обе стороны.

Поэт-художник — более живописец, нежели думают. Чувство формы — в этом вся натура его. Вечно соперничать с природою в способности творить — его высочайшее наслаждение. Схватить данный предмет во всей его истине, заставить его, так-сказать, дышать жизнью: вот в чем его сила, торжество, удовлетворение, гордость. Но поэзия выше живописи, пределы ее обширнее, нежели пределы всякого другого искусства. И потому поэт, разумеется, не может ограничиться одною живописью, — о чем мы, впрочем, уже говорили. Но какие бы ни были другие превосходные, возбуждающие восторг и удивление качества его творения, — все-таки главная сила его в поэтической живописи. Он обладает способностью быстро постигать все формы жизни, переноситься во всякой характер, во всякую личность, — и для этого ему нужны не опыт, не изучение, а достаточно иногда одного намека или одного быстрого взгляда. Два-три факта — и его фантазия воссталовляет целый отдельный, замкнутый в самом себе мир жизни со всеми его условиями и отношениями,

с свойственным ему колоритом и оттенками. Так Кювье наукою дошел до искусства по одной ископаемой кости восстанавливать умственно целый организм животного, которому она принадлежала. Но тут действовал гений, развитый и вспомоществуемый наукою; поэт же преимущественно опирается на свое чувство, свой поэтический инстинкт.

Другой разряд поэтов, о котором мы начали говорить, и к которому принадлежит автор романа «Кто виноват?», может изображать верно только те стороны жизни, которые особенно почему бы то ни было поразили их мысль и особенно знакомы им. Они не понимают наслаждения представить верно явление действительности для того только, чтобы верно представить его. У них неостанет ни охоты, ни терпения на такой, по их мнению, бесполезный труд. Для них важен не предмет, а смысл предмета, — и их вдохновение вспыхивает только для того, чтобы через верное представление предмета сделать в глазах всех очевидным и осязательным смысл его. У них, стало быть, определенная и ясно сознаваемая цель впереди всего, а поэзия — только средство к достижению этой цели. Поэтому доступный их таланту мир жизни определяется их задушевною мыслию, их взглядом на жизнь; это магический круг, из которого они не могут выйти безнаказанно, т.-е. не теряя вдруг способности изображать действительность поэтически верно. Отнимите у них эту одушевляющую их мысль, заставьте отказаться от их взгляда на предметы, — и у них нет больше и таланта; тогда как талант поэта-художника всегда с ним, пока вокруг него движется жизнь, *какая бы она ни была.*

Что составляет задушевную мысль Искандера, которая служит ему источником его вдохновения, возвышает его иногда в верном изображении явлений общественной жизни почти до художественности? — Мысль о достоинстве человеческом, которое унижается предрассудками, невежеством, и унижается то несправедливостью человека к своему ближнему, то собственным добровольным искажением самого себя. Герой всех романов и повестей Искандера, сколько бы ни написал он их, всегда был и будет один и тот же: это — человек, понятие общее, родовое, во всей обширности этого слова, во всей святости его значения. Искандер — по преимуществу поэт *гуманности*. Поэтому в его романе бездна лиц, большею частью мастерски очерченных, но нет героя, нет героини. В первой части, заинтересовав нас четою Негровых, он выводит нам героями романа Круциферского и Любоньку. В эпизоде, написанном для связи обеих частей, героем является Бельтов; но мать Бельтова и его гувернер-женевец едва ли не больше, нежели он сам, интересуют собою читателя. Во второй части героями являются Бельтов и Круциферская, и в ней только раскрывается вполне основная мысль романа, являющаяся сначала так загадочною в его названии: «Кто виноват?». Но мы должны признаться, что

эта-то мысль всего менее и интересует нас в романе, так же как Бельтов, герой романа, кажется нам самым неудачным лицом во всем романе. Когда Круциферский сделался женихом Любоньки, доктор Крупов сказал ему: «Не пара тебе эта невеста, уж что хочешь, — эти глаза, этот цвет лица, этот трепет, который иногда пробегает по ее лицу, — она тигренок, который еще не знает своей силы, а ты, да что ты? ты невеста; ты, братец, немка; ты будешь жена — ну, годно ли это?» В этих словах лежит завязка романа, который, по намерению автора, должен был только начаться свадьбою вместо того, чтобы кончиться ею. Автор, познакомивши нас с Бельтовым, ведет нас в мирное убежище молодой четы, уже четыре года наслаждающейся тихим семейным счастьем; — но, помня мрачное предсказание оракула в лице скептического доктора, читатель невольно ждет, что в самой картине семейного счастья Круциферских автор покажет ему зародыш и начало будущих бед. Круциферский действительно не женился, а вышел замуж. Его жена была слишком выше его, следовательно, слишком не по нем. Естественно, что он был вполне счастлив ею; но не естественно, чтоб она была спокойно счастлива, не видела тревожных снов, не задумывалась наяву. Она могла уважать и даже любить своего мужа, как существо младенчески чистое и благородное, которое, сверх того, вырвало ее из ада родительского дома; но такая ли любовь могла удовлетворить такую женщину, наполнить те потребности, те стремления ее натуры, которые тем мучительнее, чем неопределеннее и бессознательнее? Знакомство с Бельтовым, скоро превратившееся в любовь, должно было только открыть ей глаза на ее положение, пробудить в ней сознание того, что она не могла быть счастлива с таким человеком, как Круциферский. Но этого автор не сделал.

Мысль была прекрасная, исполненная глубокого трагического значения. Она-то и увлекла большинство читателей и помешала им заметить, что вся история трагической любви Бельтова и Круциферской рассказана умно, очень умно, даже ловко, но зато уж нисколько не художественно. Тут мастерской рассказ, но нет и следа живой поэтической картины. Мысль спасла и вынесла автора: умом он верно понял положение своих героев, но передал его только как умный человек, хорошо понявший дело, но не как поэт. Так иногда даровитый актер, взявшийся за роль, которая вовсе не в его средствах и таланте, все-таки не портит ее, но умно и ловко выполняет ее, вместо того, чтобы сыграть. Мысль роли не потеряна, а трагический смысл пьесы дополняет недостаток в выполнении главной роли, — и зритель не вдруг догадывается, что он был только увлечен, а совсем не удовлетворен.

Это доказывается, между прочим, и тем, что во второй части романа характер Бельтова произвольно изменен автором. Сперва это был человек, жаждавший полезной деятельности и

ни в чем не находивший ее, по причине ложного воспитания, которое дал ему благородный женеvский мечтатель. Бельтов знал многое и обо всем имел общие понятия, но совершенно не знал той общественной среды, в которой одной мог бы действовать с пользою. Все это не только сказано, но и показано автором мастерски. Мы думаем, что при этом автор мог бы еще указать слегка и на натуру своего героя, нисколько не практическую и, кроме воспитания, порядочно испорченную еще и богатством. Тому, кто родился богатым, надо получить от природы особенное призвание к какой бы то ни было деятельности, чтобы не праздно жить на свете и не скучать от бездействия. Этого-то призвания и незаметно вовсе в натуре Бельтова. натура его была чрезвычайно богата и многосторонняя, но в этом богатстве и многосторонности ничто не имело прочного корня. У него много ума, но ума созерцательного, теоретического, который не столько углублялся в предметы, сколько скользил по ним. Он способен был понимать многое, почти все, но эта-то многосторонность сочувствия и понимания и мешает таким людям сосредоточить все свои силы на одном предмете, устремить на него всю свою волю. Такие люди вечно порываются к деятельности, пытаясь найти свою дорогу, и, разумеется, не находят ее.

Таким образом, Бельтов осужден был томиться никогда не удовлетворяемою жаждою деятельности и тоскою бездействия. Автор мастерски передал нам его неудачные попытки служить, потом сделаться врачом, артистом. Если нельзя сказать, что он вполне очертил и разъяснил этот характер, — все же это у него лицо, хорошо очерченное, понятное и естественное. Но в последней части романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то вышею, гениальною натурою, для деятельности которой действительность не представляет достойного поприща... Это уже совсем не тот человек, с которым мы так хорошо познакомились прежде; это уже не Бельтов, а что-то в роде Печорина. Разумеется, прежний Бельтов был гораздо лучше, как всякий человек, играющий свою собственную роль. Сходство с Печориным для него крайне невыгодно. Не понимаем, зачем автору нужно было с своей дороги сойти на чужую!.. Неужели этим он хотел поднять Бельтова до Круциферской? Напрасно! для нее он был бы так же интересен и в прежнем своем виде; и тогда он стал бы подле бедного Круциферского настоящим колоссом подле карлика. Он был человек взрослый, совершеннолетний, мужчина, по крайней мере по уму и взгляду на жизнь; а Круциферский, с его благородными мечтами, вместо настоящего понимания людей и жизни, и подле прежнего Бельтова все казался бы ребенком, которого развитие задержано какою-нибудь болезнью.

Круциферская, в свою очередь, является гораздо интереснее в первой части романа, нежели в последней. Нельзя сказать,

чтобы и там ее характер был резко очерчен; но зато резко было очерчено ее положение в доме Негрова. Там она хороша молча, без слов, без действий. Читатель угадывает ее, хотя не слышит от нее почти ни слова. Автор в обрисовке ее положения обнаружил необыкновенное мастерство. Только в отрывках из ее дневника она у него высказывается сама. Но мы не совсем довольны этой исповедью. Кроме того, что манера знакомить читателей с героинями романов через их записки — манера старая, избитая и фальшивая, — записки Любоньки немножко отзываются подделкою: по крайней мере не всякой поверит, что их писала женщина... Очевидно, что и тут автор вышел из сферы своего таланта. То же скажем мы и об отрывках Круциферской в конце романа. В том и другом случае автор ловко отделался от задачи, которая была ему не по силам, но не больше. Вообще, сделавшись Круциферскою, Любонька перестала быть характером, лицом и превратилась в мастерски, умно развитую мысль. Она и Бельтов — два единственные лица, с которыми автор не совладел, как следует. Но и в них нельзя не удивляться его ловкости и искусству поддержать интерес до конца и поразить, растрогать большинство читателей там, где с его талантом, но без его ума и верного взгляда на предметы всякой другой только насмешил бы.

Итак, не в картине трагической любви Бельтова и Круциферской надо искать достоинств романа Искандера. Мы видели, что это вовсе не картина, а мастерски изложенное следственное дело. Вообще, «Кто виноват?» — собственно не роман, а ряд биографий, мастерски написанных и ловко связанных внешним образом в одно целое именно тою мыслию, которой автору не удалось развить поэтически. Но в этих биографиях есть и внутренняя связь, хотя и без всякого отношения к трагической любви Бельтова и Круциферской. Это — мысль, которая глубоко легла в их основание, дала жизнь и душу каждой черте, каждому слову рассказа, сообщила ему эту убедительность и увлекательность, которая равно неотразимо действует на читателей симпатизирующих и несимпатизирующих с автором, образованных и необразованных. Мысль эта является у автора как чувство, как страсть; словом, из его романа видно, что она столько же составляет пафос его жизни, как и его романа. О чем бы он ни говорил, чем бы ни увлекался<sup>38</sup> в отступление, он никогда не забывает ее, беспрестанно возвращается к ней, она как будто невольно сама высказывается у него. Эта мысль срослась с его талантом; в ней его сила; если б он мог охладеть к ней, отречься от нее, — он бы вдруг лишился своего таланта. Какая же это мысль? Это — страдание, болезнь при виде непризнанного человеческого достоинства, оскорбляемого с умыслом и еще больше без умысла; это то, что немцы называют *гуманностию* (Humanität)<sup>39</sup>. Те, кому покажется непонятною мысль, заключающаяся в этом слове,

в сочинениях Искандера найдут самое лучшее ее объяснение. О самом же слове скажем, что немцы сделали его из латинского слова *humanus*, что значит человеческий. Здесь оно берется в противоположность слову «животный». Когда человек поступает с людьми, как следует человеку поступать с своими ближними, братьями по естеству, он поступает гуманно; в противном случае он поступает, как прилично животному. Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием. Человек, воспитывающий бедного сироту не по расчету, не из хвастовства, а по желанию сделать добро, — воспитывающий его, как родного сына, но вместе с этим дающий ему чувствовать, что он его благодетель, что он на него тратится и пр. и пр., такой человек, конечно, заслуживает название доброго, нравственного и человеколюбивого, но отнюдь не гуманного. У него много чувства, любви, но они не развиты в нем сознанием, покрыты грубою корою. Его грубый ум и не подозревает, что в натуре человеческой есть струны тонкие и нежные, с которыми надобно обращаться бережно, чтобы не сделать человека несчастным при всех внешних условиях счастья, или чтобы не огрубить, не опозилить человека, который при более гуманном с ним обращении мог бы сделаться порядочным. А, между тем, сколько на свете таких благодетелей, которые мучат, а иногда и губят тех, на кого изливаются их благодеяния, без всякого дурного умысла, иногда горячо любя их, смиренно<sup>40</sup> желая им всякого добра, — и потом добродушно удивляются тому, что вместо привязанности и уважения им заплачено холодностию, равнодушием, неблагодарностию, даже ненавистию и враждою, или что из их воспитанников вышли негодяи, тогда как они им дали самое нравственное воспитание. Сколько есть отцов и матерей, которые действительно по-своему любят своих детей, но считают священной обязанностью беспрестанно твердить им, что они обязаны своим родителям и жизнью, и одеждой, и воспитанием! Эти несчастные и не догадываются, что они сами лишают себя детей, заменяя их какими-то приемышами, сиротами, которых они взяли из чувства благодетельности<sup>41</sup>. Они спокойно дремлют на моральном правиле, что дети должны любить своих родителей, и потом, в старости, со вздохом повторяют избитую сентенцию, что от детей-де нечего ожидать, кроме неблагодарности. Даже этот страшный опыт не снимает толстой ледяной коры с их оцепенелых умов и не заставляет их, наконец, понять, что сердце человеческое действует по своим собственным законам и никаких других признавать не хочет и не может, что любовь по долгу и по обязанности есть чувство противное человеческой природе, сверхъестественное, фантастическое, невозможное и небывалое, что любовь дается только любви, что любви нельзя требовать, как чего-то следующего нам по праву, но всякую любовь надо приобрести, заслужить от кого бы то

ни было, все равно — от высшего или от низшего нас, сыну ли от отца, или отцу от сына. Посмотрите на детей: часто случается, что дитя очень равнодушно смотрит на свою мать, хотя она и кормит его своею грудью, и подымает страшный рев, если, проснувшись, не увидит тотчас же своей няни, которую оно привыкло видеть при себе безотлучно. Видите ли: ребенок — это полное и совершенное выражение природы — дарит своей любовью того, кто доказывает ему любовь свою на самом деле, кто отказался для него от всех удовольствий, словно железною цепью приковал себя к его жалкому и слабому существованию.

Гуманность нисколько не находится в противоречии с уважением к высоким общественным положениям и рангам; но она находится в решительном противоречии с презрением к кому бы то ни было, кроме негодяев и подлецов. Она охотно признает общественное первенство людей; но только смотрит на него не с одной внешней, но более с внутренней стороны. Гуманность не только не обязывает — человека низшего сословия с грубыми манерами, привычками осыпая непривычными ему вежливостями, но даже запрещает это, потому что такое обращение поставило бы его в неловкое положение, заставило бы подозревать в нем насмешку или дурной умысел. Гуманный человек обойдется с низшим себя и грубо развитым человеком с тою вежливостью, которая тому не может показаться странною или дикою, но он не допустит его унижать перед ним свое человеческое достоинство, — не позволит ему кланяться себе в ноги, не станет называть его Ванькой или Ванюхою и тому подобными именами, похожими на собачьи клички, не будет легонько трясти его за бороду, в знак своего милостивого к нему расположения, чтобы тот, подло ухмыляясь, говорил ему с подбострастием: «за что изволите жаловать?..» Чувство гуманности оскорбляется, когда люди не уважают в других человеческого достоинства, и еще более оскорбляется и страдает, когда человек сам в себе не уважает собственного достоинства.

Вот это-то чувство гуманности и составляет, так-сказать, душу творений Искандера. Он ее проповедник, адвокат. Выводимые им на сцену лица — люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучат и преследуют самих себя и других чаще с хорошими, нежели с дурными намерениями, больше по невежеству, нежели по злости. Даже те из его лиц, которые отталкивают от себя низостию чувств и гадостию поступков, представляются автором больше как жертвы их собственного невежества и той среды, в которой они живут, нежели их злой природы. Он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством, как действия разумные и нравственные. Злодеев у него мало: в трех повестях, доселе напечатанных, только в одной «Сороке-воровке»

выведен злодей, да и то такой, которого и теперь многие готовы счесть за самого добродетельного и нравственного человека. Главное орудие Искандера, которым он владеет с таким удивительным мастерством, — ирония, нередко возвышающаяся до сарказма, но чаще обнаруживающаяся легкою грациозною и необыкновенно добродушною шуткою: вспомните доброго почтмейстера, который два раза чуть не убил Бельтова, сначала горем, потом радостью, и так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что «нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силу упрекнуть его за эту шутку<sup>42</sup>, и которое бы не предложило ему закусить». А, между тем и в этой черте, нисколько не возмутительной, а только забавной, автор остается верным своей заветной идее. Все, что касается этой идеи в романе «Кто виноват?» — все это отличается верностию действительности, мастерством изложения, которое выше всяких похвал. Здесь, а не в любви Бельтова и Круциферской, блестящая сторона романа и торжество таланта автора. Мы сказали выше, что роман этот — ряд биографий, связанных между собою одною мыслию, но бесконечно разнообразных, глубоко правдивых и богатых философским значением. Здесь автор вполне в своей сфере. Что лучшего в той самой части романа, которая вся посвящена трагической любви Бельтова и Круциферской, как не биография почтеннейшего Карпа Кондратьича, бойкой супруги его Марьи Степановны и бедной дочери их Варвары Карповны, по-домашнему Вавы, — биография, вошедшая сюда эпизодом? Когда интересны в романе Круциферский и Любонька? тогда, как они живут в доме Негровых и страдают от всего их окружающего. Такие положения сподручны автору, и он необыкновенный мастер рисовать их. Когда интересен сам Бельтов? когда мы читаем историю его превратного и ложного воспитания и потом историю его неудачных попыток найти свою дорогу в жизни. Это также входит в сферу таланта автора. Он — философ по преимуществу, а, между тем, немножко и поэт, и воспользовался этим, чтобы изложить свои понятия о жизни притчами. Это всего лучше доказывается его превосходным рассказом: «Из сочинения доктора Крупова — о душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенности». В нем автор ни одною чертою, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и оттого здесь его талант в большей определенности, нежели в других его сочинениях. Мысль его та же, но она приняла здесь исключительно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, для других грустной и мучительной, и только в изображении косоного Левки — фигуры, которая бы сделала честь любому художнику, — автор говорит серьезно. По мысли и по выполнению это решительно лучшее произведение прошлого года, хотя оно и не произвело на публику особенного впечатления. Но публика права в этом случае: в романе «Кто вино-

ват?» и в некоторых произведениях других писателей она нашла больше ближайших к ней и потому нужнейших и полезнейших ей истин, а, между тем, в последнем произведении тот же дух, то же содержание, что и в первом. Вообще упрекнуть автора в односторонности значило бы вовсе не понять его. Он может изображать верно только мир, подлежащий ведомаству его задушевной мысли; его мастерские очерки основаны на врожденной наблюдательности и на изучении известной стороны действительности. Натура восприимчивая и впечатлительная, автор сохранил в памяти своей многие образы, поразившие его еще в детстве. Легко понять, что выводимые им лица не суть чистые создания фантазии, это скорее мастерски обделанные, а иногда и вовсе переделанные материалы, целиком взятые из действительности. Ведь мы сказали, что автор больше философ и только немножко поэт<sup>43</sup>...

Совершенную противоположность составляет с ним в этом отношении автор «Обыкновенной истории». Он поэт, художник и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю; он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона. Из всех нынешних писателей он один, только он один приближается к идеалу чистого искусства, тогда как все другие отошли от него на неизмеримое пространство — и тем самым успевают. Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у г. Гончарова нет ничего, кроме таланта: он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт-художник. Талант его не первостепенный, но сильный, замечательный. К особенностям его таланта принадлежит необыкновенное мастерство рисовать женские характеры. Он никогда не повторяет себя, ни одна его женщина не напоминает собою другой, и все, как портреты, превосходны. Что общего между грубой и злой, но по-своему способной к нежным чувствам Аграфеной и между светской женщиной, мечтательной и с расстроенными нервами? И каждая из них в своем роде мастерское, художественное произведение. Мать молодого Адуева и мать Наденьки — обе старухи, обе очень добры, они очень любят своих детей, и обе равно вредны своим детям; наконец, обе глупы и пошлы. А, между тем, это два лица совершенно различные: одна — барыня провинциальная, старого века, ничего не читает и ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства: словом, добрая внучка злой госпожи Простаковой; другая — барыня столичная, которая читает французские книжки, ничего не понимает, кроме мелочей хозяйства: словом, добрая правнучка злой госпожи Простаковой. В изображении таких плоских и пошлых лиц, лишенных всякой самостоятельности и оригинальности, иногда всего лучше выказывается талант, потому что всего труднее обозначить их

чем-нибудь особенным. Что общего между этою живою, ветреною, своенравною и немножко лукавою Наденькою и тою спокойною по наружности, но пожираемою внутренним огнем Лизою? Тетка героя романа — лицо вводное, мимоходом очерченное, но какое прекрасное женское лицо! Как хороша она в сцене, оканчивающей первую часть романа! Мы не будем распространяться насчет мастерства, с каким обрисованы мужские характеры: о женских мы не могли не заметить, потому что до сих пор они редко удавались у нас даже первостепенным талантам; у наших писателей жепщина — или приторно сантиментальное существо, или семинарист в юбке, с книжными фразами. Женщины г. Гончарова живые, верные действительности создания. Это новость в нашей литературе.

Обратимся к двум главным мужским лицам романа — молодому Адуеву и его дяде Петру Иванычу: о последнем нельзя не сказать хотя несколько слов, говоря о первом, потому что он противоположностью своею еще более оттеняет героя романа. Говорят, тип молодого Адуева — устарелый; говорят, что такие характеры уже не существуют на Руси. Нет, не перевелись и не переведутся никогда такие характеры, потому что их производят не всегда обстоятельства жизни, но иногда сама природа. Родоначальник их на Руси — Владимир Ленский, по прямой линии происходящий от гетевского Вертера. Пушкин первый заметил существование в нашем обществе таких натур и указал на них. С течением времени они будут изменяться, но сущность их всегда будет та же самая... Молодой Адуев, приехав в Петербург, мечтает, с какою радостью обнимет своего обожаемого дядю и в каком восторге будет от него дядя. Он останавливается в трактире — и боится, что дядя осердится на него, зачем он не приехал прямо к нему. Холодный прием дяди рассеивает его провинциальные мечты. До сих пор молодой Адуев является больше провинциалом, нежели романтиком. Он даже неприятно был поражен тем, что дядя назвал дураком Заезжалова и дурою деревенскую тетку с ее желтым цветком, приславших к нему преглупейшие письма. Провинциалы часто бывают очень смешны в своих отношениях к своим родным и знакомым. В маленьких городках жизнь однообразна, узка, мелка, все друг друга знают, и если не враждуют между собою, то непременно пребывают в нежнейшей дружбе: средних отношений почти нет. И вот из городка отправляется искать счастья в столицу молодой человек; все им интересуются, провожают его, желают ему всякого счастья, просят не забывать. Он уже сделался в столице пожилым человеком, родной городок его представляется ему каким-то смутным видением; под влиянием новых впечатлений, новых знакомств, отношений, интересов он давно перезабыл и имена и лица людей, которых так коротко знал в детстве, и помнит только о самых близких к нему, да и то они представляются

ему в том виде, как он их оставил, а ведь они с тех пор переменялись же. По их письмам он видит, что у него с ними нет ничего общего; отвечая им, он подделывается под их тон, под их понятия; удивительно ли, что он пишет к ним реже и реже, наконец <sup>44</sup> и совсем перестает писать <sup>45</sup>. Мысль о приезде в столицу родственника или знакомого пугает его столько же, как жителей пограничного города во время войны пугает мысль, что неприятель пойдет их дорогою. В столице не понимают заочной любви; здесь думают, что любовь, дружба, приязнь, знакомство поддерживаются личными отношениями, а разлукой и отсутствием охлаждаются и уничтожаются. В провинции думают совсем наоборот; вследствие однообразия жизни, там удивительно развита склонность к любви и дружбе. Там рады всякому; мешать друг другу, не давать покою — там считается священнейшею обязанностью. Если кому-нибудь перестанут надоедать родственники и знакомые, он сочтет себя самым несчастным, наиболее обиженным человеком в мире. Когда к провинциалу, живущему в маленьком городке, вдруг наезжает орда родственников и обращает его маленький домик в бочонок, набитый сельдями, он, по наружности, не знает, как и радоваться; с веселым лицом бегаёт, суетится, угощает всю эту толпу, а внутренне от всей души прокликает ее. А, между тем, попробуй-ка эти люди в другой раз остановиться не у него: он никогда им не простит этого. Такова уж патриархальная логика провинции! И с такой-то логикой приезжает иногда провинциал в столицу по делам со всем семейством своим. В столице у него есть родственник, который лет уж двадцать как выехал из своего местечка и давным-давно перезабыл всех своих родных и знакомых. Наш провинциал летит к нему с распростертыми объятиями, с милыми детьми, которых надо разместить по учебным заведениям, и обожаемою супругою, которая приехала полюбоваться на столичные магазины мод. Раздаются ахи, охи, крик, писк, визг. «А мы прямо к вам, мы не смели остановиться в трактире!» Столичный родственник бледнеет, не знает, что делать, что сказать; он похож на жителя города, взятого неприятелем, к которому в дом ворвалась толпа предавшихся грабежу неприятельских солдат. А, между тем, ему уже подробно изъяснено, как его любят, как его помнят, как о нем беспрестанно говорят и как на него надеются, как уверены, что он непременно поможет определить Костеньку, Петеньку, Феденьку, Митеньку по корпусам, а Машеньку, Сашеньку, Любочку и Танечку в институт. Столичный родственник видит, что от одной минуты зависит его гибель, или спасение, собирается с духом и с холодною вежливостью объясняет неприятельскому отряду, что он никак не может принять их к себе <sup>46</sup>, что его квартира тесновата и для его собственного семейства, что в корпуса и институты дети принимаются по экзамену и по узаконенному порядку, что

тут не поможет никакая протекция, если нет вакантных мест, или если дети старше или моложе приемных лет, или не выдержат экзамена, а тем более протекция такого незначительного человека, как он, который, сверх того, служит совсем по другому ведомству и незнаком ни с кем из начальников учебных заведений. Разочарованные провинциалы удаляются в бешенстве, вопиют против столичного эгоизма и развращения и говорят о своем родственнике, как о чудовище. А, между тем, это, может быть, очень порядочный человек; вся вина его в том, что он не захотел обратить своей квартиры в безобразный табор, лишить себя всякого приюта в собственном доме, всякой возможности заниматься делами службы в тиши своего кабинета, принимать у себя по вечерам людей, или близких ему, или полезных и необходимых ему по службе, и таким образом стеснить себя, подвергнуть себя тяжким лишениям для людей, совершенно чуждых ему, с которыми бы он не захотел вести [и] обыкновенного знакомства. А, между тем, и эти провинциалы по-своему люди добрые и даже неглупые; вся вина их в том, что, отправляясь в столицу, они уверены найти в ней, за исключением огромности, великолепия и модных магазинов, свой городок с теми же нравами, обычаями и понятиями. Они по-своему любят роскошь и великолепие, хотя и без вкусу, при средствах готовы изукрасить всячески свою залу и гостиную; о кабинете не имеют и понятия и не знают, зачем он; спальня и детская у них всегда самые грязные комнаты; им ничего не стоит потесниться и пожалеться, понятие о комфорте не существует для них, они привыкли к тесноте, любят ее по пословице: в тесноте люди живут, да и жилым крепче пахнет. Они всякому рады и, по словам Петра Ивановича, хоть ночью ужин состряпают. По замечанию его племянника, эта черта составляет добродетель русских, с чем Петр Иваныч решительно не согласен. «Какая тут добродетель — говорит он. — От скуки там всякому мерзавцу рады; милости просим, кушай, сколько хочешь, только займи как-нибудь нашу праздность, помоги убить время, да дай взглянуть на тебя: все-таки что-нибудь новое; а кушанья не пожалеем: это нам здесь ровно ничего не стоит... Препротивная добродетель!» Петр Иваныч выразился немножко жестко, но не совсем несправедливо. Действительно, радушие и гостеприимство провинциальное больше всего основывается на бездействии, праздности, скуке, привычке. Силу столичных людей они измеряют не местом, не связями, не влиянием, а чином, и от души уверены, что, если кто действительный статский советник, так уж непременно всемогущая особа, которой стоит только сказать слово, чтобы сейчас решили в вашу пользу процесс, тянувшийся пятьдесят лет, приняли ваших детей в учебное заведение, дали вам выгодное место, чин и орден. Откажите им в какой-нибудь просьбе, при всем вашем желании исполнить ее, но по не-

возможности выполнить, — и вот вы самый безнравственный человек в мире, вы зазнались, подняли нос, презираете провинциалами. А у них первая добродетель — ни перед кем не зазнаваться, не отказываться ни от чьего знакомства и быть готовым к услугам всех и каждого. Правда, нигде нет такого важничанья, ломанья, счета старшинством, чинами, званием, но этот порок, опасный для общего мира и согласия, смягчается там добродетельною готовностью съезжиться в присутствии человека, который хотя одним чином выше, и в то же самое время не уронить своего достоинства перед тем, кто чином ниже. Впрочем, эта добродетель процветает и в столице, хотя и в более тонких формах. Но в провинции это делается с истинно-аркадскою наивностию. «Э, братец (говорит богатый помещик или важный чиновник бедному помещику или чиновнику), ты меня вовсе забыл, аль недоволен мной, или плохо кормлю; кажется, у меня для тебя всегда есть плошка за столом, шут ты гороховый!» Бедняк слегка конфузится, бормочет извинения, держась перед своим патроном в почтительной позе; но в глазах его сияет удовольствие: он знает, где гнев, тут и милость, и что в иной брани больше любви, чем в иной ласке. «Ну, да хорошо, бог тебя простит, теперь пойдем-ка хлеба-соли откусать, обед готов». И оба довольны — один, что выполнил в точности законы патриархального гостеприимства и обласкал бедного человека; другой — что хорошо принят и обласкан такую важную в его глазах персоною. И этот бедняк всегда предпочтет обществу совершенно равных ему людей не только общество аристократов его захолустья, но и общество низших его людей, потому что он тогда только и чувствует свое достоинство, когда унижается перед высшим и ломается перед низшим. Конечно, это<sup>47</sup> отнюдь не может относиться ко всем провинциалам; везде есть люди образованные, умные и достойные, но они везде в меньшинстве, а мы говорим о большинстве. Непосредственное влияние окружающей человека среды так на него сильно, что лучшие из провинциалов бывают не чужды провинциальных предрассудков, и на первый раз теряются, приехавши в столицу. Тут все дико им, все не так, как у них. Там жизнь простая, нараспашку; ходят друг к другу во всякое время без доклада. Приходит сосед к соседу; в прихожей или нет никого, или спит на грязном залавке небритый лакей или оборванный мальчишка, а спит он потому, что ему нечего делать, хотя окружающая его грязь и вонь могли бы дать ему работы дня на два. И вот гость входит в залу — нет никого, в гостиную — тоже никого, он в спальню — и вдруг там раздается визгливое «ах»; гость говорит в приятном замешательстве: «извините-с», медленно пятится в гостиную, к нему кто-нибудь выбегает, изъявляет свой восторг от его посещения, и оба смеются над забавным приключением. А здесь, в столице, все назаперти, везде колокольчики, везде

неизбежное: «как прикажете доложить?» а потом — то дома нет, то нездоров, то просят извинить — заняты, а когда примут, то, конечно, вежливо, но зато как равнодушно, холодно, никакого радушия, ни позавтракать, ни пообедать не пригласят...

Но обратимся к герою «Обыкновенной истории». В нем есть чувство деликатности и приличия; хотя он и был уверен, что дядя примет его с восторгом и поместит у себя в квартире, однако какое-то темное чувство заставило его остановиться в трактире. Если б он сделал хорошую привычку рассуждать о том, что всего ближе к нему, он пораздумался бы о темном чувстве, которое заставило его въехать в трактир, а не прямо на квартиру дяди, и скоро понял бы, что нет никаких причин ожидать от дяди другого приема, кроме как разве равнодушно-ласкового, и что нет у него никаких прав на жительство у него в квартире. Но, к несчастью, он привык рассуждать только о любви, дружбе и других высоких и далеких предметах, и потому явился к дяде провинциалом с ног до головы. Исполненные ума и здравого смысла слова дяди ничего не растолковали ему, а только произвели на него тяжелое, грустное<sup>48</sup> впечатление и заставили его романтически страдать. Он был трижды романтик — по натуре, по воспитанию и по обстоятельствам жизни, между тем как и одной из этих причин достаточно, чтоб сбить с толку порядочного человека и заставить его наделать тьму глупостей. Некоторые находят, что он с своими вещественными знаками невещественных отношений и другими чересчур ребяческими выходками не совсем вероятен, особенно в наше время. Не спорим, может быть, в этом замечании и есть доля правды; да дело-то в том, что полное изображение характера молодого Адуева надо искать не здесь, а в его любовных похождениях. В них он весь, в них он представитель множества людей, похожих на него, как две капли воды, и действительно обретающихся в здешнем мире. Скажем несколько слов об этой не новой, но все еще интересной породе, к которой принадлежит этот романтический зверек.

Это порода людей, которых природа с избытком наделяет нервическою чувствительностью, часто доходящею до болезненной раздражительности (*susceptibilité*). Они рано обнаруживают тонкое понимание неопределенных ощущений и чувств, любят следить за ними, наблюдать их и называют это — наслаждаться внутренней жизнью. Поэтому они очень мечтательны и любят или уединение, или круг избранных друзей, с которыми бы они могли говорить о своих ощущениях, чувствах и мыслях, хотя мыслей у них так же мало, как много ощущений и чувств. Вообще они богато одарены от природы душевными способностями, но деятельность их способностей чисто страдательная; иные из них много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать, производить; он немножко музыкант, немножко живописец, немножко поэт, даже при

нужде немножко критик и литератор, но все эти таланты у него таковы, что он не может ими приобрести не только славы или известности, но даже вырабатывать посредственное содержание. Изю всех умственных способностей в них<sup>49</sup> сильно развиваются воображение и фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению действительными благами жизни. Это они называют жить высшею жизнью, недоступною для презренной толпы, парить горю, тогда как презренная толпа пресмыкается долу. От природы они очень добры, симпатичны, способны к великодушным движениям, но как фантазия в них преобладает над рассудком и сердцем, то они скоро доходят до сознательного презрения к «пошлomu здравому смыслу — этому, по их мнению, достоинству людей материальных, грубых и ничтожных, для которых не существует высокого и прекрасного»; сердце их, беспрестанно насилуемое в его инстинктах и стремлениях их волею, под управлением фантазии, скоро скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замечая, а, напротив того, будучи добросовестно убеждены, что они самые любящие и самоотверженные люди. Так как в детстве они удивляли всех ранним и быстрым развитием своих способностей и оказывали, сколько своими достоинствами, столько же и недостатками, сильное влияние над своими сверстниками, из которых иные были гораздо выше их, — естественно, что они были захвалены с ранних лет, и сами о себе возымели высокое понятие. Природа и без того отпустила им самолюбия гораздо больше, нежели сколько нужно его для экилибра человеческой жизни, удивительно ли, что легкие и мало заслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной степени? Но самолюбие в них бывает всегда так замаскировано, что они добросовестно не подозревают его в себе, искренно принимают его за гениальное стремление к славе, ко всему великому, высокому и прекрасному. Они долго бывают помешаны на трех заветных идеях: это — слава, дружба и любовь. Все остальное для них не существует; это, по их мнению, достояние презренной толпы. Все роды славы для них равно обольстительны, и сначала они долго колеблются, какой избрать путь для достижения славы. Им и в голову не приходит, что кто считает себя равно способным ко всем поприщам славы, тот не способен ни к какому, — что самые великие люди узнавали о своей гениальности не прежде, как сделавши сперва что-нибудь действительно великое и гениальное, и узнают это не по собственному сознанию, а по одобрительным и восторженным кликам толпы. И вот манит их военная слава, им очень бы хотелось в Наполеоны, но только не иначе, как на таком условии, чтоб им на первый случай дали под команду хоть

небольшую, хоть стотысячную армию, чтоб они сейчас же могли начинать блестящий ряд побед своих. Манит их и гражданская слава, но не иначе, как на таком условии, чтоб им прямо махнуть в министры и сейчас же преобразовать государство (у них же всегда готовы в голове превосходные проекты для всякого рода реформ, стоит только присесть да написать). Но как зависть людей сделала невозможными такие гениальные скачки для таких гениальных людей, и требует, чтоб всякой начинал свое поприще с начала, а не с конца, и на деле, а не на словах только, доказал бы свою гениальность, то наши гении поневоле скоро обращаются к другим путям славы. Хватаются они иногда и за науку, но не надолго: сухая и скучная материя, надобно много учиться, много работать, и нет никакой пицци сердцу и фантазии. Остается искусство; но какое же избрать? Архитектура, скульптура, живопись и музыка никакому гению не даются без тяжкого и продолжительного труда, и, что всего хуже и обиднее для романтиков, сначала труда чисто материального и механического. Остается поэзия — и вот они бросаются к ней со всего размаху и, еще ничего не сделавши, в мечтах своих украшают себя огненным ореолом поэтической славы. Главное их заблуждение состоит еще не в нелепом убеждении, что в поэзии нужен только талант и вдохновение, что кто родился поэтом, тому ничему не нужно учиться, ничего не нужно знать: у кого действительно есть большой талант, тот силою самого таланта скоро поймет нелепость этой мысли и начнет все изучать, ко всему прислушиваться и приглядываться. Нет, главное и губительное их заблуждение состоит в том, что они уверили себя в своем поэтическом призвании, как в непреложной истине, срослись с этою несчастною мыслию, так что разочароваться в ней значит для них потерять всякую веру в себя и в жизнь, и в цвете лет сделаться паралитическими стариками. И вот наш романтик принимается писать стихи и говорит в них о том, о чем давно прежде него было сказано и великими и малыми поэтами и вовсе не поэтами. Он воспекает в них свои страдания, которых не испытал, говорит о своих темных надеждах, из которых видно только то, что он сам не знает, чего хочет; простирает к братьям-людям горячие объятия и хочет разом прижать к сердцу все человечество, или горько жалуется, что толпа холодно отвернулась от его братских объятий. Бедняк не понимает, что, сидя в кабинете, ничего не стоит вдруг возгореться самою неистовою любовью к человечеству, по крайней мере гораздо легче, нежели провести без сна хотя одну ночь у постели трудно-больного<sup>50</sup>. Обыкновенно романтики придают страшную цену чувству, думают, что только одни они наделены сильными чувствами, а другие лишены их, потому что не кричат о своих чувствах. Чувство, конечно, важная сторона в натуре человека, но не все и не всегда поступают в жизни сообразно

с своею способностью чувствовать глубоко и сильно. Случается и так, что иной, чем сильнее чувствует, тем бесчувственнее живет: рыдает от стихов, от музыки, от живого изображения человеческих бедствий в романе или повести — и равнодушно проходит мимо действительного страдания, которое у него перед глазами. [Иной управляющий, из немцев, со слезами восторга на глазах читает своей Минхен какое-нибудь восторженное послание Шиллера к Лауре и, кончивши последний стих, с неменьшим удовольствием идет пороть мужиков за то, что они осмелились робко намекнуть своему милостивому барину, что они не совсем довольны отеческими попечениями управляющего о их благосостоянии, от которых только один он и жиреет, а они все худеют.] — Стихи нашего романтика гладки, блестящи, не лишены даже поэтической обработки; хотя в них и довольно риторической водицы, однако в них местами проглядывает чувство, иногда даже блеснет мысль (как отголосок чужой мысли), — словом, заметно что-то в роде таланта. Стихи его печатаются в журналах, многие их хвалят; а если он явится с ними в переходную эпоху литературы, он может приобрести даже значительную известность. Но переходные эпохи литературы особенно губительны для таких поэтов: их известность, приобретенная в короткое время *чем-то*, и в короткое же время исчезает просто от *ничего*; сперва их стихи перестают хвалить, потом читать, а наконец и печатать. Но молодому Адуеву не удалось насладиться хотя на мгновение даже ложною известностью: его не допустили до этого [и] время, в которое он вышел с своими стихами, и умный, откровенный дядя. Его несчастье состояло не в том, что он был бездарен, а в том, что у него вместо таланта был полуталант, который в поэзии хуже бездарности, потому что увлекает человека ложными надеждами. Вы помните, чего ему стоило разочарование в своем поэтическом призвании. . .

Дружба также дорого обходится романтикам. Всякое чувство, чтоб быть истинным, должно быть прежде всего естественно и просто. Дружба иногда завязывается от сходства, а иногда от противоположности натур, но, во всяком случае, она чувство невольное, именно потому, что свободное; им управляет сердце, а не ум и воля. Друга нельзя искать, как подрядчика на работу, друга нельзя выбрать: друзьями делаются случайно и незаметно; привычка и обстоятельства жизни скрепляют дружбу. Истинные друзья не дают имени соединяющей их симпатии, не болтают о ней беспрестанно, ничего не требуют один от другого во имя дружбы, но делают друг для друга, что могут. Бывали примеры, что друг не выносил смерти своего друга и умирал вскоре после него; другой от потери своего друга из веселого человека делается на всю жизнь меланхоликом, а третий поскорбит, потужит да и утешится, но если он навсегда сохранит воспоминание, и оно будет для него

вместе и грустно и отрадно, — он был истинным другом умершего, хотя не только не умер сам от его потери, не сошел с ума, не сделался меланхоликом, но еще нашел силу быть довольно счастливым в жизни и без друга. Степень и характер дружбы зависят от личности друзей; тут главное, чтоб не было в отношениях ничего натянутого, напряженного, восторженного, ничего похожего на долг и обязанность, а то иной готов и бог знает на какие самопожертвования для своего друга, чтобы сказать самому себе, а иногда и другим: «вот каков я в дружбе!» или: «вот к какой дружбе я способен!» Этот-то род дружбы обожают романтики. Они дружатся по программе, заранее составленной, где с точностью определены сущность, права и обязанности дружбы; они только не заключают контрактов с своими друзьями. Им дружба нужна, чтоб удивить мир и показать ему, как великие натуры в дружбе отличаются от обыкновенных людей, от толпы. Их тянет к дружбе не столько потребность симпатии<sup>51</sup>, столь сильной в молодые лета, сколько потребность иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о драгоценной своей особе. Выражаясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный сосуд для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, надежд, мечтаний и т. д.; тогда как в самом-то деле в их глазах друг есть лахань, куда они выливают помой своего самолюбия. Зато они и не знают дружбы, потому что друзья их скоро оказываются неблагодарными<sup>52</sup>, вероломными, извергами, и они еще сильнее злобствуют на людей, которые не умели и не хотели понять и оценить их...

Любовь обходится им еще дороже, потому что это чувство само по себе живее и сильнее других. Обыкновенно любовь разделяют на многие роды и виды; все эти деления большею частью нелепы, потому что наделаны людьми, которые способны мечтать и рассуждать о любви, нежели любить. Прежде всего разделяют любовь на материальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презирают первую и восторгаются второю. [Действительно, есть люди столь грубые, что могут предаваться только животным наслаждениям любви, не хлопоча даже о красоте и молодости; но даже и эта любовь, как ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнее ее: последняя хороша только для хранителей восточных гаремов...] Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животное и не платонически, а человечески. Как бы ни идеализировали любовь, но как же не видеть, что природа одарила людей этим прекрасным чувством сколько для их счастья, столько [и] для размножения и поддержания рода человеческого. Родов любви так же много, как много на земле людей, потому что каждый любит сообразно с своим темпераментом, характером, понятиями и т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове.

Но романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины, а за неимением таковой любят пока какую-нибудь; им ничего не стоит велеть себе любить, ведь у них все делает голова, а не сердце. Им любовь нужна не для счастья, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви. И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить хотя от одного параграфа своей программы. Главная их забота являться в любви великими и ни в чем не унизиться до сходства с обыкновенными людьми. И однако ж в любви молодого Адуева к Наденьке было столько истинного и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизм, но не победила его. Он бы мог быть счастлив надолго, но был только на минуту, потому что все сам испортил. Наденька была умнее его, а главное попроще и естественнее. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцем, а не головою, без теорий и без претензий на гениальность; она видела в любви только ее светлую и веселую сторону, и потому любила как будто шутя: — шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но он любил «горестно и трудно», весь задыхающийся, весь в пене, словно лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз. Как романтик, он был и педант: легкость, шутка оскорбляли в его глазах святое и высокое чувство любви. Любя, он хотел быть театральным героем. Он скоро все переболтал с Наденькой о своих чувствах, пришлось повторять старое, а Наденька хотела, чтоб он занимал не только ее сердце, но и ум, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала нового; все привычное и однообразное скоро наскучило ей. Но к этому Адуев был человек самый неспособный в мире, потому что собственно его ум спал глубоким и непробудным сном: считая себя великим философом, он не мыслил, а мечтал, бредил наяву. При таких отношениях к предмету его любви ему был опасен всякой соперник, — пусть он был бы хуже его, лишь бы только не походил на него и мог бы иметь для Наденьки прелесть новости, а тут вдруг является граф, человек с блестящим светским образованием. Адуев, думая повести себя в отношении к нему истинным героем, через это самое повел себя как глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этим испортил все дело. Дядя объяснил ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой истории был виноват только один он. Как жалок этот несчастный мученик своей извращенной и ограниченной природы в последнем его объяснении с Наденькой и потом в разговоре с дядею! Страдания его невыносимы; он не может не согласиться с доводами дяди, и, между тем, все-таки не может понять дело в его настоящем свете. Как! ему унизиться до так-называемых хитростей, ему, который затем и полюбил, чтоб удивить себя и мир своею громадною страстию, хотя мир и не думал заботиться ни о нем, ни о его любви! По его теории,

судьба должна была послать ему такую же великую героиню, как он сам, и вместо этого послала легкомысленную девчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была в глазах его выше всех женщин, теперь вдруг стала ниже всех их! Все это было бы очень смешно, если б не было так грустно. Ложные причины производят такие же мучительные страдания, как и истинные. Но вот мало-помалу он перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию, и, как истинный романтик, начал щеголять и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошел год, и он уже прзирает Наденьку, говоря, что в ее любви не было нисколько героизма и самоотвержения. На вопрос тетки: какой любви потребовал бы он от женщины? он отвечал: «Я бы потребовал от нее первенства в ее сердце; любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня; все они должны казаться ей невыносимыми; я один выше, прекраснее (тут он выпрямился), лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг; в моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец презреть самую смерть, — вот любовь!»

Как эта галиматья похожа на слова восточного деспота, который говорит своему главному евнуху: «Если одна из моих одалисок проговорит во сне мужское имя, которое будет не моим, — сейчас же в мешок и в море!» Бедный мечтатель уверен, что в его словах выразилась страсть, к которой способны только полубоги, а не простые смертные; и, между тем, тут выразились только самое необузданное самолюбие и самый отвратительный эгоизм. Ему нужно не любовницу, а рабу, которую он мог бы безнаказанно мучить капризами своего эгоизма и самолюбия. Прежде чем требовать такой любви от женщины, ему следовало бы спросить себя, способен ли сам заплатить такую же любовь; чувство уверяло его, что способен, тогда как в этом случае нельзя верить ни чувству, ни уму, а только опыту; но для романтиков чувство есть единственный непогрешительный авторитет в решении всех вопросов жизни. Но если бы он и был способен к такой любви, это бы должно было быть для него причиною бояться любви и бежать от нее, потому что эта любовь не человеческая, а звериная, взаимное терзание друг друга. Любовь требует свободы; отдаваясь друг другу по временам, любящиеся по временам хотят принадлежать и самим себе. Адуев требует любви вечной, не понимая того, что чем любовь живее, страстнее, чем ближе подходит под любимый идеал поэтов, тем она кратковременнее<sup>53</sup>, тем скорей охлаждается и переходит в равнодушие, а иногда и в отвращение. И, наоборот, чем любовь спокойнее и тише, т.-е. чем прозаич-

нее, тем продолжительнее: привычка скрепляет ее на всю жизнь. Поэтическая, страстная любовь, это — цвет нашей жизни, нашей молодости; ее испытывают редкие и только один раз в жизни, хотя после иные любят и еще несколько раз, да уж не так, потому что, как сказал немецкий поэт, май жизни цветет только раз<sup>54</sup>. Шекспир не даром заставил умереть Ромео и Юлию в конце своей трагедии: через это они остаются в памяти читателя героями любви, ее апофеозом; оставь же он их в живых, они представлялись бы нам счастливыми супругами, которые, сидя вместе, зевают, а иногда и ссорятся, в чем вовсе нет поэзии.

Но вот судьба послала нашему герою именно такую женщину, т.-е. такую же, как он, испорченную, с вывороченным наизнанку сердцем и мозгом. Сначала он утопал в блаженстве, все забыл, все бросил, с утра до поздней ночи просиживал у ней каждый день. В чем же заключалось его блаженство? В разговорах о своей любви. И этот страстный молодой человек, сидя наедине с прекрасною молодою женщиною, которая его любит, и которую он любит, не [краснел, не бледнел, не замирал от томительных желаний]<sup>55</sup>, ему довольно было разговоров о взаимной их любви!.. Это, впрочем, понятно: сильная склонность к идеализму и романтизму почти всегда свидетельствует об отсутствии [темперамента; это люди бесполые, то же, что в царстве растений тайно-брачные, грибы, например]<sup>56</sup>. Мы понимаем это трепетное, робкое обожание женщины, в которое не входит ни одно дерзкое желание, но это не платонизм: это первый момент первой свежей, девственной любви, — это не отсутствие страсти, а страсть, которая еще боится сказать самой себе. [С этого начинается первая любовь, но остановиться на этом так же смешно и глупо, как захотеть остаться на всю жизнь ребенком и ездить верхом на палочке.] Любовь имеет свои законы развития, свои возрасты, как цветы, как жизнь человеческая. У ней есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, наконец осень, которая для одних бывает теплою, светлою и плодородною, для других холодною, гнилою и бесплодною. Но наш герой не хотел знать законов сердца, природы, действительности, он сочинил для них свои собственные, он гордо признавал существующий мир призраком, а созданный его фантазиею призраком — действительно существующим миром. На зло возможности, он упорно хотел оставаться в первом моменте любви на всю жизнь свою. Однако ж сердечные изливания с Тафаевой скоро начали утомлять его; он думал поправить дело предложением жениться. Коли так, то надо бы было поторопиться; но он только думал, что решился, а в самом-то деле ему только был нужен предмет для новых мечтаний. Между тем, Тафаева начала смертельно надоедать ему своей привязчивой любовью; он начал тиранить ее самым грубым и отвратительным образом за то, что уже не любил ее. Еще пре-

жде этого он уж начинал понимать, что свобода в любви вещь недурная, что приятно бывать у любимой женщины, но также приятно быть в праве пройти по Невскому, когда хочется, отобедать с знакомыми и друзьями, провести с ними вечер, — что, наконец, при любви можно не бросать и службы. Измучивши бедную женщину самым варварским образом, взваливши на нее всю вину в несчастии, в котором он был виноват гораздо больше ее, — он решился, наконец, сказать себе, что он ее не любит, и что ему пора покончить с ней. Таким образом его глупый идеал любви был вдребезги разбит опытом. Он сам увидел свою несостоятельность перед любовью, о которой мечтал всю жизнь свою. Он увидел ясно, что он вовсе не герой, а самый обыкновенный человек, хуже тех, кого презирал, что он самолюбив без достоинств, требователен без прав, заносчив без силы, горд и надут собою без заслуги, неблагодарен<sup>57</sup>, эгоист. Это открытие, словно громом, пришибло<sup>58</sup> его, но не заставило его искать примирения с жизнью, пойти настоящим путем. Он впал в мертвую апатию и решился отомстить за свое ничтожество природе и человечеству, связавшись с животным Костяковым и предавшись пустым удовольствиям, без всякой охоты к ним. Последняя его любовная история гадка. Он хотел погубить бедную страстную девушку, так, от скуки, и не мог бы в этом покушении оправдаться даже бешенством чувственных желаний, хотя и это плохое оправдание, особенно, когда есть для этого путь более прямой и честный. Отец девушки дал ему урок, страшный для его самолюбия: он обещал поколотить его; герой наш хотел с отчаяния броситься в Неву, но струсил. Концерт, на который затащила его тетка, расшевелил в нем прежние мечтания и вызвал его на откровенное объяснение с теткою и дядею. Здесь он обвинил дядю во всех своих несчастиях. Дядя по-своему действительно кое в чем сильно ошибался, но он был тут самим собою, не лгал, не притворялся, говорил по убеждению, что думал и чувствовал; если слова его подействовали на племянника более вредно, нежели полезно, в этом виновата ограниченная, болезненная и поврежденная натура нашего героя. Это один из тех людей, которые иногда и видят истину, но, рванувшись к ней, или не допрыгивают до нее, или перепрыгивают через нее, так что бывают только около нее, но никогда в ней. Выезжая из Петербурга в деревню, он расквитался с ним фразами и стихами и прочел стихотворение Пушкина: «Художник-варвар кистью сонной»... Эти господа ни на час без монологов и стихов — такие болтуны!

Он приехал в деревню живым трупом; нравственная жизнь была в нем совершенно парализована; самая наружность его сильно изменилась, мать едва узнала его. С нею он обошелся почтительно, но холодно, ничего ей не открыл, не объяснил. Он наконец понял, что между ним и ею нет ничего общего, что

если б он стал ей объяснять, куда девались его волоски, она поняла бы это так же, как Евсей и Аграфена. Ласки и угождение матери скоро стали ему в тягость. Места — свидетели его детства — расшевелили в нем прежние мечты, и он начал хныкать о их невозвратной потере, говоря, что счастье в обманах и призраках. Это общее убеждение всех дряблых, бессильных, недоконченных натур. Ведь, кажется, опыт достаточно показал ему, что все его несчастья произошли именно от того, что он предавался обманам и мечтам: воображал, что у него огромный поэтический талант, тогда как у него не было никакого; что он создан для какой-то героической и самоотверженной дружбы и колоссальной любви, тогда как в нем ничего не было героического, самоотверженного. Это был человек обыкновенный, но вовсе не пошлый. Он был добр, любящ и не глуп, не лишен образования; все несчастья его произошли оттого, что, будучи обыкновенным человеком, он хотел разыграть роль необыкновенного. Кто в молодости не мечтал, не предавался обманам, не гонялся за призраками, и кто не разочаровывался в них, и кому эти разочарования не стбили сердечных судорог, тоски, апатии, и кто потом не смеялся над ними от всей души? Но здоровым натурам полезна эта практическая логика жизни и опыта: они от нее развиваются и мужают нравственно; романтики гибнут от нее...

Когда мы в первый раз читали письмо нашего героя к тетке и дяде, писанное после смерти его матери и исполненное душевного спокойствия и здравого смысла, — это письмо подействовало на нас как-то странно; но мы объяснили его себе так, что автор хочет послать своего героя снова в Петербург затем, чтобы тот новыми глупостями достойно заключил свое донкихотское поприще. Письмом этим заключается вторая часть романа; эпилог начинается через четыре года после вторичного приезда нашего героя в Петербург. На сцене Петр Иванович. Это лицо введено в роман не само для себя, а для того, чтобы своею противоположностью с героем романа лучше оттенить его. Это набросило на весь роман несколько дидактического оттенка, в чем многие не без основания упрекали автора. Но автор умел и тут показать себя человеком с необыкновенным талантом. Петр Иванович — не абстрактная идея, [а] живое лицо, фигура, нарисованная во весь рост кистью смелой, широкою и верною. О нем, как о человеке, судят или слишком хорошо, или слишком дурно, и в обоих случаях ошибочно. Одни хотят видеть в нем какой-то идеал, образец для подражания: это люди положительные и рассудительные. Другие видят в нем чуть не изверга: это мечтатели. Петр Иванович по своему человек очень хороший; он умен, очень умен, потому что хорошо понимает чувства и страсти, которых в нем нет, и которые он презирает; существо вовсе не поэтическое, он понимает поэзию в тысячу раз лучше своего племянника, который

из лучших произведений Пушкина как-то ухитрился набраться такого духа, какого можно было бы набраться из сочинений фразеров и риторов. Петр Иванович эгоист, холоден по натуре, неспособен к великодушным движениям, но вместе с этим он не только не зол, но положительно добр. Он честен, благороден, не лицемер, не притворщик, на него можно положиться, он не обещает, чего не может или не хочет сделать, а что<sup>59</sup> обещает, то непременно сделает. Словом, это в полном смысле порядочный человек, каких, дай бог, чтоб было больше. Он составил себе непреложные правила для жизни, сообразуясь с своею натурою и здравым смыслом. Он ими не гордился и не хвастался, но считал их непогрешительно-верными. Действительно, мантия его практической философии была сшита из прочной и крепкой материи, которая хорошо могла защищать его от невзгод жизни. Каковы же были его изумление и ужас, когда, дожив до боли в пояснице и до седых волос, он вдруг заметил в своей мантии прореху — правда, одну только, но зато какую широкую. Он не хлопотал о семейственном счастье, но был уверен, что утвердил свое семейственное положение на прочном основании, — и вдруг увидел, что бедная жена его была жертвою его мудрости, что он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере.

Какой урок для людей положительных, представителей здравого смысла! Видно, человеку нужно и еще чего-нибудь немножко, кроме здравого смысла! Видно, на границах-то крайностей больше всего и стережет нас судьба. Видно, и страсти необходимы для полноты человеческой природы, и не всегда можно безнаказанно навязывать другому то счастье, которое только нас может удовлетворить, но всякой человек может быть счастливым только сообразно с собственной натурою! Петр Иваныч хитро и тонко расчел, что ему надо овладеть понятиями, убеждениями, склонностями своей жены, не давая ей этого заметить, вести ее по дороге жизни, но так, чтоб она думала, что сама идет; но он сделал в этом расчете одну важную ошибку: при всем своем уме, он не сообразил, что для этого надо было выбрать жену, чуждую всякой страстности, всякой потребности любви и сочувствия, холодную, добрую, вялую, всего лучше пустую, даже немножко глупую. Но на такой он, может быть, не захотел бы жениться по самолюбию; в таком случае ему следовало вовсе не жениться.

Петр Иваныч выдержан от начала до конца с удивительною верностию; но героя романа мы не узнаем в эпилоге; это лицо вовсе фальшивое, неестественное. Такое перерождение для него было бы возможно только тогда, если б он был обыкновенный болтун и фразер, который повторяет чужие слова, не понимая их, наклепывает на себя чувства, восторги и страдания, которых никогда не испытывал; но молодой Адуев, к его несчастию, часто бывал слишком искренен в своих заблуждениях

и нелепостях. Его романтизм был в его натуре; такие романтики никогда не делаются положительными людьми. Автор имел бы скорее право заставить своего героя заглохнуть в деревенской дичи в апатии и лени, нежели заставить его выгодно служить в Петербурге и жениться на большом приданом. Еще бы лучше и естественнее было ему сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал бы старую свою жизнь, и, между тем, думал бы, что он и бог знает как ушел вперед, тогда как в сущности он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю тевтонов — вражда, о том, что во времена Гостомысла славяне имели высшую и образцовую для всего мира цивилизацию, что современная Россия быстро идет к этой цивилизации, что этого не видят только слепые и ожесточенные рассудком, а все зрячие и размягченные фантазией давно это ясно видят. Тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют.

Придуманная автором развязка романа портит впечатление всего этого прекрасного произведения, потому что она неестественна и ложна. В эпилоге хороши только Петр Иванович и Лизавета Александровна до самого конца; в отношении же к герою романа эпилог хоть не читать... Как такой сильный талант мог впасть в такую странную ошибку? Или он не совладал с своим предметом? Ничуть не бывало! Автор увлекся желанием попробовать свои силы на чуждой ему почве — на почве сознательной мысли — и перестал быть поэтом. Здесь всего яснее открывается различие его таланта с талантом Искандера: тот и в сфере чуждой для его таланта действительности умел выпутаться из своего положения силою мысли; автор «Обыкновенной истории» впал в важную ошибку именно оттого, что оставил на минуту руководство непосредственного таланта. У Искандера мысль всегда впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает с поразительною верностью сцену действительности для того только, чтобы сказать о ней свое слово, произнести суд. Г. Гончаров рисует свои фигуры, характеры, сцены прежде всего для того, чтобы удовлетворить своей потребности и насладиться своею способностью рисовать; говорить и судить и извлекать из них нравственные следствия ему надо предоставить своим читателям. Картины Искандера отличаются не столько верностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубоким знанием изображаемой им действительности; они отличаются больше фактической, нежели поэтической истиною, увлекательны слогом не столько поэтическим,

сколько исполненным ума, мысли, юмора и остроумия, — всегда поражающими оригинальностью и новостью. Главная сила таланта г. Гончарова — всегда в изящности и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева. В таланте Искандера поэзии — агент второстепенный, а главный — мысль; в таланте г. Гончарова поэзия — агент первый, главный<sup>60</sup> и единственный...

Несмотря на неудачный, или, лучше сказать, на испорченный эпилог, роман г. Гончарова остается одним из замечательных произведений русской литературы. К особенным его достоинствам принадлежит, между прочим, язык чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Рассказ г. Гончарова в этом отношении не печатная книга, а живая импровизация. Некоторые жаловались на длину и утомительность разговоров между дядею и племянником. Но для нас эти разговоры принадлежат к лучшим сторонам романа. В них нет ничего отвлеченного, не идущего к делу; это — не диспуты, а живые, страстные, драматические споры, где каждое действующее лицо высказывает себя, как человека и характер, отстаивает, так сказать, свое нравственное существование. Правда, в такого рода разговорах, особенно при легком, дидактическом колорите, брошенном на роман, всего легче было споткнуться хоть какому таланту; но тем больше чести г. Гончарову, что он так счастливо решил трудную самую по себе задачу и остался поэтом там, где так легко было сбиться на тон резонера<sup>61</sup>.

Теперь у нас на очереди «Рассказы охотника» г. Тургенева. Талант г. Тургенева имеет много аналогии с талантом Луганского (г. Даля). Настоящий, род того и другого — физиологические очерки разных сторон русского быта и русского люда. Г. Тургенев начал свое литературное поприще лирической поэзией; между его мелкими стихотворениями есть пьесы три-четыре очень недурных, как, например, «Старый помещик», «Баллада», «Федя», «Человек, каких много», но эти пьесы удались ему потому, что в них или вовсе нет лиризма или что в них главное не лиризм, а намеки на русскую жизнь. Собственно же лирические стихотворения г. Тургенева показывают решительное отсутствие самостоятельного лирического таланта. Он написал несколько поэм. Первая из них — «Параша», была замечена публикой при ее появлении по бойкому стиху, веселой иронии, верным картинам русской природы, а главное — по удачным физиологическим очеркам помещичьего быта в подробностях. Но прочному успеху поэмы помешало то, что автор, цища ее, вовсе не думал о физиологическом очерке, а хлопотал о поэме в том смысле, в каком у него нет самостоятельного таланта к этому роду поэзии. Оттого все лучшее в ней проблеснуло как-то случайно, невзначай. Потом он написал

поэму «Разговор»; стихи в ней звучные и сильные, много чувства, ума, мысли; но как эта мысль чужая, заимствованная, то на первый раз поэма могла даже понравиться, но прочесть ее вторично уже не захочется. В третьей поэме г. Тургенева — «Андрей», много хорошего, потому что много верных очерков русского быта; но в целом поэма опять не удалась, потому что это повесть любви, изображать которую не в таланте автора. Письмо героини к герою поэмы длинно и растянуто, в нем больше чувствительности, нежели пафоса. Вообще в этих опытах г. Тургенева был замечен талант, но какой-то нерешительный и неопределенный. Он пробовал себя и в повести; написал «Андрея Колосова», в котором много прекрасных очерков характеров и русской жизни, но как повесть, в целом это произведение до того странно, не доказано, неуклюже, что очень немногие заметили, что в ней было хорошего. Заметно было, что г. Тургенев искал своей дороги и все еще не находил ее, потому что это не всегда и не всем легко и скоро удается. Наконец, г. Тургенев написал стихотворный рассказ — «Помещик», не поэму, а физиологический очерк помещичьего быта, шутку, если хотите, но эта шутка как-то вышла далеко лучше всех поэм автора. Бойкий эпиграмматический стих, веселая ирония, верность картин, вместе с этим выдержанность целого произведения от начала до конца — все показывало, что г. Тургенев напал на истинный род своего таланта, взялся за свое, и что нет никаких причин оставлять ему вовсе стихи. В то же время был напечатан его рассказ в прозе — «Три портрета», из которого видно было, что г. Тургенев и в прозе нашел свою настоящую дорогу. Наконец, в первой книжке «Современника» за прошлый год был напечатан его рассказ «Хорь и Калиныч». Успех в публике этого небольшого рассказа, помещенного в смеси, был неожидан для автора и заставил его продолжать рассказы охотника. Здесь талант его обозначился вполне. Очевидно, что у него нет таланта чистого творчества, что он не может создавать характеров, ставить их в такие отношения между собою, из каких образуются сами собою романы или повести. Он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно — творить, но из готового, данного действительностию материала. Это не простое списывание с действительности, она не дает автору идей, но наводит, наталкивает, так сказать, на них. Он перерабатывает взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выходит картина, более живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод написать эту картину; и для этого несободим, в известной мере, поэтический талант. Правда, иногда все уменье его заключается в том, чтобы только верно передать знакомое ему лицо или событие, которого он был свидетелем, потому что в действительности бывают иногда явления, которые стоит только верно переложить на бумагу, чтобы

они имели все признаки художественного вымысла. Но и для этого необходим талант, и таланты такого рода имеют свои степени. В обоих этих случаях г. Тургенев обладает весьма замечательным талантом. Главная характеристическая черта его таланта заключается в том, что ему едва ли бы удалось создать верно такой характер, подобного которому он не встретил в действительности. Он всегда должен держаться почвы действительности. Для такого рода искусства ему даны от природы богатые средства: дар наблюдательности, способность верно и быстро понять и оценить всякое явление, инстинктом разгадать его причины и следствия и таким образом догадкой и соображением дополнить необходимый ему запас сведений, когда расспросы мало объясняют.

Не удивительно, что маленькая пьеска — «Хорь и Калиныч», имела такой успех: в ней автор зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто еще не заходил. Хорь, с его практическим смыслом и практической натурой, с его грубым, но крепким и ясным умом, с его глубоким презрением к «бабам» и сильною нелюбовью к чистоте и опрятности — тип русского мужика, умевшего создать себе значущее положение при обстоятельствах весьма неблагоприятных. Но Калиныч — еще более свежий и полный тип русского мужика: это поэтическая натура в простом народе. С каким участием и добродушием автор описывает нам своих героев, как умеет он заставить читателей полюбить их от всей души! Всех рассказов охотника было напечатано прошлого года в «Современнике» семь. В них автор знакомит своих читателей с разными сторонами провинциального быта, с людьми разных состояний и званий. Не все его рассказы одинакового достоинства: одни лучше, другие слабее, но между ними нет ни одного, который бы чем-нибудь не был интересен, занимателен и поучителен. «Хорь и Калиныч» до сих пор остается лучшим из всех рассказов охотника; за ним — «Бурмистр», а после него «Одюдворец Овсянников» и «Контора». Нельзя не пожелать, чтобы г. Тургенев написал еще хоть целые томы таких рассказов.

Хотя рассказ г. Тургенева — «Петр Петрович Каратаев», напечатанный во второй книжке «Современника» за прошлый год, и не принадлежит к ряду рассказов охотника, но это такой же мастерской физиологический очерк характера чисто русского и притом с московским оттенком. В нем талант автора выказался с такую же полнотою, как и в лучших из рассказов охотника.

Не можем не упомянуть о необыкновенном мастерстве г. Тургенева изображать картины русской природы. Он любит природу не как диллетант, а как артист, и потому никогда не старается изображать ее только в поэтических ее видах, но берет ее, как она ему представляется. Его картины всегда верны, вы всегда узнаете в них нашу русскую природу<sup>62</sup>...

Г. Григорович посвятил свой талант исключительно изобра-

жению жизни низших классов народа. В его таланте тоже много аналогии с талантом г. Даля. Он также постоянно держится на почве хорошо известной и изученной им действительности, но его два последние опыта — «Деревня» («Отеч. Зап.» 1846 г.) и в особенности «Антон-Горемыка» («Соврем.» 1847 г.), идут гораздо дальше физиологических очерков. «Антон-Горемыка» — больше, чем повесть: это роман, в котором все верно основной идее, все относится к ней, завязка и развязка свободно выходят из самой сущности дела. Несмотря на то, что внешняя сторона рассказа все вертится на пропаже мужицкой лошадейки; несмотря на то, что Антон — мужик простой, вовсе не из бойких и хитрых, он лицо трагическое в полном значении этого слова. Это повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные. Желаем от всей души, чтобы г. Григорович продолжал идти по этой дороге, на которой от его таланта можно ожидать так много... И пусть он не смущается бранью худителей: эти господа полезны и необходимы для верного определения объема таланта; чем большая их стая бежит вслед успеха, тем, значит, успех огромнее<sup>63</sup>...

В последней книжке «Современника» за прошлый год была напечатана «Полинька Сакс», повесть г. Дружинина, лица совершенно нового в русской литературе. Много в этой повести отзывается незрелостью мысли, преувеличением, лицо Сакса немножко идеально; несмотря на то, в повести так много истины, так много душевной теплоты и верного, сознательного понимания действительности, так много самобытности<sup>64</sup>, что повесть тотчас же обратила на себя общее внимание. Особенно хорошо в ней выдержан характер героини повести; видно, что автор хорошо знает русскую женщину. Вторая повесть г. Дружинина, появившаяся в нынешнем году, подтверждает поданное первой повестью мнение о самостоятельности таланта автора и позволяет много ожидать от него в будущем<sup>65</sup>.

К замечательнейшим повестям прошлого года принадлежит «Павел Алексеевич Игривый», повесть г. Даля («Отечественные Записки»). Карл Иванович Гонобобель и ротмистр Шилохвостов, как характеры, как типы, принадлежат к самым мастерским очеркам пера автора. Впрочем, все лица в этой повести очерчены прекрасно, особенно дражайшие родители Любоньки, но молодой Гонобобель и друг его Шилохвостов — создания гениальные<sup>66</sup>. Это типы довольно знакомые многим по действительности, но искусство еще в первый раз воспользовалось ими и передало их на приятное знакомство всему миру. Повесть эта нравится не одними подробностями и частностями, как все большие повести г. Даля; она почти выдержана в целом, как повесть. Говорим: почти, потому что трагическое для героя повести событие производит на читателя впечатление чего-то неожиданного и непонятного. Человек так любил женщину, столько делал для нее; она, повидимому, так любила его; бес-

путный муж ее умер; друг спешит за границу на свидание с ней, окрыленный надеждами любви, и видит ее замужем за другим. Дело в том, что автор не хотел окрасить своего рассказа тем колоритом, по которому читатель видел бы естественность такой развязки. Игривый — человек комически робкий и стыдливый, почему и дозволил двум негодьям из рук вырвать у него невесту. Во время страданий ее супружеской жизни он вел себя в отношении к ней, как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько, как любовник; оттого ее оробевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уважение, удивление, наконец в благоговение; она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель, и уже потому самому не видела в нем любовника. После этого развязка понятна, равно как и то, что Игривый на всю остальную жизнь свою сделался каким-то помешанным шутком.

В «Библиотеке для Чтения» прошлого года тянулись «Приключения, почерпнутые из моря житейского» г. Вельтмана, кончившиеся во второй книжке этого журнала на нынешний год. Так как этот роман начался, кажется, в 1846 г., то мы о нем уже имели случай говорить<sup>67</sup>. И потому снова повторим, что в этом произведении роман смешан с сказкою, невероятное с вероятным, невозможное с возможным. Так, например, Дмитрицкий, герой романа, воспользовавшись бумагами и платьем простофили, молодого купчика, который, как нарочно, был очень похож на него лицом, является к его отцу в качестве его сына. Он так ловко играет свою роль, что ни отец, ни мать и никто из домашних ни одну минуту не возымел подозрения в тожестве самозванца с настоящим сыном. Самозванец женится на богатой невесте, и, узнавши в ночь брака, что настоящий сын появился, тотчас же выбирается из чужого гнезда с огромным пуком ассигнаций, полученных в приданое за женою, и с другого же дня начинает играть в московском большом свете роль богатого венгерского магната. Мудрено что-то! Но, поставивши свои лица в невероятные положения, автор тем не менее увлекательно описывает их похождения. Но там, где в романе нет натяжек, талант автора является в самом выгодном для него свете. Так, например, похождения настоящего сына, который все собирает и никак не может решиться броситься в ноги к своему «тятиньке», боясь, что дражайший родитель сразу пришибет его на смерть, исполнены истины, глубокого знания действительности, увлекающего интереса. Таких прекрасных эпизодов в романе г. Вельтмана много. Лучше всего даются ему изображения купеческих, мещанских и простонародных нравов. Слабее всего у него картины большого света. Так, например, у него важную роль играет великосветский молодой человек Чаров, которого вся светскость состоит в том, что он всем своим приятелям и знакомым говорит: ска-атина, у-урод!.. Несмотря на все странности и, можно сказать, нелепости ро-

мана г. Вельтмана, это все-таки очень замечательное произведение.

Теперь упомянем о некоторых произведениях менее замечательных. «В Отечественных Записках» была напечатана повесть г. Нестроева — «Сбосв». В ней с большим искусством обрисован внутренний семейный быт одного московского чиновника. Особенно оригинально и тонко обрисован характер бедной жены Ивана Кирилловича, Анны Ивановны. Нечаянно разбитое большое зеркало наводит на читателя невольный ужас: так мастерски автор умел намекнуть, чего должно было ожидать себе бедное семейство от своего почтенного главы... Но это только задний план повести; ее главное основано на любви Сбоева к Ольге, дочери титулярного советника, и вообще на оригинальном характере этих двух лиц. Но эта-то главная сторона повести и вышла неудачно. Личности героя и героини как-то неестественны, не то, чтобы такие люди не могли существовать в природе, они только не удались автору повести. И не мудрено: в начале ее автор сам говорит, что его повесть была вызвана чужою повестью: заимствованные мысли редко удаются. В конце обещана новая повесть, которая должна служить окончанием первой: такие обещания тоже редко удаются... В «Современнике» была напечатана повесть того же автора — «Без рассвета». Мысль повести прекрасна и могла бы обещать повести большой успех, нежели какой она имела; причиною этого было, кажется нам, то обстоятельство, что второстепенные лица в повести все обрисованы более или менее удачно (характер мужа героини даже мастерски), тогда как характер героини вышел у него крайне бесцветен. Это существо вялое, отрицательное, без всякого сопротивления к гнетущим ее обстоятельствам; могло ли оно возбудить к себе какое-либо сочувствие в читателях? То ли дело Полинька Сакс! Воспитание сделало ее ребенком, но опыт жизни пробудил в ней сознание и сделал ее женщиной. Умирая, она писала к своей приятельнице: «Напрасно брат твой спит у моих ног и по глазам моим угадывает мои желания. Я не могу любить его, я не могу понимать его, он не мужчина, он дитя: я стара для его любви. Это *он* человек, *он* мужчина во всем смысле слова: душа его и велика и спокойна... Я люблю его, не перестану любить его»<sup>68</sup>.

Нам остается упомянуть еще о «Записках человека» Ста одного («Отечественные Записки»), о «Кирюше», рассказе неизвестного автора<sup>69</sup>, и о «Жиде» г. Тургенева, чтобы закончить наш критический перечень всего сколько-нибудь замечательного, что явилось в прошлом году по части романов, повестей и рассказов. Но мы должны сказать еще несколько слов о «Хозяйке», повести г. Достоевского, весьма замечательной, но только совсем не в том смысле, как те, о которых мы говорили до сих пор. Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. Герой повести — некто

Ордынов; он весь погрузился в занятия науками; какими — об этом автор не сказал своим читателям, хотя на этот раз их любопытство было очень законно. Наука кладет свою печать не только на мнения, но и на действия человека: вспомните доктора Крупова. Из слов и действий Ордынова нисколько не видно, чтоб он занимался какою-нибудь наукою; но можно догадываться из них, что он сильно занимался кабалистикой, чернокнижием, — словом, *чаромутием*... Но ведь это не наука, а сущий вздор; но тем не менее и она паложила на Ордынова свою печать, т.-е. сделала его похожим на поврежденного и помешанного. Ордынов встречает где-то красавицу-купчиху; не помним, сказал ли автор что-нибудь о цвете ее зубов, но должно быть, что зубы у нее были белые, в виде исключения, ради большей поэзии повести. Она шла об руку с пожилым купцом, одетым по-купчески и с бородою. В глазах у него столько электричества, гальванизма и магнетизма, что иной физиолог предложил бы ему хорошую цену за то, чтоб он снабжал его по временам, если не глазами, то хоть молниеносными, искрящимися взглядами для ученых наблюдений и опытов. Герой наш тотчас же влюбился в купчиху; несмотря на магнетические взгляды и ядовитую усмешку фантастического купца, он не только узнал, где они живут, но и какими-то судьбами навязался к ним в жильцы и занял особую комнату. Тут пошли любопытные сцены: купчиха несла какую-то дичь, в которой мы не поняли ни единого слова, а Ордынов, слушая ее, беспрестанно падал в обморок. Часто тут вмешивался купец, с его огненными взглядами и с сардонической улыбкою. Что они говорили друг другу, из чего так махали руками, кривлялись, ломались, замирали, обмирали, приходили в чувство, — мы решительно не знаем, потому что изо всех этих длинных патетических монологов не поняли ни единого слова. Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести остается и останется тайной для нашего разума, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам, и потому боится идти обыкновенным путем, и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не знаем; нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное, напоминающее теперь фантастические рассказы Тита Космократова, забавлявшего ими публику в 20-х годах нынешнего столетия. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. Что за фразы: Ордынов *бичуется* каким-то неведомо сладостным и упорным чувством; проходит мимо остро-

*умной* мастерской гробовщика; называет свою возлюбленную голубицею и спрашивает, из какого неба она залетела в его небеса; но довольно, боимся увлечься выписками диковинных фраз этой повести — конца им не было бы. Что это такое? Странная вещь! непонятная вещь!..<sup>70</sup>

Из отдельно вышедших в прошлом году книг по части изящной словесности замечательны только «Путевые заметки» Т. Ч. Это маленькая, красиво напечатанная книжка, вышедшая в Одессе; автор — женщина; это видно по всему, особенно по взгляду на предметы. Много сердечной теплоты, много чувства, жизнь, не всегда понятая или понятая уже слишком по-женски, но никогда не набеленная, не нарумяненная, не преувеличенная, не искаженная, увлекательный рассказ, прекрасный язык: вот достоинство двух рассказов г-жи Т. Ч. Особенно интересен первый рассказ — «Три вариации на старую тему». Взрослая девушка влюбилась в мальчика. Потом она потеряла его из виду и вышла замуж за человека доброго и порядочного, но к которому она не чувствовала ничего особенного. Вдруг она встречается с Лёлей, который теперь уже стал Алексисом. У них завязалось нечто в роде особенных отношений, которые разрешились страстным поцелуем с обеих сторон, полным объяснением и отъездом Алексиса, по настоятельному требованию героини, в которой любовь не победила чувства долга. Потом она уехала с больным мужем на воды за границу. Там она получила письмо от одной из своих приятельниц, из которого она узнала, что Алексис ее любит страстно. Письмо это сильно взволновало ее. Раз, перечитывая его и мечтая об Алексисе, она вдруг услышала в соседней комнате, где был муж ее, какой-то странный шум. Вбегает — и видит своего мужа почти в обмороке; с ним случился жестокий чахоточный припадок. Оправившись несколько, он начал говорить ей о своей скорой смерти, благодарил ее за внимание и попечение о нем, радовался, что оставляет ее не без состояния, и советовал ей выйти замуж, так как она молода, хороша и детей у них не было. По обыкновению всех восторженных женщин, она с ужасом отвергла последнее предложение. Затем ее начали мучить угрызения совести. И как же иначе: муж ее умирал и благодарил ее за любовь и внимание к нему, а она в это время думала о другом, любила другого. Бедная женщина чуть было не рассказала свою тайну умирающему мужу: к счастью, случившийся с ней обморок помешал этому ненужному и нелепому признанию, которое могло только отравить последние минуты доброго и благородного человека. Такая логика восторженной женщины!.. Муж героини умер, ей было 35 лет, когда она увидела Алексея Петровича; он был женат и жил честолюбием. Героиня наша едва могла подавить свое волнение при виде его; но он обошелся с ней с холодною вежливостью. Тут она совершенно разочаровалась в извергах-муж-

чинах и горько плакала. Как! он все забыл! Да что же ему помнить-то? Поцелуй? Историю любви, которая ничем не кончилась и прервалась в самом начале, одну из тех историй, которые со многими мужчинами случаются не один раз в жизни? У мужчины много интересов в жизни, и потому память его удерживает только истории, которые посерьезнее одного поцелуя. Женщина — другое дело: она вся живет исключительно в любви, и тем более своими внутренними ощущениями, чем более обязана скрывать их. Женщины особенно падки до любовных историй, которые не оканчиваются ничем серьезным, в которых не нужно ничем рисковать, ничем жертвовать, можно изменить мужу в сердце — и остаться формально верною своим обетам, удовлетворить потребности любить и свято выполнить налагаемые обществом обязанности. Героиня второй повести — *гувернантка*, одна из тех женщин, у которых фантазия преобладает над сердцем, которых надо атаковать с головы, т.-е. прежде всего надо чем-нибудь удивить, поразить, возбудить любопытство, не красотой, так безобразием, не умом, так глупостью, не достоинством, так странностью, не добродетелью, так пороком. За ней волочится безобразный собой, нисколько не любивший ее человек; и ее же любит страстно благородный, красивый собою мужчина. Она знает цену обоим им и, как бабочка на огонь, рвется к первому. Повесть рассказана хорошо; но, видно, героиня не возбудила к себе особенного участия, и потому первая повесть больше понравилась всем, нежели вторая. В обеих виден талант, от которого можно надеяться хороших результатов, если он будет развиваться <sup>71</sup>.

Из иностранных замечательных романов в «Современнике» и в «Отечественных Записках» была переведена «Лукреция Флориани» (о ней было уже говорено в нашем журнале) и продолжается переводом: «Торговый дом под фирмой Домби и Сын»; когда этот превосходный роман, далеко оставивший за собой все прежние произведения Диккенса, появится весь в русском переводе, мы поговорим о нем <sup>72</sup>.

К разряду словесности принадлежат записки или воспоминания былого. В «Современнике» были помещены две интересные статьи такого рода: «Из записок артиста» — на, и «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель» г. Л. <sup>73</sup> Тут же упомянем мы о прекрасной, интересной по содержанию и изложению статье г. Небольсина: «Рассказы о сибирских зодотых приисках», которая так долго тянулась в Смеси «Отечественных Записок». «Письма об Испании» (в «Современнике») г. Боткина были неожиданно приятною новостью в русской литературе. Испания для нас — terra incognita. Политические известия только сбивают с толку всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой земли. Главная заслуга автора «Писем об Испании» состоит в том, что он на все смотрел

собственными глазами, не увлекаясь готовыми суждениями об Испании, рассеянными в книгах, журналах и газетах; вы чувствуете из его писем, что он сперва насмотрелся, наслышался, расспросил и изучил, и потом уже составил свое понятие о стране. Оттого взгляд его на нее нов, оригинален, и все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какою-нибудь фантастическою, а с действительно существующею страной. Увлекательное изложение еще более возвышает достоинство писем г. Боткина. «Письма из Avenue Maigny» были встречены некоторыми читателями почти с неудовольствием, хотя в большинстве нашли только одобрение. Действительно, автор невольно впал в ошибочность при суждении о состоянии современной Франции тем, что слишком тесно понял значение слова «bourgeoisie». Он понимает под этим словом только богатых капиталистов, и исключил из него самую многочисленную и потому самую важную массу этого сословия. Несмотря на это, в «Письмах из Avenue Maigny» так много живого, увлекательного, интересного, умного и верного, что нельзя не читать их с удовольствием, даже во многом не соглашаясь с автором<sup>74</sup>. В этот же разряд статей смешанного содержания, но по форме принадлежащих более к отделу словесности, отнесем мы: «Новые вариации на старые темы» Искандера (в «Современнике»); «Рассказы» г. Ферри (там же); «Страствования португальца Фернанда-Мендеса Пинто, описанные им самим и изданные в 1614 году», перевод с старинного португальского языка г. Бутакова, и «Антонно Перес и Филипп II», соч. Минье (в «Отечественных Записках»).

В прошлом году журналы наши были особенно богаты замечательными учеными статьями. Назовем здесь главнейшие. В «Отечественных Записках»: «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» (три статьи); «Физико-астрономическое обозрение солнечной системы» Д. М. Перевощикова; «Северо-Американские Соединенные Штаты» (три статьи); «Открытие Генке и Леверье» Д. М. Перевощикова; «Причины колебания цен на хлеб» А. П. Заблоцкого. В «Современнике»: «Взгляд на юридический быт древней России» К. Д. Кавелина; «Исследование об элевсинских таинствах» графа С. С. Уварова; «Даниил Романович, король Галицкий» С. М. Соловьева; «Важность и успехи физиологии» К. Литре; «Опыт общепольного рассказа о том, как открыта новая планета Нептун» А. Савича; «Константинополь в IV веке»; «О возможности определительных мер доверия к результатам наук наблюдательных, и в особенности статистике» академика Буняковского; «Государственное хозяйство при Петре Великом» (две статьи) А. Афанасьева; «Мальтус и его противники» В. Милютина; «Александр фон Гумбольдт и его Космос» (две статьи) Н. Флорова; «Ирландия» Н. Сатина. В «Библиотеке для Чтения» тянулась слишком полгода очень любопытная статья под назва-

нием: «Путешествия и открытия лейтенанта Загоскина в русской Америке», вышедшая теперь отдельной книгой под другим заглавием.

Статья г-на Кавелина: «Взгляд на юридический быт древней России» и статья г-на Заблоцкого: «О причинах колебания цен на хлеб в России», без сомнения, принадлежат к замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошлого года. Чрезвычайно замечательны также в своем роде статьи г-на Порошина, печатавшиеся в «Санкт-Петербургских Ведомостях».

Мы не пересчитываем здесь сочинений разного рода, вышедших в прошлом году отдельными книгами, потому что большая часть их разобрана в критике и библиографии «Современника», а остальные поименованы в «Библиографических известиях», приложенных к VII и XII-й книжкам «Современника» прошлого года...

Из критических статей прошлого года замечательны на следующие книги: «Историко-критические отрывки» г. Погодина; «Исследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории»; «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете»; «Еврейские религиозные секты в России» г. Григорьева; «Сочинения Фон-Визина», изд. Смирдиным (в «Отечественных Записках»). Две последние статьи, кроме своего внутреннего и внешнего достоинства, особенно интересны еще тем, что принадлежат автору, до сих пор нигде не писавшему. В статьях г. Дудышкина видно знание дела; он хорошо пользуется историческим изучением развития, чтобы объяснять им литературные произведения данной эпохи. Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в длинноте и многословии; иногда в такой статье почти ничего не говорится о книге, на которую она написана, но сказано много иногда и хорошего, но всегда некстати о предметах, вовсе чуждых разбираемой книге. Г. Дудышкин умел избежать этих недостатков; видно, что он взялся за дело с готовым уже содержанием в голове, вполне владеет своею мыслию, не дает ей разбегаться или увлечь его то в ту, то в другую сторону, но постоянно держит ее на данном предмете и оттого начинает сначала и оканчивает в конце, говорит в меру, и потому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пишет. Мы не можем говорить обо всех критических статьях, напечатанных в «Современнике» прошлого года: близость к этому журналу некоторых лиц, которым принадлежат статьи, не позволяет нам этого. И потому мы должны только ограничиться указанием на статьи: «Последние романы Жоржа Санда» г. Кронеберга; «Историческая литература во Франции и Германии в 1847 году» г. Грановского; «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии», соч. г. Бутовского (три статьи г. Милютина); статья г. Кавелина об «Истории

отношений между князьями Рюрикова дома», соч. С. Соловьева. Заметим к этому, что «Современник» представлял постоянно полные отчеты о всех замечательных явлениях по части русской истории. Но вместе с этим «Современник» должен сказать, что по причинам, вовсе не зависящим от редакции, он в других отношениях не совсем соответствовал ожиданию публики по части критики. Но в нынешнем году он надеется дать этому отделу гораздо больше полноты и развития<sup>75</sup>.

Русская критика стоит теперь на более прочном основании: она уже не в одних журналах, но и в публике, вследствие все более и более развивающегося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать развитию самой критики: она уже дело, подлежащее суду общественного мнения, а не книжное, не имеющее связи с жизнью занятие. Теперь уже не всякому можно быть критиком, кому только вздумается, не всякое мнение примется потому только, что оно печатное. Пристрастие партий не может уже убить хорошей книги и дать ход дурной. В книге нынешней часто слышится убеждение, и люди, вовсе его не имеющие, стараются по крайней мере прикрываться им. Борьба мнений, выражающаяся в критике, свидетельствует, что русская литература только быстро подвигается к совершеннoleтию, но еще не достигла его. Конечно, везде есть люди, которые как будто самую природою назначены всех затрогивать, ко всем прицепляться, всех хулить, беспрестанно заводить ссоры, шум, брань. Кроме природной склонности, ничем не победимой, их побуждает к этому и раздраженное самолюбие и мелкие личные интересы, нисколько не относящиеся к литературе. Такие люди — всюду зло неизбежное, имеющее даже свою полезную сторону: эти люди добровольно берут на себя ту роль перед обществом, которую спартанцы заставляли играть илотов перед своими детьми... Но странно и прискорбно, что в тон этих людей беспрестанно впадают люди, повидимому, не имеющие ничего с ними общего, действующие как будто на основании каких-то дорогих им убеждений, наконец, люди, своим общественным положением, летами, известностью обязанные подавать в литературе пример хорошего тона и уважения к приличию. Вот несколько самых свежих примеров.

В I № «Сына Отечества» за прошлый год был напечатан разбор лекций г. Шевырева. В этой статье было сказано и доказано, что труд г. Шевырева — «прекрасный замок, построенный из облаков; очаровательная утопия, обращенная назад». Это относится более к теоретической части лекций; в фактической же рецензия видит только компиляцию. Рецензент «Сына Отечества» скрыл свое имя, но не скрыл своей учености, своего знакомства с византийскими и болгарскими источниками<sup>76</sup>. Поэтому статья его так сильно подействовала на г. Шевырева, что он не прежде, как через год нашелся в состоянии

отвечать на нее. Чем сильнее было нападение на г. Шевырева, тем больше достоинства должно было ожидать от его защиты. Так ли поступил г. Шевырев? Прежде всего он изъявил свое неудовольствие, что критик «Сына Отечества» скрыл свое имя, как будто бы тут дело идет об именах, а не о науке, не об идеях, не об убеждениях. Вероятно, под влиянием своего неудовольствия на эту досадную ему безыменность, г. Шевырев ни с того, ни с сего напал на г. Надеждина. Он называет его иронически «сеи ученый муж», «высокоученым филологом», глумится над его мнениями о славянских наречиях, нимало не подозревая, что его аттическая соль сильно сбивается на славянский бузун. Можно и должно опровергать чужие мнения, если они вам кажутся несправедливыми; но это следует делать, во-первых, кстати, во-вторых — с уважением к приличию. Г. Шевыреву не худо было бы не забывать, что он ученый, что он в русской литературе пользуется по крайней мере двадцатилетнею известностию, и что все это обязывает его быть для молодых литераторов примером положительным, а не отрицательным. Не мешало бы также г. Шевыреву вспомнить, что г. Надеждин некогда был его товарищем по университету, таким же, как он, профессором. Но г. Шевырев вовсе лишен того литературного спокойствия, которое составляет силу людей, развившихся наукою и опытом жизни; он, напротив, в литературе беспокоен и тревожен, и оттого беспрестанно вдается в крайности и промахи, свойственные молодым людям, только что бросившимся в литературную деятельность с школьной скамьи. Вот еще пример: говоря об известном бывшем сотруднике «Отечественных Записок», работающем теперь в «Современнике», г. Шевырев позволил себе сказать о нем, что он «изменил знаменам «Отечественных Записок»!»<sup>77</sup> Не есть ли эта фраза следствие тревожного и раздражительного состояния, о котором мы говорили? Неужели г. Шевырев сам верит своим словам? Нет, ему хотелось колкнуть противника, и он забыл, что колют правдой, а не вымыслом. Человек, о котором он говорит, сделал дело очень естественное: он счел за удобнейшее и лучшее для себя помещать свои статьи в другом журнале, и на это имел полное право, потому что не считает себя прикрепленным ни к какому журналу. К числу таких же его выходов принадлежит и беспрестанно повторяемая многими мысль, будто бы Гоголь отречением от своих прежних сочинений поставил нас в затруднительное положение, так что мы не знаем, что и делать. Больше году прошло после появления этой книги, мы уже несколько раз говорили о сочинениях Гоголя в том же духе, в каком говорили о них до появления его книги. Вообще, мы всегда хвалили сочинения Гоголя, а не самого Гоголя; хвалили их ради их самих, а не ради их автора. Его прежние сочинения и теперь для нас то же, чем были и прежде; нам нет нужды до того, что теперь думает Гоголь о своих

прежних сочинениях. Но самая болезненная выходка г. Шевырева касается Искандера: крайне беспокойное отношение духа г. Шевырева к этому автору заставило его взять на себя топ вовсе не литературной: он выписал из романа «Кто виноват?» все фразы и слова, в которых ему захотелось увидеть искажение русского языка. Некоторые из этих фраз и слов действительно могут быть подвергнуты осуждению; но большая часть доказывает только нелюбовь г. Шевырева к Искандеру. Не понимаем, когда находит г. Шевырев время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбия только известного блаженной памяти профессора элоквенции и хитростей пинтических!<sup>78</sup> А что если кому-нибудь придет в голову мысль выписывать из статей г. Шевырева целые периоды, в роде следующего: «А что теперь иной русской душе, не понимающей настоящего смысла древней русской жизни, кажется исключительно византийским и каким-то мистическим и теоретическим мудрованием, и «даже мелочным умозрением», то, что в себе содержит самые простые и высочайшие истины, так это ничего другого не значит, как только то, что та русская душа расторгла союз с коренными основами жизни русского народа и уединилась в свою отвлеченную личность, из тесных рамок которой видит собственно свои призраки, а не дело». Впрочем, в таком периоде мы не можем видеть искажение русского языка, а видим только искажение языка г. Шевырева, и, конечно, в этом отношении к Искандеру надо быть строже, как к писателю с влиянием; но все-таки придираяться к таким мелочам значит обнаруживать больше нелюбви к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе, и грозить издали своему противнику шпилькой или булавкой, когда нет возможности достать его копьём.

В прошлом году внимание критики было преимущественно занято «Перепискою Гоголя с друзьями». Можно сказать, что память об этой книге и теперь поддерживается только статьями о ней. Лучшая из статей против нее принадлежит Н. Ф. Павлову. В своих письмах Гоголю он стал на его точку зрения, чтоб показать его неверность собственным своим началам. Тонкость мысли, ловкость диалектики, при изложении в высшей степени изящном, делают письма Н. Ф. Павлова явлением образцовым и совершенно особым в нашей литературе. Жаль, если все дело окончится тремя письмами!

Известный книгопродавец наш г. Смирдин своими изданиями русских авторов приготовил и намерен еще больше приготовить труда и хлопот русской критике. Он уже издал Ломоносова, Державина, Фон-Визина, Озерова, Кантемира, Хемницера, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. В одной газете было говорено о скором выходе в свет сочинений Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Там же уверяли, что вслед за ними поступят в печать: «История Государства Рос-

сийского» Карамзина, сочинения императрицы Екатерины II, сочинения Сумарокова, Хераскова, Тредьяковского, Кострова, князя Долгорукова, Кашниста, Нахимова, Нарезного, — и что, сверх того, приступлено к приобретению права на издание сочинений Жуковского, Батюшкова, Дмитриева, Гнедича, Хмельницкого, Шаховского и Баратынского. Довольно работы критике! Пусть каждый выскажет свое мнение, не беспокоясь о том, что другие думают не так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно. Опровергайте чужие мнения, не согласные с вашими, но не преследуйте их с ожесточением потому только, что они противны вам; не старайтесь выставлять их в невыгодном для них свете не в литературном отношении. Это плохой расчет: желая выиграть больше простору вашим мнениям, вы, может быть, этим самым лишите их всякой почвы.

# Р Е Ц Е Н З И И

1847—1848 гг.



## КАРТИНА ЗЕМЛИ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

составленная А. Ф. Постельсом.

С литографированным большим рисунком. Спб. 1846<sup>1</sup>

*Наглядность* признана теперь всеми единодушно самым необходимым и могущественным помощником при учении. Она состоит в том, чтобы помогать памяти и уму ребенка представлением вида и образа предметов, которые он изучает. Это материальное и чувственное вспомогательное средство для спасения бедных детей от убийственного, подавляющего способности, сухого и мертвого отвлечения, столь любимого идеалистами. Вся сущность прекрасной методы г. Язвинского состоит в клеточках, которые сами по себе не много значат, но помогают памяти и уму, как чувственные значки, остающиеся как бы перед глазами учащегося даже и тогда, как он уже их не видит<sup>2</sup>. Эта великая важность *наглядности* основана на самой природе человека, у которого самые отвлеченные умственные представления все-таки суть не иное что, как результат деятельности мозговых органов, которым присущи известные способности и качества. Давно уже сами философы согласились, что «ничего не может быть в уме, что прежде не было в чувствах». Гегель, признавая справедливость этого положения, прибавил: «кроме самого ума». Но эта прибавка едва ли не подозрительна, как порождение трансцендентального идеализма. Человек не прямо же, не чистым мышлением дошел до сознания, что у него есть ум, а заметил это прежде всего из собственных действий, в которых отразился его ум, но которые он опять-таки только через чувства сознал своим умом. Всякой, даже простой человек знает, что у него ум в голове, — знает это по причине, может быть, более простой и естественной, нежели как обыкновенно думают. Человек в порыве горячих, страстных чувств невольно прижимает руку к груди и сердцу, куда сильнее приливает кровь при движениях чувств. Когда же человек о чем-нибудь размышляет, сильно занят каким-нибудь соображением, особенно расчислением, — палец его

как будто невольно то и дело прилагается ко лбу, а рука невольно от времени до времени потирает лоб. Явление простое, но многозначительное! Во время процесса мысли человек как будто чувствует, что тут гнездо его мыслительной деятельности, что там тоже происходит какое-то беспокойство, которое обнаруживается и в его озабоченных движениях, что там как будто что-то шевелится. . .

Посмотрите, как жадны дети к картинкам! Они готовы прочесть самый сухой и скучный текст, лишь бы только он объяснил им содержание картинки. И потому картинки все более и более делаются пособием при воспитании и учении. Г. Постельс справедливо замечает, что дети, не выезжавшие из такого места, где нет гор или моря, с большим трудом заучивают эти предметы в географии против детей, видевших эти предметы в натуре. Для этого он и издал свою *Картину земли*, на которой изображены моря, заливы, проливы, озера, реки, острова, гавани, бухты, горы, леса, города, крепости, корабли и т. д. Труд его прекрасный и полезный, но не полный. Для полноты карта должна быть непременно иллюминирована, чтобы можно было показать разные геологические различия: горные кряжи, слои, породы, пласты, мрамор, металлы и тому подобные предметы, где цвет иногда важнее формы. Но при всем том труд г. Постельса все-таки полезен, и мы должны быть благодарны ему за доброе начало доброго дела, которое, вероятно, найдет продолжателей.

## ЕВРЕЙСКИЕ СЕКТЫ В РОССИИ

Составлено В. В. Григорьевым. Спб. 1847<sup>1</sup>

История еврейской религии подтверждает тот исторический закон, что всякая религия, не поддержанная божественным промыслом и не из откровения прошедшего, с течением времени утрачивает свою первоначальную чистоту (стр. 4) и является в таком искажении, что только силою исторического анализа можно доискиваться ее исходной точки, ее первоначального догмата, когда-то имевшего значение положительного закона или всеобщего верования, — ее основной мысли, когда-то, давно взятой прямо из жизни или по крайней мере сообразной с понятиями народа. Изучение истории религии особенно занимательно в том отношении, что факты ее искажения могут служить пояснением к истории развития народа, у которого она господствовала. Вторжение в закон чуждых элементов, следы политического переворота, отразившиеся в каком-нибудь религиозном постановлении, в обычае, получившем силу закона и занесенном в священный кодекс, — все это данные, по которым можно дойти до самых любопытных заключений о человеке вообще (стр. 4), о том, как берется он за

решение тревожных вопросов, как одолевал его предрассудок, завещанный ему от предков и укоренившийся злым обычаем, как падает, как освобождается из-под гнета тупого, отжившего свой век верования!...<sup>2</sup>

Религиозные постановления долгое время были в тесной, неразрывной связи с постановлениями гражданскими: история религиозных переворотов разрешает много социальных вопросов и бросает новый свет на историю развития гражданского общества. В религиозном завете предстают ярко и выпукло те положения общественной жизни, с которыми люди никогда не могли примириться, но которым те же люди покорялись, — положения, которых нельзя вывести из свойств человеческой природы и в то же время нельзя не признать за факты. Поэтому критика религиозного законодательства многих народов есть в то же время и критика общественного устройства: в нем лежит залог, причина многих неразрешимых, аномальных явлений общественной жизни.

Наконец, и это всего важнее, история религий разрешает довольно очевидно вопрос о том, в каких положениях выражена истинная, не подлежащая критике или, лучше сказать, выдерживающая всякую критику религия.

История еврейских сект может служить прекрасным примером того, как [какая?] судьба постигла нацию, в которой всегда господствовал религиозный элемент, и до чего дошел народ, некогда державшийся единственно силою своих односторонних верований и религиозных установлений. Сверх того, эта история, как нельзя яснее, показывает, каким образом совершается искажение сект: падает первоначальный догмат, современные потребности общества вызывают новые постановления, противоречащие этому догмату, представители верховной власти начинают расширять значение догмата, вносить в примативный национальный кодекс бездну мелочных, тягостных постановлений, закон становится с каждым днем недоступнее большинству народа и по самой своей сложности мало-помалу утрачивает прежнее значение закона, образуется ненавистное сословие толкователей закона (стр. 73, 83 и след.), которые модифицируют его сообразно с личными выгодами, держат в руках темных людей, внушая им безумное благоговение к закону, когда-то всем равно понятному, убедительному и мало-помалу получившему характер громоздкого, тиранического унижения (стр. 90)...

Наконец, история еврейской религии покажет пагубное влияние религиозного деспотизма не только на политическую самостоятельность нации, но и [на] самый характер евреев, влияние, которое до сих пор ярко и возмутительно отражается на нравах потомков израиля (стр. 95—7, 123—5).

Г. Григорьев излагает в своем сочинении сначала историю распада верований в народе израильском по возвращении из плена вавилонского, объясняет причину первоначального

раскола хасидимов и цадикимов, потом переходит к историческому развитию и разветвлению этих сект и в отдельности излагает историю каждой из трех преобладающих у евреев сект: караймов, раввинистов, или талмудистов, и каббалистов, объясняет их происхождение, существо их догматов, основания различия между сектами, указывает спорные вопросы в различных учениях, одним словом, полную характеристику каждой секты, их историческую судьбу в разные эпохи и в настоящее время, литературу, биографии главных их представителей, сводит факты всеобщей истории с реформами, происшедшими в недрах самых сект, и, наконец, представляет краткий очерк положения евреев разных сект в России.

Вообще, сочинение г. Григорьева, несмотря на компилятивный характер и недостаток широкого, ясного взгляда на предмет во всей его обширности, в высшей степени занимательно. Некоторые сметки, в отдельности, изложены чрезвычайно полно, отчетливо. Все вообще сочинение написано живым, истинным языком и включает в себе много светлых мыслей, в свою очередь, вызывающих читателя на размышление. Жаль только, что изображение быта евреев в России автор изложил довольно коротко и отсылает читателей к статье: «Польские еврей», когда-то помещенной в «Библиотеке для Чтения».

# ПИСЬМА 1847—1848 гг.



К В. П. БОТКИНУ. 17 ФЕВРАЛЯ 1847

(Отрывок)

Спб. 17 февраля 1847<sup>1</sup>

Прочел я в «Revue des Deux Mondes» статью Сессе о положительной философии Конта и Литтре. Сколько можно получить понятие о предмете из вторых рук, я понял Конта, в чем мне особенно помогли разговоры и споры с тобою, которые только теперь уяснились для меня. Конт — человек замечательный; но чтоб он был основателем новой философии — далеко кулику до Петрова дня! Для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте. Этот человек — замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная и тревожная. Конт — человек, богатый познаниями, с большим умом, но его ум сухой, в нем нет той полетистости, которая необходима всему творческому, даже математику, если ему даны силы раздвинуть пределы науки. Хотя Литтре и ограничился смиренною ролью ученика Конта, но сейчас видно, что он — более богатая натура, чем Конт.

О г. Saisset'e, изрекающем роковой приговор положительной философии Конта и Литтре, много говорить нечего: для него метафизика — *c'est la science de Dieu*<sup>2</sup>, а, между тем, он поборник опыта и враг немецкого трансцендентализма. О немецкой философии он говорит с презрением, не имея о ней ни малейшего понятия. И здесь я имел случай вновь полюбоваться нахальною недобросовестностью, свойственною французам, и вспомнил Пьера Леру, который, обругав Гегеля, восхвалял Шеллинга, предполагая в последнем своего союзника и оправдываясь, когда его уличали в невежестве, тем, что он узнал все это от достоверного человека. — Между тем, в нападках Saisset много дельного, и прежде всего смешная претензия Конта — слово *идея* заменить законом природы. Хорошо будет Конту, если его противники будут ратовать с остервенением за слово;

но что с ним станет, если они будут так благоразумны, что согласятся с ним? Ведь дело тут не в деле (по-мосму, не в идее), а в новом названии старой вещи, нисколько не изменяющем ее сущности, с тою только разницею, что старое название имеет за собою великое преимущество исторического происхождения и основанной на вековой давности привычки к нему и что от него производится слово *идеал*, необходимое не в одном искусстве. Абсолютная идея, абсолютный закон: это одно и то же, ибо оба выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключаящее случайность. Итак, Конт пробавляется стариною, думая созидать новое. Это смешно. Конт находит природу несовершенною: в этом я вижу самое поразительное доказательство, что он не вождь, а застрельщик, не новое философское учение, а реакция, т.-е. крайность, вызванная крайностию. Пизтисты удивляются совершенству природы, для них в ней все премудро рассчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих, т.-е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скужится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелепости, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую нелепость, что природа-де несовершенна и могла бы быть совершеннее. Последнее — чепуха; первое справедливо, да в несовершенстве-то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно — подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою. Это — его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Запугай его от смерти, болезни, случая, горя — и он — турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве, хуже — он превратится в скота. Конт не видит исторического прогресса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности. Ломоносов был в естественных науках великим ученым своего времени, а по части истории он был равен ослу — Тредьяковскому: явно, что область истории была вне его натуры. Конт уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук — физиология. Это доказывает, что область философии так же вне его натуры, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т.-е. деятельность ума, есть результат деятельности мозговых органов — в этом нет никакого сомнения; но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на

дальнейшие успехи френологии; но эти успехи подтверждают только тождество физической природы человека с его духовною природою — не больше. Духовную природу человека не должно *отделять* от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно *отличать* от нее, как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомиею. Метафизику к чорту: это слово означает сверх-натуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и *мысль* и *слово*. Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований — цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического. Освободить науку от призраков трансцендентализма и *théologie*, показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического — вот, что делает основатель новой философии, и вот, чего не сделает Конт, но что, вместе со многими подобными ему замечательными умами, он поможет сделать *призванному*. Сам же он слишком узко построен для такого широкого, многообъемлющего дела. Он редактор, а не зиждитель, он зарница, предвестница бури, а не буря, он одно из тревожных явлений, предсказывающих близость умственной революции, но не революция. Гений — великое дело: он, как Петрушка Гоголя, носит с собою собственный запах: от Конта не пахнет гениальностию. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение.

В том же № «Revue des Deux Mondes» меня очень заинтересовала небольшая статья какого-то Тома: «Un nouvel écrit de M. de Schelling»<sup>3</sup>. У меня было какое-то смутное понятие о новом мистическом понятии Шеллинга. Тома говорит, что Шеллинг деизм называет *imbécile*<sup>4</sup> (с чем и поздравляю Пьера Леру) и презирает его больше атеизма, который он несказанно презирает. Кто же он? Он — пантеист-христианин, и создал для избранных натур (аристократии человечества) удивительно изящную церковь, в которой обителей много. Бедное человечество! Добрый Одоевский раз не шутя уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший. В приложении не к одному Шеллингу как это справедливо! У кого есть система, убеждение, тот должен трепетать за нормальное состояние своего рассудка. Ведь почти все сумасшедшие удивляют в разговоре ясностию своего рассудка, пока не нападут на свою *idée fixe*...

К В. П. БОТКИНУ. 7 ИЮЛЯ 1847

(Отрывок)

Дрезден, 7/19 июля 1847<sup>1</sup>

Здравствуй, дражайший мой Василий Петрович. Насилу-то собрался я писать к тебе. Вот уже в другой раз я в этом дрянном и скучном Дрездене. Впрочем, это, может быть, и вздор (т.-е., что Дрезден дрянной и скучный город, а не то, что я в нем вторично — последнее обстоятельство не подвержено ни малейшему сомнению). Увы, плешивый друг мой, я ездил в Европу только затем, чтоб убедиться, что я вовсе не для путешествий рожден. Был я, например, в Саксонской Швейцарии; на минуту меня было заняли эти живописные места, но скоро мне надоели, как будто я знал и выучил их наизусть давным-давно. Скука мой неразлучный спутник, и жду не дождусь, когда ворочусь домой. Что за тупой, за пошлый народ немцы — святители! У них в жилах течет не кровь, а густой осадок скверного напитка, известного под именем пива, которое они лупят и наяривают без меры. Однажды за столом был у них разговор о штендах. Один и говорит: «Я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс». Когда Тургенев передал мне слова этого истого немца, я чуть не заплакал, что не знаю по-немецки и не могу сказать ему: «Я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут я больше люблю горшок, чем суп». Этот же юный немец, желая похвалить одного оратора, сказал о нем: «Он умеренно парит». Но всего не перескажешь об этом народе, скроенном из остатков и обрезков. Короче<sup>2</sup>: . . . . . ! В деле суждения о немцах я сделался авторитетом для Анненкова и Тургенева: когда немец выведет их из терпения своею тупостию, они говорят: «прав Белинский!» Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов: *пауперизм* и *пролетариат*. В России эти слова не имеют смысла. Там бывают неурожай и голод местами, там есть плантаторы-помещики, третирующие своих крестьян, как негров, там есть воры и грабители-чиновники; но нет бедности, хотя нет и богатства. Лениость и пьянство производят там грязь и лохмотья, но это все еще не бедность. Бедность есть безвыходность из вечного страха голодной смерти. У человека здоровые руки, он трудолюбив и честен, готов работать — и для него нет работы: вот бедность, вот пауперизм, вот пролетариат! Здесь еще счастлив тот, кто может, с своею собакою и своими малолетними детьми, запрячь себя в телегу и босиком возить из-за Зальцбрунна во Фрейбург каменный уголь. Кто же не мо-

жет найти себе места собаки или лошади, тот просит милостыню. По его лицу, голосу и жестам видно, что он не нищий по ремеслу, что он чувствует весь ужас, весь позор своего положения: как отказать ему в зильбер-гроше, а, между тем, как же и давать всем им, когда их гораздо больше, нежели сколько у меня в кармане пфенигов. Страшно!

Был я в Дрезденской галерее и видел Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский. По-моему, в ее лице так же нет ничего романтического, как и классического. Это не мать христианского бога: это аристократическая женщина, дочь царя, *idéal sublime du comme il faut*<sup>3</sup>. Она глядит на нас не то, чтобы с презрением, — это к ней не идет, она слишком благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением, даже людей, она глядит на нас не как на каналий: такое слово было грубо и нечисто для ее благородных уст; нет, она глядит на нас с холодною благосклонностию, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас. Младенец, которого она держит на руках, откровеннее ее: у ней едва заметна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь рот дышит презрением к нам, ракалиям. В глазах его виден не будущий бог любви, мира, прощения, спасения, а древний ветхозаветный бог гнева и ярости, наказания и кары. Но что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний! Не даром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре. Понравилась мне сильно картина Микель-Анджело — Леда в минуту сообщения с лебедем; не говоря уже о ее теле (особенно *les fesses*), в лице ее удивительно схвачена мука, смерть наслаждения. Понравилось и еще кое-что, но обо всем писать не хочется.

Еду в Париж и вперед знаю, что буду там скучать. При том же, чорт знает, что мне за счастье! В Питере, перед выездом, я только и слышал, что о шайке воров с Тришатным и Добрышиным во главе<sup>4</sup>, при приезде в Париж только и буду слышать, что о воре Тесте<sup>5</sup> и других ворах, конституционных министрах, только подозреваемых, но не уличенных еще воров Эмилем Жирарденом. О, tempo! о, mores!<sup>6</sup> О, XIX век! О, Франция — земля позора и унижения! Ее лицо теперь — плевальница для всех европейских государств. Только ленивый не бьет по щекам ее. Недавно была португальская интервенция, а скоро, говорят, будет швейцарская, которая принесет Франции еще больше чести, нежели первая.

Прочел я книгу Луи Блана<sup>7</sup>. Этому человеку природа не отказала ни в голове, ни в сердце; но он хотел их увеличить собственными средствами, — и оттого у него, вместо великой головы и великого сердца, вышла раздутая голова и раздутое

сердце. В его книге много дельного и интересного: она могла бы быть замечательно хорошею книгою; но Блашка умел сделать из нее прескучную и препошлую книгу. Людовик XIV унизил, видишь, монархизм, эмансипировавши церковь во Франции от Рима! О, лошадь! Буржуази у него еще до сотворения мира является врагом человечества и конспирирует против его благосостояния, тогда как по его же книге выходит, что без нее не было бы той революции, которою он так восхищался, и что ее успехи — ее законное приобретение. Ух, как глуп — мочи нет! Теперь читаю Ламартинишку<sup>8</sup>, и не знаю, почему он на одной странице говорит умные и хорошо выраженные вещи о событии, а на другой спешит наболтать глупостей, явно противоречащих уже сказанному, — потому ли, что он умен только вполчину, или потому, что, надеясь когда-нибудь попасть в министры, хочет угодить всем партиям. Надоели мне эти ракалии: плачу от скуки и досады, а читаю!

Я кончил мой курс вод и немного поправился. Но, как говорят, вода на многих действует гораздо после того, как ее пьют, надеюсь еще больше поправиться. Во всяком случае, по приезде в Париж, тотчас же обращусь к знаменитому Тира де Мальмор.

Жена писала ко мне, что Краевский в Москве и остановился у тебя. Поздравляю тебя с новым другом. Найти на земле друга — великое дело, как об этом не раз так хорошо говорил Шиллер, особенно друга с чувствительным сердцем, такого, одним словом, как А. А. Краевский. Говорят, дела сего кровопийцы, высосавшего из меня остатки моего здоровья, плохи, и его все оставляют. Если правда, я рад, ибо от души желаю ему всего скверного, всякой пакости. Прощай, Боткин. Кланяйся всем нашим — Кавелину, Грановскому, Коршу, Кетчеру, Щепкину и пр. и пр.

В. Б.<sup>9</sup>

## К В. П. БОТКИНУ. ДЕКАБРЬ 1847

(Отрывок)

Спб. 1847, декабрь<sup>1</sup>

Теперь о письмах Герцена. Впечатление, которое они произвели на Корша, Грановского, тебя и других москвичей, доказывает мне только отсутствие у вас, москвичей, той терпимости, которую вы считаете главною вашею добродетелью. В твоём отзыве я, действительно, вижу еще что-то похожее на терпимость: ты хоть не сердись на письма за то, что они думают не по-твоему, а по-своему, не краснеешь, как Корш, и не называешь ерническим тоном того, что надо по-настоящему называть шуткою, острою, отсутствием педантизма и семинаризма. Ты, по-моему, не прав только в том отношении, что не

хотел признать ничего хорошего во взгляде и мнении, противоположном твоим. Эти письма, особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства<sup>2</sup>. Если и есть в письмах Герцена преувеличение — боже мой — что ж за преступление — и где совершенство? Где абсолютная истина? Считать же взгляд Герцена неоспоримо ошибочным, даже не стоящим возражения — не знаю, господа, может быть, вы и правы, но я что-то слишком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости. Я не говорю, что взгляд Герцена безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми. Но я знаю, что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором, напомнило времена регентства, управление Дюбуа, продававшего Францию Англии, и породило оргию промышленности. Все в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости. Взгляни на литературу — что это такое? Все, в чем блещут искры жизни и таланта, все это принадлежит к оппозиции — не к паршивой парламентской оппозиции, которая, конечно, несравненно ниже даже консервативной партии, а к той оппозиции, для которой bourgeoisie — сифилитическая рана на теле Франции. Много глупостей в ее анафемах на bourgeoisie, — но зато только в этих анафемах и проявляется и жизнь, и талант. Посмотри, что делается на театрах парижских. Умная, тщательная постановка, прекрасная игра актера, грация и острота французского ума прикрывают тут пустоту, ничтожность, пошлость. Искусство напоминает о себе только Рапеллю и Расином, а не то напомнит его иногда своими «Ветошниками» при помощи Леметра какой-нибудь Феликс Пиа, человек вовсе без таланта, но достигающий таланта силою (à force) ненависти к буржуази. Герцен не говорил, что прокуроры французские — шуты и дураки, но только распространился о поступке одного прокурора (при процессе Бовалонова секунданта), поступке, достойном шута, дурака да еще и подлеца вдобавок<sup>3</sup>. Этот факт им не выдуман — он во всех журналах французских. Кстати, о французских журналах, из известий которых будто бы Герцен спивает свои письма: это упрек до того смешной, что серьезно и отвечать на него не стоит. Да разве можно сказать о Франции какой-нибудь факт, о котором бы уже не было говорено во французских журналах? Дело не в этом, а в том, как отразился этот факт в личности автора, как изложен им. Касательно последнего пункта Герцен и в своих письмах остается, как и во всем, что ни писал он, человеком с талантом, и читать его письма — наслаждение даже и для тех, кто замечает в них преувеличение, или не совсем согласен

с автором во взгляде. А то, пожалуй, вон г. Арапетов и о письмах Анненкова отозвался с презрением, как о компиляции из фельетонов парижских журналов<sup>4</sup>. А что касается до Н. Ф. Павлова, то, вместо писем о Париже с Сретенского бульвара, я бы посоветовал ему позаняться третьим письмом к Гоголю, да на этом уж и кончить, так как дальше идти ему, видимо, не суждено провидением. Когда мы получили в Париже тот № «Современника», где IV-е письмо, я захохотал, а Герцен пресерьезно остановил меня замечанием, что, верно, 3-е письмо не пропущено цензурою. Я даже покраснел от нелепости моего предположения. Но, воротясь в Питер, я узнал, что я был прав, и что, в отношении к литературе, как и многому другому, москвичи, действительно, находятся на особых правах у здравого смысла, и смело могут издать сперва конец, потом середину, а *наконец* — начало своего сочинения<sup>5</sup>.

Я согласен, что одною буржуази нельзя объяснить à fond<sup>6</sup> и окончательно гнусного, позорного положения современной Франции, что это вопрос страшно сложный, запутанный, и прежде всего и больше всего — исторический, а потом уже, какой хочешь — нравственный, философский и т. д. Я понимаю, что буржуази явление не случайное, а вызванное историею, что она явилась не вчера, словно гриб выросла, и что, наконец, она имела свое великое прошедшее, свою блестящую историю, оказала человечеству величайшие услуги. Я даже согласился с Анненковым, что слово bourgeoisie не совсем определенно по его многоместительности и эластической растяжимости. Буржуа и огромные капиталисты, управляющие так блистательно судьбами современной Франции, и всякие другие капиталисты и собственники, мало имеющие влияния на ход дел и мало прав, и, наконец, люди, вовсе ничего не имеющие, т.-е. стоящие за цензом. Кто же не буржуа? — Разве оувриер<sup>7</sup>, орошающий собственным потом чужое поле. Все теперешние враги буржуази и защитники народа так же не принадлежат к народу и так же принадлежат к буржуази, как и Робеспьер и Сен-Жюст. Вот с точки зрения этой неопределенности и сбивчивости в слове буржуази письма Герцена sont attaquables<sup>8</sup>. Это ему тогда же заметил Сазонов, сторону которого принял Анненков против Мишеля<sup>9</sup> (этого немца, который родился мистиком, идеалистом, романтиком и умрет им, ибо отказаться от философии еще не значит переменить свою натуру), и Герцен согласился с ними против него. Но, если в письмах есть такой недостаток, из этого еще не следует, что они дурны. Но это в сторону. Итак, не на буржуази вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции. Она в их руках, а этому-то бы и не следовало быть. Средний класс всегда является великим в борьбе, в преследовании и достижении своих целей. Тут он и великодушен, и хитер, и герой, и эгоист, ибо действуют, жертвуют и гибнут из него

избранные, а плодами подвига или победы пользуются все. В среднем сословии сильно развит *esprit de corps*<sup>10</sup>. Оно удивительно смысленно и ловко действовало во Франции и, правду сказать, не раз эксплуатировало народом; подожжет его, да потом и выпшет Лафайета и Балли расстреливать пушками его же, т.-е. народ же. В этом отношении основной взгляд на буржуази Луи Блана не совсем неоснователен, только доведен до той крайности, где всякая мысль, как бы ни справедлива была она в основе, становится смешною. Кроме того, он выпустил из виду, что буржуази в борьбе и буржуази торжествующая — не одна и та же, что начало ее движения было непосредственное, что тогда она не отделяла своих интересов от интересов народа. Даже и при *Assemblée Constituante*<sup>11</sup> она думала вовсе не о том, чтобы успокоиться на лаврах победы, а о том, чтобы упрочить победу. Она выхлопотала права не одной себе, но и народу: ее ошибка была сначала в том, что она подумала, что народ с правами может быть сыт и без хлеба; теперь она сознательно ассервировала народ голодом и капиталом, но ведь теперь она — буржуази не борющаяся, а торжествующая. Но это все еще не то, что хочу я сказать тебе, а только предисловие к тому, не сказка, а присказка. Вот сказка: я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов, это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят. Торгаш есть существо, по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное, ибо он служит Плутусу, а этот бог ревнивее всех других богов и больше их имеет право сказать: кто не за меня, тот против меня. Он требует себе человека всего, без раздела, и тогда щедро награждает его; приверженцев же неполных он бросает в банкротство, а потом в тюрьму, а наконец, в нищету. Торгаш — существо, цель жизни которого нажива, поставить пределы этой наживе невозможно. Она, что морская вода: не удовлетворяет жажды, а только сильнее раздражает ее. Торгаш не может иметь интересов, не относящихся к его карману. Для него деньги не средство, а цель, и люди — тоже цель; у него нет к ним любви и сострадания, он свирепее зверя, неумолимее смерти, он пользуется всеми средствами: детей заставляет гибнуть в работе на себя, прижимает пролетария страхом голодной смерти (т.-е. сечет его голодом, по выражению одного русского помещика, с которым я встретился в путешествии), снимает за долг рублище с нищего, пользуется разворотом, служит ему и богатеет от бедняков...

Обращаясь к торгашам, надо заметить, что человека искажает всякая дурная овладевшая им страсть, и что, кроме наживы, таких страстей много. Так, но эта едва ли не самая подлая из страстей. А потом она дает *esprit de corps* и тон всему

сословию. Каково же должно быть такое сословие? И каково государству, когда оно в его руках? В Англии средний класс много значит — нижняя палата представляет его; а в действиях этой палаты много величавого, а патриотизма просто бездна. Но в Англии среднее сословие контрабалансируется аристократиею, оттого английское правительство столько же государственно, величаво и славно, сколько французское либерально, низко, пошло, ничтожно и позорно. Кончится время аристократии в Англии — народ будет контрабалансировать среднему классу; а не то — Англия представит собою, может быть, еще более отвратительное зрелище, нежели какое представляет теперь Франция. Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуази — зло, что ее надо уничтожить, что только без нее все пойдет хорошо. Так думает наш немец — Мишель, так, или почти так, думает Луи Блан. Я с этим соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса, а как пока я видел только, что государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу заниматься решением а priori такого вопроса, который может быть решен только опытом. Пока буржуази есть и пока она сильна, я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом. Я согласен, что даже и отверженная порода капиталистов должна иметь свою долю влияния на общественные дела; но горе государству, когда она одна стоит во главе его!..

# ПИСЬМО Н. В. ГОГОЛЮ

3 июля 1847г.<sup>1</sup>



Вы только отчасти правы, увидев в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение вашей книги. Но вы вовсе неправы, приписавши это вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если бы все дело заключалось в нем, но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя молчать, когда под покровом религии и защитой кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истину и добродетель.

Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. — Говорю это не потому, чтобы я считал любовь свою наградою великого таланта, а потому, что в этом отношении я представляю не одно, а множество лиц, из которых ни вы, ни я не видали самого большого числа, и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали вас. Я не в состоянии дать вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила ваша книга во всех благородных сердцах, ни о тех воплях дикой радости, которые издали при появлении ее все враги ваши, и нелитературные — Чичиковы, Ноздревы, городничие... и литературные, которых имена хорошо вам известны. Вы видите сами, что от вашей книги отступились даже люди, повидимому, одного духа с ее духом. Если бы она и была написана вследствие глубокого, искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И, если ее приняли все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтобы не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур нецеремонную проделку для достижения небесным путем чисто земной цели, — в этом виноваты только вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что вы

находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого вы так неудачно приняли на себя в вашей фантастической книге. И это не потому, чтобы вы не были мыслящим человеком, а потому, что столько уже лет привыкли смотреть на Россию из вашего *прекрасного далека*<sup>2</sup>, а ведь известно, что нет ничего легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому что в этом *прекрасном далеке* вы живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с вами настроенного и бессильного противиться вашему на него влиянию. Поэтому вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, — права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр не человек: страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей! Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами, и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостного кнута треххвостною плетью<sup>3</sup>.

Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия<sup>4</sup> в ее апатическом сне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на самое себя, как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, учит их ругать побольше... И это не должно было привести меня в негодование?.. Да, если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, как за эти позорные строки... И после этого вы хотите,

чтобы верили искренности направления вашей книги! Нет! если бы вы действительно преисполнились истиною Христовою, а не дьяволова учения, — совсем не то написали бы в вашей новой книге. Вы сказали бы помещику, что, так как его крестьяне — его братья о Христе; а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хотя, по крайней мере, пользоваться их трудами, как можно выгоднее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним.

А выражение: «*Ах, ты, неумытое рыло!*» Да у какого Ноздрева, у какого Собакевича подслушали вы его, чтобы передать миру, как великое открытие в пользу и назидание мужиков, которые и без того потому не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли вы в глупой поговорке, что должно пороть и правого и виноватого? <sup>5</sup> Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще <sup>6</sup> всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления, и другая поговорка говорит тогда: *без вины виноват!* И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления! Не может быть! Или вы больны — и вам надо спешить лечиться <sup>7</sup>, или... не смею досказать моей мысли!..

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что вы делаете! Взгляните себе под ноги — ведь вы стоите над бездною!.. Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем вы примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем продолжает быть и до сих пор. Но смысл Христова слова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием насмешки погасивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, более сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все ваши попы, архиереи, митрополиты, патриархи! Неужели вы этого не знаете! Ведь это теперь не новость для всякого гимназиста... А потому неужели вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели вы искренно, от души пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, вы не знаете, что второе когда-

то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадю, попову дочь и попова работника. Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скудости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе кое-где<sup>8</sup>. Он говорит об образе: *годится — молиться, а не годится — горшки покрывать*.

Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко-атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но религиозность часто уживается и с ними<sup>9</sup>, живой пример Франция, где и теперь много искренних католиков между людьми просвещенными и образованными, и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков; мистическая экзальтация не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме, и вот в этом-то, может быть, огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не прививалась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных исключительных личностей, отличавшихся такою холодной аскетическою созерцательностью, ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, схоластическим педантством да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме, его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к вам по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да — и выгодно), только продолжайте благоразумно созерцать его из вашего *прекрасного далека*: вблизи-то оно не так красиво<sup>10</sup> и не так безопасно... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух, он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим беззакония сильных земли. У нас же наоборот: постигает человека

(даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania*<sup>11</sup>, он тотчас же земному богу подкурит более, нежели небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы его наградить за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в вашей книге вы утверждаете за великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. — Что сказать вам на это? Да простит вас ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, вы не знали, что говорили... Но, может быть, вы скажете: «Положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь<sup>12</sup>, но почему же отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» Потому, отвечаю я вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в вашей книге более ума и даже таланта (хотя и того<sup>13</sup> и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; но зато они развили общее им с вами учение с большей энергией и большей последовательностью, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как вы, желая поставить по свечке и тому и другому, впали в противоречие, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театры, которые с вашей точки зрения, если бы вы только имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее гибели... Чья же голова могла переварить мысль о тождественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что ваша книга есть плод умственного расстройтва, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения — ясно, что книга писана не день, не неделю, не месяц, а, может быть, год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержавшим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде в Петербурге сделалось известным письмо ваше к Уварову, где вы говорите с огорчением, что вашим сочинениям о России дают превратный толк, затем обнаруживаете неудовольствие своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда ими будет доволен царь<sup>14</sup>. Теперь судите сами, можно ли удивляться тому, что

ваша книга уронила вас в глазах публики и как писателя, и еще более, как человека?..

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтено, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви! И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талантом и менее горькие правды высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от того не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права, она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольствия скажу вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, — мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. И действительно, она памятнее теперь

всеми статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, инстинкт истины.

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно, но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. — Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей, и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением, может быть плодом или гордости или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом в вашей книге вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам сам себя, возбуждает презрение. Нет, вы только омрачены, а не просветлены; вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнию смерти, чорта и ада веет от вашей книги!

И что за язык, что за фразы? — «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек», — неужели вы думаете, что сказать *всяк* вместо *всякий* — значит выражаться библейски? Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант. Не будь на вашей книге выставлено вашего имени, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная пумиха слов и фраз — произведение автора «Ревизора» и «Мертвых душ».

Что же касается до меня лично, повторяю вам: вы ошиблись, сочтя мою статью выражением досады за ваш отзыв обо мне, как об одном из ваших критиков. Если бы только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно, беспристрастно. А это правда, что ваш отзыв о ваших почитателях вдвойне не хорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но вы имели в виду людей, если не с отличным умом, то все же и не глупцов<sup>15</sup>. Эти люди в своем удивлении к вашим творениям наделали, быть может, гораздо больше

восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к вам выходит из такого чистого и благородного источника, что вам вовсе не следовало бы выдавать их главою<sup>16</sup> общим их и вашим врагам, да еще вдобавок обвинять их в намерении дать какой-то превратный толк вашим сочинениям<sup>17</sup>. Вы, конечно, сделали это по увлечению главной мысли вашей книги и по неосмотрительности, а В[язем]ский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил вашу мысль и напечатал на ваших почитателей (стало быть, на меня всех более) частный донос<sup>18</sup>. Он это сделал, вероятно, в благодарность вам за то, что вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих»<sup>19</sup>. Все это нехорошо. А что вы ожидали только времени, когда вам можно будет отдать справедливость и почитателям вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением вашим врагам), этого я не знал; не мог, да, признаться, и не хотел бы знать. Передо мной была ваша книга, а не ваши намерения: я читал ее и перечитывал сто раз и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если бы я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого, и хотя вы всем и каждому печатно дали право писать к вам без церемоний, имея в виду одну правду<sup>20</sup>. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние «Шпекины» распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Нынешним летом начинающаяся чухотка прогнала меня за границу, [и Некрасов переслал мне ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж, через Франкфурт на Майне]<sup>21</sup>. Неожиданное получение вашего письма дало мне возможность высказать вам все, что лежало у меня на душе против вас по поводу вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить; это не в моей натуре. Пусть вы или само время докажет мне, что<sup>22</sup> я заблуждаюсь в моих об вас заключениях. Я первый порадуюсь этому, но не расскаюсь в том, что сказал вам. Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. — И вот мое последнее заключительное слово: если вы имели несчастье с гордым смирением отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги, и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние.

Зальцбрунн. 15 июля 1847 года

## КОММЕНТАРИИ

### ГЛАВНЕЙШИЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. Г. БЕЛИНСКОГО

1811. И ю н я 1. Родился Виссарион Григорьевич в Свеаборге в семье флотского врача.

1816. О к т я б р я 21. Отец Белинского уволился из морского ведомства и поступил на службу уездным врачом в город Чембар Пензенской губернии.

1823. В. Г. Белинский учится в Чембарском уездном училище.

1820—1825. Стихотворные опыты Белинского Чембарского периода.

1825. Белинский поступил в первый класс Пензенской гимназии.

1825—1829. Стихотворные и прозаические опыты Белинского гимназического периода.

1829. С е н т я б р я 21. Белинский поступил в Московский университет своекоштным студентом (Белинский, «Письма», под ред. Е. А. Ляцкого, Спб. 1914, стр. 2).

О к т я б р ь — д е к а б р ь. Белинский жаловался в письмах к родителям на тяжелое материальное положение. Он подал прошение о переводе его в число казеннокоштных студентов («Письма», т. I, стр. 5—6).

1830. С е н т я б р я 24. В письме к родителям Белинский жаловался на «каторжный, проклятый казенный кошт» («Письма», т. I, стр. 24).

1830—1831. Белинский написал драму «Дмитрий Калинин», в которой жестоко критиковал ужасы крепостного права.

1831. Ф е в р а л я 17. Белинский известил родителей, что цензурный комитет, состоявший из профессоров университета, признал его драму талантливой, но «безнравственной, позорящей честь университета». Эта оценка произвела на него ошеломляющее впечатление. Он заболел («Письма», т. I, стр. 29—32).

М а я 27. Ц ен з. разр. журнала «Листок», № 40—41. Произведение Белинского: «Русская быль».

И ю н я 10. Ц ен з. разр. журнала «Листок», № 45. Рецензия Белинского: О «Борисе Годунове», соч. А. С. Пушкина.

1832. С е н т я б р ь. Белинский был исключен из университета с мотивировкой «по слабости здоровья» и «по ограниченности способностей». Истинной причиной исключения была драма «Дмитрий Калинин».

1833. М а р т. Белинский познакомился с Н. И. Надеждиным и стал сотрудничать в его изданиях: в «Телескопе» и «Молве» (А. Н. Пыпин, «Белинский», т. I, стр. 75—76).

1834. С е н т я б р ь — д е к а б р ь. В «Молве» была напечатана статья Белинского: «Литературные мечтания».

Н о я б р ь — д е к а б р ь. И. И. Лажечников устроил Белинского домашним секретарем у богатого барина А. М. Полторацкого, который печатался под именем Дормедонта Прутикова. Секретарь должен был исправлять «грамматические и другие погрешности в сочинениях его превосходительства». За это он обеспечивался всеми житейскими благами. Но Белинский недолго пользовался этими благами. В одно утро он неожиданно исчез из дома, оставив «его превосходительству» записку, в которой извинялся, что он «не сроден к должности домашнего секретаря» (А. Н. Пыпин, «Белинский», т. I, стр. 84—85).

1835. Апрель — декабрь. Во время сборов и пребывания Н. И. Надеждина за границей во главе «Телескопа» и «Молвы» стоял Белинский, которому «понемногу» помогали все члены кружка Станкевича («Переписка Н. В. Станкевича», М. 1914, стр. 325).

Сентября 1 и 21. Ценз. разр. «Телескопа», т. XXVI, № 7 и 8. Статья Белинского: «О русской повести и повестях Гоголя».

Ноября 24. Ценз. разр. «Телескопа», т. XXVII, Статья Белинского: «Стихотворения Владимира Бенедиктова».

Декабря 4. Ценз. разр. «Телескопа», т. XXVII. Статья Белинского: «Стихотворения Кольцова».

1836. Января 2, февраля 22, марта 5 и 17. Ценз. разр. «Телескопа», т. XXXI. Статья Белинского: «Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы».

Марта 21, апреля 17. Ценз. разр. «Телескопа», т. XXXII, № 5 и 6. Статья Белинского: «О критике и литературных мнениях «Московского Наблюдателя».

Весна. Белинский познакомился в Москве с М. А. Бакуниным.

Мая 27. Пушкин писал П. В. Нащокину: «Экз. «Современника»... пошли от меня Белинскому (тихонько от «Наблюдателей», НВ.) и вели сказать ему, что очень сожалею, что с ним не успел увидеться».

Вторая половина августа — середина ноября. Белинский гостил у Бакуниных в Прямухине. В конце августа и в первой половине сентября М. А. Бакунин познакомил здесь Белинского с философией Фихте.

Октябрь. Время выхода журнала «Телескоп», т. XXX, № 24. Статья Белинского: «Опыт системы нравственной философии», соч. А. Дроздова.

Октября 22. Царским правительством, за напечатание в «Телескопе» «Философического письма» П. Я. Чаадаева, запрещены «Телескоп» и «Молва». Белинский остался без литературного пристанища (М. Лемке, «Николаевские жандармы», Спб. 1909, стр. 413).

Ноября 15. Белинский, в связи с запрещением «Телескопа» и «Молвы», при возвращении из Прямухина в Москву был задержан на заставе и представлен обер-полицеймейстеру, но «при тщательном осмотре всего в имуществе Белинского ничего сумнительного не оказалось» (М. Лемке, «Николаевские жандармы», Спб. 1909, стр. 423).

Ноябрь. У Белинского по возвращении из Прямухина завязалась тесная дружба с В. П. Боткиным («Письма», т. I, стр. 291).

1837. Январь — февраль. Белинский представил попечителю Московского учебного округа написанную им грамматику в надежде, что она будет одобрена для школ и напечатана на казенный счет. Грамматика не была одобрена. Белинский напечатал ее на свой счет (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 79—185 и 511—515).

Мая 5. Белинский с А. П. Ефремовым выехал из Москвы на Кавказ для лечения («Переписка Н. В. Станкевича», М. 1914, стр. 528).

Лето. В Пятигорске Белинский познакомился, часто встречался и спорил с Лермонтовым («Воспоминания Н. М. Сатина». См. сборник «Почин», М. 1895).

Августа 7. Белинский написал из Пятигорска известное своим философским и социально-политическим содержанием письмо к Д. П. Иванову.

Сентября 1 или 2. Белинский выехал с Кавказа в Москву («Письма», т. I, стр. 104 и 129).

Вторая половина сентября — октябрь. М. Н. Катков познакомил Белинского с эстетикой Гегеля («Письма», т. I, стр. 348).

Вторая половина ноября — декабрь. Бакунин поселился в квартире Белинского и познакомил его с философией религии и права Гегеля («Письма», т. I, стр. 348—349).

1838. Марта 10. Белинский взял место преподавателя по русскому языку в двух старших классах Константиновского межевого института

с окладом 1300 руб. в год, предложенное ему директором института С. Т. Аксаковым («Русская Старина», 1900, кн. V, стр. 417).

Апрель. Белинский встал во главе журнала «Московский Наблюдатель», который с этого времени сделался органом русских гегельянцев, входивших в кружок Станкевича.

Апреля 11—июня 22. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. XVI, март, кн. 1 и 2; апрель, кн. 1. Статья Белинского: «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.

Июня 22. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. XVI, апрель. Статья Белинского: «Литературная хроника».

Июля 5—15. Белинский гостил в Прямухино у Бакунина («Письма», т. I, стр. 258).

Июля 11. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. XVII, май, кн. I. Статья Белинского: «Гамлет, принц датский», соч. Шекспира. Перевод Н. Полевого.

Сентября 10. Белинский сообщил М. А. Бакунину о своем знакомстве с П. Я. Чаадаевым («Письма», т. I, стр. 255).

Сентября 24. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. XVIII, июль, кн. I. Статья Белинского: «Сочинения Николая Греча».

Ноября 1. Белинский оставил место преподавателя в Константиновском межевом институте («Русская Старина», 1900, кн. V, стр. 422).

Ноября 16. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. XVIII, июль, кн. 2. Статья Белинского: «Полное собрание сочинений Д. И. Фон-Визина. «Юрий Милославский», соч. М. Загоскина».

1839. Января 1. Ценз. разр. «Московского Наблюдателя», т. I, кн. I. Статья Белинского: «Ледяной дом». «Басурман». Соч. И. И. Лажечникова».

Января 27. На сцене в бенефис М. С. Щепкина шла драма Белинского «Пятидесятилетний дядюшка» (А. Н. Пыпин, «Белинский», т. I, стр. 251).

Начало июля. Белинский оставил «Московский Наблюдатель» на произвол судьбы и договорился с А. А. Краевским о сотрудничестве в «Отеч. Записках» и «Литературных прибавлениях к «Русскому Инвалиду» («Письма», т. I, стр. 319—320).

Вторая половина июля—первая половина августа. Белинский болел и пережил острую материальную нужду, во время которой его поддерживали К. С. Аксаков и И. Е. Великопольский («Письма», т. I, стр. 328 и 331—332).

Сентябрь. Встречи Белинского с Т. Н. Грановским, вернувшимся из Германии («Письма», т. I, стр. 337—338).

Октябрь 23—24. Белинский переехал в Петербург.

Ноябрь. Белинский имел в Петербурге две встречи с Гоголем.

Декабря 14. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. VII, № 12. Статья Белинского: «Очерки Бородинского сражения», соч. Ф. Глинки.

Вторая половина декабря. Белинский встретился в Петербурге с А. И. Герценом (А. И. Герцен, «Полное собрание сочинений», под ред. М. К. Лемке, т. XIII, стр. 245).

1840. Января 14. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. VIII, № 1. Статья Белинского: «Менцель, критик Гете». — «Горе от ума», ком. А. С. Грибоедова». — «Очерки русской литературы», соч. Н. А. Полевого».

Около 14 февраля. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. VIII, № 2. Статья Белинского: «Полное собрание сочинений А. Марлинского».

Марта 14. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. IX, № 3. Статья Белинского: «Подарок на новый год. Две сказки Гофмана. Детские сказки Дедушки Иринея».

Март—первая половина апреля. Белинский посетил Лермонтова в ордонанс-гаузе. В письме к В. П. Боткину критик писал, что Лермонтов произвел на него глубокое впечатление («Письма», т. II, стр. 108).

Май—июнь. Состоялось свидание и примирение Белинского с А. И. Герценом (А. И. Герцен, «Полное собрание сочинений», под ред. М. К. Лемке, т. XIII, стр. 246—247).

Мая 14. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. X, № 5. Рецензия Белинского «Басни Ивана Крылова».

Около 14 июня и 14 июля. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. X, № 6; т. XI, № 7. Статья Белинского: «Герой нашего времени», соч. М. Лермонтова».

Октября 4. В письме к В. П. Боткину Белинский проклинал свое временное примирение с «гнусной действительностью» («Письма», т. II, стр. 163).

Ноября 14. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XIII, № 11. Статья Белинского: «Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова».

1841. Января 1. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XIV, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1840 году».

Около 1 февраля. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XIV, № 2. Статья Белинского: «Стихотворения М. Лермонтова».

Февраля 28. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XV, № 3. Статьи Белинского: «Разделение поэзии на роды и виды». — «Собрание стихотворений Ивана Козлова».

Февраль. Белинский писал, но не закончил статью «Идея искусства».

Марта 1. В письме к В. П. Боткину Белинский высказался против «абсолютности результатов» философии Гегеля («Письма», т. II, стр. 212—213).

Апреля 1 и 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XV, № 4; т. XVI, № 5. Две статьи Белинского о трудах И. И. Голикова, В. Бергмана и Г. Кошкина. Вторая статья была изуродована цензурой («Письма», т. II, стр. 250).

Май—сентябрь. Белинский вел занятия по русскому языку с кантонистами, состоявшими при художественных заведениях («Историч. Вестник», 1911, т. X, стр. 229—230).

Июня 28. Письмо Белинского к Боткину, в котором критик писал о своем страстном увлечении идеями робеспьеризма и утопического социализма («Письма», т. II, стр. 246—249).

Около 30 июля. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XVII, № 8. Статья Белинского: «Римские элегии», соч. Гете, перевод Струговщикова».

Августа 30, сентября 30 (около), октября 31 и декабря 1 (около). Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XVIII, № 9 и 10; т. XIX, № 11 и 12. Четыре статьи Белинского о трудах: «Древние российские стихотворения», собранные Киршею Даниловым; «Древние российские стихотворения», собранные М. Сухановым; «Сказания русского народа», собранные И. Сахаровым, и «Русские народные сказки».

Около 19—20 декабря. Белинский выехал в Москву, откуда вернулся в январе 1842 г. («Письма», т. II, стр. 274, 276 и 308).

Декабря 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XX, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1841 году». — Министр народного просвещения Уваров нашел, что тон этой статьи Белинского «не хорош» («Письма», т. II, стр. 303).

В этом году Белинский познакомился с Н. А. Некрасовым.

1842. Февраля 28. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXI, № 3. Статьи Белинского: «Стихотворения Аполлона Майкова». — «Педант. Литературный тип».

Около 30 марта. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXI, № 4. Статья Белинского о книге Фридриха Лоренца: «Руководство к всеобщей истории».

Апрель. Письмо Белинского к В. П. Боткину. Белинский утверждал, что «тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснотушной Жиронды», что социальный идеал будет осуществлен «обоюдо-острым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов» («Письма», т. II, стр. 305).

Апреля 20. Письмо Белинского к В. П. Боткину. Белинский надеялся «к будущей весне» выпустить книгу «История русской литературы и хрестоматия» в числе 3 000 экземпляров («Письма», т. II, стр. 306).

Апреля 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXII, № 5. Статьи Белинского: «Стихотворения А. Полежаева». — «Кесари», соч. Ф. де-Шампаньи».

Июня 30 и около 30 июля. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXIII, № 7 и 8. Статьи Белинского: «Похождения Чичикова или Мертвые души», поэма Гоголя». — «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (Константина Аксакова).

Августа 1, около 30 сентября и октября 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXIV, № 9 и 10; т. XXV, № 11. Статьи Белинского: «Речь о критике» А. Никитенка. Статьи 1, 2 и 3. — «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке». — «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души».

Около 30 ноября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXV, № 12. Статья Белинского: «Стихотворения Евгения Баратынского».

Декабря 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXVI, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1842 году». Белинский жаловался в письме к Боткину, что цензура из этой статьи «вырезала целый лист печатный — все лучшее» («Письма», т. II, стр. 331).

Май — декабрь. В Петербурге постепенно образовался кружок во главе с Белинским («Письма», т. III, стр. 444—451. — К. Д. Кавелин, Сочинения, т. III, стлб. 1085).

1843. Около 30 января. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXVI, № 2. Статья Белинского: «Сочинения Державина». Статья 1.

Январь — февраль. Белинский познакомился с И. С. Тургеневым («Письма», т. II, стр. 343, 357 и 360—361).

Февраля 28. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXVII, № 3. Статья Белинского: «Сочинения Державина». Статья 2. — По словам Белинского, эта статья была «страшно искажена» цензурой («Письма», т. II, стр. 357).

Апреля 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXVIII, № 5. Статьи Белинского: «Параша», рассказ в стихах Т. Л. (Тургенева). — «История Малороссии» Николая Маркевича».

Около 30 мая. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXVIII, № 6. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 1.

Июнь — август. Белинский жил в Москве. В этот же период он заезжал в Прямухино к Бакуниным и посетил А. И. Герцена в Покровском.

Августа 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXX, № 9. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 2. По словам Белинского, эта статья «наделала шуму» («Письма», т. III, стр. 12).

Около 30 сентября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXX, № 10. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 3.

Октября 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXI, № 11. Статья Белинского: «Сочинения Зенеиды Р — вой».

Ноября 12. Белинский женился на М. В. Орловой.

Около 30 ноября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXI, № 12. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 4.

Декабря 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXII, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1843 году».

1844. Января 1 и 8. Ценз. разр. «Литературной Газеты» № 1 и 2. Две статьи Белинского: «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году».

Около 30 января. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXII, № 2. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 5.

Февраля 29. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXIII, № 3. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 6.

Около 30 марта. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXIII, № 4. Статья Белинского: «Парижские тайны» Е. Сю».

Апреля 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXIV, № 5. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 7.

Августа 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXVI, № 9. Статья Белинского о книге С. Смарагдова: «Руководство к познанию новой истории».

Около 30 сентября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXVI, № 10. Статья Белинского: «Сочинения князя В. Ф. Одоевского».

Октября 1. А. В. Никитенко отметил в своем «Дневнике», что министр народного просвещения С. С. Уваров «ужасно вооружен» против «Отеч. Записок», главным сотрудником которых был Белинский, за их «дурное направление — социализм, коммунизм и т. д.» (А. В. Никитенко, «Записки и дневники», т. I, Спб. 1905, стр. 355).

Ноября 2. Ценз. разр. «Физиологии Петербурга», под ред. Н. А. Некрасова, ч. II. Статьи Белинского: Вступление (к «Физиологии Петербурга»). — «Петербург и Москва».

Около 30 ноября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXVII, № 12. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 8.

Декабря 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXVIII, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1844 году».

1845. Января 2. Ценз. разр. «Физиологии Петербурга», под ред. Н. А. Некрасова, ч. II. Статьи Белинского: «Александринский театр». — «Петербургская литература».

Января 26. Письмо Белинского к А. И. Герцену, в котором он сообщает, что прочел «Парижский Ярбюхер» (в нем были помещены статьи Маркса и Энгельса. В словах «бог и религия» он увидел «тьму, мрак, цепи и кнут» и сожалел, что нельзя было этой истины «популяризировать и обнародовать» («Письма», т. III, стр. 87).

Января 31 (около). Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXVIII, № 2. Статья Белинского: «Иван Андреевич Крылов».

Февраля 28. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XXXIX, № 3. Статьи Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 9.

Около 30 мая. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XL, № 6. Статья Белинского: «Тарантас», соч. графа В. А. Соллогуба».

Июня 13. У Белинского родилась дочь Ольга.

Июня 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLI, № 7. Статья Белинского: «Опыт истории русской литературы», соч. А. Никитенка».

Августа 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLII, № 9. Статья Белинского: «Сто русских литераторов».

Октября 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок»; т. XLIII, № 11. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 10.

Около 30 ноября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLIII, № 12. Статья Белинского: «Упрощение русской грамматики», соч. К. М. Кюдинского».

Декабря 31. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLIV, № 1. Статья Белинского: «Русская литература в 1845 году».

1846. Января 2. Письмо Белинского к А. И. Герцену. Критик «твердо» решил оставить «Отеч. Записки». «Журнальная срочная работа — писал он — высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь... Она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер». Краевский — «вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, а потом бросить его за окно, как выжатый лимон». К пасхе Белинский намеревался издать «толстый, огромный альманах» и кончить первую часть «Истории русской литературы». Он просил А. И. Герцена уступить для альманаха вторую часть повести «Кто виноват?» («Письма», т. III, стр. 88—92).

Января 12. Ценз. разр. «Петербургского сборника», изданного Н. А. Некрасовым. Статья Белинского: «Мысли и заметки о русской литературе».

Января 14. Письмо Белинского к А. И. Герцену. Критик жаловался: «Ах, братцы, плохо мое здоровье — беда!.. Страшно оставить жену и дочь без куска хлеба... Не могу повернуться на стуле, чтобы не задохнуться от истощения...» Краевский — «не человек, а дьявол» («Письма», т. III, стр. 93 и 95).

Февраля 5. Ценз. разр. книжки «Стихотворения Кольцова», изданной Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем. Спб. 1846. «Стихотворения» подготовлены к печати Белинским. Им предпослана статья критика: «О жизни и сочинениях Кольцова».

Февраля 7. Белинский послал А. А. Краевскому письмо с отказом от сотрудничества в «Отеч. Записках» («Письма», т. III, стр. 100).

Марта 20. Письмо Белинского к А. И. Герцену. Критик собрался путешествовать на юг вместе с М. С. Щепкиным. Материалы для его альманаха, названного им «Левиафаном», были почти собраны. В нем приняли участие Герцен, Некрасов, Панаев, Кудрявцев, Достоевский, Соловьев, Мельгунов, Боткин, Гончаров и др. Материалы, предназначавшиеся для альманаха, Белинский в октябре передал Некрасову для «Современника».

Около 30 марта. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLV, № 4. Статьи Белинского: «Николай Алексеевич Полевой». — «Воспоминания Фаддея Булгарина» (статья 1), которая почти целиком была запрещена цензурой, и только небольшая часть ее, в виде отрывка, была напечатана в «Смеси» «Отеч. Записок» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XII, стр. 548).

Апреля 26. Белинский с Н. А. Некрасовым выехали в Москву («Письма», т. III, стр. 111).

Апреля 30. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLVI, № 5. Статья Белинского: «Воспоминания Фаддея Булгарина» (статья 2). — Эта статья приписывалась и до сих пор некоторыми литературоведами ошибочно приписывается Н. А. Некрасову (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. В. С. Спиридонова, т. XIII, прим. 670 и 674).

Мая 16. Белинский с М. С. Щепкиным выехали из Москвы на юг («Письма», т. III, стр. 120).

Июня 22 — июля 12. Белинский жил в Одессе. Здоровье его «все лучше и лучше становилось» («Письма», т. III, стр. 132—143).

Июля 4. Письмо Белинского к А. И. Герцену. Критик предполагал написать статью о своих путевых впечатлениях («Письма», т. III, стр. 136—137).

Около 30 сентября. Ценз. разр. «Отеч. Записок», т. XLVIII, № 10. Статья Белинского: «Сочинения Александра Пушкина». Статья 11.

Середина октября. Белинский вернулся с юга в Петербург.

Около середины октября. Письмо Белинского к И. И. Панаеву, в котором он просил последнего немедленно возвращаться в Петербург, ехать к Плетневу и брать в аренду «Современник» («Письма», т. III, стр. 160).

Декабря 30. Ценз. разр. «Современника», т. I, № 1. Статья Белинского: «Взгляд на русскую литературу 1846 года».

1847. Около 30 января. Ценз. разр. «Современника», т. I, № 2. Статья Белинского: «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. Гоголя. В письме к В. П. Боткину Белинский жаловался на искажение статьи цензурой: «Никитенко так поправил одно место в моей статье о Гоголе, что я до сих пор хожу, как человек, получивший в обществе оплеуху» («Письма», т. III, стр. 165);

Февраля 17. Письмо Белинского к В. П. Боткину, в котором дана резкая критика философии О. Конта («Письма», т. III, стр. 173—176).

Февраля 26. Письмо Белинского к В. П. Боткину. О своей статье, посвященной книге Гоголя, и о самом Гоголе критик писал: «Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошо, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству... Гоголь совсем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану» («Письма», т. III, стр. 185).

Марта 8. Письмо Белинского к В. П. Боткину, в котором он признается: «Я — натура русская... Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока — эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость!» («Письма», т. III, стр. 196).

Апреля 3. В. П. Боткин сообщал А. А. Краевскому: «Белинский едет на воды. Я рад, что мне удалось собрать ему тысячи две на эту поездку. Его надо хоть на полгода оторвать и от литературы и от жены: он пад духом, а о теле и говорить нечего...» («Бумаги А. А. Краевского...», СПб. 1893, стр. 138—139).

Апреля 12. Белинский сообщил И. С. Тургеневу о смерти своего сына и добавил: «Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленной смертью» («Письма», т. III, стр. 199—200).

Мая 5. Белинский выехал на пароходе за границу («Письма», т. III, стр. 208 и 211).

Мая 9 (21). Белинский приехал в Штеттин, а затем в Берлин, где встретил его И. С. Тургенев («Письма», т. III, стр. 211).

Мая 16 (28) и 17 (29). Белинский с И. С. Тургеневым и Виардо осматривали Дрезденскую галерею («Письма», т. III, стр. 215).

Мая 22 (июня 3). Белинский с И. С. Тургеневым приехали в Зальцбрунн («Письма», т. III, стр. 211).

Мая 23 (июня 4). Белинский был у доктора и начал свой курс лечения («Письма», т. III, стр. 211).

Мая 29 (июня 10). В Зальцбрунн приехал П. В. Анненков, который при встрече едва узнал Белинского: перед ним стоял «в длинном сюртуке и с толстой палкой в руке... старик», организм которого был наполовину разрушен (Н. В. Анненков, «Литературные воспоминания», стр. 332).

Около 1 (13) июля. Белинский получил в Зальцбрунне письмо от Н. В. Гоголя, написанное по поводу отзыва критика о «Выбранных местах из переписки с друзьями». Прочитав письмо, Белинский «вспыхнул и промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся, — надо растолковать ему это — я буду ему отвечать» (П. В. Анненков, «Литературные воспоминания», стр. 355).

Июля 3 (15). Белинский закончил знаменитое письмо к Н. В. Гоголю, которое В. И. Ленин считал «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (Сочинения В. И. Ленина, т. XVII, стр. 341).

Июля 3 (15). Белинский с П. В. Анненковым выехали из Зальцбрунна в Дрезден («Письма», т. III, стр. 240).

Июля 7 (19). Письмо Белинского к В. П. Боткину, в котором дана яркая критика последствий капиталистической эксплуатации («Письма», т. III, стр. 243—246).

Июля 10 (22) и 16 (28). Оставив Дрезден, Белинский и П. В. Анненков побывали в Эйзенахе, во Франкфурте на Майне, в Майнце, Кельне и Брюсселе («Письма», т. III, стр. 247—248).

Июля 17 (29) — сентября 10 (22). Белинский жил в предместье Парижа и в самом Париже, где продолжал свое лечение. Здесь он все время вращался в кругу своих друзей и знакомых: А. И. Герцена и его жены, М. А. Бакунина, И. С. Тургенева, Н. В. Боткина, Н. И. Сазонова, m-me Виардо и др. Белинский был свидетелем и участником горячих споров о французской революции, ее деятелях и французской буржуазии, которые велись в кругу друзей. «Письма из Avenue Maignan» А. И. Герцена писались на его глазах. Здоровье Белинского значительно улучшилось («Письма», т. III, стр. 248—260 и 323—332).

Около 24 сентября. Белинский вернулся из-за границы в Петербург («Письма», т. III, стр. 291).

Октября 31. Ценз. разр. «Современника», т. VI, № 11. Статья Белинского: «Ответ «Москвитяину». — По словам Белинского, эта статья была «страшно изуродована цензурою» («Письма», т. III, стр. 297).

Ноября 4—8. Письмо Белинского к В. П. Боткину. Критик негодовал на московских друзей, которые принимали участие в «Отеч. Записках» и тем самым вредили «Современнику» («Письма», т. III, стр. 280).

Ноября 20. Письмо Белинского к П. А. Анненкову, в котором критик сообщал, что при переезде на новую квартиру он простудился, и у него открылись раны на легких («Письма», т. III, стр. 292).

Ноября 22. Письмо Белинского к К. Д. Кавелину, в котором В. Г. писал: «...я люблю русского человека и верю великой будущности России... Для меня Петр — моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России» («Письма», т. III, стр. 299—300).

Декабря 31. Ценз. разр. «Современника», т. VII, № 1. Статья Белинского: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Статья 1.

1848. Февраля 15. Письмо Белинского к П. В. Анненкову. Критик писал: «Я, батюшка, болен уже шестую неделю... Мучит сухой и нервический кашель, по поверхности тела пробегает озноб, а голова и лицо в огне, истощение сил страшное — еле двигаюсь по комнате. 2 № «Современника» вышел без моей статьи, теперь диктую ее через силу для 3-го... Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану... Что за благородная личность Вольтер! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа!.. Теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию» («Письма», т. III, стр. 335 и 338—339).

Срединя февраля. Третье отделение получило три анонимных доноса на «Отеч. Записки» и «Современник». Первый донос посвящен был главным образом Белинскому. О нем говорилось: «Белинский всегда обращал на себя внимание резкостью суждений о прежних писателях наших... Нет сомнения, что Белинский и его последователи пишут таким образом только для того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и несколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим» (М. Лемке, «Николаевские жандармы...», стр. 174).

Февраля 20. Письмо жандармского чиновника М. М. Попова к Белинскому. Попов по поручению начальника III Отделения Дубельта пишет: «Леонтий Васильевич Дубельт желал бы познакомиться с вами и просит вас, милостивый государь, Виссарион Григорьевич, пожаловать к нему утром в свободный для вас день, от 12 до 2 часов, в III Отделение». Больной Белинский не мог исполнить этого приказа и написал об этом М. М. Попову, но последний не получил его ответа (М. Лемке, «Николаевские жандармы...», стр. 188).

Февраля 23. В «всеподданнейшей записке» шеф жандармов граф А. Ф. Орлов вменял цензорам в обязанность: статьи Белинского, прежде напечатания их, «подвергать наизыскайшему просмотру» (М. Лемке, «Николаевские жандармы», стр. 177).

Февраля 29. Ценз. разр. «Современника», т. VIII, № 3. Статья Белинского: «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Статья 2.

Срединя марта. В III Отделение было доставлено анонимное письмо «с возмутительными предсказаниями насчет будущего России». Л. В. Дубельт решил прежде всего получить через М. М. Попова автографы Белинского и Н. А. Некрасова, чтобы сличить их с почерком анонимного письма (М. Лемке, «Николаевские жандармы», стр. 188).

Марта 27. Письмо к Белинскому М. М. Попова, в котором последний снова вызывал критика в III Отделение (М. Лемке, «Николаевские жандармы», стр. 188).

Марта 27. Письмо Белинского к М. М. Попову. Критик, ссылаясь на свою болезнь, просил отсрочить «на некоторое время» свидание с Л. В. Дубельтом («Письма», т. III, стр. 340—341). М. М. Попов выполнил поручение своего начальника: автограф Белинского был в его руках.

Мая 26. В шестом часу утра Белинский умер.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### «Литературные мечтания»

<sup>1</sup> Стр. 3. «Литературные мечтания» впервые были опубликованы, за подписью — *он — итский*, в следующих десяти номерах еженедельной газеты «Молва» за 1834 год: № 38, стр. 173—176 (ценз. разр. 21/IX); № 39, стр. 190—194 (ценз. разр. 28/IX); № 41, стр. 224—236 (ценз. разр. 12/X); № 42, стр. 248—256 (ценз. разр. 20/X); № 45, стр. 295—302 (ценз. разр. 10/XI); № 46, стр. 308—318 (ценз. разр. 16/XI); № 49, стр. 360—377 (ценз. разр. 7/XII); № 50, стр. 387—402 (ценз. разр. 14/XII); № 51, стр. 413—428 (ценз. разр. 21/XII); № 52, стр. 438—462 (ценз. разр. 29/XII). — В настоящем издании статья печатается по тексту «Молвы». Почти все курсивы имен, которыми нестрит журнальный текст статьи и которые явно принадлежат не Белинскому, нами сняты.

<sup>2</sup> Стр. 3. Перевод: «о доброе старое время».

<sup>3</sup> Стр. 3. «Цитата взята из стихотворения А. Полежаева «Вечерняя заря».

<sup>4</sup> Стр. 4. На страницах «Молвы» печатались противоречивые оценки «Анджело» Пушкина. Неизвестный критик писал, что пьеса Пушкина «полна искусства, доведенного до естественности, ума, скрытого в простоте разительной, и, сверх того, неотъемлемо отличающаяся истинным признаком зрелости поэта — тем спокойствием, которое мы постигаем в творчестве первоклассных писателей» («Молва» 1834, № 22, стр. 338). Против этой высокой оценки «Анджело» выступил «Житель Сивцева вражка», который на страницах той же «Молвы» писал: «Рецензент ваш в суждении об «Анджело»... оказал слишком явное пристрастие... По моему искреннему убеждению, «Анджело» есть самое плохое произведение Пушкина. Если б не было под ним его имени, я... счел бы его стариною, вытасценною из отысканного вновь портфеля какого-нибудь из второстепенных образцовых писателей прошлого века» («Молва» 1834, № 24, стр. 370).

<sup>5</sup> Стр. 4. Перевод: «Боги пали, троны опустели».

<sup>6</sup> Стр. 4. Главным из этих «аристархов» был Н. А. Полевой.

<sup>7</sup> Стр. 4. Главным из «неумолимых герольдов», вопивших о Несторе Кукольнике, был О. И. Сенковский. Он писал о нем: «Между нами возник необыкновенный гений — молодой Кукольник». Это — «юный наш Гете... Я так дерзок, что даже о Шекспире, о Корнеле, Расине, Шиллере, Байроне, Гете, Пушкине сужу по собственным моим впечатлениям, а не по их славе... Для меня нет образцов в словесности: всё образец, что превосходит, и я так же громко восклицаю «великий Кукольник!» перед его видением Тасса и кончиною Лукреции, как восклицаю «великий Байрон!» перед многими местами творений Байрона» (Собрание сочинений Сенковского, т. VIII, Спб. 1859, стр. 16, 18 и 24—25). Нестор Кукольник, как патриотический писатель, был очень популярен в тридцатых годах. Его можно было хвалить, а ругать было опасно. В 1834 году на страницах «Московского Телеграфа» появился отрицательный отзыв о драме Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». Последствия были печальны: издатель журнала Н. А. Полевой был арестован и с жандармом отправлен из Москвы в Петербург, в III Отделение, а журнал его был закрыт.

<sup>8</sup> Стр. 4. Конечно, в насмешку так назвал Белинский «Литер. прибавл к «Русскому Инвалиду», которые выходили с 1831 года под редакцией

А. Ф. Воейкова. Эта газета оживилась с 1837 года, когда она перешла в руки А. А. Краевского. С августа 1839 года в ней стал ревностно сотрудничать Белинский. С начала 1840 года она стала выходить под названием: «Литературная Газета».

<sup>9</sup> Стр. 5. Перевод: «Пощады нет». Гюго, «Марион де Лорм».

<sup>10</sup> Стр. 5. Мысль о том, что «у нас нет литературы», была не нова. Об этом за десять лет до Белинского говорил А. А. Марлинский, несколькими годами позднее А. А. Марлинского — Д. В. Веневитинов, в 1830 году И. В. Киреевский, в 1831 году Н. И. Надеждин и в 1832 году Н. А. Полевой (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. I, стр. 414—416).

<sup>11</sup> Стр. 5. Намек на О. И. Сенковского, выступавшего чаще всего под псевдонимом Барона Брамбеуса.

<sup>12</sup> Стр. 5. Имелись в виду наиболее известные поэмы М. Хераскова: «Россиада», в которой воспевалось взятие Казани Иваном Грозным, и «Владимир возрожденный».

<sup>13</sup> Стр. 6. В словах «наше гостеприимное отечество» заключался намек на польское происхождение Ф. Булгарина, на его изменнический поход против русских под знаменами Наполеона, а затем вторичное принятие русского подданства. Подобные ядовитые намеки по адресу Булгарина очень часты в произведениях Белинского. Особенно зло и прозрачно он обрисовал его с этой стороны в 1835 году в «Журнальных заметках»: «Нет, м. г., я глубоко убежден, что всякая измена есть дело гнусное, подлое, нечеловеческое; я глубоко бы презрел человека, который бы, например, из злобы к русским, сперва летал бы под французским орлом, а потом бы перешел опять к русским... Нет, м. г., на святой Руси не было, нет и не будет ренегатов, т. е. этаких выходцев, бродяг, пройдох, этих расстриг и патриотических предателей, которые бы, играя двойною присягою, попадали в двойную цель и, избавляя от негодяя свое отечество, пятнали бы своим братством какое-нибудь государство...» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. II, стр. 305—306, прим. 328).

<sup>14</sup> Стр. 6. Снова намек на А. И. Сенковского, который называл Н. Кукольника «юным нашим Гете» (см. выше, прим. 7).

<sup>15</sup> Стр. 6. До 1834 года, когда появились «Литературные мечтания», Н. И. Греч выпустил не три («тройственная»), а пять книг по русской грамматике: «Корректирные листы русской грамматики» (П. 1823), «Пространная русская грамматика» (П. 1827), за которую он был избран членом-корреспондентом Академии наук; «Практическая русская грамматика» (П. 1827), «Начальные правила русской грамматики» (П. 1828) и «Практические уроки русской грамматики» (П. 1832).

<sup>16</sup> Стр. 6. Под «толстою фантастическою книгою» подразумевались «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса», в которых были высмеяны многие мировые ученые и философы и, между прочим, французский египтолог Шамполион и французский натуралист Кювье. Против этой грубой выходки тогда же выступил В. Ф. Одоевский в статье «О вражде к просвещению», в которой мы читаем: «Лучшие умы нашего и прошедшего времени: Шампольон, Шеллинг, Гегель, Гаммер, особенно Гаммер, снискавшие признательность всего просвещенного мира, обращены в предметы лакейских насмешек; «лакейских» говорим, ибо цинизм их таков, что может быть порожден лишь грубым, неблагодарным невежеством» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. IX, стр. 24).

<sup>17</sup> Стр. 6. «Тютюнджи-Оглу» — псевдоним О. И. Сенковского. Статья в «Библиотека для Чтения», под заглавием: «Исторический роман», где О. И. Сенковский опровергал «нелепую мысль, будто у нас нет литературы», подписана не этим псевдонимом, а литерой: О. О. ... О! — Статья О. И. Сенковского, упоминаемая ниже, называется не «Исландские саги», а «Скандинавские саги».

<sup>18</sup> Стр. 7. Перевод: «замечательное литературное произведение».

<sup>19</sup> Стр. 8. «Под «баронскою маскою» подразумевался все тот же О. И. Сенковский (см. выше, прим. 16), редактор «торгового журнала», т. е.

«Библиотеки для Чтения», в объявлении о выходе которой в 1834 году приведен был огромный список всех известных писателей того времени в качестве ее сотрудников; «Всемирной статьей» Ф. Булгарин объявил статью О. И. Сенковского под заглавием: «Скандинавские саги», помещенную в «Библи. для Чтения» (1834, т. I, № 1, стр. 1—77).

<sup>20</sup> Стр. 8. Перевод: «Истина! истина! ничего кроме истины!»

<sup>21</sup> Стр. 8. Перевод: «молчание».

<sup>22</sup> Стр. 8. «Обозрения» в 1820-х и в начале 1830-х годов были в большой моде, особенно в альманахах (см. в настоящем томе статью «Взгляд на русскую литературу 1847 года», прим. 4).

<sup>23</sup> Стр. 9. «Многоученный и досужий аристарх» — А. А. Марлинский, поместивший в 1833 году в «Московском Телеграфе» статью о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем», начинающуюся беглым обзорным ходом всемирной литературы. В дальнейших строках Белинский пародирует эту статью Марлинского.

<sup>24</sup> Стр. 10. «Никодим Аристархович Надоумко» — псевдоним Н. И. Надеждина, издателя «Телескопа» и «Молвы». «Правило» Надоумки, в более пространной формулировке, приведено в его статье: «Всем сестрам по серьгам» («Вестник Европы» 1829, № 22, стр. 123).

<sup>25</sup> Стр. 15. Эти стихи взяты из стихотворения «На смерть Гете» Баратынского.

<sup>26</sup> Стр. 16. Евгений Сю был не капитаном, а врачом на военном судне.

<sup>27</sup> Стр. 16. «Мельник» — стихотворение эротического характера.

<sup>28</sup> Стр. 16. Эти стихи взяты из стихотворения Д. Веневитинова «Я чувствую, во мне горит...»

<sup>29</sup> Стр. 17. Конечно, описка или опечатка. Смысл фразы требует: «принести».

<sup>30</sup> Стр. 19. Здесь Белинский следует за историком М. Т. Каченовским, который в начале 1830-х годов, в противовес Н. М. Карамзину, утверждавшему, что варяги норманского происхождения, высказал ошибочную догадку о хазарском происхождении племени руссов (ср. в настоящем издании письмо Белинского к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, прим. 2).

<sup>31</sup> Стр. 20. Слова, набранные курсивом, взяты из «Арапа Петра Великого» Пушкина.

<sup>32</sup> Стр. 21. Стих из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 2, строфа XII).

<sup>33</sup> Стр. 21. Очевидный намек на Федора Алексеевича Семенова (1794—1860), курского купца, любителя астрономии, который устроил у себя в Курске примитивную обсерваторию. Биография его, написанная М. П. Погодиным, незадолго до того была напечатана в «Телескопе» (1832, № 13).

<sup>34</sup> Стр. 22. «Дворянские выборы» — совершенно забытая теперь комедия в двух частях Квитки-Основьянка: «Дворянские выборы», ком. в 3 д. (М. 1829), и «Дворянские выборы» (или «Выбор исправника»), ком. в 4 д. (М. 1830). «Новый роман Лажечникова» — «Ледяной дом» (М. 1835).

<sup>35</sup> Стр. 22. «Говорить русский язык» — французский оборот (parler le russe), употребленный Белинским с явным намерением высмеять «русских иностранцев», забывших родной язык.

<sup>36</sup> Стр. 23. Потом Белинский иначе смотрел на Кантемира. В «Русской литературе в 1840 году» он попрежнему считал сатиры Кантемира «явлением чисто-случайным», не связанным с «духом народным», но вместе с тем находил, что с Петра Великого наша литература начала «новое существование, благодаря великому таланту Кантемира» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. V, стр. 467 и 468). В первой статье о Пушкине, написанной в 1843 году, Белинский именовал Кантемира «первым по времени поэтом русским», видел уже в его поэзии «явление жизненное и органическое» и утверждал, что, «с легкой руки Кантемира, сатира внедрилась, так сказать, в нравы русской литературы и имела благодетельное влияние на нравы русского общества» (там же, т. XI, стр. 204—205). В 1845 году Белинский посвятил Кантемиру большую статью, в которой, между прочим, писал: «Кантемир своими са-

тирами воздвиг себе маленький, скромный, но тем не менее бессмертный памятник в русской литературе... Сатиры Кантемира нельзя читать без некоторого напряжения, тем более нельзя их читать много и долго. Но, несмотря на то, в них столько оригинальности, столько ума и остроумия, такие яркие и верные картины тогдашнего общества, личность автора отражается в них так прекрасно, так человечно, что развернуть изредка старика Кантемира и прочесть которую-нибудь из его сатир есть истинное наслаждение» (там же, т. IX, стр. 183 и 201). И в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» мы читаем: «Но как Кантемир все-таки остается человеком с необыкновенным талантом, то его и нельзя выключить из истории русской литературы, как первого, по времени, поэта... В лице Кантемира русская поэзия обнаружила стремление к действительности, к жизни, как она есть, основала свою силу на верности натуре» (там же, т. XI, стр. 84 и 85).

<sup>37</sup> Стр. 23. Этот резко отрицательный взгляд на Тредьяковского был общераспространенным в 1830—40-х годах. Чуть ли не единственным исключением в этом отношении был Пушкин, который остался очень недовольным И. И. Лажечниковым, изобразившим Тредьяковского в карикатурном виде в романе «Ледяной дом». Он писал И. И. Лажечникову 3 ноября 1835 г.: «За Василия Тредьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей».

<sup>38</sup> Стр. 24. Так говорил о Ломоносове А. А. Марлинский в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» (Полное собрание сочинений, СПб. 1838, ч. XI, стр. 217).

<sup>39</sup> Стр. 24. К слову «Увы» в журнальном тексте имеется сноска: «Уведомляем наших читателей, что с будущего года из постоянных отделений «Телескона» будут составлять биографии отечественных наших писателей, из которых несколько уже приготовлено. Изд.».

<sup>40</sup> Стр. 25. Под «вадимовым колокольчиком» подразумевались «звонка призывны звуки», увлекшие за собой Вадима, героя второй части «Двенадцати спящих дев» В. А. Жуковского.

<sup>41</sup> Стр. 27. «Две холодные и надутые трагедии» Ломоносова — «Тампра и Селим» и «Демофонт». «Петриада» — неоконченная поэма «Петр Великий».

<sup>42</sup> Стр. 27. Т. е. популярностью.

<sup>43</sup> Стр. 27. Намек на Нестора Кукольника, заставившего в своей трагедии «Торкватто Тассо» умирающего Тассо пророчествовать о «юноше» (т. е. о Несторе Кукольнике), который

От всех храня все мысли и все чувства,  
Как друга своего, меня [Тассо] полюбит,  
Шесть лет со мной он будет без разлуки.  
Еще дитя, в училище, за книгой.  
Он обо мне начнет мечтать и думать  
И жизнь мою расскажет перед светом.

<sup>44</sup> Стр. 29. Екатерина II была сотрудницей и негласным редактором сатирического журнала «Всякая всячина» (1769—1770) и «Собеседника любителей российского слова», издававшегося Российской Академией (1783—1784). Казнь «Телемахидою», применявшаяся в шутку при дворе Екатерины II, заключалась в том, что провинившегося заставляли, в зависимости от степени виновности, или прочитать страницу или выучить наизусть несколько строк из названной поэмы В. К. Тредьяковского.

<sup>45</sup> Стр. 29. Однажды Г. Р. Державину по ошибке доставили письмо, адресованное священнику Державину, жившему по соседству с ним. По этому случаю Державин написал шуточное стихотворение «Приказ моему привратнику», которое начинается такими стихами:

Един есть бог, един Державин —  
Я в глупой гордости мечтал,  
Одна мне рифма — древний Навин...

<sup>46</sup> Стр. 29. На портрете, о котором идет речь, художник Тончи изобразил Державина в шубе и в бобровой шапке, сидящим на льдине. В таком виде портрет нарисован по желанию самого Державина, который в стихотворении «Тончию» просил художника:

.....ты лучше напиши  
 Меня в натуре самой грубой,  
 В жестокий мраз, с огнем души,  
 В косматой шапке, скутав шубой,  
 Чтоб шел, природой лишь водим,  
 Против погод, волн, гор кремнистых,  
 В знак, что рожден в странах я льдистых,  
 Что был прапращур мой Багрим.

<sup>47</sup> Стр. 30. Переделка стихов из «Пророка» Пушкина:

И шестикрылый Серафим  
 На перепутьи мне явился.

<sup>48</sup> Стр. 30. Слова «богоподобная Фелица Киргиз-Кайсацкие орды», набранные курсивом, представляют собой небольшое изменение первых двух стихов оды «Фелица», посвященной Екатерине II. Слова «ангел во плоти» взяты из оды «Видение мурзы».

<sup>49</sup> Стр. 31. «Чудо-богатырь» — А. В. Суворов, которого Белинский обрисовал гиперболическими чертами, взятыми из од Державина, посвященных Суворову: «На взятие Варшавы», «На победы в Италии» и «На переход Альпийских гор».

<sup>50</sup> Стр. 31. В последних строках этого абзаца, начиная со слов: «как русские девы своими пламенными взорами», Белинский передал содержание стихотворения Державина «Русские девушки».

<sup>51</sup> Стр. 32. Сближал Державина с Пиндаром, Горацием и Анакреоном П. А. Вяземский. В статье, написанной по случаю смерти поэта, он говорил: «Без сомнения, если многие из од Державина могут разделиться на определенные роды: пиндарический, горацианский, анакреонтический, то многие по всей справедливости должны назваться державинскими» («Сын Отечества» 1816, № 37). На ту же тему писал В. Панаев в статье «Краткое похвальное слово Державину»: «Россия... еще недавно оплакала кончину поэта, который с неподражаемым искусством повторил на Севере сладостные звуки Горациевой и Анакреоновой лиры. Нужно ли говорить, что это был Державин!» («Сын Отечества» 1817, № 5, стр. 177). Вестушев-Марлинский говорил о Державине в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России»: «Потомки с изумлением взирают на огромный талант русского Пиндара», певца «Водопада», «Фелицы» и «Бога» («Полярная Звезда» 1823). И в статье Н. А. Полевого «Державин и его творения» мы находим такие строки: «Преложения псалмов, оды в духе Ломоносова, подражания Горацию, Анакреону — все, что делали его современники, делал и Державин» («Московский Телеграф» 1832, № 15 и 16). Белинский высказывался против этого сближения Державина с Пиндаром, Горацием и Анакреоном не только в «Литературных мечтаниях», написанных в 1834 году, но и позднее. Так, в первой статье о Державине, написанной уже в 1843 году, он говорил: «Державин великий поэт русский — и этого довольно, и нет никакой нужды величать его Пиндаром, Анакреоном и Горацием, с которыми у него нет ничего общего» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. VIII, стр. 87).

<sup>52</sup> Стр. 34. Перевод «Будь другом Платона, но большим твоим другом пусть будет истина».

<sup>53</sup> Стр. 36. Переделка стихов В. А. Жуковского:

Лежит венец на мраморе могилы,  
 Ей молится России верный сын,  
 И будит в нем для дел прекрасных силы  
 Святое имя: Карамзин.

<sup>54</sup> Стр. 36. Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (ок. 1795—1849) — восторженный поклонник Н. М. Карамзина, автор книги «Дух Карамзина или избранные мысли и чувствования сего писателя» (М. 1827) и «Речи в память историографу Российской империи» («Лит. Музеум» 1827). — Орест Михайлович Сомов (1793—1833) — беллетрист, поэт и критик, написавший в защиту Н. М. Карамзина статью «Хладнокровные замечания на толки гг. критиков «Истории государства российского» и их сопричастников» («Московский Телеграф» 1829, ч. 25, № 2). — Николай Сергеевич Арцыбашев (1773—1841) — историк, противник Карамзина. В «Замечаниях на «Историю государства российского» Карамзина, напечатанных в «Московском Вестнике» (1828, ч. 11 и 12; 1829, ч. 3), он подверг критике язык Карамзина, а затем отметил массу ошибок фактического характера, допущенных в его «Истории». Эти «Замечания», написанные в резком тоне, в свое время вызвали много разговоров и в литературных кругах и среди общества (ср. Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. II, Спб. 1889, стр. 234—264).

<sup>55</sup> Стр. 36. Перевод: «Но я все время возвращаюсь к моим баранам».

<sup>56</sup> Стр. 36. Имелась в виду статья А. Ф. Мерзлякова «Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии», где дана оценка деятельности Тредьяковского, Сумарокова, Ломоносова, Державина, Хераскова и др. («Труды Об-ва люб. рос. словесности» 1812, т. I), и семь его же статей, посвященных разбору «Россиады» Хераскова («Амфион» 1815, №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8 и 9). Критика А. Ф. Мерзлякова была очень снисходительна. Он напал, например, на «Россиаду» с эстетической стороны, но вместе с тем, сравнив ее с храмом св. Петра, он писал о ней: «Как громада неподвижная, и в бурях времени и в бурях мнений, стоит огражденная неизменяемым своим величием». Более сурово отнесся к «Россиаде» студент П. М. Строев в письмах к девице Д., написанных одновременно со статьями А. М. Мерзлякова о «Россиаде» («Современный наблюдатель российской словесности» 1815, № 1 и 3). По поводу этих писем А. С. Шишков писал: «В вашей московской словесности... часто встречаю глупое самолюбие и невежество ребят, которых бы не худо было, для их же добра, высечь розгами. На этих днях попался мне журнал, в котором какой-то студент судит и бранит без милости Хераскова. Вот нравы, которым поучают юношей!» (Н. Барсуков, «Жизнь и труды П. М. Строева», Спб. 1878, стр. 12—13).

<sup>57</sup> Стр. 37. «Желтяком» называли М. Т. Каченовского за его нападки на Н. М. Карамзина. Исторические воззрения М. Т. Каченовского вообще и в частности его взгляды на Н. М. Карамзина были весьма популярны среди студентов Московского университета. По свидетельству М. П. Погодина, «все студенты писали свои рассуждения в духе скептической школы, награждались медалями и получали почетное место в «Ученых записках Московского университета». В 1833—1835 годах в этом журнале поместили свои статьи студенты: С. М. Строев, Николай Станкевич, Николай Сазонов, Иван Белкин, Перемышлевский и Стрекалов. Прочитавши эти статьи молодых скептиков, М. П. Погодин занес в свой дневник: «Читал с досадою выходки молодых глупцов об истории. Я начинаю и начну преобразования в русской истории, а они говорят о Каченовском, который долбит им только без всякого основания: *не верьте. Досада*» (Н. Барсуков, «Жизнь и труды М. П. Погодина», т. IV, Спб. 1891, стр. 218). К числу юных скептиков принадлежал и сам Белинский, который, повидимому, ознакомился с воззрениями этой школы из лекций М. Т. Каченовского, когда был студентом, а затем через своих друзей-скептиков, входивших в кружок Н. В. Станкевича.

<sup>58</sup> Стр. 37. Стих из «Горя от ума». Цитируется неточно. Надо: «Да из чего беспуется вы столько?» (действие IV, явление 4).

<sup>59</sup> Стр. 37. Стихи из «Евгения Онегина». Второй стих цитируется неточно. Надо: «И вот на чем вертится мир!» (гл. 6, строфа XI).

<sup>60</sup> Стр. 40. «Великий муж российской грамматики» — сочинение Н. М. Карамзина.

<sup>61</sup> Стр. 40. Стихи из сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец».

<sup>62</sup> Стр. 41. «Свидание русского скифа с французским Платоном» — т.е. свидание Н. М. Карамзина с французским археологом Жан-Жаком Бартеlemi, автором романа «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции», переведенного на все европейские языки, в том числе и на русский (М. 1803—1819. Спб. 1804—1809). Это свидание произошло во время первой французской буржуазной революции.

<sup>63</sup> Стр. 42. Это сказал Н. И. Надеждин во вступительной статье к изданию «Телескопа» (1831, № 1, стр. 45).

<sup>64</sup> Стр. 43. Под «обстоятельствами его жизни» подразумевалось известное несчастное увлечение В. А. Жуковского своей двоюродной племянницей М. А. Протасовой.

<sup>65</sup> Стр. 45. Это четверостишие принадлежит не А. Ф. Мерзлякову, а И. И. Лажечникову. Оно взято из песни последнего: «Сладко пел душа-соловушка» (см. ниже, прим. 122). Из песен, принадлежащих А. Ф. Мерзлякову, в свое время были особенно популярны: «Я не думала ни о чем на свете тужить», «Чернобровый, черноглазый, молодец удалой», «Ожидание» («Тошно девице ждать мила друга»), «Одиночество» («Среди долины ровныя») и «Ах, что же ты, голубчик, невесело сидишь?»

<sup>66</sup> Стр. 45. Перевод: «доброе старое время». П. А. Плетнев говорил о Калнисте в «Письме к графине С. И. С. о русских поэтах» («Северные цветы» на 1825 год).

<sup>67</sup> Стр. 45. В сороковых годах Белинский более правильно оценил комедию «Ябеда». В первой статье о Пушкине он писал о ней: «Это произведение незначительно в поэтическом отношении, но принадлежит к исторически важным явлениям русской литературы, как смелое и решительное нападение сатиры на крючкотворство, ябеду и лихоимство, так страшно терзавших общество прежнего времени» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. XI, стр. 207).

<sup>68</sup> Стр. 48. В 1815 году на лицейском экзамене Пушкин прочел свое стихотворение «Воспоминание о Царском Селе», которое привело в восторг Г. Р. Державина, присутствовавшего на этом экзамене. Этот эпизод Пушкин отметил в «Евгении Онегине»: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил» (гл. 8, строфа II).

<sup>69</sup> Стр. 48. Намек на статью А. А. Марлинского о романе Полевого «Клятва при гробе господнем», о которой уже шла речь в начале «Литературных мечтаний» (см. прим. 23). Под статьей имелась пометка: «Дагестан», так как А. А. Марлинский писал ее на Кавказе, куда был сослан.

<sup>70</sup> Стр. 49. В этой фразе С. А. Венгеров правильно усмотрел влияние на Белинского Н. И. Надеждина, который в 1833 году говорил в актовой речи, характеризуя XVIII век: «Это был век всеобщего гниения! Я вызываю, мм. гг., указать мне в истории человеческого рода подобную эпоху, которая бы, в кратком пространстве столетия, сосредоточивала столько распутств и ужасов» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 438).

<sup>71</sup> Стр. 49. «Властителем наших дум» назвал Наполеона Пушкин в стихотворении «К морю».

<sup>72</sup> Стр. 49. Белинский уделил много места в своих работах истолкованию сущности романтизма. Наиболее полное и законченное понимание этого направления он блестяще изложил во второй статье о Пушкине (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. XI, стр. 227—294).

<sup>73</sup> Стр. 49. В конце 1839 года Белинский отказался от признания Шекспира и ряда других писателей романтиками. В статье о «Горе от ума», написанной тогда, он говорил: «Называть романтиками Шекспира, Сервантеса, Байрона, Вальтера-Скотта, Купера, Гете, Пушкина могут только люди, воздвоенные французскими идеями об искусстве и незнающие первых начал, азов науки изящного» (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. V, стр. 30).

<sup>74</sup> Стр. 50. Термин «юная словесность» для обозначения французского романтизма впервые употребил О. И. Сенковский в статье «Брамбеус и юная словесность» («Библиография для Чтения» 1834, т. III, стр. 33—60).

<sup>75</sup> Стр. 50. *Феррагус* — герой романа Бальзака «Один из тринадцати», перевод которого был напечатан в «Телескопе» (1833, ч. 15).

<sup>76</sup> Стр. 50. «Другой властитель наших дум» — стих из стихотворения Пушкина «К морю».

<sup>77</sup> Стр. 50. Новый намек на А. А. Марлиевского (см. прим. 23 и 69), который в статье о романе Н. Полевого, собираясь говорить об индийской литературе, писал: «Прогуляемся же в Индию, пароход «Джон-Буль» уже давно курится у набережной».

<sup>78</sup> Стр. 51. «Выходец», «пройдоха» и «Видок» — Ф. В. Булгарин, которого под видом французского сыщика Видока изобразил Пушкин в заметке («О записках Видока») и в двух эпиграммах: «Не то беда, что ты поляк» и «Не то беда, Авдей Флюгарин».

<sup>79</sup> Стр. 51. «Барон» — О. И. Сенковский, который выступал под псевдонимом Барона Брамбеуса и в своих статьях «надругался и над святостью истины и над святостью знания» (ср. выше прим. 16).

<sup>80</sup> Стр. 51. В журнальном тексте, конечно, по недосмотру напечатано: «ошибках».

<sup>81</sup> Стр. 51. «Желтяком», т. е. желчным, называли в литературной полемике М. Т. Каченовского; «семинаристом» и «утиным лосом» — Н. И. Надеждина; «гар», «полугар», «купец» и «аршинник» — это все эпитеты, которыми наделялся Н. А. Полевой, имевший винный завод.

<sup>82</sup> Стр. 52. Имелся в виду Ф. В. Булгарин, который во второй половине двадцатых годов многие сцены в первых главах «Евгения Онегина» находил «прелестными и, по истине сказать, достойными искусной руки великого художника» («Сев. Пчела» 1826, № 132; 1828, № 15). Но в 1830 году, когда Пушкин отвернулся от него, он в седьмой главе «Евгения Онегина» не нашел «ни одной мысли... ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершенное падение, chute complète!» («Сев. Пчела» 1830, № 35).

<sup>83</sup> Стр. 52. В «Сыне Отечества», издававшемся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем, последний поместил в защиту своего друга и сотоварища по журналу заметку, в которой имеются такие строки: «Я решился на сие не для того, чтоб оправдать и защищать Булгарина, который в этом не имеет надобности, ибо у него в одном мизинце более ума и таланта, нежели в многих головах рецензентов» («Сын Отечества» 1831, № 27). В ответ на эту заметку Пушкин написал известную статью: «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».

<sup>84</sup> Стр. 52. К. Батюшков заболел психически в 1822 году.

<sup>85</sup> Стр. 52. Слова, набранные курсивом, представляют собой переделку фразы: «Законы искусственного творчества извлекаются из критических наблюдений над бессмертными творениями великих гениев», взятой из статьи Н. И. Надеждина «Литературные опасения за будущий год» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 471).

<sup>86</sup> Стр. 53. Стихи из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа V).

<sup>87</sup> Стр. 53. В послании Пушкина к «Чаадаеву» этот стих читается так: «И в просвещении стать с веком наравне».

<sup>88</sup> Стр. 53. «Уездный городок» — Чембары, где протекли детские и отроческие годы Белинского. Слова «подобные шуму волн» и «журчанию ручья», набранные курсивом, взяты, с небольшими изменениями, из поэмы «Цыганы» и из стихотворения «Ночь» Пушкина.

<sup>89</sup> Стр. 53. Армида — волшебница-красавица, героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», владевшая очарованным садом.

<sup>90</sup> Стр. 54. Стихи из «Евгения Онегина» (гл. 8, строфа LI).

<sup>91</sup> Стр. 55. «Бал» Баратынского и «Граф Нулин» Пушкина (СПб. 1828). — Баратынского «ставил на одну доску» с Пушкиным, между прочим, В. Т. Плясин. В 1829 году он писал: «Среди множества мелочных и

обыкновенных писателей-стихотворцев явились два необыкновенные поэта. Один из них отличается чрезвычайным богатством прекрасных картин и чистотою вкуса, другой — глубиной чувствований, свойственною жителю Севера, и легкостью пиитической басни или вымысла. Можно отгадать, на чьей стороне будет первенство; но время, судья независимый от настоящих успехов, решит, кому будет принадлежать первый венок — Пушкину или Баратынскому» («Сын Отечества» и «Северный Архив» 1829, т. VI, № XXXIV, стр. 193).

<sup>92</sup> Стр. 55. Имелась в виду критическая статья Е. Баратынского о «Тавриде» А. Н. Муравьева, написанная в 1827 году.

<sup>93</sup> Стр. 56. Перевод: «О мертвых нужно или говорить хорошо, или молчать».

<sup>94</sup> Стр. 57. «Кавказский пленник» и «Евгений Онегин» Пушкина уже в двадцатых годах вызвали лубочные подражания: «Киргизский пленник», повесть в стихах Н. Муравьева (М. 1828); «Московский пленник», повесть в стихах Ф. С — ва (М. 1829) и «Евгений Вельский» (а не Бельский, как в тексте Белинского), роман в стихах (М. 1828).

<sup>95</sup> Стр. 58. Стихи из стихотворения Е. Баратынского «Подражателям».

<sup>96</sup> Стр. 58. Отзыв очень мягок, но С. П. Шевырев был недоволен им. По этому поводу Н. В. Станкевич писал Я. М. Неверову 5 февраля 1835 года: «Белинский в своих «Литературных мечтаниях»... сказал (хваля, впрочем, чрезвычайно Шевырева), что в стихах его развивается мысль, а не изливается чувство. Справедливое замечание! Шевырев, говорят, взбесился и кричит: как сметь так говорить? Это тон Полевого» (Переписка Н. В. Станкевича. М. 1914, стр. 311).

<sup>97</sup> Стр. 58. Стихи из монолога Фауста, перевод Д. В. Веневитинова.

<sup>98</sup> Стр. 60. *Маркиз Поза* — герой пьесы Шиллера «Дон-Карлос, инфант испанский».

<sup>99</sup> Стр. 60. *Макс и Текла* — герой и героиня пьес Шиллера: «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна».

<sup>100</sup> Стр. 61. Стихи из «Евгения Онегина» (гл. 7, строфа I). Второй и третий стихи процитированы неверно. Надо:

Протяжный раздается вой,  
Где машет мангией мишурной.

<sup>101</sup> Стр. 61. Перевод: «божественная комедия».

<sup>102</sup> Стр. 62. Это «заметил» В. Ф. Одоевский в повести «Мими», помещенной первоначально «Библиотеке для Чтения» (1834, т. VII).

<sup>103</sup> Стр. 62. Пушкин под псевдонимом Феофилакта Косичкина напечатал в «Телескопе» (1831, № 13) статью под заглавием: «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов», в которой нанес жестокий удар Ф. В. Булгарину, сопоставив его с лубочным писателем того времени А. А. Орловым. Это сопоставление много раз повторял в своих статьях Белинский.

<sup>104</sup> Стр. 62. В замечании, что А. А. Орлов «не был в Испании», заключается ядовитый намек на Ф. В. Булгарина, который в 1811 году изменил России и поступил в армию Наполеона, где дослужился до чина капитана. Он принимал участие в походах Наполеона против Италии, Испании и России. После падения Наполеона он снова стал «русским патриотом», сделавшись предварительно негласным сотрудником III Отделения.

<sup>105</sup> Стр. 62. В 1821 году Ф. Булгарин издал «Избранные оды Горация», относительно которых Пушкин писал в «Торжестве дружбы»: «доказано, что *Фаддей Венедиктович* (издавший Горация с чужими примечаниями) не знает по-латыни». Еще определеннее об этом плагиате Ф. Булгарина было сказано, со слов Н. А. Мельгунова, в книге Кенита: «Literarische Bilder aus Russland». Там мы читаем: «Булгарин... захотел явиться перед публикою в виде ученого и для этой цели напечатал Горация с учеными толкованиями. Но некоторые нескромные люди пронесли молву, что толкования эти принадлежат вовсе не Булгарину, а составлены одним уче-

ным польским филологом. Булгарин же только имел честь перевести их, причем забыл упомянуть о настоящем авторе» («Очерки русской литературы», Сиб. 1862, стр. 225).

<sup>106</sup> Стр. 63. Думается нам, что в словах, набранных курсивом, крылся намек на жандармерию («хорошая компания»), с которой общался Ф. Булгарин.

<sup>107</sup> Стр. 65. В настоящей статье Белинский нанес первый удар А. А. Марлинскому, пользовавшемуся в тридцатых годах исключительной, но незаслуженной популярностью. Вторым удар он нанес ему в 1835 году в статье «О русской повести и повестях Гоголя». В 1840 году Белинский написал большую статью о «Полном собрании сочинений Марлинского», которая была «решиительным вызовом» последнему. Статья была рассчитана на широкую публику. Белинский писал о ней В. П. Боткину 18 февраля 1840 года: «Статья о Марлинском тебе не понравится, но именно такие-то статьи я и буду отныне писать, потому что только такие статьи доступны и полезны публике» («Письма», т. II, стр. 42). Статья достигла своей цели: слава Марлинского «разлетелась в минуту» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. V, прим. 77 и 82). В конце 1847 года Белинский написал небольшую рецензию о «Втором полном собрании сочинений Марлинского» (там же, т. XI, № 976), в которой уже в спокойном тоне он повторил кратко то, что говорил о Марлинском в статьях 1834, 1835 и 1840 годах.

<sup>108</sup> Стр. 66. *Николай Аристархович Надоумко* — псевдоним Николая Ивановича Надеждина, издателя «Телескопа» и «Молвы», который в конце двадцатых годов выступил на страницах «Вестника Европы» с рядом статей, направленных против Пушкина, Н. Полевого и романтической школы. Вслед за профессором М. Т. Каченовским, редактором «Вестника Европы», врагом Пушкина, Н. Полевого и романтической школы, Н. И. Надеждин резко критиковал Н. Полевого и романтическую школу (см. «Сонмище нигилистов» в «Вестнике Европы» 1829, № 1 и 2) и советовал Пушкину «сжечь Годунова — и докончить Онегина» («Вестник Европы» 1830, № 7, стр. 200). Защитив диссертацию и получив кафедру, Н. И. Надеждин, «раскланялся со старцами», начал издавать свой «Телескоп» и высказался за «Бориса Годунова» («Телескоп» 1831, ч. I, № 4, стр. 546—574). — Слова «на скудельных ножках» и «хе! хе! хе!» взяты из статьи Н. И. Надеждина, в которой юмористически рассказывается, как Надоумко отправился на один из московских маскарадов («Молва» 1831, № 4).

<sup>109</sup> Стр. 66. Стихи из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов».

<sup>110</sup> Стр. 66. Это туманное место расшифровывается легко: Белинскому «совестно» было «написать панегирик» какому-нибудь журналу и «не отдать справедливости» «Московскому Телеграфу» Н. А. Полевого, лучшему журналу второй половины двадцатых годов, который 3 апреля 1834 года был запрещен по высочайшему повелению за напечатание в нем отрицательного отзыва об ультрапатриотической драме Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла», и о нем и его издатель некоторое время нельзя было говорить в печати.

<sup>111</sup> Стр. 67. В 1830 году прекратили свое существование «Славянин», «Русский Зритель», «Вестник Европы», «Атеней», «Московский Вестник», «Записки для сельских хозяек», «Новый магазин естественной истории», «Ведомость о состоянии города Москвы», «Детский драматический Вестник», и были временно приостановлены «Отеч. Записки» и «Галатей».

<sup>112</sup> Стр. 68. На стороне М. Т. Каченовского были члены кружка Станкевича и вообще студенческая молодежь начала тридцатых годов. См. прим. 57 к «Литературным мечтаниям».

<sup>113</sup> Стр. 68. Перевод: «всякому свое». Ниже приведено двустишие из басни И. А. Крылова «Щука и Кот».

<sup>114</sup> Стр. 69. Имелись в виду издания Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина: «Сын Отечества» (с 1812), «Северный Архив» (с 1822) и «Северная Пчела» (с 1825).

<sup>115</sup> Стр. 69. См. выше прим 82.

<sup>116</sup> Стр. 69. «Никандр Свистушкин» — памфлет Ф. В. Булгарина, направленный против Пушкина, автора поэмы «Цыганы» («Жиды») и «Братья-разбойники» («Воры»).

<sup>117</sup> Стр. 72. *Безгласный* — псевдоним В. Ф. Одоевского.

<sup>118</sup> Стр. 72. Очевидный намек на романы М. Н. Загоскина: «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» и «Рославлев, или русские в 1812 году».

<sup>119</sup> Стр. 74. Словами «заморский выходец и пройдоха» и «мелкий плут и мошенник» наносился жестокий удар Ф. В. Булгарину, по национальности поляку. Такими эпитетами уже награждал его и Пушкин в эпиграммах и в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем».

<sup>120</sup> Стр. 74. Намек на то, что роман «Петр Выжигин», по сравнению с романом «Иван Выжигин», продолжением которого он был, расходился очень слабо.

<sup>121</sup> Стр. 74. В сороковых годах Белинский относился к повестям М. П. Погодина резко отрицательно. В «Русской литературе в 1843 году» он писал: «Но обратимся к двадцатым годам русской литературы... Чтоб несколькими словами охарактеризовать бедность изящной прозы того времени, стоит только заметить, что даже и повести одного московского ученого, совершенно лишённые фантазии, нищие талантом, богатые черствой сухостью чувства и грубым цинизмом понятий и выражений, многим и очень-многим нравились, хотя тогда же многие и смеялись над этими жалкими порождениями незаконных притязаний на талант и поэзию» (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. VIII, стр. 371).

<sup>122</sup> Стр. 75. За этим примечанием Белинского в журнальном тексте следует примечание издателя, т. е. Н. И. Надеждина: «То же самое объявляем от имени г. Межевича, в статье которого песня сия отошла к Мерзлякову по причине перестановки звездочки. *Изд.*». — В. С. Межевич приписал названную песню И. И. Лажечникова А. Ф. Мерзлякову в статье о хрестоматии И. С. Пенинского («Молва» 1834, № 44). Вслед за В. С. Межевичем Белинский привел четыре стиха из этой песни при оценке А. Ф. Мерзлякова («Молва» 1834, № 49). И. И. Лажечников по этому поводу поместил в номере 51 «Молвы» за 1834 год заметку «Из письма к издателю», в которой писал: «Я посетовал на него (В. С. Межевича), что он... присвоил мою литературную собственность Мерзлякову, именно песню: «Сладко пел душа-соловушка»... Мне досадно, что она (ошибка) едва ли не повторилась в № 49 «Телескопа» («Молвы») помещением куплета из этой песни опять при Мерзлякове» (см. выше, стр. 45, прим. 65). Этой заметкой И. И. Лажечникова и вызваны были приведенные здесь подстрочные примечания Белинского и Н. И. Надеждина.

<sup>123</sup> Стр. 76. «Новый роман» И. И. Лажечникова — «Ледяной дом». Отрывок из него, под заглавием: «Язык», был напечатан в «Телескопе» (1834, ч. XX) несколько раньше настоящей статьи Белинского.

<sup>124</sup> Стр. 76. «*Безгласный*» и «*з. в. й*» — псевдонимы В. Ф. Одоевского.

<sup>125</sup> Стр. 76. Белинский долго ждал случая, чтобы дать общую и обстоятельную оценку всей деятельности В. Ф. Одоевского. В 1838 году он писал: «Так как мы недавно вычитали в одном петербургском журнале приятное известие, что кн. Одоевский издает полное собрание своих сочинений, то и предоставляем себе в будущем взглянуть на эту до сих пор *отрывочную* литературную деятельность, как на нечто целое, и в целом определить ее значение и достоинство» (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 324). Но В. Ф. Одоевский медлил с изданием своих сочинений. И Белинский в 1840 году писал по этому поводу: «Как жаль, что князь Одоевский медлит до сих пор изданием своих сочинений, рассеянных по журналам и альманахам! Только тогда можно б было увидеть, какое важное значение имеют они в русской литературе» (там же, т. VII, стр. 517). В конце 1843 года Белинскому стало известно, что издание близко к выходу в свет, и он поспешил заявить, что он скоро «будет иметь случай говорить подробнее» о сочинениях князя В. Ф. Одоевского (там же, т. VIII,

стр. 378). «Сочинения князя В. Ф. Одоевского» вышли в 1844 году. По поводу их Белинский написал, наконец, обстоятельную статью, давши в ней давно обещанную общую оценку князя Одоевского. Вся статья проникнута глубоким уважением к последнему. Это и понятно. В. Ф. Одоевский, как шеллингианец, своими первыми произведениями оказал в тридцатых годах большое влияние на Белинского, который сам признавался, что апологи князя Одоевского юношество читало тогда «с жадностью, и благодатны были плоды этого чтения». Он говорил это «по собственному опыту» (там же, т. IX, стр. 9). Помимо того, князь Одоевский вызывал к себе уважение со стороны Белинского и тем, что он был надежным его соратником в борьбе с Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем. Личное знакомство между ними состоялось в конце 1839 года, когда Белинский переехал на жительство в Петербург. И. И. Панаев говорит в своих воспоминаниях, что Белинский был всегда желанным гостем в салонах князя Одоевского, который даже сердился, когда критик долго не бывал у него (Первое полное собрание сочинений И. И. Панаева, т. VI, Спб. 1838, стр. 302—305). В начале шестидесятых годов в ответ на стихотворение князя Вяземского: «Смешон и жалок Белинский» — В. Ф. Одоевский дал следующую характеристику Белинского как философа: «Белинский был одною из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни. В нем было сопряжение Канта, Шеллинга и Гегеля, сопряжение вполне органическое, ибо он никого из них не читал... Всякий раз, когда мы встречались с Белинским (это было редко), мы с ним спорили жестоко, но я не мог не удивляться, каким образом он из поверхностного знания принципов натуральной школы (Naturphilosophie) развивал целый органический философский мир *suī generis*. Едва имея понятие о Шеллинге только, Белинский сам собою дошел до Гегеля, ему неизвестного, т. е. в Белинском совершился своеобразно тот переход, который в философском мире совершился появлением Гегеля после Шеллинга... Напрасно противники Белинского укоряют его в том, что он не понимал Гегеля. Нет! он его *вовсе не знал*, но сблизился с ним точно так же, как математик, не зная работы другого математика, сблизился с ним в выводах единственно развитием данной теоремы... Беда Белинского в том, что обстоятельства жизни не позволили ему развиваться правильным образом. У нас Белинскому учиться было *негде*, рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума. Пошлость большей части наших университетов порождала в нем лишь презрение. Белинский принадлежал к числу тех людей, которые нередко у нас появляются, которые при другой обстановке означали бы свое поприще в европейском ученом мире, но которые или замерли, или которых сила, как сила невпопад задержанной машины, получает обратное действие и разрушает самую машину. Не порицать следует таких людей, но скорбеть, что они явились не в пору» («Русский Архив» 1874, кн. I, стр. 339—342. С. Ашевский. «Белинский в оценке его современников», стр. 130—132.— П. Н. Сакулин. «Князь В. Ф. Одоевский», т. I, ч. 2, М. 1913, стр. 416—424).

<sup>126</sup> Стр. 77. Союз «что», поставленный нами в прямые скобки, в журнальном тексте пропущен.

<sup>127</sup> Стр. 78. Имелась в виду статья Н. И. Греча о Ломоносове, напечатанная в «Библиотеке для Чтения». Сухость и краткость статьи объяснялись тем, что она предназначалась не для журнала, а для «Энциклопедического лексикона», который начал издаваться А. А. Плюшаром с начала 1835 года.

<sup>128</sup> Стр. 78. Стихи из оды Ломоносова «Вечернее размышление о божьем величестве». Первый стих процитирован неточно. Надо: «Как может быть, чтоб мерзлый пар»...

<sup>129</sup> Стр. 78. Знаменитое место из стихотворения Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом». Первый стих процитирован неверно. Надо: «Не продается вдохновенье...»

<sup>130</sup> Стр. 79. После статьи «Здравый смысл и Барон Брамбеус», принадлежавшей Н. И. Надеждину, «почтенный Барон сначала приумолк, а

потом пустился в нравственность на манер г. Булгарина» (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 448—449).

<sup>131</sup> Стр. 81. С. А. Венгеров правильно видел тут намек на Н. В. Станкевича, который со всей страстностью изучал немецких философов и неохотно печатал свои произведения (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. I, стр. 449).

<sup>132</sup> Стр. 82. «Знаменитый сановник» — министр народного просвещения С. С. Уваров, который в 1832 году посетил Московский университет. С. А. Венгеров высказал предположение, что строки с восхвалением правительства и «знаменитого сановника», так противоречащие всему нравственному облику Белинского, вставлены в его статью редактором-издателем «Молвы» Н. И. Надеждиным (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского под ред. С. А. Венгерова, т. I, стр. 426).

### «Опыт системы нравственной философии»

<sup>1</sup> Стр. 84. Статья Белинского о брошюре А. Дроздова впервые была напечатана в «Телескопе» 1835, ч. XXX, № 24. Номер вышел с большим опозданием — только в октябре 1836 г. В настоящем издании статья печатается по тексту журнала с опущением конца, где приведены большие выдержки из книги Дроздова с его религиозными рассуждениями о нравственности.

Со второй половины августа до середины ноября 1836 г. Белинский гостил в Прямухине, где М. А. Бакунин познакомил его с философией Фихте. Здесь Белинский начал и 13 сентября 1836 г. кончил статью о брошюре А. Дроздова, в которой он выразил фихтеанские взгляды. Статья была прочитана в кругу молодых членов прямухинской семьи и произвела на всех сильное впечатление (ср. А. А. Корнилов. «Молодые годы М. Бакунина». М., 1915, стр. 245). Эта единственная печатная статья, в которой выражены фихтеанские воззрения Белинского, увидела свет далеко не в таком виде, в каком вышла она из-под пера критика. Редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин сократил ее почти на две трети. По этому поводу он писал Белинскому: «Я выпустил больше половины собственных ваших мнений, которые напечатать нет никакой возможности. Вы, почтеннейший, удалясь в царство идей, совсем забыли об условиях действительности. Притом же и время теперь самое неблагоприятное. Я нахожусь в большом страхе. Письмо Ч[аадаева], помещенное в 15 книжке, возбудило ужасный гвалт в Москве, благодаря подлецам-наблюдателям» (т. е. издателям «Моск. Наблюдателя») (там же, стр. 243—244). — В Прямухине Белинский написал еще одну большую статью, но эта статья совсем не увидела света, так как «Телескоп», где она только и могла появиться, был запрещен. — Перевод эпиграфа: «Маленькая книга, иди хотя и необработанная». «Скорби» Овидия Назона.

<sup>2</sup> Стр. 84. Думаем, что под «профанами науки» тут подразумевались С. П. Шевырев и О. И. Сенковский, о которых месяцев за пять перед тем Белинский открыто писал: «Московский Наблюдатель» (т. е. Шевырев) проповедует светскость и элегантность в литературе, смотрит на искусство и литературу с светской точки зрения. «Библиотека для Чтения» (т. е. О. И. Сенковский) развивает ту мысль, что умозрительные знания и все, проникнутое идеею, не только бесполезно, но и вредно, что немецкая философия — бред» (Полное собрание сочинений, под ред. С. А. Венгерова, т. II, стр. 513).

<sup>3</sup> Стр. 86. Думаем, что тут описка или опечатка. Смысл фразы скорее требует: «К совершенной гибели».

<sup>4</sup> Стр. 87. Имелась в виду статья В. П. Андреева под заглавием: «Как пишут критику» («Московский Наблюдатель» 1836, ч. VI), в которой защищалась книга С. П. Шевырева «История поэзии» против нападков О. И. Сенковского.

<sup>5</sup> Стр. 88. Намек на «Московский Наблюдатель», где с 1835 по 1837 г. включительно главным критиком был С. П. Шевырев.

*Письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.*

<sup>1</sup> Стр. 91. А. Н. Пыпин в начале 1870-х годов, приступая к исследованию жизни и деятельности В. Г. Белинского, обратился к родным и друзьям последнего с просьбой прислать ему сохранившиеся у них письма критика. Обращение было встречено весьма сочувственно. Через короткое время А. Н. Пыпин получил, частью в подлинниках и частью в копиях, большое количество писем В. Г. Белинского. С подлинных писем, подлежащих возвращению, были сняты точные копии.

С течением времени это собрание копий, сделанных А. Н. Пыпиным и адресатами критика, получило огромную ценность, так как многие оригиналы писем оказались или утерянными или пока неразысканными. Это собрание неполностью было использовано А. Н. Пыпиным в его труде «Белинский, его жизнь и переписка», а затем вместе с письмами, появившимися в печати до работы А. Н. Пыпина и после ее напечатания, оно легло в основу «Писем» В. Г. Белинского, изданных в 1914 г. в 3 томах под редакцией Е. А. Ляцкого. Цензурные выкиды, места интимного характера и слова и выражения, неудобные для печати, в этих «Письмах» заменены точками. Но несколько экземпляров этого издания, в качестве «корректирных экземпляров», выпущено в свет без всяких сокращений.

Один из таких экземпляров хранится в «Отделении особых фондов» библиотеки Академии наук СССР. Копии писем Белинского, которые были сделаны и собраны А. Н. Пыпиным и по которым печатались «Письма», пока не обнаружены в Институте литературы Академии наук, где находятся архивы А. Н. Пыпина и Е. А. Ляцкого.

Письмо Белинского к Д. П. Иванову от 1 августа 1837 г. А. Н. Пыпин получил от А. В. Станкевича и крупные выдержки из него внес в свою работу «Белинский, его жизнь и переписка» (СПб. 1876). Полностью это письмо было напечатано впервые по тексту собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. I). В настоящем издании оно печатается в сокращенном виде по «корректирному экземпляру» «Писем».

<sup>2</sup> Стр. 93. В этом отрицательном отношении Белинского к «допотопной истории России» чувствуется влияние историка-скептика М. Т. Каченовского (см. в настоящем издании «Литературные мечтания», стр. 37, прим. 57).

<sup>3</sup> Стр. 95. Перевод: Ламеннэ — «Слова верующего».

<sup>4</sup> Стр. 98. Письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г. относится к переломному периоду в философско-политической эволюции Белинского. Он обращает свои взоры к немецкой классической философии, называя ее «Иерусалимом новейшего человечества». Все еще испытывая влияние субъективного идеализма Фихте и решая в духе его основной философский вопрос — вопрос о соотношении мышления и бытия, Белинский вместе с тем идет дальше Фихте, приходя к гегельянскому выводу, что подлинная истина существует не в созерцании, а в сознании. Сознвая бесплодность абстрактно-теоретического «бунтарства» против окружавшей его крепостнической российской действительности, Белинский приходит к временному примирению с этой действительностью. Однако и здесь он не становится ее апологетом: он надеется на то, что развитие просвещения и цивилизации в России исподволь подготовит падение крепостного права и, высоко расценивая преобразование Петра Великого, желает развития тогдашней России по пути Западной Европы.

*Письмо к М. А. Бакунину от 12—24 октября 1838 г.*

<sup>1</sup> Стр. 98. Извлечения из письма Белинского к М. А. Бакунину от 12—24 октября 1838 г. были напечатаны в трудах А. Н. Пыпина («Белинский, его жизнь и переписка», СПб. 1876), В. А. Гольцева («Сборник Общества любителей российской словесности», 1891), А. А. Корнилова («Молодые годы Михаила Бакунина», М. 1915) и других. В «Письмах», вышедших в 1914 г., это письмо впервые было напечатано полностью по тексту собрания А. Н. Пыпина. В настоящем томе оно печатается в сокращенном виде по «коррек-

турному экземпляру» «Писем», вышедших в 1914 году (см. в наст. издании письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, прим. 1).

<sup>2</sup> Стр. 98. «Слесарша Пошлепкина» — персонаж «Ревизора» Гоголя.

<sup>3</sup> Стр. 98. «Текла» — героиня пьес Шиллера: «Смерть Валленштейна» и «Пикколомини».

<sup>4</sup> Стр. 98. «Орлеанка» — «Орлеанская дева», драматическая поэма Шиллера.

<sup>5</sup> Стр. 99. В письме к И. И. Панаеву, написанном 19 августа 1839 г., т. е. через десять месяцев после настоящего письма, Белинский говорил относительно понимания 2-й части «Фауста»: «Еще недавно, прошлой осенью, узнавши нечто из содержания 2 части «Фауста», я с свойственною мне откровенностью и громогласностью провозгласил, что она 2 часть не поэзия, а сухая, мертвая, гнилая символика и аллегорика. Сперва на меня смотрели, как на богохульника, а потом, как на безумца, который врет, что ему взбредет в праздную голову. Новое поколение гегелистов основало журнал... «Gallische Jahrbücher», и в этом журнале появилась статья некоего гегелиста Фишера о Гете, в которой он доказывает, что 2 часть «Фауста» мертвая, пошлая символика, а не поэзия, но что 1 часть — великое произведение, хотя и в ней есть непонятные, а потому и непоэтические места, ибо (это же самое говорил и я) поэзия доступна непосредственному эстетическому чувству, и отнюдь не требуется для уразумения художественных произведений посвящения в таинства философии, и что все непонятное в ней принадлежит к области символизма и аллегории. Фишер разбирает все разборы «Фауста» и нещадно издевается над ними... Больше всех срезался Марбах, который в своей действительно прекрасной популярной книге напорол о 2 части «Фауста» такой дичи, что Боткин, прекрасно переведший из нее большой отрывок, ничего не понял... Каково срезались ребята-то? И каков я молодец!» («Письма», т. I, стр. 333—334).

<sup>6</sup> Стр. 100. «Добрый малый» в устах членов кружка Станкевича периода фихтеанства и позднее было обидным термином. Он означал у них человека толпы, который делал добро или зло бессознательно.

<sup>7</sup> Стр. 101. «Мой журнал» — «Московский Наблюдатель», выходивший в 1838—1839 гг. под редакцией В. Г. Белинского.

<sup>8</sup> Стр. 101. «Меня не станет, то хватит для большего движения» — так в тексте «Писем», изданных в 1914 г. Тут, очевидно, что-то пропущено.

<sup>9</sup> Стр. 102. Переделка стиха из «Элегии» Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

<sup>10</sup> Стр. 102. Речь шла о Любви Александровне Бакуниной, умершей в августе 1838 г.

<sup>11</sup> Стр. 104. Перевод: «кутила» и «хороший товарищ».

<sup>12</sup> Стр. 105. За столом в присутствии А. М. Бакунина Белинский выразил свое одобрение французским революционерам времен конвента, которые отрубали головы своим врагам. Это привело в ужас реакционно настроенного старика Бакунина, который после этой фразы только из чувства гостеприимства терпел в своем доме Белинского.

<sup>13</sup> Стр. 105. Татьяна Александровна и Любовь Александровна — сестры Бакунина. Первой статьей, написанной Белинским в Прямухине, была статья о брошюре А. Дроздова. Вторая статья не увидела света, так как «Телескоп», где она могла быть напечатана, был запрещен за помещение в нем первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Рукопись этой статьи не дошла до нас.

<sup>14</sup> Стр. 109. И. П. Ключников говорил о вредном влиянии М. А. Бакунина на своих сестер. Того же мнения держался и Белинский.

### Письмо к Н. В. Станкевичу от 29 сентября—8 октября 1839 г.

<sup>1</sup> Стр. 110. Отрывки из письма Белинского к Н. В. Станкевичу от 29 сентября—8 октября 1839 г. напечатаны в трудах А. Станкевича («Т. Н. Грановский». М. 1869; 2-е изд., Спб. 1897), А. Н. Пыпина («Белинский, его жизнь

и переписка». Спб. 1876) и других. Письмо взято А. Н. Пыпиным из собрания А. Станкевича. Полностью напечатано оно впервые по рукописи А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. I). В настоящем издании печатается отрывок из этого письма по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года).

<sup>2</sup> Стр. 110. Письмо Н. В. Станкевича к Белинскому, откуда взята эта цитата, очевидно, не дошло до нас.

<sup>3</sup> Стр. 110. В подлиннике слово «захочет» пропущено (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>4</sup> Стр. 111. Белинский имел тут в виду свои статьи и рецензии, помещенные в «Телескопе» и «Молве» за 1834—1836 гг.

<sup>5</sup> Стр. 111. Речь идет о «Московском Наблюдателе», выходившем в 1838—1839 гг. под редакцией Белинского. Это был орган русских философов-гегельянцев, входивших в кружок Н. В. Станкевича.

<sup>6</sup> Стр. 111. Под «статьей Бакунина» подразумевалось предисловие М. Бакунина к переведенным им же «Гимназическим речам» Гегеля, которые были напечатаны в «Московском Наблюдателе» (1838, ч. XVI, кн. 1). «Гимназические речи» и предисловие к ним Бакунина были «символом веры кружка».

<sup>7</sup> Стр. 111. Имелось в виду стихотворение И. П. Ключникова: «Медный всадник. Сознание у памятника Петра Великого», которое было напечатано в «Московском Наблюдателе» (1838, ч. XVIII, кн. 10).

<sup>8</sup> Стр. 112. Текла — персонаж пьес Шиллера: «Смерть Валленштейна» и «Пикколомини». Берта — женщина, прислуживавшая Н. В. Станкевичу за границей.

<sup>9</sup> Стр. 112. Многоточиями в этой фразе обозначен пропуск двух неудобных в печати слов. «Меркуриальные последствия» — последствия постепенного отравления ртутью.

<sup>10</sup> Стр. 113. Перевод: «Идеалы».

<sup>11</sup> Стр. 113. Перевод: «Отречение».

<sup>12</sup> Стр. 113. Перевод: «Борьба».

<sup>13</sup> Стр. 113. Вместо «с их колесницами» в подлиннике: «с его колесницами» (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>14</sup> Стр. 114. Не только М. Бакунин, а и многие другие друзья Белинского были недовольны теми резкими выпадами против Шиллера, какие он допускал в период временного примирения с действительностью. Т. Н. Грановский, между прочим, жаловался на него в письме к Н. В. Станкевичу, который писал ему в ответ 1 февраля 1840 г.: «Что им дался Шиллер? Что за ненависть? Нелепые люди! Так как они не понимают, что такое действительность, то я думаю, что они уважают слово, сказанное Гегелем. А если авторитет его силен у них, то пусть прочтут, что он говорит о Шиллере в «Эстетике», в разных местах, также о «Валленштейне» в мелких сочинениях. А о действительности пусть прочтут в «Логике», что действительность, в смысле непосредственности, внешнего бытия, есть случайность; что действительность, в ее истине, есть разум, дух. А если Шиллер, по их мнению, не есть поэт действительности, а туманный, то я предлагаю им в поэты Свечина, который описывает, как в сражении *тому стегно раздвоило*» («Переписка Н. В. Станкевича». М. 1914, стр. 436).

### *Письмо к В. П. Боткину от 13 июня 1840 г.*

<sup>1</sup> Стр. 114. Отрывки из письма Белинского к В. П. Боткину от 13 июня 1840 г. впервые помещены в труде А. Н. Пыпина («Белинский, его жизнь и переписка». Спб. 1876). Письмо заимствовано А. Н. Пыпиным из собрания К. Солдатенкова. В полном виде оно впервые было напечатано по копии из собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. В настоящем издании печатаются два отрывка из этого письма по «корректорному экзем-

пляру» «Писем» (см. в наст. издании письмо Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, прим. 1).

<sup>2</sup> Стр. 114. Имелась в виду огромная статья о «Герое нашего времени» Лермонтова, которую Белинский писал во второй половине мая и в июне 1840 г. и которая была напечатана в 6-й и 7-й книжках «Отечественных Записок» за этот год.

<sup>3</sup> Стр. 115. Кокора — нижняя часть дерева, срубленная с частью толстого корня, идущего перпендикулярно или почти перпендикулярно к стволу дерева. Но Белинский употребил здесь это слово в смысле «кривуля».

<sup>4</sup> Стр. 116. Стихи из «Думы» Лермонтова.

<sup>5</sup> Стр. 116. Вместо «на мысль о разнице» в подлиннике: «на мысль на разницу» (прим. А. Н. Пыпина).

### *Письмо к К. С. Аксакову от 23 августа 1840 г.*

<sup>1</sup> Стр. 117. Письмо Белинского к В. П. Боткину от 23 августа 1840 г. впервые появилось в журнале «Русь» (1881, № 8), откуда было перепечатано в «Письмах», вышедших в 1914 г. В настоящем издании оно также печатается по тексту «Руси».

<sup>2</sup> Стр. 117. Стихи из стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно...»

<sup>3</sup> Стр. 117. После переезда Белинского из Москвы в Петербург брат его Никанор и племянник Петр, воспитывавшиеся у него, поселились у родственника и друга детства Белинского Д. П. Иванова.

<sup>4</sup> Стр. 117. «Сергей Тимофеевич» — Аксаков.

### *Письмо к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г.*

<sup>1</sup> Стр. 117. Письмо Белинского к В. П. Боткину от 10—11 декабря 1840 г. А. Н. Пыпин получил из собрания К. Солдатенкова и большие извлечения из него включил в свою работу «Белинский, его жизнь и переписка» (СПб. 1876). Полностью впервые напечатано по тексту собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. («Письма», т. II, стр. 178—194). В настоящем издании печатается отрывок из этого письма по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, прим. 1).

<sup>2</sup> Стр. 118. Многоточием отмечен пропуск одного неудобного в печати слова.

<sup>3</sup> Стр. 118. В период примирения с действительностью Белинский задевал Адама Мицкевича два раза. В 1838 году, полемизируя с Ф. В. Булгаринным, старавшимся умалить заслуги Пушкина, он писал: «Мы, впрочем, понимаем, как трудно сойтись нам с г. Булгаринным во мнении о Пушкине, который, без сомнения, и по очень понятной причине, имеет для нас несравненно высшее значение, чем Мицкевич» (Полное собрание сочинений Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. III, стр. 376). И во второй раз он сделал выпад по адресу Адама Мицкевича в статье «Менцель, критик Гете», в которой писал: «Только какой-нибудь Мицкевич может заключиться в ограниченное чувство политической ненависти и оставить поэтические содания для рифмованных памфлетов» (там же, т. IV, стр. 466—467).

<sup>4</sup> Стр. 118. Многоточием отмечено продолжение неудобного в печати слова.

<sup>5</sup> Стр. 118. Белинский говорил «свысока, с пренебрежением» о комедии Грибоедова в большой статье о «Горе от ума», написанной в конце 1839 и в начале 1840 года (Полное собрание сочинений Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. V, стр. 22—90).

<sup>6</sup> Стр. 118. Перевод: «под трехцветным флагом».

<sup>7</sup> Стр. 119. Фраза «измайловский офицер, пропахнувший Жуковым» (т. е. табаком фабрики Жукова), процитирована Белинским не вполне точно. В повести И. И. Панаева «Прекрасный человек» она читается так: «армейский человек... был весь пропитан Жуковским вахштафом» (ср. Первое полное собрание сочинений И. И. Панаева, том I, СПб. 1888, стр. 31—32).

<sup>8</sup> Стр. 119. В копии письма к слову «в нищенстве» имеется примечание А. Н. Пыпина: «кажется, так должно читать».

<sup>9</sup> Стр. 119. Многоточием отмечен пропуск продолжения одного неудобного в печати слова.

<sup>10</sup> Стр. 119. В 1838 году, т. е. в период примирения с действительностью, Белинский резко отрицательно относился к Гейне-прозаику. Он писал тогда о нем: «Зараженный тлетворным духом новейшей литературной школы Франции, он занял у нее легкомыслие, поверхностность в суждении, бесстыдство, которое для острого слова искажает святую истину». Но в то же время Белинский высоко ставил Гейне-лирика, стихотворения которого «отличаются непередаваемою простотой содержания и прелестью художественной формы» (Полное собрание сочинений Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. III, стр. 445).

<sup>11</sup> Стр. 119. Катков приехал в Петербург летом 1840 года.

<sup>12</sup> Стр. 119. Под «портретами» подразумевалось тут сочинение английской писательницы Анны Джемсон, посвященное героиням шекспировских произведений. В. П. Боткин изложил содержание этого сочинения в статье: «Женщины, созданные Шекспиром — Юлия и Офелия», которая была напечатана в «Отеч. Записках» (1841, т. XIV, № 2).

<sup>13</sup> Стр. 120. Перевод статьи Рётшера, под заглавием: «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру», был напечатан в «Отеч. Записках» (1840, т. XIII, № 11, отд. II, стр. 1—24). Люция и Флоурден (в тексте перевода: Флоурдаль) — герои одной из четырех драм, под заглавием: «Лондонский блудный сын».

<sup>14</sup> Стр. 120. А. И. Герцен «кричал» против статьи Рётшера о романе Гете в личной беседе с друзьями. В том же духе он высказался об этой статье и в письме к Н. П. Огареву от 28 февраля 1841 года, в котором писал: «С. говорит, что ты в восхищеньи от Рётшера разбора «Wahlverwandschaften», а я нахожу его, во-первых, ложным по идее, во 2-х, ложным по воззрению и безмерно скучным. Гете несколько не думал написать моральную притчу, а разрешал для себя мучительный вопрос о борьбе формализма брака с избирательным сродством. Брак не восторжествовал у Гете...» (А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке, т. II, II-град, 1915, стр. 417).

<sup>15</sup> Стр. 120. Очевидно, тут опечатка. Скорее следует читать: «подкузьмил».

<sup>16</sup> Стр. 120. «Гамлет» был известен публике главным образом по переводу Н. А. Полевого (М. 1837).

<sup>17</sup> Стр. 121. Свои «понятия о журнале на Руси», с которыми согласился В. П. Боткин, Белинский высказал в письме к последнему от 31 октября 1840 года. В этом письме мы читаем: «Для нашего общества журнал — все... Нигде в мире не имеет он такого важного и великого значения, как у нас. Не больше пяти сочинений разошлось у нас, во сто лет, в числе 5000 экземпляров, — и, между тем, есть журнал с 5000 подписчиков! Это что-нибудь значит! Журнал поглотил теперь у нас всю литературу — публика не хочет книг — хочет журналов — и в журналах печатаются целиком драмы и романы, а книжки журналов — каждая в пуд весом. Теперь у нас великую пользу может приносить, для настоящего и еще больше для будущего, кафедра, но журнал большую, ибо для нашего общества прежде науки нужна человечность, гуманическое образование» («Письма», т. II, стр. 174).

<sup>18</sup> Стр. 121. Думается нам, что правильнее будет вместо «их» прочесть «нас».

<sup>19</sup> Стр. 121. В копии письма к слову «с ним» имеется подстрочное примечание А. Н. Пыпина: «Неясно; должно быть так».

<sup>20</sup> Стр. 121. Под своими «абсолютными статьями» Белинский подразумевал статью «Менцель, критик Гете», статью об «Очерках Бородинской годовщины» и статью о «Горе от ума».

<sup>21</sup> Стр. 121. В двенадцатой книжке «Отеч. Записок» за 1840 год А. И. Герцен напечатал «Записки одного молодого человека».

<sup>22</sup> Стр. 121. В копии письма к слову «с людьми» А. Н. Пыпиным сделано такое примечание: «Конца нет. Может быть, что сюда принадлежит следую-

щий далее отрывок письма без начала. Этот следующий отрывок писан тем же почерком, на такой же бумаге — только настоящее письмо писано в почтовый лист 4°, а следующее сложено в 8°. Предметы, упоминаемые в отрывке, повторяются в письмах декабря 1840 года.

<sup>23</sup> Стр. 121. В копии письма к началу этого отрывка А. Н. Пыпин сделал такое примечание: «Первые две буквы на этом листке *ми* или *ши*».

<sup>24</sup> Стр. 122. Далее многоточием обозначен пропуск одного неудобного в печати слова.

<sup>25</sup> Стр. 122. «Кирюша» — Кирилл Антонович Горбунов, художник-портретист, впоследствии автор известного портрета Белинского.

<sup>26</sup> Стр. 122. А. В. Кольцов прожил в квартире Белинского в Петербурге приблизительно с 5 октября по 26 ноября 1840 г.

<sup>27</sup> Стр. 122. «Забывать даже и Маросейку» — т. е. квартиру В. П. Боткина, который жил на Маросейке в Москве.

<sup>28</sup> Стр. 123. Слова «понравилось», заключенного в скобки, в подлиннике нет (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>29</sup> Стр. 123. Местоимения «я», поставленного в скобки, в подлиннике нет (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>30</sup> Стр. 123. Надо думать, что тут шла речь о статейке, под заглавием: «Выставка картин в Московском архитектурном училище», напечатанной в «Отеч. Записках» за подписью «Один из посетителей выставки» (1840, т. XIII, № 11, отд. VII, стр. 23—27).

<sup>31</sup> Стр. 123. Последние семь фамилий писателей в подлиннике так: В. С., К., Б., Ш., Гет., П., Г. (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>32</sup> Стр. 123. Эпизод «Матери» из 2-й части «Фауста» приведен в примечании к переводу М. Н. Каткова статьи Рётшера «О философской критике художественного произведения» («Моск. Наблюдатель» 1838, ч. XVII).

<sup>33</sup> Стр. 123. Далее пропущено одно слово, неудобное в печати.

### *Рецензия о книге Ансильона: «Изображение переворотов...»*

<sup>1</sup> Стр. 124. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1840, т. X, № 6 (ценз. разр. около середины июня 1840 г.), отд. VI, стр. 57—59.

Рецензия без подписи. Принадлежность ее Белинскому установлена В. С. Спиридоновым. Вошла в том XII Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, где приведены доказательства принадлежности ее критику (Госиздат, М.—Л., 1926, стр. 229—232 и 521—523).

<sup>2</sup> Стр. 126. Перевод: «Яков Арминий смягчал суровые правила Кальвина о предопределении и благодати» (см. «Изображение революций в политической системе Европы», т. II, стр. 467).

### *Рецензия о книгах И. И. Голикова и Вениамина Бергмана*

<sup>1</sup> Стр. 126. 22 января 1841 г. Белинский извещал своего друга В. П. Боткина, что собирается писать «критику огромную — о Петре Великом, статью, которая лежит у меня на сердце, давит его и просится вон» («Письма», т. II, стр. 210). В «Отечественных Записках» за 1841 год была напечатана первая статья этой «огромной критики» в виде рецензии о трудах: «Деяния Петра Великого» Голикова, «О России в царствование Алексея Михайловича» Григория Кошихина и «Истории Петра Великого» Вениамина Бергмана. Статья была урезана царской цензурой, но в какой мере — мы не можем сказать, не имея в руках рукописи. Сам Белинский говорил в письме к тому же Боткину от 9 апреля 1841 г., что из его «несчастной статьи вырезан весь смысл, ибо выкинуто ровно половина» («Письма», т. II, стр. 239). Почти одновременно с напечатанием первой статьи у Белинского была готова и вторая статья, ибо в апреле или даже в марте 1841 г. он сообщал А. А. Краевскому, что думает писать уже третью статью о Петре Великом («Письма», т. II, стр. 228). Но вторую статью постигла участь более жесто-

кая, чем первую. Она была рассмотрена в цензурном комитете и вышла оттуда в неузнаваемом виде. По этому поводу Белинский писал Боткину: «В рукописи это точно о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая, но в печати — это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее искажил весь цензурный синедрион собором. Ее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь. Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого» («Письма», т. II, стр. 250). Статья была напечатана в журнале с примечанием в конце: «Предположенного продолжения статей о «Деяниях Петра Великого», по независимым от редакции причинам, не будет («Отечественные Записки» 1841, т. XVI, № 5, отд. V, стр. 1—18). Подлинник изуродованной статьи Белинский получил обратно из редакции «Отечественных Записок» («Письма», т. II, стр. 284) и подарил ее своему приятелю Александру Баладину. В 1910—1915 гг. рукопись хранилась в собрании автографов коллекционера Э. П. Юргенсона. В 1915 г. Н. О. Лернер снял копию с этой рукописи и напечатал «цензурные выкидки» в «Северных Записках» (1915, № 4, стр. 12—29). В Полном собрании сочинений В. Г. Белинского (т. VI) С. А. Венгеров перепечатал статью в изуродованном виде из «Отечественных Записок» и обещал главные «цензурные выкидки», напечатанные Н. О. Лернером, поместить в т. XII своего издания (т. XI. Предисловие). Но смерть помешала ему сделать это. В т. XII Полного собрания сочинений В. Г. Белинского, изданном под ред. В. С. Спиридонова, эта статья перепечатана полностью с копии подлинника, предоставленной покойным Н. О. Лернером. С этой же копии мы воспроизводим эту статью и в настоящем издании. Все выкидки текстов, сделанные цензурой, печатаются в прямых скобках, а все переделки приводятся в особых примечаниях к соответствующим местам подлинного текста Белинского.

<sup>2</sup> Стр. 127. Перевод: «Будь другом Платона, но большим твоим другом пусть будет истина».

<sup>3</sup> Стр. 128. Слово «два» и фамилии «Грузинцев и князь Ширинский-Шихматов» цензура вычеркнула, вероятно, потому, что С. А. Ширинский-Шихматов в 1830 г. принял монашество и цензура сочла неудобным, чтобы он фигурировал в литературе в качестве плохого «господина сочинителя». Исключение Ширинского-Шихматова естественно повлекло за собой исключение и А. Н. Грузинцева. С. А. Ширинский-Шихматов написал «Петр Великий, лирическое песнопение» (1810), А. Н. Грузинцев — поэму «Петриада» в 10 песнях (1812—1817).

<sup>4</sup> Стр. 129. Выражение: «что все эти господа сочинители писали», в журнальном тексте переделано: «что они писали».

<sup>5</sup> Стр. 129. Здесь и дальше — начало борьбы со славянофильством, пока еще не оформившимся и не получившим определенного названия. Почти все места в этой статье, касавшиеся этого течения, были вычеркнуты цензурой.

<sup>6</sup> Стр. 129. Выражение: «могут не шутя ругать Петра Великого в том, за чем он начал свое преобразование», в журнальном тексте переделано: «могут не шутя говорить, за чем начато преобразование».

<sup>7</sup> Стр. 130. Выражение: «в то же время уничтожают, сами того не замечая, всю великость дела, отрицая европеизм», в журнале заменено: «в то же время отрицают европеизм».

<sup>8</sup> Стр. 135. По взгляду Белинского, сущность всякой национальности заключается в ее мирозерцании, которое, в свою очередь, является источником и основой всякой литературы. Отсюда и понятно, что вопрос о национальности занял центральное место в статьях Белинского. Но тем не менее определения национальности он не дал и даже полагал, что его пока и невозможно дать. В статье «Русская литература в 1840 году» он писал: «Определить мирозерцание народа — задача великая, труд гигантский, достойный усилий величайших гениев, представителей современного философского знания. Это значит исчерпать всю жизнь народа...» (Полн. собр.

соч., т. V, стр. 471—472). То же самое Белинский говорит и в настоящей статье. И в статье «Петербург и Москва» он писал: «Может быть, назначение Москвы состоит в удержании национального начала, сущности которого, как сущности многих вещей сего мира, пока нет возможности определить...» (т. IX, стр. 236). Наконец, в статье «Русская литература в 1846 году» мы читаем: «Да, в нас есть национальная жизнь... Но в чем состоит эта русская национальность — этого пока нельзя определить...» (т. X, стр. 401).

<sup>9</sup> Стр. 136. Выражение: «Что до меня, — каюсь в грехе: я вижу», в журнале заменено: «Что до нас, — каемся в грехе: мы видим».

<sup>10</sup> Стр. 138. Вместо слов «в себе богача» в журнале напечатано: «свое богатство».

<sup>11</sup> Стр. 138. Слово «немцев» в журнале заменено: «других».

<sup>12</sup> Стр. 138. Вместо слов «начинаем освобождаться» в журнале напечатано: «от многих освободились и освобождаемся».

<sup>13</sup> Стр. 158. Выражение: «на язву нашей народности — лихоимство», в журнале заменено: «например, на лихоимство».

<sup>14</sup> Стр. 138. Белинский цитировал неточно. В «Горе от ума» так:

Спросили бы, как делали отцы?  
Учились бы, на старших глядя.

<sup>15</sup> Стр. 138. Выражение: «не замедлила явиться оппозиция общему злу» в журнале изменено так: «у нас не замедлило явиться противоборство этому общему злу».

<sup>16</sup> Стр. 139. Белинский цитировал неточно. Первый стих в «Горе от ума» читается так:

Как станешь представлять к крестинку ли, к местечку.

<sup>17</sup> Стр. 139. Вместо слов, заключенных в скобках, в журнале напечатано: «не было».

<sup>18</sup> Стр. 139. Слова «дурною народностью» в журнале заменены: «дурными привычками».

<sup>19</sup> Стр. 139. Вместо слов «такой народности» в журнале напечатано: «их».

<sup>20</sup> Стр. 139. После союза «А» в журнале вставлено: «это действительно привычки — не более, ибо».

<sup>21</sup> Стр. 144. «Есть» заменено в журнале словом «составляет».

<sup>22</sup> Стр. 145. Фраза: «Все это столько же нравственно, сколько и эстетично», в журнале была переделана так: «Все это нисколько не нравственно и не эстетично».

<sup>23</sup> Стр. 147. Фраза: «но не было кнута, подаренного нам татарами», в журнале заменена словами: «и пр.».

<sup>24</sup> Стр. 147. Слова «от своей народности» в журнале заменены: «от старины».

<sup>25</sup> Стр. 149. Фраза: «а офицеры должны быть из высшего сословия против того», в журнале переделана так: «а офицеры должны быть из сословия высшего, нежели то».

<sup>26</sup> Стр. 153. Фраза: «много погублено работников, многих насильно заставляли строить», в журнале переделана так: «много стоило жертв».

<sup>27</sup> Стр. 154. Слово «бранить» заменено: «порицать».

<sup>28</sup> Стр. 155. В рукописи после этих слов примечания стоит еще: «(«Литер. Пр. к Инв.» 1839, стр. 209, II т. Примечание для Краевского)».

<sup>29</sup> Стр. 159. Выступая против панславистских и славянофильских бредней, Белинский совершенно справедливо подчеркивал, что неотъемлемыми качествами великого русского народа являются бодрость, смелость, крепость духа, мудрость, находчивость и трудолюбие и доказывал, что мистицизм и религиозная созерцательность не свойственны русскому народу. Но вместе с тем Белинский допускал ошибку, когда говорил о приверженности русского крестьянина к патриархальным обычаям («он пахнет, как пахали и деды, не прибавит ни колупка к сохе»), и неправильно полагал, что русский народ погружался в дремоту после каждого из великих потрясений, во время кото-

рых он сокрушал внешних врагов. Однако и здесь Белинский считал, что это зависело не от природы русского народа, а от исторических условий, в которые он был поставлен крепостниками.

### *Письмо к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г.*

<sup>1</sup> Стр. 162. Письмо Белинского к В. П. Боткину от 1 марта 1841 г. А. Н. Пышин получил из собрания К. Солдатенкова. Извлечения из него вошли в его работу: «Белинский, его жизнь и переписка» (Спб. 1914). Полностью впервые было напечатано по тексту рукописи А. Н. Пышина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. II, стр. 212—221). В настоящем издании печатается первая половина этого письма по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года).

<sup>2</sup> Стр. 162. «Hallische Jahrbücher» — журнал левых гегельянцев, издававшийся с 1837 года Эхтермейером и Арнольдом Руге.

<sup>3</sup> Стр. 162. Далее многоточием обозначен пропуск двух слов, неудобных в печати.

<sup>4</sup> Стр. 163. Так в кружке Станкевича называли Гегеля.

<sup>5</sup> Стр. 164. Под «историей Каткова» подразумевалось увлечение последнего женой Н. П. Огарева (ср. Белинский, «Письма», т. II, стр. 202—203 и 406).

<sup>6</sup> Стр. 164. О «слоге Каткова» Белинский писал В. П. Боткину в письме от 10—11 декабря 1840 года.

<sup>7</sup> Стр. 164. Белинский говорит тут о своей статье «Разделение поэзии на роды и виды».

<sup>8</sup> Стр. 165. Ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под редакцией С. А. Венгерова, т. VI, стр. 108 и 572—573.

<sup>9</sup> Стр. 165. Намек на Софью Кронеберг, дочь харьковского профессора И. Я. Кронеберга. О существовании этой девушки Белинский впервые узнал от В. П. Боткина, который был в Харькове и там познакомился с семейством И. Я. Кронеберга. В письме от 9 февраля 1840 года он писал Белинскому: «Был я в Харькове, видел Кронеберговых, — а что? ты краснеешь?.. Хотя Софья и никогда не видела тебя, но она тебя хорошо знает, любит расспрашивать о тебе, — я уже не говорю о том, как она любит читать твои статьи. Вообще, в Харькове имя твое, право, лучше известно, нежели в Москве, а все через добрую Софью и Кульчицкого, а «Наблюдатель» считает Софья просто своим журналом, журналом своих близких людей»... (Белинский, «Письма», т. II, стр. 39—41 и 384).

### *Письмо к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г.*

<sup>1</sup> Стр. 166. Письмо Белинского к В. П. Боткину от 27—28 июня 1841 г. А. Н. Пышин получил из собрания К. Солдатенкова и извлечения из него включил в свою работу «Белинский, его жизнь и переписка» (Спб. 1876). Полностью впервые напечатано по тексту собрания А. Н. Пышина в «Письмах», вышедших в 1914 г. («Письма», т. II, стр. 243—251). В настоящем издании это письмо печатается с опущением конца по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года).

<sup>2</sup> Стр. 166. В копии письма к слову «Василий» имеется примечание А. Н. Пышина: «Это имя зачеркнуто, — конечно, не Белинским».

<sup>3</sup> Стр. 166. Анахарсис — скиф, посетивший Грецию во времена Солона и восприимчивый греческую образованность. Греки причислили его к «семи мудрецам». Анахарсис стал героем романа французского археолога Жан-Жака Бартеlemi «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции», переведенного на все европейские языки, в том числе и на русский (М., 1803—1819. Спб. 1804—1809).

<sup>4</sup> Стр. 166. Вместо «Сильное» в копии письма: «Сальное».

<sup>5</sup> Стр. 167. Более подробно смысл и значение дружбы между членами кружка Станкевича Белинский раскрыл в письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года, которое является как бы продолжением настоящего письма.

<sup>6</sup> Стр. 167. Н. А. Полевой «дал толчок обществу» своим журналом «Московский Телеграф», который в 1834 году был запрещен за помещение в нем неблагоприятного отзыва о драме Н. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». С 1838 года Н. А. Полевой сошелся с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным. С этого времени Белинский стал его идейным врагом. Впервые он подверг Н. А. Полевого резкой критике на страницах «Московского Наблюдателя» за 1839 год. После прекращения этого журнала он перенес свою полемику с Н. А. Полевым в «Отеч. Записки» и в «Литер. прибавления к «Русскому Инвалиду», в которых начал работать с конца июля 1839 года. Перед выступлением в этих органах он писал И. И. Панаеву 22 февраля 1839 года: «Если я буду *крепко* участвовать в «Отеч. Записках», то — уговор лучше денег — Полевой — да не прикоснется к нему никто, кроме меня! Это моя собственность, собственность по праву. Я, и никто другой, должен спихнуть его с синтеза и анализа и со всего этого хламу пошлых, устарелых мнений и чувствований, на которых он думает выезжать и которыми думает запугать молодое поколение... Люблю и уважаю Полевого, высоко ценю заслуги его, почитаю его лицом историческим, но тем не менее постараюсь сказать и доказать, что он отстаёт от века, не понимает современности... Ужасное несчастье пережить самого себя — это все равно, что сойти с ума» («Письма», т. I, стр. 313—314). Белинский был беспощаден к Н. А. Полевому до смерти последнего.

<sup>7</sup> Стр. 168. Слова, заключенные Белинским в овалы, в «Письмах», изданных в 1914 году, были исключены цензурой.

<sup>8</sup> Стр. 168. В копии письма к слову «Боткин» А. Н. Пыпин сделал примечание: «Слово «Боткин» зачеркнуто после».

<sup>9</sup> Стр. 168. Речь шла о Николае Петровиче Боткине.

<sup>10</sup> Стр. 169. В копии письма к словам «Странное дело» сделано А. Н. Пыпиным примечание: «Затем опять зачеркнуто, кажется: «Боткин»».

<sup>11</sup> Стр. 169. Здесь и ниже текст, заключенный нами в прямые скобки, в «Письмах», изданных в 1914 году, был выброшен цензурой.

<sup>12</sup> Стр. 169. «Александр-то Филиппович» — Македонский.

### *Письмо к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г.*

<sup>1</sup> Стр. 169. Извлечения из письма Белинского к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г. вошли в работу А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» (СПб. 1876). Получено оно из собрания К. Солдатенкова. Полностью впервые напечатано по тексту собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. II, стр. 261—271). В настоящем издании письмо печатается полностью по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании письмо к Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года, прим. 1).

<sup>2</sup> Стр. 170. О «старых дрязгах» Белинский вспоминал в письме к В. П. Боткину от 27—28 июля 1841 г.

<sup>3</sup> Стр. 171. Предлога «без», заключенного в скобки, в подлиннике нет (прим. А. Н. Пыпина).

<sup>4</sup> Стр. 171. В. П. Боткин увлекся Александрой Александровной, сестрой М. А. Бакунина, которой он сделал предложение. Александра Александровна ответила ему согласием. Но против их брака были брат и отец Александры Александровны, и он не состоялся.

<sup>5</sup> Стр. 171. Белинский имел тут в виду свое увлечение Александрой Александровной Бакуниной, в которую потом влюбился В. П. Боткин.

<sup>6</sup> Стр. 171. Н. В. Станкевич полюбил Любовь Александровну Бакунину и стал ее женихом, но скоро он убедился, что у него нет к ней истинного чувства. Не решившись признаться в этом своей невесте, он, под предлогом болезни, уехал за границу. Об истинной причине его отъезда скоро

узнала вся семья Бакуниных, кроме Любови Александровны, 6 августа 1838 года она скончалась, не сомневаясь до последней минуты, что Н. В. Станкевич любит ее.

<sup>7</sup> Стр. 172. Первый стих Белинский цитировал неверно. В «Трех ключах» Пушкина он читался так:

Последний ключ, холодный ключ забвенья...

<sup>8</sup> Стр. 173. «Пионеры» — роман Купера. — Жан-Анри Банкаль (1750—1823) — видный деятель первой французской буржуазной революции, член конвента, жирондист. Вследствие измены генерала Дюмурье, в армии которого Банкаль был комиссаром, он попал в руки австрийцев и был посажен в тюрьму. Выпущенный на волю, он был избран членом Совета пятисот.

<sup>9</sup> Стр. 173. В начале сороковых годов главным пристанищем, где соби-рался кружок Белинского, была квартира А. Я. Кульчицкого, Н. Н. Тютчева и К. Д. Кавелина, живших тогда вместе. Сюда приходили И. И. Панаев, И. С. Тургенев, М. А. Языков, И. И. Маслов, А. И. Кронеберг, во время приездов в Петербург бывали здесь В. П. Боткин, П. В. Анненков и М. Н. Катков. И. И. Панаев говорит, что «кружок, в котором жил Белинский, был тесно сплочен и сохранился во всей чистоте до самой его смерти. Он поддержи-вался силою его духа и убеждений» (Первое полное собрание сочинений И. И. Панаева, т. VI, Спб. 1888, стр. 302). Тут, конечно, шла речь о друзьях Белинского, постоянно живших в Петербурге и составлявших ядро его кружка. В кружке велись непринужденные разговоры и споры по самым разнообразным вопросам. Руководящую роль в этих разговорах и спорах играл Белинский, который, по словам К. Д. Кавелина, производил на всех членов кружка «чарующее действие». «Споры и серьезные разговоры — говорит К. Д. Кавелин — не велись методически, а всегда перемежались и смешивались с остротами и шутками» (Собрание сочинений К. Д. Кавелина, т. II, Спб. 1904, стлб. 1086 и 1088). Не мало времени кружок уделял префе-рансу, которым страстно увлекался Белинский. Это увлечение Белинского А. Я. Кульчицкий увековечил брошюрой: «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс», изданной под псевдонимом кандидата фило-софии П. Ремизова (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ре-дакцией В. С. Спиридонова, т. XIII, № 1113). Можно думать, что и своей повестью «Необыкновенный поединок» А. Я. Кульчицкий в известной сте-пени увековечил беседы, которые велись в кружке Белинского.

<sup>10</sup> Стр. 173. О Кирыше см. в настоящем издании примечание 25 к письму Белинского к Боткину от 10—11 декабря 1840 г.

<sup>11</sup> Стр. 174. Далее многоточием обозначен пропуск трех неудобных в пе-чати слов.

<sup>12</sup> Стр. 175. Эта дикая сцена с «оплеухами» между М. Н. Катковым и М. А. Бакуниным произошла в квартире Белинского (см. Белинский, «Письма», т. II, стр. 145—149).

<sup>13</sup> Стр. 175. Отелло и Дездемона — герои трагедии Шекспира «Отелло».

<sup>14</sup> Стр. 175. Перевод: «Да совершится правосудие, хотя бы мир погиб». Это выражение приписывают имп. Фердинанду I.

<sup>15</sup> Стр. 176. Из дальнейших строк можно заключить, что Белинский читал «Историю французской революции» Тьера.

<sup>16</sup> Стр. 176. «Что ему Гекуба?» — слова Гамлета, сказанные по адресу ак-тера, который с рыданием говорил на сцене о царице Гекубе («Гамлет», д. II, сцена 2).

<sup>17</sup> Стр. 176. Текст, заключенный нами в прямые скобки, в «Письмах», из-данных в 1914 году, был выброшен, вероятно, цензурой (т. II, стр. 269). Многоточием в этом восстановленном тексте нами обозначен пропуск одного неудобного в печати слова.

<sup>18</sup> Стр. 177. «Петр Николаевич» — Кудрявцев. Его «дивная повесть» — «Цветок», напечатанный в сентябрьской книжке «Отеч. Записок» за 1841 год.

<sup>19</sup> Стр. 177. «Александра Александровна» и «Татьяна Александровна» — сестры М. А. Бакунина.

## «Идея искусства»

<sup>1</sup> Стр. 178. Эта незаконченная статья, написанная в первой половине 1841 г., при жизни Белинского не появлялась в печати. Впервые она была напечатана в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина по черновой рукописи, хранящейся в настоящее время под № 3322 в Государственной публичной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве (Сочинения В. Белинского, часть XII, М. 1862, стр. 367—392). По той же рукописи она была воспроизведена в издании С. А. Венгерова (т. VI, № 572) и в издании: «В. Г. Белинский. Избранные сочинения», редакция Д. Благого, комментарии Д. Благого и А. Лаврецкого (т. II, М. 1936, стр. 59—74). В первых двух изданиях статья напечатана с рядом мелких извращений и пропусков. Не вполне точно текст ее воспроизведен и в последнем издании. В настоящем издании статья печатается по той же черновой рукописи. Слова, случайно пропущенные Белинским, заключены в прямые скобки. Слова, в правильном прочтении которых мы не вполне уверены, поставлены под вопросом.

<sup>2</sup> Стр. 178. Белинский уже в статье о Фонвизине и Загоскине, написанной в 1838 г., говорил: «Чувство есть непосредственное созерцание истины... Поэзия есть мышление в образах». В настоящей статье, относящейся к 1841 году, он только применил это определение поэзии к искусству вообще (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 10 и 11).

<sup>3</sup> Стр. 180. Отрывок из поэмы Байрона «Шильонский узник», переведенной на русский язык В. А. Жуковским. Последний стих в переводе последнего читается так: «Недвижный, темный и немой».

<sup>4</sup> Стр. 180. Далее в рукописи следует полустертая незаконченная фраза, которая читается так: «Человек в отношении к самому себе».

<sup>5</sup> Стр. 183. Первоначально было: «поэтический». Над этим словом Белинский написал: «романтический», но слово «поэтический» по забывчивости не зачеркнул. Д. Благой оставил (на наш взгляд, ошибочно) в тексте статьи оба эти слова (ср. В. Г. Белинский, Избранные сочинения, т. II, редакция текста Д. Благого. Гослитиздат. М. 1936, стр. 64).

<sup>6</sup> Стр. 183. Отрывок из думы «Великая тайна» А. В. Кольцова.

<sup>7</sup> Стр. 183. Далее зачеркнуто: «венчанного».

<sup>8</sup> Стр. 185. В этом месте рукописи оставлено пустое место в скобках для немецкого термина.

<sup>9</sup> Стр. 185. В данном месте рукописи поставлен знак Г и на полях, под таким же знаком, начата фраза: «Когда вы слышите от другого рассказ о каком-нибудь человеке, то как бы...»

<sup>10</sup> Стр. 187. В этом месте рукописи зачеркнуто: «Все эти примеры... Но все эти примеры поясняют только одну сторону понятия, заключенного в словах «непосредственный» и «непосредственность», — и мы должны привести другие для показания полного значения этих слов».

<sup>11</sup> Стр. 188. В этом месте рукописи Белинский зачеркнул: «В чем видна одна воля человеческая, одно сознание, — там не может быть непосредственного действия, которое одно плодотворно и действительно; и, напротив, в чем видна одна непосредственность, без всякой воли и всякого сознания, — там нет никакой разумности, и человеческое действие становится просто животным действием».

<sup>12</sup> Стр. 189. Эта фраза написана над зачеркнутым текстом: «Как произведениям природы противопоставляются произведения ремесл, так всему непосредственно являющемуся противопоставляется искусственное. Здесь два мира, враждебно стоящие друг против друга, как жизнь и смерть — один в беспрестанной подвижности, в переливах цветов и красок, шумный бесп...»

<sup>13</sup> Стр. 190. В рукописи в этом месте зачеркнуто: «не внешнею только формою должно ограничиться наше рассмотрение естественной розы, и как скоро мы заглянем внутрь ее — всякое сравнение с нею искусственной уничтожится, как нелепость, оскорбляющая здравый смысл».

<sup>14</sup> Стр. 191. Далее зачеркнуто: «как будто с болями и страданиями».

*«Взгляд на главнейшие явления русской литературы  
в 1843 г.»*

<sup>1</sup> Стр. 195. Напечатана впервые в «Литературной Газете» 1844 1/I, № 1 (ценз. разр. 31/XII 1843); 8/I, № 2 (ценз. разр. 8/I).

В письме к А. А. Краевскому от 19 августа 1839 г. Белинский говорил: «Отечественные Записки» и «Литературные прибавления» — наше общее дело: отныне я их душой и телом, их интересы — мои интересы. По приезде в Питер докажу вам это на деле» («Письма», т. I, стр. 322). Белинский горячо взялся за дело. К участию в органах А. А. Краевского он настойчиво привлекал и своих друзей. Благодаря Белинскому и его друзьям, «Отечественные Записки» и «Литературная Газета», заменившая собой с начала 1840 г. «Литературные прибавления», очень быстро стали лучшими и передовыми органами сороковых годов. С начала 1841 г. А. А. Краевский отделил «Литературную Газету» от «Отечественных Записок» и передал ее в распоряжение Ф. А. Кони. Газета стала быстро падать. 28 июня Белинский уже извинялся перед П. Н. Кудрявцевым, что за недостатком места в «Отечественных Записках» он поместил его статью в «гнусной Коневской газеташке» («Письма», т. II, стр. 252). С начала 1844 г. совсем захудалая «Литературная Газета» стала вновь выходить под одной редакцией с «Отечественными Записками». Белинский сразу поднял и оживил захирелую газету. Она стала неузнаваема. Кроме обзора «Русская литература в 1843 году», помещенного в «Отечественных Записках», Белинский написал еще для «Литературной Газеты» две замечательные статьи под общим заглавием: «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году», занявшие около двух печатных листов. Статьи без подписи. Принадлежность их Белинскому установлена В. С. Спиридоновым. Они вошли в т. XIII Полного собрания сочинений В. Г. Белинского, который выйдет в ближайшее время. В этом томе приведены соображения относительно принадлежности их критику (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 131—153 и 449—450). В настоящем издании печатается вступительная часть первой статьи, посвященная характеристике разных литератур: «лубочной», «промышленной», «старческой» и натуральной, и составляющая как бы введение к обзору русской литературы за 1843 год.

<sup>2</sup> Стр. 197. Под «кормильцем» и «двигателем литературы» подразумевался книгопродавец и издатель М. Д. Ольхин, которому из корыстных целей шел в печати дифирамбы Ф. В. Булгарин (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. VIII, стр. 302 и 347).

<sup>3</sup> Стр. 198. Тут Белинский имел в виду свои отзывы о Державине и Карамзине, из-за которых «старческая литература подняла гвалт» в стихах и в прозе — «в надежде», что правительство Николая обратит, наконец, внимание на «преступного» критика (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XIII, прим. 82).

<sup>4</sup> Стр. 199. Под «одной частью» старческой литературы, занимающейся разработкой «каких-то материалов», подразумевался М. П. Погодин, наводивший свой «Москвитянин» историческими материалами; под «другой частью, более деятельной» — Н. Д. Иванчин-Писарев, написавший целую серию брошюр в защиту патриархальной старины, и под «третьей, самой дикой и неумеренной» — «Маяк» (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. VIII, стр. 184—187).

<sup>5</sup> Стр. 201. «Абадонна», «Эмма» и «Блаженство безумия» — произведения Н. А. Полевого.

<sup>6</sup> Стр. 201. «Пошлый резонер» — Ф. В. Булгарин. «Другой резонер» — О. И. Сенковский.

*Статьи об «Евгении Онегине» А. С. Пушкина*

<sup>1</sup> Стр. 202. Восьмая и девятая статьи Белинского о Пушкине, печатаемые в настоящем издании, впервые были опубликованы в «Отечественных Записках» 1844, т. XXXVII, № 12 (ценз. разр. около 30/XI), отд. V, стр. 45—72;

1845, т. XXXIX, № 3 (ценз. разр. 28/II), отд. V, стр. 1—20. В настоящем издании воспроизводится этот первопечатный текст.

Белинский долго готовился к написанию цикла статей о Пушкине, занявших центральное место в его литературном наследии. Еще в 1836 г. он говорил, что вопрос о романтизме, в отношении Пушкина, он подробно рассмотрит «в особенной статье о Пушкине, которая уже пишется» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. II, стр. 340). Статья не была написана. В 1838 г. в рецензии о первых трех томах посмертного издания «Сочинений Александра Пушкина» Белинский снова писал: «Всякий образованный русский должен иметь у себя всего Пушкина: иначе он и не образованный и не русский. «Московский Наблюдатель» не замедлит представить своим читателям подробный разбор сочинений Пушкина» (там же, т. III, стр. 322). Но и на этот раз обещание не было выполнено. В конце 1839 г. в статье об «Очерках русской литературы» Н. Полевого Белинский уже с некоторым оправданием писал: «О Пушкине надо или все говорить или ничего не говорить. Читатели «Отечественных Записок» встречали в них так много и таких резких отзывов о великости Пушкина, как поэта, что в праве требовать от нас доказательной и отчетливой оценки его художественной деятельности, и потому, при выходе последних томов сочинений Пушкина, «Отечественные Записки» представят своим читателям целый ряд статей об этом поэте, в которых мы, развив значение и основания творчества, перейдем в критическому разбору творений Державина, Жуковского и Батюшкова, как предшественников Пушкина, и заключим подробным разбором творений самого Пушкина, так что эта критика будет вместе и очерком истории русской поэзии» (там же, т. V, стр. 109). Таким образом, план работы о Пушкине, намеченный в виде одной статьи, разросся до ряда статей и дошел, наконец, до целого «очерка истории русской поэзии». Очевидно, план этот расширялся по мере уяснения Белинским всего огромного значения Пушкина в истории русской литературы. К выполнению этого плана Белинский приступил только в 1843 году, т. е. почти через восемь с половиною лет после того, как он обещал написать «особенную статью» о Пушкине. Чуждый ложного стыда, Белинский сам откровенно признался, что «одною из главных причин, почему не мог он ранее выполнить своего обещания читателям, касательно разбора сочинений Пушкина, было сознание неясности и неопределенности собственного его понятия о значении этого поэта» (там же, т. XI, стр. 193).

Одиннадцать статей о Пушкине, которые оставил нам Белинский, в полном смысле можно считать «очерками истории русской поэзии», но вместе с тем они были только центральной частью более грандиозной работы Белинского — «Теоретического и критического курса русской литературы», план которого критик набросал в 1841 г. (т. VI, стр. 63—64). Кроме центральной части — статей о Пушкине, Белинский написал по этому курсу ряд других статей, но завершить этого труда не успел.

<sup>2</sup> Стр. 202. К словам «статья восьмая» в журнальном тексте имеется сноска: «Первые семь статей были напечатаны в следующих книжках «Отечественных Записок»: первая — в 6-й (июнь), вторая — в 9-й (сентябрь), третья — в 10-й (октябрь), четвертая — в 12-й (декабрь) прошедшего, 1843 г.; пятая — во второй книжке (февраль), шестая — в 3-й (март), седьмая — в 5-й (май) нынешнего года».

<sup>3</sup> Стр. 209. Намек на роман Н. М. Загоскина «Тоска по родине», в котором имеется сцена с «пьяным лакеем». Белинский уделил много места в своих статьях и рецензиях борьбе с псевдоромантиками и их пониманием «истинной национальности».

<sup>4</sup> Стр. 210. Цитата из статьи Гоголя: «Несколько слов о Пушкине», помещенной в первой части «Арабесок».

<sup>5</sup> Стр. 211. В иной формулировке, но по существу такие же взгляды высказаны в «Литературных мечтаниях», где Белинский говорит: «Несправедливо говорят, будто он (Пушкин. — Ред.) подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому

явлению. Да, Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества, но мира русского, но человечества русского».

<sup>6</sup> Стр. 211. Перевод: «подвиг».

<sup>7</sup> Стр. 213. Приведенные стихи взяты из стихотворения Лермонтова: «Журналист, читатель и писатель».

<sup>8</sup> Стр. 215. Под «одним великим критиком» можно подразумевать и Н. И. Надеждина и Н. А. Полевого. В рецензии о 7-й главе «Евгения Онегина» Н. И. Надеждин назвал роман «забавной болтовней» («Вестник Европы» 1830, № 7). А в статье «Летописи отечественной литературы», появившейся через два года, он говорил, что «Евгений Онегин» не был и не назначался быть в самом деле романом... Самое явление его, неопределенно-периодическими выходами, с беспрестанными пропусками и скачками, показывает, что поэт не имел при нем ни цели, ни плана, а действовал по свободному внушению играющей фантазии. Смело можно угадывать, что при первой главе «Онегина» Пушкин и не думал, как он кончится» («Телескоп» 1832, ч. IX, № 9). Н. А. Полевой в своих последних оценках «Евгения Онегина» сошелся с Н. И. Надеждиным. В рецензии о той же 7-й главе «Евгения Онегина» он находил, что «Онегин» есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение» («Московский Телеграф» 1830, ч. XXXII, № 6). И в рецензии об «Евгении Онегине», появившейся в 1833 году, он спрашивал: «Какая общая мысль остается в душе после «Онегина»? — Никакой. Кто не скажет, что «Онегин» изобилует красотами разнообразными, но все это в отрывках, в отдельных стихах, в эпизодах в чему-то, чего нет и не будет. Следовательно, при создании «Онегина» поэт не имел никакой мысли: начавши писать, он не знал, чем кончит, и окончивая мог писать еще столько же глав, не вреда общности сочинения, потому что ее нет» («Московский Телеграф» 1833, ч. L, № 6).

<sup>9</sup> Стр. 218. Намек на Ф. В. Булгарина, который был «предубежден» против высшего общества, конечно, потому, что оно не хотело признавать его происхождения от литовских «княжеских бояр, имевших одно значение с древними боярами русскими». В своих «Воспоминаниях», указавши на «знатность» своего рода, он гордо заявил: «После этого позволяю всякому аристократиться передо мною» (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. X, стр. 340—341). — Под писателями, любившими изображать высшее общество, Белинский подразумевал главным образом Л. В. Бранта и Владимира Войта, романы которых из жизни высшего общества он разоблачал около этого времени (там же, т. VIII, № 775 и 778).

<sup>10</sup> Стр. 235. Третий стих снизу Белинский цитировал неточно. Надо: «Вооружать и речь, и взор».

<sup>11</sup> Стр. 236. Перевод: «Неудавшиеся существа, неудавшиеся существование».

<sup>12</sup> Стр. 239. Четвертый стих снизу Белинский цитировал неточно. Надо: «Пил, ел, скучал, толстел, хирел».

<sup>13</sup> Стр. 239. В этой суровой характеристике Ленского сказилось резко отрицательное отношение Белинского к романтизму, с которым он повел жестокую борьбу после 1840—1841 гг. Еще более сурово, чем к Ленскому, отнесся критик к запоздалому романтику Александру Адуеву в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», написанной через три года после настоящей статьи о Пушкине. Под «идеальной девой» подразумевалась тут героиня романа О. И. Сенковского: «Идеальная красавица, или дева чудная», появившегося в печати в 1841—1844 годах. Белинский сделал эту героиню нарицательным именем и постоянно потешался над ней в своих статьях. Подробно он говорит об этом типе женщины в девятой статье о Пушкине и в рецензии о романе Фредерика Бремер «Семейство» (Полное собрание сочинений, т. VIII, № 768).

<sup>14</sup> Стр. 239. Белинский знал по горькому опыту, как велик был этот «стихотворный балласт», доставляемый поэтами-романтиками. Не жалоба, а стои слышится в одной из его рецензий: «Когда бы вы знали, сколько,

например, пишущий эти строки обязан, по долгу журналиста, прочитать в течение года стихотворений больших и малых, повестей, рассказов, драм, отрывков, так называемых «ученых статей» и пр. и пр., — вам сделалось бы страшно, уверяю вас!» (Полн. собр. соч., т. VII, стр. 229).

<sup>15</sup> Стр. 239. К словам «статья девятая» в журнальном тексте имеется сноска: «Первые восемь статей были напечатаны в следующих книжках «Отечественных записок»: первая — в 6-й, вторая — в 9-й, третья — в 10-й, четвертая — в 12-й 1843 года, пятая — во 2-й, шестая — в 3-й, седьмая — в 5-й, восьмая — в 12-й прошедшего 1844 г.»

<sup>16</sup> Стр. 247. Последний стих Белинский цитировал неточно. Надо: «Гораздо меньше был умен».

<sup>17</sup> Стр. 256. Второй стих Белинский цитировал неточно. Надо: «Мы не слышали про любовь».

<sup>18</sup> Стр. 257. Второй стих снизу Белинский цитировал неточно. Надо: «Была бы верная супруга».

<sup>19</sup> Стр. 264. Перевод: «Пусть он умрет».

<sup>20</sup> Стр. 264. Подобные взгляды на женщину, любовь и брак Белинский стал высказывать в своих статьях и письмах с 1841 г., когда у него началось увлечение идеями утопических социалистов. До этого же времени эмансипированная женщина в его глазах стояла невысоко (ср. Полное собрание сочинений, т. VIII, прим. 194). Что касается Татьяны, то ее несколько раньше Белинского, руководясь сенсимонистскими взглядами, развенчал его друг В. П. Боткин. В письме к Белинскому от 22 марта 1842 г. он писал: «Не могу я примириться с положением Татьяны, добровольно осуждающей себя на проституцию с своим старым генералом» (Белинский, «Письма», т. II, стр. 419). Белинский согласился с мнением своего друга и в ответ ему писал 4 апреля 1842 г.: «О Татьяне тоже согласен: с тех пор пока она хочет век быть верною своему генералу . . . . . ее прекрасный образ затемняется» («Письма», т. II, стр. 294). Белинский, как и В. П. Боткин, бичевал Татьяну за то, что она профанировала высокое чувство любви, принося его в жертву «законам подлой, бессмысленной и презираемой мною толпы». За это он резко осуждал и свою невесту, будущую жену — М. В. Орлову. Когда последняя «из боязни толпы» отказалась приехать к нему в Петербург венчаться, он с возмущением писал ей 4 октября 1843 г.: «Вы чувствуете одно, веруете одному, а делаете другое. А это и невеликодушно и неблагородно. Это значит молиться богу своему втайне, а въявь приносить жертвы идолам. Это страшный грех! О, я понимаю теперь, почему вы так заступаетесь за Татьяну Пушкина, и почему меня это всегда так бесило и печаливало, что я не мог говорить с вами порядком и толковать об этом предмете! Любовь есть религия женщины, и нет для женщины высшего и более святого наслаждения, как всем жертвовать своей религии. Для нее свято всякое законное и справедливое требование того, кого она любит» («Письма», т. III, стр. 40—41). Всем пожертвовала для любимого человека Мария, героиня «Полтавы», и Белинский, не колеблясь, поставил ее выше Татьяны (ср. Полн. собр. соч., т. XII, стр. 68). В настоящей статье Белинский широко и блестяще развил взгляд на Татьяну, высказанный им в ответном письме к В. П. Боткину от 4 апреля 1842 г.

<sup>21</sup> Стр. 265. В этом классовом подходе к Пушкину Г. В. Плеханов видел «зачаток научной критики, опирающейся на материалистическое понимание истории». «К концу своей жизни, — писал он, — Белинский совсем расстался с идеализмом Гегеля и стал склоняться к материализму Фейербаха. А по учению материализма сознание развивается не из самого себя: его развитие обуславливается бытием. Правда, эта истина не была приложена Фейербахом к объяснению истории вообще и истории идеологий в частности. Но этот пробел фейербаховского материализма отчасти пополнялся в том, что касается искусства, самим Гегелем, который в своей «Эстетике», несмотря на свою идеалистическую склонность к априорным построениям, все-таки довольно часто прибегал к чисто материалистическому объяснению развития искусства развитием общественных отношений. К тому же Белинский сам умел делать надлежащие выводы из раз найденных посылок. . .

В своем последнем периоде он ставил развитие искусства в причинную связь с «общим характером эпохи», т. е. с характером свойственного этой эпохе общественного движения. Конечно, он выражался тут довольно неопределенно, а эта неопределенность свидетельствовала о неясности его относящихся сюда взглядов. Но неясность взглядов объясняется их неразработанностью, а разработанными взгляды эти и не могли быть в то время. Важно было уже то, что мысль Белинского и здесь умела определить надлежащее направление, а также то, что даже свой неразработанный взгляд Белинский применял иногда в своих критических статьях поистине блестящим образом». И ниже: «Объясняя поэзию Пушкина общественным положением России и историческим состоянием того сословия, к которому принадлежал наш великий поэт, Белинский далеко опережал нашу передовую критику 60-х и 70-х годов, главный недостаток которой состоял в том, что она смотрела на литературные явления исключительно с публицистической, а не с социологической точки зрения» (Г. В. Плеханов, Соч., т. XXIII, стр. 160—161 и 162).

### Рецензия о книге Фридриха Лоренца

<sup>1</sup> Стр. 267. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1842, т. XXI, № 4 (ценз. разр. около 31/III), отд. V, стр. 35—45.

Эта статья вошла в сборник «Венок Белинскому» (Редакция Н. К. Пиксанова, «Новая Москва», 1924), а затем в том XII Полного собрания сочинений В. Г. Белинского (Госиздат, М.-Л. 1926, стр. 332—346 и 537). В настоящем томе статья печатается по тексту «Отечественных Записок» с опущением конца, где приводятся пространные выдержки из книги Лоренца и дается оценка её. Статья без подписи. Относительно принадлежности ее Белинскому имеется признание самого критика. В письме к В. П. Боткину от 17 марта 1842 г. он писал: «Ты ничего не прислал мне с Кульчицом (А. Я. Куличичский, приятель Белинского и Боткина.—В. С.) о Лоренце и тем вверх меня в бедственное положение писать о том, чего не знаю». А 31 марта 1842 г. Белинский даже извещал того же Боткина: «О Лоренце не хлопочи: преступление совершено, в № 4 «Отечественных Записок» ты прочтешь довольно гнусную статью своего приятеля — *ученого последнего десятилетия*» («Письма», т. II, стр. 284 и 291).

<sup>2</sup> Стр. 267. Начиная со статьи «Русская литература в 1841 году», Белинский исторический метод положил в основу всех своих работ. Он по справедливости считается у нас родоначальником исторической критики и первым историком русской литературы.

<sup>3</sup> Стр. 268. Под «добрыми людьми», повторявшими «чужие зады», Белинский имел в виду О. И. Сенковского и Ф. В. Булгарина, обрушившихся на Гоголя и его последователей, которые, по их мнению, унизили искусство тем, что принялись за изображение «грязной» действительности.

<sup>4</sup> Стр. 269. Порвав в 1840 г. с российской действительностью, Белинский тогда же отказался от «абсолютных результатов» философии Гегеля, приведших его к примирению с этой действительностью, и примкнул к левой стороне гегельянства.

Белинский самостоятельно пришел к пониманию односторонности и несостоятельности правого гегельянства. Уже в письме к В. П. Боткину от 11 декабря 1840 г. он писал: «Конечно, идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки о Бородинском сражении, верна в своих основаниях, но должно было развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого история человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото, а если этого нельзя было сказать, то долг чести требовал, чтобы уже и ничего не писать» («Письма», т. II, СПб. 1914, стр. 186). В феврале 1841 г. В. П. Боткин прислал Белинскому перевод отрывка из лево-гегельянского журнала «Hallische Jahrbücher», издававшегося Арнольдом Руге и Эрнстом-Теодором Эхтермейером. В ответ на это Белинский писал ему 1 марта 1841 г.: «Отрывок из «Hallische Jahrbücher» меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил

на минуту — спасибо тебе за него, сто раз спасибо. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но абсолютность его результатов ни к . . . . . не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать тебе до получения твоего этого письма» («Письма», т. II, стр. 212—213). — В настоящей рецензии Белинский выступает уже как сформировавшийся левый гегельянец.

<sup>5</sup> Стр. 270. Идея «человечества», которая с конца 1841 до 1846 года включительно была в центре социологических воззрений Белинского, заменила собой понятие «народ», характерное для его воззрений в период с 1834 по 1840 год. Прежний взгляд на народ, как на личность человечества, Белинский заменил новым взглядом, что само человечество является идеальной личностью. В своем понимании истории, как биографии этой идеальной личности, Белинский, как это ни странно может показаться, сблизился с Гоголем, который в тридцатых годах писал в статье «О преподавании всеобщей истории» (из «Арабесок»): «Всеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее прославляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество — каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконец, достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями, — вот цель всеобщей истории. Она должна собрать в одно все народы мира, разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое, из них составить одну величественную полную поэму» («Сочинения Н. В. Гоголя, изд. 1-е, под ред. Н. Тихонравова», т. V, М. 1889, стр. 141). Сойдясь с Гоголем во взглядах на историю, Белинский иначе оценил теперь и его «Арабески». В тридцатых годах, считая себя некомпетентным в вопросах истории, он предоставил кому-нибудь другому разобрать ученые статьи Гоголя, помещенные в «Арабесках», но все же в примечании к статье «О русской повести и повестях Гоголя» заметил: «Я не понимаю, как можно так необдуманно компрометировать свое литературное имя. Неужели перевести, или, лучше сказать, перефразировать и перепародировать некоторые места из истории Миллера, перемешать их с своими фразами — значит написать ученую статью?.. Неужели сравнение Шлецера, Миллера и Гердера, ни в каком случае не идущих в сравнение, тоже ученость?.. Если подобные этюды ученость, то избави нас бог от такой учености! Мы и без того богаты ею» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. II, стр. 236). В письме же к Гоголю от 20 апреля 1842 года Белинский признался в ошибочности этой суровой оценки. Он писал: «С особенною любовью хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более, что я виноват перед ними: во время оно я с жестокою запальчивостью изрыгнул хулу на ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем изрыгаю хулу на духа. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки» («Письма», т. II, СПб. 1914, стр. 309).

<sup>6</sup> Стр. 272. Речь идет о революции, к которой Белинский относился с явным сочувствием после разрыва с «российской действительностью». Определеннее это отношение выражено в письмах Белинского, относящихся к этому времени. В письме к В. П. Боткину от 28 июня 1841 года он писал: «Я понял через Плутарха многое, чего не понимал.. Я понял и французскую революцию и ее римскую помпу, над которой прежде смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом.. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше челове-

ства, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею...» («Письма», т. II, стр. 246 и 247). И в письме к тому же В. П. Боткину от 8 сентября 1841 года: «Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих, в качестве верования, волю человека! Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон... Я читаю Тьера... Новый мир открылся предо мною. Я все думал, что понимаю революцию, — вздор, только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают» («Письма», т. II, стр. 267 и 269). — Под «ориенталистом», изображенным в этом абзаце, подразумевался, конечно, О. И. Сенковский.

<sup>7</sup> Стр. 273. В условиях николаевской реакции Белинский не мог более откровенно выразить своей горячей веры в социализм, который после 1840—1841 гг. стал для него «альфой и омегой». Открыто и с редкой силой Белинский высказался по этому вопросу в письме к В. П. Боткину от 8 сентября 1841 г.

<sup>8</sup> Стр. 275. Белинский преувеличил значение книги Фридриха Лоренца, которая составила из лекций, читанных автором в педагогическом институте, и была не более, как компилятивным учебником. Так смотрели на нее в сороковых годах.

<sup>9</sup> Стр. 275. В период 1841—1846 гг. центральной в социологических воззрениях Белинского была *идея человечества*. Однако любовь Белинского ко всему человечеству и его непреодолимое стремление к достижению утопического социального идеала сочетались у него с *идеей народности*, особенно ярко выраженной в рецензиях на книги Петра Великого и в статьях о Пушкине, относящихся к этому же периоду деятельности Белинского. Белинский горячо любил великий русский народ, но резко выступал против славянофилов, пытавшихся противопоставить русский народ всему остальному человечеству.

### Рецензия о книге Николая Маркевича

<sup>1</sup> Стр. 275. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1843, т. XXVIII, № 5 (ценз. разр. 30/IV), отд. V, стр. 1—18.

Статья без подписи. Принадлежность ее Белинскому установлена В. С. Спиридоновым. Вошла в сборник «Венок Белинскому» (редакция Н. К. Пиксанова. «Новая Москва», 1924), а затем в т. XII Полного собрания сочинений В. Г. Белинского (Госиздат М.-Л., 1926, стр. 393—414 и 544—546). В сборнике и в т. XII приведены доказательства принадлежности статьи Белинскому.

В настоящем издании она печатается по тексту «Отечественных Записок» с опущением конца, не имеющего отношения к философии.

<sup>2</sup> Стр. 276. «Идея человечества» была одной из основных в мировоззрении Белинского в период с конца 1841 по 1846 г., когда он переживал горячее увлечение идеями утопического социализма, тогда как в период с 1834 по 1840 год центральное место в его воззрениях занимала идея народности в широком смысле.

В конце 1846 года, когда в Белинском наметилось некоторое разочарование в утопическом социализме, он в статье «Русская литература в 1846 году» писал: «Что *личность* в отношении к *идее* человека, то *народность* в отношении к *идее* человечества. Другими словами: народности суть личность человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом, без содержания, звуком без значения». По вопросу о национальности он вступил тогда в полемику с «гуманическим космополитом», под которым подразумевал В. Н. Майкова.

<sup>3</sup> Стр. 276. И здесь в замаскированном виде Белинский выражает свою горячую веру в социализм, который ему, вместе с «умами мыслящими», т. е. с Сен-Симоном и его последователями, представлялся в будущем «самою положительною действительностью».

<sup>4</sup> Стр. 277. Под «мнимыми патриотами» Белинский подразумевал обычно

славянофилов вообще, не выделяя из них московских славянофилов, которых нельзя было безоговорочно назвать «ненавистниками европеизма». В полной мере такими «мнимыми патриотами» были только петербургские славянофилы во главе с А. С. Шишковым, а затем во главе с ультрареакционным «Маяком».

<sup>5</sup> Стр. 277. Белинскому приходилось уже раньше защищать Карамзина от «мнимых патриотов», которые обвиняли нашего историка якобы в порче русского языка галлицизмами. В обзоре «Русская литература в 1841 году», написанном приблизительно года за полтора до статьи о труде Маркевича, он говорил: «Карамзина обвиняют в растлении чужестранными словами и оборотами, преимущественно галлицизмами, девственности русского языка. Но эти люди забывают, что тогда не было никакого русского языка, и что латино-славянская проза Ломоносова и Хераскова гораздо меньше была русским языком, чем проза не только Карамзина, но и самых неловких его подражателей, отчаянных галломанов» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. VII, стр. 17).

<sup>6</sup> Стр. 280. Близкие к взглядам Белинского мысли об истории немецкой философии развивал В. П. Боткин в статье, помещенной в «Отечественных Записках» за 1843 г. (т. XXVI, № 1, отд. VII, стр. 1—3). Об этой статье Белинский писал Боткину 6 февраля 1843 г.: «Твоя статья о «Немецкой литературе»... мне чрезвычайно понравилась — умно, дельно и ловко» («Письма», т. II, Спб. 1914, стр. 334).

<sup>7</sup> Стр. 282. Белинский иногда относился с пренебрежением к ученым, детально изучавшим факты истории, но не делавшим широких социологических обобщений. Он придерживался взгляда на историческую науку, как на «историческое искусство», при котором от историка требовались широкие обобщения и художественная изобразительность, а не крохоборческое изучение фактов. В статье о труде Голикова, написанной в 1841 г., он также говорил: «Записные наши исторические критики заняты вопросом: «откуда пошла Русь» — от Балтийского или от Черного моря. Им как будто и нужды нет, что решение этого вопроса не делает ни яснее, ни занимательнее баснословного периода нашей истории... Ломать голову над подобными вопросами, лишенными всякой существенной важности, которая дается факту только мыслью, — все равно, что пускаться в археологические изыскания и писать целые томы о том, какого цвета были доспехи Святослава, и на которой щеке была родинка у Игоря» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. VI, стр. 120—121). Думается нам, что под «славянофилом», «патриотом» и «историческим критиком» Белинский подразумевал главным образом М. П. Погодина, который в 30—40-х годах прошлого века всецело был занят исследованием древнего периода русской истории.

Ниже подразумевался Н. А. Полевой, автор незаконченной «Истории русского народа».

### *Рецензия о книге С. Смарагова*

<sup>1</sup> Стр. 284. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1844, т. XXXVI, № 9 (ценз. разр. 30/VIII), отд. V, стр. 1—19.

Статья без подписи. Принадлежность ее Белинскому установлена В. С. Спиридоновым. Вошла в т. XII Полного собрания сочинений Белинского (Госиздат, М.-Л., 1926, стр. 446—470 и 555—556), где приведены доказательства принадлежности ее Белинскому. Печатается в настоящем издании по тексту «Отечественных Записок».

<sup>2</sup> Стр. 285. Отзывы Белинского о первых двух томах истории С. Смарагова см. в Полном собрании сочинений В. Г. Белинского (т. XII, № 1004 и 1016).

<sup>3</sup> Стр. 286. Свои воззрения на историю, сложившиеся на основе философии истории Гегеля, Белинский излагал уже в статье о «Руководстве к всеобщей истории» Фридриха Лоренца и особенно подробно в статье об «Истории Малороссии» Николая Маркевича, вошедших в наше издание.

<sup>4</sup> Стр. 291. Кто подразумевался здесь под «скептиками по заказу» и «слабыми умами» — мы не могли доискаться. Весьма возможно, что Белинский и не имел тут в виду определенных лиц, а высказал свое отрицательное отношение вообще к людям такого склада.

<sup>5</sup> Стр. 292. Отрывок из этой статьи, начиная со слов: «История есть наука нашего времени...» и кончая: «сознающая себя личность», вместе с отрывком из вновь установленной рецензии Белинского о «Месяцослове» ... на 1840 год» (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XII, стр. 223—225; т. XIII, прим. 989) были напечатаны в «Красной Газете» под заглавием: «Пророчество В. Г. Белинского» («Красная Газета», вечерний выпуск, 1925, 6/XI, № 270, стр. 6).

<sup>6</sup> Стр. 294. Жак-Бенин Боссюэт — французский проповедник, историк и богослов (1627—1704).

Его знаменитая речь о всеобщей истории вышла под заглавием: «Discours sur l'histoire universelle» (Париж 1681). Эта речь еще в XVIII столетии была переведена на русский язык под заглавием: «Разговор о всеобщей истории», соч. Иакова Боссюэта, перевел с франц. Василий Наумов, 3 части, М. 1761—1762. Второе издание вышло под заглавием: «Всеобщая история для наследника французской короны», М. 1774.

<sup>7</sup> Стр. 305. Перевод: «Письма темных людей».

<sup>8</sup> Стр. 307. Перевод: «Так проходит земная слава».

<sup>9</sup> Стр. 307. Перевод: «Вот как пишется история».

### *Рецензия о «Парижских тайнах» Е. Сю*

<sup>1</sup> Стр. 308. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1844, т. XXXIII, № 4 (ценз. разр. около 30/III), отд. V, стр. 21—36. В настоящем издании воспроизводится этот первопечатный текст с опущением конца, где приводятся длинные выдержки из романа Е. Сю.

Оценка книги Е. Сю в настоящей рецензии Белинского созвучна взглядам «одного из лучших современных критиков во Франции», отрывок из статьи которого о «Парижских тайнах» был включен в обзор «Французской литературы», напечатанный в «Отечественных Записках» (1843, т. XXIX, № 8, отд. VII, стр. 12—18).

<sup>2</sup> Стр. 308. Перевод: «Собор Парижской богородицы».

<sup>3</sup> Стр. 308. Перевод: «подвиг».

<sup>4</sup> Стр. 309. Перевод: «бывшего».

<sup>5</sup> Стр. 309. Бальзак не был оценен по достоинству Белинским. В этом отношении он разделил общую участь с рядом французских романистов (ср. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. I, стр. 359—360, прим. 115; т. III, стр. 378, прим. 233, стр. 465, прим. 317; т. VII, стр. 130, прим. 86; т. X, стр. 113, прим. 569). Возможно, что Белинский дал свой отзыв о Бальзаке под некоторым влиянием Жюль Жанена, отрывок из статьи которого об этом романисте перед тем был напечатан в «Отечественных Записках» (1844, т. XXXIII, № 5, отд. VII, стр. 37—38). Перевод романа Бальзака «Один из тридцати» был напечатан в «Телескопе» (1833, т. XV).

<sup>6</sup> Стр. 309. Перевод: «Парижские тайны».

<sup>7</sup> Стр. 310. «Прегромкие фразы о гениальности Эжена Сю» отпускали «Библиотека для Чтения» (1844, т. LXIII, отд. VI, стр. 53—54; т. LXVI, отд. VI, стр. 9—11) и «Северная Пчела» (ср. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. VIII, стр. 302).

<sup>8</sup> Стр. 311. Сократа называл «надувалою» О. И. Сенковский в «Библиотеке для Чтения» (ср. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. VII, стр. 307) и П. П. Каменский в своем романе «Искатель сильных ощущений» (ср. там же, т. V, стр. 16).

<sup>9</sup> Стр. 314. Под «истинными друзьями» французского народа, голос которых, «возвышаясь за бедный, обманутый народ, раздавался в ушах административных антрепренеров, как звук трубы судной», Белинский подразумевал, конечно, французских утопистов-социалистов.

*Рецензия о книге А. П. Татаринова*

<sup>1</sup> Стр. 315. Напечатана впервые в «Отечественных Записках» 1845, т. XXXVIII, № I (ценз. разр. 31/XII 1844), отд. VI, стр. 24—25. В настоящем издании воспроизводится этот первопечатный текст.

<sup>2</sup> Стр. 316. Высокая оценка состояния философской мысли в Германии начала XIX в. вытекала из того исключительного влияния, какое имела на Белинского немецкая классическая философия. Кроме того, следует отметить, что Белинский не был в достаточной степени знаком с трудами выдающихся представителей английского и французского материализма XVII—XVIII вв., сыгравшими величайшую роль в развитии человеческой мысли.

<sup>3</sup> Стр. 316. Белинский, пессимистически оценивая состояние русской философской мысли 30—40-х годов прошлого века, имел в виду писания «философствующих» панславистов и церковников. В легальной печати он не мог открыто высказать сочувствие и уважение, которое он питал к своим предшественникам, к настоящим русским философам и борцам против крепостничества — А. Н. Радищеву и П. Я. Чаадаеву.

Указывая на отсутствие «почвы и потребности» для философии в России, Белинский имел в виду крепостнический гнет и отсталость тогдашней России по сравнению с передовыми западноевропейскими странами.

*Письмо к А. И. Герцену от 26 января 1845 г.*

<sup>1</sup> Стр. 317. Извлечения из письма Белинского к А. И. Герцену от 26 января 1845 г. вошли в работу А. Н. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» (СПб. 1876). Взято из собрания К. Солдатенкова. Впервые по тексту собрания А. Н. Пыпина было напечатано полностью в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. III, стр. 85—88). В настоящем издании печатается полностью по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в наст. издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 года).

<sup>2</sup> Стр. 317. В ноябре 1840 года Герцен писал своему отцу, что в Петербурге будочник зарезал и ограбил какого-то купца. Это письмо попало в III Отделение, которое решило замять это скандальное происшествие. В первой половине декабря того же года Герцен был выслан из Петербурга в Новгород. Об этом Герцен подробно рассказал в XXVI главе «Былого и дум».

<sup>3</sup> Стр. 318. А. И. Герцен написал о публичных лекциях Грановского два письма под заглавием: «Публичные чтения г. Грановского» и «О публичных чтениях г-на Грановского». Первое письмо было напечатано в «Московских Ведомостях» (1843, 27/XI, № 142), а второе — в «Москвитянине» (1844, кн. VII).

<sup>4</sup> Стр. 318. Имелось в виду стихотворение Н. М. Языкова «К не-нашим», направленное против западников, которое он написал и пустил по рукам в декабре 1844 года. По адресу западников в нем говорилось:

..... Русская земля  
От вас не примет просвещенья.  
Вы странны ей. Вы влюблены  
В свои предательские мненья  
И святотатственные сны.  
Хулой и лестию свою  
Не вам ее преобразить,  
И не умеете вы с нею  
Ни жить, ни петь, ни говорить.

<sup>5</sup> Стр. 318. Белинский говорит тут о своей статье «Русская литература в 1844 году», в которой центральное место заняла убийственная оценка стихотворений Н. М. Языкова и А. С. Хомякова.

<sup>6</sup> Стр. 318. Пол «Парижским Ярбухером» имеется в виду журнал «Deutsch-Französische Jahrbücher» («Немецко-французские летописи»), издававшийся

в 1844 г. в Париже Карлом Марксом совместно с Арнольдом Руте. В библиотеке В. Г. Белинского, после смерти Белинского приобретенной И. С. Тургеневым и хранящейся ныне в Государственном тургеневском музее (Орел), есть тот экземпляр «Немецко-французских летописей», о котором пишет Белинский Герцену. Об этом экземпляре см. в описании библиотеки Белинского, составленном А. М. Путинцевым и помещенном в № 20—21 «Литературного наследства».

Как известно, в единственном, вышедшем в свет, номере «Deutsch-Französische Jahrbücher» помещены статьи К. Маркса «К критике гегелевской философии права» и «К еврейскому вопросу» и статья Ф. Энгельса «Очерки критики политической экономии».

<sup>7</sup> Стр. 318. Наталья Александровна — жена А. И. Герцена.

<sup>8</sup> Стр. 319. Михаил Семенович — знаменитый актер Щепкин.

<sup>9</sup> Стр. 319. Агмансе — жена В. П. Веткина.

<sup>10</sup> Стр. 319. Подразумевался Константин Сергеевич Аксаков, бывший друг Белинского.

### «Мысли и заметки о русской литературе»

<sup>1</sup> Стр. 323. Эта статья была впервые напечатана в «Петербургском сборнике», изданном Н. Некрасовым (СПб. 1846. Ценз. разр. 12/1), откуда мы и перепечатаваем ее в настоящем издании. Нами опущен конец статьи, где идет речь о книжном рынке в России.

Литература и общество и их взаимоотношения, роль и значение нашей литературы, характеристика современного состояния нашей критики, немецкая философия и французская литература, эстетическая и историческая критика, беллетристика и художество, гений и талант — всё это любимые темы Белинского, которые он много раз развивал в своих работах. В настоящей статье он подвел итог всему, что говорил раньше по всем этим вопросам, так что статья эта имеет весьма важное значение для знакомства с воззрениями Белинского. Жесточкой характеристикой современной критики Белинский больно задел «охранителей и славянофилов в литературе». И потому неудивительно, что С. П. Шевырев ответил на эту статью таким выпадом: «Белинский принадлежит, без сомнения, к числу замечательных деятелей в русской современной словесности. Он представляет значительный плод нашего журнального образования: *Телеграф*, *Телескоп* и *Молва* были его Геттингеном, Иеною и Берлином. В них он созрел для того, чтобы воздвигнуть новый журнальный университет. Он внес в критику нашу народную стихию, которой до него еще не бывало: эту стихию можно назвать *удальством*. Он принял на себя тяжелую и великую задачу: он пытался сдвигать с пьедестала все наши литературные славы, которые до тех пор стояли во всеобщем беспрекословном уважении: Ломоносова, Державина, Карамзина и других... Потребна была личная решимость, чтобы подойти бестрепетно к этим монументальным людям... и окричать Карамзина устарелым, а об исполинском труде его сказать: Россия до Петра была младенцем, а кто же пишет историю младенца?» («Москвитянин» 1846, № 3, стр. 176—188).

<sup>2</sup> Стр. 325. В этом абзаце Белинский впервые дает, не называя ее по имени, определение интеллигенции, как особой социальной прослойки общества.

<sup>3</sup> Стр. 327. «Иван Выжигин» — роман Ф. Булгарина.

<sup>4</sup> Стр. 332. Луи Виардо, не знавший русского языка, перевел повести Гоголя на французский язык с помощью двух русских литераторов, которые сделали для него буквальный подстрочный перевод этих повестей, наподобие того, как в свое время немецкий профессор Гросгоф сделал такой же перевод «Одиссеи» для Жуковского, не знавшего греческого языка (см. Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XIII, прим. 264). Одним из этих литераторов был И. С. Тургенев. Другой нам неизвестен.

<sup>5</sup> Стр. 334. Конечно, не «патриотические» чувства заставили Белинского заговорить здесь о военном могуществе николаевской России, а желание обезоружить «квасных патриотов», которые за мысли об отсталости нашего общества и нашей литературы, высказанные в этой статье, могли объявить его «человеком беспокойным, опасным, подозрительным, ренегатом и писать на него литературные донесения» (см. наст. издание, стр. 329). Это служит лишним доказательством того, к каким изворотам приходилось прибегать Белинскому, чтобы только высказать в своих статьях то, что он хотел (ср. Полное собрание сочинений, т. XIII, прим. 461 и 594).

### *Взгляд на русскую литературу 1846 года*

<sup>1</sup> Стр. 335. Напечатана впервые в «Современнике» 1847, т. I, № 1 (ценз. разр. 30/XII 1846 г.), отд. III, стр. 1—56.

Журнальный текст настоящей статьи, по сравнению с ее текстом в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина (Сочинения В. Белинского, ч. XI, М. 1861), имеет ряд существенных сокращений и разночтений, определенно говорящих за то, что Н. Х. Кетчер и А. Д. Галахов печатали эту статью в названном издании по рукописи Белинского. Эти сокращения и изменения внесены в журнальный текст статьи частью Н. А. Некрасовым, а частью, очевидно, цензурой и официальным редактором «Современника» А. В. Никитенко. Рукопись статьи дошла до нас, но не полностью: в ней не хватает 15 листов. Рукопись в полном виде занимала 74 полулиста простой писчей бумаги. «Взгляд на русскую литературу 1846 года» заканчивается на 71-м полулисте. Конец рукописи занят рецензией Белинского о «Мертвых душах». В настоящем издании мы печатаем статью по этой рукописи, хранящейся в Государственной публичной библиотеке им. В. И. Ленина в Москве. Пробелы в последней восполняются по изданию К. Солдатенкова и Н. Щепкина. Все разночтения между текстом «Современника» и текстом рукописи и названного издания мы приводим в комментариях к соответствующим местам статьи.

<sup>2</sup> Стр. 337. Белинский полемизирует здесь со славянофилом К. С. Аксаковым, который так противоречиво смотрел на Петра Великого и Ломоносова в своей диссертации: «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», напечатанной в 1846 г.

<sup>3</sup> Стр. 338. Со слова «в литературе» начинается рукопись (лист 10).

<sup>4</sup> Стр. 338. Вместо текста, заключенного в прямые скобки, в журнале «Современник» стоит: «и следовательно и общественных интересов».

<sup>5</sup> Стр. 339. На словах «на нашу литературу и» рукопись обрывается: не хватает трех листов — 12, 13 и 14.

<sup>6</sup> Стр. 340. Со слов «т. е. образованнейшей части» снова начинается рукопись (лист 15).

<sup>7</sup> Стр. 341. На словах «здание новой русской» обрывается рукопись: не хватает листа 17.

<sup>8</sup> Стр. 342. Со слова «начале?» снова начинается рукопись (лист 18).

<sup>9</sup> Стр. 344. Фраза: «Но если бы ее преобладающее отрицательное направление... свое добро», надписана над зачеркнутым текстом: «И мы первые готовы согласиться, что ее отрицательное направление показывает только ее молодость, что она еще слишком молода, не успела установиться. По крайней мере это можно сказать до известной степени молодым писателям, идущим по пути, указанному Гоголем, если не о самом Гоголе. Но в самой крайности этого направления заключается великое добро».

<sup>10</sup> Стр. 344. Явно чувствуется, что в настоящей статье Белинский пытался нацупать возможность корректных, хотя и полемических, литературных отношений с славянофилами. Но попытка эта не увенчалась успехом. Ю. Ф. Самарин в статье: «О мнениях «Современника» исторических и литературных», напечатанной в «Москвитянине», подверг статью Белинского резкой критике, не удержавшись местами от грубых выпадов против личности критика. Белинский в статье «Ответ «Москвитянину» ответил на эту кри-

тику славянофилов уже в заслуженно резком тоне, в каком он говорил с ними в «Отечественных Записках» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. XI, № 970). В статье Ю. Ф. Самарина проявились типичные черты славянофилов: их крайняя нетерпимость, барская гордость и высокомерие. Эти черты славянофилов хорошо подметил Аполлон Григорьев, который писал о них: «Ведь, если, впрочем, ты, молодая и притом *петербургская* редакция, протянешь руку славянофильству, оно, ослепленное своей татарской гордостью, пожалуй, и не примет твоей руки. Оно только в себя верит — и в сущности оно не народное, а старо-боярское направление. Народ для него — только степной, а не городской народ: вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него — ложь; вся наша литература, кроме Аксакова и Гоголя, — вздор. К Пушкину оно равнодушно. Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на дороге. Ведь выше князя Луповицкого славянофильское художество не понималось, потому что собственно и «Семейную хронику» и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства русская литература. А без художества теория — пропащее дело» («Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли». — «Якорь» 1863, № 3).

<sup>11</sup> Стр. 346. Вместо «становится» в тексте «Современника» напечатано: «иногда становится».

<sup>12</sup> Стр. 348. Речь идет, конечно, о «лоскутной империи» — об Австрии.

<sup>13</sup> Стр. 349. Далее зачеркнуто: «Иначе только те люди и были бы даровиты, которые чужды внутренним убеждений и интересов, но действительный опыт говорит нам противное...»

<sup>14</sup> Стр. 349. Выражение: «боясь произвольных выводов, имеющих только субъективное значение», в рукописи переделано карандашом чужой рукой так: «боясь произвольных личных выводов». В таком виде это место и было напечатано в тексте «Современника», а в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина оно читается так: «боясь произвольных, имеющих только субъективное значение, выводов» (Сочинения В. Белинского, ч. XI, М. 1861, стр. 27).

<sup>15</sup> Стр. 349. На полслове «нацио» обрывается рукопись: нехватает листа 30.

<sup>16</sup> Стр. 349. Еще определеннее Белинский выразил свое отношение к «народности» в письме к В. П. Боткину от 8 марта 1847 г., в котором писал: «Я — натура русская. Скажу тебе яснее: «je suis un russe et je suis fier de l'être». Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока — эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится их, не терпит их больше всего — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того, чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что нам нечего делать, — чем больше об этом думаю, тем больше сознаю и убеждаюсь, что это ложь... Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до этого решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания. Не думай, чтобы я со всеми об этом говорил так: нет, в глазах наших квасных патриотов, славян... витязей прошедшего и обожателей настоящего. я всегда останусь тем, чем они до сих пор считали меня» («Письма», т. III, Спб. 1914, стр. 196—197). Свои мысли о русской народности Белинский высказал с рядом оговорок, явно отмежевываясь от славянофилов, которые высказывались по этому вопросу с «самохвальством и фанатизмом».

<sup>17</sup> Стр. 349. Подразумевался «Москвитянин» (1841—1856). Славянофилы печатались в этом журнале, но он не был их органом. «Москвитянин» сделан был органом славянофилов в начале 1845 г., когда во главе его встал И. В. Киреевский. Но последний не поладил с М. П. Погодиным и через четыре месяца оставил журнал, после чего М. П. Погодин снова взял журнал в свои руки (ср. *Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина*, кн. VII, стр. 401—408 и 439; кн. VIII, стр. 3—35).

<sup>18</sup> Стр. 349. С фразы: «на свете нет... неважного», начинается снова рукопись.

<sup>19</sup> Стр. 350. Эти жестокие слова были ответом Валериану Майкову, который в статье о Кольцове сделал резкий выпад против Белинского, не называя его по имени. Он писал: «Критика действительно явилась у нас под влиянием Пушкина (в последнюю эпоху его деятельности), Лермонтова, а всего более под влиянием Гоголя. Она оказала русской литературе разнообразные услуги. Главное, она служила до сих пор энергическим выражением симпатии к новой школе искусства. Но выражать симпатию и анализировать ее — две вещи разные и по сущности и по результатам. . . Горе вам, если слово ваше разыгрывает в публике роль людской новинки, если оно, не оправданное собственными вашими доказательствами, приобретает в публике силу авторитета! Выразить свое мнение публично и не подкрепить его доводами, которые сам находишь убедительными, уже значит выразить свое неуважение к свободе мнений и претензию на диктаторство. Но за это-то рано или поздно всегда и приходится заплатить горьким чувством разочарования» (Валериан Майков. Критические опыты, Спб. 1891, стр. 9—10, 33 и 110—114). Этот выпад произвел на Белинского тяжелое впечатление. Он ответил на него в настоящей статье, а затем через четыре месяца в статье «Современные заметки» (Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, т. XIII, стр. 225—227). Но и после этих двух ответов Белинский долго не мог забыть об обиде, нанесенной ему В. Майковым. Надо думать, что не без влияния этой выходки В. Майкова у Белинского перед поездкой за границу (в начале мая 1847 г.) родилась и мрачная мысль, что его литературное поприще кончено (см. «Письма», т. III, стр. 298).

<sup>20</sup> Стр. 351. На слове «родовым» рукопись обрывается: не хватает листа 33.

<sup>21</sup> Стр. 351. Это говорил М. П. Погодин в статье: «За русскую старину» («Москвитянин» 1845, № 4, Смесь, стр. 27—32), которая была ответом на статью Е. Ф. Корша: «Бретань и ее жители» («Моск. Ведомости» 1845, № 25—27).

<sup>22</sup> Стр. 351. Со слова «приняло» снова начинается рукопись (лист 34).

<sup>23</sup> Стр. 352. В тексте «Современника» выпущены слова: «Уголовные законы».

<sup>24</sup> Стр. 353. Под «фантастическим космополитом», вставшим в «книжный дуализм», подразумевался Валериан Майков.

<sup>25</sup> Стр. 353. Далее зачеркнуто: «добродушно принимаемых нами за разумную трансцендентальность».

<sup>26</sup> Стр. 353. Раньше было: «от болезней, чисто материальных, лечат иногда средствами чисто нравственными, предписывая больному больше физического движения и меньше умственных впечатлений, советуя ему спокойствие, порядок и ясность в мыслях».

<sup>27</sup> Стр. 353. Вместо «физический процесс нравственного развития» в тексте «Современника» напечатано: «тайнственный процесс развития организма».

<sup>28</sup> Стр. 354. Текста со слов: «Всего случайнее в человеке», и кончая: «невольно остерегаться его?» — нет в журнале «Современник».

<sup>29</sup> Стр. 354. Вместо «невозможнее» в тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина напечатано: «менее возможно».

<sup>30</sup> Стр. 354. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина нет слов: «поверьте мне».

<sup>31</sup> Стр. 355. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина исправлено: «по смерти станет жить».

<sup>32</sup> Стр. 355. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «сфере» напечатано: «недрах».

<sup>33</sup> Стр. 356. «Гуманистический космополит» — Валериан Майков.

<sup>34</sup> Стр. 356. Далее в рукописи зачеркнуто: «Вот почему, например, всякое отдельное искусство (поэзия, музыка, живопись), уже имевшее своих великих гениев, тем не менее в праве ожидать их и в будущем. Скажем более: так как всеобщей гениальности не бывает, но всякая гениальность более или менее специальна, то и сила ее состоит не в том, что она все, а в том, что она только это. Но. . .»

<sup>35</sup> Стр. 356. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «силою» напечатано: «самодеятельностию».

<sup>36</sup> Стр. 358. Этот и следующий абзац посвящены полемике с Валерианом Майковым, который в статье о Кольцове утверждал: «Каждый народ имеет две физиономии: одна из них диаметрально противоположна другой; одна принадлежит большинству, другая меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляет собою механическую подчиненность влияниям климата, местности, племени и судьбы; меньшинство же впадает в крайность отрицания этих влияний. . . Личность заключается в противоположности внешним влияниям; но, чтобы перейти в человечность, она должна освободиться от крайности, противоположной той, которая преобладает в национальности. Вот почему в характерах истинно-великих людей никогда не найдете вы односторонностей ни большинства, ни меньшинства тех наций, которые ими гордятся» («Критические опыты», Спб. 1891, стр. 69 и 78. — Ср. Г. В. Плеханов, В. Г. Белинский. Сочинения, т. XXIII, статья: «Виссарион Белинский и Валериан Майков», стр. 223—260).

<sup>37</sup> Стр. 359. Под этими «новыми великими вопросами» Белинский, конечно, подразумевал вопросы, поставленные утопическими социалистами.

<sup>38</sup> Стр. 359. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «из них» напечатано: «из него».

<sup>39</sup> Стр. 359. На приставке «за» в слове «заслужили» рукопись прерывается: нехватает листа 45.

<sup>40</sup> Стр. 360. Со слов «в этом скорее торжество» снова начинается рукопись.

<sup>41</sup> Стр. 360. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина нет слова «к стихам».

<sup>42</sup> Стр. 362. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «выпуклости» напечатано: «окружности».

<sup>43</sup> Стр. 362. В этой оценке Юлии Жадовской чувствуется скрытая полемика Белинского с В. Н. Майковым, который поместил в «Отечественных Записках» большую статью о «Стихотворениях Юлии Жадовской» (ср. «Отечественные Записки» 1846, т. XLVII. Или: Валериан Майков, Критические опыты, Спб. 1891). Белинский был прав: Юлия Жадовская не поднялась выше третьестепенной писательницы и теперь забыта.

<sup>44</sup> Стр. 362. Перевод: «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Этот латинский эпитаф был поставлен на заглавном листе «Стихотворений А. Плещеева» (Спб. 1846). Сурово встретил Белинский А. Плещеева, назвав его «маленьким талантом», а его стихотворения «пленной мысли раздраженьем». Иначе отнесся к Плещееву В. Н. Майков, считавший Плещеева «первым нашим поэтом в настоящее время». Время показало, что в оценке А. Плещеева был прав Белинский, а не В. Н. Майков. За все время своей дальнейшей деятельности А. Плещеев не поднялся выше уровня второстепенного поэта.

<sup>45</sup> Стр. 363. На слове «литературе» прерывается рукопись: нехватает листа 51.

<sup>46</sup> Стр. 364. Со слов «По части беллетристической» снова начинается рукопись (лист 52).

<sup>47</sup> Стр. 364. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина нет слова «дюжинных».

<sup>48</sup> Стр. 364. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина заглавие этой книги приведено полностью: «Приклады, како пишутся комплименты разные на немецком языке, то-есть писания от потентантов к потентантам, поздравительные и сожалетельные и иные; такожде между сродников и приятелей».

<sup>49</sup> Стр. 364. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина напечатано: «от всяких старинных обычаев».

<sup>50</sup> Стр. 364. В тексте «Современника» нет слов: «и варварских».

<sup>51</sup> Стр. 365. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина нет слова «третьего».

<sup>52</sup> Стр. 365. Слова «им же созданного особенного» в рукописи зачеркнуты и заменены рукой Н. А. Некрасова: «свойственного ему одному».

<sup>53</sup> Стр. 365. Вместо фразы: «но в этом есть свое творчество, своя поэзия», в тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина напечатано: «но это стоит творчества, поэзии».

<sup>54</sup> Стр. 365. Фразы: «Он никому... подражать ему», нет ни в тексте «Современника» ни в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

<sup>55</sup> Стр. 366. Первоначально было: «взгляд наш прежде всего встречает Бедных людей и Двойника — два романа, вдруг доставившие громкую известность...»

<sup>56</sup> Стр. 366. Фраза: «В русской литературе.... г. Достоевского», в рукописи рукой Н. А. Некрасова переделана так: «В русской литературе еще не было примера такого быстрого успеха, какой имел г. Достоевский при первом своем появлении». Затем вся эта фраза была вовсе вычеркнута.

<sup>57</sup> Стр. 366. В рукописи первоначально было: «Необыкновенность, сила, глубина и...» В тексте «Современника» выброшены и последние три слова.

<sup>58</sup> Стр. 366. В рукописи эпитет «необыкновенный» рукой Н. А. Некрасова заменен: «сильный». В тексте «Современника» опущен и этот последний эпитет и напечатано просто: «талант».

<sup>59</sup> Стр. 366. В тексте «Современника» вместо «безукоризненно художественным» напечатано: «более художественным».

<sup>60</sup> Стр. 366. В рукописи первоначально было: «сильно заинтересованной».

<sup>61</sup> Стр. 366. Текст со слов: «В Двойнике», и кончая: «художественного мастерства тоже», в рукописи рукой Н. А. Некрасова переделан так: «В Двойнике автор обнаружил замечательную силу творчества, характер героя концепирован глубоко и смело, истины в этом произведении много». В тексте «Современника» эта переделанная фраза напечатана с опущением слов: «глубоко и». В издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина первоначальный текст рукописи напечатан в таком виде: «В «Двойнике» автор обнаружил огромную силу творчества, характер героя концепирован глубоко и смело, ума и истины в этом произведении много, художественного мастерства тоже».

<sup>62</sup> Стр. 366. Слова: «слишком богато силами таланта» в рукописи рукой Н. А. Некрасова зачеркнуты и заменены словом: «автора». Так и напечатано в тексте «Современника». В издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина фраза восстановлена, но не вполне: в ней не хватает слова «слишком».

<sup>63</sup> Стр. 367. Текст со слов: «Мы знаем», и кончая: «успех его был бы другой», в рукописи рукой Н. А. Некрасова сокращен так: «Мы убеждены, что если бы г. Достоевский укоротил своего Двойника по крайней мере целую треть, повесть его могла бы иметь успех». Эта фраза напечатана и в тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

<sup>64</sup> Стр. 367. Фраза: «Двойника оценили только немногие диллетанты», в рукописи рукой Н. А. Некрасова переделана: «Двойник мог заинтересовать только немногих диллетантов». Так и напечатано в тексте «Современника».

<sup>65</sup> Стр. 367. Фраза: «Гоголь не всем нравился, да прочли-то его все», в рукописи рукой Н. А. Некрасова переделана: «Гоголь многим не нравится, но его прочли решительно все». Так и напечатано в тексте «Современника».

<sup>66</sup> Стр. 367. В рукописи рукой Н. А. Некрасова слово «всех» заменено: «даже и». Так и напечатано в тексте «Современника».

<sup>67</sup> Стр. 367. Слова «яркие», и «большого» зачеркнуты в рукописи явно чужой рукой, как можно судить о том по цвету чернил и по характеру других правок, сделанных не Белинским.

<sup>68</sup> Стр. 367. Слов «они сверкают» нет ни в тексте «Современника», ни в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина, но они имеются в рукописи.

<sup>69</sup> Стр. 368. Текст со слов: «Сколько нам кажется», и кончая: «а не поэтическое создание?» — в рукописи рукой Н. А. Некрасова переработан так: «Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то в роде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... иначе она не была бы такою вычурною, манерною, непонятною, более похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запу-

тапное происшествие, нежели на поэтическое создание». В таком виде этот текст был напечатан и в тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

<sup>70</sup> Стр. 368. В рукописи конец этого абзаца, начиная со слов: «это уже недостаток второстепенный», Н. А. Некрасов почти полностью зачеркнул и сам написал такой конец абзаца: «не говорим также о беспрестанно встречающихся и совершенно натянутых фразах, в роде: гвозды ре вый ты человек, тузов вый ты человек и т. под.; это уже недостатки второстепенные и, главное, исправимые». Этот конец абзаца и напечатан был в тексте «Современника». В издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина восстановлен первоначальный текст, но не вполне точно: пропущено слово «уже».

Ф. М. Достоевский познакомился с Белинским через Н. А. Некрасова в мае 1845 г. Об этом первом знакомстве Ф. М. Достоевский сам рассказал через тридцать с лишком лет в «Дневнике писателя» за 1877 год.

В конце 1845 г. Белинский, не называя Ф. М. Достоевского по имени, дал о нем первый печатный отзыв. В рецензии о «Мельнике» он писал, что «наступающий год — мы знаем это наверное — должен сильно возбудить внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется, суждено играть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 123). В январе 1846 г. вышел «Петербургский сборник», где напечатаны были «Бедные люди». В своей статье об этом сборнике Белинский дал спокойный, сдержанный, но вместе с тем прекрасный отзыв об этом произведении. В этой статье критик хорошо отозвался и о «Двойнике», помещенном во второй книжке «Отечественных Записок» за 1846 г., но отозвался о нем уже с оговорками (Полн. собр. соч., т. X, № 934 и 942). Это и понятно: «Бедные люди» давали ему основание надеяться, что Ф. М. Достоевский будет в нашей литературе родоначальником социального романа, в духе романов Жорж-Занд, и в своих беседах с ним он старался воздействовать на него именно в этом направлении. Но надежды его пока не оправдались: в «Двойнике» не было никаких социальных элементов. Сдержанный тон и оговорки критика больно задели «расхлеставшееся» самолюбие Ф. М. Достоевского, который вследствие первых восторженных отзывов критика был тогда чрезмерно высокого мнения о себе и своих произведениях (ср. Биография, письма... Ф. М. Достоевского, Спб. 1883, стр. 42—43). Белинский, в конце концов, разочаровался в Достоевском, как писателе и как человеке. Это ясно сказалось уже в оценке повести «Двойник», в которой критик нашел существенный недостаток: «это ее фантастический колорит» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 420). Своей же повестью «Хозяйка», написанной в 1847 г., Ф. М. Достоевский решительно уронил себя в глазах Белинского. В письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. критик вынес ему окончательный приговор: «Достоевский написал повесть «Хозяйка» — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немного Гоголя. Он и еще кое-что написал после того, каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их: так легко читаются они! Надулись же вы, друг мой, с Достоевским — гением. О Тургеневе не говорю — он тут был самим собою, а уже обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» («Письма», том II, стр. 338). Этот суровый приговор вызван был тем, что Ф. М. Достоевский не оправдал надежд, которые возлагал на него Белинский. Об отношении Ф. М. Достоевского к великому критику после смерти последнего обстоятельно рассказано в книге С. Ашевского: «Белинский в оценке его современников». Спб. 1911. стр. 143, 188—205 и 197.

<sup>71</sup> Стр. 368. Белинский исполнил свое обещание: в следующей книжке «Современника» он поместил рецензию на «Повести, сказки и рассказы казака Луганского» (В. И. Даля), в которой бросил беглый взгляд на всю литературную деятельность В. И. Даля-Луганского (Полн. собр. соч., т. X, № 962).

<sup>72</sup> Стр. 369. Конец абзаца, начиная со слов: «Его Деревня», в рукописи был зачеркнут, а затем восстановлен.

<sup>73</sup> Стр. 369. После «другого» зачеркнуто: «славянофила».

<sup>74</sup> Стр. 369. После «не были» в тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина стоит слово «тоже», которого нет в рукописи.

<sup>75</sup> Стр. 370. Первоначально было: «и не менее всякого славянофила видим, что есть в них странного, противоречивого, уродливого».

<sup>76</sup> Стр. 370. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «старины» напечатано: «отживших нравов».

<sup>77</sup> Стр. 370. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «прилагалось» напечатано: «прилепилось».

<sup>78</sup> Стр. 370. В тексте «Современника» и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «такое» напечатано: «подобное».

<sup>79</sup> Стр. 370. Перевод: мошенник, тонкий плут.

<sup>80</sup> Стр. 371. Перевод: неожиданный и благополучный конец. Буквально: «бог из машины», помогавший своим появлением в древней трагедии благополучной развязке.

<sup>81</sup> Стр. 371. В издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина вместо «огромного» напечатано «этого».

<sup>82</sup> Стр. 371. Этого подстрочного примечания нет в тексте «Современника». Оно впервые появилось только в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина (Соч. В. Белинского, ч. XI, М. 1861, стр. 62). — Под «огромным сборником», о котором идет речь в этом примечании, подразумевался альманах «Левиафан», который Белинский намеревался издать в 1846 г. С мыслью о собственном сборнике Белинский носился еще с 1839 г. В письме от конца октября 1846 г. Н. А. Некрасов предложил Белинскому уступить материалы альманаха для «Современника», добавив при этом: «Мы заплатим вам за все статьи... хорошие деньги, и это будет ваш барыш с предполагавшегося альманаха. Пишите, что вы обо всем этом думаете...» (Белинский, Письма т. III, стр. 359). Белинский без колебаний принял предложение и передал в «Современник» все материалы, собранные для «Левиафана».

<sup>83</sup> Стр. 371. Этот абзац, имеющийся в рукописи и в «Современнике», опущен в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

«Московский сборник» был издан славянофилами после того, как они разошлись с М. П. Погодиным и оставили «Москвитянин». Белинский в первую очередь обратил внимание в этом сборнике на статью Ю. Ф. Самарина (М. З. К.) о «Гарантасе» В. А. Соллогуба и на статью А. С. Хомякова «Мнение русских об иностранцах», так как в этих статьях велась полемика с ним. Об этом он писал А. И. Герцену 4 июля 1846 г.: «В Харькове я прочел «Московский сборник», душно и наяриваю о нем. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и, подлец, зацепляет меня в лице «Отечественных Записок». Как умно и зло казнит он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков — я ж его, ракалию! Дам я ему зацеплять меня, узнает мои крючки! Ну, уж статья! Вот бесталанный-то... ерник! Потешусь, чувствую, что потешусь!» («Письма», т. III, стр. 137).

<sup>84</sup> Стр. 371. Этот и следующий абзац имеются в рукописи и в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина, но они опущены в «Современнике».

<sup>85</sup> Стр. 372. Далее в тексте «Современника» следуют одиннадцать страниц (1847, т. I, отд. III, стр. 41—52), на которых дается разбор исторических трудов, вышедших в 1846 г. Эти страницы, по просьбе Белинского, написаны К. Д. Кавелиным и вошли в собрание его сочинений (издание Глаголева, т. I, стлб. 745—760). Эти страницы, как не принадлежащие Белинскому, в настоящем издании опускаются.

Перед следующим абзацем имеется в рукописи примечание, написанное рукой Белинского: «Примечание для наборщика: за сим набирать листки под № 1, 2 и 3». Это примечание заключено в овальные скобки. — На полях, против начала следующего абзаца, в рукописи имеется второе при-

мечание, написанное рукой Н. А. Некрасова: «NB. Окончание статьи в III отделение набрать поскорее и послать по первой корректуре к г. Никитенке». Это — прямое указание на то, что А. В. Никитенко, бывший официальным редактором «Современника», читал настоящую статью Белинского не по рукописи, а в корректуре.

<sup>86</sup> Стр. 372. Ю. И. Венелин считал Атиллу славянином в труде: «Древние и нынешние болгары в политическом, историческом и религиозном их отношении к россиянам» (ч. I. М. 1829). Это место книги послужило поводом для продолжительной полемики между журналами того времени (ср. «Моск. Телеграф» 1829, ч. 28, стр. 485—486. — Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. V, стр. 271—272).

<sup>87</sup> Стр. 372. Слова «славянофильского» нет в тексте «Современника».

<sup>88</sup> Стр. 373. Первая статья о труде С. П. Шевырева, помещенная в «Отечественных Записках» (1846, т. XLVI, № 5, отд. V, стр. 17—36), написана Ф. И. Буслаевым (филологическая часть) и А. Д. Галаховым (историко-литературная часть). Автор второй статьи в «Отечественных Записках» (1846, т. XLIX, № 12, отд. VI, стр. 57—72) — А. Д. Галахов. Автор статьи в «Библ. для Чтения» (1846, т. LXXVIII, отд. V, стр. 23—52) — К. П. (очевидно, К. А. Полевой). Автор статьи в «Финском Вестнике» (1846, т. XII, отд. V, стр. 1—37) нам не известен.

<sup>89</sup> Стр. 373. На слове «сделанное» рукопись прерывается: нехватает листа 68.

<sup>90</sup> Стр. 374. Со слова «книг» снова начинается рукопись (лист 69).

<sup>91</sup> Стр. 374. Фраза: «Третья часть *Истории смутного времени* Г. Бутурлина», опущена в тексте «Современника».

<sup>92</sup> Стр. 374. Степан Алексеевич Маслов (1793—1879) — писатель и известный деятель в области сельского хозяйства. В течение пятидесяти лет он состоял непререваемым секретарем Московского общества сельского хозяйства. Был редактором и чуть не единственным сотрудником журналов: «Земледельческий журнал» (1821—1840) и «Журнал сельского хозяйства» (1841—1859). В своей статье «Жар и жатва хлеба» С. А. Маслов нарисовал жуткую картину летней страды, когда женщина под палящим солнцем жнет целыми днями, разгибаясь от работы только на минуту, чтобы накормить иссохшей грудью ребенка, находящегося с нею в поле. Он привел случай, когда женщины тут же в поле разрешались от бремени мертвым ребенком. «Боже великий! — восклицал он, — ты положил клятву, чтобы человек в поте лица своего ел хлеб свой, но чтобы этот хлеб обливался кровью матерей, рождающих в муках, с выпавшим из рук серпом и с смертью новорожденного — нет, господи, это не твоя воля любви и милосердия, это жестокость человеческого сердца, к которой люди привыкли, и преждевременных родов, вытесняющих мертвого младенца тяжелой работой на палящем солнце, уже не называют *человекоубийством*». Для николаевского времени это было сказано сильно. Эту статью Белинский назвал «замечательной», но о самом авторе, как о человеке, он был невысокого мнения. В письме к П. В. Анненкову от декабря 1847 г. он писал: «Тотчас же по приезде услышал я, что в правительстве нашем происходит большое движение по вопросу об уничтожении крепостного права... Перовский выписал в Питер Маслова для совещания с ним о средствах разрешить вопрос на деле. Трудность этого решения заключается в том, что правительство решительно не хочет дать свободу крестьянам без земли, боясь пролетариата, и в то же время не хочет, чтобы дворянство осталось без земли, хотя бы и при деньгах. Вы имеете понятие о Маслове. Это человек неглупый, даже очень неглупый, но пустой и ничтожный, болтун на все руки, либерал на словах и ничто на деле. Роль, которую он теперь играет, забавляет его самолюбие и дает пищу болтовне, а он и без того помолчать не любит. Он говорит, что в губернии его считают Вашингтоном (по его, это значит быть радикалом в либерализме), а вот мы, молодое поколение, хотели бы его повесить, как консерватора, хотя, по правде, мы и не считаем его достойным такого строгого наказания, а думаем, что довольно было бы прогнать его по шее к его лошадям, на его завод — писать для них конституцию: это его настоящее место — конюшня» («Письма», т. III, стр. 314).

<sup>93</sup> Стр. 374. Белинский говорит тут о своем «семилетнем тяжком опыте», полученном в «Отечественных Записках» (с августа 1839 по апрель 1846 г.), где он каждый месяц почти один должен был заполнять своими статьями отдел «Критики». О каждой книге, о которой писалась статья для этого отдела, почти обязательно давалась и рецензия, которая помещалась в отделе «Библиографическая хроника». При этих двойных отзывах в журнале набиралось много ненужного балласта, как о том справедливо говорит Белинский в последующих строках. Вместо этих двух отделов в «Современнике» введен был только один: «Критика и библиография».

<sup>94</sup> Стр. 375. В рукописи нет слова «величии», но мы вставляем его, так как оно требуется смыслом фразы.

<sup>95</sup> Стр. 375. Текст со слов: «и которые, думая», и кончая: «пошлости и слабоумия», в рукописи вычеркнут и вместо него на полях рукой Н. А. Некрасова вставлено: «печатно неоспоримо доказав бездарность свою и слабоумие». В тексте «Современника» эта вставка была напечатана в несколько измененном виде: «печатно доказав бездарность свою». В этом измененном тексте шла речь о писателе Л. В. Бранте, написавшем роман «Жизнь, как она есть», в котором, между прочим, он высмеял Белинского.

<sup>96</sup> Стр. 375. Далее в рукописи зачеркнуто: «Конечно, легко отвести в своем журнале угол для сельского хозяйства, помещая в нем чужие статьи, и отдавать, тоже чужими руками, критические отчеты о книгах по этой части, но и для этого самому издателю необходимо знать о сельском хозяйстве что-нибудь побольше того, что хлеб родится на земле, а не на воде: иначе он поневоле будет в руках у своих сотрудников и будет без вины виноват в их промахах или, пожалуй, и мистификациях, а публика в этом отделе его журнала будет видеть только балласт... С своей стороны, мы приняли за правило меньше обещать, но лучше исполнять; не гнаться за всем, но хорошо...» — Очевидно, что это зачеркнутое место было направлено главным образом против А. А. Краевского и его журнала «Отечественные Записки», в котором был отдел: «Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще».

### *«Взгляд на русскую литературу 1847 года»*

<sup>1</sup> Стр. 376. Две статьи, носящие общее название «Взгляд на русскую литературу 1847 года», напечатаны впервые в «Современнике» 1848, т. VII, № 1 (ценз. разр. 31/XII 1847) и т. VIII, № 3 (ценз. разр. 29/II), отд. III, стр. 1—39 и 1—46.

Вторая статья вместо февральской появилась только в мартовской книжке «Современника». В заметке «От редакции», помещенной в конце второй книжки «Современника», было сказано: «Вторая статья «О русской литературе 1847 года» по некоторым обстоятельствам не могла войти в состав второго номера «Современника» и будет помещена в третьем». Этими «обстоятельствами» была болезнь Белинского. Текст обеих статей в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина (Сочинения В. Белинского, ч. XI, М. 1861, стр. 315—436) несколько разнится с текстом «Современника», где эти статьи впервые были напечатаны. В последнем имеются сокращения и изменения, которые, очевидно, произведены рукой цензора. В издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина устранены эти извращения текста. Это говорит за то, что Н. Х. Кетчер и А. Д. Галахов, следившие за этим изданием, имели в своих руках рукописи этих статей, не дошедшие до нас. В настоящем издании эти статьи печатаются по тексту издания К. Солдатенкова и Н. Щепкина. Все сокращения, сделанные в тексте «Современника», в настоящем издании печатаются в прямых скобках, а все изменения и переработки, произведенные там, приводятся и оговариваются в примечаниях к соответствующим местам подлинного текста Белинского.

<sup>2</sup> Стр. 376. Слова, заключенные в скобки, имеются в тексте «Современника», но они, очевидно, по недосмотру опущены в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

<sup>3</sup> Стр. 377. Насмешка по адресу Платона Лукашевича, который в 1846 г.

выпустил книгу под заглавием: «Чаромутие, или священный язык магов, волхвов и жрецов, открытый Платоном Лукашевичем»... В этой книге Платон Лукашевич, между прочим, писал: «От сотворения мира род человеческий имел один всеобщий язык, славянский: и бе вся земля устне и глас един всем. Кн. Быт. XI. I. Господь смирил гордость человека смешением языков. Сие смешение есть чаромутие».

<sup>4</sup> Стр. 380. Из крупных годовых обзоров литературы, помещенных в альманахах, известны: «Взгляд на старую и новую словесность в России» и «Взгляд на русскую словесность» за 1823 г. и за 1824 и начало 1825 г. А. Бестужева («Полярная Звезда» 1823, 1824, 1825); «Обозрение русской словесности за 1829 год» И. В. Киреевского («Денница» 1830); «Взгляд на последние успехи русской словесности 1833 и 1834 годов» В. Плаксина («Летопись факультетов на 1835 год», ч. I, Спб. 1835). Первыми замечательными годовыми обзорами литературы, помещенными в журналах, были «Обозрение русской литературы в 1824 году» Н. Полевого («Моск. Телеграф» 1825, ч. I); «Обозрение русской словесности за 1827 год» С. П. Шевырева («Моск. Вестник» 1828, кв. I); «Обозрение русской словесности за 1831 год» И. В. Киреевского («Европеец» 1832); «Ничто о ничем, или отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы» («Телескоп» 1836, ч. XXXI); «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах» Н. В. Гоголя («Современник» 1836, кв. I). Начиная с 1841 г. Белинский подряд поместил пять годовых обзоров «в одном известном журнале», т. е. в «Отечественных Записках» (1841—1846), один обзор в «Литературной Газете» (1844, №№ 1 и 2) и два обзора в «Современнике» (1847 и 1848).

<sup>5</sup> Стр. 383. К «преобразованным» периодическим изданиям в первую очередь относился «Современник», перешедший с начала 1847 г. от П. А. Плетнева в руки Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, а затем «Сын Отечества», который после двух с половиной лет его перерыва с начала 1847 г. вместо А. Ф. Смирдина стали издавать М. Д. Ольхин и К. Жернаков. «Один новый листок» — «Московский городской листок», который с начала 1847 г. издавался Владимиром Драшусовым и в конце этого года прекратил свое существование.

<sup>6</sup> Стр. 383. Белинский, конечно, знал, что новое направление русской литературы 40-х годов назвал «натуральной школой» Ф. В. Булгарин («Северная Пчела» 1846, № 22). Цитата с этими словами из фельетона Ф. В. Булгарина приведена Белинским в статье о «Воспоминаниях Фаддея Булгарина» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. X, стр. 335 и 386).

<sup>7</sup> Стр. 384. Тут имелся в виду Юрий Самарин, который в 1847 г. в своей статье «О мнениях «Современника» писал: «Происхождение натурализма, кажется, объясняется гораздо проще... Материал дан Гоголем или, лучше, взят у него; это пошлая сторона нашей действительности. Гоголь первый дерзнул ввести изображение пошлого в область художества. На то нужен был его гений... С его стороны это было не одно счастливое внушение художественного инстинкта, но сознательный подвиг целой жизни, выражение личной потребности внутреннего очищения» (Соч. Ю. Ф. Самарина, М. 1877, стр. 82).

<sup>8</sup> Стр. 384. Бутковым уничтожить авторитет самого Гоголя пытался Ф. В. Булгарин в своем очередном фельетоне «Журнальная всякая всячина» («Северная Пчела» 1845, № 243, стр. 971). Белинский уже говорил об этом в рецензии о «Петербургских вершинах» и даже привел там на эту тему большую цитату из фельетона Ф. В. Булгарина (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. X, стр. 74—75). В указании номера газеты, откуда взята цитата, Белинский ошибся. Надо: 243.

<sup>9</sup> Стр. 385. Тут имелся в виду Н. И. Надеждин, который, между прочим, писал о «Графе Нулине»: «Чувство благородной снисходительности к людским предрассудкам выражается в полумимическом ответе графа на вопрос Натальи Петровны:

«Как тальи носят?» — Очень низко,  
Почти до... вот до этих пор.

Какая любезная скромность!.. Поэт заставил героя своего не сказать, а показать то, для выражения чего язык наш не имеет книжного слова».

Отзыв Н. И. Надеждина о «Графе Нулине» полностью перепечатан в первом томе Полн. собр. соч. В. Г. Белинского (под ред. С. А. Венгерова).

<sup>10</sup> Стр. 387. О том, как французы XVIII века понимали искусство, Белинский подробно говорил еще в 1834 г. в «Литературных мечтаниях».

<sup>11</sup> Стр. 387. Имелась в виду поэма Пушкина «Братья-разбойники».

<sup>12</sup> Стр. 388. Этот отзыв о Гоголе, принадлежащий Василию Плаксиву, взят Белинским из учебника последнего: «Руководство к изучению истории русской литературы» (второе издание, Спб. 1846).

<sup>13</sup> Стр. 390. Белинский оценивал Пушкина с классовой точки зрения еще в начале 1845 г. (см. прим. 21 к статьям Белинского о Пушкине).

<sup>14</sup> Стр. 391. Вороватин, Ножов, Правдолюбов, Благотворов и т. п. — герои романа Ф. В. Булгарина «Иван Выжигин».

<sup>15</sup> Стр. 392. Намек на «Деревню» и «Антон-Горемыку» Григоровича, «Петербургского дворника» Даля-Луганского и «Петербургские углы» Некрасова.

Ф. Булгарин и Л. Брант выступили против изображения быта низов общества в «Петербургском дворнике» и «Петербургских углах». Так, Л. Брант писал: «Г. Некрасов, питомец новейшей школы, образованной г. Гоголем, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные, изображает нам другого рода обитателей «углов»: хозяйку, какую-то отвратительную старуху; забулдыгу — дворового человека, отпущенного по оброку, который беспрестанно давит пауков; хмельную бабу, одержимую бесом; школьного учителя... и другие подобные лица. Не спорим, что они существуют, как неизбежные исключения в низшем слое человеческого общества, но должно ли рисовать подробно их жалкую жизнь и особенно рисовать так, как рисует г. Некрасов, поставляющий, повидимому, торжество искусства в картинах грязных и отвратительных» («Северная Пчела» 1845, № 236).

<sup>16</sup> Стр. 394. Речь идет об «Антон-Горемыке» Григоровича.

<sup>17</sup> Стр. 395. Слова: «не может похвалиться знатностью происхождения и отнюдь», имеются в журнальном тексте, но в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина они опущены по явному недосмотру.

<sup>18</sup> Стр. 397. В устах атеиста, каким был в этот период Белинский, странно звучит здесь признание Христа «сыном бога». Ясно, что это было сказано для цензуры.

<sup>19</sup> Стр. 398. После слов: «и деятельность суетных людей умеет направлять к добру», в тексте «Современника» имеется сноска Белинского такого рода: «Считаем долгом напомнить нашим читателям небольшую статью (в отделе «Смеси» в V книжке «Современника» прошлого года) под названием: «Спор о благотворительности», в которой превосходно решен вопрос о превосходстве общественной благотворительности над частною». Предметом спора послужило катанье с гор по городу, которое знатные московские дамы устроили в пользу бедных великим постом 1847 г.

<sup>20</sup> Стр. 402. Под «поэтом, захотевшим сделаться плохим резонером», конечно, подразумевался Гоголь, выступивший в начале 1847 г. с «Выбранными местами из переписки с друзьями» и отрекшийся от своих прежних произведений.

<sup>21</sup> Стр. 402. Перевод: «Мельник из Анжибо», «Грех господина Антуана» и «Издора».

<sup>22</sup> Стр. 402. Принц Родольф — главный герой «Парижских тайн» Евгения Сю.

<sup>23</sup> Стр. 404. Перевод: «высший идеал изящного».

<sup>24</sup> Стр. 404. Во время заграничной поездки в 1847 г. Белинский два

раза был в Дрездене: 15—19 мая и 5—9 июля (старого стиля). В первый приезд он два раза посетил Дрезденскую галерею, где видел знаменитую Сикстинскую мадонну. Был он в галерее, очевидно, и во второй приезд. Свое впечатление от Мадонны он описал в письме к В. П. Боткину от 7 июля 1847 г.

<sup>25</sup> Стр. 405. Перевод романа Гете «Wahlverwandschaften» был напечатан в «Современнике» (1847, т. IV) под заглавием «Оттилия».

<sup>26</sup> Стр. 405. Слова: «п начале настоящего», имеются в журнальном тексте, но в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина они опущены по явному недосмотру.

<sup>27</sup> Стр. 407. Полное заглавие романа: «Пая Подстолич. Роман уездный». Соч. Ф. Масальского, перевод с польского, Спб. 1832—1833, 2-е изд., Спб. 1834.

<sup>28</sup> Стр. 407. В 30-х годах Белинский был сторонником чистого искусства, а в 40-х годах он отводит искусству исключительно служебную роль и говорит, что «теперь искусство не господин, а раб: оно служит посторонним для него целям» (Полное собрание сочинений Белинского, т. IX, стр. 302). На страницах 398—407 настоящей статьи высказан окончательный взгляд на искусство, к какому пришел Белинский в конце своей жизни.

<sup>29</sup> Стр. 407. К имени «Журдена» в «Современнике» сделана сноска: «Герой комедии Мольера: «Le Bourgeois Gentilhomme» — «Мещанин в дворянстве».

<sup>30</sup> Стр. 408. К словам: «Мы уже имели случай... доказать всю его неосновательность и неблагоприятность», в «Современнике» сделана сноска: «Современник» 1847 г., книжка XI, статья «Ответ Москвитянину».

<sup>31</sup> Стр. 408. В тексте «Современника» вместо «но» стоит «однако».

<sup>32</sup> Стр. 408. Роман «Спекуляторы», принадлежащий П. Сухонину, был напечатан в «Библиотеке для чтения» 1847, тт. 83, 84 и 85.

<sup>33</sup> Стр. 409. После выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский считал Гоголя, родоначальника натуральной школы, писателем уже конченным.

<sup>34</sup> Стр. 409. Цитата взята из статьи А. Никитенко «О современном направлении русской литературы» («Современник» 1847, т. I, № 1, отд. II, стр. 61). В трех местах Белинский несколько неточно цитирует А. Никитенко («и своего значения» вместо «и своего назначения», «она еще была» вместо «еще она была» и «от ледяной земной коры» вместо «от ледяной зимней коры»).

<sup>35</sup> Стр. 410. «Поворот к самобытности» «в сфере изучения русской истории» и «в изучении современного быта России» Белинский видел в трудах К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, М. П. Погодина, А. П. Заблочкиного, А. Афанасьева и др. Перечень этих трудов он дает на 447—449 страницах настоящего тома.

<sup>36</sup> Стр. 410. Фраза, заключенная в скобки, имеется в тексте «Современника», но она опущена в издании К. Солдатенкова и Н. Щепкина.

<sup>37</sup> Стр. 412. «Кто виноват?» и «Обыкновенная история» сравнивались между собой в статье «Русская литература в 1847 году», напечатанной в «Отеч. Записках» (1848, т. LVI, № 1, отд. V, стр. 18—21). В этой статье, между прочим, говорилось: «Совершенно другого рода роман Искандера «Кто виноват?», показывающий в авторе двойную силу большого таланта: силу изображать трагические положения и силу изображать комическую сторону жизни... Такие лица, как Петр Иванович и его племянник, по плечу всем; но такие лица, как Бельтов и Круциферская, выше понимания очень многих. Вот почему роман Искандера мы ставим гораздо выше романа г. Гончарова». Автор статьи — А. Д. Галахов.

<sup>38</sup> Стр. 417. В тексте «Современника» напечатано: «чем бы он ни увлекся».

<sup>39</sup> Стр. 417. Судя по этим строкам, слово *гуманность* введено в русский язык и подробнейшим образом объяснено Белинским.

<sup>40</sup> Стр. 418. Возможно, что тут описка или опечатка. В тексте «Современника» вместо «смиренно» напечатано: «искренно».

<sup>41</sup> Стр. 418. В автобиографичности этих строк легко убедиться, прочитав письма Белинского к родителям и к брату Константину. В письме его к родителям от 17 февраля 1831 г. мы читаем: «Поверьте, что сын ваш заслуживает лучшего о себе мнения, нежели какое вы о нем имеете. Где бы я ни жил, чем бы я ни был — я всегда буду почитать священнейшею обязанностью быть добрым сыном, любить и уважать своих родителей и признавать над собою их власть, которая есть важнее, законнее и священнее всех властей в мире. Я не хочу философски исследовать, есть ли любовь и уважение к родителям чувство, внушенное природою, или оно есть следствие внушенных с младенчества правил, или что-нибудь другое. Я способен питать это чувство, почитаю его святым, возвышенным: этого для меня довольно. Вы... не должны подозревать меня в низости чувств и подлости образа мыслей. Опять повторяю вам, что я не мальчишка, которого должно сечь, чтобы заставить хорошо вести себя, не грубый мужик, которого должно бить дубиной, чтобы заставить что-нибудь почувствовать. Вы, маменька, просили Лукерью Савельевну обругать меня вашим именем: радуйтесь и веселитесь! Она с дипломатической точностью повторила мне ваши *ласковые* и *благородные* слова. Я не хочу говорить вам о *неприличности* этих слов, о крайнем *неблагородстве* и *низости* выражений; замечу только мимоходом, что это уже слишком, слишком... Но мне уже не привыкать к подобным поступкам со стороны моих родителей... Не хочу договаривать: может быть, и сами поймете...» — Своему брату Константину Белинский писал 21 июня 1832 или 1833 г.: «Сколько раз просил я маменьку, чтобы она старалась укрощать свой пылкий до дикости и неистовства характер... И все тщетно! Мое усердие и мои благие советы она назвала грубостью и непочтением к матери. Сколько раз, также тщетно, я просил и говорил папеньке... Так, люби и почитай родителей — я это всегда тебе советую, но, несмотря на то, я имею право сказать, что наши несчастья зависят от них, что они и себя и нас губят. Они не знают своих обязанностей, они не знают, что они... должны дышать для детей своих, стараться образовать из них добрых граждан для отечества: это закон природы, закон бога и самих людей». — И в письме к нему же от 19 июля 1833 г.: «Я очень знаю, как горько тебе жить в родительском доме, да что же делать-то? Я и сам пью горькую чашу, которая с каждым днем переполняется через края новыми ядовитейшими зельями, однако ж терплю, ибо надежда в будущем подкрепляет меня... Советую и тебе последовать моему примеру. Конечно, горестно, убийственно слышать от своего отца попреки за каждый его кусок... и где же? В Чембаре, где эти куски так дешево обходятся даже и самому последнему мещанину...» («Письма», т. I, стр. 33, 41 и 55). — Возможно, что при писании этой статьи Белинскому припомнился и случай из его детской жизни, который был рассказан одним из его друзей. Случай такой: раз отец Белинского возвратился домой с попойки и начал без всякой причины бранить сына Виссариона. «Ребенок (ему было 10—11 лет) оправдывался. Взбешенный отец ударил его и повалил на землю. Мальчик встал перерожденным: оскорбление и глубокая несправедливость западали в его душу — он навсегда сохранил какой-то ужас и ненависть к необузданному семейному произволу».

<sup>42</sup> Стр. 420. Белинский не вполне точно цитировал Герцена. Надо: «которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку».

<sup>43</sup> Стр. 421. В настоящей статье блестяще развернута характеристика А. И. Герцена, которая в основных чертах была уже набросана в письмах Белинского, написанных приблизительно за два года перед тем. Так, в письме от 20 марта 1846 г. Белинский так характеризовал своего друга:

«Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермессо в «Кто виноват?» Я из нее окончательно убедился, что ты — большой человек в нашей литературе... Ты не поэт: об этом смешно и толковать, но ведь и Вольтер не был поэт не только в «Генриаде», но и в «Кандиде», однако его «Кандид» тягается в долговечности со многими великими художественными созданиями... У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно велики, а как люди — ограничены и чуть не глупы... У тебя, как у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, так сказать, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом, как низшим, подчиненным ему началом, — нет, твой талант — чорт его знает, такой же бастард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам» («Письма», т. III, стр. 108).

<sup>44</sup> Стр. 423. В тексте «Современника» так: «а наконец».

<sup>45</sup> Стр. 423. Автобиографичность этого места очевидна. Ср. письмо Белинского к брату Константину от 9 апреля 1840 («Письма», т. II, стр. 98—99).

<sup>46</sup> Стр. 423. В тексте «Современника» так: «принять их к себе в дом».

<sup>47</sup> Стр. 425. Вместо «это» в тексте «Современника» напечатано: «все сказанное теперь».

<sup>48</sup> Стр. 426. В тексте «Современника»: «и грустное».

<sup>49</sup> Стр. 427. В тексте «Современника» вместо «в них» напечатано: «в таких людях».

<sup>50</sup> Стр. 428. Вместо «трудно-больного» в тексте «Современника» напечатано: «трудного больного».

<sup>51</sup> Стр. 430. В тексте «Современника» так: «потребность к симпатии».

<sup>52</sup> Стр. 430. Вместо «неблагодарными» в тексте «Современника» напечатано: «неблагодарными».

<sup>53</sup> Стр. 432. Фраза: «чем ближе подходит под любимый идеал поэтов, тем она кратковременнее», в тексте «Современника» читается так: «чем ближе подходит она под любимый идеал поэтов, тем кратковременнее».

<sup>54</sup> Стр. 433. Вместо «май жизни цветет только раз» в тексте «Современника» напечатано: «моей жизни цвет цветет только раз».

<sup>55</sup> Стр. 433. Текст, заключенный в скобки, в «Современнике» заменен словами: «чувствовал никаких влечений».

<sup>56</sup> Стр. 433. Текст, заключенный в скобки, в «Современнике» заменен словами: «истинной страсти».

<sup>57</sup> Стр. 434. В тексте «Современника»: «и благодарен».

<sup>58</sup> Стр. 434. Вместо «пришибло» в тексте «Современника»: «прошибло».

<sup>59</sup> Стр. 436. Вместо «а что» в тексте «Современника»: «и что».

<sup>60</sup> Стр. 438. В тексте «Современника» нет слова «главный».

<sup>61</sup> Стр. 438. В тексте «Современника» к слову «резонера» сделана сноска: «Роман г. Гончарова на днях вышел отдельно в двух очень красивых томах. Продается в конторе «Современника», цена 1 р. 60 к., с перес. 2 р. сер.».

Белинский сразу понял истинный смысл «Обыкновенной истории» и блестяще выяснил все глубокое значение этого произведения, потому что он сам вместе с своими друзьями пережил в 30-х годах длинную полосу романтизма и мечтательности и в 40-х годах видел остатки всего этого в славянофилах. Поэтому-то в своей статье он и обрушился с такой яростью на молодого Адуева, нанося в лице его жестокий удар своему бывшему романтизму и современным романтикам — славянофилам. Он даже сожалел, что автор в конце повести не сделал молодого Адуева славянофилом, ибо «тогда бы герой был вполне современным романтиком, и никому бы не

вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют». В статье «Лучше поздно, чем никогда» И. А. Гончаров высказал сожаление, что для его «Обрыва» не нашлось такого «тонкого критического истолкователя», каким был Белинский для «Обыкновенной истории» и Добролюбов для «Обломова» (Полн. собр. соч. И. А. Гончарова, т. I, изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1899, стр. 36).

<sup>62</sup> Стр. 440. Белинский не определил в достаточной степени ни объема, ни истинного характера таланта И. С. Тургенева, несмотря на то, что внимательно следил за развитием его литературной деятельности. Он незаслуженно превознес его первые стихотворные опыты (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. VIII, № 722; т. XIII, прим. 111; т. IX, № 832; т. XIII, прим. 322). К прозе И. С. Тургенева, за исключением «Хоря и Калиныча», Белинский отнесся довольно холодно, но и в «Хоре и Калиныче», по его мнению, И. С. Тургенев не проявил таланта чистого творчества и способности «создавать характеры». Истинным родом таланта И. С. Тургенева он признал «физиологические очерки» и приравнял его в этом отношении к В. И. Далю. В письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Белинский отозвался о прозе И. С. Тургенева еще строже. Он писал в нем: «С чего вы это, батюшка, так превознесли «Лебедянь» Тургенева? Это один из самых обыкновенных рассказов его, а после ваших похвал он мне показался даже довольно слабым. Цензура не вымарала из него ни единого слова, потому что решительно нечего вычеркивать. «Малиновая вода» мне не очень понравилась, потому что я решительно не понял Слепушки. В «Уездном лекаре» я не понял ни единого слова, а потому ничего не скажу о нем, а вот моя жена так в восторге от него — бабье дело! Да ведь и Иван-то Сергеевич бабье порядочное! Во всех остальных рассказах много хорошего, но вообще они мне показались слабее прежних. Больше других мне понравились «Бирюк» и «Смерть». Богатая вещь — фигура Татьяны Борисовны, недурна старая девица, но племянник мне крайне не понравился, как список с Андрюши и Кириюши, на них непохожий. Да воздержите этого милого младенца от звукоподражательной поэзии — Рррракалиооон! Че-о-эк! Пока это ничего, да я боюсь, чтоб он не пересолжил, как он пересаливает в употреблении слов орловского языка, даже от себя употребляя слово *зеленя*, которое так же бессмысленно, как *лесня* и *хлебня* вместо леса и хлеба» («Письма», т. III, Спб. 1914, стр. 337 и 338).

<sup>63</sup> Стр. 441. Первый отзыв о Д. В. Григоровиче Белинский дал в 1845 г. в рецензии о первой части «Физиологии Петербурга», назвав тогда его «Петербургских шарманщиков» «прелестной и грациозной картинкой, нарисованной карандашом талантливого художника» (Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. IX, стр. 369; т. XIII, прим. 425). Чтение «Антон-Горемыки» вызвало у Белинского «мысли грустные и важные». В письме к В. П. Боткину от 5 ноября 1847 г. он писал: «Вероятно, ты уже получил 11 № «Современника». Там повесть Григоровича, которая измучила меня: читая ее, я все думал, что присутствую при экзекуциях. Страшно! Вот поди ты: дурак пошлый, а талант! Цензура чуть ее не прихлопнула. Конец переделан — выкинута сцена разбоя, в которой Антон участвует» («Письма», т. III, стр. 287). И в письме к тому же В. П. Боткину от декабря 1847 г. мы читаем: «В «Антоне» я не заметил длиннот, или, лучше сказать, упивался длиннотами, как амброзией богов... Боже мой! какое изучение русского простонародья в подробных до мелочности описаниях ярмарки! Поди ты, ведь дурак набитый, по крайней мере пустейший человек, а талант, да еще какой! Но перечитывать «Антон» я не буду, хотя всегда перечитываю по несколько раз всякую русскую повесть, которая мне нравится. Ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушающего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков» («Письма», т. III, стр. 324—325). Белинский потрясен был содержанием

«Антон-Горемыки», но в художественном отношении он ставил эту повесть невысоко. В числе ярых «хулителей» Д. В. Григоровича были славнофилы (ср. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, т. XI, стр. 28—29).

<sup>64</sup> Стр. 441. Вместо слов «так много самобытности» в тексте «Современника» напечатано: «так много таланта и в таланте так много самобытности».

<sup>65</sup> Стр. 441. Белинский познакомился с «Полинькой Сакс» еще в рукописи и поделился своим впечатлением от нее с В. П. Боткиным в письме от декабря 1847 г. От внимания Белинского не ускользнуло сходство «Полиньки Сакс» с «Жаком» Жорж Занд, но он не придавал этому значения. Для него важнее было то, что Дружинин смело разрешил в своей повести вопрос о свободе сердца в духе Жорж Занд и затронул в ней вопрос о крепостном праве, который сильно волновал Белинского. Этими сторонами своей повести Дружинин и подкупил критика. «Рассказ Алексея Дмитриевича» привел Белинского в восторг. Он писал о нем П. В. Анненкову 16 февраля 1847 г.: «А какую Дружинин написал повесть новую — чудо! 30 лет разницы от «Полиньки Сакс»! Он для женщин будет то же, что Герцен для мужчин» («Письма», т. III, стр. 338). Предсказания Белинского не сбылись. Все последующие произведения Дружинина были слабы, и как беллетрист он занял в истории нашей литературы очень скромное место.

<sup>66</sup> Стр. 441. Несомненно, что в последние месяцы жизни, в связи с тяжелой болезнью, Белинский переживал моменты, когда эстетическая проницательность изменяла ему. В один из таких моментов он и мог только героев заурядной повести В. И. Даля признать «созданиями гениальными». Это тем более вероятно, что настоящую статью Белинский уже не писал, а диктовал, лежа в постели.

<sup>67</sup> Стр. 442. О романе «Приключения» у Белинского шла речь в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года».

<sup>68</sup> Стр. 443. Под псевдонимом *А. Нестроева* и литерами *А. Н.* печатал свои беллетристические произведения П. Н. Кудрявцев.

<sup>69</sup> Стр. 443. Под псевдонимом «Сто-одного» писал А. Д. Галахов. Автор рассказа «Кирюша» — П. В. Анненков. — О «чаромути», упоминаемом ниже, см. выше, прим. 3.

<sup>70</sup> Стр. 445. В письме к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. Белинский был еще суровее к Ф. М. Достоевскому и его повести «Хозяйка» (см. прим. № 70 на стр. 525).

<sup>71</sup> Стр. 446. Под литерами *Т. Ч.* и под псевдонимом *А. Темризова* печатала в разных журналах свои стихотворения, рассказы, повести и романы Анастасия Яковлевна Марченко (1830—1880).

<sup>72</sup> Стр. 446. О романе «Лукреция Флориани», переведенном для «Современника» А. И. Кронебергом, говорилось в статье того же А. И. Кронеберга: «Последние романы Жорж Санда». — О романе «Домби и сын» Диккенса Белинскому помешала поговорить подробно тяжкая болезнь. Он только кратко высказался о нем в письме к Боткину от декабря 1847 г., в котором писал: «А читаешь ли ты «Домби и сын»? Это что-то уродливо, чудовищно-прекрасное! Такого богатства фантазии на изобретение резко, глубоко, верно нарисованных типов я и не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой природе. Много написал он прекрасных вещей, но все это в сравнении с последним его романом бледно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенс — совершенно новый писатель, которого я прежде не знал. Зачем он так мало *личен*, так мало *субъективен*, так мало человек — и так много англичанин! Зачем он ближе к Вальтеру Скотту, чем к Байрону! Зачем не дано ему сознательных симпатий и стремлений хоть настолько, сколько их у Eugène Sue! Он и без того так неизмеримо выше этого наемного писаки по столько-то су со строки, что их смешно и сравнивать: что же было бы тогда?» («Письма», т. III, стр. 325).

<sup>73</sup> Стр. 446. Белинский ошибся: в «Современнике» под статьей «Из записок артиста» стоит: «- - -ъ». Автор статьи — М. С. Щепкин. — Под буквой Л. здесь скрылся Н. А. Мельгунов, приятель Белинского еще по кружку Н. В. Станкевича. Обе статьи были даны авторами Белинскому для его «Левиафана».

<sup>74</sup> Стр. 447: «Письма из Avenue Maigny», о которых идет здесь речь, были присланы А. И. Герценом из-за границы и напечатаны в 10 и 11 книжках «Современника» за 1847 г. Писались эти «Письма» в июле — сентябре 1847 г. на глазах Белинского, когда он был за границей, и он был свидетелем и участником споров между А. И. Герценом, П. В. Анненковым, М. А. Бакуниным и Н. И. Сазоновым по поводу взглядов на буржуазию, высказанных в них. Некоторые из друзей А. И. Герцена, прочитав его «Письма» в печати, остались ими недовольны. Так, например, Т. Н. Грановский писал о них Н. Г. Фролову 7 ноября 1847 г.: «Письма из Avenue Maigny» мне не нравятся, хотя очень умны местами. В них слишком много *фривольного* русского верхоглядства. Так пишут французы о России» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под редакцией М. К. Лемке, т. V, II-град, 1915, стр. 508). Белинский хорошо знал мнения своих друзей о «Письмах» и был не согласен с этими мнениями. Но вступить с друзьями печатно в открытую полемику и высказать свое понимание «Писем» Белинский не мог, так как он прекрасно понимал, что эта полемика не была бы разрешена царской цензурой, и, кроме того, враждебные органы не преминули бы истолковать ее как раскол среди западников. Волей-неволей пришлось ему ограничиться полемикой только в письме к В. П. Боткину от декабря 1847 г. и коротенько в письме П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г. («Письма», т. III, стр. 325—332 и 338—339).

<sup>75</sup> Стр. 449. Намек Белинского на свою болезнь и поездку за границу, вследствие которых «Современник» «не совсем соответствовал ожиданию публики по части критики». Весьма подробно на недостатках «Современника» Белинский остановился в письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г. Вернувшись из-за границы, Белинский горячо было принялся за улучшение «Современника». Он наметил целый ряд лиц, которых считал полезным привлечь к участию в журнале. По отделу критики он набросал темы статей на весь 1848 г. «Если все это, — добавлял он в том же письме к В. П. Боткину, — устроится, да здоровье мое позволит мне *поналечь* на дело, было бы хорошо. В первой книжке будет моя большая статья — «Обзор русской литературы в 1847 году». Мне хочется разобрать «Кто виноват?» и «Обыкновенную историю». Эти две вещи дают возможность говорить обо многом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому что близко к ней. Во втором номере — о Лермонтове, благо кстати вышло новое его издание. Затем о Ломоносове, Державине и других изданных теперь Смирдиным писателях русских, а там — с сентябрьской книжки — о Гоголе. Таким образом, «Современник» делается по преимуществу критическим журналом, и лишь бы только здоровье мое позволило, а уж в этом отношении я доставлю «Современнику» огромный перевес над «Отечественными Записками» («Письма», т. III, стр. 269—270 и 272). Кроме «Обзора русской литературы в 1847 году», куда вошли разборы «Кто виноват?» и «Обыкновенной истории», остальные намеченные статьи не были написаны, так как в мае 1848 г. Белинского уже не было в живых.

<sup>76</sup> Стр. 449. Это был Николай Иванович Надеждин.

<sup>77</sup> Стр. 450. Речь идет о самом Белинском.

<sup>78</sup> Стр. 451. Т. е. В. К. Тредьяковского.

### Рецензия о «Картине земли» А. Ф. Постельса

<sup>1</sup> Стр. 453. Напечатана впервые в «Современнике» 1847 г., т. II, № 3 (цена. разр. 28/II), отд. III, стр. 85—86. В настоящем издании воспроизводится этот первопечатный текст.

<sup>2</sup> Стр. 453. Александр Филиппович Язвинский — русский педагог, приобретший в свое время европейскую известность своим мнемоническим методом преподавания.

*Рецензия о книге «Еврейские секты в России»  
В. В. Григорьева*

<sup>1</sup> Стр. 454. Эта рецензия впервые была напечатана в «Современнике» 1847, т. II, № 4 (ценз. разр. 31/III), отд. III, стр. 123—125. Рецензия без подписи. Принадлежность ее критику установлена проф. А. М. Путинцевым. Напечатана последним, с приведением доказательств авторства Белинского, в журнале «Наступление» (1935, № 10). В настоящем издании воспроизводится текст «Современника».

<sup>2</sup> Стр. 455. Последние три строки этого абзаца извращены в журнальном тексте и читаются там так: «одолевал их предрассудок, завещанный ему от предков и укоренившийся злым обычаем, как падает, как обеспечивается под гнетом тупого, отжившего свой век верования»...

*Письмо к В. П. Боткину от 17 февраля 1847 г.*

<sup>1</sup> Стр. 457. Извлечения из этого письма вошли в труд А. Н. Пыпина («Белинский, его жизнь и переписка», Спб. 1876). Письмо получено А. Н. Пыпиным от В. А. Крылова. Полностью впервые было напечатано по тексту собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. III, стр. 171—177). В настоящем издании печатается отрывок этого письма по тексту «корректирного экземпляра» «Писем» (см. в настоящем издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.).

<sup>2</sup> Стр. 457. Перевод: «божественная наука».

<sup>3</sup> Стр. 459. Перевод: «новые произведения Шеллинга».

<sup>4</sup> Стр. 459. Перевод: «слабоумный».

*Письмо к В. П. Боткину от 7/19 июля 1847 г.*

<sup>1</sup> Стр. 460. Это письмо получено А. Н. Пыпиным от В. А. Крылова. Извлечения из него вошли в труд А. Н. Пыпина («Белинский, его жизнь и переписка», Спб. 1876). В «Письмах», вышедших в 1914 г., оно впервые напечатано полностью по тексту собрания А. Н. Пыпина (т. III, стр. 243—246). В настоящем издании печатается полностью по тексту «корректирного экземпляра» «Писем» (см. в настоящем издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.).

<sup>2</sup> Стр. 460. Далее многоточием обозначен пропуск трех слов, не употребительных в печати.

<sup>3</sup> Стр. 461. Перевод: «высший идеал изящного».

<sup>4</sup> Стр. 461. Об этой «шайке воров» мы читаем в «Записках и дневнике» А. В. Никитенка: «Огромную сумму своровали начальники (генералы и полковники) резервного корпуса. Они должны были препроводить к князю Воронцову семнадцать тысяч рекрут и препроводили их без одежды и хлеба, нагих и голодных, так что только меньшая часть их пришла на место назначения, остальные же перемерли. Генерал Тришатный, главный начальник корпуса и этих дел, был послан исследовать их и донес, что все обстоит благополучно, что рекруты благоденствуют... Послали другого следователя. Оказалось, что Тришатный своровал. Своровали и подчиненные ему генералы и полковники...» (А. В. Никитенко. Записки и дневник, изд. 2-е, т. I, Спб. 1905, стр. 369—370).

<sup>5</sup> Стр. 461. Текст, Жан-Батист (1780—1852) — французский министр общественных работ, а затем председатель кассационного суда. Он был отдан под суд и осужден за взяточничество.

<sup>6</sup> Стр. 461. Перевод: «о времена! о нравы!»

<sup>7</sup> Стр. 461. Книга Луи Блана «История французской революции», которая начала выходить в 1847 г.

<sup>8</sup> Стр. 462. «Теперь читаю Ламартинишку», т. е. восьмитомную «Историю жирондистов» Ламартина, вышедшую в 1847 г.

<sup>9</sup> Стр. 462. В копии письма к инциалам критика А. Н. Пыпин сделал такую сноску: «За этим следует начало приписки рукой Анненкова: «Тем же самым лицам с включением и проч. и проч. прошу и от меня, мой почтеннейший Василий Петрович, сьршить...» Дальнейшего листка недостает».

### *Письмо к В. П. Боткину от декабря 1847 г.*

<sup>1</sup> Стр. 462. Это письмо А. Н. Пыпин получил от В. А. Крылова и извлечения из него поместил в своем труде «Белинский, его жизнь и переписка» (СПб. 1876; изд. 2-е, СПб. 1908). Впервые было напечатано полностью по тексту собрания А. Н. Пыпина в «Письмах», вышедших в 1914 г. (т. III, стр. 321—333). В настоящем издании печатаются два отрывка из этого письма по «корректорному экземпляру» «Писем» (см. в настоящем издании прим. 1 к письму Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.).

<sup>2</sup> Стр. 463. Речь идет о «Письмах из Avenue Maigneu» А. И. Герцена, которые были напечатаны в 10 и 11 книжках «Современника» за 1847 г. Одновременно с этим письмом Белинский писал об этих «Письмах» А. И. Герцена и в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», помещенной в настоящем издании.

<sup>3</sup> Стр. 463. Розмон де Болэн Бовалон — французский журналист, убиенный в 1845 г. на дуэли другого журналиста Дюжарье. Скоро открылось, что эта дуэль была замаскированным убийством со стороны Бовалона и его секунданта. Суд приговорил Бовалона к 8, а его секунданта к 10 годам каторги.

<sup>4</sup> Стр. 464. Имелись в виду «Письма из Парижа» П. В. Анненкова, печатавшиеся в «Современнике» (1847, т. I, Смесь, стр. 34 и 142, т. II, Смесь, стр. 38 и 149; т. III, стр. 74 и 232; т. VI, Смесь, стр. 92 и 159; 1848, т. VII, Смесь, стр. 37). В шестом «Письме из Парижа» П. В. Анненков писал о драме Феликса Пия «Ветошник», о которой Белинский говорит выше.

<sup>5</sup> Стр. 464. Четвертое письмо Н. Ф. Павлова к Гоголю было напечатано в восьмой книжке, а первое и второе — в пятой книжке «Современника» за 1847 г.

<sup>6</sup> Стр. 464. Перевод: «вполне, до конца».

<sup>7</sup> Стр. 464. Перевод: «рабочий».

<sup>8</sup> Стр. 464. Перевод: «уязвимы».

<sup>9</sup> Стр. 464. Мишель — Михаил Александрович Бакунин.

<sup>10</sup> Стр. 465. Перевод: «сословный дух».

<sup>11</sup> Стр. 465. Перевод: «Учредительное собрание».

### *Письмо к Н. В. Гоголю от 3 июля 1847 г.*

<sup>1</sup> Стр. 467. Появление в печати «Выбранных мест из переписки с друзьями» не было полной неожиданностью для Белинского. За полгода перед тем Гоголь поместил в «Современнике», в «Моск. Ведомостях» и в «Москвитянине» статью об «Одиссее», которая потом в качестве особой главы вошла в «Выбранные места из переписки с друзьями». По утверждению Белинского, статья эта своей парадоксальностью и «превыспренними претензиями на пророческий тон» огорчила «всех друзей и почитателей таланта Гоголя и обрадовала всех врагов его» (ср. Полн. собр. соч. В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 428—429). Вслед за этой статьей Гоголь выпустил в свет вторым изданием «Мертвые души» с предисловием, которое внушило Белинскому «живые опасения за авторскую

славу в будущем... творца «Ревизора» и «Мертвых душ» (там же, стр. 429). В рецензии об этом втором издании к числу важных недостатков «Мертвых душ» Белинский отнес те места поэмы, где «из поэта, из художника силится автор стать каким-то прорицателем и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм». Но с этим недостатком Белинский мирился, так как таких мест в поэме немного и «их можно пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом». Гораздо важнее было то, что «эти мистико-лирические выходы в «Мертвых душах» были не простыми, случайными ошибками со стороны их автора, но зерном, может быть, совершенной утраты его таланта для русской литературы» (там же, стр. 428).

Таким образом, Белинский был подготовлен к «Выбранным местам из переписки с друзьями». Но тем не менее появление их произвело на него потрясающее впечатление. В большой статье, посвященной им, он, по цензурным условиям, и в слабой степени не выразил того возмущения и негодования, которые вызвало в нем появление «гнусной» книги. В письме к В. П. Боткину, который был недоволен этой статьей, Белинский писал: «Я... принужден действовать вне моей натуры, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и быть шакалом, а обстоятельства велют мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лиси. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда как за дело надо было взяться с тонкостью». Друг ты мой, потому-то, напротив, моя статья и не могла никак своею замечательностью соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумал. Как ты мало меня знаешь! Все лучшие мои статьи несколько не обдуманы, это импровизация; садясь за них, я не знал, что я буду писать... Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошою, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству... Но мою статью я обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подлеца. И она такую и вышла у меня, а не такую, какую ты прочел ее. Вы живете в деревне и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никитенко, ее пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть... Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладал с моим гневом? Да [я] этого и не хотел. Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней только заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь совсем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану» («Письма», т. III, стр. 184—185).

Статья Белинского и в таком виде произвела на Гоголя сильное впечатление, хотя он и не понял ее. Ему показалось, что Белинский рассердился на него потому только, что принял на свой счет нападки на критику и на журналистов, рассеянные в «Переписке». По этому поводу он писал Прокоповичу 20 июня 1847 г.: «Мне очень прискорбно это раздражение... Пожалуйста переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа ныне относительно меня. Если в нем кипит желчь, пусть он ее выльет против меня в «Современнике» в каких ему заблагорассудится выражениях, но пусть не хранит ее против меня в сердце своем. Если же в нем утомилось неудовольствие, то дай ему при сем прилагаемое письмецо». Прокопович передал это «письмецо» в редакцию «Современника», а Н. А. Некрасов переслал его в Зальцбрунн, где тогда находился Белинский. Гоголь, между прочим, писал Белинскому: «Я прочел с прискорбием статью Вашу обо мне во 2-м № «Современника». Не потому, чтоб мне прискорбно было унижение, в которое Вы хотели меня поставить в виду всех; но потому, что в ней слышится голос чело-

века, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже и не любившего меня человека, тем более Вас, о котором я всегда думал, как о человеке, меня любящем. Я вовсе не имел в виду огорчить Вас ни в каком месте моей книги. Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России; этого покуда я еще не могу понять».

Пробежав письмо Гоголя, Белинский, по словам П. В. Анненкова, вспыхнул и промолвил: «А, он не понимает, за что люди на него сердятся, — надо растолковать ему это — я буду ему отвечать». Через три дня ответ был готов. Белинский прочитал его П. В. Анненкову. Последний писал о впечатлении, произведенном на него этим ответом: «Я испугался и тона и содержания этого ответа, и, конечно, не за Белинского, потому что особенных последствий заграничной переписки между знакомыми тогда еще нельзя было предвидеть. Я испугался за Гоголя, который должен был получить ответ, и живо представил себе его положение в минуту, когда он станет читать это страшное бичевание. В письме заключалось не одно только опровержение его мнений и взглядов: письмо обнаруживало пустоту и безобразие всех идеалов Гоголя, всех его понятий о добре и чести, всех нравственных основ его существования — вместе с диким положением той среды, защитником которой он выступил. Я хотел объяснить Белинскому весь объем его страстной речи, но он знал это лучше меня, как оказалось. «А что же делать? — сказал он, — надо всеми мерами спасти людей от бешеного человека, хотя бы взбесившийся был сам Гомер. Что же касается до оскорбления Гоголя, я никогда не могу так оскорбить его, как он оскорбил меня в душе моей и в моей вере в него». А. И. Герцен, которому Белинский прочитал свое письмо к Гоголю, говорил П. В. Анненкову: «Это — гениальная вещь, да это, кажется, и завещание его» (П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Спб. 1909, стр. 355—356). В. И. Ленин это письмо к Гоголю, «подводившее итог литературной деятельности Белинского», считал «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору» (Ленин, Соч., т. XVII, стр. 341).

Белинский в этом письме не только подверг сокрушительной критике реакционную книгу Гоголя, но и разоблачил всю самодержавно-крепостническую систему. Только кончина спасла его от суровой кары за этот замечательный документ. Управляющий III отделением Л. В. Дубельт «сожалел», что ему не удалось «сгноить в крепости» великого критика. Известно, что Ф. М. Достоевский за прочтение письма Белинского в кружке петрашевцев приговорен был к смертной казни, замененной потом каторжными работами. Но жестокие меры правительства не помешали распространению письма Белинского в тысячах экземпляров по всей России. И. С. Аксаков писал своему отцу 9 октября 1856 г., т. е. через девять с лишком лет после появления письма Белинского: «Много я ездил по России: имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому, жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в губернских городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю» («И. С. Аксаков в его письмах», М. 1892, ч. I, т. III, стр. 290).

Это знаменитое письмо Белинского впервые было напечатано А. И. Герценом в «Полярной Звезде» в 1855 г. (изд. 2-е, Лондон 1858, стр. 66—76). С этого текста оно несколько раз перепечатывалось за границей (ср. «Письмо В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю». С предисловием М. Драгоманова. Издание редакции украинского сборника «Громада». Genève 1880). В России извлечения из него впервые были напечатаны в 70-х годах в статье Чижова («Вестник Европы» 1872, № 7) и в труде о Белинском А. Н. Пыпина (Спб. 1876). В 90-х годах Н. Барсуков почти полностью поместил его в томе VIII труда «Жизнь и труды М. П. Погодина». В 1905 г. это письмо вышло отдельной брошюрой, под редакцией и с предисловием С. А. Венгерова, в издании «Светоча» (изд. 2-е, 1906). Полный текст его

появился и в некоторых изданиях сочинений Белинского, а также в «Письмах», вышедших в 1914 г. под ред. Е. А. Ляцкого. Подлинник письма не дошел до нас. В настоящем издании воспроизводится текст «Полярной Звезды». В комментариях приведены разночтения между этим текстом и текстом в издании «Светоча».

<sup>2</sup> Стр. 468. В июне 1836 г. Гоголь уехал за границу, где, с небольшими перерывами, прожил в течение многих лет.

<sup>3</sup> Стр. 468. Однохвостный кнут, как орудие наказания, применявшееся в России, заменен был треххвостной плетью Уложением о наказаниях 1845 г.

<sup>4</sup> Стр. 468. В «Письме к Гоголю», вышедшем под ред. С. А. Венгерова, в издании «Светоча» (Спб. 1905, изд. 2-е, Спб. 1906), напечатано: «вся Россия».

<sup>5</sup> Стр. 469. Главу «Сельский суд и расправа» Гоголь закончил ссылкой на повесть Пушкина «Капитанская дочка», в которой комендантша, «пославши поручика рассудить городского солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкциею: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

<sup>6</sup> Стр. 469. В издании «Светоча»: «еще чаще».

<sup>7</sup> Стр. 469. В издании «Светоча»: «надо лечиться».

<sup>8</sup> Стр. 470. В издании «Светоча» слова «кое-где» заменены многоточием.

<sup>9</sup> Стр. 470. В издании «Светоча»: «уживается с ними».

<sup>10</sup> Стр. 470. В издании «Светоча» вместо «красиво» напечатано: «прекрасно».

<sup>11</sup> Стр. 471. Перевод: «религиозное помешательство».

<sup>12</sup> Стр. 471. В издании «Светоча» вместо «ложь» напечатано: «ложны».

<sup>13</sup> Стр. 471. В издании «Светоча»: «хотя того».

<sup>14</sup> Стр. 471. Гоголь говорил все это в письме к кн. С. С. Уварову от апреля 1845 г.

<sup>15</sup> Стр. 473. В издании «Светоча»: «все же не глупцов».

<sup>16</sup> Стр. 474. В издании «Светоча»: «головой».

<sup>17</sup> Стр. 474. Гоголь в своей «Переписке» не назвал Белинского по имени, но для всех было очевидно, что он имел в виду именно его, когда говорил о критике хотя бы в главе VII: «Одиссея»... освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, «понесла дичь». Или в главе XVIII: «Все лирические отступления в поэме... ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет. Я краснел даже от изъяснений их в мою пользу».

<sup>18</sup> Стр. 474. Имелась в виду статья П. А. Вяземского «Языков и Гоголь», в которой, между прочим, говорилось о «ликторах и глашатаях», которые «хотели поставить Гоголя главою какой-то новой литературной школы, олицетворяя в нем какое-то черное литературное знамя» (Соч. П. А. Вяземского, т. II, стр. 304—334).

<sup>19</sup> Стр. 474. В статье «О «Современнике» Гоголь писал: «Еще, слава богу, здравствуют два... первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков». Кроме того, задумав переиздать «Переписку», Гоголь просил князя Вяземского «прочсть, известить, разобрать строго и выправить его книгу... Взгляните на мою рукопись, — писал он, — как на вашу собственную и родную... Итак, не оставьте меня, добрый князь, и бог вас да вознаградит за то, потому что подвиг будет истинно христианский и высокий». — Похвала и эта просьба, очевидно, возымели свое действие: князь Вяземский написал статью «Языков и Гоголь», выступив в ней с защитой книги Гоголя.

<sup>20</sup> Стр. 474. В предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» Гоголь писал: «В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как

действительно происходит в русской земле. Я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги таким делом... Я прошу тебя это сделать».

<sup>21</sup> Стр. 474. Фраза, заключенная нами в прямые скобки, имеется в издании «Светоча», но А. И. Герцен, конечно, намеренно опустил ее в «Полярной Звезде», чтобы не было в письме Белинского упоминания имен Н. А. Некрасова и П. В. Анненкова.

<sup>22</sup> Стр. 474. В издании «Светоча»: «докажет, что...»

Проф. В. С. Спиридонов

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ <sup>1</sup>

- Аблесимов*, Ал. Анис. (1742—1783) — сатирик и драматург, автор комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват». — 34; 75.
- Август* — Кай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император. — 29.
- Авраамий*, в миру Аверкий Иванович Палицын (ум. 1625) — келарь Троице-Сергиевской лавры, деятель Смутного времени. — 143.
- Агафи*, Ал-др Дмитр. — астраханский чиновник, автор басен, изданных в 1814 г. — 381.
- Агрикола*, Иоганн (1492—1566) — немецкий богослов, сторонник реформации. — 306.
- Адольф* Густав II — см. Густав II Адольф.
- Аксаков*, Конст. Серг. (1817—1860) — один из основоположников славянофильства, выступавший иногда под псевдонимом «К. Эврипидин», поэт, критик и драматург. — 117; 123; 319.
- Аксаков*, Серг. Тим. (1791—1859) — известный писатель, отец К. С. Аксакова; автор «Семейной хроники» и целой серии охотничьих произведений. — 117.
- Аладьин*, Егор Вас. (1796—1860) — писатель и издатель «Невского Альманаха», переводчик книги Бергмана «История Петра Великого». — 126.
- Александр I* (1777—1825) — русский император. — 35; 36; 94; 216; 279.
- Александр Македонский* (356—323 до н. э.) — воспитанник Аристотеля, царь Македонии и Греции, великий полководец. — 14; 150; 168; 169; 272; 273; 286; 289; 301.
- Александр Ярославич Невский* (1220—1263) — князь Новгородский, затем Владимирский. — 143.
- Алексей Михайлович* (1629—1676) — второй царь из дома Романовых, отец Петра I. — 25; 28; 144; 147; 157; 346.
- Алкивиад* (451—404 до н. э.) — афинский государственный деятель и полководец. — 168; 299; 301.
- Альба*, Фердинанд Альварес де Толедо, герцог (1508—1582) — испанский наместник, жестоко усмиривший народное восстание в Нидерландах. — 184.
- Альфред Великий* (849—901) — английский король. — 301.
- Анакреон* — (ок. 550—495 до н. э.) — греческий поэт-лирик, воспевший в своих стихах любовь и пиры. — 32; 251.
- Анахарсис* — скиф, посетивший Грецию при Солоне. Греки причислили его к «семи мудрецам». — 166.
- Анна Иоанновна* (1693—1740) — русская императрица. — 339.
- Анненков*, Пав. Вас. (1812—1887) — литературный критик и мемуарист, сторонник «западничества», близкий друг Белинского. Анненков оставил после своей смерти весьма ценные воспоминания о Станкевиче, Белинском и др. — 122; 164; 460; 464; 474.
- Ансильон*, Иоганн-Петр-Фридрих (1767—1837) — немецкий профессор, богослов и историк. Автор книги о политических переворотах в Западной Европе. — 124; 126.

<sup>1</sup> Указатель составлен В. Ф. Беляевым.

- Аполлос* (Байбаков, Андр. Дмитр. 1745—1801) — епископ, духовный писатель, автор «Правил пиитических». — 54; 57.
- Апраксин*, граф, Фед. Матв. (1671—1728) — сподвижник Петра Великого, первый генерал-адмирал русского флота. — 144.
- Арапетов*, Ив. Павл. (1811—1887) — писатель, один из деятелей крестьянской реформы. — 464.
- Ариосто*, Людовико (1474—1533) — итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Орланд». — 48.
- Аристарх* из Самофракии — александрийский грамматик и критик (II в. до н. э.) — 4; 9; 50.
- Аристид* (540—467 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель. — 150; 301.
- Аристотель* (384—322 до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ, «Гегель древнего мира». — 137.
- Аристофан* (ок. 450 — ок. 385 до н. э.) — виднейший древнегреческий драматург, создатель политической комедии. — 5.
- Арминий*, Яков (1560—1609) — голландский богослов, основатель арминийской секты. — 126.
- Арцыбашев*, Ник. Серг. (1773—1841) — русский историк. — 36; 37.
- Байбаков*, Андр. Дм. — см. Аполлос.
- Байрон*, Джордж-Ноэль-Гордон, лорд (1788—1824) — крупнейший английский поэт. — 3; 4; 5; 14; 15; 30; 43; 46; 50; 52; 55; 59; 66; 80; 86; 123; 174; 211; 218; 308; 331; 333; 355; 389.
- Бакунин*, Мих. Ал-др. (1814—1876) — русский публицист. В 1835 г. сблизился с кружком Станкевича, где подружился с Белинским; познакомил Белинского с философией Фихте и Гегеля. Впоследствии — идеолог анархистского крыла в I Интернационале. — 92; 98, 111; 113; 114; 175; 464; 466.
- Бальзак*, Оноре де (1799—1850) — виднейший французский писатель-реалист. — 5; 63; 64; 76; 80; 309.
- Бальи* (Байли), Жан-Сильвен (1736—1793) — французский астроном и политический деятель. — 465.
- Барант*, де, Эмабль-Гильом-Проспер-Брюннер, барон (1782—1866) — французский государственный деятель, историк и публицист. — 294.
- Баратынский* (или Боратынский), Евг. Абр. (1800—1844) — поэт, друг А. С. Пушкина. — 4; 5; 51; 55; 451.
- Барбье*, Анри-Огюст (1805—1882) — французский поэт-сатирик. — 80.
- Барон Брамбеус* — псевдоним писателя О. И. Сенковского (см.). — 6.
- Батте*, Шарль, аббат (1713—1780) — французский философ, автор работ по эстетике. — 47; 48; 86.
- Батюшков*, Конст. Ник. (1787—1855) — русский поэт. — 5; 7; 42; 44; 48; 51; 52; 203; 278; 279; 326; 331; 339; 387; 452.
- Бауман* — немецкий философ, последователь Гегеля. — 99, 120.
- Безбородко*, Ал-др Андр. (1747—1799), князь, канцлер и дипломат при Екатерине II и Павле I. — 29.
- Безгласный* — псевдоним В. Ф. Одоевского (см.).
- Беккер*, Карл-Фридрих (1777—1806) — немецкий историк, автор популярной «Всеобщей истории». — 373.
- Бенедиктов*, Вл. Гр. (1807—1873) — поэт, стихи его, по преимуществу эротические, отличались виртуозностью формы и вычурностью содержания. В 30-х годах он пользовался большим успехом, а в 40-х его уже не читали. — 244.
- Бентам*, Иеремия (1748—1832) — английский публицист и философ. — 259.
- Беранже*, Жан-Пьер (1780—1857) — французский народный поэт, сатирик. — 104; 176.
- Бергман*, Вениамин — немецкий историк, автор книги «История Петра Великого». — 126.
- Бернет* — см. Жуковский, Ал-др Кир.

- Бестужев**, Ал-др Ал-др. (1797—1837) — беллетрист и критик, более известен под псевдонимом «Марлинский», декабрист. — 5; 7; 63; 65; 151; 244; 264; 380; 388; 408; 444.
- Блан**, Жан-Жозеф-Луи (1811—1882) — французский социал-реформист, историк. — 460; 461; 465; 466.
- Блер** — см. Блэр.
- Блэр**, Гуг (1718—1800) — шотландский теоретик эстетики, проф. риторики Эдинбургского ун-та. — 50.
- Бобров**, Сем. Серг. (ок. 1760—1810) — русский поэт-мистик и переводчик. — 34.
- Богданович**, Ипп. Фед. (1743—1803) — поэт, автор поэмы «Душенька». — 33; 216; 339; 451.
- Боссюэт**, Жак-Бенин (1627—1704) — французский историк и теолог, сторонник сближения католиков с протестантами. — 294.
- Боткин**, Вас. Петр. (1811—1869) — писатель, друг Белинского, литературный критик «западнического» направления, склонявшийся к буржуазному либерализму. Автор известных «Писем об Испании». — 103; 107; 108; 109; 115; 116; 118; 121; 122; 162; 164; 166; 168; 169; 170; 171; 172; 175; 176; 410; 446; 447; 457; 460; 462.
- Брюлов**, Карл Павл. (1799—1852) — знаменитый русский художник. — 399.
- Буало**, Ник. (1636—1711) — французский поэт и критик. — 47; 48; 86; 336; 385.
- Булгарин**, Фадд. Вен. (1789—1859) — журналист, публицист и беллетрист, агент III отд. — 4; 5; 6; 7; 45; 62; 63; 69; 73; 74; 77; 78; 79; 119; 371; 388.
- Бульвер-Литтон**, Эдуард Джордж, лорд (1805—1873) — английский романист. — 331.
- Буняковский**, Викт. Як. (1804—1889) — математик, вице-президент Академии наук. — 447.
- Бурачек**, Степ. Анис. (1800—1876) — критик, издатель реакционного журнала «Маяк», корабельный инженер и писатель. — 171.
- Бутков**, Як. Петр. (ум. 1856) — писатель, автор «Петербургских вершин». — 364; 365; 384; 447.
- Бутовский**, Ал-др Ив. (1817—1890) — писатель-экономист и сенатор, автор трехтомного сочинения «Опыт о народном богатстве». — 448.
- Бутурлин**, Дм. Петр. (1790—1849) — царский сановник, бывший председатель Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Автор военно-исторических сочинений. — 374.
- Бюффон**, Жорж Луи Леклерк (1707—1788) — французский естествоиспытатель. — 7.
- Валленштейн**, Альбрехт (1583—1634) — герцог Фридландский, имперский главнокомандующий в 30-летнюю войну. — 70; 306.
- Вальдо**, или *Вальдус*, Петр (XII в.) — лионский купец, основавший во второй половине XII в. секту вальденсов. — 305.
- Вальтер-Скотт** — см. Скотт.
- Ван-Дейк**, Антонис (1599—1641) — фламандский портретист и исторический живописец. — 417.
- Веласкес де Сильва**, дон Диего-Родригес (1599—1660) — испанский живописец. — 111.
- Велланский**, Дан. Мих. (1774—1847) — один из первых русских натурфилософов, шеллингианец, проф. Военно-хирургической академии. — 6.
- Вельтман**, Ал-др Фом. (1800—1860) — романист и археолог, автор ряда исторических трудов и беллетристических произведений. — 75; 79; 360; 369; 370; 371; 388; 442; 443.
- Веневитинов**, Дм. Вл. (1805—1827) — талантливый русский поэт и философ-шеллингианец, основатель философского кружка «любомудров». — 58.
- Венелин**, Юр. Ив. (1802—1839) — болгарский писатель. — 372.

- Вернер*, Фридрих-Людвиг Захария (1768—1823) — немецкий поэт и драматург. — 60.
- Вюардо*, Луи (1800—1883) — французский писатель, переводчик и критик. — 332.
- Видок*, Эжен-Франсуа (1775—1857) — французский сыщик, бывший до поступления на полицейскую службу уголовным преступником. Автор мемуаров, частично переведенных на русский язык. — 51.
- Вико*, Джовани-Батиста (1668—1744) — итальянский историк и философ. — 294.
- Виланд*, Христофор-Мартин (1733—1813) — немецкий писатель, один из создателей новой немецкой литературы, испытавший влияние французского просвещения. — 332.
- Вильмен*, Абель-Франсуа (1790—1870) — французский писатель-историк, профессор. — 317.
- Виргилий*, Марон-Публий (70—19 до н. э.) — римский поэт, автор «Энеиды». — 5; 10; 33; 48; 138; 452.
- Владимир* Святославич (ум. 1015) — князь Новгородский, а затем великий князь Киевский. — 5; 20; 141; 352.
- Воейков*, Ал-др Фед. (1777—1839) — поэт, писатель, переводчик, издатель журналов. — 37; 45; 76; 78.
- Вольтер*, Франсуа-Мари Аруэ (1694—1778) — великий французский просветитель XVIII в., поэт, историк и философ-деист. — 5; 26; 27; 48; 80; 86; 174; 251.
- Вордсворт* (Уордсворт), Вильям (1770—1850) — английский поэт, глава так наз. «озерной школы». — 80.
- Воротынский*, Ив. Мих., князь (ум. 1627) — московский боярин. — 143.
- Вульф*, Ал. Ник. (1805—1881) — сын тригорской приятельницы А. С. Пушкина — П. А. Осиповой. Известен его дневник, в котором имеется немало сведений о поэте. — 107.
- Вяземский*, Петр Андр., князь (1792—1878) — поэт и критик, сочувствовавший до 1825 г. декабристам и впоследствии ставший реакционером. — 46; 474.
- Галилей*, Галилео (1564—1642) — великий итальянский астроном и физик. — 88.
- Гарди*, Ал-др (ок. 1569—1632) — французский драматург. — 34.
- Гарнье*, Роберт (1534—1590) — французский драматург. — 34.
- Гегель*, Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831) — знаменитый философ, крупнейший представитель немецкого классического идеализма. — 92; 99; 101; 111; 113; 114; 162; 163; 164; 169; 177; 269; 280; 292; 294; 315; 316; 405; 453; 457.
- Гезиод* (Гесиод) — древнегреческий поэт. — 219.
- Гейне*, Генрих (1797—1856) — знаменитый немецкий поэт, публицист и критик, изгнанный из Германии за памфлеты революционного направления. — 110; 113; 114; 119; 164.
- Генрих IV* (1050—1106) — римско-германский император. — 301; 304.
- Гердер*, Иоганн-Готфрид (1744—1803) — немецкий буржуазный философ, историк, поэт и критик. — 80; 294.
- Герцен* (Искандер), Ал-др Ив. (1812—1870) — русский революционер, выдающийся писатель, философ и публицист. Начиная с 1840 г. Герцен становится близким другом Белинского; его влияние сыграло большую роль в переходе Белинского от идеализма к материализму и революционному демократизму. С 1847 г. Герцен переселился за границу, где основал вольные революционные издания — «Полярную Звезду» и «Колокол». — 75; 120; 121; 122; 317; 373; 410; 412; 414; 417; 418; 419; 420; 437; 438; 447; 451; 462; 463; 464.
- Гёте* Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт и ученый, автор «Фауста» и др. произведений. — 5; 6; 14; 42; 45; 48; 60; 66; 70; 80; 81; 86; 114; 116; 120; 123; 167; 331; 333; 355; 404; 405.

- Гешель*, Карл Фридрих (1784—1862) — немецкий философ, ученик Гегеля, стремившийся соединить учение Гегеля и Гёте с учением церкви. — 99.
- Гиббон*, Эдуард (1737—1794) — английский историк. — 294.
- Гизо*, Франсуа (1787—1874) — французский историк и государственный деятель. — 294; 295.
- Глинка*, Серг. Ник. (1776—1847) — поэт, журналист, деятель 1812 г. — 6; 118.
- Глинка*, Фед. Ник. (1786—1880) — поэт мистического направления. В молодости — один из вождей «Сюза благоденствия» и видный петербургский масон. — 56.
- Гнедич*, Ник. Ив. (1784—1833) — поэт, переводчик «Илиады». — 15; 45; 452.
- Гоголь*, Ник. Вас. (1809—1852) — великий русский писатель. — 5; 68; 77; 110; 116; 123; 139; 152; 210; 213; 244; 279; 326; 327; 330; 332; 337; 338; 342; 343; 360; 365; 367; 368; 376; 384; 388; 389; 390; 391; 392; 408; 450; 451; 459; 464; 467; 471.
- Годунов*, Бор. Федор. (1552—1605) — московский царь. — 143.
- Голиков*, Ив. Ив. (1735—1801) — историк, автор «Деяний Петра Великого». — 126; 150; 158.
- Голицын*, Мих. Мих. (1674—1730) — генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра Великого, президент Военной коллегии. — 144.
- Головин*, граф, Фед. Алексеевич (1650—1706) — сподвижник Петра I. Адмирал и выдающийся дипломат. — 144.
- Головкин*, Гавр. Ив. (1660—1734) — государственный канцлер, сподвижник Петра Великого. — 144.
- Гомер* (Омер, Омир) (IX в. до н. э.) — древнегреческий поэт, легендарный творец «Илиады» и «Одиссеи». — 5; 10; 27; 33; 48; 70; 81; 87; 114; 121; 123; 137; 251; 271; 305; 355.
- Гончаров*, Ив. Ал-др. (1812—1891) — крупный русский писатель романист. — 410; 412; 421; 422; 437; 438.
- Гораций*, Флак-Квинт (65—8 до н. э.) — известный римский поэт. — 29; 32; 62; 137; 251; 336.
- Гордый* (см. Симеон).
- Гостомысл* — легендарное лицо, с именем которого во многих списках летописей связывается сказание о призвании варягов. — 346; 437.
- Гофман*, Эрнст-Теодор Вильгельм-Амедей (1776—1822) — немецкий писатель, романтик, автор фантастических новелл. — 123; 444.
- Грачки*, братья, Тиберий (162—133 до н. э.) и Кай-Семпроний (153—121 до н. э.) — римские политические деятели, борцы за плебейскую демократию, агрореформаторы. — 168; 169.
- Грановский*, Тим. Никол. (1813—1855) — историк, профессор Московского ун-та, «западник». Был тесно связан со Станкевичем, Белинским и Герценом. — 115; 317; 318; 448; 462.
- Греч*, Никол. Ив. (1787—1867) — историк литературы, беллетрист и журналист реакционного направления. Совместно с Булгариным издавал журналы «Сын Отечества», «Северная Пчела». — 4; 5; 6; 35; 45; 47; 77; 78; 79; 119; 317; 376; 380; 381.
- Грибоедов*, Ал-др Серг. (1795—1829) — знаменитый русский драматург, автор комедии «Горе от ума». — 3; 7; 59; 61; 62; 80; 139; 165; 211; 212; 218; 278; 279; 326; 337; 339.
- Григорович*, Дм. Вас. (1822—1899) — беллетрист, автор произведений: «Деревня», «Антон-Горемыка» и мн. др. — 368; 369; 409; 440; 441.
- Григорьев*, Аполл. Ал-др. (1822—1864) — поэт и критик, последователь Белинского. — 360; 362; 368; 369.
- Григорьев*, Вас. Вас. (1816—1881) — ориенталист, профессор Спб. ун-та. — 410; 447; 448; 454; 455; 456.
- Грузинцев*, Ал-др Ник. (род. 1779) — русский драматический писатель и поэт, автор поэмы «Петриада». — 128.
- Гумбольдт*, Александр-Фридрих-Вильгельм (1769—1859) — немецкий натуралист. — 373; 446.

- Гус, Ян* (Иоанн) (1369—1415) — чешский религиозный реформатор, руководитель народного восстания против иноземного владычества и гнета католической церкви. — 304; 305.
- Густав II, Адольф* (1594—1632) — король шведский. — 70; 304; 306.
- Гутенберг, Иоганн* (р. ок. 1396 г., ум. 1468) — изобретатель книгопечатания. — 78.
- Гуттен, фон, Ульрих* (1488—1523) — немецкий гуманист, главный автор сатиры «Письма темных людей», направленной против римской церкви и схоластики. — 305; 306.
- Гюго, Виктор* (1802—1885) — знаменитый поэт и романист, глава французских романтиков. — 50; 80; 112; 123; 308; 309; 408.
- Давыдов, Ден. Вас.* (1784—1839) — поэт-партизан. — 55; 451.
- Даль* (Казак Луганский), *Вл. Ив.* (1801—1872) — беллетрист и лексикограф, автор «Толкового словаря» русского языка. — 368; 369; 410; 438; 441.
- Данилов, Кирша* — см. Кирша Данилов.
- Дейк, Антонис* — см. Ван-Дейк Антонис.
- Декарт, Ренэ* (1596—1650) — виднейший французский философ-дуалист. В физике был материалистом, в теории познания — идеалист. — 282; 357.
- Делавинь, Жан-Франсуа-Казимир* (1793—1843) — французский поэт и драматург. — 80.
- Де ла Гарди, Яков* (1583—1652) — шведский полководец. — 147.
- Демиль, Жак* (1738—1813) — французский поэт и переводчик. — 45; 381.
- Дельвиг, Ант. Ант., барон* (1798—1831) — поэт, друг А. С. Пушкина; издатель альманахов «Северные цветы» и «Подснежник». С 1830 г. издавал «Литературную Газету». — 44; 56.
- Демосфен* (384—322 до н. э.) — великий древнегреческий оратор, глава республиканской, антимакедонской партии. — 10; 25.
- Державин, Гавр. Ром.* (1743—1816) — русский поэт, прославившийся своими одами. — 5; 6; 7; 16; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 48; 50; 52; 73; 80; 198; 202; 203; 212; 216; 278; 279; 326; 327; 328; 338; 339; 351; 355; 381; 386; 451.
- Дестунис, Спир. Юр.* (1782—1848) — русский эллинист, переводчик Плутарха, автор труда «Византийские историки». — 169; 381.
- Диккенс, Чарлз* (1812—1870) — виднейший английский романист. — 402; 406; 446.
- Дмитрий Иоаннович Донской* (1350—1389) — великий князь Московский, победитель мамаявых полчищ на Куликовском поле в 1380 г. — 143; 351.
- Дмитриев, Ив. Ив.* (1760—1837) — писатель, автор многочисленных сатир, эпиграмм, басен. — 5; 33; 36; 42; 210; 211; 212; 216; 326; 331; 338; 339; 386; 387; 392; 393; 452.
- Добрышин* — полковник или генерал, привлекавшийся к ответственности за воровство. — 460.
- Долгорукий, Ив. Мих., князь* (1764—1823) — поэт, сатирик и мемуарист. — 381; 452.
- Долгорукий, Як. Фед.* (1659—1720) — сподвижник Петра I и его любимец. — 144; 145.
- Достоевский, Фед. Мих.* (1821—1881) — знаменитый русский писатель. — 365; 367; 368; 410; 443.
- Дрицагерберг* — немецкий гуманист. — 306.
- Дроздов, Алекс. Вас.* — магистр философии, автор сочинения «Опыт системы нравственной философии». — 84.
- Дружинин, Ал-др Вас.* (1824—1864) — критик и беллетрист, автор повести «Полинька Сакс». — 410; 441.
- Дудышкин, Степ. Степ.* (1820—1866) — журналист и критик либерального направления. С 1846 г., после ухода Белинского, вел в «Отечественных Записках» отдел библиографии, а затем и отдел критики. — 448.
- Дьяков, Ник. Ник.* — помещик Тверской губернии, зять Бакунина. — 106.

- Дюбуа*, Гильом (1655—1723) — французский государственный деятель. — 462.
- Дюкре-Дюмениль*, Франсуа-Гильом (1761—1819) — французский романист и детский писатель, автор ряда сентиментальных романов и песен. — 79.
- Дюма*, Ал-др (отец) (1803—1870) — французский романист и драматург. — 80; 382; 408.
- Дюсис*, Жан-Франсуа (1733—1816) — французский драматург и поэт, член французской Академии. — 15.
- Егор Федорович* — шутовское прозвище, данное в кружке Станкевича Гегелю (см. Гегель). — 163.
- Екатерина II* Алексеевна (1729—1796) — русская императрица. — 27; 28; 30; 32; 34; 35; 146; 147; 149; 152; 158; 217; 218; 279; 339; 352; 452.
- Елизавета Петровна* (1709—1761) — дочь Петра I, русская императрица. — 279; 339.
- Ершов*, Петр Павл. (1815—1869) — писатель, автор сказки в стихах «Конец-горбунок». — 70; 79.
- Ефимьев*, Дм. Вл. (1768—1804) — драматург, автор «Слезной комедии», «Преступник от игры или братом проданная сестра». — 35.
- Жадовская*, Юл. Вал. (1824—1883) — поэтесса и писательница. — 360; 361.
- Жакоб*, Библиофил — псевдоним французского писателя Поля Лакруа (см. Лакруа).
- Жанен*, Жюль (1804—1874) — французский театральный критик-фельетонист, член французской Академии. — 80; 310; 408.
- Жан-Поль* — см. Рихтер, Жан-Поль.
- Желябужский*, Ив. Аф. (1638 — ок. 1709) — окольный, дипломат петровской эпохи. «Записки Желябужского» изданы Языковым в 1840-г. — 150.
- Жорж Занд* (или Санд) — псевдоним Амантины Авроры Дюпен, баронессы Дюдеван (1804—1876). Знаменитая французская писательница, выступавшая в своих романах против существующего в буржуазном обществе неравенства между женщиной и мужчиной. — 205; 331; 355; 402; 448.
- Жуковский*, Алекс. Кир. (1810—1864) — поэт (псевд. Бернет).
- Жуковский*, Вас. Андр. (1783—1852) — известный русский поэт, переводчик произведений Шиллера, Байрона, «Одиссеи» Гомера и др. — 5; 7; 27; 42; 43; 44; 48; 52; 55; 58; 70; 71; 198; 203; 206; 278; 279; 328; 331; 339; 387; 389; 403; 452.
- Журавский*, Дм. Петр. (1810—1856) — писатель-статистик, автор труда «Об источниках и употреблении статистических сведений». — 374.
- Заблоцкий-Десятовский*, Андр. Парф. (1807—1881) — русский публицист и политический деятель, писавший по вопросам освобождения крестьян. — 447; 448.
- Загоскин*, Мих. Ник. (1789—1852) — беллетрист славянофильского направления, автор ряда исторических повестей и романов, из которых наиболее популярен «Юрий Милославский». — 5; 7; 162; 364; 365; 388; 447; 448.
- Занд* — см. Жорж Занд.
- Иванов*, Дм. Петр. — дальний родственник, друг Белинского. — 91; 98.
- Иванчин-Писарев*, Ник. Дм. (1795—1849) — писатель, последователь Карамзина. — 36; 37; 41.
- Измайлов*, Ал-др Ефим. (1779—1831) — баснописец и журналист. — 52; 381.
- Измайлов*, Вл. Вас. (1773—1830) — беллетрист, переводчик и журналист, последователь Карамзина. — 52; 451.
- Иоанн I* Данилович Калита (1304—1341) — князь Московский, великий князь Владимирский. — 143; 351.
- Иоанн III* Васильевич (1440—1505) — великий князь Московский. — 5; 19; 143; 148; 344; 351.
- Иоанн IV* Васильевич Грозный (1530—1584) — русский царь. — 143; 148; 155; 351.

- Ир* — библейское имя нескольких личностей. Наиболее известен из них Ир — старший сын Иуды. — 3.
- Иракл*, то же что Геракл, или Геркулес, — герой древнегреческого эпоса, олицетворяющий идеал физической силы. — 135; 155.
- Искандер* — псевдоним А. И. Герцена (см. Герцен).
- Кавелин*, Конст. Дмитр. (1818—1885) — юрист, историк русского права, публицист, профессор Московского и Петербургского университетов, «западник» буржуазно-либерального направления. — 447; 448; 462.
- Казак Луганский* — псевдоним В. И. Даля (см. Даль).
- Кай Гракх* — см. Гракхи.
- Кайданов*, Ив. Кузьм. (1782—1843) — историк, автор учебников, составленных в духе казенного «патриотизма». — 5; 167; 285; 302; 306.
- Калашников*, Ив. Тим. (ок. 1797—1865) — романист-этнограф, автор романов: «Дочь купца Желобова», «Камчадалка», «Автомат» и «Жизнь крестьянки». — 4; 6; 77; 78; 79.
- Калита* — см. Иоанн Данилович Калита.
- Кальвин*, Иоганн (1509—1564) — швейцарский церковный реформатор. — 126.
- Каменев*, Гавр. Петр. (1772—1803) — поэт, по происхождению купец, автор баллады «Громвал». — 328.
- Камилл*, Марк-Фурий (403—365 до н. э.) — римский полководец, цензор. — 150.
- Кант*, Иммануил (1724—1804) — немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма. — 92; 237; 280; 294; 315; 316.
- Кантемир*, Антиох Дм. (1709—1744) — русский сатирик. — 23; 47; 327; 330; 336; 385; 386; 451.
- Капнист*; Вас. Вас. (1757—1823) — поэт и драматург, автор комедии «Ябеда». — 45; 51; 61; 139; 327; 452.
- Карамзин*, Ник. Мих. (1766—1826) — знаменитый русский историк и журналист, автор «Истории государства российского», глава сентиментального направления в русской литературе (повесть «Бедная Лиза»). — 5; 6; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 52; 65; 69; 127; 137; 198; 216; 277; 326; 328; 330; 339; 342; 343; 344; 378; 385; 387; 389; 392; 451; 452.
- Каратыгин*, Вас. Андр. (1802—1853) — знаменитый русский актер-трагик. — 120.
- Карл V* (1500—1558) — германо-римский император. — 14; 184; 304.
- Карл VIII* (1470—1498) — король Франции. — 14; 304.
- Карл X*, Густав (1622—1660) — король Швеции. — 304.
- Карл XII* (1682—1718) — с 1697 г. король шведский, славившийся своими военными подвигами и потерпевший в 1708 г. под Полтавой поражение от русских войск Петра Великого. — 14; 150; 304.
- Карл Великий* (ок. 742—814) — король франкский и первый римский император. — 272; 301; 304; 306.
- Катков*, Мих. Никифр. (1818—1887) — вначале переводчик, затем известный филолог и публицист. В 1834 г. К. сближается с кружком Станкевича и знакомит Белинского с «Эстетикой» Гегеля. Сотрудничает в «Московском Наблюдателе», затем в «Отечественных Записках». В начале 40-х годов начинается его эволюция в сторону реакции. С 50-х годов выступает как редактор реакционных «Московских Ведомостей». — 113; 119; 122; 123; 164; 175; 193.
- Катон Старший* (234—149 до н. э.) — древнеримский государственный деятель и писатель. — 168.
- Катон Младший* (или Утический) (95—47 до н. э.) — древнеримский республиканец, боровшийся с партией Помпея против Цезаря. — 168.
- Каченовский*, Мих. Троф. (1775—1842) — профессор-историк, издатель «Вестника Европы»; основатель так называемой «скептической школы» в русской исторической науке. — 6; 37; 68.

- Квинт Курций Руф* — римский историк, автор труда «История Александра Великого». — 273.
- Кетчер*, Ник. Христоф. (1809—1886) — врач и литератор, перевел на русский язык Шекспира, Шиллера, Купера, Гофмана. Был одним из близких друзей Белинского, Станкевича, Грановского и активным участником их кружка. — 109; 318; 462.
- Кизеветтер* (1766—1819) — популяризатор философии Канта, автор учебника логики, переведенного на русский язык и распространявшегося в духовных школах. — 92.
- Кимон* (ум. 449 до н. э.) — афинский полководец, одержавший ряд побед над персами. — 150.
- Кирша Данилов* — апокрифический собиратель русских былин, сказок и песен XVIII в. — 130; 205; 341.
- Клаурен* — литературный псевдоним немецкого романиста Карла Гейна (1771—1854), сентиментальные романы которого в свое время имели большой успех. — 331.
- Клопшток*, Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, использовавший ряд библейских сюжетов. Тираноборческие идеи поставили его во главе писателей «Бури и натиска». — 80.
- Ключников*, Ив. Петр. (1811—1895) — поэт, печатавший свои стихотворения за подписью «—э—», один из участников кружка Станкевича. — 107; 109; 111; 177.
- Княжнин*, Як. Бор. (1742—1791) — драматург, автор трагедии «Вадим Новгородский», сожженной в 1793 г. по приговору Сената за проповедь республиканских идей. — 33; 326; 451.
- Козлов*, Ив. Ив. (1779—1840) — поэт и переводчик. — 4; 55.
- Козловский*, Петр Дм. — педагог, инспектор Межевого института в Москве, приятель Белинского. — 176.
- Колумб*, Христофор (ок. 1446—1506) — знаменитый испанский мореплавател, открывший Америку. — 43; 88; 184; 219; 309.
- Кольридж*, Самуэль Тэйлор (1772—1834) — английский поэт, критик и философ. — 80.
- Кольцов*, Алекс. Вас. (1808—1842) — знаменитый русский поэт-самоучка, сын прасола. Друг Белинского, который высоко ценил его поэтический талант. — 122; 177; 362; 363.
- Конде*, Людовик (1621—1686) — один из крупных французских полководцев. — 26.
- Конт*, Огюст (1798—1857) — французский философ, основоположник позитивизма. — 457; 458; 459.
- Корнель*, Пьер (1606—1684) — французский драматург. — 5; 26; 34 48; 80; 251.
- Корш*, Евг. Фед. (1810—1897) — публицист, журналист и переводчик. — 318; 461.
- Косичкин*, Феофилакт — псевдоним Пушкина А. С. под статьями: «Торжество дружбы» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина». — 62.
- Космократов*, Тит. — 444.
- Костров*, Ерм. Ив. (ок. 1750—1796) — русский поэт. — 34; 452.
- Котошихин* или *Кошихин*, Григ. Карп. (1630—1667) — подьячий Посольского приказа, бежавший в Швецию. Автор книги «О России в царствование Алексея Михайловича», дающей богатый материал для изучения допетровской Руси. — 131; 143; 144; 145; 147; 150; 337.
- Краевский*, Андр. Ал-др. (1810—1889) — публицист, редактор-издатель журнала «Отечественные Записки», газеты «Голос» и ряда других изданий, журналист предпринимательского толка, подвергавший Белинского жестокой эксплуатации и вносивший в его статьи всевозможные «дипломатические» оговорки. — 318; 462.
- Красов*, Вас. Ив. (1810—1855) — поэт и переводчик, приятель Белинского и Станкевича. — 120; 163.

- Крез* — царь Лидии (с 560 по 546 до н. э.). Владел огромными богатствами. — 3; 188.
- Кронсберг*, Андр. Ив. (ум. 1855) — талантливый переводчик. Славился переводами Шекспира, печатался, главным образом, в «Современнике». — 120; 363; 448.
- Крузенштерн*, Ив. Фед. (1770—1846) — русский адмирал и мореплаватель. — 381.
- Крылов*, Ив. Андр. (1768—1844) — знаменитый русский баснописец. — 5; 7; 42; 46; 71; 80; 100; 153; 203; 206; 212; 216; 278; 279; 331; 337; 338; 339; 342; 343; 381; 386.
- Крюковский*, Матв. Вас. (1781—1811) — драматург. — 6.
- Кудрявцев*, Петр Ник. (Нестроев) (1816—1858) — историк, беллетрист и критик, профессор Московского ун-та, друг Белинского. — 99; 121; 122; 164; 176; 177; 444.
- Кукольник*, Нест. Вас. (1809—1868) — поэт, драматург и беллетрист, автор напыщенных, ходульных драм казенно-«патриотического» содержания, напр. «Рука всевышнего отечество спасла» и т. п. — 4; 6; 8; 79; 80; 389.
- Кульчицкий*, Алекс. Як. (1815—1845) — поэт и прозаик, друг Белинского, писал под псевдонимами «П. Ремизов» и «Говорилин». — 176.
- Купер*, Джемс Фенимор (1789—1851) — американский романист. — 6; 116; 123.
- Курбский*, Андр. Мих., князь (ок. 1528—1583) — воевода и писатель, выразивший в своей переписке с Иваном Грозным мнение оппозиционного боярства. — 143.
- Куторга*, Степ. Сем. (1805—1861) — профессор естествознания Петербургского ун-та. — 373.
- Кювье*, Георг-Леопольд (1769—1832) — французский натуралист, основоположник палеонтологии. — 6; 414.
- Лагарп*, Жан-Франсуа (1740—1803) — французский писатель и критик, друг и последователь Вольтера. — 47; 48; 51; 86.
- Лажечников*, Ив. Ив. (1792—1869) — писатель и драматург, автор ряда исторических романов. — 5; 7; 22; 75; 76; 388.
- Лакруа*, Поль (1806—1884) — французский писатель, более известен под псевдонимом «Жакоб Библиофил». — 80.
- Ламаргин*, Альфонс (1790—1869) — французский поэт и романист, государственный деятель. — 4; 45; 59; 80; 382; 451.
- Ламенэ* (1782—1854) — аббат, французский писатель и католический философ. — 95.
- Лафайет*, Мари-Жан-Поль (1757—1834) — французский политический деятель. — 465.
- Лафонтен*, Август (1758—1831) — плодовитый немецкий романист. — 5; 79; 230; 331.
- Лафонтен*, Жан (1621—1695) — знаменитый французский баснописец и сказочник. — 80; 203; 251.
- Леверрье*, Урбан-Жан-Жозеф (1811—1877) — французский астроном. — 361; 447.
- Лейбниц*, Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — крупнейший немецкий философ-идеалист, предшественник немецкой классической философии. — 316.
- Леметр*, Фредерик (1800—1875) — французский актер, совмещавший талант трагика и комика. — 463.
- Лео*, Генрих (1799—1878) — немецкий историк. — 275; 294.
- Лермонтов*, Мих. Юр. (1814—1841) — знаменитый русский поэт. — 116; 198; 205; 208; 213; 218; 236; 278; 279; 326; 327; 331; 332; 333; 337; 360; 361; 362; 390; 451.
- Леру*, Пьер (1798—1871) — французский публицист, утопический социалист. — 457; 459.

- Лессинг*, Готтольд-Эфраим (1729—1781) — немецкий просветитель, критик и драматург. — 80
- Лизандер*, Дмитр. Карл. (1824—1894) — поэт. — 360.
- Линар де Крюднер* (1764—1824) — баронесса, жена русского дипломата, напечатавшая в 1803 г. автобиографический сентиментальный роман «Валерия». — 254.
- Лисянский*, Юр. Фед. (1774—1837) — путешественник и мореплаватель, автор «Путешествия вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 гг.». — 381.
- Литтре*, Эмиль (1801—1881) — французский ученый, позитивист, последователь Конта. — 447; 457.
- Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ-материалист. — 317.
- Ломоносов*, Мих. Вас. (1711—1765) — знаменитый русский ученый, философ и поэт. — 5; 7; 8; 23; 24; 25; 26; 27; 32; 33; 38; 47; 69; 78; 80; 128; 139; 277; 278; 325; 326; 328; 330; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 361; 386; 387; 451; 458.
- Лоренц*, Фр. Карл. (1803—1861) — профессор-историк, автор «Истории новейшего времени» и других работ. — 267; 274; 275; 285; 306; 372.
- Луи Блан* — см. Блан, Жан-Жозеф-Луи.
- Луи Виардо* — см. Виардо Луи.
- Людовик IX* (1215—1270) — король Франции. — 351.
- Людовик XI* Валуа (1423—1483) — король Франции. — 289; 301.
- Людовик XII* (1462—1515) — король Франции. — 304.
- Людовик XIV* (1638—1715) — король Франции. — 303; 304; 462.
- Людовик XV* (1710—1774) — король Франции. — 303; 357.
- Людовик-Филипп* (1773—1858) — король Франции с 1830 по 1848 г. — 176.
- Лютер*, Мартин (1483—1546) — германский религиозный реформатор. — 50; 124; 125; 174; 184; 304; 305.
- Майков*, Апп. Ник. (1821—1897) — русский поэт. — 363.
- Майков*, Вас. Ив. (1728—1778) — писатель, поэт и юморист, принадлежал к кружку Новикова. — 34.
- Македонский* Филипп (382—336 до н. э.) — царь Македонии, отец Александра Македонского, в 338 г. им была покорена вся Греция. — 301.
- Малек-Адель* или Мелик-Адалъ («Справедливый царь») Сейфоддин (ум. 1218) — младший брат основателя Эюбидской династии. — 254.
- Мальтус*, Томас-Роберт (1766—1834) — английский буржуазный реакционный экономист. — 447.
- Манцони*, Ал-др (1775—1863) — знаменитый итальянский поэт и романист. — 50.
- Марат*, Жан-Поль (1744—1793) — вождь якобинцев, виднейший деятель французской буржуазной революции. Редактор журнала «Друг народа». — 168.
- Марбах*, Освальд-Готгард (1810—1890) — немецкий писатель и драматург, последователь философии Гегеля. — 99.
- Марий* (ок. 156—86 до н. э.) — римский полководец. — 150; 282; 299.
- Маркевич*, Ник. Андр. (1804—1860) — поэт и историк-этнограф. — 275.
- Марков*, Мих. Ал-др. (ок. 1810—1876) — беллетрист, поэт и драматург. — 70.
- Марлинский*, А. — псевдоним А. А. Бестужева (см. Бестужев).
- Мармонтель*, Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель, просветитель. — 47; 86.
- Марриэт*, Фридерик (1792—1848) — английский романист, автор морских рассказов. — 331.
- Мартын Задека* — мифическое лицо, которому приписывались сонники и оракулы. — 253.
- Мартынов*, Алекс. Евстаф. (1816—1860) — драматический актер. — 52.
- Марченко*, Анаст. Як. (1830—1880) — писательница, печатавшая свои произведения за подписью «Т. Ч.» и под псевдонимом «А. Темризова». — 410; 445.

- Масальский*, Конст. Петр. (1802—1861) — поэт и беллетрист официозно-консервативного лагеря. — 5; 77; 78; 79.
- Маслов*, Степ. Алекс. (1793—1879) — писатель и деятель по сельскому хозяйству, редактор «Земледельческого Журнала». — 374.
- Мельников* (Андрей Печерский), Пав. Ив. (1819—1883) — беллетрист-этнограф. — 374.
- Менцель*, Вольфганг (1798—1873) — немецкий публицист и историк. — 118; 162; 164.
- Меньшиков*, Ал-др Дан. (ок. 1670—1729) — фаворит и сподвижник Петра Великого. — 21; 144; 151.
- Мерзляков*, Алекс. Фед. (1778—1830) — поэт и критик, профессор Московского ун-та; автор песни «Среди долины ровныя». — 36; 44; 52.
- Меттерних*, Клеменс-Лотар-Венцель (1773—1859) — австрийский князь, дипломат и министр, крайний реакционер. — 95.
- Мещерский*, Ал-др Ив., князь (ум. 1779) — приятель Державина. — 31.
- Микель-Анджело* (1475—1564) — гениальный итальянский художник, архитектор и скульптор. — 461.
- Милонов*, Мих. Вас. (1792—1821) — русский поэт. — 45.
- Мильтиад Младший* (ум. 489 до н. э.) — афинский полководец. — 150.
- Милтон*, Джон (1608—1674) — знаменитый английский писатель. — 48; 401.
- Милютин*, Вл. Ал. (1826—1855) — экономист, юрист и писатель. — 447; 448.
- Минаев*, Дм. Ив. (1808—1876) — поэт, отец поэта Д. Д. Минаева, автор перевода «Слова о полку Игореве». — 360; 361.
- Минин* (Сухорук), Куз. Зах. (ум. 1616) — нижегородский купец, организатор народного ополчения против поляков в 1612 г. — 143.
- Миних*, фон Бургард, Христофор, граф (1683—1767) — фельдмаршал, государственный деятель и полководец. В Россию был вызван Петром Великим в качестве инженера. — 94.
- Минье*, Франс-Август (1796—1884) — французский историк. — 447.
- Мишле*, Жюль (1798—1874) — французский историк и публицист, демократ и республиканец по своим убеждениям. — 294.
- Мицкевич*, Адам (1798—1855) — польский поэт, основоположник романтизма в польской литературе. — 50; 118.
- Мнишек*, Марина (ум. 1614) — жена Лжедмитрия I. — 147.
- Мольер*, Жан-Батист (1622—1673) — французский драматург. — 5; 80; 99; 407.
- Монтань*, Мишель (1533—1592) — французский философ-моралист. — 66.
- Морошкин*, Фед. Лук. (1804—1857) — юрист и историк, профессор Московского ун-та. — 155.
- Мур*, Томас (1779—1852) — английский поэт. — 66; 80.
- Муравьев*, Андр. Ник. (1806—1874) — официозно-клерикальный литератор. — 451.
- Мурильо*, Бартоломи Эстебан (1617—1682) — знаменитый испанский живописец, глава севильской школы. — 389.
- Мухамед* или Мохамед (ок. 571—632) — основатель магометанской религии. — 141.
- Мюллер*, Иоганн (1752—1809) — германский историк и публицист. — 295.
- Навин*, Иисус — библейский судья еврейского народа. — 29.
- Надеждин*, Ник. Ив. (1804—1856) — историк литературы и публицист, профессор искусства и археологии в Московском ун-те, редактор и издатель журнала «Телескоп», шеллингианец по своему философскому мировоззрению. — 66; 450.
- Наполеон I* Бонапарт (1769—1821) — французский император. — 45; 49; 53; 150; 153; 272; 283; 301; 303; 306; 307; 341; 351; 427.
- Нарезный*, Вас. Трофим. (1780—1825) — беллетрист. — 388; 452.
- Нахимов*, Аким Ник. (1782—1815) — поэт-сатирик. — 139; 452.
- Небольсин*, Пав. Ив. (1811—1896) — этнограф, историк и экономист. — 410; 446.

- Невский* (см. Александр Ярославич Невский).
- Надоумко*, Никодим Аристархович — псевдоним Надеждина, Н. И. (см. Надеждин).
- Некрасов*, Ник. Алексеев. (1821—1878) — выдающийся русский революционно-демократический поэт. — 318; 363; 473.
- Нелединский-Мелецкий*, Юр. Ал. (1752—1828) — поэт, статс-секретарь Павла I. — 34.
- Неплюев*, Ив. Ив. (1693—1773) — дипломат, устроитель Оренбургского края, автор «Записок». — 158.
- Нестроев*, А. — псевдоним П. Н. Кудрявцева (см. Кудрявцев).
- Никитенко*, Ал-др Вас. (1804—1877) — писатель, профессор Спб. ун-та и правительственный цензор, автор труда «Моя повесть о самом себе и чему свидетель в жизни был». — 164.
- Никольский*, Алекс. Тим. — художник, знакомый Беллинского. — 122.
- Новиков*, Ник. Ив. (1744—1818) — публицист и общественный деятель екатерининской эпохи, издатель ряда журналов и книг. — 35; 216.
- Нодье*, Шарль (1780—1844) — французский писатель. — 46.
- Огарев*, Ник. Плат. (1813—1877) — поэт и публицист, друг и соратник А. И. Герцена. — 121.
- Одоевский*, Вл. Фед. (1803—1869) — беллетрист, философ шеллингианец и музыкальный критик, часто печатавший свои произведения под псевдонимами: «Дедушка Ириной», «Гомозайка Ириной Модестович», «Безгласный» «Ъ, Ъ, Й». — 5; 7; 72; 76; 218; 459.
- Озеров*, Владисл. Ал-др. (1769—1816) — драматург, писал в духе французского классицизма. — 7; 42; 43; 51; 203; 216; 279; 326; 327; 331; 387; 451.
- Ознобишин*, Дм. Петр. (1804—1877) — поэт и переводчик. — 4.
- Олег* — первый князь Киевский. — 27; 352.
- Орлов*, Ал-др Анф. (1790 или 1791—1840) — поэт и беллетрист, автор многих лубочных рассказов. — 7; 62; 63; 74.
- Остолопов*, Ник. Фил. (1782—1833) — критик-теоретик, поэт и беллетрист, директор Спб. театров. — 7; 52; 54.
- Павлов*, Ник. Фед. (1805—1864) — беллетрист, публицист и критик. — 6; 451; 464.
- Палицын*, Авраамий, см. Авраамий.
- Панаев*, Ив. Ив. (1812—1862) — беллетрист и журналист, издававший вместе с Некрасовым «Современник», автор «Литературных воспоминаний». — 119; 121.
- Паткуль*, Иоганн Рейнгольд (1660—1707) — лифляндский дворянин. — 7; 6.
- Перевощиков*, Дмит. Матв. (1788—1880) — математик и астроном, профессор Московского ун-та. — 447.
- Перикл* (ок. 493—429 до н. э.) — афинский государственный деятель, глава демократической партии. — 150; 168.
- Персий*, Флакк (34—62 н. э.) — римский сатирик. — 268.
- Петр I Великий* (1672—1725) — последний царь московский и первый русский император. — 17; 21; 23; 24; 25; 28; 72; 93; 97; 101; 118; 126; 128; 129; 130; 131; 133; 134; 135; 138; 139; 140; 141; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 205; 207; 215; 272; 301; 323; 324; 335; 336; 337; 341; 344; 345; 346; 348; 352; 358; 378; 385; 387; 446.
- Петров*, Вас. Петр. (1736—1799) — поэт и переводчик. — 5; 33; 38; 338.
- Пизистрат* (ок. 610 — ок. 522 до н. э.) — правитель Афин. — 301.
- Пиндар* (522—443 до н. э.) — древнегреческий лирический поэт. — 32.
- Плавильщиков*, Петр Ал-евич (1760—1812) — актер, писатель-драматург и педагог. — 35.
- Плаксин*, Вас. Тим. (1796—1869) — педагог, автор учебников по литературе. — 47.

- Платон** (между 430 или 427—347 до н. э.) — крупнейший древнегреческий философ-идеалист. — 41; 121; 127; 271; 406.
- Плетнев, Петр Ал-др.** (1792—1862) — поэт, критик, ректор Спб. ун-та. — 45.
- Плещеев, Ал. Ник.** (1825—1893) — поэт и беллетрист. — 360.
- Плутарх** (ок. 46—120) — древнегреческий писатель-моралист и историк. — 137; 168; 176.
- Погодин, Мих. Петр.** (1800—1875) — историк, археолог, и журналист. Издатель журнала «Москвитянин». — 74; 101; 388; 447; 448.
- Подолинский, Андр. Ив.** (1806—1886) — поэт. — 4; 51; 56.
- Пожарский, Дм. Мих., князь** (ок. 1578—1641) — воевода, деятель Смутного времени, вместе с К. Мининым руководивший народным ополчением против поляков. — 143.
- Полевой, Ник. Ал-евич** (1796—1846) — критик, беллетрист, драматург, историк и журналист, организатор и издатель журнала «Московский Телеграф». — 167; 244; 388.
- Полежаев, Ал. Ив.** (1807—1838) — поэт, написал много антиправительственных и атеистических произведений. — 58; 59.
- Полонский, Як. Петр.** (1820—1898) — поэт и беллетрист. — 360.
- Полоцкий, Симеон** (1629—1680) — церковный деятель, педагог и писатель. — 25; 26; 47.
- Поль де Кок** (1794—1871) — французский романист. — 79; 331.
- Поп, Ал-др** (1688—1744) — английский поэт, автор перевода Гомера и издатель первого Полного собрания сочинений Шекспира. — 50.
- Поповский, Ник. Никит.** (ок. 1730—1760) — писатель, переводчик, профессор Московского ун-та, ученик Ломоносова. — 34.
- Порошин, Сем. Андр.** (1741—1769) — писатель, автор записок о Павле I, воспитателем которого он был. — 448.
- Постельс, Ал. Фил.** (1801—1871) — писатель, педагог, магистр естественных наук. — 453; 454.
- Потемкин, Гр. Ал., князь Таврический** (1739—1791) — государственный деятель екатерининской эпохи, фаворит Екатерины II. — 29.
- Пражский Иероним** (ум. 1416) — чешский реформатор, друг и единомышленник Гуса. — 304.
- Протей**, по греческой мифологии — вещий морской старец. — 30.
- Птолемей II Филадельф** — египетский царь, основатель музея и библиотеки в Александрии в III в. н. э. — 289.
- Пушкин, Ал-др Серг.** (1799—1837) — великий русский народный поэт и писатель, основатель русского литературного языка. — 4; 5; 6; 7; 16; 22; 41; 44; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 63; 65; 67; 69; 70; 71; 80; 99; 101; 116; 119; 123; 127; 129; 130; 134; 144; 152; 153; 198; 199; 202; 203; 204; 206; 210; 211; 217; 218; 219; 221; 222; 236; 237; 239; 244; 246; 249; 252; 260; 278; 279; 326; 327; 330; 331; 332; 333; 337; 338; 339; 342; 343; 360; 385; 387; 388; 389; 390; 422; 434; 436; 461; 471; 472.
- Пушкин, Вас. Льв.** (1767—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина. — 52.
- Ранке, Леопольд** (1795—1886) — немецкий историк. — 294.
- Расин, Жан-Батист** (1639—1699) — драматург и поэт, яркий представитель французского классицизма. — 5; 34; 47; 48; 80; 251; 281; 463.
- Раумер, Фридрих-Людвиг-Георг** (1781—1873) — немецкий историк, профессор. — 294.
- Рафаэль** (1483—1520) — великий итальянский живописец. — 403.
- Рашель, Элиза** (1821—1858) — французская трагическая актриса. — 462.
- Рейхлин, Иоганн** (1455—1522) — немецкий гуманист, ученый и педагог. — 305; 306.
- Репнин, Аникита Ив., князь** (1668—1726) — генерал-фельдмаршал, сотрудник Петра Великого. — 144.
- Рётшер, Генрих-Теодор** (1803—1871) — немецкий теоретик эстетики и драматического искусства. — 99; 120; 193.

- Ржевский*, Влад. Конст. — дальний родственник Бакунина, приятель Белинского. — 177.
- Рихтер*, Иоганн-Павел-Фридрих (1763—1825) — немецкий писатель, более известен под псевдонимом «Жан-Поль». — 123; 381.
- Ричард II* (1365—1440) — английский король. — 165.
- Ричардсон*, Самуил (1689—1761) — английский писатель, родоначальник «чувствительной» литературы XVIII и начала XIX в. — 247.
- Ришелье*, Арман-Жан, Дюплесси (1585—1642) — французский герцог и кардинал и министр, фактический правитель королевства при Людовике XIII. — 155; 303; 306.
- Робертсон*, Вильям (1721—1793) — английский историк. — 294.
- Робеспьер*, Максимилиан (1758—1794) — якобинец, один из выдающихся вождей первой французской буржуазной революции. — 464.
- Роллен*, Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог. — 38; 336.
- Ронсар*, Пьер (1524—1585) — французский поэт. — 34.
- Роттек*, Карл (1775—1840) — немецкий историк и государственный деятель. — 294.
- Рубан*, Вас. Григ. (1742—1795) — стихотворец и журналист, сотрудник новиковских журналов и издатель ряда сатирических альманахов. — 34.
- Румянцев*, Ник. Петр., граф (1754—1826) — государственный деятель и издатель памятников русской истории. Собрал огромную библиотеку, которая стала основой Румянцевского музея. — 381.
- Руссо*, Жан-Батист (1670—1741) — французский лирик, изгнанный за свои сатиры из Франции. — 341.
- Руссо*, Жан-Жак (1712—1778) — виднейший французский философ и писатель эпохи Просвещения. — 79.
- Саади* (ок. 1184—1291) — великий персидский поэт-моралист. — 54.
- Савич*, Алексей Ник. (1810—1883) — астроном, академик. — 447.
- Сазонов*, Ник. Ив. (1815—1862) — писатель, эмигрант. — 464.
- Сатин*, Ник. Мих. (1814—1873) — поэт-переводчик, друг Герцена, Огарева и Белинского. — 447.
- Саути*, Р. — см. Сутей.
- Свечин*, Пав. Ив. — автор поэмы «Александрида». — 6.
- Святополк I* Владимирович (ок. 980—1019) — великий князь Киевский, прозванный «Окаянным». — 352.
- Святослав* Игоревич (942—972) — великий князь Киевский. — 27; 352.
- Семен*, Авг. Ив. (1783—1862) — владелец типографии и издатель. — 373.
- Сен-Жюст*, Людовик-Антуан (1767—1794) — французский революционер, соратник Робеспьера, вместе с которым был казнен в Париже. — 464.
- Сенковский*, Ос. Ив. (1808—1858) — журналист казенно-«патриотического» направления, писал под псевдонимом «Барон Брамбеус». — 6; 22; 39; 45; 77; 78.
- Сервантес*, Микаэль Сааведра (1547—1616) — крупнейший испанский писатель, автор романа «Дон Кихот». — 355.
- Сессе*, Эмиль-Эдмонд (1814—1863) — французский философ-эклектик. — 457.
- Симеон* Иоаннович Гордый (1317—1353) — великий князь Московский, сын Иоанна Калиты. — 143; 351.
- Скопин-Шуйский*, Мих. Вас., князь (1587—1610) — боярин и воевода, деятель Смутного времени. — 143; 147.
- Скотт* Вальтер (1771—1832) — знаменитый английский романист. — 3; 5; 50; 59; 62; 66; 69; 70; 72; 80; 116; 123; 267; 282; 284; 295; 307; 331; 332; 355; 382; 400.
- Смарагдов*, Серг. Ник. (1805—1871) — писатель, автор учебников по истории. — 284; 285; 302; 303; 304; 306.
- Смирдин*, Ал-др Филипп. (1795—1857) — книгопродавец и издатель. — 45; 54; 77; 410; 448; 451.
- Снегирев*, Ив. Мих. (1793—1866) — археолог и собиратель памятников русской старины, профессор Московского ун-та. — 70.

- Сократ* (470—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист. — 311.
- Соллогуб*, Влад. Ал-др., граф (1814—1882) — писатель. — 218.
- Соловьев*, Серг. Мих. (1820—1879) — историк, профессор Московского ун-та. — 447; 449.
- Соломон* — царь израильского народа. — 190.
- Солон* (VII—VI вв. до н. э.) — афинский законодатель и поэт, один из семи греческих мудрецов. — 301.
- Сомов*, Орест Мих. (1793—1833) — беллетрист, поэт, критик, переводчик и журналист. — 36; 41.
- Софокл* (ок. 495—405 до н. э.) — древнегреческий поэт-драматург, написавший большое количество трагедий, из которых до нас дошло только семь. — 363.
- Сталь*, Анна-Луиза-Жермена, баронесса (1766—1817) — французская романистка и публицистка. — 49.
- Станкевич*, Ник. Вл. (1813—1840) — литератор, публицист и философ, близкий друг Белинского, Кольцова, Грановского и др., глава философско-литературного кружка 30-х годов. — 107; 110; 117; 122; 171.
- Стойкович*, Ар. Аф. (1814—1886) — библиотекарь и писатель. — 373.
- Строев*, Вл. Мих. (1812—1862) — журналист и переводчик, часто выступавший под литерами «В. В. В.». — 308; 310.
- Струговщиков*, Ал-др Ник. (1808—1878) — поэт и переводчик. — 70.
- Суворов*, Ал-др Вас. (1729—1800) — знаменитый русский полководец. — 157.
- Сумароков*, Ал-др Петр. (1718—1777) — драматург и поэт, директор первого петербургского театра. — 5; 27; 34; 35; 38; 45; 47; 52; 138; 139; 251; 326; 327; 338; 385; 452.
- Сутей* (Саути), Роберт (1774—1843) — английский поэт романтической «озерной школы». — 80.
- Сципион*, Публий-Корнелий (235—184 до н. э.) — римский полководец. — 150.
- Сэй*, Жан-Батист (1767—1832) — французский экономист, последователь Адама Смита. — 199.
- Сю*, Евгений (Эжен) (1804—1857) — французский писатель, романист, автор романа «Парижские тайны». — 16; 80; 308; 310; 311; 314; 315; 382; 402; 408.
- Талейран-Перигор*, Шарль-Морис (1754—1838) — французский дипломат. — 95.
- Тасс*, Торквато (1544—1595) — знаменитый итальянский поэт, автор «Освобожденного Иерусалима». — 29; 45; 48.
- Тацит*, Публий-Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк. — 138.
- Тегнер*, Исайя (1782—1846) — шведский поэт. — 50.
- Тепляков*, Викт. Григ. (1804—1842) — поэт и путешественник. — 79.
- Тест*, Жан Батист (1780—1852) — французский государственный деятель, был привлечен к суду и осужден за взяточничество. — 461.
- Тимолеон* (411—337 до н. э.) — коринфский полководец, освободивший Сиракузы от тирана Дионисия Младшего и восстановивший республику во всех городах Сицилии. — 168; 301.
- Тимофеев*, Алексей Вас. (1812—1883) — русский поэт. — 4.
- Тициан*, Вечеллио (1477—1576) — итальянский живописец, главный представитель венецианской школы. — 411.
- Толстая*, Сара, графиня — писательница, умерла в 1838 г., 17 лет отроду. — 123.
- Тредьяковский*, Вас. Кприлл. (1703—1769) — профессор русского и латинского красноречия в Академии наук, поэт и ученый-филолог. — 8; 23; 27; 47; 336; 378; 385; 452; 458.
- Тришатный* — царский генерал, начальник корпуса, привлекавшийся в 40-х годах прошлого столетия за казнокрадство. — 461.
- Туманский*, Вас. Ив. (ок. 1801—1853) — малоизвестный поэт. — 4.
- Тургенев*, Ив. Серг. (1818—1883) — знаменитый русский писатель. — 363; 410; 438; 439; 440; 443; 460.
- Т. Ч.* — см. Марченко, Анаст. Як.

- Тыранов*, Ал. Вас. (1808—1859) — русский художник-портретист. — 399.
- Тьер*, Луи-Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель, историк и публицист, автор «Истории французской революции». — 175; 294; 373.
- Тьерри*, Огюстэн (1795—1856) — французский историк. — 121; 284; 294; 374.
- Тютчев*, Фед. Ив. (1803—1873) — поэт, служил в министерстве иностранных дел, а затем был председателем комитета иностранной цензуры. — 373.
- Тюнджи-Оглу* — псевдоним О. И. Сенковского (см. Сенковский). — 6.
- Уваров*, Серг. Сем., граф (1786—1855) — царский министр народного просвещения. Ему принадлежит пресловутая формула: «православие, самодержавие и народность». — 167; 447; 471.
- Ушаков*, Вас. Апол. (1789—1838) — беллетрист, автор повести «Пиюша», высмеивающей Белинского. — 74; 373; 388.
- Фабий* — римская патрицианская фамилия. Белинский, очевидно, имел тут в виду одного из членов ее — Квинта Фабия Максима, древнеримского полководца, умершего в конце III в. до н. э. — 150.
- Фан дер Фельде*, Франц Карл (1779—1824) — немецкий беллетрист и драматург. — 382.
- Федор Алексеевич* (1661—1682) — третий царь из династии Романовых, брат Петра Великого. — 157; 351.
- Феликс Пиа* (1810—1889) — французский революционер, беллетрист и драматург, автор произведения «Ветoshники», являющегося карикатурой на буржуазию. — 463.
- Фемистокл* (ок. 527—460 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель эпохи греко-персидских войн. — 150.
- Фердинанд* (1721—1791) — герцог Брауншвейгский, полководец. — 307.
- Фердинанд V «католик»* (1452—1516) — король Арагонии и Кастилии. — 301.
- Ферри* — автор рассказов «Хозе Хуан» и «Укротитель коней», напечатанных в «Современнике». — 447.
- Филипп II* (1525—1598) — испанский король с 1556 по 1598 г. — 163.
- Фиште*, Иоганн-Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, классический представитель субъективного идеализма. — 92; 101; 107; 280; 315; 316.
- Фокион* — афинский полководец, живший в IV в. до н. э. — 168.
- Фонвизин*, Денис Ив. (1745—1792) — русский писатель, сатирик, автор комедий «Недоросль» и «Бригадир». — 29; 32; 34; 35; 40; 139; 212; 216; 278; 279; 323; 339; 386; 448; 451.
- Фосс*, Иоганн-Фридрих (1751—1826) — немецкий поэт и переводчик. — 43.
- Франциск I* (1494—1547) — французский король. — 184; 304.
- Фридрих II Великий* (1712—1787) — германский император. — 460.
- Фролов*, Ник. Григ. (1812—1855) — географ, учившийся в Германии, где вокруг него группировались Грановский, Тургенев, Бакунин и др. — 447.
- Ханенко*, Ив. Ив. — приятель Белинского, преподаватель. — 176; 177.
- Хемницер*, Ив. Ив. (1745—1784) — баснописец, один из видных предшественников Крылова. — 7; 33; 34; 100; 212; 338; 339; 386; 451.
- Херасков*, Мих. Матв. (1733—1807) — поэт, драматург и романист. — 5; 33; 36; 38; 48; 50; 52; 326; 338; 452.
- Хмельницкий*, Зиновий Богдан (ок. 1593—1657) — гетман Украины, вождь казацких восстаний против польских помещиков. — 452.
- Хомяков*, Алексей Степ. (1804—1860) — писатель, один из вождей славянофилов, автор политических статей и напыщенных стихотворений казенно-«патриотического» направления. — 79; 318.
- Цезарь*, Кай Юлий (100—44 до н. э.) — знаменитый римский полководец. — 14; 150; 153; 272.
- Цельтес*, Конрад (1459—1508) — немецкий гуманист, писатель, профессор красноречия.
- Цицерон*, Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский государственный деятель, оратор, философ и писатель. — 10; 25; 305.

- Шаликов*, Петр Ив., князь (ок. 1768—1852) — писатель и журналист. — 6; 37; 40.
- Шампольон*, Жан-Франсуа (1791—1832) — французский египтолог, нашедший ключ к иероглифам. — 6.
- Шатобриан*, Франсуа-Огюст, Ренэ, виконт (1768—1848) — французский романист. — 49.
- Шафиров*, Петр Павл., барон (1670—1739) — дипломат и писатель. Совместно с Петром I написал «Рассуждение о шведской войне». — 144.
- Шаховской*, Александр Андр., князь (1777—1846) — поэт и драматург, автор стихотворения «Расхищенные шуты». — 34; 452.
- Шевырев*, Степ. Петр. (1806—1864) — критик, профессор истории литературы и журналист реакционно-охранительного направления, все время боровшийся с Белинским; вместе с Погодиным организовал журнал «Москвитянин». — 58; 101; 104; 111; 120; 317; 318; 372; 410; 449; 450; 451.
- Шейн*, Мих. Бор. (казнен в 1634 г.) — боярин и воевода. — 143.
- Шекспир*, Вильям (1564—1616) — великий английский драматург. — 3; 4; 5; 15; 23; 28; 30; 31; 47; 48; 49; 59; 60; 61; 62; 86; 99; 103; 123; 218; 331; 333; 355; 363; 400; 401; 404; 405; 433; 438.
- Шеллинг*, Фридрих-Вильгельм-Иосиф (1775—1854) — один из видных представителей немецкого классического идеализма. — 92; 113; 272; 280; 315; 316; 456; 458.
- Шиллер*, Фридрих (1759—1805) — знаменитый немецкий поэт и драматург романтического направления. — 3; 5; 15; 30; 42; 43; 45; 48; 58; 60; 61; 66; 80; 86; 98; 99; 111; 112; 113; 114; 116; 123; 162; 167; 169; 171; 176; 218; 294; 331; 333; 429; 462.
- Ширинский-Шихматов*, Серг. Ал-др., князь (1783—1837) — член российской Академии наук, поэт. — 128; 381.
- Шлегель*, Август-Вильгельм (1767—1845) — известный немецкий критик, историк литературы и поэт-переводчик. — 43; 47; 48.
- Шлецер*, Август-Людвиг (1735—1809) — немецкий историк. — 6; 68; 294.
- Шлоссер*, Фридрих (1776—1861) — немецкий историк. — 294.
- Шувалов*, Ив. Ив. (1727—1797) — государственный деятель, генерал-адъютант, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровитель Ломоносова. — 25.
- Щепкин*, Мих. Сем. (1788—1863) — знаменитый русский актер, вышедший из крепостных, друг Белинского. — 462.
- Эверс*, Иоганн Густав (1781—1830) — немецкий историк и юрист. — 6.
- Эннхлегер*, Адам (1799—1850) — датский поэт. — 50.
- Эмиль*, Жирарден (1806—1881) — французский журналист, впервые предпринявший издание дешевых газет (в одно су). — 461.
- Эмин*, Фед. Ал-др. (ок. 1735—1770) — романист, переводчик и журналист. — 6; 8.
- Эразм Роттердамский* (1466—1536) — выдающийся немецкий гуманист, писатель. — 306.
- Эггермейер*, Эрнест-Теодор (1805—1844) — немецкий писатель. — 163.
- Ювенал*, Децим-Юний (ок. 60 — ок. 130) — римский поэт-сатирик. — 268.
- Юлий Цезарь* — см. Цезарь.
- Юм*, Давид (1711—1776) — английский философ, историк и экономист; в философии является представителем субъективного идеализма. — 294.
- Язвинский*, Ал-др Андреевич — педагог, изобретатель мнемонического метода изучения хронологии и языков. Автор ряда учебных пособий, издатель специальных таблиц и карт для изучения истории по его методу. — 453.
- Язон* — в греческой мифологии — предводитель аргонавтов. — 155.
- Языков*, Ник. Мих. (1803—1846) — поэт, славянофил. — 4; 55; 56; 121; 318.
- Якимов*, Вас. Як. (1802—1853) — профессор Харьковского ун-та, переводчик Шекспира. — 120.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Философские и социально-политические взгляды В. Г. Белинского (вступительная статья) . . . . .	III

### ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ 1834—1836 гг.

Литературные мечтания . . . . .	3
Опыт системы нравственной философии. Сочинение магистра Алексея Дроздова . . . . .	84

### ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА И РЕЦЕНЗИИ 1837—1841 гг.

#### Письма 1837—1840 гг.

К Д. П. Иванову. 7 августа 1837 (отрывок) . . . . .	91
К М. А. Бакунину. 12—24 октября 1838 (отрывок) . . . . .	98
К Н. В. Станкевичу. 29 сентября—8 октября 1839 (отрывок) . . . . .	110
К В. П. Боткину. 13 июня 1840 (отрывок) . . . . .	114
К К. С. Аксакову. 23 августа 1840 . . . . .	117
К В. П. Боткину, 10—11 декабря 1840 (отрывок) . . . . .	117

#### Рецензии 1840—1841 гг.

Изображение переворотов в политической системе европейских государств с исхода пятнадцатого столетия. Сочинение Ф. Ансильона . . . . .	124
Десятия Петра Великого, мудрого преобразователя России. Сочинение И. И. Голикова и Вениамина Бергмана . . . . .	126

### ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ПИСЬМА 1841—1845 гг.

#### Письма 1841 г.

К В. П. Боткину. 1 марта 1841 (отрывок) . . . . .	162
К В. П. Боткину. 27—28 июня 1841 (отрывок) . . . . .	166
К В. П. Боткину. 8 сентября 1841 . . . . .	169
Идея искусства . . . . .	178
Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году . . . . .	195
Сочинения Александра Пушкина	
Статья восьмая. Евгений Онегин . . . . .	202
Статья девятая. Евгений Онегин. . . . .	239

#### Рецензии 1842—1845 гг.

Руководство к всеобщей истории. Сочинение Ф. Лоренца . . . . .	267
История Малороссии Николая Маркевича . . . . .	275
Руководство к познанию новой истории С. Смарагдова . . . . .	284
Парижские тайны. Роман Эжена Сю . . . . .	308
Руководство к познанию теоретическо-материальной философии. Сочинение А. П. Татаринова . . . . .	315
Письмо к А. И. Герцену. 26 января 1845 г. . . . .	317

## ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ, РЕЦЕНЗИИ И ПИСЬМА 1846—1848 гг.

	Стр.
Мысли и заметки о русской литературе . . . . .	323
Взгляд на русскую литературу 1846 г. . . . .	335
Взгляд на русскую литературу 1847 г. . . . .	376

## Рецензии 1847—1848 гг.

Картина земли для наглядности при преподавании физической географии, составленная А. Ф. Постельсом. . . . .	453
Еврейские секты в России. Составлено В. В. Григорьевым. Слб. 1847. . . . .	454

## Письма 1847 — 1848 гг.

К В. П. Боткину. 17 февраля 1847 (отрывок) . . . . .	457
К В. П. Боткину. 7 июля 1847 (отрывок) . . . . .	460
К В. П. Боткину. Декабрь 1847 (отрывок) . . . . .	462
К Н. В. Гоголю 3 июля 1847 г. . . . .	467

## КОММЕНТАРИИ

Главнейшие даты жизни и творчества В. Г. Белинского . . . . .	475
Примечания . . . . .	484
<i>Именной указатель</i> . . . . .	543

Редактор *А. Дворцов.*

Подписано к печати 4/II 1941 г. Печ. л. 37.  
Авт. л. 40. 45 600 зн. в печ. л. Тираж  
15 000 экз. А 33173. Цена книги в переплете  
12 руб. 50 коп., без переплета 11 руб.

---

2-я типография ОГИЗа РСФСР треста «По-  
лиграфкнига» «Печатный Двор» им. А. М.  
Горького. Ленинград. Гатчинская, 26.  
Заказ № 561.